

РУССКИЕ ТАЙНЫ

И. ВОЛКОВА

РУССКАЯ АРМИЯ

В
РУССКОЙ ИСТОРИИ





И. ВОЛКОВА

**РУССКАЯ
АРМИЯ**

**В
РУССКОЙ ИСТОРИИ**

**Армия, власть и общество:
военный фактор в политике
Российской империи**

МОСКВА ■ ЭКСМО ■ ЯУЗА

2005

Оформление художника *А. Козаченко*

- Волкова И.**
В 67 Русская армия в русской истории. — М.: Яуза, Эксмо, 2005. — 640 с., ил.

ISBN 5-699-09557-8

В новой книге известного историка И. Волковой на большом фактическом материале рассматривается роль армии на переломных рубежах: в преддверии преобразований Петра I, на этапе великих реформ Александра II и во время углубляющегося кризиса общественных и властных структур начала XX в.

Главные герои книги — военнослужащие высоких и не очень высоких рангов, которые близко к сердцу принимали угрозы внутренней и внешней безопасности страны и по-своему стремились переломить опасные тенденции в ее развитии. Порой этот путь приводил их к конфронтации с правящим режимом: в рамках дворцовых переворотов, мятежа 14 декабря 1825 г., политической интриги отдельных военных чинов, направленной против одиозных представителей высшего руководства.

Книга заставляет задуматься над тем, какая армия в наибольшей степени соответствует национально-государственным интересам России, как должны строиться отношения армии с обществом и государством, какие формы может принять политическая активность военных в случае потенциального конфликта с властью.

ББК 63.3

ISBN 5-699-09557-8

© Волкова И., 2005
© ООО «Издательство «Яуза», 2005
© ООО «Издательство «Эксмо», 2005

Памяти учителя — выдающегося историка и педагога, профессора исторического факультета МГУ Сергея Сергеевича Дмитриева (1906—1991) — с благодарностью посвящается эта книга.

ВВЕДЕНИЕ

Военная тематика традиционно занимает почетное место в структуре исторических исследований по отечественному прошлому. На сегодняшний день накоплен огромный объем публикаций по истории войн и кампаний, видов вооружений, военного искусства, военной мысли, отдельных структурных единиц вооруженных сил, символов и ритуалов российской армии. Немалое количество научной литературы посвящено военным реформам и отдельным выдающимся представителям военной профессии. Но вот что удивительно: в этом мощном потоке практически полностью отсутствуют исследовательские проекты, развивающиеся на стыке военной и гражданской истории. Освещаемые сюжетные линии военно-гражданского взаимодействия выборочны и немногочисленны. В советской исторической науке это были главным образом вопросы участия народных масс в войнах, которые велись на территории России (в частности, партизанская борьба, действия народных ополченцев) и революционного движения в русской армии. В постсоветской науке — темы психологии масс на войне, отчасти — военных ритуалов и традиций, рассматриваемых в контексте повседневного быта сельской и городской среды (проводы призывников на войну и на срочную службу), восприятия воинской повинности и военного корпуса в различных стратах российского общества.

Вместе с тем в большом списке аспектов взаимного влияния армии и общества целые блоки еще не охвачены вниманием историков. Как справедливо замечает современный исследователь, в отечественной историографии не ставился и не решался объемный вопрос о роли вооруженных сил в экономическом, политическом и социальном развитии страны. И это при том, что милитаризм являлся важнейшим стимулирующим факто-

ром роста промышленности и транспортных путей, а армия была постоянным и емким рынком для казенного и частного предпринимательства, каналом перераспределения денег внутри государства. Помимо этого, вооруженные силы выполняли разнообразные функции в аппарате управления империи. А укрепление обороноспособности державы входило в круг первейших забот представителей верховной власти¹. Это совершенно справедливое замечание может быть расширено: в рамках своих постоянных связей с гражданским населением армия прямо и косвенно влияла на формирование системы ценностей и верований, политических представлений и поведенческих стереотипов различных сегментов общества. Военный истеблишмент вносил существенную лепту в формирование ведущих направлений правительственной политики, а публичные войсковые презентации служили важнейшим элементом легитимации политического порядка.

По линиям призывной системы армия вбирала в себя массы гражданских лиц и по истечении определенного срока возвращала обществу преобразованный ею «человеческий материал», который обогащал социально-бытовой уклад в рамках своей популяции новыми знаниями и навыками. Несмотря на то что ранее, в условиях действия рекрутской повинности с ее сверхдлительными сроками службы, взятый в армию воин навсегда оставался «отрезанным ломтем» и в исключительно редких случаях возвращался после демобилизации на свою малую родину, поле, на котором происходило взаимное оплодотворение военного и гражданского социумов, также было весьма широким. Множественные пересечения армии с ячейками гражданского общества возникали на маршрутах движения и в точках дислокации воинских частей, на путях исполнения административных и фискальных обязанностей воинских чинов. Каналом военного воздействия на гражданскую сферу являлись трудовые повинности, выполнявшиеся податным населением в пользу армии. Разумеется, даже короткие и эпизодические контакты не проходили бесследно, а длительные и интенсивные вызвали известные ответвления и даже отклонения в ходе естественной эволюции гражданских сообществ. Однако этот опыт военно-гражданских отношений с его мощным резонанс-

ным потоком, пронизывающим социальное пространство, не был раскрыт историками.

Центральным объектом этого исследования является военный корпус, рассматриваемый в разных ипостасях — и как базовый конструкт системы национальной защиты и внешней безопасности государства, и как средоточие многообразных функций на «внутреннем фронте». Хронологические рамки исследования заданы временем становления и деятельности регулярной армии старой России. Точкой отсчета являются стрелецкие мятежи, давшие мощный толчок формированию регулярной армии Петра I и косвенно повлиявшие на оформление ее стандартов взаимодействия с властью и обществом. А конечным пунктом — так называемый «корниловский мятеж», который подвел собой итоговую черту под историей Российской империи и открыл дорогу для радикальной смены политической элиты и становления нового общественно-политического строя. Началом, позволяющим соединить армию, власть и общество в единый предмет изучения, служит понятие политики. В самом общем виде идею этой книги можно определить как всестороннюю оценку веса, структуры, качества и значения военного фактора в политике страны на протяжении имперского периода ее истории. Именно такое направление научного поиска отражено в заголовке этой работы.

Понятие политики, базовое для представителей общественных наук, имеет множество трактовок. Вместе с тем в них присутствует общий элемент, который подчеркнут в определении английского социолога Э. Гидденса. «Политика, — пишет Гидденс, — это средство, к которому власть прибегает для осуществления своих целей, и основное содержание деятельности правительства»². По определению большинства политологов, главной смыслообразующей категорией политики является власть. «Власть является категорией, идентичной или близкой к категории господства», — указывает французский социолог политических отношений Д. Кола³. Как считает польский социолог Е. Вятр, любая власть представляет собой сочетание четырех компонентов: существование не менее двух индивидуальных или групповых партнеров; выраженная воля того, кто осуществляет власть, по отношению к тому, кто ей подчиняется; подчи-

нение подвластных субъектов обладателю власти; общественные нормы, устанавливающие правомочность одного субъекта отдавать приказ другому⁴. Что касается политической власти, то, помимо наличия указанных элементов, ее реализация требует общественного разделения между группой (или группами), осуществляющими власть, и группой (группами), по отношению к которой эта власть применяется⁵.

Среди всех социальных институтов армия располагает наивысшим ресурсом власти. По замечанию американского военного социолога С. Файнера, этой исключительностью она обязана трем преимуществам: превосходству в организации, высокому символическому статусу и монополии на вооружение⁶. При этом армия является частью государственного аппарата и направляет свою мощь на выполнение задач, стоящих перед государством. Таким образом, она изначально встроена в систему государственной власти.

Несмотря на то что армия является силовой структурой, ее роль не исчерпывается функциями принуждения и насилия. Она способна принять на себя и конструктивные обязанности, свойственные гражданским субъектам — в частности, участие в планировании и созидании социального и политического порядков, подготовку специалистов в области управления, просвещение масс гражданского населения. В этой части армейского применения в полной мере воплощается смысл политики как объединяющей людей области деятельности. Как полагает Д. Кола, этот раздел политики подлежит изучению с точки зрения производства и претворения процедур, механизмов, тактик и стратегий объединяющего характера⁷. Именно по этой причине в привлекаемом фактическом материале нас будет интересовать та сторона деятельности армии, которая имела формирующее и направляющее значение для гражданской сферы.

Как показывает исторический опыт первой российской модернизации начала XVIII в., подобное назначение армии определяли исторические обстоятельства, связанные с состоянием и уровнем развития общества. Дефицит твердой опоры среди гражданского населения, трудность мобилизации сил общественной поддержки с неизбежностью определяли ставку Петра I на

регулярную армию в продвижении своих планов. Она превращалась в главный локомотив прогресса.

Несмотря на то что вдохновители и практики второй российской модернизации не делали ставку на армию как на фактор ускоренного преодоления отсталости, вопрос о ее отношениях с трансформирующимся обществом стоял не менее остро. Армия индустриальной эпохи, систематически извлекающая силы самой дееспособной части населения, была призвана содействовать утверждению современного общества. В частности, на нее падали высокие нагрузки в деле адаптации призывников из застойных сегментов к требованиям новой эпохи. Затормозившие, которые возникали на путях исполнения армией этой роли, оборачивались нарушениями в общественном устройстве и подрывали основания жизнестойкости наций. В этом отношении военное реформирование, осуществленное Д.А. Милютинным в рамках второй российской модернизации, в течение последующих пятидесяти лет обнаружило немало дефектов. Поражения России в войнах начала XX в., укоренение среди гражданского населения прохладного и неоднозначного отношения к воинской повинности и военной профессии показывали просчеты творцов реформы. Однако полоса отчуждения, которая выросла между армией и гражданами, являла собой лишь одну сторону дела. Другая состояла в том, что армия милютинского образца не только не способствовала внутренней консолидации общества, но и усиливала заряд его конфликтности. Отсюда рождается вопрос об адекватности модели военного строительства, заимствованной у ряда стран — индустриальных лидеров, потенциальным российскому перестраивающемуся обществу и интересам государственной обороны.

Первые две главы этой работы посвящены изучению кардинальных военных реформ в разрезе изменений, внесенных ими в структуру общественных отношений. Задача состоит в выделении сквозных линий в организации воинской службы (социальных источников комплектования армии, ее внутреннего распорядка, льгот и стимулов, предусмотренных для военнослужащих, престижа воинской профессии) и рассмотрении их в связи с типом и темпами социальной эволюции каждого из этапов исторического развития.

Политическое участие армии в большом и многосоставном государстве неизбежно простиралось и на область отношения центра с периферией. Выдвинутая по воле Петра I на передовые рубежи имперского строительства, российская армия на протяжении всего последующего периода развития служила орудием приобретения новых территорий и инструментом встраивания населяющих их народов в систему имперской государственности. Военнослужащие выступали в амплуа колонизаторов, администраторов, арбитров, культурного десанта по отношению к отсталым этносам окраин. Положение военных администраторов на территории культурно продвинутых окраин было более сложным и требовало умения вести диалог с представителями высокоорганизованных и далеко не всегда дружественных национальных элит. Несмотря на то что процесс наведения мостов с некоторыми разрядами местных контрагентов не всегда протекал гладко, имперская конструкция России составляла незыблемую аксиому для военного сообщества. До конца старого порядка армия была носителем имперской системы ценностей и проявляла повышенную чуткость к сейсмическим толчкам, которые доносились из глубин империи в эпоху политического пробуждения наций. Поиски путей преодоления нарастающей диссоциации в теле империи, реформирования оснований содружества наций волновали умы лучших представителей военного «сословия», в особенности тех, кто был непосредственно причастен к административному менеджменту на национальных окраинах. Одной из задач этой работы является оценка военного вклада в создание империи и выявление доминанты военного подхода к ее организационным основам. Этот комплекс проблем решается в третьей главе.

В четвертой главе ставится вопрос об объеме и векторе участия военных профессионалов в оформлении политического курса и принятии ответственных политических решений на высшем уровне. Правомочность постановки этого вопроса обусловлена тем, что дореформенная Россия представляла собой милитаристское государство, в котором военные лица превалировали в составе органов местной власти и были широко представлены в высших и центральных государственных учреждениях. Пик военного влияния пришелся на царствование импе-

ратора Николая I. Именно тогда с наибольшей полнотой раскрылись издержки обширного и нерегламентированного влияния военных чинов на выработку и проведение правительственной политики. Несмотря на то что в пореформенный период это влияние было резко сокращено, а деятельность политиков в погонах введена в жесткие рамки, фактор военного давления обнаружил большую живучесть. Формы и методы продвижения групповых интересов военных становились менее прямолинейными и более изощренными, а результаты приобретали порой непредвиденный характер даже для самих организаторов. С этой точки зрения важнейшим предметом изучения являются структурные условия среды, создававшей возможности для проталкивания ряда рискованных военных инициатив.

Армия — один из самых репрезентативных и впечатляющих институтов государства — занимала престижное место в идеологическом аппарате самодержавия. Разработка официальной идеологической доктрины самодержавия была изначально увязана с мощной военной машиной империи. А приемы пропаганды — с силой воздействия празднично-парадных армейских представлений на большие зрительские массы. В этом контексте представляется необходимым без предубеждений взглянуть на традицию пресловутой парадомании и экзерцирмейстерства, которую многие военные специалисты и историки всегда ставили на вид «Павловичам». Социальные и государственные приоритеты пореформенной эпохи, уже не завязанные столь плотно на милитаристские идеалы, с необходимостью подвели к обновлению идейного фонда власти и перестройке идеологической работы среди населения. В этом отношении важно проследить, как эта смена вех социально-исторического развития отразилась на военной составляющей символического фона и методологии обеспечения массовой поддержки правящего режима. Эта группа вопросов находится в центре внимания четвертой главы.

Таким образом, первая часть монографии состоит из четырех глав. Она нацелена на раскрытие нормоустанавливающей или корректирующей роли армии на тех направлениях общественно-политической эволюции, в которых реализовывались властные полномочия военных. Эта деятельность вооруженных

сил имела систематический характер, строилась на легитимной основе и вытекала из фундаментальных задач, стоявших перед политическим руководством страны.

Наряду с тем включения военных в политику могли носить эпизодический и несанкционированный характер. Такие прецеденты вырастали из природы традиционного политического господства, метко названного М. Вебером «султанизмом». С точки зрения классика немецкой социологии, «султанизм» представлял собой тип правления, свободный от традиционных ограничений власти и приближенный к неуправляемому деспотизму. Как полагал Вебер, он в большей степени опирался на вынужденное подчинение подданных, нежели на их повиновение в силу привычки и закона. В своей практике «султанизм» использовал милитаристскую организацию, которая могла принимать разные формы. Это могла быть армия, состоявшая из невольников, подданных, колонов, которые наделялись землей. Это также могла быть армия из невольников, предназначенных только для несения воинской службы; или же армия, укомплектованная из лиц, получавших земельные наделы только в обмен на выполнение воинских обязанностей; либо армия, набранная из подданных, руководимая представителями высших классов общества. Главный парадокс правления, основанного на принципах милитаризма, Вебер усматривал в возрастающей зависимости деспотического правителя от его вооруженной опоры⁸.

Отмеченная закономерность хорошо прослеживалась и на примере самодержавной России, в которой отдельные воинские подразделения, некоторые представители высшего командования периодически предпринимали атаки на власть. Эту традицию представляют дворцовые перевороты XVIII в., декабристский мятеж, тонкая политическая игра генерала М.Д. Скобелева, интрига высшего военного командования и бунт петроградского гарнизона на этапе Февральской революции. Вместе с попыткой противодействия тоталитарной перспективе, предпринятой генералом Л.Г. Корниловым в августе 1917 г., они отражали политическую активность военного корпуса в течение всего дооктябрьского периода отечественной истории. Разумеется, каждое из этих выступлений имело свою подоплеку, равно как и влекло за собой определенные поправки в схему отношений верховной власти и военного корпуса.

Данные сюжеты всегда привлекали к себе внимание историков. Однако их изучение строилось на логике общественно-гражданской эволюции, а собственно военная компонента мышления и поведения главных действующих лиц событий почти не принималась во внимание. Вместе с тем включение такой компоненты в объяснительную модель резко расширяет знания о традиции военного вторжения в политику. Кроме того, каждый эпизод подобного участия рассматривался изолированно от предыдущего и последующего. Последовательное раскрытие их в рамках отдельных глав одной книги открывает возможность проследить линии преемственности и разрывов в способах военного вмешательства в политическую ситуацию, смену структурных предпосылок, мотивации и целевых установок организаторов этих акций. Эти вопросы определяют содержательное наполнение второй части книги.

Автор вполне отдаст себе отчет в фактографической емкости, методологической сложности проблем, поставленных в монографии, и не претендует на исчерпывающую полноту в их раскрытии. Следует подчеркнуть, что каждая из них может стать самостоятельным предметом научной разработки и воплотиться в отдельной монографии или даже серии монографий. Вместе с тем соединение вышеуказанных проблем в данной книге оправдано отсутствием подобного прецедента в историографии. В этом смысле настоящая работа представляет собой первую попытку перейти от фрагментированного изучения вооруженных сил к целостному анализу их опыта за большой исторический период. Именно такой путь, как представляется автору, позволяет проследить строительство и деятельность вооруженных сил как многомерный процесс, разворачивающийся не только собственно в военной, но и социальной плоскости. Такой путь дает возможность раскрыть в исторической перспективе предпосылки нарастающих нарушений в военно-гражданских отношениях и усиления оппозиционного фона в настроениях, поведении армейских частей и армейского командования. А в итоге понять причины утраты армией эффективности в сфере непосредственного функционального назначения. Понять с тем, чтобы впредь не повторять однажды совершенных ошибок.

Примечания к введению

¹ Лапин В.В. К вопросу о революционном движении в русской армии в первой половине XIX века. // Исторический сборник. Межвузовский сб. науч. трудов. Вып. 17. Саратов, 1998. С. 118—119.

² Гидденс Э. Социология. М., 1999. С. 289.

³ Кола Д. Политическая социология. М., 2001. С. 75.

⁴ Вятр Е. Социология политических отношений. М., 1979. С. 161.

⁵ Там же, с. 164.

⁶ F i n e r S.E. The Man on Horseback. The Role of the Military in Politics. Boulder, Colorado, 1988. P. 5.

⁷ Кола Д. Указ. соч. С. 77.

⁸ W e b e r M. The Theory of Social and Economic Organization. N.Y., 1947. P. 347.

Глава 1

ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ВОЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII в.

1. 1. У истоков военной реформы: стрелецкий политический дебют и его уроки

Стрелецкие мятежи конца XVII в. были предметом внимания всех историков, писавших о Петре I и его эпохе. Биографов царя эти происшествия, главным образом, интересовали с точки зрения препятствий, которые пришлось одолеть будущему реформатору России, прежде чем он обрел реальную полноту власти. Исследователей, обращавшихся к перипетиям политической борьбы, в частности к дворцовым переворотам, стрелецкие мятежи занимали как ранние сражения у подножия трона, которые в XVIII столетии перерастут в устойчивую традицию. Наконец в историографии была выдвинута и гипотеза о стрелецких мятежах как одной из форм социального протеста масс, близкой по своей направленности к антифеодальным выступлениям крестьян и городских низов¹.

Между тем указанные события имеют еще одно значение — пролога военной реформы Петра I. Опыт стрелецкого войска и его политической активности составил исходную платформу, на которой отрабатывалась концепция регулярной армии. Не ведая о том, стрельцы дали толчок и направление петровской военной реформе. Их первое вмешательство в расклад политических сил в 1682 г. завершилось установлением формальной власти братьев Иоанна и Петра Алексеевичей. Фактически у государственного руля встала их старшая сестра Софья Алексеевна. Клан Милославских, как и соперничавшая группировка Нарышкиных, пострадал от распоясавшейся военщины, однако извлек больше выгод из посеянной стрельцами смуты. Вначале, действуя при помощи уступок и отступления, затем — при

помощи вероломного и коварного убийства главных зачинщиков, а также перестановки фигур во главе Стрелецкого приказа, Софья овладела обстановкой и получила в свое распоряжение семь относительно спокойных лет правления.

Полуопальный двор царицы Натальи Кирилловны и юного Петра I, понесший большие потери, переехал в село Преображенское. Здесь, в обстановке горестного переживания политической неудачи и нервных просчетов шансов на будущее, зрела идея реванша и закладывалась тяга царя-отрока к возвращению вооруженной силы, способной постоять за его интересы. В 80-е годы появились потешные полки, составленные в основном из придворных чинов (стольников и спальников), дворцовых служителей². Как таковой этот прецедент еще не выпадал из традиций воспитания царских отпрысков. Известно, что царь Алексей Михайлович, заметивший в младшем сыне склонность к военным игрушкам и забавам, охотно впустил милитаристский декорум в его детское жилище³. Первый признак того, что Марсовы потехи юного Петра принимают опасный оборот для правящего клана Милославских, обозначился в самом конце 80-х — начале 90-х годов, когда потешные были оформлены в солдатские Преображенский и Семеновский полки, и в них ручьем потекли добровольцы из дворян, боярских людей и окрестных крестьян⁴.

Превращение товарищей детских игр царя в нешуточную военную силу в его руках осознавали лица, втянутые в противостояние кремлевской и преображенской партий. Так, неразлучный спутник воинских увлечений царя Б.И. Куракин прямо указывал на концентрацию вооруженной защиты у Петра I как на решающую предпосылку достигнутого им в 1689 г. перевеса над сестрой-правительницей: «И так помалу привел себя теми малыми полками в огранение от сестры или начал приходить в силу. Также с теми полками своими делал непрестанно экзерцию, а из стрелецких полков возлюбил Сухарев полк, и всякое им награждение давал, и к себе привлек, или сказать, верными учинил»⁵.

Качества военного вождя, отчетливо прорисовавшиеся в облике Петра I, становились важнейшим аргументом и для стрелецкого войска в оказании ему своей помощи. В ночь с 7 на

8 августа 1689 г., когда в Кремле поднялся переполох из-за слуха о приближении «потешных» к Москве, несколько человек из стрелецкого Стремянного полка сочли за долг предупредить царя об опасности, которая ему угрожает со стороны московского правительства. С получением тревожных известий он срочно ретировался в Троице-Сергиев монастырь. Вскоре туда же прибыло воинское подкрепление. Первыми явились «потешные». За ними проследовали четырнадцать стрелецких полковников, три подполковника, выборные от стрелецких полков и служилые особенно лояльного царю Сухарева полка. В логике политической борьбы пришедшие на подмогу воинские соединения сыграли роль мощной группы давления, увлекшей за собой колеблющиеся элементы Боярской думы и Государева двора. Конечно, сыграли свою роль и заявленная патриархом Иакокимом солидарность с царем, и родственное заступничество за него тетки царевны Татьяны Михайловны, и братское расположение, выказанное Иоанном Алексеевичем. Однако последнее слово все-таки оставалось за вооруженной силой, состоявшей из «потешных» и большей части стрелецких полков. В своей значительной массе стрельцы на этот раз отдали предпочтение не Софье, а Петру⁶. Как свидетельствовал П. Гордон, именно они принудили Софью уступить в конфликте с братом, потребовав выдачи начальника Стрелецкого приказа и фаворита Ф.Л. Шакловитого. В случае отказа они угрожали ударить в набатный колокол. Осознав, что борьба проиграна, Софья покорила⁷.

Итак, в 1689 г. Петр I располагал поддержкой стрелецкого войска: несколько стрельцов дали знать о вероятном покушении на его жизнь, готовившемся в окружении правительницы, семеро в ходе розыска обеспечили «свидетельскими» показаниями, необходимыми для обвинения Софьи и ее ставленника Ф. Шакловитого и тем самым помогли состояться смене правящих группировок. А те, кто вовремя не сориентировался и остался в стороне от очередного передела власти, безропотно приняли и казнь Шакловитого, и раскаты гнева Петра. Своеобразным символическим действием они объявили о своем смирении: вдоль дороги, по которой царь возвращался в Москву, были

расставлены плахи с топорами; положив на них повинные головы, стрельцы громко зывали к царской милости⁸.

Вместе с тем, получив признание со стороны стрелецкого войска, царь отнюдь не торопился на него опереться. Напротив, первую половину 90-х годов он посвятил дальнейшему обустройству собственного маленького войска и шлифовке его боевого искусства. Усиленные военные занятия на этом этапе сочетались с индифферентностью царя к делам управления. Историками была давно подмечена эта странность поведения: достигнув заветной цели и став фактическим единодержавным лидером государства (болезненный Иоанн Алексеевич вплоть до своей смерти в 1696 г. не претендовал на политическое влияние), Петр I игнорировал свои властные prerogatives, передоверив их матери, дяде Льву Кирилловичу и своему ближнему кругу. Правомерно предположить, что даже с обретением независимого положения и свободы действий он не считал страницу своей прошлой жизни перевернутой. А ближайшую задачу видел в том, чтобы закрепить условия победы, одержанной в 1689 г.

Мотивы, которыми руководствовался Петр I, не составляли секрета для наиболее осведомленных и проницательных из его современников. Со слов некоторых из них, секретарь прусского посольства И.Г. Фоккеродт пояснял, что под влиянием общения с иностранцами у молодого царя зрели планы больших перемен. В то же время он «хорошо видел, что едва ли ему осуществить эти замыслы, пока будет в стране такое сильное войско, способное отважиться на сопротивление его воле. Поэтому он уже решился и стрельцов, и дворян, оба эти скопища обессиливать, изводить одно посредством другого»⁹. Historici давно обращали внимание на то, что в крупных военных учениях стрелецкие и царские гвардейские полки неизменно стояли по разные стороны поля сражения и вели друг против друга боевые действия. При этом бывшие «потешные» неизменно выходили из брани победителями, а стрельцы — побежденными¹⁰. Помимо закалки и тренировки войсковых соединений, учебные сражения преследовали и другую цель — публичную демонстрацию преимуществ зарождающейся регулярной армии и дискредитацию старой войсковой организации в лице ее постоянного

стрелецкого ядра. Становилось понятно, что срок, отмеренный царем стрелецкому войску, истекает.

Причины активного отторжения, которое это войско вызывало у Петра I, для историков, как правило, были очевидны. По мнению В.И. Буганова, отношение Петра I определялось страхом, пережитым в детстве во время первого стрелецкого бунта. В дальнейшем, не желая снисходить к их нуждам и чаяниям, он мстил им при каждом удобном случае и, воспользовавшись бунтом 1698 г., окончательно вытравил раздражавший его стрелецкий дух¹¹. По мнению Н.И. Павленко, несмотря на свою многочисленность (в общей сложности 55 тыс. человек в 1681 г.)¹², в конце XVII в. стрелецкое войско уже не отвечало потребностям государственной обороны. Оно утратило боеспособность и превратилось в анахронизм. Совмещавшие воинскую службу с занятиями торговлей и промыслами, стрельцы все больше и больше погрязали в житейских заботах и вырождались как защитники отечества¹³.

Однако современники придерживались другого мнения на этот счет. Умный и наблюдательный публицист И.Т. Посошков отзывался о них с похвалой и полагал, что, после обучения некоторым новейшим приемам боя они могли составить конкуренцию любой армии мира: «...если удалых стрельцов тысяч десяток человек собрать и научить их скорообращательному строю, то, чаю, что та 10 000 лутши 50 000 у дела будет; то б нашему великому государю самая достохвальная слава и радостная война была»¹⁴. Беспремерную выносливость и хладнокровие стрельцов признавал и их усмиритель в 1698 г. П. Гордон¹⁵. По оценке историка вооруженных сил Московского государства А.В. Чернова, стрелецкие полки являлись подлинным зародышем регулярной армии и могли дать фору дворянским ополченцам сразу по нескольким позициям. Они владели холодным и огнестрельным оружием, были обучены городской (оборонной) и пограничной службе, в качестве пехотинцев использовались в полевых сражениях и в качестве осадного войска — в штурме неприятельских крепостей¹⁶. К этому следует добавить, что после массовых казней 1698—1699 гг. и выселения выживших стрельцов из Москвы расформирование стрелецкого войска было приостановлено. Более того, в начале Северной войны

правительство соблаговолило вернуть в строй уцелевшие и даже создать некоторые новые стрелецкие полки. Московские стрельцы неплохо показали себя на поле Полтавской битвы, а после 1713 г. были переведены в солдаты. Городовые стрельцы несли гарнизонную службу в течение всего петровского царствования и были упразднены только во второй четверти XVIII в.¹⁷ Таким образом, и сама власть в применении этой воинской силы исходила из презумпции ее довольно высокого боевого качества.

В такой же мере представляется не вполне убедительным и объяснение стрелецкого поражения 18 июня 1698 г. под стенами Новоиерусалимского Воскресенского монастыря их военной слабостью¹⁸. Современникам и свидетелям этого события ситуация представлялась в ином свете. По отзыву секретаря цесарского посольства И.Г. Корба, стрельцы сами отказались от борьбы с правительственными войсками: «...тысячи людей дали связать себя, а если бы они пожелали испробовать свою силу, то, вне сомнения, оказались бы победителями связавших их». Корб объяснял эту конечную покладистость «божьим промыслом». («Но есть Бог, который рассеял помыслы злодеев, чтобы они не могли завершить начатое»¹⁹.) Возвращаясь на почву рационального истолкования данного прецедента, можно предположить, что в нем проявился феномен внезапного остывания поистине вулканической деятельности, который и раньше демонстрировало стрелецкое бунтарство при встрече с жесткой позицией правительственных сил.

В продолжение темы следует выделить еще один важный признак, косвенно указывающий на непростую для верховной власти задачу профессионального развенчания стрелецкого войска. Таким индикатором была безудержная ярость, с которой оно искоренялось Петром I. Жестокость этой расправы заставила вздрогнуть даже привычное к изуверским наказаниям московское общество конца XVII в. Только за октябрь 1698 г. И.Г. Корб насчитал восемь актов казней, через которые были проведены все сколько-нибудь причастные к бунту. Пятьсот несовершеннолетних воинов, спасенных от смерти лишь своим юным возрастом, подверглись отрезанию носов и ушей и были отправлены в ссылку²⁰. По данным В.И. Буганова, в сентяб-

ре — октябре 1698 г. к розыску был привлечен 1021 человек, из которых 799 закончили жизнь на плахе. Вакханалия насилия продолжилась и в следующем году: за конец января — начало февраля 1699 г. через мясорубку следствия было пропущено ещё 695 человек, включая 285 малолетних²¹. Неистовство, с которым царь уничтожал стрелецкое войнство, доказывало не столько его силу власти над ним, сколько бессилие одолеть его в честной борьбе, в частности встроив в состязание с собственной вооруженной опорой.

Для понимания отношений царя со стрельцами важен и другой момент: возможность продвижения проекта регулярной армии открывалась перед Петром I только после и только в результате демонтажа стрелецкого войска. Характерно, что именно в этой логике освещалась интенсификация деятельности царя и его помощников по набору и укомплектованию армии новейшего образца в официальном документе — «Гистории Свейской войны». Актуальность этой задачи прямо выводилась из факта прекращения стрелецкого войска: «И приехав к Москве, учинен был розыск тому бунту чрез 6 недель, и по заслугам того зла большая часть их казнена, а протчие в Сибирь посланы. Потом, имея недоверстие о протчих, того для все полки стрелецкие скасованы и распущены по городам, куды кто похотел. А вместо их начали набирать прямое регулярное войско»²². Иными словами, стрелецкий бунт давал Петру I долгожданный и едва ли не единственный в сложившихся условиях шанс освободить почетное место, которое по общему признанию в структуре вооруженных сил занимал этот служилый корпус, и, умотивировав его стрелецкими костями, приступить к формированию альтернативного воинского контингента.

Некоторые историки полагали, что конечную судьбу стрельцов предопределила их заскорузлая злокозненность. Этой точки зрения, в частности, придерживался С.М. Соловьев, считавший их носителями антиобщественных привычек и очень сомнительной лояльности хозяевам Кремля²³. Основы такого подхода были заложены самим Петром I, пытавшимся выставить стрельцов в образе «пакостников, а не воинов». С его же подачи в «Гистории Свейской войны» проводилось сравнение стрельцов с янычарами, а их мятежи уподоблялись янычарскому участию

в свержении и возведении на трон султанов: «...опая пехота устроена была образом янычар туретских (которые, правда, и воздали по-янычарски). И всегда были заодно»²⁴. Однако аналогия была все же натянутой. Даже на восходящей стадии мятежная стихия стрельцов была ограничена осознанием допустимых пределов давления на власть и быстро сходила на нет при столкновении с твердой волей верховной власти.

Это хорошо показал ход мятежа 1682 г. В апреле стрелецкое войнство добивалось правительственного правосудия над своими полковниками, которые обвинялись в задержке жалования и учинении произвола над подчиненными (отданные на расправу полковники вначале подверглись избиению батогами, а потом — правежу). В мае оно выставило претензию на выплату недополученного за несколько лет жалования (правительство пошло и на это, выделив из казны 240 тыс. рублей). В июне поставило вопрос о легитимации погромов и резни, устроенных в мае, когда на их копьях и бердышах погибли 40 правительственных чиновников, включая шесть бояр (среди убитых были братья царицы Натальи Кирилловны и ее воспитатель боярин А.С. Матвеев)²⁵. Добиваясь признания правомерности своих действий, мятежники воздвигли на Красной площади столп с поименованием побитых «злодеев» и их вин, а от правительства потребовали выдачи охранной грамоты и присвоения себе звания «надворной пехоты». В августе они уже запрашивали введения огромного налога с дворцовых волостей на свое содержание. Однако решительный ответный ход правительства, напомнивший, кто в доме хозяин, быстро утихомирил разбушевавшуюся вольницу: в правительственную резиденцию в селе Воздвиженском под благовидным предлогом был вызван стрелецкий начальник И.А. Хованский, после недолгого разбирательства здесь он был казнен, а на его место был поставлен надежный военачальник Ф. Шакловитый. Характерно, что именно после этого маневра стрельцы, имевшие теоретическую возможность продолжить успешно начатый натиск, последовательно сняли свои предшествующие требования и приняли все условия, продиктованные им свыше. На этот раз без результатов остались и активные подстрекательства к бунту, исходившие от сородичей казненного Хованского.

Спустя семь лет стрельцы так же безропотно выдали Петру I на расправу Шакловитого и подчинились царской воле. Наконец, подняв бунт в 1698 г. четыре стрелецких полка общей численностью 2700 человек не нацеливались на передел власти. Озлобленные непрерывными командировками то в дальние уезды, то на границу, стрельцы большим отрядом двинулись из Великих Лук на Москву в надежде найти управу на бояр и офицеров-иноземцев, которые, по их понятиям, и являлись главными виновниками этих мытарств. Другое дело, что в тревожном ожидании развязки этого рейда в Москве сама собой зарождалась его интерпретация как очередного тура по тотальной дестабилизации обстановки в государстве: «И идут к Москве собою для волнения и смуты и прелести всего Московского государства» — так комментировал стрелецкую вылазку И.А. Желябужский²⁶.

Еще больше взвинтило интригу всплывшее во время розыска упоминание о заточенной в Новодевичьем монастыре царевне Софье. По некоторым сведениям, в случае удачи своего предприятия стрельцы собирались объявить народу, что Петр I погиб на чужбине, и провозгласить царем его малолетнего сына, а до его совершеннолетия вручить скипетр царевне Софье²⁷. Тем не менее имя Софьи не было волшебным паролем для выстраивавшихся в колонны стрельцов. Косвенным доказательством тому выступает и официальный документ — «Гистория Свейской войны», где ни словом не упоминалось о тайной царственной руке, направлявшей мятежников. Следует думать, что в этом выразилась не только политическая корректность по отношению к особе царственной крови. Как справедливо полагает Е.В. Анисимов, после 1689 г. Софья уже не представляла собой опасности для Петра I²⁸. Современник событий, И.Г. Корб, которого живо интересовал сюжет, связанный со свергнутой правительницей, со слов свидетелей рассказывал об эмоциональной и родственной встрече царя с сестрой в Новодевичьем. При первом взгляде у обоих из глаз хлынули слезы; впоследствии, допрашивая сестру, царь горько сокрушался над обстоятельствами, которые их поставили в столь тягостные взаимные отношения²⁹. По всей видимости, и сам Петр не слишком верил в причастность сестры к разжиганию смуты. Из этого можно

сделать вывод о том, что приплетенное к стрелецкому делу имя Софьи для самих вожakov являлось скорее орудием шантажа и устрашения власти, а для последней — дополнительным компрометирующим материалом на мятежников.

Точно так же в критическом осмыслении нуждается и версия радикальных социальных планов стрельцов. Вряд ли всерьез можно принять сделанное под пытками признание главарей мятежа в намерении перебить бояр и иноземцев в случае, если бы удача оказалась на их стороне³⁰. В виде гипотезы можно допустить, что стрельцы не упустили бы случая произвести самосуд над неудобными им лицами из правительственного аппарата и жителями Немецкой слободы, дорвись они до власти, как это было в 1682 г. Единственное, чего категорически не хватало стрельцам в 1698 г., — это решимости осуществить свои угрозы. Их запал на этот раз иссяк раньше, чем коварные замыслы вступили на путь исполнения. При встрече под стенами Воскресенского монастыря с правительственными войсками они заявили П. Гордону о своих миролюбивых намерениях: «Мы-де идем к Москве милости просить о своих нуждах, а не драться и не биться». В переговорах с другим военачальником — А.С. Шеиным, посланным от Боярской думы, соглашались выполнить любые правительственные предписания с единственным условием — разрешения короткой побывки в Москве для свидания с женами и детьми³¹. И только несговорчивость должностных лиц побудила их взяться за оружие. Правда, при изначальном отсутствии агрессивных установок они довольно скоро его сложили и сдались на милость власти. По горячим следам событий 130 зачинщиков мятежа были казнены, а 1965 — отосланы в дальние гарнизоны³².

Несоразмерность наказания, понесенного стрельцами, реальному составу их преступления многократно возросла после возобновления розыска вернувшимся из-за границы Петром I. Главный побудительный мотив устроенного кровавого спектакля состоял в стремлении царя одним махом избавиться от неприемлемого для него войска. Вместе с тем с большой долей уверенности можно констатировать, что резко негативное отношение Петра I к стрельцам не определялось соображениями государственной безопасности. Равным образом оно не вызыва-

лось опасениями подрыва оборонной мощи в случае сохранения этого войска. Главная причина крылась в том, что оно воплощало непригодные для него стандарты службы. В своих основах они восходили к нормам патронажа — клиентеллы.

По определению Ш. Эйзенштадта и Л. Ронигера, — это тип межперсональных связей, который устанавливался либо в виде приложения к универсальному социальному порядку в древних цивилизациях (семитской, греческой и римской) и современных обществах, либо в виде основной институциональной матрицы во многих традиционных обществах. Его историческая живучесть определялась тем, что он создавал оазисы доверия и солидарности, страховал личную безопасность в ситуациях житейских рисков. Типологические черты этой модели, по Эйзенштадту и Ронигеру, составляли: во-первых, иартикуляристские и диффузные отношения; во-вторых, отношения, построенные на обмене ресурсами самых различных видов (материальные блага, поддержка, лояльность, протекция и т.д.). При этом обмен ресурсами строился по типу совокупных тотальных поставок (дара и отдачи). В-третьих, это были отношения, завязанные на факторе безусловности и долговременного кредита. В-четвертых, их отличали взаимные обязательства, лояльность и взаимная приверженность патронов и клиентов. В-пятых, это были неформальные связи. В-шестых, они объединяли людей, различавшихся по социальным позициям и доступу к важнейшим материальным и властным ресурсам. Такая модель показала большую устойчивость, несмотря на заложенные в нее парадоксальные сочетания (неравенства и асимметрии власти с видимой взаимной солидарностью; потенциального принуждения и эксплуатации с добровольностью отношений и взаимностью обязательств; открытого и подчеркнутого выражения этих связей с неправовым или полуправовым характером патронажа — клиентеллы)³³. История породила и большое разнообразие конкретных форм таких отношений.

Наиболее близкой к стрелецкому варианту отношений с носителями верховной власти являлась связь *patronus-libertus* в античном Риме, вытекавшая из *manumissio* (обряда, превращавшего раба в вольноотпущенника) и определявшая притяжение бывшего раба к бывшему господину в нескольких поко-

лениях. Такая связь рассматривалась как наследственная для рода (*gens*) бывшего хозяина и потомственная для бывшего раба, получившего свободу. Ее истоки можно усмотреть в патримонической власти римского *pater*, являвшегося одновременно хозяином, жрецом и наставником для рабов и клиентов. Патрон был гарантом свободы и адаптации вольноотпущенника к новым условиям существования. В свою очередь, исполнение этой кураторской роли давало ему права на *potestas*, то есть требование определенного количества отработок вольноотпущенника — клиента (*oregae*), контроля над переменами его положения (вступления в брак, смены рода занятий, пространственных перемещений и т.п.). Задавая «вращение» клиентов вокруг родовой оси, эти отношения в разные времена могли переоформляться на разных наследников бывшего хозяина, в частности на те фамилии, которые в данный момент олицетворяли силу и влияние рода³⁴.

Стрелецкое войско, укомплектованное из «гулящих людей» (беглых крепостных, холопов, посадских, выпавших из своей городской общины, то есть фактических маргиналов), детей самих стрельцов, во многих чертах повторяло опыт переходного состояния от раба к свободному римскому гражданину. Подобно тому, как вольноотпущенник обретал свою новую идентичность в гравитационном поле рода, стрелецкое войско получало и подтверждало свой корпоративный статус через близость к правящей династии. Эту взаимосвязь постоянно подчеркивали и закрепляли разнообразные милости царя по мере обращения к его услугам, утверждавшие принцип дара и отдачи (например, щедрые награды за подавление городских восстаний 1648—1650 гг., которые позволяли и впредь рассчитывать на добросовестное исполнение полицейских функций).

Раскол правящей верхушки после смерти царя Федора Алексеевича, не ослабив связей стрельцов с дворцом, тем не менее поставил их перед нелегкой задачей самоопределения. Сильнейшая сопряженность патронов и клиентов вместе со спросом на вооруженную поддержку каждого соискателя короны с неизбежностью втягивали стрелецкий контингент во внутридинастические распри. При этом *его, самостоятельная политическая линия выражалась в поисках наиболее эффек-*

тивного включения в патронажно-клиентарные отношения с наиболее эффективным из легитимных носителей власти.

Но именно эта скрытая функция стрелецкой мятежности вызывала наибольшее неприятие Петра. Связанная со стрельцами модель отношений воинства с властью вызывала его категорические возражения сразу по нескольким пунктам. Во-первых, это был автоматизм принципа дар-отдача, втравливавший власть в бесконечный круговорот льгот, подарков, услуг в рамках патронажно-клиентарного обмена. Во-вторых, не жестко фиксированная персонализация власти в стрелецком менталитете: абсолютная привязанность к династии (роду) допускала весьма относительную привязанность к ее отдельным представителям и даже возможность ранжирования тех по критерию дееспособности. Именно на этой почве становились возможными агитация и интриги политических антрепренеров, а конкурирующим политическим группировкам приходилось состязаться в искусстве «обольщения» стрельцов. Именно так обстояли дела в период 1682—1689 гг., когда, по словам Б.И. Куракина, «интриги с обеих сторон были употреблены: всякая партия к получению стрельцов себе, понеже во оных вся сила состояла»³⁵. В-третьих, обязательность и необходимость регулярного подтверждения связей. Следствием становилась нетерпимость к антракту в отношениях. Так, длительная отлучка самого Петра I, хотя и не поколебала верноподданнического почтения к его персоне, все же усилила интерес части стрелецкого воинства к другим «наличным» представителям царского дома.

Наконец, обеспечение исправного исполнения стрельцами полицейских и карательных функций требовало от правительства огромных затрат. По сути дела, стрелецкие привилегии являлись родом подкупа, который должен был увеличиваться в зависимости от масштаба проделанной или предстоящей им работы по подавлению беспорядков. Именно таким путем был сформирован основной корпус стрелецких привилегий, включавший в себя право на занятие во внеслужбное время торговлей и промыслами с освобождением от уплаты налогов по этим занятиям, а также пошлин с судебных исков; возможность получения денежной ссуды на обзаведение хозяйством; преподне-

сение подарков и угощения от царя по праздникам. Оказывая помощь власти в борьбе с городскими восстаниями, стрельцы ожидали от нее и соответствующего вознаграждения. В этих целях вопросы обеспечения их всеми необходимыми благами царь Алексей Михайлович поручил Приказу тайных дел, пользовавшемуся исключительным статусом и огромными полномочиями в системе государственных органов. Упразднение приказа в 1676 г., сильно урезанное жалование, денежные вычеты на покупку снаряжения, наконец, отмена многих льготных условий предпринимательства, участвовавшие поборы и случаи насилия со стороны командного состава, бесконечные служебные посылки на рубежи государства ломали все привычные устои существования и вызывали естественный ропот³⁶. Напористым включением в политические распри в 1682 и в 1689 гг. на стороне сильнейшего участника стрельцы пытались добиться восстановления утерянных стандартов службы. Притом такого восстановления, которое было бы гарантировано личностью главы государства.

Стрелецкое брожение, вызванное корпоративными претензиями к власти, в то же время выражало тесную связь с умонастроениями московского общества. В частности, оно несло в себе мощный заряд предубеждений против иноземцев и раздражения против некоторых непопулярных в народе фигур из правительственного аппарата. (На этом основании В.И. Буганов даже делает вывод о преемственности этих мятежей с Медным бунтом и крестьянской войной под предводительством Т. Разина)³⁷. Связанные множеством родственных, дружеских и деловых уз с посадским миром, стрельцы были непригодны к роли, требовавшей независимой позиции по отношению к социуму. Стрелецкий менталитет был принципиально чужд установкам, которые волей царя должны были стать руководством к действию для его опорных полков. Представление о них дает инструктаж, проводившийся военачальниками среди верных частей в преддверии вооруженного столкновения с мятежными стрельцами. «Гвардейским полкам было внушено, чтобы они всякий час держались наготове, так как им придется выступить против своих святотатственных оскорбителей Его Величества, и те из них, кто уклонится от своей обязанности, будут призна-

ны виновниками и участниками того же преступления; если дело идет о благоденствии государя и державы, то не должно существовать ни уз крови, ни родства; мало того, сыну дозволяется убить отца, если тот замышляет на гибель Отечеству»³⁸. Сформулированные принципы характеризовали образ действий, который был предписан регулярной армии в планах царя. Она должна была обеспечивать плавное и поступательное течение модернизации, невзирая на все тектонические сдвиги, которые происходили в традиционном укладе жизни и положении различных слоев общества. Подавление стрелецкого мятежа было первой пробой сил и формирующейся регулярной армии, и ее верховного вождя на поприще предстоящей преобразовательной деятельности.

Проведенный в царской режиссуре розыск перерастал в генеральную репетицию социального переворота, где каждой группе участников отводилась своя роль. Поверженные стрельцы заняли место на линии фронта. По одну сторону от нее была поставлена масса, которой в скором времени предстояло стать реципиентом неумолимого диктата реформирующей власти. По другую сторону были выстроены фигуры, которым надлежало выступить проводниками этого диктата. В утилизации последствий стрелецкого мятежа проявилась поистине сверхъестественная способность Петра I обращать себе на пользу нештатные ситуации в общественной жизни. Старомосковская знать, скованная страхом и чувством вины за свой недосмотр в обеспечении государственного порядка, без возмущения приняла принудительное брандобритие, переодевание в европейское платье и даже свое активное вовлечение в допросы стрельцов и их смертоубийство.

Хронологическое совпадение первого витка вестернизации с возобновленным стрелецким розыском было совершенно не случайным. Втягивая верхушку московского общества в следственные действия и казни, царь вместе с тем превентивно блокировал ее сопротивление инновациям и преподносил серьезнейший урок остальным своим подданным. С этой точки зрения представляется важным проследить сам ход грандиозной петровской постановки. На первых порах, в начале октября, царь выполнял работу палача самолично: в Преображенском он то-

пором казнил пятерых мятежников. При этом на сценической площадке, где вершилось правосудие, рядом с царем стояли его гвардейцы, разделяя с ним ответственность за происходящее. В зрительских рядах находились иностранные дипломаты, русские вельможи и толпа немцев³⁹. Однако самое короткое время спустя состав действующих лиц на подмостках и зрителей внизу заметно изменился. Как свидетельствовал И.Г. Корб, велением царя взяли за топоры и стали приводить в исполнение смертные приговоры над осужденными московские бояре и лица из его ближнего окружения. Иностранный свидетель даже называл некоторых рекордсменов этой бойни: Ф.Ю. Ромодановский одним и тем же топором снес головы четырем стрельцам, а А.Д. Меншиков — двадцати. Тех приближенных, которые не могли сдерживать дрожь в руках, царь подбадривал уверением в том, что «не может быть принесено Богу более тучной жертвы, чем преступный человек»⁴⁰.

В феврале 1699 г. участие бояр в допросах и побоище превратилось в массовую кампанию. «Сколько было бояр, столько и допрощиков; терзание виновных служило доказательством особой преданности», — констатировал в эти дни И.Г. Корб. Что касается зрительской аудитории, то на этом этапе из нее были удалены иностранцы, а их место заняла городская чернь, которая теперь специальными объявлениями оповещалась о предстоящих казнях и приглашалась на их просмотр⁴¹. Новшеством февраля, которое отмечал Корб, стало использование меча, а не топора в качестве орудия лишения жизни⁴². Как можно судить на основании показаний очень педантичного хроникера событий, первоначальное публичное представление царского правосудия служило своего рода сатисфакцией иностранцам: на их глазах царь собственноручно уничтожал самых злостных гонителей иноземной общины Москвы. Следующая серия казней, проводившаяся русскими вельможами в отсутствие иноземцев, но на виду у городской черни, была призвана закрепить национальную элиту в том же образе карательной силы по отношению к гонителям иноземцев, в каком уже утвердился сам Петр I и его гвардия. Не случаен был и новый символ правосудия: вложенный в руки бояр воинский меч в массовом восприятии помещал их в одну связку с вооруженной опорой Петра I.

Таким образом, в общественное сознание вносилось представление о широкой коалиции социальных сил, состоящей из царя, его военных подчиненных, вельмож и группирующейся вокруг ненавистных коренному населению иноземных порядков. А лютые стрелецкие казни становились наглядным предупреждением об участи, которая ожидает любого, кто отважится на открытое выступление против выбора, сделанного властью.

Итак, на заключительном отрезке своей истории стрельцы, помимо собственной воли и желания, служили делу Петра Великого. Показанное с пугающим натурализмом уничтожение стрельцов парализовало сопротивление общественных группировок, враждебных преобразовательному курсу, и дало дыхание первой серии инновационных внедрений. Обретенная таким путем мирная передышка являлась ценнейшим завоеванием на запуске программы модернизации, когда сгущение массовой неприязни вокруг царя прореживала лишь горстка безоговорочно преданных ему гвардейцев. Правда, в ближайшей перспективе проблема социального ресурса реформирующей власти отпадет сама собой: надежный приводной механизм и крепкий тыл ей будут гарантированы регулярной армией.

1.2. Регулярная армия в составе движущих сил преобразовательного процесса

Вопрос о влиянии военной реформы Петра I на систему социальных отношений в России не стал предметом самостоятельной научной разработки, несмотря на определенный интерес, проявлявшийся к нему историками разных поколений и школ. В.О. Ключевский зафиксировал становление оккупационного режима в стране после того, как на вечные квартиры были размещены «126 разнузданных полицейских команд, разбросанных по 10 губерниям среди запуганного населения»¹.

Е. В. Анисимов отметил перенесение Петром I норм существования военно-служилого корпуса на гражданские учреждения и гражданскую бюрократию. Рассматривая армейскую организацию как эталон эффективности и рациональности, по словам историка, царь старался и гражданскому учреждению

придать черты воинского подразделения, а регламенту — военного устава. Признавая глубокое проникновение военных привычек и навыков в опыт гражданской жизни, Е.В. Анисимов, однако, не дает ответа на вопрос, в каком же направлении милитаризация общества повлияла на поведение отдельных социальных групп и отношения между ними².

Несколько шире проблема военно-гражданского взаимодействия очерчена в монографии немецкого историка Д. Байрау «Военные и общество в дореволюционной России». В первую очередь исследователь замечает, что воздействие военных институтов на аграрно-традиционное общество России следует изучать в самых разнообразных аспектах: стимулирования хозяйственной деятельности гражданских сообществ, совершенствования технических средств и навыков труда, преодоления традиционного мировосприятия³. Импульс, сообщенный военно-административными структурами общественному развитию по этим линиям, как замечает Д. Байрау, был сопоставим с вкладом гражданской бюрократии и организаторов капиталистического хозяйства⁴. В то же время подключение армии к сбору налогов имело не столь однозначные последствия: с одной стороны, оно подстегивало предпринимательство, втягивая в орбиту товарно-денежных отношений новые массы налогоплательщиков, с другой стороны, ужесточало фискальный гнет и укрепляло режим крепостного права⁵. Однако и при этой двойственности, как считает автор, полезный итог пребывания военных в гуще гражданского расселения перевешивал те издержки, которые понесло мирное население. Военный контроль, осуществлявшийся в духе эффективности, открытости и помощи населению, неплохо возмещал отсутствие хорошо отлаженного гражданского управления на местах⁶. А последовавшие после смерти царя-преобразователя меры по выводу войск из сельской местности и сокращение доли военного участия в местном управлении привели к рефеодализации основ государственной службы и облика локальных социальных ячеек⁷.

Темы военно-гражданских отношений касается в своей монографии «Солдаты царской армии и общество в России. 1462—1874» английский исследователь Дж. Л. Кип⁸. Отметив систематичность контактов военнослужащих и гражданских

жителей, которую обусловило максимально плотное приближение армии к населенным пунктам империи, складывание в России института военной юрисдикции типа испанского *fuego militar*, автор, к сожалению, не развил этих суждений. Основное внимание в книге сосредоточено на принципах комплектования, социальном составе, устройстве российской армии, что в известной мере можно расценить как уход в сторону от главной темы, заявленной в названии работы.

Нисколько не умаляя вклада, сделанного историками, изучавшими армию как один из важнейших общественных институтов, необходимо все же признать, что проблема взаимодействия и взаимного влияния вооруженных сил и институтов гражданского общества в историографии выведена лишь в контурном варианте.

Между тем в самой социальной реконструкции и подготовительных шагах к ней, предпринятых Петром Великим, армии отводилась ключевая роль. Не вдаваясь в исторический ход петровской модернизации, попробуем выделить несколько основополагающих моментов, наиболее значимых с точки зрения технологии возбуждения перемен и управления процессами общественного обновления. Отправным моментом воссоздания петровской практики в этом разрезе может служить замечание Э. Дюркгейма: способность власти, персонализированной в личности вождя, разрушать коллективные обычаи и творить новый порядок в архаичных обществах напрямую зависит от степени ее автономности⁹. Наблюдения над Петровской эпохой показывают, что резкое возрастание объема полномочий царя-преобразователя шло рука об руку с качественным изменением самого образа власти. Данная трансформация была особенно заметной на фоне реалий допетровского времени. Скажем, укорененные общественные представления о прерогативах короны до Петра I допускали ее почти необъятную власть над лицами, но не над порядком. Последний, называвшийся чином, составлял в общественном понятии предустановленный и не подлежащий пересмотру уклад жизни. Поэтому царь Алексей Михайлович мог безнаказанно для своего царского «имиджа» добиться низложения и ссылки всесильного патриарха Никона, но был не в силах провести масштабные структурные реформы. Власть

как эффективное средство социального конструирования могла состояться лишь в итоге вторичной легитимации. Притом такой, которая безгранично удаляла бы ее от прежних образцов и даже наделяла бы печатью «чужеродности» по отношению к ним.

В этом плане тактику Петра I можно изобразить как пошаговое разрушение старых стереотипов относительно природы и назначения самодержавия и насаждение принципиально новых культурных кодов. Пользуясь терминологией отечественного социолога Л.Г. Ионина, в первом шаге эти действия можно представить как намеренное создание прорех в фоновых ожиданиях общества. Для начала Петр I решительно и бесповоротно перечеркнул типическую схему царского поведения. Всепьянейшие соборы, потешные свадьбы шутов Ф. Шанского и князя-кесаря Ф.Ю. Ромодановского, придворных карликов, заключавшие в себе кощунственное пародирование таинства брака, награждение шутов орденом Иуды, игровое венчание на царство князя-кесаря Ромодановского и возведение в патриархи престарелого дядьки царя Н.М. Зотова накануне Прутского похода, женитьба самого царя на безродной «портомое» и к тому же своей духовной внучке, принятие им в 1721 г. нового титула, означавшего, помимо прочего, присвоение себе высших святительских полномочий — все это знаменовало первую фазу.

Во втором шаге деятельность Петра I выглядела как заделывание этих прорех символическими конструкциями, утверждавшими принадлежность власти к более высокой смысловой сфере, находившейся за гранью обыденного знания — сфере веры. (Другое дело, что, сталкиваясь с труднообъяснимыми явлениями, повседневное сознание обычно идет по пути сведения трансцендентного к обыденности, превращения символов в знаки¹⁰. Такой же интерпретации на основе значений из повседневных знаний не избежал и Петр. Его реформаторские начинания породили целый пласт народно-утопического творчества из легенд о подмененном царе-немце, царе-антихристе и т.п.). Создание сакрального культа царской власти, семиотически приравнивавшего царствующую особу к Христу со всеми атрибутами поклонения¹¹, — знаменовало вторую фазу. Конечным результатом являлся взлет власти на высоты, недостижимые для ее предшественников носителей, и многократное возрастание

степеней ее свободы в направлении общественных процессов. Суммарный итог данного перерождения подвела формула абсолютизма, представленная императором в «Артикуле воинском»: «Его величество есть самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответу дать не должен. Но силу и власть имеет свои государства и земли, яко христианский государь, по своей воле и благомнению управлять»¹². Сверхмощная харизматическая легитимность, обретенная Петром I в результате подобной трансформации образа власти, давала возможность диктовать собственную волю всей социальной иерархии и добиваться безоговорочного подчинения своим распоряжениям, какими бы безрассудными они порой ни казались.

В свою очередь, мифология власти получала систематическое подкрепление в предъявлении подданным боевой силы, выпестованной царем. Именно в ней масштаб самодержавных притязаний обретал свою предметную наглядность. В воспоминаниях и отчетах иностранных дипломатов, находившихся в Петербурге, столичная действительность запечатлелась в виде непрерывной пальбы из пушек и ружей, которой сопровождалась ежедневные учебные занятия солдат и все сколько-нибудь знаменательные события в жизни государства, двора, царской семьи и высших сановников. Характерно, что такие салюты часто производились самими военными командирами в отсутствие царя для прославления его имени и его дел¹³. Помимо того, неотъемлемой частью петербургского быта при Петре стали зрелищные представления боевой мощи: торжественные построения, парадные прохождения гвардейских полков. Голштинский камер-юнкер Ф.В. Берхгольц, впервые столкнувшийся с этой достопримечательностью столицы в 1721 г., признавал, что при всей продолжительности подобных ритуалов они не вызывали скуки у зрителей. Всеобщее внимание привлекали красота строя и находившихся в нем солдат, четкость и слаженность их движений¹⁴. Особенность петербургского имперского стиля иностранцы усматривали и в том, что астрономическое расстояние, разделявшее царя и любого из его подданных, сокращалось в рамках его взаимодействия с гвардией. Ей царь передавал частицу собственной харизмы — многие из гвардейцев, как отмечал Берхгольц, носили в петлицах мунди-

ра его портрет в виде знака отличия¹⁵. Сопровождавшие повсюду Петра I и служившие ему главной опорой гвардейцы находились на положении высшей касты. А некоторые из их пристрастий становились эталонными для всего двора и приглашенных лиц. Например, на торжественных приемах во дворце гостей неизменно обносили хлебным вином, которое было в особенном почете у гвардейцев. Как указывал Берхгольд, свою приверженность гвардии Петр I объяснял тем, что «между гвардейцами нет ни одного, которому бы он смело не решился поручить свою жизнь»¹⁶.

Однако особые отношения, связывавшие царя и гвардию, коренились не только в абсолютной преданности и надежности этих частей. И не только в том, что они изначально в виде органического компонента были встроены в сценарии власти. В петровских начинаниях гвардии была предписана роль, которую американско-израильский социолог Ш.Н. Эйзенштадт определяет при помощи понятия *институциональных организаторов и агентов изменений*. На долю последних выпадает закрепление новых принципов доступа к власти, измененной общественной иерархии, системы ценностей и норм социального взаимодействия. По месту, занимаемому в политической системе своего времени, этот слой людей, по оценке Эйзенштадта, может быть уподоблен доминирующей «политической партии с рыхлой организацией»¹⁷. Образование такой подсистемы общества служит исходным условием проведения так называемых «совмещающих изменений», иначе говоря, сдвигов, характеризующихся «высокой совместимостью между отдельными характеристиками изменений, преобразованием различных исходных норм социального взаимодействия, а также перестройкой важнейших коллективов и институциональных областей»¹⁸. Успешность выполнения регулятивных функций этой группой обуславливается, во-первых, особым типом символических ориентаций, придающих ей автономный статус в обществе, а во-вторых, внутренним соединением этой группы, усиливающим результативность ее деятельности. (Наоборот, «чем слабее связи между институциональными организаторами, тем более рассеяны институциональные точки основополагающих норм социального взаимодействия и системных противоречий и

тем меньше совмещаемость изменений в многообразных характеристиках макросоциального порядка»¹⁹.)

Почти полное отсутствие лиц с задатками институциональных организаторов в России к моменту начала реформ диктовало необходимость их искусственного «синтезирования». В этом плане усилия Петра I изначально направлялись к тому, чтобы отобрать из своего окружения персон, готовых к принятию его собственной системы перевернутых традиционных ценностей, а затем резко выделить их из состава старомосковской элиты ответственным соучастием в беспрецедентных занятиях, обрядах и забавах.

Первоначальное ядро будущей обширной группы институциональных организаторов следует видеть в так называемой компании Петра I, объединявшей, по подсчетам историка А.И. Заозерского, около тридцати человек. Пестрый по своему составу, этот «передовой отряд» молодого царя (наряду с некоторыми знатными особами, сюда входили и худородные дворяне, и лица совсем простого звания) был априори сцементирован своей втянутостью в эпатажные и кощунственные действия. Подыгрывая царю, он перенимал от него фривольное обращение с текстом Священного Писания и другими сакральными символами, отказ от соблюдения поста и других религиозных предписаний, яростную замену старорусского этикета правилами европейской «людскости», тесное знакомство с иностранцами. Уже взятые сами по себе, эти наклонности расценивались как крайне предосудительные с точки зрения канонов московского благочестия и воздвигали стену между их носителями и остальной шляхетской массой. Однако во многих случаях выходки соратников царя создавали прямую угрозу жизни и безопасности «аутсайдеров». По свидетельству критика петровского царствования князя Б.И. Куракина, при полном попустительстве августейшего патрона эти люди на святках врываются в дома нелюбимых царем знатных персон и учиняли над теми гнусное надругательство. По этой причине «...многие к тем дням приутоговлялись как бы к смерти»²⁰. Впрочем, положение самих любимцев царя, по словам секретаря прусского посольства И.Г. Фоккеродта, порой было достойно еще большего сожаления. Царь «принуждал своих самых главных и преданных слуг,

несмотря на их болезнь, рядиться, то есть надевать шутовское платье и с открытым лицом развезжать в дождь и выюгу на длинных телегах или заставлял напиваться мертвецки придворных господа... да еще угощал их пощечинами, если по природному отвращению они очень упорно отказывались пьянствовать»²¹.

Вместе с тем там, где посторонний ошеломленный наблюдатель усматривал сумасбродную прихоть деспота, легко вычленяется и вполне рациональный мотив. Заставляя приближенных регулярно бросать вызов традициям общества, восстанавливая их против влиятельных кланов, чуждых духу обновления, Петр неуклонно добивался «стигматизации» своего опорного звена. Тем самым заранее отсекалась вероятность его возвращения к старомосковским порядкам и примирения с антагонистами преобразований. Отныне единственно возможный удел этих людей состоял в том, чтобы, как по маслу, катиться по рельсам петровского реформаторского курса. Кроме того, безжалостное расставание с наследием прошлого облегчало усвоение тех принципов, на которых основывалась петровская прогрессистская парадигма. Сформированный таким способом социальный персонаж функционально соответствовал типу *аберранта*. По замечанию американского социолога Р. Мертон и польского социолога П. Штомпки, благодаря аберранту и с его помощью в обществе утверждается целесообразное отклонение, необходимое для вытеснения старых моделей поведения и замещения их новыми. Аберрантное поведение может рассматриваться и под углом зрения нормативного морфогенеза: закрепление отклонений от правил и их распространение вширь служит легитимации новых норм²².

Дальнейшая институционализация аберранта и расширение ареала его распространения в России первой четверти XVIII в. были неразрывно связаны со становлением регулярной армии. В последовательном развертывании петровских нововведений к узкому кругу ближайших соратников Петра, где первоначально господствовал этот персонаж, добавлялись гвардейцы и дворянские волонтеры, прошедшие стажировку за рубежом, а впоследствии и остальные части полевой армии. Еще на этапе учебной апробации будущая гвардия была выве-

дена из-под действия юридических и моральных нормативов и сама сделана до известной степени нормо-устанавливающим субъектом. Например, во время козюховских маневров осенью 1694 г. военачальники противостоявших друг другу сторон — Ф.Ю. Ромодановский и И.И. Бутурлин — выступали под именами соответственно царей Преображенского и Семеновского и были облачены в иноземное платье. При этом командовавший петровскими потешными и некоторыми наиболее боеспособными полками нового строя Ромодановский был наделен еще нерусским именем «генералиссимуса Фридриха» и «короля Пресбургского». Но и это были еще не самые важные обстоятельства, которые вызвали смущение в умах очевидцев. По единодушному мнению современников, Ф.Ю. Ромодановский являлся личностью, носившей на себе черную метку: «Собою видом как монстр, нравом злой тиран, превеликий нежелатель добра никому, пьян во все дни, но его величеству верный был, что никто другой»²³ — такой отзыв приводил о нем в своем сочинении Б.И. Куракин. Именно Ромодановскому предстояло разжечь пыл своего воинства, а затем блистательным натиском «застолбить» навечно идею абсолютного превосходства в силе и умении первого образца регулярной армии над стрелецкими полками во главе с Бутурлиным. В этом отношении Куракин отдавал должное талантам князя-кесаря и тех, кто находился в его подчинении: «Правда, не надобно забыть описать о тех екзерциях, что были превеликой магнификации, и назвать надобно, что забавы императора и государя великого, и нечто являлося из того великого»²⁴. Одновременно автор не счел возможным умолчать о фактах его биографии, которым он был обязан своей скандальной славе: о налаженной им в должности начальника Преображенского приказа машине кровавого розыска, об устройстве вместе с царем неистовых вакханалий в Пресбурге, о развязной бесцеремонности в обращении даже с равными себе²⁵. Новелла Куракина интересна своей устремленностью к донесению правды о деятелях петровской реформы, такой, какой ее увидели живые очевидцы. Она заключалась в совмещении в одной и той же личности характеристик, несовместимых по меркам бытовой логики. Рассказ обнажал схваченную, хотя и не до конца осмысленную современниками, связь между первород-

ными инстинктами, вызволенными из плена культурных запретов, и выдающейся эффективностью на петровской службе.

Впрочем, экстравагантность, возведенная в базовый принцип, пронизывала всю политику Петра в вопросах кадровой подготовки. Пересмотренные под таким углом зрения критерии профессиональной пригодности царь навязывал дворянству, отправляя одних добровольно, других принудительно на обучение за границу. В этом смысле характерен эпизод, который передавал мемуарист Н.И. Кашин: особенно упорствовавших в своем нежелании учиться дома в школе математических и навигацких наук молодых аристократов, среди которых были и родственники адмирала Ф.М. Апраксина, разгневанный царь, недолго думая, услал «в чужестранные государства для учения разным художествам»²⁶. Большая тяжесть этого наказания, чем зачисление в московское учебное заведение, проистекала, во-первых, из того, что при скудном казенном обеспечении заграничная командировка являлась настоящей школой выживания, требовавшей поистине семижильной выносливости. Во-вторых, по ее окончании предстоял отчет о почерпнутых знаниях, который по всей строгости принимал царь. В-третьих, заграничный опыт безальтернативно наделял «волонтера» печатью отверженности среди соотечественников. Некоторое представление о том, какой прием ожидал таких свежееиспеченных специалистов на родине, давал в своих записках один из младших «птенцов гнезда Петрова» И.И. Неплюев. Едва сойдя с судна, молодые дворяне, среди которых был и автор записок, почувствовали себя изгоями: «По нашему отлучению от отечества не токмо от равных нам возненавидены, но и свойственников наших при первом случае насмешкою и ругательством по европейскому обычаю, в нас примеченному, осмеянные»²⁷. Как и в случае с соучастниками разнузданных увеселений царя, логика превращения в «чужого среди своих» диктовала единственно возможную схему всего дальнейшего поведения сугубо в русле, проложенном Петром Великим. Она же притягивала друг к другу людей, оказавшихся товарищами по несчастью.

Еще в больших размерах аберрантов плодила гвардейская служба. Секретарь прусского посольства И.Г. Фоккеродт, пытавшийся разгадать тайну феноменального российского преоб-

ражения, указывал на структурообразующую роль гвардии. Перенастраивая весь поступающий на «входе» социальный материал на волну реформаторства, она в то же время воспроизводила себя в остальных частях русской регулярной армии. В частности, именно своей службе в полках, «размножавшихся из так называемых потешных», как считал Фоккеродт, русское дворянство и было обязано своим превращением из Савла в Павла²⁸. Укреплению гвардии на позициях, отрицавших партикуляризм, клановость, областничество, прежде всего содействовала широчайшая практика ее применения вне прямых обязанностей по военному ведомству. Петровская гвардия исполняла обязанности службы скорой государственной помощи там, где силы и способности гражданских чиновников внушали сомнения, при этом пользуясь неформальным превосходством над любым бюрократическим органом и должностным лицом.

Так, в 1721 г. Петр I определил гвардейских офицеров к очередному дежурству на заседаниях Сената. Такие дежурные наделялись правом не только доносить царю о непорядках в работе высшего правительственного учреждения, но и своей властью сажать сановников под арест. В этой связи французский посланник де Лави констатировал ситуацию, противоречащую простому здравому смыслу: самые высокопоставленные в государстве чиновники — сенаторы почтительно вставали со своих мест, когда в зал заседаний входил юный поручик, и выказывали подобострастное внимание его персоне²⁹. Параллельно с тем наряды младших офицеров и нижних чинов гвардии направлялись в губернии и провинции для ревизии местного управления. Полномочия таких ревизоров допускали не только побудительное воздействие на губернаторов, затягивавших с выполнением правительственных предписаний, но и заковывание их в кандалы и цепи до окончания порученного дела. По этому поводу русский историк XIX в. М.М. Богословский замечал: «Гвардейский солдат — «понудитель» говорил не только тоном строгого ревизора, но и властным тоном начальника»³⁰. Абсолютное преимущество гвардейских ревизионных комиссий над постоянными органами государственного надзора историк усматривал в чрезвычайном праве практического вмешательства в ситуацию на местах: «Если прокуроры и фискалы играли роль очей и ушей

государя, то гвардейские офицеры и солдаты передавали в провинцию действие его тяжелой руки»³¹. Особую напряженность для местных администраторов создавала тщательность гвардейских ревизий, длившихся порой несколько лет³².

Политическую линию Петра I в целом характеризовало стремление к внедрению гвардии в качестве страхующего элемента в те узлы государственного аппарата, на которые падала наибольшая нагрузка. В том числе это касалось новоучрежденных органов надзора. В полном соответствии с принципом «доверяй, но проверяй» царь давал ход большинству фискальных доносов только после того, как их правильность была удостоверена специальными гвардейскими розыскными канцеляриями. С течением времени канцелярии утвердились не только в качестве следственных отделов при органах надзора, но и в качестве самостоятельных институтов внесудебной расправы. Этому расширению компетенции способствовала передача в их ведение с 1713 г. дел о коррупции высокоранжированных чиновников. В особенности их роль окрепла в 1715 г., когда дела о «похищении казны» были причислены к разряду преступлений по «слову и делу» и одновременно выведены из сферы деятельности Преображенского приказа. Вскоре явились и первые плоды: так, например, розыск, проведенный в Сибири гвардейскими комиссиями И.И. Дмитриева-Мамонова, А.И. Ушакова и В.В. Долгорукова, увенчался громким разоблачением и казнью в 1719 г. сибирского губернатора кн. М.П. Гагарина³³. Аналогичным образом работа следственной бригады, составленной, по показаниям Фоккеродта, «из одних гвардейских офицеров», привела к вынесению приговора сиятельным коррупционерам, окопавшимся в самом эпицентре власти. Выведенные на чистую воду расхитители и мошенники, как полагал иностранный дипломат, по совокупности совершенных ими преступлений заслуживали самой суровой кары. Поэтому царь поступил «еще очень милостиво, велевши двух сенаторов погладить по языкам раскаленным железом... и сослать их в Сибирь, петербургского вице-губернатора наказать всенародно кнутом, одного из господ Адмиралтейства, так же, как и начальника над зданиями... тоже кнутом, а у князя Меншикова и великого адмирала Апраксина поопорожнить карманы»³⁴. По-видимому, акцент, ко-

торый был сделан в рассказе Фоккеродта на исключительно гвардейском составе следственной комиссии, не случаен. Он отражал репутацию подобных следственных групп как неподкупных и добросовестных формирований, категорически отвергавших сокрытие правонарушений или мирволение преступнику. Если работа фискалов в этом отношении часто вызывала справедливые нарекания — достаточно напомнить о вскрывшемся в 1722 г. лихоимстве знаменитого А.Я. Нестерова, — то гвардейцы были вне подозрений. В порядке развития этой мысли следует предположить, что работа гвардейцев на посту государственных контролеров была одним из важнейших факторов, прокладывавших путь к общественному восприятию государства как центра силы, равно удаленного от всякого частного гешефта и неотвратимо карающего нарушителя закона, невзирая на лица, титулы и звания.

Однако наиболее концентрированным выражением руководящей и направляющей роли частей регулярной армии в петровской системе стало освидетельствование результатов переписи податного населения, произведенной вначале силами областных властей. Этим целям служили полковые дворы, а также переписные канцелярии, составленные из военнослужащих. Затягивание процедуры ревизии превращало такие органы из краткосрочных в стационарные. Открытые в 1722 г. переписные канцелярии продолжали функционировать и в 1728 г.³⁵ Укрепившись на месте, они образовали вторую, параллельную гражданской, систему администрации. Пользуясь положением фаворитной группы, к тому же располагая отрядами оперативного реагирования в лице воинских команд дисктриктов, переписчики с молчаливого согласия правительства подчинили себе провинциальных воевод (во всяком случае, они адресовались к ним «указами», в то время как те отвечали «доношениями»)³⁶. Помимо своего прямого назначения, переписные канцелярии вскоре завладели решающими полномочиями по борьбе с голодом, уловными преступлениями, крестьянскими побегам, нарушениями в работе местной администрации. Известно, что подчиненный «пионера» переписного дела генерал-майора С.Я. Волкова — полковник Стогов, выявив в великолуцкой провинции расхищение казенных денег, незамедлительно произвел арест

воеводы и камерира³⁷. Таким образом, засланный в провинцию офицер или солдат переписной канцелярии в полной мере ощущал себя государственным человеком, призванным вершить ту справедливость, которую декларировал своими устами сам Отец Отечества: «...смотреть того, чтобы недостойному не дать, а у достойного не отнять»³⁸.

Забота об интересах армии и государства целиком и полностью направляла действия военных при сборе сведений о реальном количестве ревизских душ. Однако правда и то, что встреченное на местах сопротивление заставляло их часто обращаться к террористическому устрашению слушников. По словам Богословского, «неразлучным спутником переписчика стал палач, а вместе с переписными канцеляриями по всей России усиленно заработали застенки». Взыскание крупных денежных штрафов с помещиков и приказчиков за утайку ревизских душ стало самой обычной практикой. В отдельных местностях драгуны и солдаты устраивали настоящие облавы на дворян, давших ложные показания о количестве крепостных душ. Таких нарушителей забирали из домов с женами и детьми, помещая их под караул, а в случае их последующего заперирательства — подвергали пыткам³⁹. Вместе с тем деятельность канцелярий не ограничивалась установлением подлинного количества плательщиков подушной подати. Как отмечает М.М. Богословский, она вылилась в кампанию, напоминавшую старые смотры и разборы⁴⁰. Поставив фискальные интересы неизмеримо выше любых частновладельческих и даже сословно-групповых, верховная власть дала своим военным ревизорам санкцию на переформатирование отдельных социальных категорий. Характерно, что в результате этого перебора тягловцев пострадали феодальные собственники. По ходу ревизии упразднился институт холопства: «дворовые» и «деловые» люди были положены в подушный оклад, наравне с прочими категориями крестьян⁴¹. Податная реформа, произведенная силами военных, перекрыла канал закрепощения однодворцев и половников, к которым давно тянулись жадные руки помещиков⁴², а также пресекла попытки вторичного обращения в неволю холопов-отпущенников⁴³.

Наконец, отныне переселять крепостного из одного своего

имения в другое помещик мог только с уведомления полкового начальства⁴⁴. В угоду государственным интересам указом от 28 мая 1723 г. военным ревизорам разрешалось оставлять беглых крестьян, нанявшихся на мануфактуру, на новом месте проживания при предприятии с сохранением формальной владельческой принадлежности⁴⁵. В стремлении сберечь фонд налогоплательщиков государственная власть не отступала и перед реквизициями излишков хлеба у помещиков: во время эпидемий и голода 1721—1724 гг., охвативших ряд регионов страны, руками воинских чинов господское добро частично перераспределялось в пользу голодающих⁴⁶. Из тех же соображений с 1719 г. местным властям предписывалось брать под наблюдение помещиков на предмет выявления среди них беспутных прожигателей состояния и разорителей крестьян, а в случае обнаружения таковых передавать их поместья в управление ближайших сородичей⁴⁷. С учетом вовлечения в эту работу воинских контингентов такая угроза становилась вовсе нешуточной.

Итак, проведение ревизии, наряду с активнейшим подключением военнотружеников к областному администрированию, приводило к нарушению полноты помещичьей власти над крестьянским сообществом. Впервые между фигурой помещика и крестьянским миром вырастала могущественная третейская власть, требовавшая первым долгом отдать «кесарю кесарево» и только потом устраивать собственные дела. Разумеется, сыск беглых и жесткое прикрепление тяглов к постоянному месту жительства, осуществлявшиеся по ходу введения подушной подати, удовлетворяли давнее чаяние помещика об упрочении своих владельческих прав, однако ни в коей мере не окупали тех издержек, которые он нес вследствие бесцеремонного вторжения сторонних сил в сферу его бывших прерогатив. Беззащитность дворянского общества перед непрошеным посредничеством усугублялась запустением провинций и уездов из-за отлива дворян на государственную службу. А изредка наезжавшие домой служащие дворяне теперь были более чем когда-либо разобщены: прежние дворянские дружины, удерживавшие сильные горизонтальные связи на местном уровне, были растасованы и заменены полковой организацией регулярной армии, являвшейся «собранием разносословных частиц»⁴⁸.

Разумеется, задачи социального управления и арбитража, фактически решаемые военными ревизорами, требовали высокой профессиональной компетентности, которой тем часто не доставало. Вопросы переоформления состава, унификации словесных групп, переселенческой политики решались порой механически и формально, что в особенности было заметно при разборе посадского населения⁴⁹. По тонкому наблюдению историка Ю.В. Готье, областные учреждения Петра I нуждались в новой породе людей, которой в России не было даже при Екатерине II⁵⁰. Тем не менее в нашем распоряжении имеются неопровержимые доказательства того, что военные администраторы выполняли свой долг, не покидая почвы присяги, предоставленных им полномочий и непредвзятого отношения ко всем категориям своих подопечных. На это указывали бесчисленные обращения местных жителей к военным командирам по поводу улаживания междоусобных споров, защиты от «мироедов», поимке воров и разбойников. А самым убедительным аргументом полезности военных являлось «голосование ногами» местных жителей в пользу суда и следствия на полковом дворе, а не в воеводской канцелярии⁵¹.

Проведение ревизии не прошло бесследно и для самих военных. Миссия устроителя социального порядка, наделенного высочайшим доверием и престижем, означала полнейший разрыв с теми социальными позициями, в которых индивид был задействован до своего поступления на военную службу. Укрепление военного в этой новой роли обуславливалось также болезненными социальными смещениями, которые он вольно или невольно порождал внутри конгломератов гражданского населения. Поместное дворянство, подвергнувшееся действию репрессивного механизма, городские и сельские общины — действию сглаживающего катка военной машины, потенциально составляли не слишком дружественную среду для субъектов следственных процессов и ревизионной кампании. В свою очередь, для последних это обстоятельство создавало сильнейшую мотивацию к сохранению статус-кво в обществе и поддержанию тесной сплоченности в своих рядах. Тем самым вопрос о необратимости состоявшихся изменений, который остро вставал перед царем на закате его дней⁵², получал автоматическое разреше-

ние. Не случайно иностранцу, описывавшему ситуацию в обществе после смерти Петра I, среди массы расправивших плечи стародумов в первую очередь бросались в глаза гвардейцы — ревностные хранители петровских заветов⁵³.

Впрочем, залогом последующего возобновления петровской системы служило все военное строительство царя-реформатора. Присмотримся к нему поближе.

1.3. Военное строительство Петра I в контексте социальных изменений долгосрочного характера

Точкой отсчета в создании регулярной армии можно считать 1699 г., когда был объявлен призыв «даточных» людей — по существу, первый в России набор рекрутов — поставляемых податными сословиями воинов. Первоначально к решению этой задачи привлекались землевладельцы, которым предписывались новые и довольно жесткие требования. Служилые по отечеству были обязаны обеспечить не менее чем по одному воину с 50 крестьянских дворов, а служащие по московскому списку — дополнительно представить по одному даточному коннику со 100 дворов. Гражданские служащие выставляли по одному человеку с 30 дворов, а именитые люди Строгановы и духовенство — одного человека с 25 дворов¹. Забору в рекруты подлежали преимущественно холопы и дворовые люди феодальных владельцев. Как это было принято и ранее, владельцы должны были обеспечить экипировку и содержание сданных государству воинов. Новым явлением было лишь то, что на этот раз даточные люди не подлежали возвращению своим хозяевам по истечении срока службы, а навсегда поступали в распоряжение государства. С началом Северной войны они были полностью уравнены по юридическому статусу с воинами, набранными из вольницы².

С 1705 г. рекрутские наборы становились систематическими, а ответственность за выделение рекрутов перекладывалась с землевладельцев на городские и сельские общины. В 1705 г. норма поставки рекрутов возросла до одного человека с 20 дворов. Вместе с тем дворянство полностью не отстранялось от участия

в рекрутском наборе: за ним закреплялся контроль над общинным сбором воинов. А для тех, кто не мог обеспечить требуемого количества, норма поставки удваивалась. В дополнение к этому владельцы имений должны были подготовить по одному кавалеристу с 80 дворов³. Только из среды сельских жителей к 1711 г. в армию были отправлены 139 тыс. человек⁴.

В отличие от предшествующего времени, когда даточные служили во вспомогательных войсках, теперь они становились основной вооруженной силой — солдатами регулярной армии. Заботы об их содержании, обучении, применении брало на себя государство. Поскольку рекрутская повинность являлась общинной, выбор кандидатов и очередность участия семей в отбывании повинности определяла община. Военная служба была пожизненной: сданный государству рекрут выбывал из прежнего социального состояния и, по сути дела, навсегда прощался со своей малой родиной и сородичами. Вплоть до начала XIX в. было не принято сообщать родным о смерти или об увечье солдата. Близкие заранее горевали о новоиспеченном «служивом», как о покойнике, а соседи собирали отбывавшему денежную подмогу в размере 150—200 рублей. Отправлявшийся в неизвестность новобранец нередко пытался свернуть с дороги, поэтому рекрутов заковывали в колодки и везли в своеобразные приемники-распределители, так называемые «станции», откуда спустя некоторое время препровождали к месту службы. Во избежание побегов рекрутов с 1712 г. им на левой руке иглой делали специальные наколки и натирали порохом — по такой метке беглый мог быть опознан и задержан в любой местности⁵. В середине XVIII в. этот обычай был заменен обриванием волос на передней части головы (отсюда пошло выражение «забривать лбы»).

Другим источником комплектования армии являлся прием волонтеров — «вольницы» из так называемых «вольных гулящих людей». Под эту категорию подпадали беглые холопы, крепостные, вольноотпущенники. Государство шло навстречу их желанию служить в армии, поступаясь тяглом, но приобретая взамен солдата. Уже в первый набор 1699 г. из вольницы было поверстано в службу 276 человек⁶. В дальнейшем их при-

ток неуклонно возрастал вплоть до второй половины XVIII в., когда таких соискателей перестали принимать в армию⁷.

Третьим постоянным каналом пополнения вооруженных сил была мобилизация дворянского сословия на военную службу. В отличие от податных сословий, для которых рекрутская повинность носила общинный, но не личный характер, дворянство было привлечено к личной поголовной и пожизненной службе.

Для того чтобы отчасти облегчить дворянскую службу, отчасти обеспечить ей более престижный характер, дворянство преимущественно направлялось в гвардейские части. Гвардия — то есть элитные воинские части, предназначенные для охраны царской семьи, дворца и для участия в ответственных боевых операциях, в первой четверти XVIII в. была представлена Преображенским и Семеновским полками. В 1719 г. был основан Лейб-режимент, предназначенный к тому, чтобы стать аналогом пехотным Семеновскому и Преображенскому полкам в кавалерии. Новое соединение полностью комплектовалось из шляхетства⁸. Наиболее мощным соединением был Преображенский полк в составе четырех батальонов, а также гренадерской и бомбардирской (артиллерийской) рот. Семеновский полк состоял из трех батальонов, гренадерской роты и команды пушкарей. Эти полки служили образцом при создании частей полевой армии в конце XVII — начале XVIII в., а некоторые их офицеры уже с чинами армейских генералов занимались обучением армейского контингента военнослужащих. Кроме того, на базе двух гвардейских полков в это время были развернуты военные учебные заведения. Бомбардирская школа — по существу, первое в России артиллерийское училище — в Преображенском полку и Инженерная школа в Семеновском.

Военная реформа первой четверти XVIII в. создала регулярную армию, численность которой достигла 210 тыс. человек (по отношению к численности гражданского населения в стране — 1,3%). Ее основу составляла пехота. Главной единицей был полк, состоявший из двух батальонов, а те, в свою очередь, делились каждый на четыре роты.

При поступлении на службу военнослужащие давали воинскую присягу и подпадали под императивную власть военной дисциплины и порядков. Нарушения норм военной жизни пре-

следовалось самым суровым образом. Военнослужащим в этом случае могли угрожать разжалование, клеймение, шельмование (то есть наказание с позорящими элементами, которое влекло за собой лишение гражданских прав), битье розгами (батогами), прогон сквозь строй с наказанием шпицрутенами, наказание фухтелями (удары по спине плащмя саблей или шпагой), децимация (расстрел каждого десятого в строю, применялся в случае тяжких коллективных преступлений), смертная казнь. Применение телесных наказаний в армии было ограничено только в 1846 г.

Воинская повинность ложилась тяжелой ношей на все условия. Вместе с тем рискнем заметить, что в наибольшей степени она давила на дворянство, ломая привычные устои его жизни. Так, к началу Северной войны служилый характер поместья был уже не более чем фикцией. По образному выражению И.Т. Посошкова, дворянство хотело «великому государю служить, а сабли б из ножен не вынимать»⁹. Даже в 1714 г., когда военная фортуна окончательно перешла на российскую сторону, однообразное домоседство прельщало дворян больше, чем романтика боевых приключений. С великим скрипом государство набирало и ставило под знамена свой кадровый костяк. Показательна в этом плане история царского указа от 1711 г. о смотре служилых по московскому списку и городских дворян в г. Белгороде. Стремясь правдами и неправдами отделаться от докучливой повинности, призывники и их покровители из местной администрации вступили в оживленную переписку с центральными учреждениями: посыпались ссылки то на старую практику замены личной службы денежным взносом, то на разрешение вместо себя выставять даточных людей. В конце концов, раздраженный Сенат перешел к угрозам применения силы по отношению к «нетчикам». Тем не менее неустрашимые саботажники продолжили игру в прятки¹⁰.

Заставить дворянина навсегда сменить домашний шлафрок на военный мундир возможно было, только поместив его в перекрестие разных форм давления: силовых приемов, моральных и материальных стимулов, правовых санкций. В это «аккордное» воздействие входили указы о единонаследии от 1714 г. и разрешение приобретать недвижимость по выработке опреде-

ленного стажа общественно полезной деятельности, выталкивавшие молодых дворян на государственную службу. Однако в любом случае в системе мер, воздействующих на дворянство, преобладал язык ультиматумов и насилия. До известных пределов эта метода была эффективной. Если в середине XVII в. в армии числилось 16 980 дворян, то в начале XVIII в. — 30 тыс.¹¹. Разница в цифрах происходила не только и не столько от естественного прироста корпуса служилых по отечеству, сколько от всеохватывающего государственного учета и контроля над отбытием дворянами воинской повинности.

С 1710 г. на губернаторов возлагалась обязанность по организации смотров дворянских недорослей, составлению списков пригодных к действительной службе и доставке их в Москву¹². В 1711 г. к поискам «нетчиков» и уклоняющихся от службы привлекались сыщики, рвение которых подогревалось вознаграждением из имущества выявленного правонарушителя¹³. А указом от 1722 г. царь вообще угрожал полной конфискацией имущества тем, кто отказывался явиться на службу¹⁴. Для отыскания упорствующих «уклонистов» поощрялось и доношительство крепостных людей.

Ужесточение норм дворянской службы шло сразу по нескольким линиям. Во-первых, по линии снижения призывного возраста с 16 лет до 13—14¹⁵. Во-вторых, по линии замены периодического исполнения воинского долга постоянным пребыванием на службе. В-третьих, по линии максимально полной мобилизации на службу. Наибольшее неудобство, однако, заключалось в том, что эти требования создавали угрозу экономическим основам существования дворянства. Оставшиеся без хозяйского попечения имения быстро приходили в упадок либо служили обогащению приказчиков. А попытки организовать более основательный контроль влетали дворянину в копеечку. Мемуарист XVIII в. М.В. Данилов рассказывал о своем родственнике, солдате Семеновского полка, которому в обмен на получение срочного отпуска домой каждый раз приходилось отстегивать благодетелю — полковому секретарю «малые деревенские гостинцы» в виде дюжины крепостных душ¹⁶. Нечего говорить, что подобная тяга к домостроительству пробивала серьезные бреши в дворянском бюджете.

Установив служилый статус феодального землевладения, власть позаботилась и о том, чтобы посредством земельных раздач и конфискаций повысить качество дворянской службы. Так, например, за добросовестное исполнение воинского долга в пехотных и кавалерийских полках при Петре Великом получили поместья 34 иностранных полковника. А по неполным данным за первую половину XVIII в., обширные земельные владения были розданы 80 лицам, причем наивысшая интенсивность раздач совпала по времени с созданием и «обкаткой» регулярной армии в 1700—1715 гг.¹⁷. Подобно тому, как наделение земель с крестьянами поощряло энтузиазм на служебном поприще, земельные конфискации, производившиеся через специальное учреждение — Канцелярию конфискации, служили радикальным средством расчета с теми, кто отказывался следовать правительственным директивам. Лишь за первую половину XVIII в., по неполным данным, были ослаблены отпиской либо вовсе ликвидированы 128 владений; при этом только у восьми владельцев за этот период времени было отобрано 175 тыс. крепостных крестьян¹⁸. Политика Петра Великого целенаправленно подрывала полуавтономное положение дворянства в социальном порядке и вовлекала его в полезную деятельность строго по правилам, предписанным верховной властью.

В этом отношении следует признать не слишком убедительным взгляд на этот предмет, который утвердился в отечественной историографии. Исходя из представления о самодержавии как органе диктатуры дворянства, советская историческая наука в свое время затратила немало усилий для того, чтобы подогнать под ту же схему и деятельность Петра I. В частности, в качестве иллюстрации тезиса о «классовом неравенстве» и «эксплуататорском обществе», упрочившихся при Петре I, приводился факт получения первого офицерского чина половиной дворянских служащих либо при поступлении в армию, либо через год после начала службы¹⁹. Под тем же углом зрения освещалось и сравнительно медленное насыщение командной верхушки русской армии выходцами из податных сословий²⁰. Некоторые авторы акцентировали внимание на высказывавшихся Петром I соображениях о том, чтобы «кроме гвардии, нигде дворянам в солдатах не быть», «нигде дворянским детям снача-

ла не служить, только в гардемаринах и гвардии», о преимущественном зачислении в морскую гвардию царедворцев (то есть бывших служащих по московскому списку)²¹. Определенную дань этим оценочным суждениям отдал и английский исследователь Дж. Кип. По его мнению, установленная при Петре I процедура баллотирования соискателей офицерского звания в офицерском собрании полка позволяла скрытым консерваторам сдерживать карьерный натиск со стороны своих сослуживцев неблагородного происхождения²². Однако такой подход представляется все же односторонним и предвзятым.

Даже при том, что Петру I, скорее всего, было безразлично, с каких стартовых позиций начинали свой служебный путь отпрыски благородных родов, а у защитников дворянских привилегий имелись определенные способы затормозить восхождение к высоким чинам ретивых «подлорожденных», вектор социального отбора на военной службе определялся не личными пристрастиями отдельных лиц, будь то даже сам царь. Решающим фактором был спрос поднимающейся армии и молодой державы на эффективные кадры, из каких бы страт они ни исходили. Что касается использования дворянского потенциала, то весьма разборчивое отношение к нему явственно обозначилось уже на этапе становления регулярной армии. Лишь шесть тыс. из 30 тыс. числившихся на военной службе дворян вошли в состав высшего командного звена. А остальные, то есть основная масса, подвизались рядовыми и младшими командирами в пехоте и коннице²³. Наконец, призвав под знамена молодую дворянскую поросль, власть вовсе не собиралась делать для нее послаблений. Перспектива выйти в офицеры большинству улыбалась не ранее чем через 5—6 лет службы в солдатах, что ставило их на одну ступень с бывшими холопами и крепостными. Вместо искусной имитации ратных трудов, когда дворянские ополченцы прежних времен во время боя отсиживались в лоццинах, либо гнали впереди себя боевых холопов, либо подставлялись под легкое ранение ради почетного комиссования, теперь предлагалось реальное участие в боевых операциях, без подставных фигур и театральных эффектов. На протяжении всех войн петровского времени в повышенный тонус дворянство приводили царские распоряжения, звучавшие как грозный

окрик для балованных чад знатных родителей. Так, в 1719 г. царь строго-настрого указывал, чтобы дети дворян и офицеров, не служившие солдатами в гвардии, «ни в какой офицерский чин не допускались», а также чтобы «чрез чин никого не жаловать, но порядком чин от чину возводить»²⁴. Эта же установка, облеченная в форму закона, повторялась и в Табели о рангах (пункт 8). Выказывая уважение к аристократическим титулам, законодатель все же настаивал на абсолютном приоритете чина и ранга, достигнутого на службе, над всеми прочими знаками достоинства: «...однако ж мы для того никому какова рангу дать не позволяем, пока они нам и отечеству никаких услуг не покажут, и за оные характера не получат»²⁵.

Твердое намерение власти в отношении служилого дворянства состояло в том, чтобы поставить его в авангарде своих начинаний, установив соответствующую меру спроса. Принцип возрастающего наказания по мере повышения в чине и социальном статусе декларировался и в Воинском артикуле: «Коль более чина и состояния преступитель есть, толь жесточае оной и накажется. Ибо оный долженствует другим добрый приклад подавать и собой оказать, что оные чинить имеют»²⁶. Таким образом, Петр I активно старался учесть в нормативных актах высказывавшееся им в частных беседах мнение о том, что «высокое происхождение — только счастливый случай, и не сопровождаемое заслугами учитываться не должно»²⁷.

Иностранные дипломаты с немалым изумлением наблюдали за тем, как неукротимый царственный воспитатель расправлялся с нерадивыми сиятельными воспитанниками. За проигранное в начале июля 1708 г. сражение под Головчиным молодой генерал от инфантерии А.И. Репнин был разжалован в рядовые и только в конце сентября 1708 г., сражаясь в качестве «штрафника» на передовой позиции в битве при Лесной, он смог вернуть утраченные права. В 1711 г. за проволочку в выполнении приказа царя о поставке в армию рекрутов и лошадей, наравне с подлорожденными преступниками, были брошены в яму сразу три губернатора (московский Т.Н. Стрешнев, сибирский М.П. Гагарин и архангелогородский П.А. Голицын)²⁸. А в 1715 г. из-за недополученного армией финансирования пострадали еще несколько высокоранжированных чинов-

ников: вице-губернатор Петербурга Я.Н. Корсаков, адмирал-тейский советник А.В. Кикин и некоторые другие²⁹. По мнению иностранцев, именно дворянство в наибольшей степени испытало на себе тяжелую длань окрепшего самодержавия: Петр I «подлинно заставил своих дворян почувствовать иго рабства: совсем отменил все родовые отличия, присуждал к самым позорным наказаниям, вешал на общенародных виселицах самих князей царского рода, упрятывал детей их в самые низкие должности, даже делал слугами в каютах»³⁰. Впрочем, петровская перестройка коснулась не только тех дворян, которые отбывали службу, но и престарелых ветеранов, находившихся на покое: невзирая на «страдания и вздохи», как писал Фоккеродт, царь переселил их в Петербург³¹.

Вместе с тем нетерпимость Петра I к благородным бонвиванам; анахоретам или непокорным отщепенцам еще не означала замаха на изменение сословной структуры общества. Петр I не был антидворянским царем, точно так же, как он не являлся и продворянским монархом. Поэтому, с нашей точки зрения, лишено реальных оснований предположение о том, что в промежутке между 1700 г., когда были разрушены старые служилые корпорации, и 1710 г., когда законодательно начинают регулироваться права дворянства, царь мог отменить главную дворянскую привилегию на владение крестьянами, однако упустил этот исторический шанс³². Такая постановка вопроса непроизвольно сближает его с плеядой позднейших «кремлевских мечтателей». Но она слабо стыкуется с реальным образом действий крупнейшего из «аберрантов», который теоретически, возможно, и располагал потенциалом, достаточным для отмены крепостного права. В то же время эта акция в корне противоречила бы сугубо прагматической заданности реформ и образу мыслей самого реформатора, попросту не замечавшего изъянов в той или иной модели отношений до тех пор, пока она не давала сбоев в удовлетворении государственных запросов. Петр I не изменил сословного деления общества и не посягнул на крепостное право ввиду того, что эти институты представляли собой немалое удобство с точки зрения мобилизации всех наличных ресурсов для выполнения государственных программ. Однако он успешно осуществил другую, более локальную задачу — расши-

рения каналов вертикальной мобильности и внедрения принципов меритократии в процессы социальной селекции и возвышения. Собственно, в этой плоскости как раз и проявилось с наибольшей полнотой «аберрантное» и новое нормоустанавливающее содержание военного проекта Петра I.

В 1695 г. был введен запрет на производство служилых людей в стольники и стряпчие. А в 1701 г., одновременно с началом создания регулярной армии, было приостановлено пожалование в московские чины. В противовес княжеским титулам были учреждены новые графские и баронские, которыми наделялись активные деятели реформ, зачастую совсем неблагородных кровей, а также ордена Андрея Первозванного и Александра Невского, которыми награждали особо отличившихся службистов. Параллельно тому корпус служащих обретал новую структуру, окончательно оформленную в 1722 г. в виде лестницы чинов и рангов³³.

Людей, не погруженных в российскую реальность так глубоко, как подданные Петра Великого, бесконечно удивляла скорость освоения дворянством стандартов поведения, заложенных в чиновной субординации и уставах. Уже в 1709 г. датский посланник Ю. Юль засвидетельствовал глубокое проникновение начал чинопочитания в строй межличностных отношений. По его отзыву, офицеры проявляли подобострастное почтение к генералам, «в руках которых находится вся их карьера»: они падают перед ними ниц на землю, прислуживают им за столом, наподобие лакеев³⁴. Иностранцы связывали этот феномен с личным примером царя, который последовательно прошел все ступени военно-морской карьеры, дослужившись в 1710 г. до звания шаутбенахта. С немалой потехой Юль взирал на те сложные эволюции, которые в 1710 г. прodelывал властелин огромной империи, для того чтобы получить от генерал-адмирала командование над бригаantinaми и малыми судами в предстоящем походе на Выборг³⁵. Датского посланника завораживала и та щепетильная уважительность к вышестоящему по званию и должности, которую неизменно выказывал Петр I. Приказы генерал-адмирала он выслушивал стоя, сняв головной убор, а после того, как приказ был отдан, надевал головной убор и старательно принимался за работу³⁶. Юль подмечал, что,

находясь на судне, царь по собственной инициативе слагал с себя преимущества царского сана и требовал обращения с собой, как с шайтбенахтом³⁷. От внимания иностранцев не укрылся и тот факт, что в многочисленных поездках по стране Петр I выступал не в царском обличье и не под собственным именем, а в звании генерал-лейтенанта, предварительно получив подорожную от А.Д. Меншикова³⁸.

Самоценность офицерского чина, всячески культивируемая царем, подкреплялась и весьма убедительным показом сопутствующих ему прав и льгот. Фактически офицерский чин бронировал для его обладателя место в клубе избранных. Именно такой характер царь пытался придать офицерскому корпусу, неизменно посещая крестины, родины, свадьбы, похороны в домах офицеров, в том числе младших, всегда, когда оказывался поблизости³⁹. Царские резиденции в новой столице отстраивались в окружении жилищ офицерских семей, лишняя раз подчеркивая тем самым тесную взаимосвязь и высокую доверительность отношений. Обязательное включение офицеров в список гостей на придворных торжествах и церемониях, распространение на членов их семей почестей, сопряженных с чином, поручения по управлению отдельными территориями, учреждениями, социальными группами с установлением в ряде случаев верховенства над бюрократическими инстанциями — все это неотвратимо утверждало офицерскую организацию в качестве ведущей референтной группы в общем корпусе государственных служащих. В 1712 г. дворянам с офицерским званием царь приказал называться не шляхтичами, как гражданским лицам, а офицерами, тем самым однозначно поставив принцип выслуги выше принципа благородства по рождению, а офицерское звание выше аристократического титула⁴⁰.

Впрочем, прокламированный государственной властью престиж был не единственным притягательным магнитом, который влек в офицерский корпус любого новичка, вступавшего на стезю карьеры. Кураж молодого службиста серьезно подстегивался материальными стимулами, в особенности много значившими для вчерашних крепостных, холопов, «вольницы» без кола и без двора. Для подавляющего большинства из них с первых же дней армия предоставляла, пусть небезопасное, зато на-

дежное убежище от голода, холода и прочих напастей, подстергавших маргинала на крутых маршрутах жизненного пути. Принимая под свое покровительство весь этот разношерстный сброд, верховная власть и военное командование гарантировали ему крышу над головой, обмундирование и отличное довольствие. Суточная норма солдатского порциона состояла из двух фунтов (820 г) хлеба, фунта (410 г) мяса, двух чарок (0,24 л) вина, гарнира (3,3 л) пива. Кроме того, ежемесячно выдавалось по 1,5 гарнира крупы и два фунта соли. По мере повышения в звании размер порциона возрастал едва ли не в геометрической прогрессии. Так, прапорщику на день полагалось пять таких пайков, капитану — 15, полковнику — 50, генерал-фельдмаршалу — 200. В кавалерии к порциону добавлялся рацион — годовая норма фуражного довольствия для лошади. (Для капитана предусматривалась выдача от 5 до 20 рационов, для полковника — от 17 до 55, для генерала-фельдмаршала — 200.)⁴¹

Солдат петровской армии получал денежное вознаграждение в размере 10 руб. 32 коп. годовых, в кавалерии — 12 руб.⁴². Такое же жалованье выплачивалось в гвардейских частях, однако старослужащие солдаты гвардии получали двойное содержание, а их женам отпускатось месячное довольствие из хлеба и муки⁴³. Денежное жалованье офицера было солидным: поручик зарабатывал 80 руб. в год, майор — 140 руб., полковник — 300, а полный генерал — 3 тыс. 600 руб.⁴⁴. Характерно, что за время петровского царствования жалованье офицерам пересматривалось в сторону повышения пять раз!⁴⁵ Возможность быстро выправить свое материальное и социальное положение определялась тем, что еще по ходу тяжелых боевых действий первой половины Северной войны Петр I ввел порядок производства в офицеры за доблесть и мужество в бою. А уже в 1721 г. специальным указом царя было узаконено правило включения обер-офицеров с их потомством в состав дворянского сословия⁴⁶. Годом позже этот принцип был закреплен в Табели о рангах: отныне любой военнослужащий, достигший первого обер-офицерского звания прапорщика, обретал права потомственного дворянства.

Революционное значение этих новаций в полном объеме можно оценить лишь с учетом того факта, что по каналам рек-

рутчины и вольного найма в армию вливались социальные потоки, безнадежно забракованные в своих прежних популяциях. Крестьянская община, занимавшаяся с 1705 г. раскладкой рекрутской повинности, очень быстро превратила ее в каналizationsонный сток для девиантов, являвшихся бельмом на глазу у сельского мира: пьяниц, бузотеров, тунеядцев, воров, сутяг. Эту тенденцию всячески поддерживала и поместная администрация, требовавшая избавления поселений при помощи рекрутчины от людей с уголовными наклонностями и неуживчивым характером. Другим элементом, который сельские власти старались сбить с рук, являлись нетяглоспособные крестьяне, рассматривавшиеся как балласт при распределении налогов и повинностей внутри общины⁴⁷. Еще более клейменная публика притекала в армию через прием разгульной «вольницы», впитывавшей в себя наиболее криминогенный субстрат. Собрав под военными знаменами социальных париев, армия не только вывела их из социального тупика, но и вручила им мандат на неограниченный рост в чинах и званиях. Это решение принесло абсолютный выигрыш как обществу, частично разгрузившемуся от деликвентного переизбытка, так и армии, получившей в свое распоряжение мощный костяк из людей, готовых поставить на кон собственную жизнь ради шанса вырваться из приниженного социального положения. Уже к концу Северной войны в руководящем составе русской армии, главным образом в пехоте, насчитывалось 13,9% выходцев из податных сословий. 1,7% они составляли в командной верхушке самого аристократического рода войск — кавалерии⁴⁸. А в элитных гвардейских полках — Семеновском и Преображенском, их удельный вес достигал 56,5% (в рядовом составе он доходил до 59%, а среди унтер-офицеров — 27%)⁴⁹. Людей, выбившихся в начальники благодаря личному упорству и стараниям, в армии позднее стали называть «бурбонами»: всем, что имели, они были обязаны государственной власти и армии, поэтому были готовы беззаветно служить и той и другой до последнего вздоха.

Достигаемый статус облегчался и тем, что широкая кость простолюдина, закаленного дарвинизмом своего прошлого существования, была лучше, чем тонкая дворянская «косточка», приспособлена к тем перегрузкам, которые падали на сражаю-

щуюся армию молодой державы. Ю. Юль, наблюдая русскую армию в различных перипетиях ее боевой деятельности, выделял как две стороны одной медали, склонность к буйству, проступавшую в особенности на оккупированной территории в моменты ослабления начальственного контроля, и готовность к одолению любых препятствий при исполнении приказов командования⁵⁰.

Помещенное в общую среду обитания с «отбросами» общества и сферу действия единых стандартов службы, родовое дворянство испытало тяжелый психологический шок. Отголоски сильнейших переживаний и злопыхательства по этому поводу доносились из аристократических кабинетов и гостиных и в конце XVIII в. Тираническим произволом княгиня Е.Р. Дашкова считала приобщение дворян к азам рабочих профессий на службе, так как это уничтожало разницу между благородной и плебейской кровью⁵¹. А просвещенный консерватор М.М. Щербатов усматривал величайшую несправедливость в том, что «вместе с холопами ... писали на одной степени их господ в солдаты, и сии первые по выслугам, пристойных их роду людям, доходя до офицерских чинов, учинялися начальниками господам своим и бивали их палками»⁵². Однако именно в этом, доселе незнакомом дворянству ощущении зависти и ревности к успехам своих «подлорожденных» сослуживцев был сокрыт могучий источник социального преобразования. Если указы, насылавшие кары за отлынивание дворянства от дела, обеспечивали его физическую явку в воинские части, то совместная служба с напивавшими простолюдинами навязывала соревновательную гонку. Иными словами, пробуждала в любом дворянине начала здоровой конкуренции и карьеризма, которые пребывали в дремотном состоянии вследствие закоренелой местнической традиции. Ведя коварную игру на грани «фола» с привилегиями старинного шляхетства, петровская практика ставила его перед необходимостью подтверждения нелегкими трудами своего первенствующего положения среди остальных сословных групп. Острота ситуации заключалась в том, что состязательная борьба требовала от дворянства, переступая через свое естество, перенимать те качества, которые обуславливали высокую конкурентоспособность армейских «бурбонов»: отвязан-

ную смелость вчерашнего подранка, стойкое перенесение невзгод, быструю практическую обучаемость, мощный посыл к ускоренному движению вверх по лестнице чинов.

Тонкий расчет, заложенный в петровскую программу подготовки и переподготовки кадров, видели и понимали некоторые из наиболее проницательных политических «обозревателей». Дипломатический агент австрийского двора О.А. Плейер в 1710 г. доносил своему государю о чудодейственном средстве, изобретенном русским царем для максимизации отдачи от своих военнослужащих. По его словам, наказывая нерадивых и публично вознаграждая храбрых и добросовестных, «он внушил большинству русских господ самолюбие и соревнование да сделал еще и то, что, когда они теперь беседуют вместе, пьют и курят табак, то больше уже не ведут таких гнусных и похабных разговоров, а рассказывают о том и другом сражении, об оказанных тем или другим лицом хороших и дурных поступках при этом, либо о военных науках»⁵³. Датский посланник Ю. Юль, внимательно следивший в 1709 г. за учениями русских пехотинцев, признавал, что они могут дать фору любому европейскому войску⁵⁴. В письме к коллеге в Дании дипломат писал, что «датский король давно бы изменил политику, если б имел верные сведения о состоянии царской армии»⁵⁵. А после Прутского похода он во всеуслышание заявлял, что не знает другой армии, которая выдержала бы все неисчислимые бедствия, выпавшие на долю русских солдат и офицеров во время этого злключения⁵⁶. Вывод Юля подтверждал его личный секретарь Р. Эребо, пораженный общностью нестерпимых лишений, которые делили все участники похода — от первых генералов до последнего рядового. В качестве иллюстрации к беспредельной выносливости русской армии Эребо приводил обеденное меню из «блюда гороха с пометом саранчи, постоянно в него падавшим», которым благодарно довольствовались на марше русские генералы⁵⁷.

Однако, пожалуй, самым оглушительным было впечатление, произведенное русским воинством на шведов. Переоценив значение своей победы под Нарвой в 1700 г., Карл XII переключил внимание на других участников антишведской коалиции и упустил из виду рыбок, проделанный русским противни-

ком между 1700—1709 гг. Недоумение от увиденного под Полтавой, похоже, не изгладилось у шведских военачальников и сто семьдесят с лишним лет спустя. В докладе о походе Карла XII в Россию, сделанном в 1892 г. на заседании стокгольмской Академии военных наук, министр обороны генерал А. Раппе отчасти пытался оправдать самого воинственного шведского короля, не сумевшего сразу распознать военный гений Петра I и запас сил его армии: «Да и кто догадывался в то время, что во главе царской державы стоит самый могучий дух, который когда-либо родила или может родить Россия», — патетически возглащал шведский военачальник⁵⁸. Взяв на вооружение сильные стороны каролинской армии — динамичное наступление с непрерывным движением и ведением огня, а также кавалерийскую атаку в сверхплотном строю — «колени за колени», по оценке шведских историков, русская армия сравнялась со шведами в технике боя. В то же время она превзошла шведов волей к победе и профессиональной ответственностью. Несовпадение в конечном «выходе» той и другой армий было тем более разительным, что в технологии их строительства было немало схожего. Подобно тому, как это было заведено Петром Великим, шведская армия еще с XVII в. комплектовалась за счет поселенной рекрутской системы, при которой поставки солдат и содержание армии были возложены на гражданское население. Так же, как это позднее произошло и в России, в угоду военным потребностям государства в Швеции были урезаны привилегии дворян. В 1680 г. была произведена редукция дворянских земельных владений и упразднены их имунитетные права. В 1712 г. на дворян был распространен чрезвычайный поимущественный налог⁵⁹. Кроме того, Карл XII, прирожденный воин, умел возбудить в своих подданных страсть к военному ремеслу и жажду военных трофеев⁶⁰. Однако участие в боевых операциях не открывало никаких новых социальных перспектив перед лично свободным шведским крестьянином и тем более перед дворянином, а по мере затягивания войны вообще воспринималось как бессмысленное и неблагодарное занятие. Совсем иначе дело пошло в России. Установив, с одной стороны, сверхвысокие ставки вознаграждения за доблестный ратный труд, и сверхвысокие риски утраты всех прав за его профа-

нацию, с другой стороны, Петр I создал между этими полюсами поле напряженности, в котором буквально кристаллизовались военные таланты.

Примечательно, что выдержавшее экзамен на социальную и профессиональную пригодность дворянство не только не воздвигло хулы на преобразователя, но и внесло решающую лепту в романтизацию эпохи и создание культа Петра Великого. Идея метаморфозиса, или преобразования под действием преодоленных трудностей, явно или имплицитно вошла в дворянское понимание человеческой ценности. Об этом свидетельствуют многочисленные высказывания и поступки деятелей петровской и послепетровской эпохи. Так, получая в 1721 г. назначение на рискованное, если не сказать зловещее, место российского резидента в Стамбуле, морской офицер И.И. Неплюев бросился благодарить царя за оказанное доверие. Вот как он сам впоследствии описывал свой порыв: «Я упал ему, государю, в ноги и, охватя оные, целовал и плакал»⁶¹. А еще через некоторое время он писал с нового места службы своему покровителю Г.П. Чернышову: «Ныне же нахожусь... отпуская ... курьера и во ожидании — как мои дела приняты будут, в безмерном страхе, и, если оные, к несчастью моему, не угодны окажутся его императорскому величеству, то поистине я жить более не желаю»⁶². Несколько десятилетий спустя, отправляя этого сановника по его собственному желанию на заслуженный отдых, императрица Екатерина II попросила его кого-нибудь рекомендовать на свое место. На это престарелый ветеран прямодушно ответил: «Нет, государыня, мы, Петра Великого ученики, проведены им сквозь огонь и воду, иначе воспитывались, иначе мыслили и вели себя, а ныне иначе воспитываются, иначе ведут себя и иначе мыслят; итак я не могу ни за кого, ниже за сына моего ручаться»⁶³. Позицию младших «птенцов гнезда Петрова» очень точно отражало и сообщение В.А. Нащокина, начавшего свою военную карьеру в 1719 г., о горьких сетованиях его юных сослуживцев на то, что они застали лишь финал героической эпохи, в то время как их отцы сложились и возмужали в ней: «Блаженны отцы наши, что жили во дни Петра Великого, а мы только его видели, чтоб о нем плакать»⁶⁴.

Несомненно, процесс перевоспитания личности, или попросту,

говоря словами самого Петра I, «обращения скотов в людей»⁶⁵, проходил через всю систему социальных связей и положений, в которые помещался военнотружущий. Алфавитную грамоту взаимодействия с непохожим на себя социальным субъектом дворянин усваивал из военного законодательства. Еще в 1696 г. указами царя офицерству воспрещалось пользоваться трудом нижних чинов в личных целях. Для услужения офицерам в приватной жизни вводился институт денщиков⁶⁶. Разрешив в 1716 г. вольные работы для нижних чинов, закон обязал офицера первоначально испросить на это согласие высших командиров и по окончании работ обеспечить их оплату⁶⁷. Военский артикул 1715 г. вводил особую шкалу санкций за превышение полномочий в обращении с подчиненными. За отдачу приказа, не относящегося к «службе его величества», офицер подлежал наказанию по воинскому суду (артикул № 53). За принуждение солдат «к своей партикулярной службе и пользе, хотя с платежом или без платежа», офицеру угрожало лишение чести, чина и имения (артикул № 54). Добровольная работа солдат на офицера по портновскому или сапожному ремеслу допускалась, но только в свободное время, с разрешения начальства и с обязательным условием оплаты этих услуг (артикул № 55).

Закон ограждал солдат и от офицерского произвола: за нанесение побоев «без важных и пристойных причин, которые к службе его величества не касаются», офицер должен был ответить перед воинским судом, а за неоднократные проявления подобной жестокости лишался чина (артикул № 33). За убийство подчиненного, преднамеренное или непреднамеренное, офицер приговаривался к смертной казни через отсечение головы (артикул № 154). Если же смерть подчиненного произошла в результате справедливо понесенного, но чрезмерно жестокого наказания, командир подлежал разжалованию, денежному штрафу или тюремному заключению (артикул № 154). Развращение жалованья, провианта, удержание сверх положенных сумм мундирных денег каралось лишением офицера чина, ссылкой на галеры или даже смертной казнью (артикул № 66). Офицеру также возбранялось отнимать у своих подчиненных взятые на войне трофеи (артикул № 110)⁶⁸.

Петровское военное законодательство старательно пыта-

лось вытравить помещичьи замашки из привычек дворян-офицеров. Остальное доделывали принцип выслуги, положенный в основу продвижения для любого военнослужащего, и общность фронтовой судьбы, заставлявшей тянуть лямку бок о бок благородного и «подлорожденного». Потенциальная возможность для рядового из социальных низов дослужиться до офицерского звания выбивала из рук родового дворянства последний козырь безраздельной исключительности и умеряла сословную спесь. А тяготы и опасности бесконечной походной жизни склоняли любого природного шляхтича к тому, чтобы увидеть в своем незначительном сослуживце не бессловесную тварь, а боевого товарища. Высокая интенсивность военных действий, сопутствующая всему петровскому царствованию, придавала особый динамизм становлению военно-корпоративного единства.

Иностранцы подмечали особую манеру русских командиров высокого ранга во внеслужебной обстановке держаться запанибрата с самыми младшими из своих подчиненных. Такое поведение, как считал Ю. Юль, в Дании — более свободной и цивилизованной стране, чем Россия, — «считалось бы неприличным и для простого капрала»⁶⁹. Однако в России оно воспринималось как само собой разумеющееся и редуцировалось на уровне отношений младших офицеров и солдат. Между тем реалии, которые на первый взгляд отменяли субординационные образцы отношений, на самом деле тесно уживались с ними, придавая лишь некоторый национальный колорит универсальной модели. Феномен, выпадавший, с точки зрения сторонних наблюдателей, из общего ряда, находит свое прямое объяснение в социальной психологии. Так, известный отечественный специалист в этой области Б.Ф. Поршнев подчеркивал унификацию социально-психических процессов, побуждений, линии поведения внутри дифференцированной общности под влиянием противостояния враждебным силам. Перед лицом конкретного противника субординационная огранка отношений и иерархическая структура большого коллектива, вроде армии, неизбежно тускнеют: «... чем определеннее и ограниченнее «они», тем однороднее, сплошнее общность» и соответственно более осязаемо ощущение «мы»⁷⁰.

Была ли альтернатива у петровской политики жесткого

принуждения дворянства к военной службе и подведения под один ранжир с массой других непривилегированных защитников отечества? Если ответ на первую часть этого вопроса с учетом служилых традиций дворянства и потребности страны в подготовленных кадрах не вызывает больших сомнений, то ответ на вторую кажется не столь однозначным. По-видимому, его можно дать, сопоставив российский опыт с другими. Классический пример для сравнения — Франция, до конца XVIII в. эталон европейских государств по многим параметрам развития. Стараниями секретаря по военным делам маркиза де Лавуа, а также Людовика XIV, сторонника наступательной внешней политики, французская армия стала одной из самых сильных в мире уже в конце XVII в. Всеобщая воинская повинность, введенная под видом ополчения, превратила ее в национальную и регулярную. Подтянув дисциплину и совершив перевооружение, король и министр усилили ее боеспособность. Французское дворянство без различия титулов и богатства, будь то даже принц крови, начинало теперь службу с низшей должности кадета (курсанта) и по мере совершенствования в профессии плавно поднималось по лестнице воинских званий. Наконец, Табель о рангах 1675 г. во главу угла военной карьеры поставила срок офицерской службы. Казалось бы, налицо положительные перемены. Вместе с тем реальная картина была не столь привлекательна. Во-первых, из 200 тысяч французских нобилей под ружьем находилось только 20 тыс., то есть одна десятая часть⁷¹. Остальная масса либо жуировала при дворе, либо вела уединенную сельскую жизнь. Во-вторых, командные должности подлежали купле и продаже по ценам, установленным государственным секретарем. В-третьих, от воинской повинности можно было без труда освободиться на основании высоких доходов и соответственных налоговых отчислений государству. В-четвертых, безальтернативно-принудительная воинская обязанность, ставшая уделом только малоимущих, прочно соединилась в общественном сознании с образом нищеты и социальной незащищенности. «Учитывая скудное жалованье солдата и его полную зависимость, а также то, как солдат питается, во что он одет и как он спит, было бы крайней жестокостью набирать

в солдаты кого-либо, кроме простонародья» — такой имидж воинской службы рисовал один из ученых экономистов XVIII в.⁷²

К этому добавлялось принуждение в порядке королевской барщины к строительству дорог, перевозке строевого леса к морским арсеналам, доставке действующей армии военных грузов. Заметим, что французское крестьянство — лично свободное и владеющее своими наделами на правах собственников в XVIII в. — воспринимало посягательства со стороны короны и интендантов на свое время и свободу острее, нежели его крепостные собратья в Восточной Европе. Наряду с усиленным налоговым прессом повинности крестьян по отношению к армии превратились в кричащую вывеску социального неравенства. По мнению величайшего знатока французской истории Алексиса де Токвиля, эта неравномерность в отношениях к повинностям и налогам чем дальше, тем больше раскалывала французское общество. И вместе со взаимным отчуждением крестьянского и дворянского социумов постепенно подготавливала почву для революционных потрясений конца XVIII в.⁷³

Столь же глубокая пропасть разделяла служилую знать и массу податного населения в военизированных империях Востока. Так, в обществе Османской империи — ближайшего и грозного соседа России — изначально было заложено разделение на аскери (военное сословие) и райю — невооруженное податное население. Средством обеспечения воинства служила тимарная система, напоминавшая по своему юридическому и служилому статусу старую поместную в России. Тимариоты составляли массу воинов кавалерийского ополчения — так называемых сипахи — и одновременно были низовыми представителями военной администрации. Командиры сипахи — бейлербеи и санджакбеи — получали более крупное владение — зеамет. (Впоследствии в процессе роста империи появилась и более привилегированная форма землевладения — хассы. Однако и она не считалась наследственной.) Доходность землевладения определялась не его площадью и населенностью крестьянами, а строго фиксированным размером налогов с крестьян, который причитался владельцу⁷⁴. Турецкие феодалы-ленники лезли из кожи вон, для того чтобы закрепить за собой временное владение, и упорно гнули эту линию, невзирая на противодействие

султаната. Дробления, купли-продажи ленов, их выход из службы и прочие запретные действия за взятки покрывали на местах алайбеи — ответственные за сбор сипахийского ополчения. В конечном итоге, если в XVI в. тимариотское ополчение могло выставить около 200 тыс. воинов-конников, то в начале XVIII в. с трудом наскробало 20 тыс.⁷⁵

Османским властям все больше приходилось полагаться на платное войско — капыкулу и его ударную силу — янычарский корпус. А военные победы одерживались все большим напряжением сил. Упадок боевой мощи Порты отмечал и русский посланник начала XVIII в. П.А. Толстой: «Хотя в прошлые времена сие войско было и многочисленно и ратоборственно, а ныне пришло в великую скудость»⁷⁶. При этом оседание ленников на земле и погружение в стихию домашней экономики отнюдь не превращало их в крепких хозяйственников, которые пеклись бы о сохранности крестьянства как подателе всех своих благ. Непроходимая граница между аскери и райя, усвоенная с рождения османами всех рангов (в сознании правоверного мусульманина-воина не существовало наказания страшнее, чем переход в райю), только укреплялась по мере того, как разжигался аппетит ленников — получателей ренты⁷⁷. Наряду с тем турецкие феодалы стремительно теряли организационные навыки и дезадаптировались в своем социальном окружении. По определению русского посланника в середине XVIII в. при Порте Обрескова, они в совершенстве владели только искусством обращения с оружием, а «выпустя его из рук, они не знают, за что ухватиться, и бьются, как рыба на земле»⁷⁸. Распад старой военно-служилой организации на этом этапе уже ставил под угрозу государственный суверенитет и придавал неуправляемость социально-политическим процессам в стране. В свою очередь, все попытки «вырулить» на более безопасный путь развития (реформы Кепрюлю, Селима III, Байрактара) строились на традиционной основе: упорядочения военно-ленной и фискальной систем, ужесточения дисциплинарного контроля сверху. В результате порочный круг возобновлялся снова и снова вплоть до эпохи Танзимата и даже позднее⁷⁹.

Похожая картина наблюдалась в XVIII в. и в Могольской империи. Близкая к турецкой ее военно-ленная система с осно-

вой на джагиры (владения наподобие тимаров, часто менявшие своих владельцев) не создала ни сильного войска, ни надежного оплота власти. Джагирдар, собиравший в свою пользу определенный земельный налог, взамен должен был по команде свыше вывести в военный поход отряд вооруженных воинов. По мере того как пустела государственная казна, эти держания сдавались в откуп. В начале XVIII в. был популярен анекдот о джагирдаре, только что получившем в откуп новое владение и направившемся туда верхом на слоне, лицом к хвосту, чтобы лучше рассмотреть очередного откупщика, посланного ему на смену. Такой владелец, чувствовавший себя факиром на час, после себя оставлял пепелище. (Наряду с тем существовали и более устойчивые наследственные владения-заминдары, от которых в казну поступала ежегодная дань, при этом военная служба предполагалась в исключительных случаях.)⁸⁰. Знатные владельцы заминдаров и джагиров (омера и мансабдары) все больше уклонялись в обустройство частного быта, доведенного до степени изощенного искусства. А в качестве постоянного местопребывания предпочитали императорский двор, ставший ареной состязания в изысканной роскоши и престижном потреблении. По остроумному замечанию Ф. Броделя, могольские аристократы оставались «так же чужды стране, где им предстояло жить, как позже выпускники Оксфорда или Кембриджа, которые будут править Индией времен Редьярда Киплинга»⁸¹. При этом вооруженная опора столь же неудержимо теряла военный облик, сколь и реальную связь с государственной машиной. Иностранцы, наблюдавшие в конце XVII в. двор могольского Короля-Солнца по имени Аурангзеб, за образцово-показательным угодничеством аристократов без труда усматривали готовность в момент опасности повернуться к нему спиной⁸².

В отличие от некоторых стран Запада и Востока сползание России к социальной дезорганизации, возглавляемой паразитическим, вырождающимся нобилитетом, было предотвращено реформами Петра I. Несмотря на сохранение асимметрии сословных прав, в итоге перемен высшее сословие потеряло больше, чем низшее. В особенности наглядно это проявилось в военно-служебной сфере. Алгоритм почти равных шансов и возможно-

стей, примененный при формировании корпуса военнослужащих, был тесно связан с возросшими потенциями власти. «Там, где над двумя классами, из которых один был до сих пор господствующим, а другой подвластным, воздвигается некое правление, оно опирается на последний. Ведь для того, чтобы суметь подняться одинаково над всеми слоями, оно должно их нивелировать. Нивелирование же возможно только таким способом, что высшие будут придавлены больше, чем низшие подняты. Поэтому узурпатор находит в последних людей, более склонных к его поддержке», — к такому заключению приходил Г. Зиммель, анализируя похожие примеры в истории⁸³. Соглашаясь с этим тезисом, необходимо внести одно важное уточнение. Опыт Петра Великого показывал, что во многих случаях авторитарная власть была склонна направлять свои полномочия на благо всему социуму, быстро и эффективно справляясь с наиболее патогенными зонами внутри него.

Вытолкнув дворянство из родовых гнезд и вытянув его по струнке военных уставов, правительственная власть устранила опасность превращения его в злокачественный нарост на государственном теле. Военное строительство Петра I повлекло за собой окончательную и бесповоротную ресоциализацию дворянства. Ее важнейшим итогом стало насильственное разрешение межролевого конфликта, в котором постоянно сталкивались интересы помещика-землевладельца и служилого человека. Выдавленное из своих имений дворянство быстро осваивало новые стандарты поведения, училось подходу к событиям не по меркам местнических отношений и локального сообщества, а с точки зрения общегосударственных интересов. Старавшийся дезавуировать дела Петра I князь Щербатов мог привести в пользу своей точки зрения — о приоритете государственного подхода в поступках старомосковской боярской знати — всего лишь два-три примера (о стойкости московского посла Афанасия Нагого в плену у крымского хана да о сбережении государственной казны боярином П.И. Прозоровским)⁸⁴. Между тем примеры жертвенного патриотизма дворян в Петровскую и послепетровскую эпоху исчислялись тысячами.

В сознании дворянства и родового, и выслуженного, прочно утвердился гуверналистский этос, положенный на целый свод

правил поведения. В данной системе координат чин рассматривался лишь как некий агрегирующий показатель полезной деятельности, а сама служба — как единственный тест ценных качеств личности. Отсюда вытекали и ее идеальные каноны: начинать служебный путь с самых низших ступеней, без нытья брать трудные барьеры, не заискивать перед сильными мира сего, не ронять воинской чести не только на поле брани, но и на житейском попрании. Впитывая из семейных преданий образцы воинской доблести, любой юный дворянин мерил по ним и собственные достижения. Ветеран всех российских войн конца XVIII — начала XIX в. полковник М.М. Петров рассказывал об отцовском наказе, данном ему и брату в придачу к фамильной дворянской грамоте: «Посмотрите, этот пергамент обложен кругом рисовкою но большей части полковыми знаменами, штандартами и корабельными флагами, обставленными военным оружием, и атлас, его покрывающий... предназначает огненно-кровавым цветом своим уплату за эту честь огнем и кровию войн под знаменами Отечества»⁸⁵. Интересно отметить, что в условиях послепетровского смягчения дворянской службы, дворяне самого младшего поколения порой проявляли себя большими максималистами по части соблюдения петровских традиций, чем их старшие родичи. Так, будущий покоритель Бендер в Русско-турецкой войне 1768—1774 гг. генерал П.И. Панин был отдан в службу в возрасте 14 лет, но через несколько месяцев был возвращен отцом домой уже для «заочного» роста в чинах. Однако родительское решение привело в негодование подростка, заявившего, что оно «ввергает его в стыд и презрение подчиненных его чину; что он звания своего меньше еще знает, нежели они, и что он будет их учеником, а не они будут его учениками»⁸⁶. «Доброе намерение, труды и прилежание» — девиз братьев П.И. и Н.И. Паниных — разделялся большинством честных и толковых дворянских служак XVIII — XIX вв.

Образ командира — героя огневой атаки, спартанца в походной жизни, рыцаря без страха и упрёка даже в обыденных мелочах — оставался эталонным для передовых военачальников XVIII — первой половины XIX в., вроде П.А. Румянцева, А.П. Ермолова, М.С. Воронцова, Д.В. Давыдова, А.А. Закревского, П.Д. Киселева⁸⁷. Порой малозначительные эпизоды, от-

клонявшиеся от этих правил, были способны серьезно подмочить репутацию военного, а то и вовсе приостановить карьеру. Скажем, лихой фронтовик времен Семилетней войны фельдмаршал П.С. Салтыков, исполнявший впоследствии обязанности московского главнокомандующего, во время чумной эпидемии 1771 г. проявил малодушие и ретировался из Москвы вместе с потоками беженцев. Мало того что за этот поступок в 1772 г. он был уволен от должности, невзирая на свои прошлые заслуги! От Салтыкова отвернулось все дворянское общество и несколько месяцев спустя, не выдержав атмосферы ostracism, он сошел в могилу⁸⁸. Столь же безапелляционно общественное мнение в середине 90-х годов судило о прославленном боевом генерале М.И. Кутузове, назначенном в 1794 г. директором старейшего военно-учебного заведения страны — Сухопутного шляхетского кадетского корпуса. Воспитанные в школе прежнего покойного директора, Ф.Е. Ангальта, служившего образцом «римских добродетелей», кадеты не могли простить новому шефу раболепного потакания влиятельному альфонсу императрицы и дали ему прозвище «хвоста Зубова»⁸⁹. Не слишком привлекательный моральный облик Кутузова и впоследствии негативно сказывался на его репутации в военных кругах и у царя Александра I⁹⁰.

Однако радикальный пересмотр норм и рамок деятельности служилого корпуса был отнюдь не единственным следствием петровского военного строительства. Сильные токи от него шли в сельскую глубинку. Здесь ключевая роль принадлежала военному присутствию, которое делало непрерывными контакты военных и гражданских общностей. В 1718 г., с началом работы военных ревизоров, армия была придвинута к местам расселения основной массы налогоплательщиков. С 1724 г. началось планомерное расселение полков по провинциям, где им предстояло собирать подушные деньги на свое содержание. За самое короткое время военный элемент столь прочно вписался в сельский ландшафт, что даже последующие правительственные попытки его оттуда исторгнуть оказались безрезультатными.

Указами от 9 и 24 февраля 1727 г. армейские части подлежали выводу из сельской местности в города, а их функции по сбору податей передавались воеводам. Однако почти сразу же

власть убедилась в неравноценности произведенной замены и снова обратилась к услугам военных. В январе 1728 г. в помощь губернаторам и воеводам от полков выделялось по одному обер-офицеру с капитаном и 16 солдатами в каждый дистрикт, соответствующий месту приписки полка⁹¹. Через два года количество военнослужащих, находящихся у сбора налогов, удваивалось. А в мае 1736 г. сенатским указом Военной коллегии предписывалось выделить еще 10—20 человек сверхкомплектных военнослужащих в каждую губернию⁹². Кроме того, к губернским и провинциальным канцеляриям систематически отсылались военные команды, специализирующиеся на понуждении к уплате подушных денег и взыскании недоимок⁹³. Таким образом, стремление послепетровской власти противостоять наплыву служащих действующей армии в зону ответственности местной администрации показало свою преждевременность. Отчасти эту проблему удалось решить только в 1763 г., когда обязанности военных команд при сборе подушной подати перешли к воеводским товарищам⁹⁴.

Итак, на протяжении четырех десятилетий порядок взимания подушной подати поддерживал высокую интенсивность контактов военнослужащих с гражданским населением. До 1731 г. они строились в соответствии с тремя приемами в сборе налога: в январе — феврале, марте — апреле, октябре — ноябре. В 1731 г. время нахождения воинских команд в селах ограничивалось двумя, хотя и более удлиненными, сроками: январь — март и сентябрь — декабрь. Таким образом, почти круглый год, за вычетом времени посевной и летней страды, земледелец становился вынужденным клиентом военных.

Кроме необходимости уплаты налогов, тесное общение обуславливалось и размещением армии по «вечным квартирам» в агломерациях сельских жителей. Первоначальный замысел Петра I состоял в том, чтобы силами крестьян отстроить ротные слободы и полковые дворы, расположенные обособленно от гражданских поселений. В этих целях местным жителям предписывалось закупить и доставить строительные материалы, а солдатам оперативно приступить к строительным работам с таким расчетом, чтобы сдать объекты в 1726 г. На первое время разрешалось проживание военных у крестьян. Однако вскоре

обнаружилась невыполнимость этого плана: отягощенное другими поборами, крестьянство оказалось не в состоянии обеспечить заготовку строительных материалов. Поэтому, реагируя на сигналы с мест, указом от 12 февраля 1725 г. правительство отменяло свое прежнее распоряжение об обязательном возведении ротных слобод и санкционировало подселение военнослужащих в качестве постояльцев к обывателям⁹⁵.

Таким образом, вторичное войсковое нашествие в уезды ознаменовалось и новым масштабным воссоединением с гражданским населением. Отсутствие казенных средств на постройку казарм и жилых военных массивов в уездах, свернутое строительство ротных слобод делало на длительное время систему постоя практически единственно возможным способом обустройства военнослужащих. Несмотря на принятый Военной комиссией 1763—1764 гг. план перевода войск в казарменные корпуса вокруг специально организованных лагерей, положение дел не менялось до начала XIX в., а во многих случаях и позднее⁹⁶. А «Плакат о сборе подушном и протчем» от 26 июня 1724 г., регламентировавший отношения военнослужащих и местных жителей, по большинству пунктов оставался в силе и после Петра I. Предусматривая самые разнообразные финансовые, юридические, житейско-бытовые ситуации, связанные с сосуществованием военных и гражданских лиц, этот документ воссоздавал объемную картину военного присутствия на местах. Присмотримся к нему поближе.

Продолжая линию более ранних актов военного законодательства на защиту мирного селянина от притеснений военных, «Плакат» стремился предотвратить разбой военных чинов. Законодатель запрещал им вмешиваться в ход сельскохозяйственных работ, ловить рыбу, рубить лес, охотиться на зверя в тех местах, которые служили нуждам жителей⁹⁷. Подводы, натуральные сборы, отработочные повинности, которые сверх подушной подати налагались на население, подлежали оплате⁹⁸. При отсутствии денежных средств для оплаты фуража и провианта военным командирам полагалось выдать поставщику зачетную квитанцию, засчитывавшую сданные продукты как часть подушной подати⁹⁹. (В послепетровское время обеспечение армии довольствием путем сборов с местного населения за-

менялось централизованными закупками у помещиков с последующим распределением по военным частям через склады-магазины.)¹⁰⁰.

Закон разрешал местным жителям, чьи хозяйственные интересы были ущемлены, обжаловать неправомерные действия военных перед полковым начальством¹⁰¹. Разрешая искать управу на бесцеремонных квартирантов у войскового командования, «Плакат» утверждал принцип двусторонности отношений военных и гражданских лиц. Разумеется, в реальной действительности предписанные нормы взаимодействия могли подвергаться искажениям. Скажем, знаменитый прожектер и публицист петровского времени И.Т. Посошков горько жаловался на бесчинства военных, вспоминая, как в 1721 г. его с женой выбивал «из хором» капитан Преображенского полка И. Невесельский, а другой военный чин — полковник Д. Порецкий «похвалялся... посадить на шпагу». Подав же челобитную на самоуправство полковника, он так и не добился правды: оказалось, что тот подсуден Военной коллегии, а не местной власти. Свое разочарование Посошков изливал в пессимистической сентенции: «Только что в обидах своих жалуйся на служивой чин богу»¹⁰².

Вполне очевидно, что большое коммунальное хозяйство, в которое вовлекались военные и гражданские ячейки, не обходилось без свар. Однако в любом случае такое общежитие диктовало необходимость взаимной притирки и выработки неформального устава. Густая паутина отношений возникала по ходу таких рутинных занятий, как выпас скота, заготовка сена и дров. Общие будничные заботы содействовали обмену опытом. Не случайно через посредничество военных законодатель стремился передать в крестьянскую массу полезные хозяйственные навыки¹⁰³ (подробнее см. главу 3). Еще более плотная завязь общения оформлялась в рамках совместного проживания солдат и унтер-офицеров под одним кровом с крестьянами или же их найма на вольные сезонные работы в зажиточные крестьянские хозяйства. (Некоторые из этих подрядов завершались брачными союзами, при этом закон указывал помещику не чинить препятствий в женитьбе на крепостной женщине военно-

служащего, если тот был готов уплатить за нее положенную сумму «вывода», то есть покупки вольной.)¹⁰⁴.

Наконец, военное пребывание среди сельского населения принесло с собой и первый опыт межсословной кооперации. Поставленная Петром I задача постройки полковых дворов и ротных слобод повлекла за собой череду областных съездов, на которые делегировались уполномоченные от всех проживающих в областях групп населения. Иллюстрацией представительности этих собраний может служить списочный состав депутатов кашинского дистрикта Угличской провинции. Среди 170 человек, съехавшихся в марте 1725 г. обсуждать выдвинутое правительством условие, присутствовали: представители церковного землевладения, депутаты от землепашцев монастырских вотчин, 13 мелкопоместных дворян, управляющие от крупных землевладельцев, крестьяне и приказчики от дворцовых вотчин, государственных деревень, крестьяне и даже холопы от владельческих имений¹⁰⁵. Историк М.М. Богословский, современник становления органов сословного самоуправления в пореформенной России, сравнивал их со съездами, порожденными петровским военным строительством, и находил много общего¹⁰⁶. Важным элементом сословного сотрудничества становилось и ответственное участие дворянства: не вкладываясь в отличие от тяглых сословий материально в общее дело, оно, тем не менее, исправно поставляло из своих рядов выборных должностных лиц — земских комиссаров. Последние служили в качестве надзирателей при строительстве военных объектов, уполномоченных от общества по сбору подушной подати, раскладке постоянной и подводной повинностей, организаторов полицейского порядка и были подотчетны областным съездам. Удачное сочетание обстоятельств, при которых полковое начальство следило за регулярностью проведения съездов и выборами земских комиссаров, понуждало их к деятельности, а качество их работы оценивало само общество, помогло устояться этому эксперименту. Несмотря на прекращение строительной «лихорадки» после Петра I, должность выборного земского комиссара была подтверждена правительственными актами в 1727 г.¹⁰⁷.

Военно-гражданское взаимодействие пролонгировалось в

рамках трудовых мобилизаций. Военные приводили в движение и организовывали потоки граждан, в принудительном порядке привлекаемых к военно-строительным работам. Собственно, подобными эпизодами пронизана вся эпоха Петра I, начиная со сгона в село Преображенское, а потом в Воронеж в конце XVII в. тысяч окрестных жителей, главным образом крестьян, для постройки военных судов. После завоевания Азова к корабельной повинности были привлечены монастыри, служилые люди, купцы. Последние в обязательном порядке записывались в «кумпанства» (в качестве санкции за отказ назначалась конфискация имущества). Однако наибольший груз таких «совместных проектов» ощущало на себе крестьянство, разделенное на определенные количественные группы (обычно по тысяче человек) поставщиков материалов для постройки одного корабля. При взятом государством темпе на руках тягловцев не успевали зажить мозоли между очередными работами по возведению укреплений, рытью каналов, прокладке дорог, постройке общественных зданий и кораблей.

С 1702 г. по «разнорядке» властей десятками тысяч крестьяне прибывали на строительные работы в Петербург, Кронштадт. Трудовая повинность, падавшая на «посоху» (то есть крестьян, прилегающих к стройке уездов) в прежние времена, как отмечает Е.В. Анисимов, носила эпизодический характер и никогда не охватывала территории всей страны от Смоленского уезда до Сибири. Постоянной и всеохватывающей она стала только при Петре I. Ежегодно работники из разных уездов направлялись в двухмесячные командировки по заданному адресу. В Петербург каждое лето их стекалось не менее 40 тыс. человек¹⁰⁸. В каждом подобном эпизоде участия в жизнеобеспечении армии, флота, строительстве государственных специальных объектов крестьянину приходилось встраиваться в военные коллективы или в гражданские, руководимые военными специалистами. В любом случае общиннику — крестьянину или жителю городской слободы — здесь впервые доводилось окунуться в мир иных привычек и требований, нежели тот, в котором протекала его прошлая повседневность.

Помимо овладения новыми производственными технологиями, с помощью армейского аппарата крестьяне впервые

приобщались к режиму суточного времени. И это открытие значило не меньше, чем первое обретение. Привязанный к годовому природному циклу или календарю церковных праздников, крестьянский мир не знал учащенной пульсации времени. Рассадниками другой, рациональной парадигмы использования времени — с жестким распорядком всех затрат — были рабочие статуты, действовавшие в странах-пионерах первоначального накопления с XIV по XIX в. В XVIII в. рабочие статуты, составлявшиеся чиновниками, дополнили графики рабочего времени, создававшиеся предпринимателями¹⁰⁹. В России распространителями учетного и подотчетного времени стали армейцы-прорабы больших и малых строек подхлестываемой войной модернизации Петра I. Незаметно для участников этой гонки в ее недра просачивались передовые элементы организации труда. А в наиболее застойных сегментах общества в известном смысле заблаговременно подготавливался резерв индустриального общества.

Пересечение путей селянина и военного либо по маршрутам движения и местам дислокации армии, либо на строительных площадках и корабельных верфях имело далеко идущие последствия. Разнесенное по своим клеткам-общинам, крестьянство здесь впервые переходило границы привычных отношений с привычным набором местных контрагентов (помещика, управляющего, приказчика, пона). Втягиваясь в коммуникации, настоятельно требовавшие принятия роли «другого», оно овладевало механикой отношений поверх социальных барьеров. По тонкому наблюдению мексиканского философа XX в. Л. Сеа, «человек, встретивший другого человека, нуждается в нем для того, чтобы осознать свое собственное существование, так же, как тот, другой, осознает и делает осознанным существование первого»¹¹⁰. Именно такой опыт и позволяет разным социальным персонажам вступать в диалог друг с другом и выстраивать отношения, основанные на взаимопонимании и сопереживании. По словам французского специалиста по сельской социологии, А. Мендра, навык подобного общения не знаком традиционному крестьянскому сообществу: для того, чтобы поддерживать отношения там, где о другом все наперед известно, вовсе не обязательно ставить себя на его место. Наоборот, в

индустриальных обществах со множеством свойственных им ролей без этой практики было не обойтись¹¹¹. Итак, в русском крестьянском быту доиндустриальной эпохи намечалась боковая ветвь социализации, отклонявшаяся от накатанных схем общества — геймшайфа. В этом плане армейскую машину на местах можно сравнить с разрыхлителем наиболее жестких и непроницаемых из локальных структур. Таким образом, еще до того, как партикуляризм местных сообществ (так называемых изолятов, по терминологии исторических демографов) был взломан рождением всероссийского рынка, индустриализацией первой волны и целенаправленной политикой власти, подготовительная работа была уже проделана военно-гражданским симбиозом, заложенным Петром I.

В системе понятий Э. Дюркгейма обозначившаяся перспектива развития может быть раскрыта как переработка сегментарного общества с акцентом на кланы и механической солидарностью составляющих частей в организованное общество, основанное на разделении труда, договоре и органической солидарности членов. По определению Э. Дюркгейма, сегментарное общество мертвой хваткой держит индивида, привязывает его к традициям, ограничивает социальный горизонт, делает его «конкретным и определенным»¹¹². Такая структура начинает нарушаться по мере того, как стираются демаркационные линии, разделяющие сегменты, а их социальные единицы включаются в миграционные движения и вступают друг с другом в разнообразные эпизодические контакты и долговременные связи вне своих прежних ролей и статусов. Интенсивность подобных соприкосновений увеличивает степень свободы личности. Она же подготавливает почву для самопроизвольного (а не принудительного) разделения труда, выработки договорной солидарности, опирающейся на взаимное согласование и регламентацию социальных функций в обществе¹¹³. Вызванные петровским военным строительством действия общественных сил если и не создавали напрямую композиций, соответствующих самопроизвольному разделению труда и органической солидарности, то, во всяком случае, закладывали для них прочный фундамент.

Пожалуй, в этой плоскости следует искать разгадку пара-

доксальной коммерциализации российского крестьянства в XVIII—первой половине XIX в., протекавшей на фоне ужесточения крепостного права, сохранения сословной парадигмы общества, замедленной урбанизации. Так, скажем, в 1722—1785 гг. сложилась и активно заявила о себе такая сословная группа, как «торгующие крестьяне», занимавшиеся доходной коммерцией, хотя и без закрепления в городе¹¹⁴. Непрерывно, несмотря на трудные условия перехода в сословия мещан и купцов, рос поток переселенцев из деревни в город: в 1719—1744 гг. он составлял две тыс. человек, в 1782—1811 гг. — 25 тыс., в 1816—1842 гг. — уже 450 тыс. человек¹¹⁵. Показательна и другая тенденция — неуклонного увеличения доли деревни по отношению к доле города — в сосредоточении промышленных предприятий и рабочей силы в XVIII в.¹¹⁶.

Крестьянское предпринимательство в стране с крепостным правом неизменно удивляло иностранных наблюдателей — от путешественников до исследователей. По компетентному мнению мастера сравнительного исторического изучения Ф. Броделя, «кишевшие в мелкой и средней торговле крестьяне характеризовали некую весьма своеобразную атмосферу крепостничества в России. Счастливый или несчастный, но класс крепостных не был замкнут в деревенской самодостаточности»¹¹⁷. По-видимому, традиционное объяснение данного феномена — ростом денежной феодальной ренты, государственных податей в XVIII в. (в частности, введением подушной подати), вынужденной активизацией неземледельческих промыслов крепких крестьянских хозяйств при нивелирующих установках передельной общины в сельском хозяйстве, влиянием дворянского предпринимательства — недостаточно. Перечисленные факторы указывают скорее на возможную экономическую мотивацию крестьянских миграций и коммерческих занятий, однако не проливают свет на ту внутреннюю предрасположенность к ним, без которой желаемое не могло превратиться в действительное.

Не пытаясь свести весь многосложный процесс крестьянского предпринимательства к единственной причине военно-гражданского симбиоза, все же попробуем уточнить ее вес, смоделировав ситуацию от «обратного». Такая возможность открывается из сравнения с польским крестьянством XVIII — на-

чала XIX в. Не зараженного никакими особыми предубеждениями иностранца неизменно изумляла его погруженность в блокадное существование: из всех социальных персонажей, кроме себе подобных, польский крестьянин знал лишь своего пана и не имел понятия о государстве¹¹⁸. Княгиня Е.Р. Дашкова, получившая от Екатерины II богатые имения опального гетмана Огинского, застала в них сонное царство убогих поселенцев. На фоне ее великорусских крепостных, которые даже из далеких новгородских сел умудрялись возить на московскую ярмарку изделия собственного производства, польские шокировали растительным существованием¹¹⁹. Эта же неповоротливость польского крестьянина дала о себе знать на этапе перехода к капиталистическим отношениям: в этом процессе задавали тон королевские и крупные помещичьи мануфактуры, помещичьи фольварки, а польский крестьянин (кстати, освобожденный от крепостной зависимости в 1807 г., на полстолетия раньше русского) плелся в хвосте¹²⁰. Жалкое положение польского крестьянства бросалось в глаза и русскому офицерству, прошедшему вместе с армией через территорию герцогства Варшавского во время заграничного похода¹²¹.

Точно так же в среде польских крестьян идея государства постепенно девальвировала и утрачивала практический смысл. Напротив, в русском крестьянстве во многом благодаря той же армии она неуклонно поднималась в своем значении. Армия — наиболее подвижная и связанная с государственным аппаратом российская организация отчасти подменяла собой еще не существующие средства массовой коммуникации. Подобно странствующим проповедникам, коммивояжерам и бродячим артистам, военные, которые несли на подошвах своих сапог пыль дальних странствий, утоляли информационный голод местного населения. Они же служили его приобщению к государственной политике, которая порождала массу легенд и противоречивых толков. Нередко поставлявшая материал для репрессивно-карательных органов по линии печально знаменитого «государева слова и дела»¹²², подобная форма политизации все же неуклонно подтачивала отчужденность социальных низов от той жизни, которая кипела за географическими границами их локальных мирков. Похожий механизм беспроволочного теле-

графа, стягивающего по ходу движения военных отрядов оторванные друг от друга районы в единое информационное поле, хорошо описан солдатом Первой мировой, французским историком Марком Блоком. По его словам, «на военных картах, чуть позади соединяющих черточек, указывающих передовые позиции, можно нанести сплошь заштрихованную полосу — зону формирования легенд»¹²³. И если для большинства европейских стран нового времени армейцы как посредники в информационном обмене регионов все же были знаменем военного времени, то для России — длительным, если не постоянным явлением. Разумеется, в таких несовершенных линиях передач возникали шумы и помехи. Тем не менее они служили освоению большого массива фактов, отфильтрованных задачами государственного строительства, экономической модернизации, осознания страной своего нового геополитического статуса. В этом плане военнотружущий был сродни миссионеру, открывавшему новые горизонты перед отсталыми этносами. Благодаря тому российский крестьянин не воплощал собой идеально-типического парохияла, иначе говоря, субъекта, который согласно классической концепции американского политолога Г. Альмонда демонстрирует своей позицией крайне малую любознательность и индифферентность к миру, лежащему за пределами его родной околицы¹²⁴. Идея государственного интереса в ее военной подаче, глубоко усвоенная крестьянским сознанием, дает ключ к пониманию массового отношения к российским войнам, в частности дружного отпора, оказывавшемуся интервентам на территории России.

Подведем некоторые итоги. Отсутствие слоев гражданского населения, способного предоставить сознательную и сплоченную поддержку реформаторским начинаниям Петра I, было удачно восполнено созданием регулярной армии. Организация воинской службы, адекватная задачам модернизации, и дисциплинарный порядок, гарантирующий четкое исполнение приказов власти, с естественной необходимостью делали армию главным локомотивом преобразовательного процесса. В этом плане ее функция может быть описана как непрерывная трансляция преобразовательных установок на социальное пространство с неуклонно расширяющимся радиусом охвата. Втягива-

ние широких масс населения в зону влияния военной машины нарушало вековую непроницаемость и неподвижность социальных структур в сельских конгломератах, обуславливало их восприимчивость к инновациям и готовность к социальному партнерству. Таким образом, при активном участии военных агентов верховной власти в области гражданских отношений, хотя и с меньшей степенью выраженности, утверждались те же начала, которые действовали в самой военной организации.

Вышедшие из рук одних и тех же военных исполнителей реформы первой четверти XVIII в. отличались высокой степенью взаимной согласованности и увязки. «Все у Петра шло дружно и обличало одну сторону. Система была проведена повсюду» — такую оценку методологии реформ даст впоследствии историк XIX в. С.М. Соловьев¹²⁵. Достигнутая на этой основе координация перемен облегчала их вживание в ткань социальной жизни и обеспечивала преемственность в историческом времени.

Опыт российской модернизации, рассмотренный в сравнительно-исторической перспективе, выявляет формирующую роль военного строительства по отношению к сфере общегражданских отношений. В странах, где военные реформы проводились на старой военно-ленной основе, ограничивались частичными изменениями воинской службы и не затрагивали устоявшихся привилегий феодальной знати, наблюдалось прогрессирующее отпадение от нормативного порядка высшего сословия и дезинтеграция общества. Эти тенденции обусловили упадок Османской империи, открыв простор и для возрастающего давления на нее западных держав с конца XVIII в. По тем же причинам держава Моголов, основанная в XVI в. воинственным правителем Бухары Бабуром, постепенно погружалась в застой, утрачивала способность к сплочению защитных сил перед лицом внешней угрозы, а в 1761 г. была вынуждена признать свою капитуляцию в борьбе с английской Ост-Индийской компанией. Военная реформа Лавуа и Людовика XIV в более передовой Франции, хотя и вывела ее в разряд сильной военной державы, из-за серьезных перекосов в распределении воинских обязанностей между стратами усилила конфликтность в ее социальном развитии.

Привлечение к исполнению воинского долга на общих осно-

ваниях — социальных низов через рекрутскую повинность и дворянства через поголовную мобилизацию — позволило в России осуществить прорыв в деле государственной обороны, одновременно дав толчок оформлению консолидационных механизмов в обществе.

*1.4. Военный проект Петра Великого
в исторической перспективе:
линии социального наследования и деформаций*

В социальном измерении военное строительство Петра I возбуждало процессы, которые Г. Зиммель определял как скрепление социальных кругов, или установление ассоциативных отношений между однородными элементами разнородных кругов¹. Наиболее прогрессивной линией эволюции классик немецкой социологии считал вторичное объединение людей, относящихся к одному обширному кругу или группе, через дифференциацию их занятий и выделение в них однородных свойств. Образующаяся таким образом общность имеет уже признаки качественно однородного круга и единого социального сознания². Изложенная траектория прослеживается и на примере российской регулярной армии, изначально составленной путем механического сложения единиц, принадлежащих к разным социокультурным стратам. Разделенная по родам войск, ранговым позициям, местам дислокации, с течением времени она естественно перерастала в корпорацию, проникнутую сознанием своей внутренней взаимосвязи и совокупной мощи.

«Корпоративная» принадлежность составляла главную ось в самоидентификации любого военнослужащего. Это в полной мере относится и к солдату, положение которого Дж. Л. Кип характеризует следующим образом: «Русский солдат оставался послушным винтиком большой машины — он составлял ее часть, несмотря на лишения и несправедливости, на которые он был обречен, и отсутствие процедуры подачи жалоб. Он был хорошо интегрирован в военное окружение, хотя и мог не разделять его ценностей и верований. Психологически, культурно, в правовом и социальном отношении солдаты составляли особую

касту со своей моралью и стилем жизни. Они утрачивали связь с гражданским прошлым, однако разделяли фундаментальные крестьянские убеждения и веру в религиозную утопию³. В целом такая оценка справедлива лишь с некоторой расшифровкой. Солдат русской регулярной армии соотносил себя с большим военным сообществом через совокупность формальных признаков (род занятий, ношение униформы, подчинение уставу и приказам, соблюдение субординации и т. п.) и неформальных критериев, связанных с традициями взаимовыручки, товарищества и боевого братства. Характерно, что в стремлении добиться максимальной согласованности работы военной машины, военное законодательство пыталось увязать одни критерии с другими. Так, в соответствии с инструкцией от 8 декабря 1764 г. пехотному полковнику полагалось еженедельно напоминать солдатам, что они уже более не принадлежат к «мужицкому» племени и с зачислением в армию поднялись над ним⁴. Инструкция конному полковнику от 14 января 1766 г. развивала это положение. В плоскости неформальных отношений нижних чинов с командирами требовалось, чтобы последние относились к подчиненным с заботой и терпением⁵. Тем самым военная администрация формировала определенный шаблон, беря под свое наблюдение его исполнение в живой реальности армейского быта.

На встречном направлении крупные военачальники стремились личным примером и побудительными мерами внедрить в структуру внутриармейских взаимодействий принцип спонсорского попечительства старших по званию над младшими. Так, начиная от П.А. Румянцева забота об условиях проживания, питания, обеспечения солдат возводилась в ранг первейшего долга каждого офицера⁶. В своем последовательном развитии этот императив перерастал в систематические усилия по ограничению телесных наказаний, совершенствованию военного судопроизводства, насаждению грамотности среди низших чинов. Нормой среди передовых генералов начала XIX в. становилась и ответственность личным «кошельком» за приемлемые условия службы подчиненных. Распространению этих начинаний за пределами соединений, собственно подконтрольных таким меценатам и благотворителям, содействовали их высокий служебный ранг и большие должностные полномочия. Блестя-

щий пример такого «увлекающего» воздействия дала серия проектов М.С. Воронцова. Сразу после Бородинского сражения граф, являвшийся одним из его участников, открыл в своем родовом имении Владимирской губернии своеобразный реабилитационный центр для раненых воинов. Покидавшим его стены солдатам из графских средств выдавалось денежное пособие в размере 10 руб. (напомним, что от казны рядовым участникам сражения выплачивалось по 5 руб.). А в 1815 г. для своей 12-й пехотной дивизии он разработал «Правила обхождения с нижними чинами» и «Наставление офицерам», которыми запрещалось применение телесных наказаний. Еще дальше М.С. Воронцов сумел продвинуть дело помощи солдатской массе на посту командующего русским экспедиционным корпусом во Франции: здесь было взято за правило разъяснять солдатам приказы начальства, не изнурять их муштрой на плацу, не применять телесных воздействий при обучении. А самое главное — положено начало практике взаимного обучения нижних чинов грамоте⁷. Армейская популярность Воронцова — сподвижника легендарного П.Д. Цицианова в ранний период Кавказской войны, участника штурма Рущука в Русско-турецкой войне 1806—1812 гг., защитника семеновских укреплений в Бородинской битве — обеспечила ему массу последователей и обусловила превращение этого локального эксперимента в целое движение внутри всей армии.

Включенность в систему взаимных обменов, при которой солдаты добровольно оказывали множество мелких и крупных услуг офицерству и, в свою очередь, становились объектом его неформальной опеки, являлась важнейшей предпосылкой групповой сплоченности армейского коллектива. Отношения взаимопомощи и доверия, устанавливавшиеся между старшими и младшими по званию, обладали, несомненно, большей ценностью в обществе, поделенном на господ и рабов, чем в обществе, состоящем из граждан с равными правами. Этот факт был доступен пониманию русских офицеров — ветеранов многочисленных кампаний, знакомых с порядками в европейских странах и армиях. «Как нетрудно понравиться солдату! Должно показать только ему, что заботишься о судьбе его, что вникаешь в его состояние, что требуешь от него необходимо нужного и ни-

чего излишнего» — к такому заключению приходил, сравнивая собственных подчиненных с рядовыми других армий, умный, образованный офицер Ф.Н. Глинка, участник военной эпопеи 1812—1814 гг.⁸. Такое осознание подводило к принятию морального обязательства, которое тот же автор формулировал следующим образом: «Всякий генерал, желающий быть славным, старается заслужить имя друга и отца солдат»⁹.

Именно вследствие своей нетипичности для сословного гражданского общества кооперативный стиль взаимоотношений в границах армейского коллектива утверждался как особая примета профессиональной общности и своеобразный знак членства для отдельного индивида. Отсюда же проистекала та высокая степень защищенности русской армии от разложения, которая признавалась как непреложный факт иностранцами и русскими мемуаристами всегда, когда представлялся повод для сравнений. Так, сопоставляя поведение русской и французской армий в пекле войны, участник наполеоновского вторжения в Россию граф де Сегюр был вынужден констатировать печальную для французского патриота истину: монолитность Великой армии не выдержала испытания суровой обстановкой похода. Измотанные преследованием русских воинов, партизан, жестокими холодами и бескормицей, наполеоновские солдаты и офицеры деградировали и утрачивали человеческую связь друг с другом. Еще в начале своего отступления они сохраняли подобие групповой организации, разбиваясь на маленькие отряды по 8—10 человек для совместной добычи пропитания¹⁰. Однако чем ближе французская армия на своем возвратном пути придвигалась к западным границам России, тем больше она походила на скопище одиноких шакалов. «Теперь борьба совершалась изолированно, лично каждым... Не было больше братства по оружию, не было общества... Как дикари, сильные грабили слабых; они сбегались к умирающим, часто не дожидаясь даже их последнего вздоха»¹¹.

Причина полного расстройтва, охватившего армию на пике походного напряжения, несомненно, была заложена в ее устройстве. Вопреки изданному в 1798 г. закону Журдана о всеобщей воинской повинности, вследствие многочисленных исключений из общих правил и возможностей откупиться от повинности

французская армия смогла состояться лишь как вольнонаемная и профессиональная¹². Ее солдаты и офицеры были хорошо экипированы, а дополнением к щедрому казенному жалованью являлось узаконенное право на ограбление занятых территорий. Чуткое отношение к заслугам воинов, при котором солдат мог быть произведен в офицеры, а офицер в генералы прямо на поле боя, распаляло желание вновь и вновь повторять подвиги¹³. Однако, несмотря на пополнение офицерского состава выходцами из простонародья и приверженность идеалам Французской революции, Великая армия не выработала никакой устойчивой самоидентификации относительно демократических процедур и норм функционирования. Единственным символом, скреплявшим ее единство, являлся верховный вождь армии. Уверенная в его счастливой звезде, она была рассчитана лишь на победное шествие по странам и континентам¹⁴. Сомнения в непобедимости гения войны, приходившие вместе с непредвиденными трудностями похода, вносили сбой в воспроизводство армейской целостности.

В то же время русская армия на всем протяжении войны, по свидетельству самих же французов, представляла собой «единую нацию, сражающуюся за общее дело»¹⁵. Даже в период, когда под неприятельским натиском она в нестройном порядке отступала и теряла силы, ее разметанные частицы упорно стремились к воссоединению. Отставшие раненые воины привязывали раздробленные конечности к сломанной ветке дерева и, опираясь на палку, пытались доковылять до расположения ближайшей воинской части или деревни. А тяжело раненные старались обрести последнее пристанище среди груды тел убитых сослуживцев¹⁶. Многие офицеры, не желая бросать на произвол судьбы подчиненных, подставляли свое плечо раненым или обессиленным солдатам, навьючивали на себя их поклажу¹⁷.

Корпоратистские схемы взаимодействия экстраполировались на область гражданских связей военнослужащих. Сходившие с армейского «конвейера» массы (только за период с 1699 г. по 1744 г. около 1 млн. человек, а с 1699 г. по 1825 г. — 4,5 млн.)¹⁸ несли с собой в гражданский быт совершенно иные привычки, ценности, верования, нежели те, с которыми они уходили из дома. Неистребимый отпечаток армейца с его обостренным ощу-

щением товарищества и справедливости нередко становился преградой для демобилизованных солдат в их стремлении вернуться на свою малую родину. Таких «репатриантов» не желали принимать осторожные помещики¹⁹. В конечном счете и власть была вынуждена отреагировать на затрудненное возвращение военнослужащих к своим социальным истокам. С 1832 г. увольнявшемуся из армии солдату, даже досрочнику, выдавался паспорт, позволявший выбирать по собственному усмотрению место жительства²⁰.

Впрочем, под углом зрения приобретенных в армии взглядов и привычек переосмысливались и функции самого помещика в рамках владельческих правомочий. Прошедшие фронтовыми дорогами дворяне нередко строили свою роль деревенского хозяина по образу и подобию отца-командира при вверенных ему солдатах. Образчик такого проективного мышления дает завешание И.И. Неплюева, в котором он строго наказывал своему наследнику не делать разницы между подчиненными на службе и подданными в имениях и относиться к тем и к другим с одинаковой отеческой заботливостью²¹. Патернализм, «семейственность», радение о крестьянском благосостоянии, свойственные многим тароватым помещикам вроде А.Т. Болотова, В.А. Левшина, Д.М. Полторацкого, своими основаниями упирались в традиции стихийной «военной демократии» эпохи перманентных войн XVIII — начала XIX столетия.

В этой связи стоит отметить, что помещичий социальный контроль даже в эпоху максимального распространения крепостного права вширь и вглубь включал в себя отнюдь не только репрессивные меры, но и меры всесторонней поддержки, выполнял зачастую те же функции компенсаторного механизма деревни, что и крестьянская община²². О размерах помощи некоторых российских помещиков своим подданным позволяет судить тот факт, что многие из крестьян владели крупной недвижимостью в столицах, имели тысячные торговые обороты и собственных крепостных. (Их численность у крестьян-богатеев В.Г. Орлова или П.Б. Шереметева иногда переваливала за 600—700 душ — сделки оформлялись на имя помещика.)²³

Достаточно нетривиально отношения помещиков и крепостных выглядели с точки зрения просвещенного европейца, вы-

нужденного порой отказываться от изначальных предубеждений при соприкосновении с реальной российской действительностью. Так, наполеоновская разведка доносила своему командованию, что «жители старой Московии очень привязаны к своим господам». Из этих наблюдений делался вывод о том, что приемы социальной пропаганды вряд ли могут быть продуктивны, и «достать Россию можно... только оружием»²⁴. А французский социолог, то есть профессиональный социальный наблюдатель, Ф. Ле-Пле, посетивший Россию в 1837 г., был всерьез озадачен увиденной картиной, которая не вписывалась в усвоенное им на родине пропагандистское клише: «Мои первые впечатления, при виде крепостного состояния противоречили моим предвзятым мыслям, и потому я долго не доверял самому себе... Как и в Испании, взаимная короткость отношений соединяла помещика с крестьянами. С этого первого своего путешествия я заметил, что главная сила России заключалась во взаимной зависимости помещика и крестьян»²⁵. Разумеется, определенные поправки в режиме крестьянской зависимости, восходившие к военно-служебному опыту дворян, не отменяли общего негативного смысла крепостничества как формы межличностных отношений и социально-экономического института. Характерно, однако, что в этом фундаментальном выводе снова лидировали военные деятели. Именно представители военной интеллигенции — участники декабристского движения — первыми пришли к осознанию несостоятельности полумер в крестьянском вопросе и к попыткам его разрешить радикальным образом.

Вместе с тем военное наследие Петра Великого подвергалось и серьезной ревизии, в особенности в части принципов комплектования армии. Наиболее заметная линия послепетровского общественного развития выразилась в раскрепощении сословий, означавшем облегчение, а потом и полную отмену для некоторых из них воинской повинности.

Именным указом Анны Иоанновны от 17 марта 1731 г. отменялся закон Петра I от 1714 г. о единонаследии дворянских имений, одному из дворянских сыновей или единственному сыну в семье разрешалось для лучшего управления хозяйством оставаться дома. В том же году в Петербурге был учрежден первый шляхетский кадетский корпус — военизированное учебное

заведение для дворянских отпрысков, по окончании которого они могли поступать на службу уже не рядовыми, а офицерами. 31 декабря 1736 г. последовала новая уступка: срок службы дворян устанавливался в 25 лет, а начало ее назначалось с 20-летнего возраста. Наконец, 18 февраля 1762 г., к вящему восторгу всего дворянства, Петром III был подписан Манифест о его освобождении от обязательной государственной службы.

В 1775 г. было разрешено откупаться от рекрутской повинности гильдейскому купечеству — корпорации, составленной из верхов торгово-промышленного населения города, обладавших капиталом не менее чем на сумму 1000 рублей. По Городовому положению 1785 г. освобождение от службы в армии предоставлялось именитым гражданам — высшей страте городского населения, объединявшей крупных купцов и банкиров, лиц свободных профессий с образованием, а также выборных, отслуживших два срока в органах городского самоуправления.

Послабления непривилегированным социальным группам касались лишь сроков службы. С 1784 г. вместо неопределенного пожизненного срока для рядового состава вводился 25-летний срок во всех родах войск, а для кавалерии — 15-летний срок, по истечении которых нижние чины могли переводиться либо в пехоту, либо в гарнизоны (для отбывания оставшегося 10-летнего срока).

В 1766 г. по инструкции Екатерины II устанавливался 12-летний срок выслуги в унтер-офицерском чине выходцев из крестьянского сословия, необходимый для производства в младший офицерский чин. Для солдатских детей, выходцев из однодворцев и духовенства этот срок определялся в восемь лет, в то же время дворяне могли этот путь проделать значительно скорее.

Во второй трети XVIII в. русское войско подверглось отупляющему воздействию немецкой муштры. Фельдмаршал Б.К. Миних, взявшийся поднимать несколько застоявшееся после Петра I войсковое обучение, внедрил шагистику, ориентацию на парадные представления, неудобную для ношения, хотя и эффектную для зрелищного просмотра, униформу²⁶. А фаворитизм, вторгшийся в государственные дела при женских правлениях, открыл дорогу произвольности в назначениях, нецелево-

му использованию казенных средств, выделяемых на нужды армии, возникновению не подконтрольных высшему армейскому командованию соединений и персон. Недостатки в послепетровском военном строительстве не раз становились предметом острой критики в самих военных кругах. Один из наиболее ярких документов такой направленности — записка о состоянии русской армии во вторую половину царствования Екатерины II, принадлежавшая перу старшего офицера С.М. Ржевского. Автор с негодованием свидетельствовал о нарушениях, которые на виду у подчиненных совершали командиры полков: зачисление в штат своих прислужников и протеже, разворовывание казенных денег, подделка расходных ведомостей, переманивание людей из других полков, установление «тиранической полковничьей власти» взамен законного чинопочитания и субординации²⁷. Свое обличительное эссе он завершал риторическим вопросом: «Можно ли ожидать храбрости в развратном войске, где первейшею поставлено должностью отделаться от должности, где офицер доведен до уныния... где солдат в слезах горьких съедает сухарь свой, проклиная службу и командиров, озираясь только во все стороны, где бы скорее к побегу найти дорогу и случай?»²⁸. Те же тревожные интонации были слышны в неофициальном обмене мнениями, завязавшемся в конце 70-х годов XVIII в. между крупными военачальниками (П.И. Паниным, П.А. Румянцевым, Н.В. Репниным) и великим князем Павлом Петровичем. Изложенные в рамках письменного диспута позиции указывали на осмысление вопросов набора, обучения и внутреннего распорядка армии в единстве с социальными процессами. Военные эксперты были единодушны в убеждении угнетающего воздействия воинской повинности, которая падала лишь на бесправные группы населения и притом еще изымала из них наиболее неблагополучный элемент. («За свою отдачу рекруты всегда дышат, особливо в первоначальное время, самым злодейством и мщением», — писал граф П.И. Панин²⁹.) Устранение вреда, нанесенного послепетровскими правительственными отношениям армии с обществом, знатоки военного дела видели на путях неукоснительного соблюдения уставных правил во всех отделениях военной машины, и прежде всего в руководящем звене, нового широкого вовлечения потомствен-

ного дворянства в армейские части и поднятия престижа воинской службы личным примером монарха³⁰.

Тем не менее, невзирая на сугубо мужские царствования после 1796 г. и традиционное военное воспитание наследников престола, тенденция разграничения военнослужащих по сословному признаку вместе с утяжелением условий службы для социальных низов не менялась.

В 1831 г. для соискателей офицерского звания были установлены новые сроки производства, определявшиеся также сословной принадлежностью и образованием. Для тех, кто поступал на «правах студентов», требовалось выслужить в унтер-офицерском звании от 3 до 6 месяцев. Для тех, кто поступал «на правах дворян», по истечении 2—3 лет. Для вольноопределяющихся из детей личных дворян, священников, купцов 1-й и 2-й гильдий с гильдейским свидетельством, врачей, аптекарей — по истечении четырех лет. Для однодворцев, детей почетных граждан, купцов 1-й и 2-й гильдий без свидетельства — 10 лет. Для детей купцов 3-й гильдии, мещан, колонистов — 12 лет.

Ввиду увеличения численности войск и усиления притока в офицерский корпус лиц недворянского происхождения, власть попыталась несколько поднять планку для соискателей прав потомственного дворянства. В 1845 г. был введен новый порядок, по которому первый обер-офицерский чин прапорщика давал только личное, а первый штаб-офицерский чин 8-го класса (майор в пехоте и кавалерии, подполковник в артиллерии и инженерных войсках) — потомственное дворянство.

Впоследствии класс чинов, сообщающих потомственное дворянство на военной службе, был еще больше повышен. С 1856 г. его давал чин 6-го класса — полковник. Кроме того, по правилам, связанным с награждением орденом, в XVIII в. — первой половине XIX в. права потомственного дворянства давало награждение российским орденом, во второй половине XIX в. — только орденом высшей степени. Исключение составляли ордена Владимира и Георгия, которые в любой степени были сопряжены с повышением социального статуса.

По рекрутскому уставу 1831 г., призыву в армию подлежали вообще лишь только крестьяне, мещане, солдатские дети, то есть те, кто одновременно с тем уплачивал и подушную подать.

В 1832 г. официальное освобождение от рекрутской повинности, наряду с другими привилегиями, было предоставлено почетным гражданам, к которым были отнесены дети личных дворян, православных священников, купцы 1-й и 2-й гильдий с определенным стажем пребывания в гильдиях, выпускники университетов, ученые со степенью и званием. Во второй четверти и середине XIX в. допускалась и практика заменительства: намеченный кандидат в рекруты мог вместо себя выдвинуть заместителя или купить государственную зачетную квитанцию. (Такие квитанции выпускались в том количестве, в котором потребность армии в воинах восполнялась вольноопределяющимися, то есть волонтерами.) С начала 50-х гг. XIX в. в оборот были запущены выкупные квитанции, по сути, узаконившие возможность откупиться от рекрутской повинности. Результатом этих мероприятий государства по снижению тяжести военной службы, по словам профессора Академии Генерального штаба и военного министра начала XX в. А.Ф. Редигера, явилось отпадение от армии всех «сколько-нибудь возвышающихся над общим уровнем классов общества»³¹. В 1834 г. при Николае I срок службы для нижних чинов был установлен в 20 лет, хотя в течение последующих пяти лет они считались не уволенными, а только отправленными в отпуск. После 1855 г. и до 1874 г. общий срок службы, как правило, уже не превышал 15 лет, а зачастую на практике ограничивался 7—12 годами. Наряду с тем в XIX в. рекрутская повинность не распространялась на целые этнические группы: жителей Бессарабии, инородческого коренного населения Сибири, иностранных колонистов и переселенцев в Россию и некоторых других (см. главу 3).

Итак, в первой половине XIX в. военная повинность в общественном восприятии окончательно отождествлялась с неполноценным социальным состоянием. А сама армия при этом обретала очевидное сходство с пенитенциарным учреждением. Именно такое положение вещей в канун реформ Александра II с прискорбием констатировал военный министр и будущий преобразователь русской армии Д.А. Милютин. (По его данным, из 2112 рекрутов, взятых в 1861 г. в зачет будущих наборов и в порядке наказания, 567 являлись бродягами и мелкими уголовниками, 587 были сданы в армию ввиду политической неблагона-

дежности, 34 были воспитанниками военно-учебных заведений, отчисленными за плохое поведение³².)

К худшему в XIX в. изменилось и содержание воинского контингента. (Обычный суточный рацион солдата XIX в. состоял из трех фунтов (1,2 кг) хлеба, 0,5 фунта (200 г) мяса или рыбы, некоторого количества жиров и так называемого «приварка» — крупы, картофеля)³³. При интендантском воровстве, нередкой халатности военных чиновников и плохом медицинском обслуживании в эпоху Николая I у рядового было только 20 шансов из 100 благополучно дослужить до конца срока, даже если ему не приходилось побывать в пекле сражений. На фоне поблекшего образа армии и отпадения от воинской службы привилегированных категорий населения сама рекрутская повинность осмысливалась как наказание без вины. Показательно, что именно к XIX в. относятся множественные описания душераздирающих сцен отдачи в солдаты в мемуарной литературе.

Вот как, например, описывал этот ритуал А.И. Герцен: «Чаще всего отдавали дворовых в солдаты; наказание это приводило в ужас всех молодых людей; без роду, без племени, они все же лучше хотели остаться крепостными, нежели... тянуть лямку. На меня сильно действовали эти страшные сцены... являлись два полицейских солдата по зову помещика, они воровски, невзначай, врасплох брали назначенного человека; староста обыкновенно тут объявлял, что барин с вечера приказал представить его в присутствие, и человек сквозь слезы куражился. Женщины плакали, все давали подарки, и я отдавал все, что мог, то есть какой-нибудь двугривенный, шейный платок»³⁴. А вот свидетельство князя П.А. Кропоткина: «Мрачный ужас охватывал весь наш дом, когда становилось известно, что кого-нибудь из прислуги отправляют в военное присутствие. Его заковывали и сажали в контору под караулом, чтобы помешать ему наложить на себя руки. Затем к дверям конторы подъезжала телега и сдаваемого выводили в сопровождении двух караульных. Все дворовые окружали его. Он кланялся всем низко и просил каждого простить ему вольные и невольные прегрешения. Если родители сдаваемого жили в деревне, они приходили также, чтобы проводить. Тогда он клал родителям низкий по-

клон, причем мать и родственницы начинали причитывать, как по покойнику»³⁵.

И все же, несмотря на многочисленные коррективы принципов первой четверти XVIII в., общий вектор военно-гражданских отношений не сильно отклонялся от стрелки петровского компаса. Импульса, сообщенного Петром I, еще хватало на систематическое возобновление связей армии с социумом в течение всего дореформенного периода. Напружинившись, податные сословия выставляли требуемое количество рекрутов. Дворяне, даже воспользовавшиеся Манифестом о вольности 1762 г., в большинстве своем возвращались в строй, если не на военную, то на гражданскую службу³⁶. (Дворянские историки отмечали, что правительственная власть, освободившая дворян от обязательной службы, тянула с окончательным решением этого вопроса вплоть до издания Жалованной Грамоты дворянству в 1785 г.³⁷.) Отставные дворяне — участники боевых действий — образовывали центр уездного общества и преимущественно избирались в предводители, невзирая на то, что часто не могли предъявить ни высоких чинов, ни большого достатка. Молодые люди из знатных фамилий, испытывавшие страх перед оружием и стрельбой, возбуждали презрительные смешки среди собратьев по классу. Те же, кто стремился в действующей армии попасть на интендантскую должность, вызывали дружное осуждение: «Я думал, что ты, брат, добрый человек, а ты просишься в воры!»³⁸

Нерастраченный ресурс петровского военного проекта выявляла и его самопроизвольная «сборка» в 1812 г., когда, по словам историка А.А. Керсновского, «все, что было в России горячего сердцем и чистого душой, одело мундир ... и не собиралось с этим мундиром расставаться по окончании военной грозы»³⁹. Непрерывная череда войн начала XIX в. снова привела к заметному насыщению офицерского корпуса выходцами из непривileгированных сословий. (По подсчетам Б.Г. Келниса, к концу второго десятилетия XIX в. в составе 1-й и 2-й армий насчитывалось не менее 254 таких обер-офицеров, причем половину из них составляли георгиевские кавалеры.)⁴⁰ Несмотря на отток из армии офицеров — участников боевых действий в следующее десятилетие после замирения Европы, до конца доре-

форменного периода военное ремесло рассматривалось как самое почтенное сословное занятие дворянства. По-прежнему, по словам аристократического мемуариста и писателя В.А. Соллогуба, дворянское «воспитание было направлением к единственной цели — службе»⁴¹ (подразумевалась военная служба. — *И.В.*). Профессиональную подготовку обеспечивали: сеть кадетских корпусов во главе с Пажеским, Дворянский полк, основанный в начале XIX в. для подготовки дворян к поступлению в высшие учебные заведения, школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, созданная в 1823 г. специально для военного образования дворян — выпускников пансионов и университетов, институция полковых юнкеров. По-прежнему престиж офицерского звания стоял на высоте, недостижимой для гражданского служащего. Барон Н. Врангель приводил в своих воспоминаниях жанровую сценку, очень показательную для до-реформенного порядка. На званый обед в один дворянский дом в числе прочих приглашенных явился генерал, которому не понравилось мнение, высказанное во время застольной беседы другим гостем, богатым и влиятельным в уезде помещиком; недолго размышляя, он приказал ему выйти вон из-за стола. Помещик покорно подчинился, и никто из присутствующих не решился выразить протеста⁴².

Наконец, крупные войны, которые вела Россия на своей территории в первой половине XIX в., неизменно демонстрировали готовность социальных верхов и низов, армии и гражданского населения к объединению и согласованным действиям даже без команд, раздававшихся сверху. Посторонний наблюдательный взгляд быстро схватывал эту особенность российского общества. Так, проницательная мадам де Сталь, посетившая Россию в 1812 г., увидела здесь «больше взаимной привязанности» между высшими и низшими сословиями, чем в Западной Европе, отметила привычную для господ смену комфорта на условия походной жизни («когда роскошь невозможна, отказываются даже от необходимого»). Вкупе с «духом веры и воинственности» эти качества, по мнению писательницы, делали россиян непобедимыми⁴³. Ту же пластичность российской социальной организации в экстремальных обстоятельствах охотно признавали и ее завзятые обличители вроде А.И. Герцена. Во

время эпидемии холеры, случившейся в 1849 г. в Париже, по его наблюдениям, каждый житель спасался в одиночку. В Москве в 1831 г. в аналогичной ситуации, как свидетельствовал Герцен, разворачивался совсем другой сценарий. Здесь мгновенно образовался комитет из почетных жителей, богатых купцов и помещиков, который взял на себя обеспечение санитарного порядка и оказание медицинской помощи всем страждущим⁴⁴.

Этот же консолидационный феномен хорошо иллюстрировали 420 297 народных ополченцев, собранных в течение нескольких недель от всех сословий в 1812 г.⁴⁵ (Из них свыше 12 тыс. продолжили свой ратный подвиг в заграничном походе русской армии, а вернулись домой менее половины добровольцев⁴⁶.) Так же дружно во время Крымской войны встали под знамена сражающейся армии 240 тыс. человек из разных регионов России и из разных категорий населения⁴⁷. Прочность «соединительной ткани» российской социальной организации показывали и посрамленные расчеты Наполеона на благодарность русских крестьян в обмен на обещанную волю (такие ожидания создавали прокламации, заброшенные в страну накануне французского вторжения)⁴⁸, а также провалившаяся затея англичан в Крымскую кампанию с созданием «пятой колонны» из ущемленных групп российских граждан. (На нее откликнулась только горстка отщепенцев из польских «патриотов»⁴⁹.) С этой точки зрения, представляется несколько преувеличенным представление о социокультурном расколе, семиотическом разноязычии как одном из доминантных признаков российского общества после Петра I, широко распространенное в рамках культурологических построений по отечественной истории. Факторы, препятствовавшие взаимопониманию разделенных социумов, на самом деле легко отступали перед лицом ответственных общенациональных задач.

Непременным фактом оставалась и относительная защищенность российского порядка от воздействия внутренних деструктивных сил. На фоне бушевавших на Европейском континенте революционных ураганов конца XVIII и XIX вв. российское общество оставалось относительно тихой гаванью. Локальные крестьянские бунты и даже пугачевская жакерия третьей четверти XVIII в. не меняли расстановку классовых сил и не созда-

вали угрозы слома социально-политического строя. Схему их действий довольно остроумно очерчивал министр внутренних дел при Александре II П.А. Валуев: «Со времен стрелецких бунтов, сквозь Стеньку Разина и Пугачева по 1861 год одни и те же черты. Опирающие зачинщиков на царские имена, обвинение властей в подложных указах, систематическое заглушение каким-нибудь «сгу» (криком. — *И.В.*) увещаний начальников, быстрый упадок духа при энергическом употреблении силы»⁵⁰.

Иными словами, сегментарный и разделенный российский социум все-таки в нескольких основополагающих точках был крепко прошит «консоциативными» нитями. Приведенные соображения отнюдь не ведут к утверждению, что самодержавная власть изобрела чудодейственный рецепт гражданского мира. Такового в природе попросту не существовало. Речь может идти о другом: о способности социума, по меньшей мере до конца дореформенного периода, противостоять внешним и внутренним дестабилизирующим факторам на базе коалиций социальных сил. Такая возможность, как считает Ш.Н. Эйзенштадт, обуславливается успешной передачей на разные уровни общественной структуры культурно-ценностных регуляторов поведения элиты, главенствующей в организационно-институциональной сфере⁵¹. Эта миссия в российской истории была неразрывно связана с регулярной армией.

Примечание к главе 1.1

¹ Буганов В.И. Московские восстания конца XVII века. М., 1969. С. 417.

² Смирнов Ю.Н. Русская гвардия в XVIII в. Куйбышев, 1989. С. 12.

³ Чистяков А.С. История Петра Великого. М., 1992. С. 19.

⁴ Смирнов Ю.Н. Указ. соч. С. 13.

⁵ История о царе Петре Алексеевиче 1682—1694 гг. Сочинение князя Б.И. Куракина. // Петр Великий. Воспоминания. Дневниковые записи. Анекдоты. Париж — Москва — Нью-Йорк, 1993. С. 67—68.

⁶ Лавров А.С. Регентство царевны Софьи Алексеевны. М., 1999. С. 165.

⁷ Из дневника генерала Патрика Гордона. Публикация документа В.А. Рыбина. // Военно-исторический журнал. 1991. № 10. С. 90.

⁸ Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1990. С. 32.

- ⁹ Фоккеродт И.Г. Россия при Петре Великом. // Неистовый реформатор. М., 2000. С. 31.
- ¹⁰ Павленко Н.И. Указ. соч. С. 33; Овсянников Ю. Петр Великий. М., 2001. С. 36.
- ¹¹ Буганов В.И. Петр Великий и его время. М., 1999. С. 11, 33.
- ¹² Там же, с. 9.
- ¹³ Павленко Н.И. Указ. соч. С. 8.
- ¹⁴ Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве и другие сочинения. М., 1951. С. 251.
- ¹⁵ Петросьян А.А. Шотландский наставник Петра I и его «Дневник». // Вопросы истории. 1994. № 9. С. 166.
- ¹⁶ Чернов А.В. Вооруженные силы русского государства в XV—XVII вв. М., 1954. С. 86.
- ¹⁷ Буганов В.И. Петр Великий. С. 49, 53; Он же. Московские восстания. С. 81.
- ¹⁸ Павленко Н.И. Указ. соч. С. 87.
- ¹⁹ Корб И.Г. Дневник путешествия в Московию. (1698 и 1699 гг.). СПб., 1906. С. 182.
- ²⁰ Там же, с. 92—93, 188.
- ²¹ Буганов В.И. Московские восстания. С. 405.
- ²² Гистория Свейской войны (Поденная записка Петра Великого). Вып. 1. Сост. Т.С. Майкова. М., 2004. С. 81—82.
- ²³ Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. 7. М., 1962. С. 567—568.
- ²⁴ Гистория Свейской войны. С. 81.
- ²⁵ Буганов В.И. Московские восстания. С. 182.
- ²⁶ Желябужский И.А. Записки. // Россия при царевне Софье и Петре I. Записки русских людей. Сост. А.П. Богданов. М., 1990. С. 260.
- ²⁷ Корб И.Г. Указ. соч. С. 184.
- ²⁸ Петр Великий. Воспоминания. Дневниковые записи. Анекдоты. Примеч. С. 425.
- ²⁹ Корб И.Г. Указ. соч. С. 89, 188.
- ³⁰ Там же, с. 91.
- ³¹ Желябужский И.А. Указ. соч. С. 261.
- ³² Буганов В.И. Петр Великий. С. 52—53.
- ³³ Eisenstadt S.N. Roniger L. Patrons, Clients and Friends. Interpersonal Relations and the Structure of Trust in Society. Cambridge, 1984. Pp. 48—49.
- ³⁴ Ibid. P. 53—54.
- ³⁵ Гистория о царе Петре Алексеевиче 1682 — 1694 гг. С. 68.
- ³⁶ Заозерский А.И. Царская вотчина XVII в. М., 1937. С. 297—305.
- ³⁷ Буганов В.И. Московские восстания. С. 417.
- ³⁸ Корб И.Г. Указ. соч. С. 179.
- ³⁹ Там же, с. 91.
- ⁴⁰ Там же, с. 96.
- ⁴¹ Там же, с. 120, 122.
- ⁴² Там же, с. 125.

Примечание к главе 1.2

- ¹ Ключевский В.О. Курс русской истории. // Ключевский В.О. Соч. Т. 4. М., 1958. С. 167.
- ² Анисимов Е.В. Петр I: рождение империи. // История Отечества: люди, идеи, решения. Т. 1. М., 1991.
- ³ Beyrau D. Militar und Gesellschaft im vorrevolutionären Russland. Bohrlau, Köln, Wien, 1984. Ss. 12—13.
- ⁴ Ibid. S. 12.
- ⁵ Ibid. S. 33.
- ⁶ Ibid. S. 24, 40.
- ⁷ Ibid. S. 39.
- ⁸ Кеер J.L.H. Soldiers of the Tsar Army and Society in Russia. 1462—1874. Claredon Press, Oxford, 1985. Pp. 191—192.
- ⁹ Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М., 1996. С. 204.
- ¹⁰ Ионин Л.Г. Социология культуры. М., 1998. С. 86—87.
- ¹¹ Успенский Б.А. Царь и Бог. Семиотические аспекты сакрализации монарха в России. // Успенский Б.А. Избранные труды. Т. 1. М., 1994.
- ¹² Российское законодательство X—XX веков в 9 т. Т. 4. М., 1986. С. 331.
- ¹³ Плейер О.А. О нынешнем состоянии государственного управления в Московии в 1710 году. // Лавры Полтавы. М., 2001. С. 399.
- ¹⁴ Берхгольц Ф.В. Дневник камер-юнкера. // Неистовый реформатор. С. 135.
- ¹⁵ Там же, с. 134.
- ¹⁶ Там же, с. 141.
- ¹⁷ Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций. М., 1999. С. 130.
- ¹⁸ Там же, с. 127.
- ¹⁹ Там же, с. 157.
- ²⁰ Гистория о царе Петре Алексеевиче. 1993. С. 81.
- ²¹ Фоккеродт И.Г. Указ. соч. С. 87.
- ²² Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996. С. 314—316.
- ²³ Гистория о царе Петре Алексеевиче. С. 75.
- ²⁴ Там же, с. 76.
- ²⁵ Там же, с. 83—84.
- ²⁶ Кашин Н.И. Поступки и забавы императора Петра Великого. // Петр Великий. Воспоминания. Дневниковые записи. Анекдоты. С. 128—129.
- ²⁷ Неилуев И.И. Записки. // Империя после Петра. 1725—1765. М., 1998. С. 417.
- ²⁸ Фоккеродт И. Г. Указ. соч. С. 32.

- ²⁹ Богословский М.М. Областная реформа Петра Великого. Провинция 1719—1727 гг. М., 1902. С. 312—313.
- ³⁰ Там же, с. 315.
- ³¹ Там же, с. 317.
- ³² Там же, с. 320.
- ³³ Акишин М.О. Полицейское государство и Сибирское общество. Эпоха Петра Великого. Новосибирск, 1996. С. 147.
- ³⁴ Фоккеродт И.Г. Указ. соч. С. 35—36.
- ³⁵ Богословский М.М. Указ. соч. С. 379.
- ³⁶ Там же, с. 384.
- ³⁷ Там же, с. 387.
- ³⁸ Неплюев И.И. Указ. соч. С. 420.
- ³⁹ Богословский М.М. Указ. соч. С. 351.
- ⁴⁰ Там же, с. 339.
- ⁴¹ Анисимов Е. Податная реформа Петра I. Введение подушной подати в России. 1719—1728 гг. Л., 1982. С. 145.
- ⁴² Там же, с. 174, 187.
- ⁴³ Там же, с. 157.
- ⁴⁴ Там же, с. 258.
- ⁴⁵ Там же, с. 217.
- ⁴⁶ Там же, с. 264.
- ⁴⁷ Соловьев С.М. История России. Кн. 8. М., 1962. С. 481—482.
- ⁴⁸ Богословский М.М. Указ. соч. С. 411.
- ⁴⁹ Анисимов Е.В. Указ. соч. С. 211.
- ⁵⁰ Готье Ю.В. История областного управления в России от Петра I до Екатерины II. Т. I. М., 1913. С. 19.
- ⁵¹ Богословский М.М. Указ. соч. С. 395.
- ⁵² Беспятых Ю.Н. Иностранцы источники по истории России первой четверти XVIII в. (Ч. Уитворт, Г. Грунд, Л.Ю. Эренмальм). СПб., 1998. С. 75, 256.
- ⁵³ Фоккеродт И.Г. Указ. соч. С. 96.

Примечания к главе 1.3

- ¹ Рабинович М.Д. Формирование регулярной русской армии накануне Северной войны. // Вопросы военной истории России. XVIII и первая половина XIX века. М., 1969. С. 221—222.
- ² Там же, с. 231—232.
- ³ Кеер J. L. H. Op.cit. Pp. 106—107.
- ⁴ Анисимов Е.В. Указ. соч. С. 154.
- ⁵ Анисимов Е.В. Время петровских реформ. Л., 1989. С. 105.
- ⁶ Рабинович М.Д. Указ. соч. С. 223.
- ⁷ Керсновский А.А. История русской армии в 4 тт. Т 1. От Нарвы до Парижа. М., 1992. С. 51.

- ⁸ Пушкарёв И.И. История императорской Российской гвардии. Ч. 1. СПб., 1844.
- ⁹ Посошков И.Т. Указ. соч. С. 268.
- ¹⁰ Медушевский А.Н. Утверждение абсолютизма в России. Сравнительное историческое исследование. М., 1994. С. 231—232.
- ¹¹ Водарский Я.Е. Служилое дворянство в России в конце XVII— начале XVIII в. // Вопросы военной истории России. С. 234, 237.
- ¹² Письма и бумаги Петра Великого. Т. X. № 3652.
- ¹³ Письма и бумаги Петра Великого. Т. XI. № 4288, 4291; ПСЗ. Т. IV. № 2330, 2337.
- ¹⁴ ПСЗ. Т. VI. № 3874.
- ¹⁵ Бескровный Л.Г. Русская армия и флот в XVIII в. (Очерки). М., 1958. С. 68.
- ¹⁶ Безвременье и временщики. Воспоминания об эпохе «дворцовых переворотов» (1720-е — 1760-е годы). Л., 1991. С. 300.
- ¹⁷ Индова Е. К вопросу дворянской собственности в поздний феодальный период. // Дворянство и крепостной строй в России. XVI— XVIII вв. М., 1975. С. 277—278.
- ¹⁸ Там же, с. 280.
- ¹⁹ Рабинович М.Д. Социальное происхождение и имущественное положение офицеров регулярной армии в конце Северной войны. // Россия в период реформ Петра I. Под ред. Н.И. Павленко. М., 1973. С. 166.
- ²⁰ Там же, с. 170.
- ²¹ Подъяпольская Е.П. К вопросу о формировании дворянской интеллигенции в первой четверти XVIII в. (по записным книжкам и «мемориям» Петра I. // Дворянство и крепостной строй в России. С. 186—188.
- ²² Кеер J.L.H. Op.cit. P. 126.
- ²³ Водарский Я.Е. Указ. соч. С. 237—238.
- ²⁴ Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство XVIII в. Формирование бюрократии. М., 1974. С. 43.
- ²⁵ Российское законодательство X—XX вв. Т. 4. С. 62.
- ²⁶ Там же, с. 346.
- ²⁷ Брюс П.Г. Из мемуаров. // Беспятых Ю.Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. Л., 1991. С. 184.
- ²⁸ Беспятых Ю.Н. Иностранные источники по истории России. С. 327, 366.
- ²⁹ Беспятых Ю.Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. С. 184.
- ³⁰ Фоккеродт И.Г. Указ. соч. С. 33—34.
- ³¹ Там же, с. 86.
- ³² Каменский А.Б. От Петра I до Павла I. Реформы в России XVIII века. Опыт целостного анализа. М., 1999. С. 164.
- ³³ Троицкий С.М. Указ. соч. С. 104—118.
- ³⁴ Юль Ю. Записки датского посланника в России при Петре Великом. // Лавры Полтавы. С. 65.
- ³⁵ Там же, с. 152.

- ³⁶ Там же, с. 91.
- ³⁷ Там же, с. 162.
- ³⁸ Там же, с. 95.
- ³⁹ Там же, с. 152.
- ⁴⁰ ПСЗ. Т. IV. № 2467.
- ⁴¹ Хрусталеv Е.Ю., Батьковский А.М., Балычев С.Ю. «Размер денежного довольствия офицера представляется предметом первостепенной важности». // Военно-исторический журнал. 1997. № 1. С. 5.
- ⁴² ПСЗ. Т. IV. № 2319.
- ⁴³ Юль Ю. Указ. соч. С. 195.
- ⁴⁴ ПСЗ. Т. IV. № 2319.
- ⁴⁵ Хрусталеv Е.Ю., Батьковский А.М., Балычев С.Ю. Указ. соч. С. 5.
- ⁴⁶ Троицкий С.М. Указ. соч. С. 43.
- ⁴⁷ Хок С.Л. Крепостное право и социальный контроль в России. Петровское село Тамбовской губернии. М., 1993. С. 142—143, 146.
- ⁴⁸ Рабинович М.Д. Указ. соч. С. 170.
- ⁴⁹ Смирнов Ю.Н. Указ. соч. С. 26.
- ⁵⁰ Юль Ю. Указ. соч. С. 210.
- ⁵¹ Дашкова Е.Р. Записки. 1743—1810. Л., 1985. С. 127—128.
- ⁵² О повреждении нравов в России князя М. Щербатова. // О повреждении нравов в России князя М. Щербатова и Путешествие А. Радищева. Факсимильное издание. М., 1983. С. 80.
- ⁵³ Плейер О.А. Указ. соч. С. 398.
- ⁵⁴ Юль Ю. Указ. соч. С. 57.
- ⁵⁵ Там же, с. 64.
- ⁵⁶ Там же, с. 315.
- ⁵⁷ Выдержки из автобиографии Расмуса Эребо, касающиеся трех путешествий его в Россию. // Лавры Полтавы. С. 380.
- ⁵⁸ Цит по: Уредссон С. Карл XII и падение шведского великодержавия в историографии и традиции. // Царь Петр и король Карл. Два правителя и их народы. М., 1999. С. 288.
- ⁵⁹ Уредссон С. Карл XII. // Там же, с. 36, 58.
- ⁶⁰ Артеус Г. Карл XII и его армия. // Там же, с. 166.
- ⁶¹ Неплюев И.И. Указ. соч. С. 420.
- ⁶² Там же, с. 423.
- ⁶³ Воспоминания И.И. Голикова об И.И. Неплюеве. // Империя после Петра. С. 448.
- ⁶⁴ Нащокин В.А. Записки. // Там же, с. 236.
- ⁶⁵ Юль Ю. Указ. соч. С. 179.
- ⁶⁶ ПСЗ. Т. III. № 1540; ПСЗ. Т. V. № 2638.
- ⁶⁷ Keer J. L. Н. Op. cit. P. 110.
- ⁶⁸ Российское законодательство. Т. 4. С. 327—365.
- ⁶⁹ Юль Ю. Указ. соч. С. 73.

- ⁷⁰ Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М., 1979. С. 95—96, 107—108.
- ⁷¹ Борисов Ю.В. Дипломатия Людовика XIV. М., 1991. С. 128—131;
- Де Токвиль А. Старый порядок и революция. М., 1997. С. 105.
- ⁷² Де Токвиль А., с. 74.
- ⁷³ Там же, с. 110—111.
- ⁷⁴ Орешкова С.Ф. Государственная власть и некоторые проблемы формирования социальной структуры Османского общества. // Османская империя. Система государственного управления, социальные и этнорелигиозные проблемы. Сб. ст. М., 1986; Она же: Русский посол в Стамбуле. М., 1985. Примечания. С. 131—132, 137.
- ⁷⁵ Витол А.В. Османская империя (начало XVIII в.). М., 1987. С. 22.
- ⁷⁶ Орешкова С.Ф. Русский посол в Стамбуле. С. 61.
- ⁷⁷ Виноградов В.Н. Цена междоусобиц. Из летописи ранних славяно-османских отношений. // Славянские народы: общность истории и культуры. М., 2000. С. 81—82.
- ⁷⁸ Цит. по: Миллер А.Ф. Турция. Актуальные проблемы новой и новейшей истории. М., 1983. С. 22.
- ⁷⁹ Там же, с. 25—26; Васильев Л.С. История Востока. Т. 1. М., 1998. С. 290—292.
- ⁸⁰ Антонова К.А. Английское завоевание Индии в XVIII в. М., 1958. С. 6—8.
- ⁸¹ Бродель Ф. Время мира. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV—XVIII вв. Т. 3. М., 1992. С. 529.
- ⁸² Там же, с. 530.
- ⁸³ Зиммель Г. Социальная дифференциация. Социологические и психологические исследования. // Зиммель Г. Избранное. Т. 2. М., 1996. С. 386—387.
- ⁸⁴ О повреждении нравов в России князя М. Щербатова. С. 70—71.
- ⁸⁵ Рассказы служившего в 1-м егерском полку полковника Михаила Петрова о военной службе и жизни своей и трех родных братьев его, зачавшейся с 1789 г. // 1812 год. Воспоминания воинов русской армии. Из собрания отдела письменных источников государственного Исторического музея. М., 1991. С. 117.
- ⁸⁶ Граф Никита Петрович Панин. // Русская старина, 1873. Т. 8. С. 340.
- ⁸⁷ Давыдов М.А. Оппозиция Его Величества. М., 1994. С. 20, 25, 28.
- ⁸⁸ Граф Никита Петрович Панин. С. 343.
- ⁸⁹ Глинка С.Н. Записки. СПб., 1895. С. 122.
- ⁹⁰ Троицкий Н.А. Михаил Илларионович Кутузов. Факты. Версии. Мифы. (К 250-летию со дня рождения.) // М.И. Кутузов и русская армия на втором этапе Отечественной войны 1812 года. Материалы научной конференции. Малоярославец, 1995. С. 36—37, 41.
- ⁹¹ Готье Ю.В. Указ. соч. С. 36—37.
- ⁹² Там же, с. 42.
- ⁹³ Там же, с. 319.
- ⁹⁴ Там же, с. 134.
- ⁹⁵ Богословский М.М. Указ. соч. С. 367.

- ⁹⁶ Бескровный Л.Г. Указ. соч. С. 308.
- ⁹⁷ Российское законодательство. Т. 4. С. 206.
- ⁹⁸ Там же, с. 205.
- ⁹⁹ Там же, с. 204—205.
- ¹⁰⁰ Бескровный Л.Г. Указ. соч. С. 119.
- ¹⁰¹ Российское законодательство. Т. 4. С. 207.
- ¹⁰² Посошков И.Т. Указ. соч. С. 44—45.
- ¹⁰³ Российское законодательство. Т. 4. С. 207.
- ¹⁰⁴ Там же. С. 206—207.
- ¹⁰⁵ Богословский М.М. Указ. соч. С. 368.
- ¹⁰⁶ Там же, с. 370.
- ¹⁰⁷ Готье Ю.В. Указ. соч. С. 37.
- ¹⁰⁸ Анисимов Е.В. Юный град Петербург времен Петра Великого. СПб., 2003. С. 97.
- ¹⁰⁹ Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время. В поисках утраченного. М., 1997. С. 561.
- ¹¹⁰ Сеа Л. Философия американской истории. Судьбы Латинской Америки. М., 1984. С. 82.
- ¹¹¹ Мендра А. Основы социологии. М., 2000. С. 69—70.
- ¹¹² Дюркгейм Э. Указ. соч. С. 299, 310.
- ¹¹³ Там же, с. 389, 415.
- ¹¹⁴ Мионов Б.Н. Социальная история России. Т. 1. СПб., 1999. С. 131.
- ¹¹⁵ Там же, с. 137.
- ¹¹⁶ Там же, с. 311.
- ¹¹⁷ Бродель Ф. Указ. соч. С. 463.
- ¹¹⁸ Там же, с. 40.
- ¹¹⁹ Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 136.
- ¹²⁰ Обушенкова Л.А. Королевство Польское в 1815—1830 гг. М., 1979. С. 47, 61, 126.
- ¹²¹ Дневник Александра Чичерина, 1812—1813. М., 1966. С. 105, 108.
- ¹²² Семевский М.И. Слово и дело. 1700—1725. СПб., 1884. С. 11—12, 48—51.
- ¹²³ Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1973. С. 61.
- ¹²⁴ Almond G. A., Verba S. The Civic Culture: Political Attitudes against democracy in five Nations N. J. 1963.
- ¹²⁵ Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом. М., 1984. С. 174.

Примечания к главе 1.4

¹ Зиммель Г. Избранное. Т. 2. С. 417—418.

² Там же, с. 420.

³ Кеер J.L.H. Op.cit. P. 227.

⁴ ПСЗ. Т. XVI. № 12289.

⁵ ПСЗ. Т. XVII. № 12543.

⁶ Александрова Н.В. Военная служба в жизни российского дворянина XVIII в. // Человек и война. Под ред. И. В. Нарского и О. Ю. Никоновой. М.: 2001. С. 341.

⁷ Экшут С.А. В поиске исторической альтернативы. Александр I. Его сподвижники. Декабристы. М., 1994. С. 138; Ильин П.В. М.С. Воронцов и его окружение. // Из глубины времен. 1995. № 4. С. 55—56.

⁸ Глинка Ф.Н. Письма русского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции, с подробным описанием Отечественной и заграничной войны с 1812 по 1814 год, ч. IV. М., 1815. С. 52.

⁹ Там же. Ч. VI. М., 1815. С. 42.

¹⁰ Граф де Сегюр. Поход в Россию. Мемуары адъютанта. М., 2002. С. 272.

¹¹ Там же, с. 273.

¹² Исдейл Ч. Дж. Наполеоновские войны. Ростов-на-Дону, Москва, 1997. С. 85, 90.

¹³ Шмидт Х. Наполеон I. 1799/1804—1814/1815. // Французские короли и императоры. Под ред. П.К. Хартмана. Ростов на Дону, 1997. С. 400; Соколов О. Капитан Н. Происхождение младших офицеров армии Наполеона. // Родина, 1992. № 6—7. С. 15.

¹⁴ Шмидт Х. Указ. соч. С. 402—403.

¹⁵ Граф де Сегюр. Указ. соч. С. 93.

¹⁶ Там же, с. 111.

¹⁷ Рассказы служившего в I-м егерском полку... С. 176—177.

¹⁸ Кабузан В.М. Народы России в XVIII в. Численность и этнический состав. М., 1990. С. 5; Кеер J.L.H. Op.cit. P. 145.

¹⁹ Кабузан В.М. Указ. соч. С. 57.

²⁰ ПСЗ-2. Т. VII. № 5294.

²¹ Витевский В.В. И.И. Неплюев, организатор Оренбургского края. Казань, 1894. С. 25.

²² Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М., 1998. С. 425—426.

²³ Семевский В.И. Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II. Т. I. СПб., 1903. С. XXII.

²⁴ Попов А.Н. Великая армия в России. Погоня за миражом. Самара, 2002. С. 123.

²⁵ Николай I и его время. Документы. Письма, дневники, мемуары, свидетельства современников и труды историков. Т. I. М., 2000. С. 355—356.

²⁶ Артамонов В.А. Русская армия после Петра I. // Военно-исторический журнал. 1997. № 3. С. 44—45.

²⁷ Записка о русской армии во второй половине екатерининского царствования С.М. Ржевского. // Русский архив. 1879. Кн. 1, № 3. С. 357.

²⁸ Там же, с. 358.

²⁹ Цит. по: Бескровный Л.Г. Указ. соч. С. 302.

³⁰ Переписка великого князя Павла Петровича с графом Петром Паниным. // Русская старина. 1882. Т. XXXIII. С. 417—418.

³¹ Комплектование и устройство вооруженной силы. Составил А. Редигер, Генерального штаба генерал от инфантерии и заслуженный профессор Военной академии. Ч. 1. СПб., 1913. С. 131.

³² Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1860—1862 гг. М., 1999. С. 255.

³³ Зайончковский П.А. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX—XX столетий. 1881—1903 гг. М., 1973. С. 85.

³⁴ Герцен А.И. Былое и думы. Ч. 1—3. М., 1982. С. 54

³⁵ Кропоткин П.А. Записки революционера. М., 1988. С. 91.

³⁶ Фаизова И.В. «Манифест о вольности» и служба дворянства в XVIII в. М., 1999. С. 171.

³⁷ К.Н.В. Дворянская грамота. // Исторический вестник. 1885. Март. С. 632.

³⁸ Крюков В.В. Военная служба рязанского дворянства во второй половине XVIII в. // Россия в XVIII столетии. Вып. 1. Отв. ред. В.В. Рычаловский. М., 2002. С. 19.

³⁹ Керсновский А.А. История русской армии. Т. 2. М., 1993. С. 8.

⁴⁰ Кепнис Б. Г. Офицерский корпус русской армии весной 1828 г. (К вопросу о его боеготовности и социальном составе). // Из глубины времен. 1995. № 4. С. 20.

⁴¹ Петербургские страницы воспоминаний графа Соллогуба В.А. СПб., 1993. С. 119.

⁴² Барон Н. Врангель. Воспоминания (от крепостного права до большевиков). Берлин, 1924. С. 4.

⁴³ Россия первой половины XIX в. глазами иностранцев. Л., 1991. С. 30—31, 60.

⁴⁴ Герцен А.И. Указ. соч. С. 130.

⁴⁵ Бабкин В.И. Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года. М., 1968. С. 89.

⁴⁶ Там же, с. 196—197.

⁴⁷ Богданович М.И. Восточная война 1853—1856 гг. Т. 4. СПб., 1877. С. 419.

⁴⁸ Езерская И. Собирался ли Наполеон отменять крепостное право в России? // Родина. 1992. № 6—7. С. 124.

⁴⁹ Военная мысль в изгнании. Творчество русской военной эмиграции. М., 1999. С. 374.

⁵⁰ Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел, в 2 тт. Т. 1. М., 1961. С. 105.

⁵¹ Эйзенштадт Ш. Указ. соч. С. 74—75.

Глава 2

АРМИЯ, ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО НА ЭТАПЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ

2. 1. Реорганизация призывной системы и солдатская служба

Кардинальная перестройка армии, проведенная в 1874 г., явилась заключительным аккордом правительственных преобразований 1860—1870-х гг. В самом факте отложенной под занавес военной реформы выразилась иная логика второй российской модернизации относительно первой, петровской, а также аналогичных опытов XIX в. в ряде стран Востока: Османской империи, Египте, Японии, Китае. По верному наблюдению американского исследователя модернизаций в развивающихся странах Д. Ральстона, военная реформа в этих странах была началом вестернизации, раскрывавшим далее целый веер преобразований и придававшим им системность¹. Создание боеспособной современной армии сразу же ставило на повестку дня список задач. Это — реорганизация налогообложения и принципов распределения налоговых поступлений; повышение эффективности местных властей в целях регуляции финансовых потоков; качественное улучшение профессионального военного образования, а затем и базисного гражданского, способного поднять культурный уровень призывников; обновление фонда полезных технологий и организационных установлений в реальном секторе экономики, неразрывно связанном с военно-промышленным комплексом². Становясь контрапунктом, военное реформирование обеспечивало взаимную увязку и логическую последовательность остальных шагов модернизации.

Российская модернизация второй половины XIX в. поставила впереди военной реорганизации программу социально-экономического и внутривластного переустройства.

В этом выразился коллективный выбор правительственных кругов и либеральной общественности, активно ассистировавшей власти. Данная позиция была принята министром-реформатором Д.А. Милютиным, возглавившим в мае 1861 г. военное ведомство. Едва получив министерский портфель, Милютин при поддержке и одобрении своего августейшего патрона приступил к сокращению вооруженных сил. Так, если в начале его министерства действующая армия насчитывала 895 тыс. человек, то в 1867 г. — уже 742 тыс., достигнув самой низкой отметки за истекшие четверть века³. После введения всеобщей воинской повинности темпы прироста армии оставались замедленными. По подсчетам Л.Г. Бескровного, за последнюю четверть XIX в. вооруженные силы России увеличились на 20%, в то время как в других странах прирост составлял от 50 до 90% (в Австро-Венгрии — 89,5%, в Италии — 75,8%, в Германии — 53,9%, во Франции — 46,7%)⁴.

Если в середине XIX в. удельный вес армии в составе российского населения составлял около 2%, то в конце XIX в. — 0,89%, а в 1913 г. — 0,83%⁵. Этой тенденции сопутствовало и снижение доли военных расходов в смете государственного бюджета с 37,8% в начале министерства Милютина до 26% к моменту его ухода с поста в 1881 г.⁶ В последующие годы этот показатель упал еще ниже. По уровню финансовой поддержки государства российская армия занимала одно из последних мест в Европе. В 1880-е и первой половине 1890-х гг. затраты России на содержание армии в среднем составляли чуть более 20% государственных бюджетных средств. Далее вплоть до начала XX в. затраты колебались в пределах 17—19%. В то же время в Германии ассигнования на нужды армии составляли в 1880-е годы свыше 60%, а в 1890-е годы не опускались ниже 40% от государственных расходов⁷. Усиление гонки вооружений на фоне выстраивания международных коалиций начала XX в. подвигло российские финансовые органы империи на дополнительные отчисления в пользу армии. Однако и после этих подвигек соотношение военных бюджетов стран-участниц гонки складывалось не в пользу России. По сведениям военного министра А.Ф. Редигера, за год до начала мировой войны Германия выделяла на военные нужды 48% своих бюджетных поступле-

ний, Франция — 29,8%, Россия — 24%, Австро-Венгрия — 12%⁸. По данным американского историка П. Кеннеди, сделавшего просчеты военных расходов в долларах, картина выглядела следующим образом: в канун мировой войны Германия тратила 442 млн. на свою оборону, Россия — 324 млн., Франция — 197 млн. При этом индустриальная мощь Германии позволяла ей легко нести бремя вооружения, в то время как отстающей России приходилось вытягивать из себя жилы, для того чтобы выдержать навязанное соревнование⁹.

Отчаянные усилия догнать лидеров военно-индустриального развития в преддверии решающей схватки были малорезультативными по причине предшествующего длительного периода небрежения делами армии. В этом отношении вполне справедлив вывод отечественного историка К.Ф. Шацилло: «Все правительство, весь царский режим были повинны в том, что не смогли подготовить свои вооруженные силы и заставили русского солдата и беженцев с оккупированных территорий кровью и муками отступления расплачиваться за ошибки горе-руководителей и окостенелость государственной системы»¹⁰. В контексте социальных изменений всей второй половины XIX в. военное строительство отталкивалось не столько от приоритетов самого военного сектора, сколько от предпочтений гражданских групп и ведомств, отстаивающих курс на экономический подъем и демократизацию общественных отношений. На фоне более чем пятикратного увеличения бюрократического корпуса за тот же период (86 тыс. человек в середине XIX в. и 500 тыс. в начале XX в.)¹¹ контрольные цифры оборонного потенциала отчетливо показывали переориентацию государственной поддержки на структуры и объекты гражданского назначения. Несмотря на то что такая перестройка никем и никогда публично не декларировалась, в пореформенный период она ощущалась как гораздо более реальная линия политики, нежели все, вместе взятые, ритуальные подтверждения единения царя с войском. В этой связи нас будут в первую очередь интересовать следующие вопросы: как отразились милютинские начинания и последующие поправки к ним на боеспособности русской армии? В каких отношениях выбранная модель военного строительства находилась с процессами модернизации? Содей-

ствовали или мешали обновленные устои воинской службы формированию политической культуры гражданского общества и демократии? Если первый вопрос получил достаточное освещение в трудах военных мыслителей и историков, то два последних остались без внимания. На них и будет сосредоточен наш анализ.

Напомним об основных принципах комплектования армии на основе всеобщей воинской повинности, введенной в 1874 г. К ней привлекались молодые люди, достигшие 20-летнего возраста. Сроки службы устанавливались для сухопутных войск — шесть лет на действительной службе и девять лет в запасе, для военно-морского флота — семь лет действительной службы и три года в запасе. В дальнейшем срок действительной военной службы в сухопутных войсках был снижен до пяти лет, а после 1905 г. — до трех лет в пехоте и артиллерии. Такая система пополнения армии приближала Россию к передовым странам Западной Европы, которые перешли на нее ранее. Вместе с тем в реформе были допущены многочисленные изъятия и льготы — по роду деятельности, образованию, семейному положению, национально-конфессиональному признаку.

Так, от воинской повинности по роду занятий освобождались служители религиозных культов — христианских конфессий, ислама и иудаизма, преподаватели, врачи и обладатели ученых степеней. Сокращенные сроки службы устанавливались для выпускников высших, средних, низших и начальных учебных заведений. По уставу 1874 г. для первых срок определялся в 0,5 года, для вторых — в 1,5 года, для третьих — в три года, для четвертых — четыре года. Устанавливались отсрочки для учащихся высших и средних учебных заведений. Таким образом, принципы реформы 1874 г. защищали развивающуюся в стране систему образования, но при этом ослабляли саму армию, лишая ее наиболее продвинутых в интеллектуальном отношении призывников. Льготы по семейному положению предусматривали освобождение единственного сына в семье, единственного кормильца при нетрудоспособных родственниках, призывника, у которого братья уже были или находились на данный момент на действительной службе.

По национально-конфессиональному признаку освобожде-

нию подлежали нерусские туземные жители Средней Азии, Казахстана, Сибири, Астраханской губернии, Тургайской, Уральской, Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской и Закаспийской областей, Архангельской губернии. На особых условиях к службе привлекалось население Северного Кавказа и Закавказья нехристианских вероисповеданий — для них отбывание воинской повинности заменялось уплатой особого денежного сбора в доход государственного казначейства. Финны привлекались только к службе в особых частях у себя на родине. Войско комплектовалось на основе территориально-смешанной системы — так, например, в части, расположенные в великорусских губерниях, обычно направлялось до 30% местных уроженцев, 15—25% призывников из окраинных губерний и 55—45% всех остальных категорий призывников.

По данным, относящимся к первому десятилетию реализации реформы, 85% всех призывников составляли крестьяне и 1% — дворяне. Примерно 52% подлежащих призыву лиц претендовали на освобождение от службы по семейному положению¹². Ежегодный призыв охватывал только 27—30% от общего количества военнообязанных — вопрос о том, кому идти на службу, решался вытягиванием жребия. Все прочие зачислялись прямо в ополчение¹³.

Как видно, сама машина призыва действовала наподобие селектора, тщательно выделявшего из отвалов, поступавших на конвейер, все «ценные ингредиенты». Существенные изъятия, которые проходили по линиям социально-статусных различий, превращали армию в рудимент сословно-феодалного строя. При самой высокой корреляции между социальной позицией и уровнем образования, сохранявшей силу как пережиток этого строя, постановка вопроса об освобождении по роду занятий, отсрочках по учебе и дифференцированных сроках службы по образованию, артикулировала различия между «черной» и «белой» костью.

В принципе, стремление законодателя определить состав «генофонда» нации, назначенного к сбережению для общественно-нужных гражданских занятий, в обществе равных возможностей или по меньшей мере открытого доступа к образованию не вызывало бы возражений. Однако в российской среде с

резкой правовой, имущественной и образовательной асимметрией социальных состояний такое стремление однозначно прочитывалось как поправка господам. В глазах демократических слоев населения армия выступала воплощением Левиафана, особенно безжалостного к «малым сим».

Допуская изъятия из закона о всеобщей воинской повинности, российские реформаторы проявили себя скорее оппортунистами, чем твердыми последователями эталонной прусской системы. Согласно закону о воинской обязанности сроком в три года, проведенному в 1867 г. по настоянию прусских военачальников в Северо-Германском Союзе, а после объединения Германии и на общеимперском уровне, его действие распространялось на всех лиц призывного возраста. Крайне незначительные исключения предусматривались для людей с физическими недостатками и сложным семейным положением¹⁴. Столь же неукоснительны в соблюдении закона о всеобщей воинской повинности были реформаторы эпохи Мейдзи в Японии.

Несколько более свободно к трактовке всеобщей воинской повинности подошли ее французские разработчики. Согласно закону от 1872 г. освобождение получали лица свободных профессий, однако подвизавшиеся только в сфере образования, и служители религиозного культа. Хотя такие исключения из правил, по словам исследователя Дж. Гуча, и не отвечали эгалитаристской направленности закона, до известной степени их все же оправдывало гуманитарное призвание этих профессий¹⁵.

Единственным государством из значимых членов европейского сообщества, допустившим столь же грубые отступления от всеобщности военной обязанности, как и Россия, была Италия. Из действия соответствующего закона, принятого здесь в 1871 г., ежегодно выпадало до 25% молодых и пригодных к службе людей. Две пятых добивались исключительных прав для себя на основании того, что являлись единственными сыновьями. А все остальные представители имущих классов предъявляли медицинские заключения о subtilности физического строения или «слабости груди»¹⁶.

Отличие российской призывной системы состояло в изначально спланированном избирательном применении закона, внедрявшегося как универсальный принцип в военном строи-

тельстве других стран. Уступки профессионалам, занятым в национальной системе образования, и служителям культа, которые допускала французская модель, в российской дополнялись широкими льготами и послаблениями образованным классам в целом. Если в Италии аристократическим и буржуазным отпрыскам приходилось маскировать антипатию к службе медицинскими противопоказаниями, то такая же предубежденность их российских собратьев находила вполне легитимную опору в статьях закона об ограждении престижных профессий и первоклассного образования.

В той же плоскости защиты интересов высших страт был выстроен и приведен в действие *институт вольноопределяющихся* в русской армии. Идея волонтеров из образованных классов с укороченным сроком военной подготовки была также заимствована из прусско-германских установлений. Этот вариант службы предусматривал возможность ускоренного производства в офицерское звание. От желающего воспользоваться им требовалась готовность к большим нагрузкам и серьезная отдача. При однородной и равномерно распределенной воинской повинности институт волонтеров не создавал противовеса общим основаниям призыва. Другое дело в России. Здесь он арифметически увеличивал сумму разнообразных неравноценных модусов службы, основанных на социальном разграничении призывников. Так, для лиц с высшим образованием, поступавших в армию по этой категории, срок службы устанавливался в три месяца. Для выпускников средних учебных заведений — в полгода, а для выпускников учебных заведений третьего разряда (прогимназий, уездных училищ) — в два года¹⁷.

Вольноопределяющиеся, в абсолютном большинстве выходцы из привилегированных сословий, пользовались рядом служебных и бытовых преимуществ. Им обеспечивалась возможность скорого производства в унтер-офицерские и офицерские чины¹⁸, разрешалось проживать и столоваться на частных квартирах, а не в казармах. Они не привлекались к трудовым повинностям и пользовались уважительным отношением офицеров¹⁹. Еще больше увеличивал дистанцию между рядовым из социальных низов и его коллегой из этой особой группы обычай, по которому кандидат в вольноопределяющиеся подле-

жал утверждению общим собранием господ офицеров полка²⁰. Подобный отбор действовал как дополнительный фильтр, обеспечивавший рафинированный состав этой категории. И, как следствие, окончательно отрывал ее от массы простых призывников. Шикарные вертопрахи, коловшие глаза казарме, постоянно напоминали ей о собственной ущербности. Вот какую зарисовку соседства разных укладов в рядовом контингенте приводит генерал М. Грулев, сам стартовавший в армии в роли вольноопределяющегося: «Наш кружок вольноопределяющихся в батальоне состоял из 10—12 юношей, преимущественно детей офицеров и чиновников, поступивших на службу для военной карьеры. Вся эта семейка представляла собой веселую компанию, которая проводила время в праздности, ничего не делая, посещая часто рестораны, веселые дома... жили они не в казарме, а на вольных квартирах даже во время лагерного сбора; солдаты называли их «господами», а в обращении — «барин»²¹.

Перегородки между военнослужащими-срочниками из разных слоев общества воздвигала и система наказаний. Несмотря на отмену в 1863 г. шпицрутенгов, прогона сквозь строй и сохранение наказания розгами только для штрафованных солдат, Военский устав о наказаниях 1868 г. снова частично воспроизводил принцип убывающей тяжести наказания при более высоком социальном положении провинившегося воина. Так, в качестве исправительных наказаний для офицеров, гражданских чиновников военного ведомства и нижних чинов на срочной службе, пользующихся особыми правами состояния, предусматривались: ссылка в Сибирь, временное заключение в крепости, смирительном доме или гражданской тюрьме, денежное взыскание, увольнение от службы, разжалование в рядовые. В то же время для нижних чинов, не пользующихся преимуществами по своему социальному состоянию, за соответствующие преступления назначались: направление в исправительные роты, заключение в тюрьме, перевод в разряд штрафованных (иначе говоря, приговор к телесному наказанию)²².

Структура воинской повинности, осложненная льготами по образованию и происхождению, «специальным предложением» военного ведомства избранной публике в виде института воль-

ноопределяющихся, повторяла переходную, отягощенную словесными пережитками стратификацию российского общества. Дисперсность нормативов службы уничтожала саму благородную идею реинтеграции нации на базе равной и общей для всех воинской повинности, заложенную в идеальном проекте массовых армий. Отступления от данного базового принципа содействовали закреплению сегрегаций в общественном устройстве. Это обстоятельство объясняет сильное противодействие военному строительству по типу «вооруженного народа» в странах с глубоко раздробленным обществом. Наиболее продвинутые государственные деятели этих стран предвидели тяжелый побочный эффект преждевременной перестройки армии и призывали не торопиться с введением всеобщей воинской повинности. Крупнейший знаток военного дела в Италии второй половины XIX в. Н. Марселли сравнивал массовую армию с плавильным тиглем, преобразующим разнородные элементы социума в единую общность. Но вместе с тем предупреждал, что такой механизм может заработать не раньше, чем общество избавится от социальных язв. По мнению Марселли, особенности социально-политической структуры Италии не позволяли ей в ближайшей перспективе перейти к массовой армии без серьезных издержек для общества и самих вооруженных сил²³. Характерно, что те же опасения разделяли и многие российские коллеги итальянского министра, лишь по странному недоразумению причисленные в отечественной историографии к правоконсервативной оппозиции военной реформе²⁴. Министр просвещения Д.А. Толстой, министр иностранных дел А.М. Горчаков, генерал Р.А. Фадеев, оппонировавшие Милютину, по-видимому, не менее отчетливо, чем Марселли, представляли себе цепную реакцию негативных последствий проталкиваемой реформы. И так же прозорливо рекомендовали не педалировать ее на данном этапе. Однако охваченное преобразовательным ражем военное министерство не было склонно внять голосу разума.

Линию на создание льготных групп призывников по критерию образования продолжил Устав о воинской повинности от 1912 г. По новым нормативам лица, имеющие за душой не менее шести классов среднего учебного заведения или двух клас-

сов духовной семинарии, служили под знаменами два года. Причем за этот срок полагалось сдать экзамен на звание прапорщика или поручика. По оценке исследователя военных реформ начала XX в. А.Г. Кавтарадзе, последний устав еще резче, чем предыдущие, выделил льготы по образованию²⁵.

Разумеется, министр-реформатор Милютин, вводя образовательный ценз в порядок прохождения службы, и его преемники, продолжая этот курс, руководствовались самыми благими намерениями. Их начинания были призваны сформировать сильный побудительный мотив среди военнообязанной молодежи к получению образования и поддержать крепнущую систему отечественного просвещения. При нормальном поступательном ходе модернизации такой замысел был бы оправдан. Однако в российской пореформенной действительности выбор между хорошим образованием — необременительной службой и необразованностью — тяжелой службой был лишен практической основы. Несмотря на провозглашенный в 1864 г. принцип формального равенства сословий в сфере среднего образования, школа туго поддавалась перестройке. Возвращение элементов сословности в школьное дело при министре Толстом и его преемнике И.Д. Делянове, отразившееся в Гимназическом уставе 1871 г. и печально памятном «циркуляре о кухаркиных детях» от 1887 г., задержало становление общедоступного среднего образования в стране. Основным типом учебного заведения для народа вплоть до начала XX в. оставалась церковно-приходская школа с двухгодичным и четырехгодичным курсом обучения²⁶. Несмотря на рассмотренный 2-й Государственной думой законопроект «О всеобщем начальном обучении в Российской империи», дело так и не было поставлено на организационную основу. Свои резоны для торможения реформы образования выдвигались как снизу, так и сверху. Если в крестьянских семьях на школу часто смотрели как на рассадник злонравия и ненужную роскошь, отвлекавшую от хозяйства рабочие руки²⁷, то среди высшей бюрократии — как на помеху в устоявшемся менеджменте власти. Даже прогрессивный министр финансов, а потом и глава кабинета министров С.Ю. Витте придерживался мнения о том, что, «пока народ темен, им управлять легко»²⁸. В результате, по данным первой всероссийской переписи

1897 г., в составе населения страны было только 21,4% грамотных²⁹.

Как эти тенденции соотносились с динамикой распространения грамотности среди призывников и солдат армии? По официальным данным на 1868 г., удельный вес грамотных солдат был равен 27,7%, однако в действительности приближался к 20%³⁰. К 1892 г. этот показатель вырос до 54%. А среди новобранцев за тот же период времени увеличился с 9% до 34%³¹. По уточненным данным Л.Г. Бескровного, в 1860-е годы в воинские части прибывало менее 10% грамотных призывников. В конце XIX в. таких было уже под 50% (так, например, на 1900 г. из 294 тыс. поставленных в строй новобранцев грамотных было — 151 тыс.)³². По свидетельству А.И. Деникина, хорошо осведомленного о положении дел с призывниками, перед мировой войной наборы в армию давали уже 60% грамотных. При этом из оставшихся 40% неграмотных ежегодно убывало домой после демобилизации до 200 тыс., обученных азам письма, чтения и счета за период прохождения службы. Таким образом, различия в показателях грамотности на «входе» и на «выходе» службы аттестовали уже собственную просветительскую роль армии. Получалось, что во второй половине XIX в. даже при поставленном армейском ликбезе без малого половина нижних чинов не была им охвачена. Пусть в меньшем объеме, но ситуация повторялась и в начале XX в. Выходило, что инструкция военного министерства от 1867 г., обязывавшая командиров во всех воинских частях обеспечить поголовную грамотность в рядовом и унтер-офицерском составе, выполнялась кое-как. Относительно слабая результативность этого предписания доказывается и тем, что спустя 35 лет военное руководство было вынуждено вернуться к данной теме: в 1902 г. снова была подтверждена обязательность всеобщего обучения в армии³³.

Насколько вообще были обоснованы расчеты на воспитательное и образующее влияние армии? В какой мере армейский культпросвет был способен развить вчерашнего пахаря или мастерового, поставленного под ружье? На эти вопросы проливают свет в общем-то отрывочные сведения. Скажем, по свидетельству одного из контролеров, проверявшего в 1870 г. постановку обучения в 18 воинских частях, большинство солдат ос-

ваивало грамоту лишь формально: зная буквы, они не могли их складывать в слова и тем более — понять смысл прочитанного³⁴. А в период Первой мировой войны, когда острая нехватка младших командиров заставила искать толковых и подтянутых солдат для делегирования в школу подпрапорщиков, во многих полках не нашлось ни одного со знаниями в объеме четырехгодичной школы³⁵.

Очевидно, объяснение плачевного положения дел с солдатским обучением только непрофессионализмом и неопытностью обучающего персонала не вполне корректно³⁶. Скорее речь должна идти о комплексе причин. Одну из них следует видеть в непоследовательной позиции самого военного министерства. С воцарением Александра III, когда, по словам М. Грулева, «у нас из всех щелей подуло реакцией», и заменой либерала Милютина на консерватора П.С. Ванновского, высшее военное начальство уже стремилось не столько продвинуть солдатский всеобуч, сколько его зажать. С легкой руки нового министра, вообще рассматривавшего грамотность в войсках как родоначалницу вольнодумства, командование многих воинских соединений стало подозрительно коситься на просветительскую работу молодых офицеров среди подчиненных. И старалось если и не искоренить ее совсем, то уж, во всяком случае, сильно ограничить³⁷.

Наконец, еще одну предпосылку не слишком впечатляющих успехов военного ведомства на ниве культуртрегерства надо искать в особом, удвоенном давлении армейских порядков на психику неотесанного новобранца. Перемещенный из рутины своего убогого существования в среду со сложной и непонятной ему знаковой системой, деспотическим ритуалом, такой новичок нередко впадал в депрессию. Обычные для этого состояния подавленность, тревожность, страх перед взысканием за несоответствие ожиданиям командира резко затрудняли обучение. Педагогическая психология подчеркивает неизбежные в таких случаях рассредоточение внимания, плохое запоминание учебного материала и даже когнитивную беспомощность, то есть неспособность на практике применить заученные понятия и навыки³⁸. Особая острота ситуации для неподготовленного новобранца состояла в том, что подобное торможение легко при-

нималось за природную тупость и провоцировало не слишком искусственного в педагогическом мастерстве инструктора на репрессивные меры. Травмирующий натиск неумелой армейской педагогики на деревенскую сиволапость с натуралистической наглядностью показал А. Куприн на примере одного из героев своей повести «Поединок» — рядового Хлебникова. Доведенный до ручки зубоскальством сослуживцев, задержанный унтерами, тот надламывается и срывается в суицидальную попытку. Остается только догадываться, сколько еще таких же безродных душ покалечила армейская машина.

Разумеется, масса неграмотных и малограмотных призывников, с трудом осваивающихся с требованиями боевой и общеобразовательной подготовки, ложилась тяжелой обузой на армию. В этом отношении Россия представляла собой статистически самый неблагоприятный случай. Если в начале XX в. в Германии на 1000 новобранцев приходился один неграмотный, во Франции на каждую тысячу — 68, в Австро-Венгрии — 220, в Италии — 330, то в России от 400 до 500³⁹. Издержки низких образовательных стандартов, характерные для отсталых стран, компенсировались удлинненными сроками службы.

Вопрос о продолжительности действительной службы входил в число наиболее дебатированных в кругах военных реформаторов всех стран. Направление споров было задано все той же образцово-показательной германской системой. Как известно, в Германии действовали короткие сроки службы. До 1893 г. — три года и после 1893 г. — два года (правда, в кавалерии и артиллерии продолжал действовать трехгодичный призыв). По окончании срока военнослужащие переводились в запас на 5,5 года, затем следовало перечисление в ландвер (резерв), а далее в ополчение (ландштурм) второй категории. При этом обученный в рамках срочной службы воинский контингент и после увольнения в запас не выходил из-под контроля военного ведомства и дважды призывался на учебные сборы продолжительностью от четырех до шести недель⁴⁰. О строгости такого порядка свидетельствовали, например, многочисленные представления министерства юстиции военному ведомству о том, что юристы отзывались на сборы в разгар судебных процессов, из-за чего страдала вся отрасль Фемиды. В свою очередь, слу-

жители Марса были непреклонны и ссылались на установленный порядок⁴¹.

Близкая к германской схема военной подготовки населения была разработана в Австро-Венгрии. Однако из-за постоянной нехватки финансовых средств она была упрощена: как и в России, в «лоскутной» империи военный всеобуч мог взять на свой кошт не более 30% всех военнообязанных. Большинство же, пройдя всего лишь двухмесячный тренинг, увольнялись в бессрочный отпуск.

Во Франции глава правительства Третьей республики Л.А. Тьер предложил военному министерству на выбор два варианта: небольшая армия со сравнительно короткими сроками службы и ежегодными военными учениями и большая армия с удлиненными сроками службы, но без учений. Сам французский лидер, как и большинство консервативных членов Национального собрания, склонялся к последнему варианту. Считалось, что длительная срочная служба предпочтительнее и с точки зрения подтягивания армии для предстоящего реванша над Германией, и с точки зрения определенных задач социального управления. С ее помощью предполагалось укрепить дисциплину и порядок во всех сферах гражданской деятельности, остановить разложение нравственно-этических ценностей, которое, по понятиям членов кабинета, внесла в общественную жизнь Вторая империя; привить гражданам привычку к сотрудничеству и взаимному уважению. Несмотря на то что некоторые влиятельные французские военачальники, например генерал Трошю, отстаивали короткий, по типу германского, срок воинской службы, точка зрения Тьера взяла верх: в 1872 г. во Франции был утвержден пятилетний срок военной службы. Правда, в 1889 г. он был уменьшен до трех лет, а в 1905 г. — до двух. (Одновременно постоянно увеличивался удельный вес призывников: так, после первого сокращения сроков воинской службы он поднялся с 50 до 73% от всей военнообязанной молодежи⁴².) Похожий путь в пересмотре сроков призывной службы проделала и Италия: приняв в 1871 г. положение о четырехлетней службе, уже в 1875 г. итальянские законодатели переиграли его на закон о трехлетнем сроке воинской повинности. Трехлетняя модель призыва была утверждена и в Японии сразу после

прихода к власти реформаторов эпохи Мейдзи. Издание соответствующего правительственного акта в 1872 г. явилось одним из первых мероприятий создателя современной японской армии Ямагато Аритомо⁴³.

Даже Великобритания, не захваченная увлечением всеобщей воинской обязанностью, под влиянием веяний на континенте в 1870 г. пересмотрела традиционные принципы контрактной службы. Отныне солдаты Ее Величества вместо прежних 20 лет отдавали службе 12 лет. Из них половину — находились под знаменами. А половину — в резерве⁴⁴. *Таким образом, все страны, втянутые в гонку вооружений и прогрессирующую милитаризацию, демонстрировали одну и ту же тенденцию — постепенного сокращения сроков службы с одновременным увеличением пропускной способности призывной системы.*

Только в России эта система продолжала работать на сниженных оборотах. Лишь в 1878 г. последовало первое незначительное сокращение сроков службы в пехоте до пяти лет. В остальных видах оружия он оставался прежним. Но в 1881 г. снова срок для пехоты был определен в шесть лет, а для специальных войск — в семь лет. В 1888 г. военное министерство скостило эти сроки на один год. На протяжении всей второй половины XIX в. Россия удерживала на своей территории самую растянутую по времени практику подготовки призывников и с самым большим запозданием вносила коррективы в эту практику. Только в 1906 г. военное ведомство решилось на переход к трехлетней службе в пехоте и пешей артиллерии, а в остальных родах войск — к четырехлетней⁴⁵. Застойность российской методологии военного строительства была изначально связана с беспрецедентно трудным для военной обработки человеческим материалом. Однако в закреплении и продлении этой застойности сказывалось слабосилие самой военной машины в его переработке и шлифовке. С учетом высокой доли неграмотных солдат, покидавших стены казармы, эффективность корпуса военных инструкторов и командиров в подготовке кадров массовой армии следует признать невысокой. А запросы самого военного руководства на длительное пребывание под знаменами — малообоснованными.

Кроме того, в отсутствие учебных сборов для воинов запаса приобретенные в ходе действительной службы навыки быстро регрессировали, а сам запасник терял приобретенную форму и выправку. Впрочем, практически полное обнуление результатов, которые были достигнуты в воспитании бойца, охотно признавали и сами военачальники. Так, военный министр А. Н. Куропаткин, подвергнув жесткому и беспощадному разбору опыт Русско-японской войны, одну из причин бесславной кампании увидел в разлагающем влиянии мобилизованных запасных на моральный дух воюющей армии. «Наш крестьянин в возрасте свыше 35 лет часто тяжелеет, становится, как говорят, сырым, обрастает бородой, теряет солдатский вид». Именно такие во-яки раньше всех складывали оружие и в лабиринте маньчжурских дорог пытались отыскать путь домой, а на упреки в малодушии отвечали: «Какой-такой я сражатель, у меня за плечами шестеро детей»⁴⁶.

Образчик военного строительства, подобный российскому, был убыточен как для армии, так и для общества. Малограмотный или вовсе неграмотный солдат был несоединим с боевыми средствами и технологиями ведения войн в период вооружения армий казнозарядным и нарезным оружием, сведения воедино огня и удара, использования бездымного пороха и химического оружия, плотного взаимодействия родов войск. В трудах военных аналитиков конца XIX — начала XX в. отмечалось сдерживающее влияние массовых армий с некачественным личным составом на развитие военного искусства: такие армии не стимулировали изощренной оперативно-тактической комбинаторики и сложных приемов ведения боя, а благоприятствовали сохранению упадочных стратегий измора противника⁴⁷.

Для общества массовая армия с длительными сроками воинской службы неизбежно оборачивалась маргинализацией значительной части мужского населения трудоспособного возраста. Такой побочный продукт предвидели наиболее здравомыслящие политики и военные деятели, озабоченные проблемой стабильного социального развития. Так, Д. Фарини, один из представителей консервативного крыла итальянского парламента, в публичной полемике вокруг длительности военной службы в итальянской армии, прямо указывал на то, что отвыкшие

от производительного труда демобилизованные солдаты редко возвращаются на поля и рабочие места в городской инфраструктуре занятости. Как правило, они пополняют армию безработных, усиливая криминальный сектор и базу экстремистских сил⁴⁸. Разумеется, проблема сложной адаптации к мирной жизни и сдвига в гражданской позиции демобилизованных солдатских масс остро стояла и в России. К ней мы еще вернемся несколько позже, а пока зададимся вопросом: был ли оправдан в глазах массового призывника тот урон, который он нес вследствие своего вынужденного отрыва от места жительства и постоянных гражданских занятий? Одной из важнейших граней этого вопроса являлась комфортность условий содержания, которые предоставляло военное ведомство своим призывникам. Другой гранью являлась социальная защищенность военнослужащего и льготы, гарантированные по исполнению воинского долга. Начнем с первой.

Экстенсивный путь военного развития, выбранный Россией и заставлявший одновременно удерживать под ружьем большие массы людей, при скудных финансовых возможностях государства выливался в самый спартанский на общем фоне образ существования русского солдата. По подсчетам военного ученого и генерала царской армии В.Ф. Новицкого, в начале XX в. на содержание одного военнослужащего в Италии выделялось 432 руб. в год, в Австро-Венгрии — 465, во Франции — 504, в Германии — 708, в Японии — 770, а в России — всего 387⁴⁹. Американский исследователь В. Фулер приводит такие цифры: в расчете на каждого солдата Россия тратила на 75,3% меньше, чем Германия, и на 58,9% меньше, чем Франция⁵⁰. Различия, скрывавшиеся за цифрами сухой статистики, в реальной жизни выражались в тяготах, незнакомых западному призывнику и, наоборот, обступавших плотной чередой его российского собрата с первых же часов погружения в казарменный быт.

«Солдат наш жил в обстановке суровой и бедной. В казарме вдоль стен стояли деревянные нары, иногда отдельные топчаны. На них — соломенные тюфяки и такие же подушки. Покрывались солдаты грязными шинелями» — такую зарисовку казарменного интерьера оставил А.И. Деникин. До Рус-

ско-японской войны не предусматривалось отдельной статьи расходов на теплые вещи, и «тонкая шинелишка покрывала солдата и летом, и в русские морозы»⁵¹. Постельные принадлежности и полотенца начали выдаваться только в министерство А.Ф. Редигера, затратившего недюжинные силы для того, чтобы включить в смету военных расходов и этот пункт. Впрочем, и сам министр признавал, что большая часть носильных вещей и сапожного товара, выдававшихся солдатам, была столь низкого качества, что они предпочитали за бесценок их сбыть с рук, а взамен на собственные деньги приобретали более или менее сносные вещи⁵².

Суточный рацион солдатского питания состоял из чая с черным хлебом по утрам (на день полагалось три фунта хлеба); борща или супа с половиной фунта мяса или рыбы и каши в обед (после 1905 г. суточная порция мяса была увеличена до трех четвертей фунта); жидкой кашицы, заправленной салом, на ужин⁵³. Единственный способ как-то скрасить существование предоставляли вольные хозяйственные работы, на которые подражались нижние чины. Однако и от этого заработка им доставалась только треть. Стремление многих войсковых начальников помочь солдатскому быту упиралось в дефицит бюджета: даже при добавлении одной копейки к сумме ассигнований, положенных на одного солдата, требовалось совокупное увеличение затрат на четыре млн. рублей⁵⁴. Впрочем, по мнению ряда экспертов, пища и условия содержания в казарме для большинства призывников из крестьянской бедноты и городских низов были не хуже, чем те, к которым они привыкли дома. Однако, признаем, не лучше, не говоря о том, что они были малопереносимы для людей из среднего класса и тем более — элитных слоев общества. Такие условия не вырабатывали ощущения эквивалентного расчета государства с гражданами, уплачивающими ему самый обременительный натуральный налог.

Вместе с тем некоторые подвижки в лучшую сторону зависели и от старших офицеров, которые порой отказывались замечать самоочевидные и, главное, легко устранимые дефекты внутренних армейских распорядков. Скажем, в подавляющем большинстве воинских частей не придавалось большого значения организации проводов бойцов, увольняемых в запас. По

словам генерала Н.А. Епанчина, их шествие из казарм в стай, потрепанной одежде, с сундуками и мешками на плечах, в конвойном окружении офицеров и унтеров напоминало процессию арестантов и угнетающе действовало как на самих участников шествия, так и на зрителей. На практике же находилось совсем немного военачальников, способных, подобно Епанчину, осознать противоестественность такого финала службы и заменить его праздничным обрядом прощания с родной воинской частью, с отдаением воинских почестей уходящим⁵⁵.

Разумеется, темный и забытый солдатский люд был мало склонен к рефлексии над собственным ущемленным гражданским состоянием, не вел дневниковых записей и не писал мемуаров. Зато эту работу за него довольно тщательно проделали вольноопределяющиеся из состоятельных семей, для которых опыт перевоплощения в рядового — даже в самом смягченном варианте — оказался поистине шокирующим. Так, барон Н. Врангель, поступивший в милиутинскую армию юнкером-вольноопределяющимся, формально приравненным к солдату, уже через самое короткое время напропалую клял свою участь. Масса унижительных ограничений, наложенных на публичное появление солдата, генеральские посылки и даже презрительное третирование со стороны лавочников, по отзыву Врангеля, вскоре привели к тому, что «служба стала для нас кошмаром»⁵⁶. Такой же драматический переход из князя «в грязь» пережил отпрыск родовитой фамилии В. Трубецкой. Сразу после поступления вольноопределяющимся в кирасирский полк он вдруг почувствовал, как незримая пропашть пролегла между ним и знакомыми ему офицерами полка⁵⁷.

Молодому человеку, воспитанному в дворянской традиции раскрепощенного тела и духа, особенно оскорбительными показались множественные церемонии, основанные на движениях заводной куклы. «При виде офицера мы должны были еще за несколько шагов до него... начать маршировать, как на параде, то есть, не сгибая ноги, крепко ударять сразу всей ступней по панели и одновременно особым приемом схватываться левой рукой за ножны в палаше. За два шага до всякого военного, который был старше в чине, солдат должен был отрывистым движением повернуть голову в его сторону, смело взглянуть ему в

глаза, одновременно выбросить в сторону правую руку в белой перчатке, резко согнуть руку в локте под углом 45 градусов и приложить вытянутые пальцы к головному убору, после чего с силой опустить руку вниз. Генералам, членам императорской фамилии, знаменам, штандартам и воинским похоронным процессиям должно было отдавать честь, «становясь во фронт», то есть останавливаясь и резко повернувшись корпусом к соответствующему лицу или знамени⁵⁸. Солдатская выучка требовала знания того, каким манером следует отдать честь во время езды на извозчике, обгоняя генерала, далее, как это надо сделать, если руки заняты ношей, и множество тому подобных «кунштюков». За выполнением предписанных правил тщательно следили специальные военные чиновники — плац-адъютанты. Поездки по железной дороге нижним чинам были разрешены только в третьем и четвертом классах, проезд на трамвае — только в тамбуре и ни в коем случае — в салоне; на улицах возбранялось курение. Солдату был запрещен вход в рестораны, буфеты первого класса; в театрах не полагалось занимать места ни в ложах, ни в партере⁵⁹.

По мнению французского социального антрополога М. Мосса, различные техники тела (способы маршировки, ходьбы, положения рук во время трапезы и тому подобные движения и позы), которые насаждает в собственных границах любая армия мира, являются способом постоянной адаптации к некоей цели. Она всегда незримо присутствует в серии смонтированных между собой актов. Притом сам монтаж всегда предопределен направленностью воспитания индивида и местом, отведенным ему в общественной иерархии⁶⁰. Очевидно, язык социальной коммуникации милютинской армии должен быть поставлен в прямую связь с поиском альтернативы основаниям субординации и подчинения, на которых строилось дореформенное войско. Старая схема вырастала из простого, автоматического переноса отношений господ и крепостных на отношения нижних чинов и командирского звена. С утратой этого базового конструкта остро вставал вопрос о его замещении. Собственно, в эту сторону и была повернута вся разработанная и навязанная солдату сигнальная система поз, движений и жестов. Культивируя социальную приниженность и ломая через колено зачатки сво-

бодной личности, она открывала простор для необъятной дисциплинарной власти.

Но наряду с внутриармейским измерением солдатский регламент имел еще одно — публичное. Здесь особенно важен тот аспект становления новых социальных смыслов и понятий, на который делали упор основоположники символического интеракционизма в социологии. По словам Дж. Мида, любой жест обретает смысл только в отклике индивида, к которому обращен. Отклик прокладывает дорогу появлению нового объекта или нового содержания старого объекта. А через повтор ведет к символизации, то есть «конституирует объекты, которые не были конституированы прежде и не существовали бы, если бы не контекст социальных отношений, в котором происходит символизация»⁶¹. В общественной среде, еще хранившей в памяти стандарты внеэкономического принуждения, комплекс церемониальных требований и запретов, опутывавших публичное поведение нижних чинов, однозначно дешифровывался в терминах «людодерства» крепостной эпохи. А образ воинской повинности заряжался устойчивой коннотацией с неизжитым рабством. В этом убеждает безотчетный, атавистический страх перед присягой, царивший в деревне и бедных городских кварталах; распространенное в простонародье жалостливое отношение к солдату, которое не могли перешибить ни убеждения командиров, ни даже экскурсии по казармам, проводившиеся для солдатских матерей в некоторых частях. По свидетельству современников, прохождение рядов новобранцев под присмотром офицеров по улицам большого города неизменно замедляло темп городской жизни. Вокруг собирались толпы: кто-то подбегал к колонне, совал в руки крайним папиросы, деньги; кто-то из мужчин, отбывших солдатчину, бросал сочувственные реплики, типа: «Забрили тебе лоб, так попробуй шилом паточки»; женщины нередко причитали со слезами на глазах, жалея солдатиков⁶².

Действие обрядности, установленной в целях чистого профессионального утилитаризма, вырывалось из предписанных ей институциональных рамок и грубо вторгалось в широкую область социальных взаимодействий. Любой выговор на людях, которому подвергался солдат за несоответствие уставу в одеж-

де, поведении, мгновенно набухал общественным скандалом, угрожающим перерасти в уличную разборку. Офицер, распекавший солдата, рисковал порой сильнее, чем сам рядовой, допустивший вольное или невольное нарушение порядка службы⁶³. Эффект, не учтенный военными реформаторами, происходил из особо болезненной восприимчивости людей, недавно вышедших из крепостной зависимости, к любым остаточным проявлениям своей несвободы и неполноценности. В психологической уязвимости российское крестьянство было абсолютно идентично французским сельским жителям конца XVIII в., сбросившим иго сеньориальной власти, но обостренно реагиовавшим на ее любые рецидивы. Как правило, наиболее чутким реципиентом всех знаков гражданского неравноправия являлось молодое поколение крестьян, как раз и представленное в армии. Любопытный штрих к этой стороне крестьянского — солдатского сознания дает наблюдение барона Н. Врангеля. «Странное явление, которого я никогда себе объяснить не мог: люди, пережившие весь ужас крепостного права, на своей шее испытывавшие все его прелести, к своим бывшим господам никакого чувства озлобления не питали, между ними даже продолжала существовать какая-то родственная связь. Молодое поколение, напротив, хотя страдающим лицом не было, чем дальше — тем больше озлоблялось и становилось враждебнее»⁶⁴.

Одним из наиболее парадоксальных следствий подобного отношения к действительности в армии являлась растущая конфронтация нижних чинов и офицерского корпуса. В дореформенной армии brutальные проявления офицерской власти, часто отождествляемые с господскими прерогативами, воспринимались в свете естественного порядка вещей и не вызывали массового ожесточения. А человеческое обращение, наоборот, приписывалось личным наклонностям командира и вознаграждалось благодарностью. Пореформенная армия перевернула с ног на голову эту систему оценок: гуманизм принимался за должное, а строгость и деспотическое опекуновство вызывали протест не только против конкретного лица, но и против начальственной власти в целом. Такой оборот дела находился в противоречии с логикой и здравым смыслом, коль скоро раздельные линии закреплялись не между солдатами и офицера-

ми — представителями социальной верхушки, а между солдатами и офицерами — выходцами из нижних страт среднего класса.

Без сомнения, хроники российских войн по-прежнему содержали эпизоды солдатского самопожертвования ради своих командиров. Так, одной из нашумевших историй Русско-японской войны стало спасение раненого капитана Каспийского полка Лебедева. Врачи объявили, что единственным средством сохранить ему ногу могла стать пересадка чужой мышечной ткани с кожей. Мгновенно на призыв откликнулось 20 солдат-добровольцев. Выбор пал на стрелка Ив. Канатова, который позволил без анестезии вырезать у себя кусок живого мяса⁶⁵. Тем не менее этот пример не был типичным, что, собственно, и подчеркнул факт его широкого печатного обсуждения и передачи в устной традиции. Гораздо более показательным для нижних чинов армии являлось восприятие офицера как классово чуждого, а то и враждебного элемента. Косвенным подтверждением этой доминанты являлся и остракизм, которому подвергался редкий охотник остаться в армии на сверхсрочную службу (к нему сразу же прилипала презрительная кличка «продажной шкуры»), а также хронический неудовлетворенный спрос на унтер-офицерские кадры⁶⁶.

Меру успешности насаждения массовых демократических армий тестировало общественное отношение к призывным наборам и добросовестному исполнению воинского долга. Этот же индикатор отчетливо просматривается в сравнениях постановки воинского призыва «дома» и за рубежом, оставленных русскими военными наблюдателями. Характерно, что такие сравнения всякий раз фиксировали контрастность чужого опыта и «своей» реальности. (В пояснение следует добавить неоднократно высказывавшееся культурологами и психологами замечание об избирательном внимании наблюдателей, всегда концентрирующемся на фактах и явлениях, отклоняющихся от знакомого фона⁶⁷.) Вот, например, впечатления от увиденного в Германии российского полковника Генерального штаба и преподавателя Александровского военного училища М.С. Галкина: «... вы встречаете на улице молодого парня, шляпа его разукрашена национальными лентами, в петлице — розетка из тех же цветов. Физиономия самодовольная, гордая, улыбающаяся. Это —

призванный; он вытянул жребий, и ему объявлено, что он попал в ряды армии. Его поздравляют, все угощают, стараясь оказать новому воину почет и уважение. В общем итоге у всех один девиз — любовь, уважение и почет своей родной армии»⁶⁸.

А вот набросок к картине регулярных связей между армией и обществом, который оставил А.Н. Куропаткин: «Мы проглядели, в каком патриотическом, воинственном направлении много лет велось воспитание японского народа, проглядели постановку школьного дела в Японии, где вместе с горячей любовью к родине с малых лет подготавливались даже в начальных школах будущие воины. Проглядели, с какой гордостью служили японцы в своей армии, и с каким глубоким доверием и уважением относился японский народ к ней. Проглядели железную дисциплину в армии. Проглядели роль самураев-офицеров в армии... В то время, как у нас война с Японией была не только непопулярна, но непонятна для народа, вся Япония, как один человек, откликнулась высоким патриотическим порывом на призыв под знамена ее сынов. Были случаи, когда матери убивали себя, когда их сыновья оказывались по слабости здоровья не принятыми в ряды армии. Сотни желающих являлись идти на верную смерть, на самые отчаянные предприятия. Офицеры и нижние чины, уходя на войну, исполняли над собой обряд погребения, знаменуя этим намерение умереть за родину. В первое время войны, попавшись в плен, японские офицеры лишали себя жизни. В армию рвалась вся молодежь». Дидактика рассказа сводилась к несложному резюме: «Силу Японии составляло полное единение народа с армией и правительством. Это единение и дало победу японцам. Мы вели борьбу только армией, ослабляемой при этом настроением народа, против всего вооруженного японского народа»⁶⁹.

Бодрому, приподнятому настроению немецкого или японского солдата, вступающего на вахту защитника отечества, русская военная мемуаристика начала XX в. уже прямо противопоставляла национальный обычай проводов воина на службу со слезами на глазах⁷⁰. В мирное время тысячи подлежащих призыву молодых людей стремились изыскать благовидный предлог для уклонения. А.А. Игнатьев рассказывал об одном восточ-

носибирском промышленнике, который ради этого не считал зазорным встать за учительскую кафедру в сельской школе. Местное купеческое общество с полным пониманием и сочувствием отнеслось к поступку своего сочлена. А когда вследствие прямого вмешательства начальника края новоиспеченному учителю пришлось все же облачиться в серую шинель, то возмущению местного предпринимательского круга не было предела⁷¹. А.И. Деникин вспоминал сотни изуродованных тел, которые прошли перед его глазами в бытность членом Волынского губернского присутствия по переосвидетельствованию призывников. Забитые и невежественные жители окрестных сел, городков, а также местечек из черты оседлости с благословения сородичей отдавали себя в руки подпольных докторов ради получения свидетельства о непригодности к строевой службе⁷².

Как правило, военные профессионалы, размышлявшие над темой упадка воинского духа в России, источник вырождения усматривали в цивилизации армии на путях ее перестройки по типу «вооруженного народа». В то же время игнорировались или почти не замечались деформации, которые вносили принципы военного строительства в уклад гражданской жизни. Между тем на возвратном движении маятника эти деформации поглощала сама армия в виде свода общественных привычек и правил, о которые разбивались самые отчаянные попытки добиться позитивного перелома в военном деле.

Призывные льготы с сильным креном в сторону гражданских состояний, выделенных престижем и образованием, отодвинули армию на арьергардные позиции в утверждении норм социального партнерства и общности (консоциативности). Неоднородность условий, на которых привлекались к исполнению воинского долга и несли службу разные категории военнообязанных, парализовала роль армии как инструмента сглаживания противоречий в разделенном обществе. Ключ к пониманию этой потенциальной роли армии дают концепции «частично совпадающей принадлежности» (А. Бентли и Д.Б. Трумэн), «пересекающихся расхождений» (С.М. Липсет). Обобщив большой фактический материал, авторы вывели следующую закономерность: принадлежность людей к нескольким организованным или неорганизованным группам (с разными

интересами и взглядами) создает хорошие основы для достижения компромисса в обществах со сложносоставной структурой и сильной внутренней разобщенностью. Интересы и взгляды разных групп, «пересекающие» внутреннее пространство даже отдельно взятой личности и оказывающие на нее разнонаправленные влияния, в суммарном итоге определяют ее большую склонность к умеренному поведению, а в общество вносят элементы стабильности⁷³. В эту схему может быть органично вписана и массовая демократическая армия как место встречи жизненных траекторий и мировоззренческих парадигм, не пересекающихся в большом социуме. Вовлекая во взаимодействия несмешивающиеся в обыденной жизни ингредиенты, армейская служба, как никакая другая деятельность, содействует выходу из изоляции и частичному взаимопроникновению различных общественных сегментов.

Наоборот, нигде и никак не пересекающиеся приверженности и принадлежности сочленов разделенного, раздираемого внутренними противоречиями общества, имеют тенденцию замыкаться внутри определенных сегментов. Тем самым путь к потенциальному согласию в обществе бесконечно затрудняется. Именно этот, наиболее тягостный, сценарий и поддержала в конечном счете милютинская армия.

Ее совокупное влияние на контекст социальных взаимодействий пореформенной России может быть раскрыто в разрезе двойной дисфункции. С одной стороны, несмотря на продолжительность, служба в этой армии не способствовала формированию человеческой личности индустриальной эпохи. В частности, становлению таких присущих ей характеристик, как открытость для новых знаний и экспериментов, независимость мнений и суждений, опора на научную картину мира, ориентация на мобильность, долговременное планирование, активность в сфере публичной жизни⁷⁴. Не стимулируя рационального образа мыслей и поведения, она содействовала накоплению заряда негативных эмоций и озлобления. Без преувеличения можно сказать, что значительная масса отслуживших свой срок нижних чинов нуждалась в неотложной социальной и психологической реабилитации, которая, разумеется, не предусматривалась и не предоставлялась государственными органами. В итоге

служба в российской армии лишь усиливала компонент аффективных реакций в масштабе социума. Подтверждением тому служит сверхвысокая наэлектризованность солдатской массы, которая со всей отчетливостью проступала на поверхности в периоды ослабления дисциплинарной подпруги. Не случайно в номенклатуре деструктивных социальных движений первое место удерживал солдатский бунт с его безотчетным анархическим порывом и сокрушительностью выпущенных на свободу первобытных инстинктов⁷⁵. Точно так же в плане анархизации общественных связей трудно переоценить значение мобилизаций Первой мировой войны, пропустивших через армейское «чистилище» 16 млн. человек.

С другой стороны, антидемократические уклонения в военном строительстве препятствовали становлению нации граждан — необходимой предпосылки современной демократии. Выхолощенная из армейского устройства идея равнообязанных отношений граждан к делу защиты отечества и равнообязанного расчета государственной власти со всеми категориями защитников оборачивалась отчуждением большей части населения от государства. В конкретных обстоятельствах военного времени эта позиция проявлялась в снижении готовности к риску, экономии личных вкладов в ратный труд, истощении запаса выносливости, словом, в признаках вырождения воинских доблестей.

С этой точки зрения вполне логично смотрелись и трудное течение, и бесславный финал большинства военных кампаний второй половины XIX — начала XX в. В частности, завершение Русско-японской войны еще до того, как был исчерпан ресурс сопротивления противнику⁷⁶, массовые сдачи в плен, далеко не всегда оправданные соотношением сил в поединке с противником (так, на одного военнопленного японца приходилось 40 русских; если за годы войны в русском плену оказалось 1700 японцев, то в японском — 70,4 тыс. русских солдат и 1430 офицеров)⁷⁷. Характерно, что еще задолго до реальных трагических событий их предрекали наиболее опытные и здравомыслящие военачальники русской армии. Так, в 1888 г. генералыша А.В. Богданович, близко знакомая с одним из самых именитых командиров — генералом М.Г. Черняевым, записала в своем дневнике

его пессимистический прогноз относительно будущей войны: «Он очень мрачно рисует положение России. Говорит: Избави Бог войны! Нас расколотят совершенно, так что не только отнимут у нас, что хотят, именно Балтийский и Привисленский край и заставят нас платить 50 миллиардов контрибуции, ...но... поступят с нами еще хуже... Что уже в минувшую войну (имеется в виду Русско-турецкая война 1877—1878 гг. — *И.В.*) обер-офицеры и генералы вели себя дурно, прямо прятались от огня, но что в эту войну и солдаты, и молодые офицеры будут не лучше. Что если бы можно было нанимать вместо себя чужое войско, он уверен, что все понесли бы последние гроши, чтобы не идти на войну... что реформы Милютин сгубили армию, что война неудачная может повести далеко, что может явиться династический вопрос, а что война будет несчастной, в этом он не сомневается»⁷⁸.

Еще более удручающую статистику дала Первая мировая война: по сведениям, собранным американским историком П. Кеннеди, в первые месяцы войны около двух млн. потенциальных призывников поспешили заручиться узами Гименея, дабы избежать отсылки на поля сражений⁷⁹. По официальным данным Ставки, за период времени от начала войны и до весны 1917 г. из русской армии дезертировала 201 тыс. бойцов, а по данным вражеских разведок эта цифра достигала двух млн. человек⁸⁰. За тот же период в плен к немцам и австрийцам попало (чаще всего по собственной воле) 1,5 млн. русских воинов, в то время как вместе взятые войска союзников на Западном фронте потеряли всего только 330 тыс. человек сдавшихся в плен⁸¹. Думец В. Шульгин в своих мемуарах как иллюстрацию настроения, с которым многие молодые новобранцы выполняли свой воинский долг, приводил историю одной из дивизий, набранной из жителей Петербурга: она так поднатрела в умении сбегать с любой боевой позиции, что старые военнослужащие ее прозвали «санкт-петербургским беговым обществом»⁸².

Нестойкость рядового состава российской армии в глубинных истоках являлась превращенной формой социального протеста против предписанной ему роли серой скотинки, ведомой на убой в счет тех счастливых баловней судьбы, которым был гарантирован либо белый билет, либо облегченный вариант

службы. Впрочем, такая ситуация исторически не была уникальной. Основания морального и физического разложения русской армии типологически совпадали с теми, которые подготовили дезорганизацию старой армии Франции в 1789—1791 гг. Размеченное сословными «маркировками» тело армии выходило из повиновения головному центру, а масса нижних чинов стремилась выйти из-под знамен для того, чтобы слиться с революционной толпой⁸³.

Российский опыт показывал, что попытка насаждения демократической модели военной организации до того, как были заложены основы демократического строя в стране, с неизбежностью вела к абберациям самой этой модели. А ее практическая реализация вносила серьезные нарушения в систему общегражданских отношений, создавая препоны и заторы в продвижении модернизации. Принятый за канон в подавляющем большинстве развивающихся стран прусско-германский образец был эффективен ровно в той мере, в какой военное ведомство в этих странах было способно обеспечить методичное и последовательное претворение всех его элементов, а общественность была готова предоставить свою безоговорочную поддержку. Такое соединение усилий хорошо удавалось в странах, опиравшихся в своей военной политике на прочный базис модернизации.

По оценке Д.А. Ростоу, его составляли три главных компонента: сильная и эффективная власть, единство (идентичность), равенство граждан (равное политическое участие)⁸⁴. (Все три элемента взаимосвязаны: без сильной власти единство и равенство ведут к торжеству анархии; при отсутствии единства усилия власти будут постоянно блокировать партикуляризм локальных сообществ; а без равенства и политического участия всех граждан власть будет постоянно встречать на своем пути сильную оппозицию со стороны ущемленных групп)⁸⁵. Идеальным вариантом, по Ростоу, являлось одновременное формирование триады. Однако в истории гораздо чаще встречалось последовательное утверждение элементов в виде цепочки: единство — сильная власть — равенство (случай Японии). Или же в виде цепочки: власть — единство — равенство (Великобритания, Франция, Испания, Португалия, Скандинавские страны,

а позднее — Германия и Италия). При этом в последних двух странах единство вначале было установлено в рамках отдельных зон, а затем — в 70-е годы восторжествовало и на остальной территории⁸⁶.

Добавим к этим выкладкам еще одно наблюдение: в странах, добившихся единства на общегосударственном уровне позже остальных, это условие было плотно увязано с созданием сильной национальной армии. Она придавала реалистические черты мечте о единстве и рассматривалась как мощнейший рычаг интеграции в первоначальных зонах будущего единства. Собственно, именно национальная армия служила форпостом движений за объединение разобщенных территорий в единое целое. Раньше всего к этому пришли немцы. Образец такой армии был создан в начале XIX в. в Пруссии на этапе борьбы с французским владычеством и после испытания войнами 60-х — начала 70-х годов с Австрией и Францией утвержден в объединенной Германии. Германская армия, состоявшаяся на путях встречных усилий государственной машины и общественного движения за объединение, заняла самое почетное место в системе институтов Второго рейха. А развернутое Вильгельмом II и гросс-адмиралом А. фон Тирпицем строительство военно-морского флота было воспринято как дело всей нации. По словам немецкого историка Ф. Фишера, ей содействовали все — начиная от школьного совета в каждой деревушке до крупных политических партий⁸⁷. На этом основании один из главных военачальников германской армии начала XX в. Э. Людендорф мог с полным правом заявлять о том, что «народные и боевые силы так тесно внутренние переплелись между собой, что стали нераздельными»⁸⁸. С близких позиций подходили к военному строительству государственные и общественные деятели Пьемонта середины XIX в., поставившие на повестку дня вопрос о завоевании национального суверенитета и создании крепкой федерации итальянских государств⁸⁹. Несмотря на выраженную волю, традиционная слабость экономического потенциала Италии, разрыв между севером и югом в темпах развития не позволили итальянцам повторить германский путь⁹⁰.

На германский опыт ориентировалась и Австро-Венгрия, привлекавшая к воинской повинности различные этнические

группы (достаточно напомнить о том, что приказ о мобилизации в августе 1914 г. был отдан верховным командованием на 15 языках!). Политическое руководство «лоскутной» империи истово пыталось с помощью армейского нивелира подровнять своих разномастных подданных, однако за недостатком средств не смогло до конца претворить этот замысел.

А вот Япония, сформулировавшая в начале Реставрации Мейдзи свою цель как «богатая страна с сильной армией», сумела поставить дело таким образом, что ее армия активно помогла преодолеть кланово-территориальную разобщенность и устоялась в качестве символа национального единства⁹¹. Символическое подтверждение военной гегемонии в борьбе за экономическое и политическое выживание нации присутствовало буквально на каждом шагу в Стране восходящего солнца. Прохождение отрядов воинов по улицам городов и сел собирало толпы народа, которые низко, до земли, кланялись знамени. В семье и в школе будущим защитникам внушалась мысль о том, что нет цветка краше вишни, и службы почетнее, чем военная⁹².

Даже османы в эпоху Танзимата попытались у себя осуществить концепцию единой армии — единого государства. В 1850 г. был подготовлен законопроект, по которому вместо уплаты хараджа все представители мужского пола от райи должны были привлекаться к воинской службе наравне с мусульманами без ограничений по конфессиональному признаку в карьерном продвижении. Однако, по справедливому замечанию английского историка В. Хейла, реализация этого замысла уперлась в архаичность социоэкономической структуры османского общества⁹³.

С переменным успехом шли дела во Франции. С момента победы в 1879 г. на выборах республиканцев и в течение последующего десятилетия их пребывания во власти французы любовно отстраивали и пестовали свою армию. Жажда реванша над Германией и национальный ажиотаж вокруг всемерного укрепления обороны кристаллизовались в могучей фигуре военного министра генерала Ж.Э. Буланже, взявшего под личный контроль дело военной подготовки сограждан. В средней школе как обязательный элемент программы были введены многочасовые гимнастические тренировки для мальчиков. В учебники по ис-

тории и географии включены рассказы о ратных подвигах исторических предков, а военная профессия возведена в ранг самых престижных⁹⁴. Несмотря на некоторое охлаждение к военному делу после ухода из жизни Буланже в 1891 г. и усилившееся в конце XIX в. влияние левых политических сил во главе с Ж. Жоресом на организацию военного дела, идея армии как оплота национального могущества продолжала жить в трудах интеллектуальной элиты и писателей Франции⁹⁵.

Россия оставалась единственным государством, в котором помощь гражданских сил армии и военное строительство не стали общенациональным приоритетом. Более того, от военного обучения были отлучены целые группы населения на основании этнического и конфессионального критериев. По подсчетам Л.Г. Бескровного, на каждую тысячу жителей в европейской части России приходилось 18,4 человека военнообязанных, на Кавказе — 6,1 и в Средней Азии — один⁹⁶. Помимо изъятий, установленных в Уставе о воинской службе, в декабре 1874 г. было введено запрещение на допуск вольноопределяющихся и нижних чинов «еврейского закона» в военные и юнкерские училища, а для получения офицерского звания желающим рекомендовалось сдавать экзамены экстерном при этих училищах. В 80-е годы была установлена 20-процентная квота на прием в армию нерусских уроженцев прибалтийских губерний и армян, даже если они изъявляли желание служить в своем «родном» округе. Максимальный удельный вес инородцев в войске определялся в 30%⁹⁷. Вместе с тем политика подобных ограничений порой вызывала возражения со стороны самих «инородцев». Так, например, представители еврейской общины Петербурга, привлеченные к обсуждению закона о всеобщей воинской повинности, горячо высказывались за участие в ней еврейской молодежи на общих основаниях, одновременно справедливо заостряя внимание на необходимости уравнивания евреев в гражданских правах с остальными жителями империи⁹⁸. Несмотря на сохранявшуюся дискриминацию, в частности запрет на производство в офицеры солдат еврейской национальности, из этой этнической группы российская армия получила немало талантливых военачальников (генералы М. Грулев, С. Гершельман, К. Кауфман, П. Гессе, С. Крыжановский, С. Цейль, А. Ад-

рианов, А. Хануков). Точно так же отстраненные от службы мусульманские народы в начале Первой мировой войны на добровольческих началах сформировали «Дикую» дивизию. При слабой смычке между армией и обществом в целом, при отношении интеллигентских кругов к военному делу, колебавшемуся в диапазоне от полного равнодушия до полного неприятия и пацифизма, надежда на возрождение армии была призрачной. Профессиональная экспертиза военных неудач России фиксировала неудовлетворенный спрос на людей с «военным характером, с железными... нервами, способными выдерживать без ослабления почти непрерывный бой в течение многих дней». Итоговое заключение гласило: «Очевидно, ни школа, ни жизнь не способствовали подготовке в России за последние 40 или 50 лет сильных, самостоятельных характеров, иначе, вероятно, они были бы в значительно большем числе в армии»⁹⁹.

Между тем бывшие тревогу военные специалисты вовсе не являлись пророками, взывающими к камням. Еще до войны из самой толщи общества шли призывы к серьезной постановке военного обучения с более широким и равномерным охватом населения. Так, с 1908 г. в порядке частной инициативы граждан во многих городах и селениях, в том числе и на окраинах, создавались военизированные молодежные объединения, «потешные» полки, в школьную программу внедрялись начатки строевой и военно-патриотической подготовки. Однако царский режим «дозрел» до постановки этой проблемы на общегосударственном уровне только в 1913 г., когда времени на исправление положения практически не оставалось¹⁰⁰.

Война на тотальное уничтожение, втягивая не только кадровые армии, но и огромные массы гражданского населения, всякий раз предлагала оценить способность различных политических систем к мобилизации всех сил для защиты и собственного воспроизводства в устоявшихся конфигурациях. Наиболее впечатляющий пример дала британская демократия, основанная на глубокоукорененных принципах идентичности, равенства. Даже при дискретных связях граждан с государственной машиной и отсутствующем опыте всеобщей воинской повинности (она была введена только в 1916 г.) оказалось возможным добиться рекордно быстрой милитаризации социума.

После гибели 80% личного состава Британского экспедиционного корпуса в 1914 г. рядовые британцы, знакомые с воинской службой только понаслышке, в ответ на государственный призыв стали массами стекаться на вербовочные пункты¹⁰¹. А британские девушки, подогревая патриотический пыл своих возлюбленных, в знак насмешливого презрения дарили пушинку тем, кто замешкался на этом маршруте. Поведение молодых британцев в окопах и жарких батальных отбоях отображало в действии наиболее совершенный участнический тип политической культуры, соединявший воедино уважение к институтам, ценностям и нормам политической системы с готовностью отстаивать их на практике. Вчерашние клерки, бизнесмены, лавочники в мясорубке войны проявляли больше терпения и приспособляемости, нежели многие представители милитаризованных наций. В частности, одним из типично британских ноу-хау стала привнесенная на поля сражений этика спортивной игры с ее неизблемыми правилами: «Играй игру! ...работай терпеливо и честно за свою команду; держи рот закрытым; не жалуйся, если тебе подбили глаз. Сохраняй в трудной ситуации юмор и доброжелательный тон»¹⁰².

Нации, не столь продвинутые в демократическом отношении, как англичане, приобщались к государственному патриотизму и осознавали себя единым лагерем благодаря массовой армии. Именно отсюда в общественную среду непрерывно шли токи воссоздания сильной общности. Японцы, которые вели войну 1904—1905 гг. с Россией на пределе своих возможностей, без тени сожаления жертвовали жизнями своих детей. По воспоминаниям генерала А.Н. Куропаткина, молодые японцы целыми полками с криками «банзай!» устремлялись на русские укрепления, замертво ложились в «волчьи ямы», а идущие следом взбирались по трупам товарищей наверх и опрокидывали наши позиции¹⁰³. Таким же кошмаром обрушивались на противников немцы в годы Первой мировой войны. Пропитанные моралью ответственного служения отечеству вооруженные массы немцев стойко держали удар и прорывали оборону превосходящего неприятеля одновременно на Западном и Восточном фронтах. Нехватку кадрового состава почти равноценно возмещали части ландвера и ландштурма — в частности, имен-

но они давали жару российскому войску, начиная с боев в Мазурии февраля — марта 1915 г.¹⁰⁴. А привычный для немецкого общества способ отождествления себя с государством, а государства с армией гарантировал самосохранение нации после проигранной войны. Конечно, гражданское население встречало свое возвращавшееся воинство не как победителей, но одновременно и не как побежденных¹⁰⁵. Восстановленная военная машина обеспечила и последующее возвышение Германии, правда на этот раз за счет преступлений против человечества.

С той же высокой степенью выносливости переносила лишения и тяготы войн Япония. Решающую роль в послевоенной реконструкции также играла военная закалка. Призывы власти к населению напрячь силы понимались как боевой приказ, не терпящий ни возражений, ни отлагательства в исполнении. Буквально на пятый день капитуляции во Второй мировой войне Япония (в Первой мировой она принимала незначительное участие) обрела второе дыхание, и все общество, засучив рукава, как один, взялось за ликвидацию разрухи¹⁰⁶. Итак, в ряде стран с незрелой демократией сильная армия с одинаковой для всех воинской повинностью служила страхующим механизмом. Он не давал государственной власти попасть в социальный вакуум, а обществу утратить представление о своем единстве. Одновременно — обеспечивал быструю ремиссию после жестокого кризиса.

В то же время травмы, полученные Россией в ходе Первой мировой войны — отнюдь не крайней степени тяжести в сравнении с теми, которые выпали на долю Германии в Первой и Японии во Второй мировых войнах, — оказались несовместимы с жизнью старого государства и общества. Зачаточная российская демократизация, переработанный партикуляризм местных сообществ, обособленность национальных окраин делали для России недоступным английский сценарий. А ослабленный армейский рычаг не позволял рассчитывать на путь Германии и Японии. Армия социальных париев была не приспособлена ни к защите национально-государственных интересов, ни к подкреплению витальных потенций сообщества. Не случайно образ российских войн начала XX в. пронизан эсхатологическими мо-

тивами. Так, память о Русско-японской войне сконцентрировалась в картине «пожилых бородатых мужиков, уныло бредущих по маньчжурским дорогам. В их руках оружие казалось таким лишним и ненужным»¹⁰⁷. Первая мировая оставила еще более скорбные зарубки: войска, впавшие в столбняк при первых крупных столкновениях с германской армией, самые большие из всех воюющих стран потери в живой силе — до 60% личного состава, неудержимый развал армии после февраля 1917 г.¹⁰⁸.

Была ли возможность избежать роковой развязки? Опыт других стран с догоняющим типом развития, собственные уроки успешного российского реформаторства первой четверти XVIII в. показывали наибольшую результативность модернизации, сфокусированной на военном строительстве. Вытекающее из приоритетов национальной обороны поэтапное реформирование всех прочих областей общественного развития позволяло прагматично и взвешенно с точки зрения военных интересов запускать каждое очередное звено в цепочке трансформаций. При самой высокой сопряженности создания современной армии с ускорением в технико-экономической сфере, с рационализацией управления и перестройкой системы образования такая модернизация имела все шансы состояться как процесс многомерного обновления общества. А военное строительство — увенчаться оформлением массовой, боеспособной армии. Однако этот план был отвергнут еще на подступах ко второй российской модернизации. Благоприятные перспективы, с точки зрения некоторых военных специалистов (Р.А. Фадеев, С.К. Добrorольский, А.В. Геруа), были заложены в сочетании профессиональной армии по американскому образцу с милиционной системой¹⁰⁹. При сверхдостаточном количестве людей в стране, желающих посвятить себя профессиональной военной службе, проблема контракта с военным ведомством решалась бы легко и без напряжения для общества. Однако и эта альтернатива была отринута. Взяв курс на эпигонское следование континентальной, германской модели армии и усугубив его доморощенными привнесениями, российские власти в конечном итоге предопределили самый плачевный исход участия России в тотальной схватке на выживание.

2.2. *Офицерская служба*

Военное строительство второй половины XIX в. внесло существенные поправки в условия и принципы деятельности офицерского корпуса. Прежде всего кадровое офицерство лишилось того особого фавора, которым неизменно пользовалось у представителей власти в дореформенный период. О смещении центра тяжести в системе опор монархии четко сигнализировали нормы существования военно-профессионального и бюрократического корпусов.

Продвижение по лестнице чинов в вооруженных силах в пореформенный период совершалось гораздо медленнее, чем в среде чиновников, а на подступах к наиболее реальным точкам ускорения в карьерном росте возникали пробки. По старым правилам офицер должен был выслужить в предыдущем чине около четырех лет для производства в последующий. Это позволяло рассчитывать наперед карьеру и гарантировало надежность сделанного профессионального выбора. Однако в пореформенное время гладкое восхождение по ступенькам служебной лестницы нарушилось, так как указанное правило прекращало действовать на чине капитана. Далее вступали в силу трудно регулируемые факторы: случай и соизволение начальства. В среднестатистическом варианте для армейской пехоты срок ожидания капитанского звания составлял не менее 10 лет. А на получение погон подполковника вообще не приходилось всерьез рассчитывать без протекции и особого везения¹. Единственным оазисом, где эти препятствия снимались, была гвардия, прежде всего в лице трех кавалерийских полков — гусарского, кавалергардского и конногвардейского. Путь от младшего офицера до полковника здесь обычно занимал 10—15 лет. Примерно столько же времени требовалось затратить на то, чтобы подняться до соответствующих чинов на гражданской службе². Выходило, что любой табельный гражданский чиновник на практике был приравнен к представителю высшей военной касты. Однако при этом офицерская служба в гвардии требовала ежемесячных дополнительных вложений в поддержание статусных позиций на сумму от 100 до 500 руб. (более того, что в месяц от казны получал обер-офицер) и, соответственно,

постоянной материальной подпитки из иных источников, а гражданская была свободна от подобных затрат³.

В сравнении с гражданскими служащими офицерство второй половины XIX — начала XX в. проигрывало и в казенном обеспечении. Разрыв в оплате труда чиновника и военнослужащего был очень существенным на уровне обер- и штаб-офицерских чинов. Правда, он несколько уменьшался на уровне генералитета, однако и здесь сохранялись преимущества чиновников⁴. Прямым следствием скудного жалования являлся хронический некомплект офицерского состава, исчислявшийся, например, в 1907 г. в 20%. Прибавка жалования офицерам была сделана только в 1909 г. Однако кардинального улучшения не произошло и после этого «подарка» казны. Так, армейский подпоручик, получавший ранее 660 руб. в год, стал получать 840 руб.; капитан, имевший ранее 1200 руб., теперь стал обеспеченнее на 540 руб., а подполковник — на 660 руб.⁵.

Однако разрыв в уровне материального благосостояния еще не был главным пунктом дискриминационных различий между служащими гражданских и военного ведомств. Настоящим бичом армии стала общая девальвация военной службы в то время, когда власть своими начинаниями подняла на небывалую высоту престиж чиновника и создала популярность новым профессиям — мирового судьи, присяжного поверенного, инженера и ученого, работника земства и городского самоуправления. Барометром общественного отношения к ратному труду стал массовый отлив из армии потомственного и поместного дворянства. Доля потомственных (при этом в большинстве беспоместных) дворян в офицерском корпусе конца XIX в. составляла 50,8%. Наиболее высоким их удельный вес был в гвардии, наименьшим — в армейской пехоте (39,6%)⁶. А к началу мировой войны доля потомственного дворянства среди офицеров колебалась в пределах 35—40%⁷. По словам генерала В.Ф. Флуга, русский офицерский корпус этого времени приобрел «крестьянско-мещанскую физиономию»⁸. В отличие от поместного дворянства, насыщавшего корпус в дореформенный период, он был укомплектован служилыми дворянами, почти не отличавшимися по своему менталитету и материальному положению от разночинцев⁹.

По мнению В. Фулера, отлив потомственного поместного дворянства из армии и нехватка кадровых офицеров были вызваны тремя причинами. Во-первых, застоём в военном деле, особенно заметно проявившимся при министре П.С. Ванновском в период контрреформ Александра III. Либеральная и романтически настроенная молодежь перестала смотреть на армию как на привлекательное с точки зрения гуманистических идеалов поприще служебной деятельности. Во-вторых, свою роль сыграл и экономический фактор — скудно вознаграждаемая офицерская служба не выдерживала сравнений с доходными и социально-значимыми видами деятельности. В-третьих, передислокация значительной части армии в 1880—1890-е годы на западные границы в соответствии с планом развертывания стратегических сил П.С. Ванновского и Н.Н. Обручева обрекала офицера на долговременное проживание вдали от большой цивилизации, в глухих и обшарпанных местечках Польши и Украины. Разумеется, такая перспектива никак не могла вдохновить образованного жителя столичных или других крупных городов империи¹⁰. Думается, однако, что помимо этих конкретных обстоятельств, непривлекательный имидж офицерской службы был связан с общим фоном ожидания прорывов и свершений во благо общества от гражданских занятий, который формировала вся логика второй российской модернизации. Существовала ли возможность предотвратить повальное бегство потомственных дворян из рядов армии? Вероятно, при проведении военной реформы командный ресурс власти позволял ей подвигнуть еще на одну «жертву» дворян, охваченных верно-подданническим патриотизмом. Но, как известно, такой целью власть не задавалась.

Между тем многие военные специалисты разных стран — представители демократических армий индустриальной эпохи — считали жизненно важным сохранить в армии аристократический военный костяк. На то было несколько веских причин. Офицер-дворянин нес в своем наследственном социальном коде высокий образец служения отечеству, на который ориентировались разнородные социальные потоки, вливавшиеся в массовую армию. Он придавал своим обликом благородную утонченность и изящество моторному языку армейских комму-

никаций и кодексу моральных норм, на которых, по справедливому мнению американского социолога С.Е. Файнера, основываются военный корпоратизм и автономность¹¹. Он был хранителем организационных навыков, приобретённых в управлении поместьем и сельскими работниками. Этот «конек» безотказно служил и в командирском деле. Скажем, военное руководство Германии не видело альтернативы в армии прусскому юнкерству с его организационным потенциалом, наработанным в собственном поместном хозяйстве. Ещё на этапе подготовки к объединению Германии в 1860-е годы военный лидер Пруссии Мантейфель провел перетряску офицерских кадров, в результате которой были удалены классово чуждые элементы. В пехоте свои места удержали лишь 2900 офицеров-недворян, а весь офицерский корпус Пруссии стал на 95% дворянским¹². Принцип элитарности в подборе командирских кадров неукоснительно соблюдался и в первые два десятилетия Второго рейха. Только в 1890 г. Вильгельм II принял меры к тому, чтобы и представители среднего класса могли пополнять собой офицерский состав¹³. Между тем и после того стараниями высшего военного командования, по словам немецкого историка и социолога Ф. Ноймана, заглавной фигурой в германской армии являлся «феодальный буржуа». Этот социальный персонаж воплощал собой нерушимый союз помещиков-землевладельцев, крупных промышленников, высшей бюрократии с армией. В конце XIX в. он занял ключевые позиции не только в среде офицерства на действительной службе, но и в резерве, потеснив менее привилегированного, но более либерального офицера ландвера прежних времен. Характерно, что незадолго до Первой мировой войны германское командование предпочло хладнокровно обрезать свои планы по укомплектованию резерва, когда выяснилась истощённость поставок резервистов из привилегированных классов, чем допустить его бесконтрольную демократизацию¹⁴.

Примерно теми же соображениями руководствовались и военные лидеры других стран, стремясь, наряду с утверждением демократических принципов карьерного восхождения, обеспечить элитный состав офицерского корпуса. Например, в Великобритании второй половины XIX в. военную службу выбра-

ли для себя 52% аристократических отпрысков и 47% — джентри. А на рубеже XIX—XX вв. в вооруженные силы поступило больше младших детей из самых богатых семей Англии, чем в предшествующее время¹⁵. Отменяя в 1869 г. практику покупки офицерских должностей, военные и гражданские политики Великобритании пообещали, что эта мера не поколеблет аристократических стандартов офицерской службы. Теперь одним из главных аргументов для приемных комиссий в одобрении той или иной кандидатуры на офицерскую должность становилась ее способность поддерживать прежние традиции, как, например, возможность заказа отличной униформы, приобретения скаковых и охотничьих лошадей, выделения личных денег на общий офицерский стол. В конце XIX столетия было подсчитано, что офицеру пехоты было необходимо вкладывать не менее 200 фунтов собственных внеслужебных средств, а кавалерийскому — около 700 фунтов в год для подтверждения своего статуса в армии и обществе¹⁶. Еще более последовательно была проведена линия на воспроизводство феодального служилого ядра в военном строительстве Японии. В марте 1871 г. 10 тыс. самураев из передовых княжеств Тесю, Сацума и Тоса были объединены в императорскую гвардию — опорное и высшее звено вооруженных сил. Вслед за тем в войска были приняты и те из самураев, которые изъявили готовность продолжить занятие военным ремеслом в рамках модернизированной армии¹⁷.

Сильное ядро потомственных военнослужащих из верхних страт общества в офицерском корпусе, как показывала практика, обеспечивало привлекательность воинской службы в глазах демократического населения и высокую эффективность в воспитании бойца. Такая структура офицерского корпуса создавала преимущество в поединке держав для той, у которой эти традиции превалировали. Так, французская армия, у которой эти черты, как и у русской, были утрачены во второй половине XIX в., потерпела сокрушительное поражение 4 сентября 1870 г. под Седаном от пруссаков, которые сумели эти качества сберечь и преумножить. На этот раз французов не выручили ни более мощный, чем у неприятеля, технико-экономический потенциал, ни новейшие (секретные) образцы стрелкового оружия и артиллерии, ни даже боевой опыт, приобретенный в Крымскую

кампанию¹⁸. Итальянская армия, в которой офицерами служили выходцы из низших слоев среднего класса и бедноты, пережила в 1896 г. катастрофу в Абиссинии, окончательно испортившую ее репутацию. А Япония, не принадлежавшая клубу великих держав в начале XX в. и отстававшая от них в техническом оснащении своей армии, задала жестокую трепку российскому колоссу в 1904—1905 гг. Самурайская основа армии с ее незыблемым кодексом поведения (буси-до) доказала свою высокую надежность в более чем проблемном для японцев состязании.

Механизм полезной деятельности потомственно-дворянского офицерства прослеживается и по русской армии. Гвардия, где до мировой войны офицерами служили преимущественно потомственные дворяне (на момент начала войн их удельный вес достигал в кавалерии 96,3%, пехоте — 90,5%, в артиллерии — 88,7%)¹⁹ предоставляла своим призывникам более удобную нишу для проживания и овладения воинской профессией, чем армия. Командиры гвардейских подразделений не только не урывали себе кусок от солдатского пайка, как это нередко бывало в армии, но и старались доложить в него то, что была не в силах обеспечить казна. Обычно солдаты не поедали всего, что предлагалось в суточном меню. Остатки пищи шли на корм свиньям, которые резались к праздничному столу. Гвардейские офицеры, как правило, отличные спортсмены, вовлекали в спортивные занятия своих подопечных, и вскоре в спортивные состязания втягивались целые части. Тренировки, игры, соревнования, с одной стороны, облегчали «программное» обучение в полках, с другой, сближали командиров с подчиненными, объединяя их в одну сплоченную команду²⁰. За годы службы большинство призванных успевало настолько «прикипеть» к своему полку и командирам, что с сожалением расставалось с ними в положенное время.

Однако в армейских полках царили совершенно другие порядки: профессиональный и культурный уровень гвардейцев был недостижим для армейских кадровых служащих — в большинстве своем носителей иного, очень скромного организационного опыта и небольшого интеллектуального багажа. Интересно, однако, что в конце XIX в. эти «врожденные» недостатки

армейского офицерства получают определенную компенсацию в виде усложненной обрядности и правил поведения, вызывающих реминисценции с аристократическим кодексом чести. Подробное описание этих норм было сделано коллективом южноамериканского отдела Института по изучению проблем войны и мира имени Н.Н. Головина. Опираясь на него, отметим важнейшие предписания, которым был обязан следовать любой русский офицер. Для начала ему полагалось вести подобающий званию образ жизни: посещать рестораны только высшей категории, в театрах занимать места не дальше пятого ряда партера, заказывать доставку на дом покупок, сделанных в магазинах, ездить на встречи и в гости в наемных пролетках, а не передвигаться пешком. Из внеслужебных занятий допускалось владение промышленным или торговым предприятием, однако самостоятельное управление им запрещалось. Не менее высокие требования предъявлялись и к спутнице жизни офицера: воспрещалась женитьба на крестьянке или мещанке, малограмотной или девушке с подмоченной репутацией. Из списка профессий, которые могла позволить себе офицерская жена, были вычеркнуты артистка оперетты, конторская служащая, продавщица. Кроме того, офицеру следовало в любой, в том числе внеслужебной обстановке, проявлять щепетильную уважительность к старшему по званию: при встрече с ним в ресторане надлежало спросить разрешение на то, чтобы сесть; в театрах в присутствии старшего во время антракта следовало подняться с места и стоять; нельзя было закурить без разрешения. Наибольшие хлопоты доставляла нечаянная встреча с генералом на улице: офицер, конный или пеший, был обязан встать во фронт и отдать честь, даже если это действие мешало движению пешеходов и экипажей²¹.

Офицер, подвергшийся нападению или побоям гражданского лица, должен был немедленно выйти в отставку. Предосудительные, с точки зрения офицерского общества, поступки рассматривались судом чести, установленным в каждом полку для «охранения достоинства военнослужащего и поддержания доблести офицерского звания». Вынесенные им вердикты, касавшиеся, например, урегулирования отношений между офицерами, носили окончательный характер и не подлежали обжа-

лованию, невзирая на то что очень часто попросту узаконивали смертоубийство. В 1894 г. после столетнего запрета в русской армии восстанавливается дуэль как средство решения споров среди офицеров, в том числе самореабилитации оскобленного военнослужащего (именно такой эпизод лег в основу сюжета повести А. Куприна «Поединок»)²². С не меньшей настойчивостью после Русско-японской войны в армии стала проводиться антиалкогольная кампания.

Строй офицерской службы, опутанный с точки зрения обыденного здравого смысла, иррациональными требованиями и запретами, имел, однако, свое рациональное объяснение. В. Фулер считает, что он насаждался сверху в целях консолидации всего офицерского корпуса на базе корпоративной идеологии и общих понятий о воинской доблести. В свою очередь, усвоение и развитие этих правил определял характерный для русского офицерства феномен негативистского корпоратизма. Этот термин, по мнению автора, наиболее адекватно выражает коллективный стиль мышления и переживаний, заряженный недоверием к гражданскому обществу и гражданским лидерам. В его основе, как считает историк, скрывался страх перед реальной или воображаемой провокацией со стороны более влиятельных и популярных профессиональных групп и деятелей. Негативистский корпоратизм смыкался с осадной психологией и паранойей. Он проистекал из взгляда на собственную общность, как на мишень для битья, и был нацелен на еще более плотное отгораживание от враждебного окружения. По мнению исследователя, этот комплекс чувств, представлений и действий служил прибежищем для малокомпетентных военнослужащих, испытывавших острую потребность в самооправдании и самозащите на фоне неубедительных профессиональных достижений²³.

По нашему мнению, ужесточенный режим существования, в который добровольно заточило себя российское офицерство, имел более широкую подоплеку. В ней могут быть вычленены разнообразные мотивы. Во-первых, протест против ускоренного восхождения иных профессиональных групп. Из истории известно, что усложненную линию поведения, с акцентированием особо трудных правил добродетели, часто выстраивали старые замкнутые группы по ходу ужесточения борьбы с

социальными конкурентами. Похожим образом в позднее Средневековье феодальное рыцарство пыталось сдерживать напиравшее на него бюргерство²⁴. Во-вторых, стихийное стремление если не де-юре, то де-факто выйти на уровень западных собратьев по профессии, отмеченных печатью социальной избранности, для того, чтобы уравнивать позиции в борьбе с противником. В-третьих, усложненный антураж офицерской службы создавал суррогатный аристократизм, который был призван обеспечить управляемость нижних чинов. Большинство командиров — выходцев из демократических слоев общества на практике сталкивалось с ситуацией, которую генерал Н.А. Епанчин охарактеризовал следующим образом: «Русский человек неохотно переносит власть себе подобных; он вообще охотно исполняет требование начальников, но если эти начальники выходят из солдатской среды, они смотрели на них совсем иначе, чем на начальников выше их по происхождению и образованию»²⁵. В-четвертых, повседневное исполнение офицерских обязанностей, напоминавшее в чем-то прохождение по сложнопереохлажденной местности, было повернуто против тех параметров межпрофессиональной и внутрипрофессиональной стратификации, которые обусловили низкий рейтинг военной профессии. Согласно классической концепции П. Сорокина, каждая профессиональная организация создает свои фильтры тестирования и селекции, в соответствии с которыми происходит отбор и продвижение людей в ее рамках²⁶. (Соответственно, чем сложнее устроено такое «просеивающее» сито, тем выше качество отобранного им материала, и в конечном итоге более высокие признание и социальная значимость профессии.) Культивирование жестких правил игры — своего рода более «частого» сита — истолковывается и как стремление к отсечению балласта из случайных «попутчиков» и к насыщению профессионального корпуса людьми, которые руководствуются истинным призванием и не пасуют перед трудностями. В этом отношении комплекс утомительных процедур и суровых законов, вторгавшихся в повседневную офицерскую жизнь, может быть проанализирован в разрезе саморегуляции офицерского общества. По своей направленности он также сопоставим с деятельностью аттестационных комиссий, введенных в русской армии. За период с

1906 по 1908 г. их решениями по возрасту и служебному несоответствию из армии было уволено около семи тыс. офицеров и 58 генералов, включая 22 командующих корпусами. А с 1912 г. была введена обязательная аттестация офицеров всех рангов²⁷.

Вместе с тем сравнение этих двух форм контроля — внутригруппового, связанного с интенциями самой офицерской среды, и государственного, осуществляемого через систему аттестаций, выявляет их «жанровые» различия. Опираясь на классификацию социальных действий М. Вебера, вторую форму контроля можно охарактеризовать как целерациональную. А первую — как ценностно-рациональную. Как и целерациональная мотивация, она также подчинена определенной цели, которая, однако, не выступает в столь сбалансированном единстве со средствами и следствиями, как при целерациональном подходе. «Ценностно-рациональное действие... всегда подчинено законам или требованиям, в повиновении которым видит свой долг данный индивид». При этом оно абсолютизирует ценность, с учетом которой строится поведение²⁸. И тот и другой тип рациональности, утверждающие социальные отношения на длительный период, вырабатывают «максимы», на которые настроено поведение включенных в эти отношения индивидов. В свою очередь, социальные отношения, которые сориентированы на отчетливо определяемые максимы, по Веберу, могут называться «порядком». Сравнивая по этой позиции обе формы контроля, действовавшие в русской армии, необходимо признать более интенсивную работу первой, внутригрупповой, в конструировании определенного порядка. Собственно, само установление строгих внутригрупповых регуляторов отталкивалось от недостаточной эффективности государственных. А в своем исходном посыле было направлено на образование *целевого союза*, который, согласно Веберу, образует два обязательных признака: соглашение по поводу общих правил и наличие общественных органов союза²⁹.

Явственная тяга к самоорганизации с упором на ценности военной службы, которая просматривается за усилиями российских офицеров, не может быть понята в отрыве от крайне неблагоприятных условий развития военной профессии в России конца старого порядка. Это — последний марш-бросок луч-

ших представителей военного ремесла в отчаянной попытке добиться самоутверждения внутри страны и паритета в соревновании с профессионалами передовых армий мира. Оценивая русский офицерский корпус на предмет профессионализма, В. Фулер полагает, что он не выдерживал сравнения с офицерством великих держав ни по одному из пунктов. Важнейшими критериями оценки, по мнению исследователя, являются:

- 1) качественная подготовка через систему специальных учебных заведений и боевая практика;
- 2) постоянная нацеленность на повышение стандартов службы самого офицерского корпуса;
- 3) сильно развитое ощущение групповой идентичности, выражающееся, в том числе, в высокой самооценке, а также в уверенной готовности выполнить любую боевую задачу;
- 4) артикуляция специальных военных интересов и их общественное признание;
- 5) автономность: если военный сектор не имеет достаточных полномочий для самостоятельной кадровой политики, то мнения и пожелания военных экспертов по меньшей мере принимаются во внимание гражданскими политиками при замещении командных должностей³⁰.

Характерно, что заключение современного американского исследователя о несоответствии постоянного кадрового звена русской армии перечисленным условиям полностью совпадает с мнениями, которые высказывали сами военнослужащие царской армии. Так, общим местом всех рассуждений о военном обучении являлось признание малой профессиональной пригодности молодежи, притекавшей в военные и юнкерские училища. В последние, как правило, поступали неудачники, безнадежно севшие на мель при прохождении учебного курса в гимназиях, кадетских корпусах, духовных семинариях. По словам М. Грулева, «военная дисциплина и строгий режим учебный и житейский в юнкерском училище являлись спасительными для этих, до некоторой степени свихнувшихся элементов»³¹. Между тем пополнение обер-офицерского состава из этого отстойника разжижало и без того жидкую профессиональную среду. Потолком карьеры выпускника юнкерского училища являлась должность командира взвода. Несмотря на стремление военно-

го ведомства с конца XIX в. сблизить программы юнкерского и общевойскового военного училища, задача была решена, притом не полностью, лишь к 1911 г.³² Но и общевойсковые училища, считавшиеся более престижными, не дотягивали до уровня кузниц подлинно профессиональных кадров, ибо также собирали учащихся, не закончивших полного гимназического курса³³. А лучшие из лучших выпускников, которые спустя несколько лет после начала службы пробовали свои силы на вступительных экзаменах в Академию Генерального штаба, по признанию самих экзаменаторов, отличались крайней поверхностностью общих знаний, низкой грамотностью и недостатком дисциплинированности и ясности ума³⁴. Таким образом, ни по уровню профессиональной подготовки, ни по интеллектуальным запросам обер-офицерское звено русской армии было не способно выступать в роли реципиента и передатчика передовых военных знаний.

Еще больше сдерживал посыл к повышению стандартов службы убогий состав штаб-офицерства и генералитета. По оценке генерала Н.А. Епанчина, в подавляющем большинстве это были люди, получившие «бедное военное образование», да еще в ту пору, когда военная выучка измерялась парадной готовностью войска³⁵. Засилье бездарности и безответственности в высшем эшелоне русской армии признавали и многие военачальники, и общественные деятели, принимавшие близко к сердцу проблемы военного дела. В частности, министр А.Ф. Редигер, вступивший в должность в 1905 г., был потрясен кричащим противоречием между строгостью дисциплины и субординации на низовом уровне и расхлябанностью в армейской верхушке. «Вожди армии ее портили», — замечал министр³⁶. Председатель думского комитета по обороне и сам бывший военнослужащий А.И. Гучков не раз с парламентской трибуны обрушивал на головы бригадных, дивизионных и корпусных командиров обвинения в отсталости взглядов на способы ведения войны и полном незнании своего сильного и сведущего противника³⁷. Вместе с тем те же недостатки, к которым Гучков возводил неудачи на этапе Русско-японской войны, с зеркальной точностью повторялись и в период мировой войны. По словам крупного военного администратора и военного министра с

1915 г. — А.А. Поливанова, русская армия была «обязана» своими провалами в первых же столкновениях с германскими войсками в Восточной Пруссии все той же низкосортности командных верхов: «Наша высшая военная власть очень скоро забывала уроки Русско-японской войны и, увлекаясь все более и более декоративной стороной жизни войск в мирное время, не давала себе отчета в истинных задачах подготовки к большой войне»³⁸. В том, что такие оценки не были полемическими перекладками или персональным сведением счетов, убеждает и отзыв нейтрального свидетеля. Главнокомандующий французской армией Ж.Ж. Жоффр, посетивший Петербург в августе 1913 г., был озадачен сомнительной готовностью русской армии к войне. По его мнению, маневры показали, что армия в основном натаскивалась для парадно-зрелищных эффектов, а не для реальных военных действий. В этой связи маршал указывал на исключительную эфемерность обязательств, взятых Россией на себя как союзницей Франции в предстоящей войне³⁹.

Наконец, для российского офицерского корпуса абсолютно чуждой категорией оставалась и групповая идентичность. Вплоть до падения старого режима в нем сохранялось деление на сектора со своим статусом и правами. Так, «сливки» военной касты были сосредоточены в Генеральном штабе, в особенности его главном управлении (ГУГШе), образованном в 1905 г. По общему мнению офицеров, не входивших в этот избранный крут, генштабистов отличало высокомерное пренебрежение к коллегам даже одного с ними ранга, но служивших в иных подразделениях. Связи и исключительное положение давали генштабистам возможность расчетливо менять свое кресло на еще более выгодную синекуру, быстро пробираясь в начальники дивизий и корпусов. «Такое перелетание с места на место, — вспоминал А.А. Брусилов, — также озлобляло армию, которая называла их «белой костью», а себя «черной»⁴⁰.

Отдельную фракцию военнослужащих составляли старые гвардейцы с их изначально установленным преимуществом над армейскими офицерами в два класса. (Для артиллеристов разница составляла один класс.) «Молодая гвардия», или гвардионцы, оформленные в 1813 г., также имела превосходство в один класс. (Воинские части, имевшие право старшинства с

XIX в., назывались специальными.) Лишь в 1884 г. последовало давно назревшее уравнивание специальных частей с армией. А старая гвардия отныне пользовалась преимуществом всего в один класс⁴¹. Прерогативами гвардии являлась служба в столице и ее предместьях, более высокое денежное довольствие, чем в армии. Несмотря на то что некоторые высшие военачальники постоянно указывали представителям власти на служебные привилегии гвардии как на анахронизм, который бил по интересам армии, порядок вещей оставался неизменным. По-прежнему, пользуясь отсутствием в гвардии чина подполковника, гвардейские капитаны частенько переводились в армию полковниками. Поэтому, несмотря на то что удельный вес гвардейцев в офицерском корпусе не превышал 4%, доля бывших гвардейцев среди генералитета оставалась очень высокой. Как правило, такие генералы достаточной квалификацией для руководства крупными войсковыми соединениями не обладали и своим присутствием лишь расширяли мутную заводи в армейском командовании⁴². По словам А.А. Брусилова, «невольны армейские офицеры апатично смотрели на свою долю и злобно относились к гвардии и генеральному штабу»⁴³. Даже при демократизации формальных процедур приема в гвардию (так, в пореформенную эпоху любой выпускник военного училища с высокими баллами по всем дисциплинам мог претендовать на распределение в гвардейский полк), гвардейские части сохраняли почти полную непроницаемость для аутсайдеров. Загвоздкой служили два непреложных правила: на прием соискателя должно было дать свое согласие офицерское общество полка. А кроме того, ему было необходимо располагать немалыми личными средствами для поддержания блестящего строя гвардейской службы⁴⁴. По словам А. Редигера, эти традиции определяли заполнение вакансий в гвардии на фактическом основании имущественного и сословного ценза⁴⁵. (Аристократическую сомкнутость гвардейского войска задавали и символические образцы, вроде обычая обмениваться рукопожатием при встрече даже незнакомых лично офицеров гвардии; обращения друг к другу на «ты» офицеров полка, независимо от разницы в званиях.)⁴⁶

Помимо обособленных гвардейских частей, потенциальное корпоративное единство офицерского корпуса подрывалось

традиционным соперничеством родов войск: артиллеристы и инженеры по привычке свысока смотрели на пехоту и кавалерию, кавалерия презирала пехоту и культивировала свои правила чести и служебной деятельности. На этом основании В. Фулер делает вывод о том, что по критерию профессиональной сплоченности российское офицерство занимало самое низкое место в рейтинговом списке ведущих армий мира. Германский офицерский корпус, вобравший в себя к 1913 г. значительное количество буржуазных элементов, легко и органично перерабатывал их благодаря глубинному, эндогенному восприятию немцами установленных стандартов службы. Систематическому воспроизводству единой общности способствовало ее высокое положительное представление о себе как о главном оплоте Второго рейха. Социальная гетерогенность французского офицерства с начала 80-х годов XIX в. постепенно преодолевалась в процессе перестройки военного образования и выравнивания статусов родов войск — в этих мерах был заложен стимул к формированию корпоративного сознания и сплоченности. Даже итальянские офицеры были объединены на основе одинакового понимания своего общественного призвания как военных воспитателей нации⁴⁷. Единство военных профессионалов являлось важнейшим инструментом взаимодействия с гражданской властью: оно позволяло предъявлять корпоративные требования и рассчитывать на их удовлетворение.

На этом фоне российский офицерский корпус оставался «белой вороной в стае». Помимо описанной выше разнородной структуры и варьировавшихся нормативов и условий службы в зависимости от рода войск и статуса части, формирование единых военных интересов и их четкая артикуляция в России затруднялись раздробленностью высшего военного командования. Например, в начале XX в. на руководящую роль в вооруженных силах одновременно претендовали Совет государственной обороны во главе с великим князем Николаем Николаевичем, военное и морское министерства, Генеральный штаб, выделенный в 1905 г. из состава Главного штаба и поставленный во главе окружных штабов, генерал-инспектора армии, Совет министров. Кроме того, сам император, являвшийся Верховным главнокомандующим, ревниво следил за тем, чтобы оберега-

лись его прерогативы в принятии решений но военному ведомству. В частности, главные начальники военных округов направляли свои рапорты и представления не военному министру, а монарху⁴⁸.

По отзывам А. Редигера, склонность к автономии отдельных секторов военного ведомства доходила до того, что командующие округами принимали у себя в округе на командирские должности людей, лично им известных и удобных, без всякого согласования с военным министерством и даже явочным порядком отменяли высочайше утвержденные уставы⁴⁹. Несмотря на некоторое преодоление центробежных тенденций в министерство Редигера, последовательная иерархическая линия в военном руководстве так и не была выстроена. Исследовательские разработки американского историка Б. Меннинга показывают, что важнейшие документы, подготовленные в недрах военного ведомства в канун мировой войны, несли на себе сильнейший отпечаток многоначалия в командой верхушке. В частности, план стратегического развертывания российских вооруженных сил (так называемое Мобилизационное расписание 19), составленный двумя ключевыми фигурами военного планирования — генерал-квартирмейстером Ю.Н. Даниловым и генерал-адъютантом М.В. Алексеевым, — в процессе дальнейшей переработки лицами из Генерального штаба был исковеркан до такой степени, что утратил акцент на приоритетные задачи, очередность мобилизационных мероприятий. В результате русская армия оказалась в ситуации неразберихи в первые месяцы войны и была вынуждена расплачиваться кровью за просчеты планирования⁵⁰.

Распыленность военного руководства, в свою очередь, была одной из весомых причин его несамостоятельности в вопросах подбора и расстановки кадров. Это открывало широкий простор для назначенчества, направляемого высшими гражданскими чиновниками и придворной камарильей. Такая кадровая политика, основанная, по выражению депутата Государственной думы Маркова-2-го, на «придворном шепоте», выводила на вершину армейского управления либо беспросветную серость, либо людей, заведомо непригодных к отправлению врученных им полномочий. Генерал Епанчин, хорошо знавший «подногот-

ную» таких выдвиженцев, составил ряд портретных зарисовок военных лидеров последнего царствования. Так, наиболее примечательной чертой А.Н. Куропаткина, сменившего в 1898 г. на посту военного министра известного ретрограда и догматика времен Александра III П.С. Ванновского, являлось погрязание в мелочах военно-канцелярской службы⁵¹. Для В.А. Сухомлинова, заменившего в 1909 г. отправленного в отставку А.Ф. Редигера, такой же выдающейся личностной чертой было «поразительное легкомыслие»: «...ко всему он относился слегка, несерьезно, не вникая в суть дела». Военный администратор высочайшего ранга, в 1907 г. впервые во время войскового смотра увидевший пулемет (и не сразу догадавшийся, что за орудие перед его глазами), в 1908 г. был поставлен во главе Генерального штаба⁵². Виртуозный наездник и лихой танцор, бравировавший тем, что за последние четверть века жизни не прочитал ни одной военной книги («Какая была война, такой она и осталась!»), всей своей фигурой возвещал о поломке того механизма профессионального выдвижения, который определяется как «надлежащий человек на надлежащем месте»⁵³. Командующий войсками Виленского округа генерал П.К. Ренненкампф продвинулся благодаря протектированию ему ловкому придворному К.Э. Белосельскому-Белозерскому. Сопровождая царя на охоте, тот заключил с ним пари, выиграл его и взамен потребовал производства своей креатуры в генерал-адъютанты⁵⁴. Благодаря столь же мощной протекции генерал Н.Н. Янушкевич, никогда не служивший в Генеральном штабе и не знавший специфики его работы, в 1914 г. был назначен его начальником⁵⁵. А в самом начале 1917 г. кресло военного министра занял начальник одного из отделов ГУТШ М.А. Беляев по прозвищу Мертвая голова, полученному за непропорционально большую для его роста и сложения голову и мертвящую догматичность мышления⁵⁶.

Серьезнейший дефицит в подготовленных военачальниках показала Первая мировая война. Поражение армии генерала А.В. Самсонова в Восточной Пруссии, катастрофа армии П.К. Ренненкампа, провал подготовленной операции по окружению немцев в районе Лодзи в 1914 г., великое отступление в 1915 г. под ударами немецкой армии генерала А. Макензе-

на — обнажали упадок оперативно-тактического мышления и организационных умений военных лидеров. Военное искусство русской армии не вобрало в себя и части тех новаций, которыми достигались многие быстрые и наименее затратные победы почти всеми воюющими сторонами. В частности, военные уловки, стратагемы и дезориентации противника. Британцы, апробировавшие эти методы в англо-бурской войне 1899—1902 гг., высыпали на голову немцев целый мешок хитроумных трюков⁵⁷. Впрочем, высокую обучаемость тем же приемам показали и остальные участники военных действий. В частности, немцам удалось застать врасплох русское командование в начале 1915 г. благодаря незаметной переброске на Восточный фронт своих разведгрупп, переодетых в австрийскую военную форму⁵⁸. Подобные ухищрения не вписывались в привычную для российских стратегов парадигму ведения войны.

Слабость высшего командного состава определила собой ученический почерк русской военной школы этого периода. Несмотря на некоторое оживление военной мысли после Русско-японской войны, самостоятельной и сильной военной доктрины в России так и не появилось. По оценке выдающегося военного теоретика и историка военного искусства А.А. Свечина, «мы обратились в преданнейших учеников Шлихтинта», а распространение германской школы — штунды, в высших эшелонах армии шло с такой скоростью, что мы окончательно «оторвались от своей материальной базы, от своих политически плохо сплоченных масс». По мнению Свечина, именно этим бездумным эпигонством и были в большой степени вызваны провалы 1914—1915 гг.⁵⁹

По словам крупнейшего знатока проблемы А.М. Зайончковского, «русский прорыв вперед был беспочвен и неумел, дивизии и корпуса медленно ходили на театре военных действий, не умели совершать в больших массах марши-маневры, и в то время, когда германские корпуса легко в такой обстановке проходили по 30 км много дней подряд, русские с трудом делали по 20 км». Ни тактическая оборона, ни техника встречного боя не были близко знакомы русскому военному командованию. (Встречный бой стал изучаться всей армией только с появлением его в полевом уставе 1912 г.)

Реалии уже первых месяцев войны показали, как далеко в сравнении с русской продвинулись французская и германская военные школы. Французы — мастера ведения операций и сражений из глубины особого расположения войск: глубокими уступами с оставлением стратегических промежутков между армиями. Успех достигался за счет тщательного первоначального выяснения обстановки, нанесения расчетливых ударов по противнику с помощью большой массы и умелого маневрирования. Французы первыми перешли к использованию автотранспорта на войне.⁶⁰

Наиболее сильной стороной германской армии являлся безупречно и единообразно выученный многочисленный офицерский и унтер-офицерский состав, который последовательно насаждал инициативность, дерзость, взаимовыручку среди рядового контингента. Несмотря на то что немцы в атаку шли плотными цепями, дисциплинированность и вымуштрованность личного состава позволяла немецкой армии свободно маневрировать. Немцам не было равных в технике встречного боя, умении организовывать тактическую оборону, в проведении фланговых операций с двойным охватом (Канны), за которые ратовал начальник Генерального штаба Шлиффен. При этом в бой практически одновременно включались все войска, а развертывание сил для предстоящего сражения начиналось с момента выгрузки войск с железных дорог⁶¹.

В использовании боевой техники, современных средств связи и передвижения, газа, электричества, измерительных приборов, определявших в XX в. облик войны, российское войско так же безнадежно отставало как от своих сильных союзников, так и от противников. Всей совокупностью различий российское офицерство было обречено на проигрышную позицию в соревновании с кадровым составом лучших армий мира. В этой связи центр тяжести военно-гражданского конфликта в России начала XX в. все больше смещался в сторону борьбы за профессионализм. Военнослужащие, отстаивавшие честь мундира, настойчиво добивались такой армейской организации, которая была бы хорошо обеспечена, оснащена, поставлена под водительство компетентных военачальников и посвящена исключительно подготовке к предстоящей войне. Эта точка зрения, из-

ложенная в труде В. Фулера, не вызывает никаких возражений⁶². Вместе с тем в порядке уточнения этой мысли следует подчеркнуть, что сфера конфликта не замыкалась гражданскими бюрократическими структурами и военным ведомством, а простиралась значительно дальше, захватывая всю область связей военной организации с широкой общественностью. Это обстоятельство имеет ключевое значение для понимания логики развития офицерского корпуса.

Со стороны левых политических сил шла дискредитация офицеров как ирислужников прогнившего антинародного режима, стараниями левой печати на них был навешен ярлык «царских опричников». Для большей части далеких от политики обывателей из городских низов и сельского населения офицер оставался таким же классово чуждым элементом, как помещик, уездный начальник⁶³. После катастрофических поражений в Русско-японской войне в глазах демократической общественности он еще и предстал в образе неудачника с претензиями на значение, которые не имели под собой объективных оснований. Внимательные наблюдатели этого времени — жители столицы инженер-путеец В.И. Пызин и юрист Д.А. Засосов отмечали характерную перестройку в массовом общественном восприятии военного мундира: «Форма, блестящая в строю, казалась людям нелепой, как только военный смешивался с толпой в обыденной ситуации. Вблизи она выглядела грубо, вызывающе». Авторы интересных очерков о повседневной жизни большого города вспоминали и такой случай. Как-то во время проводов в последний путь известного генерала от похоронной процессии, составленной из военных в полном парадном облачении, отделились два офицера лейб-гвардии драгунского полка. Закурив, они смешались с толпой городских жителей; однако их нарядные кивера с султанами и свисающими кистями столь явно не вязались с котелками, картузами, шляпами, что они смутились и поспешили вернуться к своему шествию. «Там они были на месте, вся процессия выглядела очень эффектно»⁶⁴.

Социальное отщепенство и остракизм, которым офицер подвергался в мирное время, многократно усиливались в период не слишком удачных военных действий, переходя в открытое неприятие всей структуры и символов офицерской службы.

Смена плохого общественного отношения на еще худшее разлагающе действовала на стремления самих офицеров к профессионализации своей деятельности, а также на тот хрупкий целевой союз, который закладывался на этой основе. Воспоминания о войне и послевоенном «похмелье» рисуют две наиболее частотные схемы поведения, формировавшиеся под влиянием чувства вины и травли гражданских сил. Первая предстает в форме своеобразного бегства от действительности в апатию, надрывный кутеж, бесчинства. Так, К.Г. Маннергейм отмечал «лень, безразличие и всевозможные злоупотребления» как наиболее характерную примету настроений офицерства, возвращавшегося с бесславной войны на Дальнем Востоке⁶⁵. Вторая схема поведения выражалась через безоглядное лихачество, доходившее до самоотречения. В отличие от офицеров европейских армий второй половины XIX — начала XX в., в которых офицеры отдавали команды, следуя позади наступающей цепи, русские офицеры лично возглавляли атаку и находились на линии огня даже в тех случаях, когда это не было вызвано боевой необходимостью⁶⁶. По своему значению подобная экстремальная линия поведения смыкалась с публичным актом самосожжения, которым отчаявшиеся представители преследуемых этноконфессиональных групп или политических группировок выражают свой протест. Наиболее выразительный пример такого рода дает атака кавалергардов на немецкие батареи в 1916 г., описанная Н.Н. Головиным. После получения приказа о наступлении один из эскадронов полка спешился и двинулся в атаку. Впереди, придерживая рукой шашку и куря сигару, шел командир, следом — остальные офицеры. Разумеется, вся атакующая команда, представлявшая собой цепь живых мишеней, легла замертво под немецким огнем⁶⁷. Косвенным подтверждением безотчетной тяги именно к этому типу поведения на войне значительной части офицерства свидетельствуют беспримерно высокие показатели потерь. Уже за первые пять месяцев мировой войны гвардейские части потеряли около 27% своего офицерского состава. А к началу 1917 г. из рядов гвардии по смерти и увечью в боях выбыло около 91% офицеров⁶⁸. Такие же невосполнимые утраты понес и армейский офицерский кор-

пус, от которого к февралю 1917 г. уцелело всего только 4% от кадров довоенного времени⁶⁹.

Таким образом, не успев прорасти в серьезные достижения, офицерское движение за профессионализацию своей служебной деятельности было сметено поднимавшейся из глубин общества нигилистической волной отрицания всего старого порядка. Неотъемлемая часть этого порядка — офицерство — оказалось не только лично незащищено перед лицом мощного и почти повсеместного противника, но и послужило его невольным орудием в деле окончательного расчета с режимом.

В этом отношении характерен путь, пройденный революционным подпольем в борьбе за массу, одетую в серые шинели. Как известно, первую значимую после декабристов попытку привлечения войска к революционному движению предприняла «Народная воля»: в 1880 г. по инициативе А. Желябова была основана Военно-революционная организация. Базируясь на программных принципах «Народной воли», она должна была сосредоточиться на подготовке вооруженного восстания в Петербурге. Однако сами привлеченные офицеры, числом 67 человек, притом не связанные со столичным гарнизоном, расценивали поставленную задачу как покушение с негодными средствами. Реальная роль военной периферии свелась к ряду организационно-технических услуг, оказанных Исполнительному комитету после 1 марта 1881 г., когда из его рядов один за другим выбывали ценные кадры⁷⁰. Не отмеченное никакими реальными достижениями, это направление работы народовольцев все же наметило некоторые новые подходы для последующих профессионалов от революции. В частности, уже тогда революционная демократия «звериным чутьем» угадала наиболее перспективную область приложения сил, а именно разжигание классовых инстинктов солдатской массы и ее стравливание с офицерским корпусом. В этих видах народовольческие лидеры ввели у себя запрет на офицерскую пропаганду среди нижних чинов. Эта миссия была доверена более близким классовым союзникам — промышленным рабочим⁷¹. Нонсенс этой ситуации состоял в том, что само участие офицеров в революционном движении было мотивировано чувством долга перед народом и стремлениями к демократизации отношений в армии⁷².

Люмпенизированная в нижних чинах армия мало-помалу превращалась в бродильный чан, куда постоянно добавлял «дрожжей» весь уклад внутриармейской жизни, в частности не искорененные вплоть до 80-х годов XIX в. традиции рукоприкладства в воспитании пехотинца, обучение навыкам верховой езды без седла и с помощью ударов хлыстом в кавалерии. Подспудная напряженность отношений открывала широкие возможности для подрывной работы в войсках контрэлиты. К целенаправленной работе среди солдат и матросов перешли чернопеределцы второго призыва (февраль 1880 — конец 1881 г.), которым удалось распропагандировать около 100 матросов в Кронштадте и Гельсингфорсе⁷³.

Необъятные возможности возбуждения вооруженной массы продемонстрировала первая русская революция. Высвободившаяся из оков уставных отношений солдатская стихия разлилась по всей стране. К.Г. Маннергейм — будущий президент свободной Финляндии, а тогда выпускник Николаевского кавалерийского училища и старший офицер русской армии, возвращаясь с театра военных действий на Дальнем Востоке в Петербург, пришел к выводу, что «армия находилась на грани развала. Новообретенная свобода воспринималась очень просто: военные полагали, что могли делать все, что им заблагорассудится. Вокзалы и железнодорожные депо находились в руках бунтующих солдат»⁷⁴. Однако слабая солдатская самоорганизация (в виде эпизодических комитетов и собраний) и мощный противовес в лице гвардии тогда позволили власти восстановить порядок. Вместе с тем воз не искорененных пороков армии, брошенная в жерло военных сражений гвардия, заматеревшая в борьбе с режимом радикальная оппозиция — уже создавали совсем иную диспозицию в период мировой войны. Впрочем, разыгранная в марте 1917 г. левой оппозицией карта солдатских комитетов и Советов рабочих и солдатских депутатов была лишь удачным приспособлением к тому порядку вещей, который вполне адекватно оценивал вождь мирового пролетариата: «В сущности у нас не было и нет всеобщей воинской повинности, потому что привилегии знатного происхождения и богатства создают массу исключений. В сущности у нас не было и нет ничего похожего на равноправность граждан в военной службе»⁷⁵.

Примечания к главе 2.1

¹ Ralston D.B. Importing the European Army. The Introduction of European Military Techniques and Institutions into the Extra-European World. 1600—1914. University Chicago Press, Chicago and London, 1990. P. 173.

² Ibid. Pp. 174—175.

³ Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. С. 247; Зайончковский П.А. Военные реформы 1860—1870 годов в России. М., 1952. С. 79.

⁴ Бескровный Л.Г. Русская армия и флот в XIX веке. Военно-экономический потенциал России. М., 1973. С. 96—97.

⁵ Мионов Б.Н. Указ. соч. Т. 2. СПб., 1999. С. 210.

⁶ Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. С. 292; Fuller W.C. Civil — Military Conflict in Imperial Russia. 1881—1914. Princeton, 1985. P. 49.

⁷ Ibid. Pp. 49—51.

⁸ Комплектование и устройство вооруженной силы. Ч. 1. С. 20.

⁹ Kennedy P. The Rise and Fall of Great Powers. London, 1988. Pp. 212, 236.

¹⁰ Шацillo К.Ф. От Портсмутского мира к Первой мировой войне. Генералы и политика. М., 2000. С. 247.

¹¹ Медушевский А.Н. Указ. соч. С. 272.

¹² Всеобщая воинская повинность в Российской империи за первое десятилетие. 1874—1883. Под ред. А. Сырнева. СПб., 1886. С. LVIII—LIX, 38—39.

¹³ Зайончковский П.А. Указ. соч. С. 308—309.

¹⁴ Прокопьев В.П. Армия и государство в истории Германии X—XX вв. М., 1982. С. 88; Вооруженные силы иностранных государств. Вып. 2. Сухопутные силы Германии. М., 1914.

¹⁵ Gooch J. Armies in Europe. London, 1980. P. 112.

¹⁶ Gooch J. Army, State and Society in Italy. 1870—1915. Hampshire and London, 1989. P. 21.

¹⁷ Зайончковский П.А. Указ. соч. С. 309.

¹⁸ ПСЗ-2. Т. XLIX. № 52983. Гл. XII. № 180.

¹⁹ Там же. № 176—179, 182.

²⁰ Трубецкой В. Записки кирасира. М., 1991. С. 22.

²¹ Грулев М. Записки генерала-еврея. Париж, 1930. С. 90.

²² Зайончковский П.А. Указ. соч. С. 113.

²³ Gooch J. Army, State and Society. Pp. 21—22.

²⁴ Зайончковский П.А. Указ. соч. С. 259—260; Бескровный Л.Г. Указ. соч. С. 87.

²⁵ Комплектование и устройство вооруженной силы. С. 153; Кавтарадзе А.Г. Военные реформы в России 1905—1912 гг. // Реформы и реформаторы в истории России. Сб. ст. М., 1996. С. 164.

²⁶ История русской культуры X—XX вв. // Под ред. Кошман Л.В. М., 2002. С. 228.

²⁷ Фурсова С.В. Армия и школа. 1874—1904. Грамотность новобранцев как показатель степени развития народного образования (по материалам Тамбовской губернии). // Армия в истории России. Материалы межвузовской научной конференции. Курск, 1997. С. 43.

²⁸ Епанчин Н.А. На службе трех императоров. Воспоминания. М., 1996. С. 229.

²⁹ История русской культуры. С. 230.

³⁰ Зайончковский П.А. Указ. соч. С. 211.

³¹ Исторический очерк деятельности Военного управления в России. Т.3. СПб., 1879. Приложение. №. 49: Зайончковский П.А. Самодержавие и русская армия. С. 276.

³² Бескровный Л.Г. Указ. соч. С. 164—165.

³³ Деникин А.И. Путь русского офицера. М., 1990. С. 87.

³⁴ Кеер J. L. H. Op. cit. P. 370.

³⁵ Поликарпов В.В. Военная контрреволюция в России. 1905—1917 гг. М., 1990. С. 191.

³⁶ Кеер J. L. H. Op. cit. P. 370.

³⁷ Грулев М.И. Указ соч. С. 112, 131.

³⁸ Немов Р.С. Психология. Кн. 1. М., 1997. С. 204, 206, 494—495.

³⁹ Kennedy P. Op. cit. P. 210.

⁴⁰ Fuller W.C. Op. cit. P. 53; Вооруженные силы иностранных государств. Вып. 2. С. 4.

⁴¹ Gooch J. Armies in Europe. P. 115.

⁴² Ibid. P. 111, 130.

⁴³ Селищев А.С. Японская экспансия: люди и идеи. Иркутск, 1993. С. 51.

⁴⁴ Gooch J. Op. cit. P. 170.

⁴⁵ Бескровный Л.Г. Армия и флот России в начале XX в. Очерки военно-экономического-потенциала. М., 1986. С. 12.

⁴⁶ Куропаткин А.Н. Русско-японская война 1904—1905. Итоги войны. СПб., 2002. С. 242—243.

⁴⁷ Военная мысль в изгнании. С. 69.

⁴⁸ Gooch J. Army, State and Society. Pp. 20.

⁴⁹ Государственная оборона России. Императивы русской военной классики. М., 2002. С. 404.

⁵⁰ Fuller W.C. Op. cit. P. 53.

⁵¹ Деникин А.И. Указ. соч. С. 85.

⁵² Редигер А. История моей жизни. Воспоминания военного министра. Т.1. М., 1999. С. 475.

⁵³ Деникин А.И. Указ. соч. С. 85; Зайончковский П.А. Самодержавие и русская армия. С. 85.

⁵⁴ Редигер А. Указ соч. С. 476.

⁵⁵ Епанчин Н.А. Указ. соч. С. 363—364.

⁵⁶ Барон Н. Врангель. Указ. соч. С. 107.

⁵⁷ Трубецкой В. Указ. соч. С. 26.

⁵⁸ Там же, с. 49.

⁵⁹ Там же, с. 50.

⁶⁰ Мосс М. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии. М., 1996. С. 249.

⁶¹ Мид Дж. От жеста к смыслу. // Американская социологическая мысль. Под ред. В.И. Добренкова. М., 1996. С. 221.

⁶² Засосов Д., Пызин В. Повседневная жизнь Петербурга на рубеже XIX—XX веков. М., 2003. С. 234—235.

⁶³ Епанчин Н.А. Указ. соч. С. 360; Данилов Ю. На пути к крушению. Очерки последнего периода Российской монархии. М., 2000. С. 84.

⁶⁴ Бароп Н. Врангель. Указ. соч. С. 69—70.

⁶⁵ Деникин А.И. Указ. соч. С. 87.

⁶⁶ Епанчин Н.А. Указ. соч. С. 364; Государственная оборона России. С. 602—604.

⁶⁷ Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М., 1998. С. 74—76.

⁶⁸ О долге и чести воинской в российской армии. Сб. материалов, документов и статей. Под ред. В.Н. Лобова. М., 1990. С. 208.

⁶⁹ Куропаткин А.Н. Указ. соч. С. 188—189.

⁷⁰ Военная мысль в изгнании. С. 46.

⁷¹ Игнатьев А.А. 50 лет в строю. Т. 1. М., 1989. С. 18.

⁷² Деникин А.И. Указ. соч. С. 211—212.

⁷³ Лейпхарт А. Многосоставные общества и демократические режимы. // Полис. 1992. № 1—2.

⁷⁴ Опыт российских модернизаций XVIII—XX века. Под ред. Алексева В.В. М., 2000. С. 17.

⁷⁵ Маннергейм К.Г. Мемуары. М., 1999. С. 27.; Телицын В.Л. Русская революция 1917 г.: деревня против города, или перманентная война. // Академик П.В. Волобуев. Неопубликованные работы. Воспоминания. Статьи. Под ред. акад. Г.Н. Севостьянова. М., 2000. С. 349.

⁷⁶ Куропаткин А.Н. Указ. соч. С. 103.

⁷⁷ Иконникова Т.Я. Очерки истории взаимоотношений России и Японии в конце XIX в. — 1917 г. Хабаровск, 2001. С. 73, 80.

⁷⁸ Три последних самодержца. Дневник А.В. Богданович. М.—Л., 1924. С. 68.

⁷⁹ Kennedy P. Op. cit. P. 237.

⁸⁰ Базанов С.Н. К истории развала русской армии в 1917 году. // Армия и общество. 1900—1941. Статьи, документы. М., 1999. С. 62.

⁸¹ Уткин А. Забытая трагедия. Россия в Первой мировой войне. Смоленск, 2000. С. 71, 144; Базанов С.Н. Указ. соч. С. 62; Россия и СССР в войнах XX века. Статистическое исследование. М., 2001. С. 106.

⁸² Шульгин В. Последний очевидец. Мемуары. Очерки. Сны. М., 2002. С. 421.

⁸³ Кигурадзе Г.Ш. Пробуждение армии. // Французский ежегодник. Статьи и материалы по истории Франции. М., 1986. С. 135.

⁸⁴ Rustow D.A. A World of Nations. Problems of Political Modernization. N.Y., Washington, 1967. P. 120.

⁸⁵ Ibid. P. 122, 125.

⁸⁶ Ibid. P. 128.

⁸⁷ Fischer F. Griff nach der Welt Macht. Die Kriegspolitik des Kaiserlichen Deutschland. 1914/1918. Dusseldorf, 1967. S. 22.

⁸⁸ Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914—1918 гг. Т. 1. М., 1923. С. 9.

⁸⁹ Кирова К.Э. Заговорщики и народ. М., 1991. С. 55; Европейские революции 1848 года. «Принцип национальности» в политике и идеологии. М., 2001. С. 126.

⁹⁰ Kennedy P. Op. cit. P. 205.

⁹¹ Ibid. P. 206.

⁹² Вооруженные силы Японии: история и современность. К 40-летию разгрома Японии во Второй мировой войне. Под ред. А.И. Иванова. М., 1985. С. 47; О долге и чести воинской в российской армии. С. 209.

⁹³ Hale W. Turkish Politics and Military. London and N.Y., 1994. P. 14.

⁹⁴ Gooch J. Armies in Europe. P. 114.

⁹⁵ Porch D. Armies and Alliances: French Grand Strategy and Policy in 1914 and 1940. || Grand Strategy in War and Peace. Ed. By P. Kennedy. Yale, New Haven and London, 1991. P. 138; Ревякин А.В. Война и интеллигенция во Франции. // Первая мировая война. Пролог XX века. Под ред. В.Л. Малькова. М., 1998. С. 489.

⁹⁶ Бескровный Л.Г. Русская армия и флот в XIX веке. С. 93.

⁹⁷ Зайончковский П.А. Самодержавие и русская армия. С. 199—200.

⁹⁸ Там же.

⁹⁹ Государственная оборона России. С. 370—371.

¹⁰⁰ Райт Д. Подготовка граждан: царский режим и военное обучение молодежи 1906—1914. // Последняя война императорской России. Сб. ст. под ред. О.Р. Айрапетова. М., 2002.

¹⁰¹ Хмелевская Ю.Ю. «Большая игра»? Роль спортивной этики в поддержании морального духа британской армии в Первой мировой войне. // Человек и война. С. 82—83.

¹⁰² Там же, с. 88.

¹⁰³ Куропаткин А.Н. Указ. соч. С. 189.

¹⁰⁴ Людендорф Э. Указ. соч. С. 111.

¹⁰⁵ Нагорная О.С. Экстернализация военного опыта как попытка преодоления кризиса мужской идентичности (германское общество до и после Первой мировой войны). // Человек и война. С. 352.

¹⁰⁶ Селищев А.С. Указ. соч. С. 253.

¹⁰⁷ Военная мысль в изгнании. С. 68.

¹⁰⁸ Уткин А. И. Указ. соч. С. 71, 144; Базанов С.Н. Указ. соч. С. 62; Россия и СССР в войнах XX века. С. 106.

¹⁰⁹ Государственная оборона. С. 562—563.

Примечания к главе 2.2

- ¹ Российские офицеры. // Военно-исторический журнал. 1994. № 3. С. 66.
- ² Шепелев Л.Е. Чиновный мир России. XVIII — начало XX в. СПб., 1999. С. 160, 162.
- ³ Зайончковский П.А. Русский офицерский корпус накануне Первой мировой войны. // Зайончковский П.А. 1904—1983. Статьи, публикации и воспоминания о нем. М., 1998. С. 34, 36.
- ⁴ Там же, с. 50—51.
- ⁵ Fuller W.C. Op. cit. P. 194.
- ⁶ Поликарпов В.В. Указ. соч. С. 190.
- ⁷ Копылов Н. Первая мировая война и русское офицерство. Некоторые аспекты, проблемы. // Сравнительно-исторические исследования. Сб. студ. работ. М., 1998. С. 89.
- ⁸ Военная мысль в изгнании. С. 320.
- ⁹ Зайончковский П.А. Указ. соч. С. 46—47.
- ¹⁰ Fuller W.C. Op. cit. Pp. 14—15.
- ¹¹ Finer S.E. The Man on Horseback. The Role of the Military in Politics. Boulder, Colorado, 1988. P. 8.
- ¹² Neumann F. Behemoth. The Structure and Practice of National Socialism. London, 1942. P. 15.
- ¹³ Gooch J. Armies in Europe. P. 117.
- ¹⁴ Neumann F. Op. cit. P. 15.
- ¹⁵ Ливен Д. Аристократия в Европе. 1815—1914. СПб., 2000. С. 224.
- ¹⁶ Gooch J. Op. cit. P. 120.
- ¹⁷ Вооруженные силы Японии. С. 7.
- ¹⁸ Kennedy P. Op. cit. P. 186.
- ¹⁹ Тихомиров А.В., Чапкевич Е.И. Русская гвардия в Первой мировой войне. // Вопросы истории. 2000. № 9. С. 34.
- ²⁰ Трубецкой В. Указ. соч. С. 129—130, 136.
- ²¹ Российские офицеры. // Военно-исторический журнал. 1994. № 4. С. 55—56, 60.
- ²² Драгомиров М. Дуэли. М., 1900; Зайончковский П.А. Самодержавие и русская армия. С. 235.
- ²³ Fuller W.C. Op. cit. P. 26—29.
- ²⁴ Оссовская М. Рыцарь и буржуа. Исследования по истории морали. М., 1987. С. 103—104.
- ²⁵ Епанчин Н.А. Указ. соч. С. 365.
- ²⁶ Сорокин П. Социальная и культурная мобильность. // Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 420—421.
- ²⁷ Кавтарадзе А.Г. Указ. соч. С. 157, 164.
- ²⁸ Вебер М. Основные социологические понятия. // Западноевропейская социология XIX — начала XX в. Под ред. Добренкова В.И. М., 1996. С. 478.

- ²⁹ Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии. // Там же, с. 485.
- ³⁰ Fuller W.C. Op.cit. P. 5.
- ³¹ Грулев М. Указ. соч. С. 114.
- ³² Бескровный Л.Г. Армия и флот в России в начале XX в. С. 31.
- ³³ Зайончковский П.А. Русский офицерский корпус. С. 25.
- ³⁴ Там же, с. 27.
- ³⁵ Епанчин Н.А. Указ. соч. С. 247.
- ³⁶ Редигер А. Указ. соч. С. 428.
- ³⁷ Государственная оборона России. С. 370—371.
- ³⁸ Поливанов А.А. Из дневников и воспоминаний по должности военного министра и его помощника. 1907—1916 гг. Под ред. А.М. Зайончковского. Т. I. М., 1924. С. 172.
- ³⁹ Pogh D. Op.cit. P. 130.
- ⁴⁰ Брусилов А.А. Мои воспоминания. М., 1983. С. 63.
- ⁴¹ Шенелев Л.Е. Указ. соч. С. 146—147, 157—159.
- ⁴² Зайончковский П.А. Указ. соч. С. 33—34.
- ⁴³ Брусилов А.А. Указ. соч. С. 61.
- ⁴⁴ Зайончковский П.А. Указ. соч. С. 35.
- ⁴⁵ Редигер А. Указ. соч. С. 61.
- ⁴⁶ Трубецкой В. Указ. соч. С. 182.
- ⁴⁷ Fuller W. C. Op. cit. P. 32.
- ⁴⁸ Редигер А. Указ. соч. С. 426—427.
- ⁴⁹ Там же, с. 426, 428.
- ⁵⁰ Менинг Б. Фрагменты одной загадки: Ю.Н. Данилов и М.В. Алексеев в русском военном планировании в период, предшествующий Первой мировой войне. // Последняя война императорской России. М., 2002.
- ⁵¹ Епанчин Н.А. Указ. соч. С. 310—311.
- ⁵² Там же, с. 368—371.
- ⁵³ Головин Н.Н. Военные усилия России в мировой войне. М., 2001. С. 28.
- ⁵⁴ Епанчин Н.А. Указ. соч. С. 386.
- ⁵⁵ Там же, с. 397.
- ⁵⁶ Данилов Ю. На пути к краху. Очерки последнего периода Российской монархии. М., 2000. С. 219.
- ⁵⁷ Whaley B. Deception — its Decline and Revival in International Conflict. // Propaganda and Communication in World History. Vol 2. Emergence of Public Opinion in the West. Ed. By H.D. Laswell, D. Lener, H. Speier. Hawaii, Honolulu. 1980. Pp. 354—355.
- ⁵⁸ Уткин А.И. Указ. соч. С. 135.
- ⁵⁹ Свечи А.А. Эволюция военного искусства. Т.2. М.—Л., 1928. С. 577—578.
- ⁶⁰ Зайончковский А.М. Первая мировая война. СПб., 2002. С. 19.
- ⁶¹ Там же, с. 22—23.
- ⁶² Fuller W. C. Op. cit. P. XXIII.
- ⁶³ Российские офицеры. // Военно-исторический журнал. 1994. № 4. С. 59.

⁶⁴ Засосов Д., Пызин В. Указ. соч. С. 233.

⁶⁵ Маннергейм К.Г. Указ. соч. С. 23.

⁶⁶ Копылов Н. Указ. соч. С. 91.

⁶⁷ Головин Н.Н. Кавалергарды в Великую и гражданскую войну. Таллин, 1930. С. 91—92.

⁶⁸ Тихомиров А.В., Чапкевич Е.И. Русская гвардия в Первой мировой войне. // Вопросы истории. 2000. № 9. С. 41.

⁶⁹ Копылов Н. Указ. соч. С. 91—92.

⁷⁰ Богучарский В.Я. Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х гг. XIX в. Партия «Народная воля», ее происхождение, судьбы и гибель. М., 1972. С. 150.

⁷¹ Там же, с. 146.

⁷² Ашенбреннер М.Ю. Военная организация партии «Народная воля». (Воспоминания). // Былое. 1907. № 6. С. 96.

⁷³ Гинев В.Н. Цамутали А.Н. В борьбе за свободу. // «Народная воля» и «Черный передел». Л., 1989. С. 47; Серебряков Е.А. Революционеры во флоте. // Там же, с. 182.

⁷⁴ Маннергейм К. Г. Мемуары. М., 1999. С. 27.

⁷⁵ Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 4. С. 393.

Глава 3

ДЕРЖАВНЫЙ ОРЕЛ И АРМЕЙСКАЯ «РЕШКА»: ИМПЕРСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКИХ ВЛАСТЕЙ И ЕЕ ВОЕННЫЕ АГЕНТЫ

3. 1. Становление империи: роль военных структур и военных действий

Образование и историческое развитие мировых империй — одна из сквозных тем отечественной и зарубежной историографии. По своему значению в реконструкции прошлого, как считает английский историк Д. Ливен, она может быть уподоблена призме, через которую преломляется весь исторический опыт человечества. Продолжая эту мысль, английский автор высказывает предположение о том, что вряд ли кто-нибудь из исследователей может претендовать на абсолютную осведомленность в таком необъятном разделе исторических знаний¹.

Это суждение в полной мере можно отнести и к такому важнейшему компоненту имперской тематики, как военный вклад в освоение новых земель и создание аппарата имперского управления. Его всестороннее освещение столь же трудновыполнимая задача, как и исчерпывающее раскрытие имперского опыта. Это касается в особенности России: в структуре задействованных в имперском строительстве ролей и социальных сил ведущее место принадлежало военным служащим регулярной армии. Между тем можно попытаться выделить главные линии военной деятельности в этой области, сравнить военное участие с образом мыслей и действий других агентов имперского строительства; определить суммарный итог усилий военных колонизаторов и управленцев и те перспективы, которые за ними скрывались. Однако в любом случае такая работа требует предварительного уточнения самого феномена империи.

Не вдаваясь в огромный историографический анализ, попробуем вычленить наиболее общий ансамбль признаков, кото-

рый обычно связывается с данным понятием. Английский исследователь А. Пагден выделяет три наиболее частотных смысла, которые вкладываются в это слово. Империя — это, во-первых, независимое и эффективное правление; во-вторых, абсолютный суверенитет одного лица; в-третьих, полития, объединяющая несколько сообществ². Согласно А. Пагдену монархические империи Европы являлись продуктом деятельности вооруженных завоевателей и алчных путешественников³. Завоевание служило способом навязывания власти и последующей легитимации пришельцев среди туземного населения⁴.

Американский исследователь А. Рибер полагает, что под класс образований имперского типа подпадают такие «государственные устройства, в которых одна этническая группа устанавливает и сохраняет контроль над другими этническими группами в границах определенной территории». В подобных государствах правители соединяют в своих руках как светскую, так и духовную власть, хотя и в разных пропорциях. По его мнению, границы империй устанавливаются и сохраняются в большей степени силовым путем, нежели посредством культурных и конфессиональных влияний⁵. Касаясь разных типов империй, автор подчеркивает особую хрупкость и уязвимость континентальных евразийских империй по сравнению с заморскими. Для них на всем протяжении их исторического существования остро стояла проблема интеграции и безопасности: различия в статусах отдельных этнотерриториальных образований здесь порождали межэтнические противоречия, сепаратистские движения, которые угрожали самим устоям империи⁶. Автор выделяет три базовых элемента, которые позволяли континентальным империям до поры до времени удерживать свое единство: имперская идея, имперская бюрократия и защита границ⁷.

Уже упоминавшийся английский историк и политолог Д. Ливен предлагает другой взгляд на феномен империй. В его понимании — это прежде всего великие державы, сила которых определяется несколькими факторами. Во-первых, ресурсами, которые они могут мобилизовать на военные цели. Во-вторых, способностью вести соревнование с другими, равными себе по весу и статусу субъектами мировой политики, что,

в свою очередь, предполагает открытость для новых знаний и восприимчивость к усвоению чужого опыта. В-третьих, умением наладить разветвленную и эффективную фискально-налоговую службу. В-четвертых, прочностью союза центральной власти и этническими элитами⁸. Д. Ливен заостряет внимание и на такой особенности империй, как большое внутреннее разнообразие и диверсифицированность их политического пространства⁹. Отсюда же вырастает ключевая проблема политического «менеджмента» для имперских властей — создания общности, способной противостоять вызовам этнического национализма и сторонним деструктивным воздействиям. Успешнее прочих с решением этой задачи справилась Великобритания, которая, по словам автора, более или менее последовательно на всей географической протяженности своих владений внедряла либерально-демократические ценности и направляла на благо всех подданных короны финансовую и индустриальную мощь метрополии¹⁰. Как и Рибер, Ливен отдает предпочтение морским державам, которые по мобильности и приспособляемости к меняющимся условиям времени превосходят континентальные. Между тем в отдельные периоды истории эти преимущества могут обратиться в недостаток: принципиально воздерживаясь от применения силы, власти метрополии невольно подыгрывали колониям, стремившимся к обретению политического суверенитета. Кроме того, стабильность заморских империй зависит от конкурентоспособности их военно-морского флота и защищенности коммуникационных линий. Так, по словам историка, Британия утратила свои североамериканские колонии, не в последнюю очередь из-за того, что ее растянутые коммуникации на Атлантике во второй половине XVIII в. были открыты для атак усилившегося французского флота. На рубеже XIX—XX в. безопасность Британской империи требовала достижения военно-морского перевеса над Германией, Италией и Японией¹¹. Что касается континентальных империй, то, по мнению Ливена, их самовоспроизводство, равно как и защита территории, заключенной в единых государственных границах, являлись более простым делом.

Ш.Н. Эйзенштадт рассматривает империю как наиболее совершенный тип государства, создающий свою автономную

сферу политики. Политическая система империи обладает легитимной монополией на официальное использование и регуляцию силы в данном обществе и служит поддержанию того порядка, в который она вписана. Все социальные группы и роли в обществе, которые реализуют эти функции, являются составляющими политической системы. Важнейшей экономической характеристикой империи Эйзенштадт считает способность к отделению «свободных ресурсов» от локальных социальных ячеек и их перемещение на огромных пространствах. В процессе подобных операций, как правило, падало значение предписанных социальных статусов, формировались достигательные механизмы социального возвышения и открывались новые доступные сферы общественной жизни. Социолог одновременно подчеркивает ограниченность поля политической деятельности в империях: право формулировать автономные политические цели принадлежит только правителям и некоторым участникам политической борьбы. В то же время достижение таких целей завязано на личность и степень легитимности правителей. Единство и централизация огромной имперской общности обуславливаются установлением общих методов управления для всей территории, а также мерами, обеспечивающими лояльность разных групп населения. Имперские власти, по мнению Эйзенштадта, ориентированы на утверждение принципов меритократии в социальной сфере, хотя и вынуждены частично сохранять значение традиционных статусных и имущественных отличий. Это делает империю комфортной формой совместного проживания самых разнообразных сообществ. В мировой истории, по его мнению, воплотились три главных типа империй: «патримониальная» (государство Каролингов и Парфянское царство), империя кочевников, централизованные исторические империи¹².

Развивая положения, сформулированные Эйзенштадтом, отечественный философ Б.С. Ерасов рассматривает феномен империи в разрезе регуляции конфликтных отношений, непреодолимых на уровне локальных социальных коллективов. Исследователь выводит на передний план политическое и социокультурное содержание имперского феномена (а не идеологическое, как это делается в некоторых сочинениях). Он рассматривает

его как «политическую форму организации совместной жизни разнородных этнических и конфессиональных конгломератов, не располагающих иной основой для утверждения всеобщей нормативности и «правопорядка»¹³. Несмотря на то что отечественная тематика для труда, посвященного философско-историческому осмыслению мировых цивилизаций, не являлась главным предметом внимания, автору удалось высказать ряд ценных замечаний, дающих ключ к раскрытию опыта России. Это прежде всего штрих к характеристике российского самодержавия как носителя «наиболее универсального принципа, объединяющего столь разноликий конгломерат социальных и культурных структур, к тому же большей частью ограниченных в своих смысловых ориентациях»¹⁴. Безусловно, продуктивен и взгляд на Россию как на наследницу кочевых империй, позволяющий уточнить исходные рубежи на том пути развития, который прошла Российская империя.

Отечественный политолог С.И. Каспэ важнейшими из признаков имперской системы считает: безграничность, универсализацию контекста социальной коммуникации в ключевых зонах социального взаимодействия при сохранении местной специфики во всех прочих. А основными функциями — обеспечение экспоненциального роста объема доступных и контролируемых ресурсов; подтверждение претензий на «космический суверенитет»; интеграцию гетерогенного в этнокультурном отношении пространства в единый социально-политический организм путем создания особого режима взаимодействия центральной и периферийных элит. В исторической перспективе будущность любой империи видится автору в фаталистическом свете: выравнивание (в различных смыслах — от экономического до онтологического) центра и периферии в конечном счете ведет к разрушению смыслового горизонта несимметричных социальных интеракций и распаду. Развитие модернизационных процессов не позволяет противостоять этой тенденции, ибо в новых условиях сама власть подвергается делегитимации сразу по нескольким направлениям. При рационализации сознания и «расколдовании» мира империя утрачивает ореол мироустроительной силы. Модернизация расширяет сферу политического участия граждан, вовлекает в него широкие социаль-

но-этнические группы, мобилизуемые в соответствии с концепцией Э. Геллнера и схемой поэтапной «национализации» политического участия М. Хроха. Усиление роли локальных культур рождает среди них запрос на обретение политического измерения своей самобытности. За этим следует либо выпадение локальных элит за пределы действия унифицированных институтов и стандартов, либо формирование локальных контрэлит, расценивающих старый курс на мирное сосуществование в рамках имперского пространства как предательский по отношению к своему народу. В противовес этим веяниям в самом центре империи возбуждается вопрос о прерогативах имперского ядра («коренного народа»), этнический критерий включается в число политически референтных и ограничивается кооптация периферийных элит в состав центральной. Данные трансформации подрывают базисный фактор имперского единства — универсализм, не предполагающий каких-либо ограничений для приема в элиту по этническому признаку, а, напротив, постулирующий равное для всех этносов право участвовать в политической коммуникации¹⁵.

Наконец, в отдельный блок могут быть выделены подходы, сложившиеся в рамках так называемой миросистемной парадигмы изучения прошлого. И. Валлерстайн, заложивший ее основы, выделяет три главенствующие формы человеческого общежития, связанные с определенным типом разделения труда, или «сетью взаимозависимостей». Первичной была мини-система: она базировалась на самообеспечении средствами существования, самодостаточном разделении труда и единстве культурных образцов (к мини-системам относятся простые аграрные или охотничьи собирательные общества). Второй формой общежития являлись мировые империи. Они представляли собой большую общность с единой системой разделения труда и множественностью культурных систем. В мировых империях устанавливалась перераспределительная экономика, при которой дань, извлекаемая из локальных сообществ, направлялась в центр и вкладывалась в сеть чиновников, военную машину и даже подкуп вождей массовых движений. Для империи была характерна концентрация военной мощи в руках господствующих социальных элементов, проникающая сила идеологическо-

го воздействия и дифференцированная структура общества. Третья, наиболее совершенная форма общежития — мировые экономики. Она строится на логике капиталистической экономики. Иначе говоря, все производство ориентировано на рынок и максимизацию получаемой прибыли. Зарождение мир-экономики относится ко второй половине XV в., когда в отдельных точках западного мира (Фландрия, Венеция) обозначились стремления к организации разделения труда в масштабах Европы, к специализации производства по географическим зонам и интенсификации товарного обмена¹⁶. Мир-экономика опирается на единую систему разделения труда при политическом и культурном разнообразии в своих границах. Неуклонно расширяясь, она постепенно охватывает весь земной шар, абсорбируя в этом процессе все существующие мировые империи. Вследствие этого к концу XIX в. существовала только одна историческая система на земном шаре. Как видим, в этой концепции империя предстает в виде промежуточной формы в эволюции человеческого общежития, которая с победой капитализма уступает место другой, более совершенной.

Российский философ В.К. Кантор универсальным критерием империи считает возникновение идеи закона. Он полагает, что государства имперского типа исходили в своей политике из принципа известной правовой защиты личности и идеи блага народов, собранных в их границах. В этом они существенно расходились с восточными деспотиями (Ассирийским царством, Персидским царством, Золотой Ордой), которые в научной литературе часто неправомочно отождествляются с империями. Подлинным основателем Российской империи, по мнению автора, может считаться только Петр Великий, который оплодотворил российскую государственность универсалистской европейской идеей равных законов для всех народов, живущих под ее властью¹⁷.

Коллега В.К. Кантора А.А. Кара-Мурза формулирует следующие структурообразующие признаки империи: вождистский характер высшей власти; принцип вертикальной мобильности для элиты в соответствии с личными заслугами; закрепление принципа службы как доминирующего элемента в личном самообеспечении высших слоев общества¹⁸. Именно эти харак-

теристики были присущи государству Петра Великого и делали его империей.

Российский социолог А.Ф. Филиппов осмысливает феномен империи в контексте действий и коммуникаций, сопряженных с большим политическим пространством. Социолог исходит из предположения о том, что необозримое пространство, воспринимаемое как произвольное, не случайное, в виде некоей исходной посылки входит в смысл действий и коммуникаций людей. В этом разрезе империя предстает как «смысл (и реальность) большого и устойчивого политического пространства, длительно переносимый на смысл неполитических действий и коммуникаций». Индикатором имперского пространства, по мнению этого автора, является его особое восприятие: изнутри оно «созерцается как некий малый космос, встроенный в большой — совокупный порядок бытия — но отнюдь не в систему международных отношений»¹⁹.

Авторы коллективного труда «Российская многонациональная цивилизация. Единство и противоречия» к общим системообразующим признакам империи относят: экспансионистский способ расширения территории и ее масштабность, выделенность центра и окраин, полиэтнический и поликонфессиональный состав населения при доминирующем положении титульной нации²⁰.

Что касается собственно Российской империи, то пишущие о ней авторы расставляют самые разные акценты в трактовке ее своеобразия. По мнению Д. Ливена, Россия занимала промежуточное место между морскими и континентальными империями. С одной стороны, она представляла собой сплошной массив территории под властью абсолютизма, опиравшегося на универсалистскую религию. Как и в других континентальных державах, среди ее народонаселения доминировала элита, отделенная от основной плебейской массы особым культурным обликом, системой ценностей и идентичности²¹. В отличие от голландской, британской и французской империй, имевших на момент своего становления консолидированные и в терминах этнического, и в терминах наднационального гражданства общности метрополий, Россия на имперском отрезке своей истории не была единой нацией даже в пределах своего имперского

ядра²². В то же время Д. Ливен подчеркивает, что с XVIII в. она все больше сближалась с западными морскими державами в плане ориентации на передовые технологии, знания и вестернизованный образ жизни, а также распространения этих начал на культурно отсталые национальные окраины²³.

Немецкий исследователь А. Каппелер обращает внимание на противоречие между стремлениями к унификации государственного устройства, свойственными абсолютистскому государству, и его вынужденной необходимостью поддерживать особый статус и особые права развитых окраин. Это противоречие, выявившееся еще в эпоху Петра I, сохранялось и в последующие правления²⁴. Причину такого положения вещей А. Каппелер усматривает в несоответствии собственно российских административных принципов европейским стандартами, а также в более низком экономическом и культурном уровне русского этноса относительно жителей западных и северо-западных окраин²⁵. Ущемленное положение великорусского населения сравнительно с другими национальными группами имперских подданных, по мнению немецкого исследователя, не позволяет применить к Российской империи штамп «колониальной державы»²⁶.

С близких позиций оценивают особенности Российской империи и авторы коллективного труда «Российская многонациональная цивилизация». С их точки зрения, политика самодержавия была лишена этноцентристских предпочтений. В то же время насаждение общих сословно-корпоративных институтов и более или менее унифицированной системы административного управления, развитие экономического обмена регионов с течением времени вели к стиранию граней между центром и периферией. Единственным фактором, осложнявшим этот процесс, являлась «доминанта православной религии»²⁷. В российском инварианте имперского строительства, по мнению авторов, не прослеживаются черты колониальной политики. Единственным исключением являлась Средняя Азия. Ее население рассматривалось центральной властью как колониальное, а знать так и не была кооптирована в состав российской элиты²⁸.

Попытка обобщить поиски детерминанты российского имперства в работах последних лет предприняла Л.С. Гатагова.

Так, для одних историков — это выстроенная сверху донизу иерархия службы, равенство всех граждан перед верховным правителем. Для других — цивилизаторская миссия по отношению к народам Урала и Сибири, Средней Азии и Закавказья, что и делало Россию «великой колониальной империей», одного порядка с Англией или Францией. Третьи настаивают на отсутствии каких-либо формальных и фактических преимуществ у представителей великорусского этноса над инородцами как на главном отличии Российской империи от любой другой колониальной державы Запада. Четвертые подчеркивают органичность, устойчивость, пластичность роста — качества, которые имелись в наличии у Российской империи, но отсутствовали у «технологичной» Британской. Пятые делают упор на государственности как на главной скрепе, соединявшей разноукладные и разноэтнические общности внутри имперских границ. Шестые отмечают соединение признаков как рыхлой, так и централизованной бюрократической империи, обуславливавшее устойчивость такого образования в течение длительного времени.

Собственная концепция автора статьи строится на посылке нетождественности России колониальным империям. В пользу такого осмысления приведены следующие аргументы: географический фактор, который способствовал «живым токам коммуникации» (в отличие от европейских стран и их колоний, разделенных морями и океанами); отношение власти к вновь приобретаемым территориям как к полноправной части России; вторичность, либо полное отсутствие материальных выгод от присоединяемых территорий и народов²⁹.

Как видно из нашего очень неполного разбора, дефиниции империи, выдвинутые разными авторами, существенно различаются между собой. Также большим разбросом точек зрения характеризуется освещение исторического опыта Российской империи. Что касается роли вооруженных сил в имперском устройении России, то взгляды историков колеблются в нешироком диапазоне от отрицания этой роли до признания определенного воздействия армии на устроения этнических русских. По мнению А. Рибера, вооруженная сила вообще может служить только инструментом принуждения, но никак не гарантом стабильности и безопасного существования империй. В обоснова-

ние такого взгляда он ссылается на старинную китайскую поговорку: «Сидя в седле, можно завоевать империи, но не управлять ими»³⁰. Д. Ливен в предположительном плане высказывает суждение о том, что верная самоотверженная служба миллионов солдат не могла оставаться незамеченной гражданским населением и, вероятнее всего, влияла на политическое сознание титульной нации³¹. А Каппелер несколько шире рассматривает проблему: по его мнению, армия содействовала сближению коренного русского населения с другими этносами, которые участвовали в несении рекрутской повинности, а потом и в воинской обязанности. Благодаря вооруженным силам русское влияние шире проникало в национальные окраины. Впрочем, какой-либо российской специфики немецкий историк здесь не видит — таковыми были состав и функции армий других великих держав XVIII—XIX вв., например Австрии и Пруссии³².

Конкретизация этого подхода содержится в статье Д. Байрау «Империя и ее армия», в которой приводится большой материал, касающийся этнического состава армии и вех имперской политики в военном деле. Автор приходит к выводу, что за свою историю царская армия проделала путь от репрезентата «коалиций дворянских наций» до арены центробежных устремлений, на которой национальные представительства аграрных народов апробировали свои притязания на создание национальных воинских формирований и национальный суверенитет. Д. Байрау констатирует полную неподготовленность правительственного аппарата к политизации подчиненных (аграрных) народов и недальновидную установку на втягивание ряда этнических групп в отбывание воинской повинности незадолго и во время мировой войны, что лишь ускорило их отпадение от империи³³.

Итак, несмотря на ряд наблюдений разных авторов о военном влиянии на процессы становления и роста империи, нераскрытыми остаются вопросы о способах, направлении и результатах этого влияния, а также о соотношении гражданского и военного подходов к имперской проблематике. Между тем имперское строительство составляло важнейшую область приложения сил военнослужащих регулярной армии: именно военное участие

определяло собой ряд важнейших характеристик Российской империи.

Как считают некоторые исследователи, Россия начала осваивать имперскую модель с XVI в.³⁴ Эта точка зрения представляется вполне обоснованной. Именно тогда в российском историческом проекте впервые соединяются три тенденции, которые обычно отождествляются с имперским типом развития: централизация и упорядочение управления в масштабах всей страны; собственные устремления власти к самодержавному образу правления; расширенная экспансия (неуспешная на западном направлении и успешная на восточном). Вместе с тем, несмотря на затраченные силы и средства в этом движении, Россия не приблизилась к западным образцам имперского государства. Более актуальным аналогом для нее по-прежнему оставались восточные кочевые империи, создававшие ксенократические системы властвования (от греческого «ксено» — наружу и «кратос» — власть). Исследователь этих империй Н.Н. Крадин замечает, что снаружи они смотрелись как образования с крепкой и даже деспотической государственностью, однако изнутри выглядели как организационно рыхлые и ограниченные в своем потенциале системы. Несмотря на стройное и строгое военно-иерархическое устройство обществ кочевников, они не располагали ни серьезным аппаратом принуждения, ни даже организацией систематического налогообложения в рамках своей общности. Тем более они были бессильны создать инфраструктуру политического господства на завоеванной территории. В лучшем случае их присутствие там обозначалось развитием ямской службы и институтом наместничества. Зависимость покоренных этносов выступала чаще всего в формах внешне-экономической эксплуатации³⁵.

В порядках Московского царства просматривалось отчетливое сходство с кочевыми империями: как это было заведено у кочевников, отношения с присоединенными народами Поволжья и Сибири строились на основе непрямого господства и обложения налогом (ясаком). Определенные параллели можно провести и с Османской империей. Занимавшие еще в XIV в. крохотную территорию в Малой Азии, к XVI в. османы создали огромную и сильную империю. Правда, не подкрепленный ни

демографическими потенциями, ни эффективным государственным аппаратом, столь быстрый рост не пошел им впрок. Если в XVI в. центральная власть контролировала свою социальную опору в лице ленников-сипахи, то к началу XVIII в. эта связь была подорвана. Феодальная аристократия так и не стала оплотом режима. Формально признавая султанскую власть, землевладельцы фактически препятствовали ее укреплению: в обход правительственных чиновников устанавливали налоги, игнорировали или вовсе изгоняли управленцев, присланных из центра³⁶.

Столь же эфемерными были позиции правительственного аппарата в районах проживания иноэтнического населения. Формула компромисса между османидами и немусульманскими народами была найдена в системе миллетов — национально-религиозных общин, которые пользовались автономией в вопросах образования, вероисповедания, семейно-бытового уклада, а взамен платили султанату законопослушностью и исправным внесением налоговых платежей. Распространявшееся на миллеты с XVI в. капитуляционное право (то есть договоры об особых правах, которые ранее заключались с иностранными государствами) вело к их дальнейшему обособлению от остальной территории³⁷. Управляемость регионов ослаблялась пересекающимися функциями различных ведомств и должностных лиц (на местах делами заправляли подчиненные бейлербея — военно-гражданского представителя центра, судьи-кадии, относившиеся к ведомству шейх-уль-ислама, мультазимы — откупщики налогов, аяны — выборные управленцы городов и т.д.). Подобная организация внутреннего пространства империи заведомо способствовала сепаратистским настроениям и окрашивала во враждебные тона взаимоотношения титульного этноса с иноэтническими общностями. Не случайно в турецком языковом обиходе край периферии именовался как «порог великого страха»³⁸.

Аномальность подобного общежития бросалась в глаза иностранцам. Так, российский эмиссар в Турции начала XVIII в. П.А. Толстой показывал в своих донесениях, что правители этого государства ведут политику совсем не так, «яко подобает милосердовать государем о своих подданных, и устроить им

мирное житье, и для строения государственного»³⁹. По замечанию Д. Ливена, потуги даже самых благомыслящих и влиятельных османских правителей добиться централизации и подтолкнуть формирование османского имперского гражданства были заведомо обречены на неудачу. С одной стороны, османская история не выдвигала фигур, равнозначных Петру I и Екатерине II, которые отваживались бы на масштабные структурные преобразования с их неизбежным дестабилизирующим воздействием на всю систему общественных отношений⁴⁰. С другой стороны, реформаторские намерения правителей встречали сопротивление самых разных социальных сил. Так, реформы 1856 г. отказались принять и христианские общины, не желавшие расставаться со своим автономным положением, и мусульмане, задетые тем, что их хотят уравнивать с «неверными»⁴¹.

Внутреннее устройство Московского царства было вполне сопоставимо с Османской империей предкризисного и кризисного периодов. Анклавность, фрагментарность пространства, слабая податливость административному воздействию центра оставались неодолимыми пороками государственной системы до Петра I. Государство как «техника общественного порядка и администрации», «свободная игра воображения», по определению Х. Ортеги-и-Гассета⁴², в российском случае безнадежно буксовало. Непрерывно растущая территория по большей части и в XVI, и в XVII столетиях оставалась камерой хранения забытых вещей, либо вовсе *terra incognita* для самих специалистов-управленцев. (Так, вплоть до начала XVIII в. в Сибирском приказе не было ни единой карты Сибири.) Утилизацию приобретений тормозили чрезвычайно узкие каналы связи между центром и периферией. Обычный московский сценарий «примечки» присоединенных областей включал в себя учреждение очередного приказа в Москве, выезд на место чиновников, а далее очень затянутое согласование с московским аппаратом принципов администрирования (собственно, в этом и выражалась знаменитая московская волокита). При столь условном и механическом сцеплении территорий само сохранение целостности государства являлось почти что чудом. Нестойкость подобного объединения должна была обнаружиться при первой же трещине в системе центральной власти. Именно так оцени-

вал итоги стяжательской политики московских государей агент английского двора в Москве конца XVI в. Дж. Горсей в свете последующего смутного времени и частичных территориальных потерь государства. И не без злорадства прибавлял: «Плохо приобретешь — скоро потеряешь»⁴³.

Крупнейший знаток областных учреждений России М.М. Богословский писал: «Москва смыкала государственную территорию в целое, не создавая обширных территориальных делений с сильной властью на месте, а привязывала старинные мелкие областные единицы непосредственно к центру и сосредоточивала управление ими не на месте, а в центральном приказе». Русский историк указывал на то, что присоединяемые к Москве земли дробились в административном отношении и «переставали глядеть на себя как на единое целое». Эту тенденцию только усугубили губная и земская реформы XVI в., которые ввели в обиход еще более мелкие областные единицы, чем старинные округа с наместниками и волостелями. При этом и старые, и новые административно-территориальные единицы, минуя промежуточные инстанции, прямо включались в ведение громоздкого и неповоротливого центрального аппарата, что тормозило весь процесс управления.

XVII в. не внес революционных изменений в эту систему. Уезды по главе с воеводами, ставшие основой административного устройства на местах, отличались крайней неравномерностью. В конце первой четверти XVII в. их численность достигала 146, притом одни были мелкими, другие, напротив, очень крупными, что, естественно, затрудняло проведение общей правительственной политики на местном уровне⁴⁴. Но и это было еще полбеда. Главная беда заключалась в том, что российская двухступенчатая модель управления (приказы в центре и воеводская власть в уезде) в принципе отторгала всякую мысль о единстве. Одни местности по некоторому произвольно взятому признаку приписывались к «отраслевым» приказам, другие входили в ведомство областного приказа. Случалось и так, что уездные города по одному разряду дел находились в подчинении отраслевого приказа, а по другому разряду — областного приказа. Все это создавало перекрестную путаницу сношений, а вдобавок плодило рознь и сутяжничество в воеводском корпусе.

В отсутствие какого-либо общего регламента взаимодействия правители уездов по всякому поводу, касающемуся соседа, запрашивали указ центра, а то и вовсе самоизолировались, отказываясь от контактов с близлежащими областями.

Способность власти к регуляции состояния дел на местах уменьшалась прямо пропорционально их удаленности от центра. Эту закономерность подчеркивала неофициальная, однако не менее реальная практика отказа «от места» неудобным администраторам, существовавшая в Восточной Сибири вплоть до начала XVIII в.⁴⁵ В то же время крепко обосновавшийся управленец имел все возможности без оглядки на далекую московскую власть самоуправничать и тянуть жилы из подвластного ему населения⁴⁶. Слабый потенциал воздействия центра на социальный расклад в регионах выявляли и инструкции, выдававшиеся воеводам перед их отправлением к месту предстоящей службы. Как правило, они исключали формулировки позитивно-утвердительного характера, а содержали лишь предписания запретительного или ограничительного свойства (типа «служилым и посадским людям обид и налог не делать»)⁴⁷.

В исторической литературе последних лет высказано предположение о том, что методы управления, несостоятельные и неадекватные стремительному расширению государственной территории, мотивировали юридическое закрепощение населения. «Локализация», или прикрепление к постоянному месту жительства, была попыткой неэффективной власти обеспечить социальный контроль хотя бы в пределах традиционного государственного ядра⁴⁸. С этим мнением можно согласиться, дополнив его одним уточнением: «локализация» населения не являлась стратегией, соответствующей имперскому строительству. Уровень имперских запросов требовал отнюдь не механического прикрепления тягльца, а максимально полного вовлечения его человеческого ресурса в реализацию амбициозных проектов власти. Именно в это препятствие упиралось осуществление имперской программы до Петра I.

Положение дел изменилось в начале XVIII в. Интересно, что в логике Петра I начало счета империи было увязано с прорывами в военной сфере. Исследовательница Е. Погосян обратила внимание на периодичность обращения Петра I к импера-

торскому титулу, совпадавшую с циклами успешных боевых действий России (от Азовского похода до заключения Константинопольского мира с османами в 1700 г.; от победы у деревни Лесной в 1708 г. до Полтавы и некоторое время спустя Полтавы; по окончании Северной войны)⁴⁹. Это позволяет говорить о том, что рост военного потенциала страны и ее утверждение в ранге имперской державы для царя являлись двуединым процессом. Данное представление нашло отражение в Объявлении к «Уставу Воинскому», где Петр I расценивал создание регулярного войска как момент перестройки исторического образа России, замены «варварского обычая» «добрым порядком». Именно систематической, общественно полезной деятельностью войска обосновывался переход России на общий путь развития с великими державами: «...когда войско распорядили, то какие великие прогрессы с помощью Вышнего учинили над каким славным и регулярным народом»⁵⁰. Заявления царя также дают основания считать, что в его понимании назначение регулярной армии отнюдь не исчерпывалось достижением силового перевеса над внешним противником, но простиралось много дальше — на дела внутреннего устройства империи. К этой же мысли он возвращался и во время празднования Ништадтского мира, когда сенаторская коллегия выступила с почином принятия им императорского титула. В своей ответной речи на обращение сенаторов Петр I снова заявлял о необходимости всемерного укрепления войскового потенциала, дабы не повторить судьбу греческого царства⁵¹. Совершенно очевидно, что актуальность этой задачи по завершении войны не определялась необходимостью подавления реального или сдерживания вероятного противника. Ход мыслей царя был развитием той постановки вопроса, которая запечатлелась в Объявлении к «Уставу Воинскому» от 1716 г.

Смысл тезисов Петра Великого дешифруется в контексте проведенной им тотальной перестройки системы местного управления, в которой армии отводилась ключевая роль. Ее кульминацией следует считать податную реформу, предусматривавшую расселение полков среди налогоплательщиков. В 1722 г. правительством были подведены итоги двухлетнего пребывания генерал-майора М.Я. Волкова с двумя подчиненными ему полками среди новгородского населения, которое в течение все-

го этого срока в порядке отбывания податной повинности снабжало военнослужащих денежным довольствием, провиантом, фуражом. Сама идея непосредственного приближения армии к местам расселения налогоплательщиков была заимствована из шведского опыта насаждения рустхоллов и бустелей. Рустхолл — хозяйство, созданное из редуцированных частей дворянских владений. Его пользователь содержал и экипировал одного кавалериста в зачет уплаты земельной ренты и налогов. Бустель представлял собой держание, выделявшееся командирам шведской армии на время службы. Проживавшие на его территории крестьяне вместо налоговых отчислений короне платили фиксированное жалованье временному хозяину владения. Одновременно несколько крестьянских хозяйств (так называемая руга) вскладчину нанимали и снаряжали солдата-пехотинца⁵².

Почерпнутый у шведов образец в России вырос в совершенно оригинальную модель управления. В основу обновленного административно-территориального деления, утвержденного Петром I в 1719 г. и начавшего планомерно внедряться с 1724 г., было положено войсковое размещение. Низшей единицей становился дистрикт, спланированный как место расселения полка, которому соответствовало 50,6 тыс. душ мужского пола из гражданского населения. Центр этой территории составлял штабной полковой двор, вокруг которого в радиусе 5—100 верст по крестьянским избам обустроивались роты⁵³. Покрывавшее все жилое пространство дистрикта, ротное расселение через систему полковой связи и субординации обеспечивало его плотное притяжение к полковому двору. Самой логикой вещей последний был назначен стать главным организующим элементом местного порядка. Косвенное признание этого факта заключала в себе серия нормативных документов, делавших акцент на распорядительной власти полкового начальства: «Плакат», «Инструкция полковнику», «О должности полковника по наблюдению земской полиции в уезде».

На военное командование, дислоцированное в дистрикте, возлагались самые различные обязанности: сбор прямых налогов; защита платежеспособности тягловцев от всякого рода лихоимцев и разорителей; контроль за паспортным режимом, предусматривавший выдачу паспортов крестьянам, отъезжав-

шим на заработки далее чем за 30 верст от места жительства, и надзор за пребыванием таких же отходников в своем уезде; пресечение побегов; обеспечение безопасности жителей; поимка воров и разбойников; предупреждение государственных преступлений; борьба с корчемством, нелегальной торговлей, незаконной вырубкой леса, пожарами; исполнение судебных приговоров, включая конфискацию помещичьих имений; выявление бродяг, нищих, юродивых и определение их на казенные работы или в госпиталь⁵⁴. Центральная власть постоянно добавляла к этому перечню новые полномочия, соответственно изымая их из сферы компетенции гражданской администрации⁵⁵. Признаком большого веса полковой администрации являлись ее сношения с вышестоящей гражданской администрацией провинции в форме промеморий, которыми в бюрократическом делопроизводстве обменивались равные по рангу инстанции⁵⁶. Неординарность такой ситуации возрастает, если вспомнить о том, что воеводы провинций также принадлежали к служилому корпусу и большей частью по своему рангу не уступали командирам полков, расквартированных на их территории.

На деле причина предпочтения, которое отдавало центральное правительство войсковому командованию в делах управления, была проста: войсковой аппарат, встроенный в жилой массив, гарантировал проникающую систему контроля, которая была недоступна гражданским органам. Именно благодаря военной организации власть обретала способность к интервенции на «клеточном уровне». Ставка на армейский потенциал позволяла максимально приблизить высший слой управляющих к управляемым, вне зависимости от разделявшей их географической и социальной дистанции. В некотором роде на полковой двор ложилась нагрузка коммутатора, соединявшего по линиям дисциплинарной связи удаленные точки подведомственного пространства с главным «диспетчерским пунктом», расположенным в центре. А военный служащий — наладчик линий этой связи — обретал дополнительное качество агента централизации.

Работу такого механизма раскрывает концепция дисциплинарной власти М. Фуко. Упорядочение пространства, экономичное размещение в нем человека-единиц, тренировка гибкого и послушного тела на подобном подиуме в XVIII в. заменили

собой средневековые практики утверждения дисциплины через отгораживание местности (как, скажем, это происходило во время чумных эпидемий в городах). Выигрыш от внедрения новой технологии состоял в колоссальном приросте потенциала организации — армии, пенитенциарного и учебного заведения, монастыря, больницы. Достигнутая на этой базе эффективность превышала арифметическую сумму составляющих ее элементов и открывала невиданные горизонты в манипулировании сознанием и поступками больших человеческих масс.

Наиболее изощренным воплощением данной модели служит зарисовка, известная как «Паноптикон» Иеремии Бентама. Английский философ и правовед второй половины XVIII — первой трети XIX в. создал архитектурную композицию тотального учреждения с изумительно рациональным устройством. Это — здание в форме кольца, разделенное в поперечнике на камеры со световыми окнами на две стороны — наружную и внутреннюю. Обитатели камер заблокированы друг для друга, однако полностью открыты для надзирающего ока из высокой застекленной башни в центре круга. Паноптикон — хитроумная клетка, позволяющая власти, по словам М. Фуко, быть всезнающей, оставаясь невидимой, функционировать автоматически, добиваясь от заключенного выполнения всех предписаний без прямого контакта. Сила паноптического устройства, перенесенного на социальную плоскость, заключалась в программировании «базового, низового функционирования общества, вдоль и поперек пересеченного дисциплинарными механизмами»⁵⁷. Собственно армейское размещение в дистрикте с полковым двором в качестве надзирательской башни идеально подходило под параметры паноптикона. Непосредственный эффект от его внедрения как раз и составляли эмерджентные характеристики социального пространства, затребованные властью: прозрачность, переход в агрегатное состояние, наиболее пригодное для целенаправленной формовки.

Универсализация этих принципов обеспечивалась единообразным военно-административным дизайном, распространявшимся на всю населенную часть империи. Главное требование к военным ревизорам, занимавшимся местной пропиской полков, гласило, «чтоб между провинциями за раскладками нерос-

писного ничего не оставалось». В итоге состоявшегося размещения на Московскую губернию было положено 25 полков, на Санкт-Петербургскую — 19, на Киевскую — 13, на Смоленскую — семь, Архангелогородскую — 11, Астраханскую — пять, на Сибирскую, Казанскую, Нижегородскую — по девять полков⁵⁸. Основная интенция реформы отчетливо вырисовывалась из концентрической структуры армейского «растекания» по стране. Начиная от Москвы военная экспансия двигалась вглубь, опоясывая кругами с расширяющимся диаметром все обжитое пространство империи⁵⁹. Подвергнувшись такому «окольцеванию», неуловимое и ускользающее, наподобие жар-птицы, российское пространство делалось «ручным» и послушным воле центра. Заслуживает внимания и нацеленность плана на то, чтобы поставить под усиленный армейский контроль наиболее проблемные в интеграционном отношении зоны. Скажем, в новоприсоединенную Прибалтику были переведены полки, «разложенные на души» в некоторых отдаленных окраинах⁶⁰.

Оптимизация управления достигалась путем объединения полковых дистриктов в более широкие областные единицы — провинции, на которые был перенесен центр тяжести в административно-территориальном членении страны в 1719 г. Заняв промежуточное положение между крупной губернией и мелким уездом, провинция составила наиболее удобное, с точки зрения правительственного руководства, и унифицированное территориальное образование. Возглавлявшие ее администраторы (воеводы, губернаторы или генерал-губернаторы) — с одинаковыми принципами сношений с центром через отраслевые коллегии и с полковым начальством в низшем звене — становились проводниками единой согласованной линии правительственной политики. В этой связи М.М. Богословский справедливо обращал внимание на «правильное расчленение и стройный синтез» как на главную сторону, выгодно отличавшую петровскую модель управления от старой, московской⁶¹.

Одновременно с тем работоспособность такого механизма ретрансляции правительственных распоряжений на региональном уровне определялась еще одним не менее значимым обстоятельством: все должностные лица местного управления были встроены в военную иерархию и оказывались в соподчиненном

положении не только по линии административных отношений, но и по линии воинской субординации. Подчеркнуто военный характер носила губернаторская должность, учрежденная еще в ходе первой областной реформы 1708 г. Губернаторы получали жалованье в Военной коллегии, числились в ее штатных списках, а также находились в постоянных сношениях с ней на правах лиц, командовавших гарнизонными войсками⁶². Историками замечено, что поставленные во главе восьми первоначальных и 11 последующих губерний начальствующие лица занимали самые высокие позиции в служебной организации, а кроме того, принадлежали к знатнейшим российским фамилиям или даже состояли в родстве с царской семьей⁶³. Надо полагать, что такой подбор высших управленцев был совершенно не случаен. Соединение формальных и неформальных статусно-ранговых преимуществ в фигурах представителей центра придавало жесткую императивность их распоряжениям. Такой образ местной власти гарантировал беспрекословное подчинение ей в условиях, когда формализованные, позиционные схемы отношений еще не успели глубоко проникнуть в сознание государственных служащих.

Воеводский корпус, поставленный над провинциями, а с 1727 г. — над восстановленными в правах уездами, почти сплошь состоял из отставных военных, получавших административное назначение в порядке награды за добросовестную воинскую службу⁶⁴. На время отправления административных обязанностей полковничье звание присваивалось тем, кто не получил его на действительной военной службе.⁶⁵ С одной стороны, эта мера устанавливала паритет между полковым начальством на местах и провинциально-уездной администрацией — благодаря тому последняя не ушла окончательно в тень полковничьей власти. С другой стороны, она утверждала естественное для военной среды соотношение позиций, при котором областной администратор мог требовать повиновения от выделенных ему в помощь штаб-офицеров.

Милитаристский каркас административной системы последовательно возводился и на далеких окраинах. Физическое отсутствие здесь полков действующей армии компенсировалось несколькими институтами. Во-первых, командами офицеров,

направлявшимися для сбора подушной подати. Во-вторых, розыскными гвардейскими канцеляриями, периодически наводившими «шорох» среди своевольных и недобросовестных управленцев. В-третьих, гарнизонами, постоянно укреплявшимися сильным воинским контингентом (к 1733 г. численность гарнизонных войск превосходила 60 тыс. человек)⁶⁶. Стоявшие во главе гарнизонов коменданты, в особенности в стратегически важных пунктах, наряду с военно-хозяйственными и командирскими функциями, выполняли роль организаторов гражданского общества. Находясь в непосредственном подчинении у губернаторов, они в известной мере образовывали локальную альтернативу воеводскому правлению⁶⁷. Кроме того, некоторые давно включенные в состав России и «неоприходованные» земли вроде территорий, прилегающих к Слободской Украине, распоряжениями Петра I заселялись ландмилиционными полками⁶⁸. А управление отдельными национальными окраинами поручалось специальным учреждениям, сплошь составленным из военных чинов и подчиненных непосредственно Сенату. Так, после смерти малороссийского гетмана И.И. Скоропадского в 1722 г. Петр I отложил вопрос о выборах нового гетмана и передал управление Украины черниговскому полковнику Полуботку и войсковой старшине⁶⁹. Параллельно из русских офицеров была образована Малороссийская канцелярия, размещавшаяся в Глухове и наделенная большими административными полномочиями. Выведенная напрямую на Сенат, она могла оперативно оповещать центр обо всем происходящем на месте и столь же быстро получать отклик на свои запросы. Немецкий исследователь А. Каппелер справедливо связывает с деятельностью этого учреждения довольно интенсивный процесс интегрирования Украины в административную систему России и ликвидацию остатков ее автономии к концу XVIII в.⁷⁰. К этому следует добавить, что организационное решение об административно-правовом и фискальном слиянии Украины с Россией было уже подготовлено в конце правления Петра I. Однако его исполнение оказалось отсроченным на сорок лет из-за смерти императора и ослабления политической воли последующих правительств к административному воссоединению полуавтономных окраин с остальной государственной территорией.

Тем не менее внутренняя политика Петра I с ее опорой на военный потенциал определила собой качественный скачок в централизаторской политике и создала фундаментальный задел на будущее время. Монолитная военизированная вертикаль власти позволяла перейти в наступление на старинные вольности и привилегии, которыми пользовались некоторые давно присоединенные районы и этносы. Так, в 1706 г. было покончено с полуофициальной традицией отказа «от места» управленцам, направляемым из центра в Сибирь⁷¹. Учреждение должности провинциального обер-коменданта, подотчетного сибирскому (тобольскому) губернатору, обеспечивало достаточно эффективным рычагом дело встраивания удаленной окраины в общий режим существования с центральными областями. На той же базе открывалась возможность поэтапного подведения под общий знаменатель с великорусскими губерниями территории бывшего Казанского ханства с населявшими ее народами. Линия на выравнивание проявилась в «переборе» мусульманской знати, в результате которого одна ее часть была включена в категорию государственных крестьян, а другая, принявшая православие и лояльная властям, была включена в состав российского дворянства. К разряду государственных крестьян были причислены массы марийцев, чувашей, удмуртов, мордвы⁷².

В большинстве случаев поставленные цели достигались в рамках систематического направленного администрирования. В отдельных эпизодах дело сводилось к применению открытого насилия. Так, с помощью воинских частей было подавлено башкирское восстание 1705—1711 гг., поднятое против появления царской администрации, прибыльщиков и предпринимателей в предгорьях Урала. Расправа с участниками восстания продемонстрировала непреклонность в повсеместном проведении централизаторской политики. Петровские начинания со всей очевидностью доказывали неотвратимость попадания под унификаторскую парадигму в ближней исторической перспективе и тех окончательностей империи, которым выдавался определенный бонус.

Это относилось прежде всего к новообразованным остзейским губерниям. Правда, существенная разница в социальных укладах и уровнях экономического развития затрудняла уравни-

нение их административно-политического статуса с титульным имперским ядром. Перспектива такого рода открывалась только через интенсивное подтягивание великорусских регионов — как минимум до показателей Прибалтики и как максимум до уровня европейских держав-лидеров. В принципе, столь дерзкий замах был вполне адекватен имперскому образу действий с его духом ускоренного социально-экономического прогресса и состоятельности. Камнем преткновения являлся дефицит подходящих средств и источников для такого форсажа в русском обществе с его зачаточными рыночными структурами, невежественным населением и крепостной системой. Однако и эту задачу отчасти удалось обойти. Петровская рецептура наращивания темпов развития не пренебрегала стандартными приемами вроде государственной поддержки предпринимательства, политики протекционизма, но делала упор на использование военно-административного аппарата.

Через посредничество военных, размещенных по дистриктам среди местного населения, правительственная власть активно пыталась внедрить в толщу народной жизни полезные навыки и технологии. В этих видах специальная инструкция предписывала солдатам, расположившимся постоем в крестьянских избах, показывать хозяевам пример экономичного и удобного отопления жилища — торфом «на голландский манер» или высушенным дерном по голштинскому образцу⁷³. А в 1721 г. при помощи военных в великорусские области были доставлены эстляндские и лифляндские крестьяне, которым предстояло ознакомить своих русских собратьев с приемами жатвы хлеба малыми косами с серпами (а не серпами, как это было заведено в русских деревнях). В 1726 г. в Камер-коллегию с мест было доложено о нескольких тысячах обученных по-новому русских крестьян. Сенат одобрил эту работу и обязал обер- и штаб-офицеров ее продолжить⁷⁴. Под ответственность военных администраторов центральная власть передавала распространение и других практик: выделки кожи с использованием ворванного сала (а не дегтя), обработки пеньки с обязательным обрезанием концов, изготовления холщовых полотен определенной ширины в соответствии с разосланными по провинциям образца-

ми, строительства крестьянских изб по высочайше утвержденным чертежам⁷⁵.

«Милитаризованный» вариант модернизации был также ориентирован на максимально полную утилизацию продуктов войны и военных трофеев. Самым неординарным здесь было решение направить на мирные цели энергию 25 тыс. военнопленных каролинов, взятых на поле Полтавской битвы. Личным приказом царя они были препровождены в Тобольск под надзор губернатора М.П. Гагарина для выполнения благородной миссии окультуривания сибирского края⁷⁶. Интересно, что и полтора века спустя, как свидетельствовал помощник приамурского губернатора А. Кейзерлинг, сибиряки пользовались приемами обжига кирпича, возведения многоэтажных построек, почерпнутыми у шведов⁷⁷.

Инновации, распространявшиеся «сверху», порой весьма экстравагантными способами, разумеется, не были продуктом свободного и сознательного выбора общества. В то же время у нас нет оснований для объявления веры Петра I в подобную схему насаждения передовых знаний и технологий утопической. Равным образом нет оснований для возведения насилия во всеобъемлющий методологический принцип преобразований. Такое прочтение теории «насильственного прогресса», приписываемой в историографической традиции Петру I⁷⁸, представляется однобоким: оно не учитывает метаморфоз, которые происходили с самим обществом.

Мощный военный имплантат, вживленный в социальное тело страны, создавал положение вещей, которое польский социолог П. Штомпка определяет как «двойственное целое структур и агентов». По его словам, в таком сочетании, или «в интерфейсе между структурами и агентами, операциями и действиями кроется загадка социального становления»⁷⁹. В российских реалиях этот процесс преломлялся в изменении самой формулы строения социального «вещества». Его качественный смысл заключался в открывавшейся возможности управления общественными реакциями. Ожидаемый и прогнозируемый отклик общественной среды на импульсы, посылаемые «сверху», становился решающим фактором поступательного развития петровской модернизации. На этом движении власти удавалось не

только покрыть изначальную недостачу предпосылок модернизации, но и в значительной мере запрограммировать ее ход. Именно такой поворот и совершает Петр I во вторую половину своего царствования, перейдя от хаотичных конъюнктурных заимствований западных образцов и технологий к более или менее планомерному и систематическому насаждению их по всему фронту общественных институтов. Наряду с оформлением состава, назначения и принципов жизнедеятельности больших социальных групп, в русле этого менеджмента осуществлялась точечная, адресная рассылка директив по всем азимутам социального пространства.

Совершенно очевидно, что, издавая многочисленные указы, регламентировавшие производственный процесс в ремесленной мастерской, купеческой мануфактуре, распорядок в городских, сельских жилищах и даже монашеских кельях, царь предполагал их практическую отдачу. При этом, судя даже по структуре царских обращений к подданным, эти ожидания были настроены на *элементы осознанной необходимости* в их поведении. Исследовавший корпус законодательных актов Петра I историк Н.И. Павленко обращает внимание на такой их неперемный компонент, как преамбула с подробным разъяснением и логическим обоснованием задуманной меры. Наиболее частые слова этих текстов — «понеже», «дабы», «так как», «для того» — прямо апеллировали к здравому смыслу и доброй воле подданного⁸⁰.

Естественно, вопрос о том, в каких пропорциях в практике имперского строительства сочетались принуждение и добровольное данничество граждан, вряд ли может быть разрешен сколько-нибудь точно. Тем не менее мы вправе предположить, что идеи ревностного служения государственным интересам, которыми царь оперировал в своих воззваниях к подданным, не были для них пустой абстракцией. В этом убеждает сопоставление ответов разных обществ на угрозы суверенному существованию и призывы правительств исполнить долг верноподданного и гражданина. Например, массовым явлением во время шведской оккупации Речи Посполитой стал коллаборационизм местных жителей. Польские магнаты со своими слугами и мелкими шляхтичами толпами переходили на сторону Карла XII⁸¹.

Переломить ситуацию не удалось и Августу II, не скупившемуся на обещания самой лютой расправы над государственными изменниками и саботажниками правительственных распоряжений⁸². Что касается простого люда, то в Польше, как и в Дании, Саксонии, Литве, он выказывал покорность завоевателям, безропотно предоставляя шведскому войску затребованные деньги и провиант⁸³. Правда, на определенном этапе взаимодействия отработанная схема могла дать сбой: ресурс выносливости социума был рассчитан на малые величины давления свыше и не справлялся с увеличивающимся запросом. В этой связи можно указать на волну самоубийств, прокатившуюся по селениям Саксонии после повышения размеров шведской контрибуции в 1706 г.⁸⁴. Между тем высокая контрибуция отнюдь не рассматривалась как самый тяжкий способ эксплуатации покоренного населения даже тогдашними теоретиками и творцами международного права вроде Г. Гроция. Наихудшую альтернативу ей международные «законники» видели в превращении населения в трудовую армию⁸⁵.

Впрочем, запас терпения достаточно быстро истощался не только в покоренных странах, но и в Швеции, которая доминировала над ними. Чем дольше затягивалась война, тем больше шведское население погружалось в депрессию и озлоблялось против своего правительства. Признаки шаткости показывала и армия, в которой нарастало утомление нескончаемыми кампаниями и походами. К 1721 г. в ее рядах уже явственно обозначились симптомы неповиновения: знаменитый кирасирский полк отказался выполнить приказ командования по организации обороны Стокгольма⁸⁶. Иными словами, резистентность армии и гражданского населения к тяготам войны оказалась несоизмерима масштабу притязаний, выдвинутых политическим руководством страны в начале войны.

С этими настроениями контрастировала ситуация в России. Там, где западная среда демонстрировала эффект «усталости металла» и ломалась при увеличении нагрузки, российская легко спружинивала. В течение долгой Северной войны с ее расширяющимся театром военных действий русская армия не знала отказа ни по одному из пунктов в списке своих потребностей. Западных военных экспертов и политических аналитиков обес-

кураживала и пугала сила напора, с которой молодая держава ковала свою победу. К концу войны Россия располагала мощным современным флотом (23 линейных корабля, шесть фрегатов, шесть шняв с флотским экипажем численностью почти 11 тыс. человек)⁸⁷. Оружие отечественного производства отличалось надежностью, удобством в обращении и более высокой скорострельностью, чем западные образцы⁸⁸. Свою лепту в укрепление обороноспособности империи вносили все регионы, включая медвежьи углы, которые впервые всколыхнула война. Так, одна Сибирь за это время направила в регулярную армию почти 30 тыс. воинов, из которых свыше 24 тыс. человек, или одна восьмая часть тогдашнего населения края, приняли непосредственное участие в сражениях со шведами⁸⁹.

В ряде географических пунктов, открытых для шведских атак, местные жители по собственному почину вставали на боевое дежурство. Еще в начале войны при нападении шведской эскадры на Архангельск, когда из города трусливо сбежал воевода А.П. Прозоровский, организацию обороны города взял в свои руки простой селянин и кормщик рыболовецкого судна И. Рябов. Действовавший под его началом отряд местных жителей не только не дал шведам проникнуть в крепость, но и захватил в плен два шведских гальота⁹⁰. По ходу дальнейшего развертывания боевых действий в партизанскую борьбу включались жители северных, юго-западных окраин империи, регулярно устраивавшие диверсионные вылазки в неприятельский лагерь, либо выходившие в морские дозоры. Во многом вследствие этой активности гражданского населения шведы не рискнули прибегнуть к оккупации северных областей страны⁹¹.

Датчанин Ю. Юль не уставал удивляться той исправности и безотказности, с которой русские крестьяне несли трудовые повинности в пользу сражающейся армии: всякий раз при начале осадных работ в крепостях, при выступлении военной части в поход селяне из окрестных деревень выезжали с подводами, нагруженными провизией для воинов. Только за сентябрь 1709 г. в районе Нарвы Юль насчитал около 10 тыс. малых одноконных подвод с 20 тыс. мешков сухарей, доставленных крестьянами Псковщины и Смоленщины⁹². Притом следует иметь в виду, что государственный прессинг возрастал на протяжении всего

петровского правления. По подсчетам историка Н.А. Тихонова, за время правления Петра I денежные налоги выросли в среднем до трех рублей. А в совокупности с трудовыми мобилизациями, рекрутчиной, доставкой натуральных продуктов к местам расположения воинских частей размер казенных крестьянских податей поднялся до 10—15 руб. в год⁹³.

Жесткие методы эксплуатации внедрялись на промышленных объектах. В абсолютном большинстве действовавших при Петре I предприятий (их общая численность достигла 221) вводился режим пенитенциарного заведения и применялся подневольный труд — посессионных крестьян, покупавшихся согласно указу 1721 г. для обслуживания мануфактур, либо приписных, то есть казенных крестьян, работавших определенный срок в порядке отбывания государственного тягла⁹⁴. При всей ущербности подобной организации труда запущенное производство не только покрывало внутренние потребности государства, но и давало экспортную продукцию, пользующуюся спросом на внешнем рынке. В структуре российского вывоза в конце первой четверти XVIII в. 52% приходилось на промышленные изделия и только 48% — на сырьевые товары⁹⁵.

Постоянный подвоз материальных средств к местам действий армии, растущие разделение труда и товарный обмен между регионами стимулировали интенсивное строительство дорог и каналов. Как и вся хозяйственная инфраструктура, эти объекты возводились авральными методами. Вполне показательной в этом плане является история так называемой государевой дороги — от Белого моря до Онежского озера, понадобившейся для спешной переброски военной флотилии к Балтике. За два месяца — от июня до августа 1702 г. — неимоверными усилиями гвардейских отрядов и крестьян, согнанных с Сумского острова, из Соловецкого монастыря, а также Онежского, Белозерского, Каргопольского уездов, по непроходимым лесам и болотам в камско-повенецких дебрях была проложена дорога, на Онеге были заготовлены суда, а для их перевозки было доставлено свыше двух тыс. подвод⁹⁶.

Выдающиеся, почти сверхъестественные результаты, достигнутые за счет предельного напряжения сил нации, являлись живой иллюстрацией идеологии прорыва, которая пронизыва-

ла мысли и поступки ее главного разработчика. Согласимся с Д. Байрау: сила и преимущества России как великой державы основывались на умении мобилизовать «человеческий материал»⁹⁷. Вместе с тем сам концепт мобилизационного отклика не кажется столь односложным, каким он предстает из контекста высказывания. В нем можно увидеть сочетание по меньшей мере двух начал. С одной стороны, *навыка подчинения, усвоенного на уровне автоматических реакций* благодаря опыту систематического военно-гражданского взаимодействия и влиянию военного администрирования. С другой стороны, *волевой концентрации всех сил нации* на решающих направлениях борьбы с сильным противником. Именно в этом куражном поединке в широких массах находили опору устремления царя к форсированному одолению вековой отсталости. Момент конструктивного контакта, который возникал на этой почве между властью и обществом, сам Петр I считал главнейшим залогом российского возвышения. Данную мысль он пытался донести иностранным дипломатам, возражая против их упрощенной трактовки своего образа правления как помыкания забитым и бесправным народом. «Знаю, что меня считают тираном. Иностранцы говорят, что я повелеваю рабами. Это неправда: не знают всех обстоятельств. Я повелеваю подданными, повинующимися моим указам: эти указы содержат в себе пользу, а не вред государству. Надобно знать, как управлять народом. Английская вольность здесь не у места, как к стенке горох. Честный и разумный человек, усмотревший что-либо вредное или придумавший что полезное, может говорить мне прямо без боязни. Вы сами тому свидетели. Полезное я рад слушать и от последнего подданного. Доступ ко мне свободен, лишь бы не отнимали у меня времени бездельем. Недоброхоты мои и отечеству, конечно, мной недовольны. Невежество и упрямство всегда ополчались на меня с той поры, как задумал я ввести полезные перемены и исправить грубые нравы. Вот кто настоящие тираны, а не я. Я не усугубляю рабства, обуздывая озорство упрямых, смягчая дубовые сердца, не жестокосердствую, переодевая подданных в новое платье, заводя порядок в войсках и приучая к людскости, не тиранствую, когда правосудие осуждает злодея на смерть. Пускай злость клеветает: совесть моя чиста»⁹⁸.

Приведенный пассаж передавал пафос имперского строительства, в котором мерами оценки проделанной и предстоящей работы становились стандарты западной благоустроенности и полноправное членство в мировом сообществе. А средствами — плодотворное и заинтересованное сотрудничество правительственных и общественных сил. Впрочем, вполне возможно, что обозначенные царем критерии так и не переступили бы пределов метафизических понятий, если бы им не придали предметную наглядность война. Империя — овеществленная форма самоотверженных усилий масс — обретала практический смысл и обоснование в громких военных триумфах. Благодаря им она становилась и важнейшим объединяющим символом, содействовавшим примирению с действительностью давних оппонентов и даже хулителей петровских нововведений. Наиболее выразительный пример — записки И.А. Желябужского — видного дипломата второй половины XVII в., который служил отцу и старшему брату Петра I и ушел в отставку в 1689 г. после падения правительства Софьи. Несмотря на попытки автора без гнева и пристрастия компоновать свою панораму истории, сам отбор материала, акценты, на которых строилось его освещение, выражали неприязнь к идеям и деятелям Петровской эпохи. Однако эти ощущения улетучивались перед лицом блестящих побед русского оружия. Как ни старался, автор не мог подавить в себе восхищения грандиозной Полтавской викторией⁹⁹. Такая произвольная смена тональности не была единичным фактом. Независимо от личного отношения к персоне и делам преобразователя России, все современники-мемуаристы стремились воздать должное выдающимся подвигам армии, совершенным под его водительством¹⁰⁰.

Крупные военные столкновения активизировали склонность общественной мысли к сопоставлению отечественных сил с потенциалом других народов. А победные реляции с фронтов давали повод для уверенного отнесения России к клубу великих держав. Интересно, что в «сухом остатке» впечатления от кипучей петровской деятельности у ее современников и соучастников сводились именно к этому выводу. «Сей монарх отечество наше привел в сравнение с прочими; научил узнавать, что и мы

люди» — таким резюме завершал свой рассказ об эпохе Петра И.И. Неплюев¹⁰¹.

Несмотря на отсутствие письменных свидетельств на эту же тему рядовых граждан, с большой достоверностью можно предполагать, что *смысл перехода в новое измерение государственного развития* был понятен массовому сознанию. Он неизбежно прорастал в нем через постоянную причастность к делам и нуждам воюющей армии как в рамках государственного заказа, так и добровольной помощи в военных кампаниях. Закреплению его на эмоциональном уровне способствовали парадные шествия победоносного воинства, праздничные салюты и фейерверки, благодарственные молебны и народные гулянья по случаю побед, которыми была пронизана вся Петровская эпоха. Наблюдательный иностранец И.Г. Фоккеродт писал, что и после смерти Петра I люди простого звания так же признательно склоняли головы перед героической эпопеей ушедшего времени, как и ближайшая вооруженная опора царя — гвардейцы¹⁰². Прямую зависимость между военной закалкой, пройденной всем дееспособным населением России, и формированием принципиально новой коллективной идентичности признавал и подчеркивал величайший знаток Петровской эпохи С.М. Соловьев, хотя и формулировал эту мысль в несколько другой системе понятий. По его словам, война явилась «великой школой народа»: она впервые приучала его к соединению ранее разрозненных сил и давала «приготовление, необходимое в его новой жизни, в новых отношениях к другим народам»¹⁰³. В противоположность тому «войнобоязнь», «отвращение от подвигов, от жертвы» у некоторых народов, вроде поляков, по мнению историка, в исторической перспективе вели к упадку и развалу сообщества¹⁰⁴. Овладевая умами, имперская идея подготавливала почву для реального объединения в более высокую и тесную общность, чем та, которая существовала на момент начала Северной войны. Логика такой трансформации поясняет Г. Зиммель: «Превращение простого сосуществования в совместное существование, локального, как бы анатомического единства в физическое должно быть ... приписано общему и добровольному или вынужденному утеснению к некоторому третьему»¹⁰⁵.

Методология интеграции на милитаристской основе, хоро-

шо зарекомендовавшая себя на великорусском ареале, осторожно распространялась Петром I и на инородческие общины. Во всяком случае, в его правление была предпринята серия попыток включить представителей нерусских этносов в систему военной службы. Первый подступ к тому был сделан в 1722 г., когда царь дал заказ казанским татарам на поставку рекрутов. Присланные новобранцы были распределены по пехотным полкам, предварительно заручившись официальным разрешением на свободное отправление своего религиозного обряда. Тот же осведомленный Фоккеродт доносил о негодующих толках, которые в русском обществе вызвало намерение царя приобщить к регулярной армии поволжские народы. («Впрочем, многие того мнения, что это поступок, противный здравой политике, — обучать правильному военному искусству таких людей, которые в душе смертельные враги русским за разные напасти, какие должны были вынести от них, и только и ждут случая отомстить своим мучителям и возвратить себе опять прежнюю свободу»¹⁰⁶.) Между тем маловеры и пессимисты вскоре были жестоко посрамлены: мусульмане-татары показали себя примерными воинами, которые не нуждались ни в одергивании, ни в понукании командиров¹⁰⁷.

Измена И. С. Мазепы в 1708 г. дала Петру I повод поставить перед украинским казачеством вопрос о более четких военных обязательствах перед российскими властями. Если по условиям Жалованной грамоты Алексея Михайловича и «Статей Богдана Хмельницкого» украинские казаки должны были предоставлять военную поддержку российской армии только в периоды вторжения неприятеля, то по правилам Петра I круг ответственности был расширен. Отныне часть украинского казачества несла постоянную пограничную службу¹⁰⁸. Часть — привлекалась к участию в боевых походах русской армии. Изменился порядок и для донского казачества: теперь оно выставляло столько воинов, сколько запрашивал царь (хотя, как и ранее, держало от российской власти в секрете настоящие размеры своего войска). Донцы, сопровождавшие регулярную русскую армию во время шведского похода, проявляли чудеса храбрости и изобретательности, обрушивая на противника отточенные разящие удары. И. Г. Фоккеродт считал, что отчасти эта лояльность

была данью благодарности русскому государю за великодушие и милосердие, проявленные при подавлении восстания К. Булавина: несмотря на широкое участие в нем донцов, Петр I наказал лишь главных зачинщиков мятежа и не стал мстить простому народу. Несколько сложнее складывались отношения с запорожским казачеством, которое ревниво оберегало свою независимость и, приравниваясь к обстоятельствам, нанималось то на службу к полякам, то к туркам. Однако и здесь удалось достичь перелома: запорожцы признали над собой власть российской монархии и оказали ей ряд важных услуг в обороне от крымских татар¹⁰⁹.

При всех подвижках в отношениях центра с казачеством и рядом нерусских этносов процесс их включения в состав империи носил еще незавершенный характер. В этой связи приходилось продумывать меры по предотвращению потенциальных конфликтов и других «нештатных» ситуаций. Поэтому, подписывая в 1710 г. договор о принятии в российское подданство калмыков, уполномоченные правительственные чиновники отводили им для кочевья территорию между Доном и Волгой и особыми пунктами оговаривали участие в защите русских границ от набегов «кубанских и воровских донских казаков», а также помощь в подавлении башкирского восстания¹¹⁰. По свидетельству иностранных дипломатов, царь всячески старался расположить к себе калмыков, осыпая подарками хана Аюку и его приближенных. В благодарность за уважительное отношение к себе они дважды приходили на выручку русским войскам — один раз в начале Северной войны и второй — во время Каспийского похода¹¹¹.

Собирание различных народов и автономных социальных общностей, вроде казачества, под державным скипетром порой строилась, как сложная многоходовая партия. Формальное признание подданства далеко не всегда означало окончательное самоопределение принятого в состав империи народа. В этом отношении политика Петра I носила характер поиска удобных для державы и щадящих для присоединяемых народов способов объединения. Одним из наиболее перспективных был путь, связанный с установлением военного союза с инородческими общностями. Привлечение их к реализации военных планов России

с сохранением национально-конфессионального ритуала и привычных методов ведения боевых действий — не только не ущемляло национального достоинства малых народов, но и придавало черты партнерства этому взаимодействию. На протяжении всей Северной войны систематическую поддержку операциям регулярной армии оказывали иррегулярные войска общей численностью 125 тыс. человек, куда входили донские и украинские казаки, башкирские и калмыцкие кавалерийские отряды¹¹². Эти вспомогательные силы сыграли решающую роль на заключительном этапе войны — небольшие кавалерийские отряды, пересекавшие по льду Ботнический залив и наносившие неожиданные ночные визиты в неприятельские поселения, заставили шведов ускорить процесс выработки мирного договора.

Военные достижения выступали убедительным подтверждением совместной эффективности и служили веским аргументом в пользу складывающегося содружества народов. В контексте победоносного исхода войны империя вырастала до размеров величественного символа труда, упорства, веры и конечной справедливости. Неотъемлемым правом на свое отождествление с ним располагал любой, кто внес свою лепту в общее дело. Сформированное таким образом смысловое поле империи замыкало на себя самые разнообразные аспекты индивидуального и группового соотношения. Империя превращалась в потенциально самый сильнозаряженный элемент в плеяде социальных привязок личности, коллектива. В известной мере она уподоблялась христианскому царству, не различавшему на входе «ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного». Характерно, что и новоиспеченный «Император Всероссийский» рассматривал торжество 1721 г., возвестившее миру о рождении невиданной имперской державы, как праздник всех населяющих ее народов. По личному распоряжению царя Манифест об окончании Северной войны был переведен на татарский язык, и по местам расселения татар и башкир были разосланы государственные гонцы, сообщавшие о свершившихся событиях¹¹³.

Российский опыт имперского строительства в среде, с имманентно слабой предрасположенностью к интеграции, являлся особым случаем в общем ряду. Его специфика заключалась в отсутствии базового критерия, в котором многие историки, в

частности миросистемники (И. Валлерстайн, Д. Уилкинсон), видят решающую предпосылку соединения разрозненных конгломератов земель и народов в единое целое. Это — сеть постоянных взаимодействий разного типа, создающих «связность по деловому признаку» и стимулирующих непрерывный социокультурный обмен. Заметное оживление товарно-денежных отношений и торговли с западными странами в начале XVIII в. все еще не обеспечивало надежной экономической базой интеграционные процессы. Как и в XVI—XVII вв., в начале XVIII в. оставались низкими показатели урбанизации общества. Более того, в петровской и послепетровской России прослеживалась такая тенденция, как дезурбанизация¹¹⁴. (Например, по официальным данным в 1708 г. в стране числилось 339 городов, а в 1719 г. — 280¹¹⁵.) Сама мотивация градостроительства также не претерпела качественных изменений: если в XV—XVII вв. города возводились как крепости, предназначенные к защите наиболее уязвимых участков государственных границ, то в XVIII в. — как военно-административные центры, вызванные к жизни правительственными соображениями¹¹⁶. Принимая во внимание определяющий признак города — наличие посадской общины, большинство новоотстроенных поселений городского типа вряд ли можно было назвать городами в подлинном значении этого слова. С учетом этого факта следует признать слабый импульс к интеграции, который были способны породить российские регионы самостоятельно, без внешнего побуждающего воздействия.

Выход из положения был найден в милитаризации социума за счет плотного приобщения к обслуживанию военных нужд государства и перенесении на гражданскую жизнь норм и правил военной организации. Другими словами, стягивание рыхлого, дискретного пространства в политический континуум шло через его превращение в операционный базис, своеобразный территориальный плацдарм военной экспансии. Эта техника кардинально отличалась от методик, апробированных западными и даже незападными странами. Там единство достигалось с помощью усилий множественных социальных агентов, участвовавших в производстве и обмене. Активность торгового, промышленного и финансового капитала позволяла плавно и орга-

нично преодолеть разобщенность на основе экономической кооперации и без кулачных ударов со стороны государственной власти. Политическое единство, таким образом, выступало производным национальной экономики, которую Ф. Бродель характеризует как «связное и унифицированное экономическое пространство, деятельность различных частей которого может быть объединена в рамках одного общего направления». В свою очередь, складывание такой экономики, по словам французского автора, было опосредовано «нейтралитетом или слабостью, или потворством государства». Пример идеально гладкого течения этого процесса дала Англия — там «нигде и ни разу двигатель этого развития не заклинило, нигде и ни разу не возникали узкие места»¹¹⁷.

В той же манере созидались и великие империи. По определению Броделя, государства, пионеры первоначального накопления капитала, строили «дисперсные империи», опиравшиеся на сеть торговых постов — своего рода «длинную капиталистическую антенну». Они могут быть так же охарактеризованы и как империи «на финикийский лад», так как базу их могущества составляла «громкая паутина торговых операций и обменов». Возникавшее сцепление экономических взаимозависимостей и было той силой, которая удерживала удаленные части империи под контролем метрополии. Плотность взаимосвязей делала излишним не только присутствие военного контингента метрополии, но и формирование большого административного аппарата. Так, например, зависимость североамериканских колоний от кредитов лондонского Сити и поставок английских товаров определила собой их довольно позднее отложение от метрополии¹¹⁸. Характерно, что и в условиях английской оккупации Индостана мощный военный потенциал метрополии, как правило, оставался запасным аргументом, прибегаемым на крайний случай. И после напористого вторжения на эту территорию, по словам Броделя, англичане предпочитали «торговать со шпагой в руке»¹¹⁹. Реальные сверхприбыли, извлекаемые из освоения азиатских рынков и внутриазиатской торговли, в их глазах значили неизмеримо больше, нежели эфемерное политическое господство, навязанное силовым путем¹²⁰.

Достаточно осмотрительно англичане, а вместе с ними и

французы вели себя в Новом Свете, где до них уже проложила первую борозду иберийская колонизация. В отличие от иберийских коллег, стремившихся всеми возможными способами закабалить туземцев, англичане и французы были нацелены на более или менее легитимное и мирное закрепление на осваиваемом материке. Этому содействовала практика установления прав собственности на землю, опиравшаяся на принцип римского права *res nullius*: неводеланная земля переходила в частные руки того, кто первым приступил к ее агрикультурной обработке. Кроме того, вплоть до конца XIX в., продвигаясь в глубь континента, они старались входить в соглашение с индейцами или заключать с ними земельные сделки. Ставка, сделанная на коммерческие связи и юридически оформленные отношения с местным населением, достаточно умеренный вывоз драгоценных металлов из колоний обусловили большую прочность англо-французского владычества в сравнении с испано-португальским. Эксперт по колониальной проблематике маркиз Мирабо в 1758 г. пророчил несокрушимую мощь и процветание Британской империи, основанной, по его отзыву, на принципах парламентского права и просвещения¹²¹. А английский историк XIX—начала XX в. Дж.Р. Сили на том же основании считал, что к Британской империи неприменима традиционная схема отношений метрополия с колониями: «... английская империя не есть империя в обыкновенном смысле слова. Она не состоит из народов, связанных между собой насильственно, но представляет собой, в общем, одну нацию, и потому она, собственно, не империя, а обыкновенное государство»¹²².

Совсем другой опыт предложили государства Иберийского полуострова, отправлявшие своих конкистадоров на добычу военных лавров и трофеев в Новый Свет уже в XVI в. Услужливые испанские идеологи постарались придать завоеваниям здесь сходство с героической Реконкистой. По словам А. Пагдена, «предприятиям сомнительной ценности была придана эсхатологическая значимость», а беспринципные авантюристы вроде Эрнана Кортеса или Франсиско Писарро снискали ореол наследников величайшего героя XI в. Эл Сиды¹²³. Такой подход развязывал руки колонизатору, который, по словам Л. Сеа, вел себя как «пионер, завоеватель, поселенец и пастырь одновре-

менно». Он был преисполнен гордости за свои свершения и «ни перед кем не нес ответа»¹²⁴. Однако вскоре власти в метрополии были поставлены перед необходимостью обеспечения послушности колоний. (Так, несмотря на формальное объявление их частью королевства Кастилии в 1523 г., даже могущественный Карл V упоминал о них в перечне своих титулов отдельной строкой.) Решение проблемы было найдено, во-первых, в насаждении своеобразного управленческого плюрализма. Помимо вчерашних конкистадоров, превратившихся в плантаторов-энкомендейро, агентами метрополии на местах стали чиновники-коррехидоры и аудиторы (члены колониальных судебных парламентов — аудиенсий). Во-вторых, в установлении фьефа-ренты, но не фьефа-лена в качестве вознаграждения для энкомендейро. Последние рассматривались только как уполномоченные по организации труда индейцев с правом удержания фиксированной части прибавочного продукта¹²⁵.

Само колониальное хозяйство, развернутое в Иbero-Америке, строилось наподобие грандиозной помпы по выкачиванию благородных металлов и экзотических продуктов. На уровне петли обратной связи неуклонно набирала обороты испанская военная машина, периодически взрывавшая мир в Старом Свете. Неумное стяжательство в конечном счете подрывало экономику самой метрополии. Массированная инфляция от наводнения внутреннего рынка золотыми слитками оборачивалась стагнацией производительных сил и вырождением духа свободного предпринимательства. Вырваться из порочного круга постоянной переработки продуктов копей в ассортимент военных трофеев не удалось даже Бурбонам, пытавшимся в 1770—1780-х гг. применить здесь рецепты кольберовского оздоровления экономики¹²⁶. На схожих принципах основывалось и португальское колониальное хозяйство. Вооруженные отряды бандейратов растекались по бразильской территории из укрепленного центра — капитании Сан-Висенте в поисках сокровищ и индейских невольников, наживали сказочные состояния, а между тем сама метрополия отнюдь не шла к процветанию¹²⁷. Хищническое хозяйничанье колонизаторов оборачивалось для туземцев выхолащиванием потенций полноценного развития. Поэтому после освобождения большинства латиноамерикан-

ских стран от иберийского господства в конце первой четверти XIX в., как отмечает Л. Сеа, на повестке дня встал вопрос о реколонилизации собственной территории и регенерации нации¹²⁸.

Как видно из сравнительного обзора имперских моделей, России был чужд английский почерк с его взвешенным коммерческим расчетом и юридически грамотным подходом в присоединении новых территорий. Равным образом ей претил иберийский стиль с паразитированием на колониальных ресурсах. Не пошла Россия и по стопам Австрийской монархии, собиравшей разнородные территории и этносы с помощью династических браков, но не соединявшей их в дружную семью. По мнению самих же австрийских политических деятелей, и в начале XIX в. Австрия являла собой «чисто воображаемое название... австрийской национальности нет и не было никогда... австрийцу чуждо национальное чувство, национальная гордость»¹²⁹. По мере своего державного укрепления Россия смещалась и с оси восточных империй. В этом плане деятельность Петра I может быть рассмотрена под углом зрения переключения с одной парадигмы имперского строительства на другую. Несмотря на то что рычагом этого поворота служила милитаризация, а не экономическая интеграция, Россия по ряду основополагающих позиций обретала способность успешно конкурировать с государствами-тяжеловесами западного мира, а в экстремальных обстоятельствах — противостоять им единой сражающейся общностью.

Разумеется, в милитаризованном варианте имперского строительства был заложен менее долговечный эксплуатационный ресурс, чем в либеральной западной, а к осознанию державной мощи примешивалось ощущение изрядной тяжести имперского бремени. Интереснейшую зарисовку подобного амбивалентного восприятия имперского статуса России привел в своих записях И.Г. Фоккеродт, попытавшийся суммировать суждения на этот счет своих многочисленных русских собеседников. В его изложении — это целый список *pro* и *contra* империи. Сильная армия рождала патриотическую гордость, но вызывала возражение как фактор, который теперь чаще, чем когда бы то ни было прежде, вводил правящие верхи в соблазн ввязывания в новые войны. Международное признание России было, возможно, и отрадно, но не окупало издержек беспокойного суще-

ствования, на которое оно обрекало общество. Привлекательность эффективной карьеры на служебном поприще меркла на фоне потерь в доходах с земли, которые несли служилые люди¹³⁰. А территориальные приобретения, хотя и увеличивали вес империи, но не приносили природным россиянам никаких благ, «кроме чести оберегать чужой народ на свой счет да защищать его своей же кровью»¹³¹. Отчет Фоккеродта доносил настроения той публики, которая, конечно же, несла свою ношу обязанностей и тем самым содействовала петровской перестройке, но делала это через силу и без вдохновения. Нигилистический отзвук в оценке содеянного был частью естественной реакции на спад напряжения, последовавший за кончиной основателя империи. Совершенно очевидно, что стремительный взлет государства, совершенный в военное время, чрезвычайными методами и на базе милитаризации всего социума, остро нуждался в подкреплении конкретными и ощутимыми для граждан преимуществами проживания в обновленном сообществе. Не отступая от истины, можно допустить, что в своей логической перспективе имперский проект Петра I вел к этой цели. Истовое желание привить к российскому «дичку» плодоносную ветвь западных знаний и организации в конечном счете было продиктовано заботой о подъеме народного благосостояния. А приглашение к обмену опытом, сотрудничеству и совместному пользованию продуктами труда, адресованное всем народам империи, позволяет в последовательном развитии этой линии увидеть концепцию единого имперского гражданства с ее принципом равных прав и обязанностей для всего этноконфессионального спектра. Правда, реализация этих тенденций с 1725 г. выпадала преемникам Петра Великого.

3.2. Пути имперского строительства после Петра I: военная и гражданская парадигмы

Послепетровское имперское строительство шло уже проторенным путем. Несмотря на периодически предпринимавшуюся реорганизацию областного управления, для всего XVIII в. константными величинами оставались насквозь военизированная вертикаль административной власти и система контроля с

опорой на низовые звенья государственного аппарата. Характерно, что в процессе пересмотра системы управления сразу после смерти Петра I особое значение придавалось адекватному замещению штабного двора и полкового командования. Поэтому восстановленные в 1727 г. уезды во главе с воеводами, хотя и отличались по своим размерам и главным начальствующим лицам от прежних дистриктов, во многом сохраняли их композиционное строение и принципы администрирования. Преемственность с петровским временем проявлялась в самом размещении воеводских канцелярий в освободившихся полковых дворах. В своей текущей работе воеводы также опирались на военные отряды и офицеров действующей армии¹. Наконец, важнейшим нормативным документом в отправлении их обязанностей по-прежнему оставался «Плакат» от 26 июня 1724 г.². Сохранялась в силе даже знаменитая приверженность стандартизации: она давала о себе знать в правительственном требовании единообразной постройки губернаторских и воеводских дворов по всей России. По этому поводу историк Ю.В. Готье замечал, что «над послепетровской Россией носился призрак регулярного государства»³.

Возвращение к основам петровской государственности спустя год-два после попыток их подвергнуть ревизии прослеживалось и в очередном заполнении областных структур военными чинами. Так, вплоть до введения новых штатов Екатерины II в 1763 г. вторым должностным лицом в уезде являлся обер-офицер при подушном сборе, который рассматривался в качестве заместителя воеводы, а в его отсутствие превращался в центральную фигуру управления⁴. Итак, пробный ход послепетровского правительства, направленный на ограничение военного администрирования, потерпел провал и закончился абсолютной регенерацией военного элемента в управлении. По данным обер-секретаря Сената И.К. Кириллова, на 1727 г. в губернской, провинциальной и городской администрации было задействовано 2217 офицерских и унтер-офицерских чинов, наряду с 1189 табельными чиновниками и 3685 приказными служителями⁵. Вплоть до конца XVIII в. требованием чиновничьего профессионализма оставался универсализм производственных навыков: владение управленческими техниками и

азами делопроизводства ценилось лишь в комплексе с умением «нести всякие полковые службы»⁶. Следование петровской традиции милитаризованного управления проявлялось и в кадровой политике по привлечению в административный аппарат чиновников с военным послужным списком. По данным С.М. Троицкого на 1755 г., 445 человек из корпуса областных администраторов табельных должностей, или 53,3% от всего его состава, являлись выпускниками кадетских корпусов либо имели солидный стаж военной службы. А из 16 глав губерний 13 прежде служили в армии⁷.

Концентрация бывших военных чинов в структурах местного управления начала падать только со времен Екатерины II, притом только в низшем звене. Среди чиновников среднего звена отставники составляли 73%. А губернаторский корпус был практически тотально военным. 77 губернаторов, в общей сложности получивших назначение после 1775 г., имели генеральское звание. Опираясь на эту статистику, американский исследователь Дж. Ледонн заметил, что российская провинция по ходу реализации губернской реформы 1775 г. пережила интервенцию генерал-майоров⁸. А за промежуток времени с 1776 г. по 1796 г. в особой должности генерал-губернаторов было утверждено 45 человек⁹. Наибольшее количество этих назначений выпало на короткий период 1778—1781 гг., когда был оформлен институт наместничества. 17 генерал-губернаторов-наместников, с 1781 г. объединявших в своих руках управление несколькими губерниями, были кадровыми военными, причем шестеро имели высшее воинское звание генерал-фельдмаршала (единственным гражданским лицом в этой сугубо военной команде был Р.И. Воронцов). Авторы современного труда, посвященного институту генерал-губернаторов и наместников, отмечают, что все персоналии из этого списка зарекомендовали себя как толковые и добросовестные администраторы¹⁰.

При Павле I институт наместников был упразднен. Однако взамен в 11 регионах империи была введена должность генерал-губернатора, а в обеих столицах учреждались посты военного губернатора, коменданта, плац-майора¹¹. По заключению современных исследователей, роль военного губернатора, ставшая вскоре эталонной, содействовала дальнейшей милитариза-

ции и функций генерал-губернатора¹². При Александре I в дополнение к военному руководству, осуществлявшемуся в столицах и пограничных районах, был образован Корпус внутренней стражи. В конце александровского правления был выработан проект разделения всей империи на генерал-губернаторские округа, призванные дать более равномерное распределение военному элементу по территории страны. Несмотря на отклонение проекта в 1827 г. после смерти императора, позиции милитаризма в государственном аппарате ничуть не были поколеблены. Применительно к правлению Николая I скорее приходится констатировать возрастание формальной и неформальной роли военнослужащих. Так, в проведении ревизии губернской администрации император предпочитал пользоваться услугами своих флигель-адъютантов, подобно тому, как Петр I — услугами гвардейцев. По данным за 1853 г., только 12 губернаторов в европейской части России были гражданскими лицами. В 14 других губерниях наряду с гражданскими губернаторами имелись либо военные губернаторы, либо военные генерал-губернаторы. А в остальных 23 губерниях целиком и полностью управляли военные чины¹³.

Итак, в течение полутора столетий местное управление в России продолжало развиваться на базе принципов, заложенных Петром I. Постоянно возобновляющееся милитаристское наполнение областных учреждений вряд ли объяснимо силой инерции, присущей организации власти. Не слишком корректна и отсылка на всегдашний российский неудовлетворенный спрос на компетентных и культурных гражданских чиновников. Оставаясь в пределах вполне релевантной исторической альтернативы, можно предположить, что почти неограниченный потенциал верховной власти позволял так же оперативно решить проблему подготовки кадров гражданских чиновников, как в свое время был построен флот, создано отечественное мануфактурное производство и обучена регулярная армия. Очевидно, в непрерывном воспроизводстве военизированной бюрократии следует видеть выражение долгосрочного социального запроса. В свою очередь, такой запрос рождался в процессе поиска управленческих алгоритмов, адекватных имперскому государству, с его территориальным размахом и большим разбро-

сом в показателях регионального развития. Здесь представители военной организации пользовались преференцией над гражданской бюрократией по нескольким принципиальным соображениям. Военная выправка и дисциплина, служебная ответственность, относительно высокая защищенность от коррупции (согласимся с современными авторами, что стереотип генерал-губернаторского взяточничества не более чем литературный штамп и миф!)¹⁴ предоставляли более надежную опору власти в реализации имперской программы, нежели привычки гражданской бюрократии. Качества, наработанные на профессионально-военном поприще, обеспечивали единство воли и стиля в функционировании правительственной системы и доставляли верховной власти способность быть поистине вездесущей.

Милитаризованный во всех своих уровневых структурах государственный аппарат гарантировал максимальную скорость и чистоту приема сигналов, посылавшихся из центра в удаленные районы. По справедливому замечанию английского историка Дж. Кипа, управленцы на местах, облаченные в военные мундиры, были людьми, которые выполняли свои функции сугубо в механистическом духе, на базе строгих дисциплинарных правил¹⁵. С этим трудно не согласиться: данная формация полномочных представителей имперской власти в регионах всем предшествующим опытом была обучена воспринимать любое входящее предписание как приказ, не допускающий ни альтернативных толкований, ни отсрочек в своем исполнении. Но именно в этой привычке и состояла самая выгодная сторона для верховной власти, позволявшая получать оперативную и четкую информацию и целенаправленно корректировать обстановку на местах. Поэтому не согласимся с другим мнением английского исследователя о том, что военизированная вертикаль имперской администрации, сохранявшаяся вплоть до великих реформ, была вынужденным следствием четырех недостатков: 1) отсутствия социальных резервов, из которых могла бы пополняться гражданская бюрократия (дворянство поступало на военную службу, а люди простых званий мало и неохотно зачислялись на гражданскую службу); 2) неразвитого гражданского образования, которое заметно отставало по качеству обу-

чения и объемам выпускников от военной профессиональной школы; 3) принудительного, насильственного характера большинства проектов власти, которые требовали исполнителей с соответствующей подготовкой и внутренней предрасположенностью; 4) большого количества сверхкомплектных военнослужащих и отставных офицеров, которые пользовались преимуществами при поступлении на службу в гражданские органы и содействовали сохранению их военизированного облика¹⁶. Не отрицая значения этих факторов, все же подчеркнем еще раз *глубоко органичный для активной фазы имперского роста приоритет военного администрирования*. Он был полностью оправдан для условий неотлаженной экономической кооперации регионов и косного общественного сознания. Вместе с тем итоговые результаты военного управления зависели, во-первых, от того, в какой мере оно было способно обеспечивать более или менее согласующееся развитие регионов, а во-вторых, насколько естественно оно сопрягалось с их хозяйственным оживлением.

Однако именно в этих аспектах политика послепетровских правительств отличалась сильными колебаниями и противоречиями. Так, вразрез с генеральной линией имперской автократии, которая, по определению Д. Ливена, заключалась в стандартизации социально-политических рамок развития на всем государственном пространстве¹⁷, некоторые этнонациональные группы и территории переводились на особое положение. Например, в 1728 г. по челобитью башкир уфимская провинция была выведена из сферы компетенции казанского губернатора и передана в непосредственное ведение Сената. А Сибирь — подчинена восстановленному Сибирскому приказу, который заведовал ею вплоть до реформ Екатерины II¹⁸. Послабления получила Украина: отменялось установленное Петром I налогообложение и возобновлялось ее гетманское правление¹⁹. Заметная обособленность сохранялась практически до конца XVIII в. Даже учреждая после официального упразднения гетманства в 1764 г. Слободско-Украинские губернии, Екатерина II декларировала оставление их при «прежних подтвержденных привилегиях и жалованных грамотах»²⁰. Еще сильнее с течением времени замкнулась в своих границах Прибалтика. По справед-

ливой оценке А. Каппелера, на протяжении всего XVIII в. в ней укреплялось олигархическое господство немецко-балтийского дворянства и поддерживался в неприкосновенности традиционно-исторический строй городской жизни и судопроизводства. По сути, единственной связующей нитью между остзейскими губерниями и политическим центром, как констатирует тот же автор, являлись генерал-губернаторы. Впрочем, являясь по большей части представителями местного дворянства, они были ориентированы не столько на усиление позиций центральной власти, сколько на замораживание сложившегося положения вещей²¹. Прибалтийская автономия начала понемногу преодолеваться лишь после 1845 г.²²

Региональная дифференциация России нарастала также по ходу раздвижения западных границ за счет присоединения Литвы, Волыни и Курляндии в конце XVIII в., а в начале XIX в. — Финляндии и герцогства Варшавского. После короткого периода метаний в правительственной политике по отношению к Литве был выработан ровный и определенный подход, основанный на признании особого статуса и сохранении традиционных институтов²³. А в отношении Финляндии и Царства Польского изначально был взят курс на автономизацию. Как утверждает А. Каппелер, полученная поляками из рук Александра I конституция была самой либеральной в тогдашней Европе²⁴. Конституционное правление Финляндии и Польши в совокупности с представительными учреждениями, собственным судом, администрацией, национальной валютой и даже своей маленькой армией, как считают современные историки, грубо нарушало единство внутреннего устройства империи и создавало почву для развития сепаратистских движений на этих окраинах²⁵.

В рамках гетерогенного политического пространства, закреплявшегося по воле верховной власти, неизбежно переосмысливались ролевые функции военных администраторов. Априорно призванная служить унификации регионов, генерал-губернаторская власть превращалась в инструмент их диверсификации. По заключению современных исследователей, во внутренних великорусских губерниях генерал-губернатор воплощал собой, главным образом, высший надзор за предусмотренным порядком. На окраинах надзорные функции осла-

бевали, вместо них на передний план выдвигалась управленческая и культуртрегерская миссия. Что касается западных и юго-западных регионов, то здесь во главу угла генерал-губернаторской деятельности ставилось предупреждение национально-освободительных выступлений, в Прибалтике — поддержание особого режима управления и привилегий немецко-балтийской верхушки²⁶. В Польше отправление наместничьей должности до восстания 1830—1831 гг. рассматривалось в свете гарантий исключительных прав края. В этом отношении показательным был сам выбор первой кандидатуры: наместником стал старый генерал Речи Посполитой, а впоследствии наполеоновский военачальник Ю. Зайончек²⁷.

Дисбаланс в политико-правовых статусах регионов отчасти мог быть скорректирован установлением более или менее однородных условий для хозяйствующих субъектов по всей территории страны. Однако и здесь были очевидны большие перекосы. Национальные меньшинства попадали в более выгодную фискальную ситуацию, чем великорусское население. В то время, когда великорусские крестьяне были переведены на принцип поголовного налогообложения, земледельческое население Сибири продолжало платить налоги со двора, а другие инородцы окраин, включенные в категорию государственных крестьян, — ясак, размер которого был много ниже подушной подати. Башкиры, татары, мещеряки и вовсе были освобождены от уплаты прямых налогов²⁸. Почти до конца XVIII в. подушная подать не распространялась на районы Прибалтики, Финляндии (Выборгская губерния), Украины, земли войска Донского. А после ее введения там уровень платежей все равно оставался ниже, чем в центральных районах (например, наряду с подушной податью, великорусские государственные крестьяне вносили в казну оброчный сбор в размере трех рублей, а крестьяне нерусских губерний платили казне всего только один рубль).

Большие льготы и исключения для инородческого населения предусматривались и в отбывании рекрутской повинности. До конца XVIII в. под нее не попадали жители Украины, Прибалтики, Выборгской губернии, коренное население Санкт-Петербургской губернии, Оренбургской, Казанской и Нижегородской губерний. До конца 80-х годов XVIII в. для жителей Белго-

родской и Воронежской губерний рекрутчина заменялась участием в обороне южных границ в составе ландмилицких полков²⁹. Преимуществами пользовались и иностранные колонисты, прибывавшие в Россию с 60-х годов XVIII в. Стимулируя этот приток, власти предоставляли свободу вероисповедания, внутреннее самоуправление, длительное освобождение от налоговых платежей и рекрутских наборов³⁰. Опора на великорусское население как фундаментальный принцип в армейском строительстве подтверждалась резолюциями Военной комиссии 1763—1764 гг. В них подчеркивалось, что главными источниками силы войска были и являются общие «язык, вера, обычай и родство»³¹.

В начале XIX в., наряду с другими привилегиями, свободу от рекрутчины получали Финляндия, Польша, Бессарабия. По данным 10-й ревизии (1858 г.) из 29,5 млн. жителей мужского пола соответствующего социального положения и проживающих в европейской части России (за вычетом Польши и Финляндии) в рекрутской повинности участвовало только 23,5 млн. человек, шесть млн., или 20%, от нее были освобождены полностью или частично³². Если учесть, что призванная в армию масса навсегда выбывала из своего прежнего социального состояния и сферы профессиональной занятости, то следует признать больше шансов на уверенное планирование своей деятельности и стабильное хозяйствование за инородческим, а не великорусским населением. Дискриминационные меры вводились только для евреев. В 1769 г. для них была установлена черта оседлости, а в 1794 г. — двойная норма налогообложения по купеческому или мещанскому состоянию. А в период с 1827 по 1856 г. вместо прежнего законного права откупаться от рекрутской повинности на еврейские общины была наложена обязанность поставки мальчиков в возрасте 12—18 лет для пополнения категории кантонистов, а также юношей для рекрутской службы³³. Таким образом, исключая ситуацию с евреями, и в первой половине XIX в. российские власти более последовательно содействовали хозяйственному подъему нерусских окраин, нежели великорусских областей. По мнению крупного знатока социально-демографической проблематики В.М. Кабузана, на окраинах быстрее, чем в центре, складывались прогрессивные,

капиталистические отношения. А подавляющее большинство туземного населения нерусских регионов состояло в свободных сословиях государственных крестьян, мещан, купцов и пользовалось большим объемом гражданских прав и хозяйственной самостоятельности, чем великорусское население. Последнее также имело в своем составе наивысший процент крепостных крестьян вплоть до 1861 г.³⁴. (Для сравнения: крепостное право в Эстляндии было отменено в 1816 г., в Курляндии — в 1817 г., в Лифляндии — в 1819 г.)

В подобных обстоятельствах военный контроль, осуществлявшийся по линии военно-административного управления и репрессивного применения воинских частей, становился частью механизма торможения для великорусских областей. Его функции были развернуты в сторону практического обеспечения режима крепостной зависимости и ужесточенной сословной парадигмы общества — восходящим капиталистическим токам в крестьянском хозяйстве приходилось пробиваться сквозь строй рогаток и препон, расставленных властью и гарантированных силовыми структурами. А поднимавшемуся великорусскому производителю требовались поистине железная выносливость и терпение для того, чтобы в неравной борьбе с государственным молохом отстоять свое право на существование³⁵. На фоне увеличивавшегося разрыва в темпах и условиях развития нерусских и великорусских регионов роль армии на имперском пространстве все больше уподоблялась должности сурового Харона у пограничья, отделявшего царство живых от царства мертвых.

С охранительными обязанностями в рамках имперского порядка часто смыкалась хозяйственно-устроительная деятельность воинских частей. Начатая Петром I работа по инвентаризации ресурсов страны и превращению их в полезный государственный фонд при его преемниках мельчала и велась «клочками». Интенсивное многовекторное дорожное строительство Петра Великого, нацеленное на сообщение северных регионов с южными (Азов, Воронеж), где располагались судостроительные верфи, на установление связи с центром разбросанных по уездам полков (так называемая «почта в полки», или полевая почта) после его смерти приходило в упадок либо продолжалось на очень избирательной основе. Приостановилась постройка и

ряда важнейших водотранспортных систем (Волго-Донской, Ивановский, Двинский каналы)³⁶. Военные приоритеты по-прежнему определяли направления и скорость дорожного строительства (Канцелярия от строения государственных дорог, учрежденная в 1755 г., санкционировала те или иные проекты главным образом под давлением военных)³⁷. Однако, утратив петровский размах и оживляющую силу, строительство ведомственных путей сообщения отнюдь не всегда служило общественным потребностям. Лишь редким из них было суждено превратиться со временем в артерии товарообмена. Бывало и так, что сделанные вложения труда не окупали себя. Выразительный пример подобного нерентабельного инвестирования приводил в своих мемуарах Ф.Ф. Вигель: в начале XIX в. в Перми по приказу генерал-губернатора К.Ф. Модераха были проложены великолепные шоссейные дороги. Неуместный атрибут захудалого городишка, к тому же простаивающий без пользы дела, вскоре стал притчей во языцех³⁸.

Касаясь методологии хозяйственного освоения страны до-реформенного времени, военный министр Д.А. Милютин заострял внимание на той гипертрофированной роли, которая в ней отводилась военнотружущему регулярной армии. Без этой фигуры «не было возможности обойтись не только для производства казенных построек военного, морского и гражданских ведомств, но и для первоначального устройства станиц и селений, для почтовой гоньбы» и для других разнообразных потребностей в пустынном крае³⁹. Роль «человека с ружьем» в деле колонизации и объединения имперского пространства заключалась в установлении первичной инфраструктуры, по сути дела, своеобразной внешней коробки, которая могла заполниться содержимым отнюдь не сразу. Если североамериканский колонизатор просчитывал с точки зрения рисков и выгоды каждый очередной шаг и отодвигал границу своего обитания по мере прочного хозяйственного закрепления на занятой территории, то российский вооруженный землепроходец лишь устанавливал военно-административные вехи на пути своего продвижения и слегка обустроивал места стоянок. Типичный образчик такой деятельности дает экспедиция начала 50-х годов XIX в. знаменитого губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева (Амурского),

много сделавшего для изучения и освоения Дальневосточного края. Передвигаясь во главе небольшой флотилии вниз по течению Амура, Муравьев всюду, где было только возможно, закладывал небольшие форты и оставлял на местах по маленькому гарнизону⁴⁰. Дальнейшая их судьба отдавалась в волю божью.

По большей части военный колонизатор делал свою работу впрок, не принимая в расчет вероятность того, что она может быть забракована последующей историей. Вне демографического оживления и естественного роста экономики чаще всего так и происходило — затраченные усилия уходили, как вода, в песок.

Отдельная проблема — отношение самих военных кругов к стратегии имперского развития, которой вольно или невольно они следовали на практике. По-видимому, здесь следует говорить о двойственности позиции военнослужащих. С одной стороны, связанные присягой и императивом безоговорочной поддержки трона, они свято и неукоснительно выполняли предписанные правила. Мысли о лучшем обустройстве империи держались при себе, до редкого случая придать их огласке. С другой стороны, именно военным приходилось гасить вспышки агрессии, которую иногда порождали окраины. Это обстоятельство обуславливало обостренную чуткость военного мнения к решениям верховной власти, чреватым нагнетанием напряженности в межнациональных отношениях.

В начале XIX в. крупные военачальники русской армии достаточно критически отнеслись к курсу царя по отношению к непокорной Литве. Как известно, в 1812 г. при вступлении наполеоновских войск в западные пределы России, местные жители оказали радушный прием пришельцам и радостно включились в празднование памятных дат Первой империи. А вслед за тем массами потекли во вновь формируемые литовские полки Великой армии⁴¹. Среди 560 тыс. солдат и офицеров наполеоновской армии, сражавшихся в России, было около 15 тыс. жителей этого региона⁴². П.И. Багратион, командовавший 2-й армией, не переставал жаловаться на то, что его Литовский уланский полк, набранный из уроженцев края, совершенно отбился от рук⁴³. Вместе с тем, невзирая на решимость командиров русской армии преподать урок ненадежным жителям этой страны,

император Александр I в день своего рождения 24 декабря 1812 г. объявил им высочайшее прощение⁴⁴. Благодушие, проявленное к самостийно отложившейся окраине, вызвало сильный ропот в армейской среде. Но в 1817 г. последовал новый вызов: вопреки негативному мнению известных генералов, из тех же политически неустойчивых элементов решением царя был образован Литовский корпус, размещавшийся на территории Царства Польского в составе Резервного корпуса цесаревича Константина Павловича. Полки корпуса носили имена западно-русских городов и областей, в которых они были набраны, имели в своем обмундировании красивый желтый с серебряным прибор, говорили исключительно на польском и литовском языках, несмотря на то что в статусе командного значился русский⁴⁵. Ошибочность этого проекта показало восстание 1830—1831 гг. Воинское соединение из литовцев, поляков и жителей других западных областей, развернутое к тому времени в 6-й корпус российской армии, постоянно колебалось между верностью присяге и симпатиями к польским повстанцам.

«Литовская история» высветила лишь часть того проблемного узла, который завязывался в отношениях правительства с его вооруженной опорой в лице русских командиров. Наиболее сильным испытанием для военного конформизма явилось претворение отдельной программы развития для Царства Польского, начавшееся с момента открытия императором польского сейма в 1818 г. Следует думать, что неприемлемым для многих военных в этом прецеденте стал не факт получения поляками конституции (тем более что в официальной версии он подавался в виде «обкатки» опытного образца перед запуском в «серийное» производство на территории всей империи). Военные, как и многие гражданские свидетели и комментаторы этого события, были задеты противопоставлением поляков в качестве передового отряда имперских подданных всей остальной массе. Обмен мнениями знаменитых русских генералов — А.А. Закревского, П.Д. Киселева и других, приведенный в книге историка М.А. Давыдова, показывает, что представители военного истеблишмента были скорее озадачены, чем воодушевлены поступком царя. Им претил ярлык «второсортности», который навешивался на великорусский этнос, а благодарность поляков

внушала большие сомнения⁴⁶. С позиций защитного консерватизма планы императора попытался оспорить Н.М. Карамзин в публицистической записке «Мнение русского гражданина». Призвав на помощь весь авторитет первого историка и благомыслящего патриота, автор постарался открыть царю глаза на пагубность этого шага с точки зрения сохранения имперской целостности: «Литва, Волыния желают Королевства Польского, но мы желаем единой империи Российской... поляки, законом утвержденные в достоинстве особенного, державного народа, для нас опаснее поляков-россиян»⁴⁷. Судя по реакциям, те же мысли приходили на ум генералам, присутствовавшим по венценосной воле в качестве русской массовки на польских торжествах. С нескрываемым раздражением впоследствии описывал этот эпизод генерал И.Ф. Паскевич: «На одном из смотров подхожу я к графу Милорадовичу и графу Остерману (они тут же были, даже их держали в Варшаве, как и нас, в черном теле, вероятно, также, чтобы привлечь любовь польских генералов армии Наполеона) и спросил их: «Что из этого будет?» Граф Остерман ответил: «А вот что будет: что ты через десять лет со своей дивизией будешь их штурмом брать!» Он ошибся на три года», — завершал свой рассказ генерал, будущий усмиритель поляков в 1831 г.⁴⁸

Восстановив власть российской монархии в Польше в 1831 г. и снискав за это право на откровенность, И.Ф. Паскевич без обиняков заявил Николаю I: «Я всегда был того мнения, что короче всего было бы присоединить Царство Польское к империи и устроить общее правление». Выравнивание политического статуса Польши, по мнению генерала, следовало подкрепить усиленным военно-полицейским порядком. Аналогичные меры, по его понятиям, было бы целесообразно применить и к остальным неблагонадежным окраинам империи⁴⁹. Провозглашенные принципы фельдмаршал, как мог, проводил в жизнь в течение своего пребывания на посту наместника Польши с 1831 г. по 1856 г.⁵⁰

Стремление к нивелировке различий в условиях проживания этносов, характерное для военной элиты, навряд ли можно отнести к русскому этноцентризму: такое допущение отпадает само собой, стоит хотя вспомнить, что упомянутые участники

кулуарного фрондерства 1818 г., включая Паскевича, были лицами нерусского происхождения. Для абсолютного большинства думающих военных профессионалов главный предмет озабоченности состоял в зыбкости устоев империи, где бок о бок соседствовали ущемленные и привилегированные народы. Притом, что примечательно, к разряду ущемленных причислялись не только представители великорусского этноса, но и некоторые другие этнические группы.

Достаточно показательной в этом плане была история со славянофилом Ю. Ф. Самариным, который, хотя и не был военным, а служил в Министерстве внутренних дел, однако выражал взгляды, созвучные многим военным служащим. В 1848 г. в составе ревизионной комиссии министерства он проехал через остзейские губернии. Увиденная картина сильно поколебала веру в справедливость имперского устройства: всеми делами на местах заправляли немцы из среды остзейского дворянства, интересы национальных общин латышей и эстонцев вообще не принимались в расчет, царские же наместники молчаливо соглашались с таким положением вещей. В этих злоупотреблениях Самарин усмотрел не просто вседозволенность одних лиц и попустительство им других. Поставленный диагноз был значительно серьезнее — нарушение прав больших этнических групп и подрыв основ российской государственности в крае. Острота темы побудила его поделиться соображениями с общественностью, хотя бы и незначительной ее частью. Так появились рукописные заметки «Письма из Риги», вызвавшие сильный резонанс в столичных образованных кругах. Николай I, до которого дошла информация, распорядился немедленно заключить автора в крепость. Несмотря на скорое освобождение и личную встречу с царем, Самарину пришлось еще долго оправдываться в том, что он не имел ничего против людей с немецкими фамилиями и вовсе не желал рассорить их с короной⁵¹. В официальном понимании всякое сомнение в правильности устоявшегося имперского порядка отливало еретическим вольнодумством и заслуживало самого строгого взыскания.

Случай с Самариным навел резкость на мораль двойных стандартов, которая проходила через начинания имперской власти и вызывала возражения у большей части русской обще-

ственности. Если сознание гражданского деятеля порой отказывалось принять реальность, в которой действовала заповедь «тащить и не пущать» в отношении одних субъектов и поощрялась устроительная миссия в отношении других, то еще в большей степени ее отторгал военный менталитет, вообще чуждый всякой раздвоенности. Как минимум следует предположить тяжелейшую внутриролевую напряженность, которая сопутствовала отправлению должности уполномоченного военного агента центра. При известных обстоятельствах она могла перерасти и в активное несогласие с формами и методами имперской политики. В этом убеждают преобразовательные проекты военного «происхождения», заостренные на проблеме устранения дисбаланса в имперском развитии. На посылке опережающего реформирования «титulyной» имперской сердцевины строилась политическая программа декабристов. Если предстоящая форма правления и территориально-политическая организация будущего государства вызывала споры между ними, то имперская модель развития, наряду с унификаторской линией в отношении нерусских народов, имела значение аксиомы для всего декабристского сообщества⁵². Даже будущая Польша в случае отделения, по замыслам декабристов, должна была подчиниться геополитическим интересам и принципам политического устройства Российской империи⁵³. Сопряжение либеральной модернизации общественно-политического строя — прежде всего в пределах *имперского ядра* — с сохранением имперского облика России составляла важнейшую компоненту декабристского мышления. В этой связи декабристские преобразовательные планы обретают еще одну оценочную ось как стратегия сохранения имперской идентичности России.

Идея ускорения социально-экономического и культурного роста титульного этноса была заложена и в программе военной реформы Д.А. Милютина, предусматривавшей гуманизацию отношений в армии и поднятие престижа образования прежде всего в расчете на призывников из великорусских губерний. Ту же направленность имели и предложения министра, нацеленные на разгрузку национальных окраин от избыточного армейского контингента и направления сэкономленных госбюджет-

ных средств на нужды модернизации в ареале русского населения⁵⁴.

Разумеется, у военных деятелей даже самого крупного ранга было не так уж и много возможностей влиять на приоритеты в политике центра. Тем не менее на отдельных участках имперского строительства у них появлялись шансы реализовать свой подход. Такой феномен более или менее чистых «лабораторных условий» для апробации военной методологии создала Кавказская война, растянувшаяся более чем на полвека в дальнем углу империи. Присмотримся к ее опыту ближе.

По целям Кавказская война была близка к колониальным захватам, в которых активизировались все западные державы в XIX в., по организационной деятельности и конечному выходу все же отличалась от них.

Владычество западных империй позднего нового времени строилось на технологическом превосходстве над подконтрольными народами. По остроумному замечанию американского историка Д.Р. Хедрика, каждый очередной рывок в империалистической политике западных стран был подготовлен техническими и культурно-бытовыми разработками. Изобретательская мысль создавала мотивацию захватов и сама же подстегивалась этими захватами. Так, на стадии первоначального проникновения европейцев в Китай ключевую роль сыграли железные пароходы и канонерские лодки — продукты изощренной творческой мысли английских инженеров Т.Л. Пикока и Дж. и М. Лэрдов. Появление в 1841 г. на внутренних реках Китая огромного железного парохода «Немезиса», который крушил на своем пути форты и вселял ужас в местное население, заставило китайское правительство капитулировать в опиумной войне с англичанами.

Внедрение с середины XIX в. в медицинскую практику хинина, изобретенного еще в конце 20-х годов XIX в., сделало более безопасным пребывание европейцев на Африканском континенте и стимулировало его дальнейшее освоение⁵⁵. Утверждению власти европейских колонизаторов помогли образцы скорострельного оружия и автоматических винтовок (французская винтовка Минье, английская винтовка Энфилда в 50-е годы; американские карабины Фергюссона, Холла; французское

игольчатое ружье Шассепо, прусское — Дрейза; в начале 70-х гг. — британская винтовка Мартина-Генри; магазинное оружие — американские системы Спенсера и Генри, Винчестера; британская — Лее-Метфорд, немецкая — Маузер)⁵⁶. Помноженное на хорошую организацию и тренировку войсковых частей, совершенное оружие гарантировало победу над туземцами, даже если тем удавалось собрать большие силы. На стадии закрепления своего господства западные колонизаторы прокладывали каналы, строили железные дороги, устанавливали пароходные линии, проводили телеграфный кабель, другими словами, налаживали инфраструктуру для максимально полного извлечения прибыли из колониальных владений.

Инновационные внедрения позволяли западным империям без больших затрат удерживать на своих орбитах старые и запускать новые колониальные «спутники» метрополий. Неравноценное партнерство с покоренным населением питало предрасположенность колонизаторов к расистской идеологии и создавало иллюзию незыблемой власти. Историк и участник французского Сопротивления М. Блок, находившийся в одном лагере с союзниками в начале Второй мировой войны, тонко подмечал те типичные черты английского солдата, которые были выпестованы в эпоху больших и малых колониальных войн. «Английский солдат (à la Киплинг) подчиняется приказам и хорошо сражается... но в то же время кутила и мародер... у себя на родине, напротив, он тише воды, ниже травы. Но как только пролив преодолен, он как бы невзначай путает «европейского гостя» с «уроженцем», читай с «колониальным туземцем», человеком низшего сорта, и вся его природная робость только укрепляет его в его жестокости»⁵⁷. Однако подобная позиция таила в себе опасную ловушку: ожесточая туземцев, она толкала их на ускоренное освоение образцового снаряжения, тактических приемов боя, организационных навыков, которые обращались уже против поработителей. В результате стоимость имперских проектов заметно повышалась, а порой приближалась к величинам, при которых удержание колониальных владений становилось нерентабельным⁵⁸.

Идеология дифференцированного неравенства народов, присущая европейскому и в особенности британскому колониализму,

лизму, определяла большое разнообразие статусов колоний и методов проводимой в них политики. Схемы подчинения были тем более жесткими, чем меньше то или иное владение было затронуто культурным влиянием метрополии. Конкретной иллюстрацией служит Африканский континент, где одновременно сосуществовали и состязались между собой типы *государственного, поселенческого и миссионерского* колониального владычества. Первый, проводившийся государственными чиновниками на основе британских законов, представлял собой систему бюрократического регулирования местной жизни. В конструктивной части он исчерпывался вмешательством в вопросы налогообложения, условий и оплаты труда туземцев, устройства пенитенциарных учреждений. Невзирая на официальные заверения в защите аборигенов от междоусобных войн и бесчинств «бессовестных» белых господ⁵⁹, такая деятельность не была направлена на улучшение условий их существования. Второй тип колониализма, практиковавшийся бурами, основывался на неприкрытом подавлении и доминировании при помощи оружия. Вначале туземным сообществам предъявлялись ультимативные требования (уплаты дани, поставки неоплачиваемой рабочей силы для работы на землях белых фермеров) и демонстрировалась неотвратимость кары заслушание. Затем следовало выдавливание из обжитых племенных территорий. Третий тип колониализма воплощали на практике христианские миссионеры. При всей своей благородной устремленности к цивилизирующему влиянию на туземцев миссионерская деятельность также исходила из высокомерного взгляда на местные сообщества как объект тотальной перестройки. Единственным мерилом прогресса для них отныне становилось распространение частнособственнических отношений, нуклеарной семьи, рационального европейского мышления, навыков здорового образа жизни⁶⁰.

При всем разнообразии мастей европейского колониализма и гуманитарной направленности ряда проектов его подопечным редко удавалось снять с себя клеймо людей второго сорта. Дети, родившиеся от браков европейцев, например, с азиатскими женщинами, в лучшем случае могли претендовать на службу в низших рангах колониальной администрации⁶¹. В Индии туземцы,

если и зачислялись на военную службу, то в составе так называемого субсидиарного войска. Африканцы служили в голландской милиции в Индии или во французских войсках в Алжире, а индийские солдаты участвовали в британских завоеваниях на Африканском континенте⁶². В любом случае это были должны были по обслуживанию европейцев в сфере их политических и экономических интересов.

Установление власти России на Кавказе, сопоставимое по исходным условиям с европейской экспансией в Азии и Африке, все же было подчинено иной логике. Военно-технологическое превосходство, обуславливавшее сильную позицию господствующего этноса в строительстве западных империй, здесь не играло решающей роли. В войне на Северном Кавказе русская пехота была вооружена устаревшими кремневыми ружьями, которые были практически бессильны при стрельбе в цель, отстоящую на 100 шагов. В то же время горцы располагали длинными винтовками, заряженными пулями с сальными тряпками и били в цель гораздо вернее русских⁶³. А к тому моменту, когда русская армия получила в свое распоряжение дальнобойное нарезное оружие, проблема замирения Кавказа была уже предпринята.

В основе русских побед лежали принципиально иные факторы. Прежде всего, это был *управленческий рационализм военных администраторов*, позволявший при помощи нехитрых подручных средств постепенно сужать фронт противостояния. Начатая еще при А.П. Ермолове в 1817—1827 гг. прорубка просек в густых лесах и прокладка дорог завершилась при генерале Н.И. Евдокимове в конце Кавказской войны установлением контроля над природной местностью («Всмотритесь поближе в эти лопаты, мотыги и топоры, — говорил Евдокимов горцам, — ими я вас покорю»)⁶⁴. Помимо этого отнятия у горских отрядов естественного укрытия в «зеленке», военно-колонизаторские власти России активно использовали рычаги воздействия на демографическую ситуацию в крае. Новые горские поселения устраивались на равнинной местности и перемежались поселениями иммигрантов из русских губерний и казачьими станицами. Это создавало наиболее удобную социально-демографическую среду для российского присутствия в крае. Стаби-

лизировать обстановку на местах помогло выгодное землеустройство и социальные преобразования, которые в достаточной мере компенсировали издержки насильственного переселения горцев. В качестве подобной отступной платы можно рассматривать раздачу в частную собственность черкесским князьям около 110 тыс. десятин земли вдоль Кубани и Лабы, а адыгским крестьянам — в пользование — земельных массивов, в среднем в два-три раза превышавших размеры наделов, выделенных великорусским крестьянам по реформе 1861 г.⁶⁵ Отмена крепостного права и рабства, разрешение недовольным эмигрировать в Турцию расширило социальную базу колониальной власти на местах⁶⁶.

Другим проявлением того же управленческого рационализма являлось последовательное встраивание покоренных народов в государственный аппарат империи. На первом этапе — с 60-х годов XVIII в. по середину XIX в. — упор был сделан на правление приставов. Оно обеспечивало лишь самое общее наблюдение за выполнением распоряжений центральной власти, однако еще не утверждало систематического контроля. На следующем этапе, с середины XIX в. отрабатывается модель военно-народного управления. В ее рамках судебно-административные функции органично распределялись между российскими военными чинами и туземным населением. Такое устройство наиболее полно учитывало местную специфику и направляло бурлящую энергию наиболее активной туземной прослойки на мирные цели. Выборные старшины и десятские, народные и посреднические суды, руководствовавшиеся в своей практике обычным правом (адатом) и законами Российской империи, создавали сильный противовес влиянию шариата, фанатичного мусульманского духовенства и подстрекателей к мятежам⁶⁷. А военизированное контрольное начало гарантировало правильность и постоянство в соблюдении этих принципов.

Примечательно, что любая другая альтернатива военно-народному управлению порождала неурядицы. Так, например, присланная из Петербурга в 1840 г. комиссия под председательством сенатора П.В. Гана попыталась утвердить на Кавказе гражданское управление чиновников по образу и подобию того, которое действовало во внутренних российских губерни-

ях. Однако работа чиновников с ее неизбежными спутниками — проволочками и злоупотреблениями, помноженная на слабую сопротивляемость восточной среды этим порокам, вызвала затор в делах. Мало того — подорвала доверие к центральной власти у ряда ее местных ключевых агентов. В частности, султан Елисуйский Даниил, состоявший ранее на русской службе в чине генерал-майора с сохранением султанского звания, в новом гражданском устройстве края получил только должность участкового заседателя уезда и был переведен в подчинение русского штаб-офицера. Он воспринял новое назначение как личное оскорбление и в мечети при большом стечении народа сорвал с себя генеральские эполеты и русский мундир, а вслед за тем провозгласил войну «неверным»⁶⁸.

Важно отметить, что и позднее попытки ослабить военную составляющую в системе управления краем давали в основном негативные результаты. Ветеран Кавказской войны генерал Г.И. Филипсон указывал на те издержки, которые принесло с собой назначение в 1845 г. наместником М.С. Воронцова — англофила по убеждениям и приверженца гражданской системы управления: край наводнили чиновники разных мастей, в делах возникли путаница и толчея⁶⁹. Тем не менее Воронцов не отступил от другого ключевого принципа русской колониальной политики — выдвижения на важнейшие административные посты местных уроженцев. Так, начальником закавказского гражданского управления и председателем Совета Главного управления при нем стал князь В.О. Бебутов, род которого еще при грузинских царях по обычаю поставлял тифлисских полицмейстеров. А во главе Тифлисской губернии был поставлен внук последнего грузинского царя князь И.М. Андроников⁷⁰. Уважение к традициям, заложенным еще местными правителями, упрочивало связь российских руководителей с туземной аристократией.

Кроме того, военные колонизаторы России силой обстоятельств были обречены на применение мер, рассчитанных на психологическое подавление сопротивляющихся племен. Присоединение к России Грузии в 1804 г., Дагестана и Северного Азербайджана в составе 13 ханств по Гюлистанскому миру в 1813 г., а также Черноморского побережья Кавказа по Адриа-

нопольскому миру в 1829 г. и привнесло в пределы империи ог-неопасную социальную массу. Местные властители, постоянно нарушавшие присягу российской власти, горские отряды, метавшиеся от персидского правительства к турецкому, подавали слабые надежды на то, что здесь когда-либо восторжествует российский порядок. Даже щедрые подарки так называемым мирным местным предводителям отнюдь не гарантировали их политической устойчивости. (Так, например, один из молодых князей Дадияни, получивший воспитание в Петербургском Пажеском корпусе и служивший офицером в лейб-гвардии Преображенском полку, у себя на родине в Гурии стал зачинщиком антирусского мятежа⁷¹.) А некоторые из туземных вождей, вроде Аварского хана, зачисленные на русскую службу в чине генерал-майора с жалованием пять тыс. рублей серебром в год, вели двойную игру: уверяли российских военачальников в преданности и в то же время плели за их спиной коварные интриги⁷². Именно в таких условиях складывалась радикальная максима покорения края, которая обычно связывается с именами П.Д. Цицианова и А.П. Ермолова. Ее характерными чертами были: ультимативный стиль разговора с непокорными туземными правителями, демонстрация нелепости их притязаний на собственное верховенство, принцип неотвратимости наказания за предательство, распространявшийся, в том числе и на целые селения, плодившие изменнические «гнезда». Апробированная первыми правителями края и продолженная А.А. Вельяминовым, Г.Х. Зассом, Н.И. Евдокимовым, Я.П. Баклановым, эта тактика имела очевидной целью сковать волю противника страхом.

Однако в более широком контексте ее можно было бы рассмотреть и как способ дискредитации тех ценностей и культурных представлений горских обществ, которые удерживали их от принятия более совершенной цивилизационной парадигмы. В своем конечном результате эта серия мер совпадала с воздействием так называемой методологии шоковой терапии культурной среды. Последняя описана З. Фрейдом в работе «Моисей и монотеизм». Если культурная среда не обеспечивает возможностей для реализации созидательных стремлений и обуздания разрушительных влечений членов сообщества, то она, согласно

Фрейду, подлежит радикальному изменению. В этих целях допускается вмешательство в систему коллективной защиты — точнее, в поддерживающий ее комплекс групповых ритуалов, мифов, идеологем. Здесь, как нельзя кстати, приходится рациональная трактовка иррациональных убеждений, осмеяние привычных кумиров, дезавуирование традиционных верований. Этими приемами разрыхляются коды социальной памяти — в результате высвобождается пространство для проникновения новых начал. Травматичные для сообщества, подобные манипуляции все же предоставляют ему шанс вырваться из тисков косной традиционности и в перспективе обрести более жизнеспособную модель развития⁷³. Успешность такого врачевания проверяется эффектом нейтрализации агрессии. К нему ведет единственный путь: «Агрессия интроецируется, переносится внутрь, иначе говоря, возвращается туда, где она, собственно, возникла, и направляется против собственного «я». Там она перехватывается той частью «я», которая противостоит остальным частям как «сверх-я» и теперь в виде совести использует против «я» ту же готовность к агрессии, которую «я» охотно удовлетворяло бы на других, чуждых ему индивидах. Напряжение между усиливающимся «сверх-я» и подчиненным ему «я» мы называем сознанием вины, которое проявляется как потребность в наказании. Так культура преодолевает опасные агрессивные устремления индивидов — она ослабляет, обезоруживает их и оставляет под присмотром внутренней инстанции, подобной гарнизону в захваченном городе»⁷⁴. С точки зрения Фрейда, существуют два источника вины: это страх перед авторитетом и последующий страх перед «сверх-я»⁷⁵.

Эту линию, стихийно и неосознанно, тем не менее довольно последовательно, претворяли в жизнь российские конкистадоры — от Цицианова до Бакланова. За их поступками, как правило, просматривается нечто большее, чем стремление морально подавить и идейно обезоружить противника. Это — очевидная нацеленность на конструирование новых мифов, стремление утвердить на месте опрокинутых идолов людей «нохче» иные легендарные объекты поклонения. Именно в такой манере пытался воздействовать на сознание горцев генерал А.П. Ермолов, закладывая крепости с громкими названиями (Грозная, Внезап-

ная, Страшный окоп, Горячеводская), отважно объезжая в одиночку вражескую территорию. А вслед за ним — генерал А.А. Вельяминов, наводивший суеверный ужас своими дерзкими нападениями на непокорные аулы. Затем — генерал Н.И. Евдокимов, сумевший вначале с двумя ротами солдат взять неприступное селение Унцукуль, а чуть позднее поразить его обитателей молниеносным реагированием на предательский кинжал мюрида: раненный в спину генерал, собрав в кулак всю силу, развернулся и одним ударом шашки, надвое рассек коварного врага⁷⁶. Потом был генерал Я.П. Бакланов, рядившийся в шайтана перед рейдами в лагерь противника и прославивший заговоренным от пуль и холодного оружия⁷⁷. Русское завоевание края творило свой героический эпос, успешно конкурировавший с традиционными горскими культами и постепенно сокращавший сферу их влияния. Развенчание старых фетишей подрывало моральные основы горского сопротивления. На этом последствии следует искать разгадку психофизических расстройств большой массы населения — посторонние свидетели отмечали падение жизненного тонуса, апатию среди местных жителей по окончании кавказской конкисты⁷⁸. В то же время наблюдалось повышение их лабильности, увеличение восприимчивости к новым знаниям и навыкам общежития.

На следующем этапе остро вставал вопрос встраивания покоренных этносов в социокультурную среду россиян. Идеальным способом такого включения для местной элиты являлось привлечение на службу в российской армии. Автоматическое зачисление ханов на военную службу в чине генерал-майора с годовым жалованьем в пять тыс. рублей серебром являлось более чем щедрым вознаграждением за утрату политического суверенитета. Будущий реформатор российской армии Д.А. Милютин, находившийся в Кавказском корпусе в 1839—1840 гг., с немалым изумлением констатировал почти магическое действие российских воинских званий на туземную знать. Так, например, один из горских предводителей Алило за большие услуги русскому командованию при взятии селения Унцукуль как о высочайшей награде за свои труды просил звания прапорщика⁷⁹. Престиж военной службы был связан не только с наглядной демонстрацией мощи русского оружия. Он методично соз-

давался российской властью, смело объединявшей воинственную часть жителей Кавказа и Закавказья в иррегулярные, или так называемые милиционные части. Еще в период Русско-иранской войны 1826—1828 гг. были созданы Бакинская, Грузинская, Грузино-Армянская, Джаро-Лезгинская, Карабахская, Татарская, Ширванская, 1-я Армянская Конная сотни и Армянская пешая дружина. В национальные части набирались добровольцы в возрасте от 18 до 30 лет, командирами назначались национальные кадры, и приказы отдавались на национальных языках⁸⁰. В начале 30-х годов по инициативе И. Ф. Паскевича началось формирование конно-мусульманских полков из горцев. По замыслу фельдмаршала, им отводилась роль главной сдерживающей силы в Польше⁸¹. Однако на деле назначение Конно-мусульманского полка, укомплектованного в 1834 г., оказалось много шире. Быстро разросшийся до размеров бригады, он доблестно прошел через все военные кампании России XIX в.: Венгерскую 1849 г., Крымскую и Русско-турецкую войны.

Конно-мусульманский полк и другие военные части кавказцев в составе действующей армии привлекали большое количество представителей туземной знати еще и благодаря тому, что отношения между подчиненными и командирами в них строились как на основе российских уставов, так и местных обычаев. Например, командиру полка, его помощнику и султану полагался штат слуг из своих людей, не возбранялся и стиль отношений, принятый в горских обществах⁸². Охотное поступление на армейские должности гордой и спесивой аристократии во многом определялось тем, что власть не навязывала военную повинность, а приглашала к выгодному и престижному сотрудничеству. Символом такой системы отношений стал Собственный Его императорского величества конвой, сформированный в 1828 г. Ежегодно 20—30 молодых людей из знатных и влиятельных фамилий Кавказа отправлялись в Петербург для службы в личной охране царя. Данный обычай, выражавший высокую степень доверия верховной власти к своим новым подданным, не только скреплял связи между престолом и отдельными кланами. Он давал возможность далекой и чуждой окраине в полной мере ощутить свою значимость в обеспечении безопасного властвования державного лидера и налагал высокую мо-

ральную ответственность за оказанную честь. Для самых престижных военно-учебных заведений была определена квота на прием учащихся из кавказских мусульманских семей: ежегодно 1-й и 2-й Павловский кадетские корпуса на казенный счет зачисляли по шесть детей, Александровский — 12⁸³. А двое из четырех сыновей поверженного предводителя кавказского джихада — Шамиля — получили образование в Пажеском корпусе, по окончании которого в офицерских званиях поступили на российскую военную службу⁸⁴. Великодушие российских властей было по достоинству оценено бывшими руководителями войны против «неверных»: признав щедрую на милости власть, те завещали своим единоплеменникам никогда не поднимать оружия против русских⁸⁵.

Курс, направленный на успокоение Кавказа, дал позитивные результаты благодаря тому, что миролюбивые намерения верховной власти систематически подтверждались практикой самих «колонизаторов» на местах. Начиная с А.П. Ермолова, преобразовательная и просветительская деятельность являлась не менее существенной компонентой руководства краем для всех главнокомандующих, чем его вооруженное усмирение. Кстати, именно Ермоловым был учрежден постоянный пункт торгового обмена с горцами при крепости Андреевской, проведено изъятие деревень из собственности восточно-кавказских феодалов — агаларов. Ермолов был первым, кто приступил к раздаче военных трофеев и конфискованного имущества среди нуждающихся туземных жителей. Он же с присущей ему широтой взглядов в 1826 г. отказался от преследования наездничества, увидев в нем самобытный институт перераспределения собственности в горском обществе с его хроническими дефицитами необходимых жизненных средств⁸⁶. А с 1845 г., когда во главе края встал М.С. Воронцов, на жителей края вообще полился дождь изобильных благ. По его инициативе был учрежден Кавказский учебный округ, открылись мусульманское училище Алиевой секты, женские учебные заведения; создавались научные общества и периодические издания; открылась публичная библиотека; устраивались мосты через реки и паромное сообщение, было построено несколько крупных промышленных предприятий⁸⁷. Во время объездов вверенной ему территории

главнокомандующий неоскудевающей рукой раздавал денежные средства бедным поселянам⁸⁸.

Впрочем, деятельность Воронцова выводила на уровень общерегиональной политики ту организующую роль, которую в конкретной точке своей дислокации выполнял каждый полк российской армии. Конгломерат учреждений, складывавшихся вокруг воинской части — церковь, госпиталь, магазины, школы, мастерские, распространял свое благотворное влияние на всю округу⁸⁹. Даже в периоды наиболее острых столкновений с горцами среди русских военнослужащих всегда находились отчаянные головы (вроде широко известного А.И. Якубовича), которые прокладывали потайные тропинки в горские селения и обзаводились там куначескими связями. На этом основании позволим себе решительно не согласиться с оценками английского историка Дж. Л. Кипа: «Русский солдат внес огромный вклад в имперскую экспансию. Однако вряд ли он вносил элемент стабильности в поддержание порядка на аннексированной территории, так как у него отсутствовали культурные предпосылки для этой роли. Он был индифферентен, если не враждебен к этническим группам, путь развития которых отличался от его собственного. Сам факт завоевания внушал мысль об их более низком уровне и укреплял в этом предрассудке. Этот шовинистический взгляд редко декларировался в отличие от национализма, который получил распространение в образованных кругах. Это предопределило тот факт, что в большей мере конфликт, нежели сотрудничество характеризовало отношения на низовом уровне между народами, составлявшими империю»⁹⁰.

Такой взгляд не находит достаточного подтверждения ни в практике покорения края, ни в его последующем обустройстве при помощи военных колонизаторов. Не менее веским его опровержением является история русско-кавказского боевого братства второй половины XIX — начала XX в. Об исчерпанности конфликта свидетельствовало и то обстоятельство, что в составе русской армии воевали сыновья и внуки бывших соратников Шамиля. Сын самого имама Дагестана и Чечни был флигель-адъютантом Александра II, сын последнего владетельного князя Карачая — противника русского продвижения в крае — Мурзакул Крымшахалов в качестве командира полка русской

армии в Русско-японской войне стал кавалером ордена Св. Георгия. А в 1914—1917 гг. на фронтах мировой войны под русскими стягами доблестно сражалась Туземная (Дикая) дивизия, набранная из добровольцев Кабарды, Балкарии, Адыгеи, Черкесии, Карачая, Абхазии, Ингушетии, Чечни, Дагестана, Татарских провинций Закавказья и Азербайджана. Самим фактом своего появления в период труднейших испытаний для России (в сентябре 1914 г.) Туземная дивизия выразила волю кавказцев к совместному проживанию с другими народами России в рамках единого Отечества. Брошенная в пекло мировой войны после четырехмесячного обучения, она сразу же превратилась в проклятие для регулярных частей австрийской армии. Под напором бешеной атаки всадников с обнаженными шашками и саблями те спешно бросали свои позиции и разбегались врассыпную⁹¹. В то время как соединения русской армии таяли из-за морального разложения и массового дезертирства, Дикая дивизия удерживала в своих рядах абсолютный порядок⁹². Заслуживает внимания и тот факт, что именно двое старших офицеров этой дивизии — командир Чеченского полка Г.Э. Келлер и командир Татарского полка хан Нахичеванский — из всего корпуса российских военнослужащих выразили готовность подставить плечо Верховному главнокомандующему, свергнутому Февральской революцией. А в конце августа 1917 г. дивизия (развернутая 21 августа в отдельный корпус) вместе с казаками из Третьего конного корпуса была опорным звеном главковерха Л.Г. Корнилова при наступлении на Петроград. По свидетельству А.И. Деникина, слух о приближении «диких» вызвал панику среди защитников «колыбели» революции — тыловых запасных батальонов, составлявших петроградский гарнизон⁹³. Тем не менее движение рассыпалось после того, как кавказские воины узнали об истинной цели похода на столицу и запросили по этому поводу мнение Союза горцев Северного Кавказа и Дагестана, а также Всероссийского мусульманского союза. Конечный отказ они мотивировали тем, что не считают себя вправе вмешиваться в судьбы великой русской нации⁹⁴. Отражая умонастроения своих этнических общностей, военный авангард кавказцев проявил наивысшее уважение к суверенным правам и свободному выбору титульной нации. Развязка данного сю-

жета дает лишний повод для признания эффективности военно-колонизаторских усилий по освоению большой проблемной окраины империи.

История военного подчинения и замирения Кавказа в целом демонстрировала гибкую адаптивность проводников этой политики к меняющимся обстоятельствам. Данную тенденцию воплощала сама смена лиц, осуществлявших руководство краем. В начальный и конечный период кавказского покорения, когда ведущим требованием момента являлось достижение силового и психологического перевеса, на передний план выдвигались фигуры типа Цицианова, Ермолова, Мадатова, Вельяминова, Евдокимова и Бакланова. На этапе, когда во главу угла ставилась задача интеграции Кавказа в российскую социокультурную среду, как нельзя более кстати на вершине колониального управления вырастали фигуры вроде Воронцова. Сам механизм подобной «ударной возгонки» наверх был обусловлен особым родом кавказской военной службы.

Выдвинутая на задворки империи, Кавказская армия в сравнении с прочими войсковыми соединениями имела возможность дольше самосохраняться как осколок старой петровской армии. Именно в этой реликтовой природе были укоренены базовые предпосылки успешной деятельности: нерастраченная энергетика служения на благо общества, управленческая хватка, наработанная за годы нераздельного существования военной машины и бюрократии, дух честной состязательности, желание отличиться в деле. «В России нет никого, кто мог бы сравниться по отваге с армейским подпоручиком, сознающим, что за ним только и есть, что его мундир, и воображающим, что весь мир готов ему подчиниться»⁹⁵. В этом отзыве «кавказца» К.К. Бенкендорфа подчеркнут тот особый настрой, с которым вступали на боевую вахту многочисленные безвестные служители империи. Офицеры Кавказской армии не прибегали к зуботычинам и пинкам — обычным средствам подтягивания солдатской дисциплины в остальной армии. При этом визитеров из России на Кавказ приятно удивляли «самостоятельность и самоуважение ротных и батальонных командиров, разумная сметливость и незадерганность солдат»⁹⁶. Полковые командиры регулярно отстегивали личные средства на улучшение солдат-

ского довольствия и перед началом зимних экспедиций за свой счет одевали личный состав в теплые полушубки⁹⁷. Солдаты стояли в пикетах и на карауле в гражданской одежде, а к своим офицерам обращались не по титулу, а по имени-отчеству, зачастую разговаривали со старшими по званию, не вынимая трубки изо рта. Здесь были не в диковинку случаи, когда проигравшийся в карты ротный командир получал помощь от своих подчиненных, и, отыгрываясь на солдатские медяки, устраивал всей роте двухдневный праздник⁹⁸. Все эти отступления от устава не только не ослабляли боеспособности воинского контингента, но придавали ему беспримерную силу и устойчивость.

Попадая на «выселки» империи, в просторечии «Басурманию», разнообразные национальные элементы быстро притирались друг к другу и находили общий язык. На Кавказ систематически поступало пополнение в лице разжалованных офицеров — участников антиправительственных заговоров и мятежей. Солидную часть этого притока составляла польская «компонента», получившая среди старожилов название «иностранный легиона». Сюда же стекалась и масса тех добровольных изгнанников, которым из-за плохого знания русского языка, иностранной фамилии и отсутствия связей в правящей элите было заказано быстрое карьерное продвижение в более благополучном месте. И тем и другим кавказская служба предоставляла неплохой шанс выбраться из приниженного положения. Сама обстановка службы давала мощное ускорение процессу натурализации «инородцев». Так, например, богемец Клюки фон Клугенау, поступивший на русскую службу в 1818 г. в чине поручика, через несколько лет пребывания на Кавказе ощущал себя истинным русским патриотом⁹⁹. А бывший участник наполеоновских войн в составе итальянской гвардии и инсургент 1830—1831 гг. поляк Карове в 1840 г. ревностно исполнял обязанности начальника Новотроицкого укрепления на Кавказе¹⁰⁰. Несмотря на трудное привыкание к образу боевых действий на Кавказе, это войско вызывало завистливое восхищение противника. Так, весной 1846 г., накануне вторжения в Кабарду, Шамиль без тени смущения заявлял своим присным: «Я готов всех вас отдать за один из этих русских полков, которых так много у великого императора; с русскими войсками все были бы у моих

ног, и все человечество преклонилось бы перед единым Богом, единый пророк которого Магомет, и я, единый им избранный имам валг»¹⁰¹.

Опыт утверждения российского влияния на Кавказе был творчески использован и при покорении Средней Азии. Принципы психологического воздействия на местное население и оказания ему материальной помощи, впервые апробированные в кавказской конкисте, здесь были поставлены на хорошую организационную основу. Направление всей работе на местах давали военно-народные управления, образованные при штабе военных округов. Позже при Главном управлении Генерального штаба (ГУГШ) была создана специальная Азиатская часть, куда стекались информационные сводки с мест и определялись контуры дальнейшей политики по отношению к региону. Результаты работы этих структур обобщались в Николаевской Академии Генерального штаба. Наконец, в 1914 г. по распоряжению Николая II при Верховном главнокомандующем было создано Военно-политическое управление с канцелярией по гражданскому управлению. В его компетенцию были включены вопросы взаимодействия с местным населением¹⁰².

Как и ранее на Кавказе, продвижение достигалось за счет умелого сочетания устрашающего применения вооруженной силы, пропагандистской работы среди местного населения и реального решения экономических и культурных проблем края¹⁰³. При этом по мере закрепления на этой территории первые два направления деятельности отодвигались на задний план, а третье неуклонно расширялось. Спустя тридцать с небольшим лет после взятия М.Д. Скобелевым штурмом крепости Геок-Тепе в Ахалтекинском оазисе — одного из последних оплотов сопротивления в Средней Азии — туркмены-текинцы сопровождали Л.Г. Корнилова, пробивавшегося на Дон для сбора сил против большевиков. По ходу этого движения жители внутренних губерний бывшей Российской империи, уставшие от грабежей и разбоев «белых» и «красных», впервые в лице вчерашних «халатников» встречали солдат, которые не мародерствовали, а щедро расплачивались за оказанные им услуги¹⁰⁴. В этой связи известный журналист начала XX в. Н.Н. Брешко-Брешковский справедливо указывал на необоснованность сомнений россий-

ских властей в благонадежности кавказских горцев и степных народов Туркестана и даже замечал: «На мусульман всегда можно было вернее положиться, чем на христианские народы, влившиеся в состав Российского царства. Именно они, мусульмане, были бы надежной опорой власти и трона»¹⁰⁵.

Подведем некоторые итоги. Строительство Российской империи и в послепетровский период в большей степени являлось делом рук военных; чем иных социальных и профессиональных групп. Приобретение новых земель и встраивание их народов в систему имперских отношений несли на себе сильнейший отпечаток военного этоса, в котором собственно корпоративные ценности соединялись с государственным патернализмом по отношению ко всем объектам имперской политики. Военная парадигма дает ключ к объяснению тех свойств российского сообщества наций, которые делали его нетипичной империей. Русский военный колонизатор, даже если и прокладывал себе дорогу в чужой земле с помощью оружия, едва закрепившись на небольшом клочке, естественно перевоплощался в устроителя мирной жизни. Функция дарителя, наставника, арбитра между враждующими племенами, которые он добровольно на себя возлагал, не обуславливалась никакими просчетами будущей выгоды. А традиционный уклад жизни туземцев ненасильственно трансформировался по мере их привыкания к новым порядкам. В этом плане послепетровская практика подтверждала высокий коэффициент полезного действия армии в среде с низкой способностью к самостоятельной реорганизации. Цивилизующее влияние армии, проявившееся на Кавказе, а потом и Средней Азии, придавало очеловеченный облик имперской власти. Лидирующее положение военных в ряду прочих агентов имперской политики наделяло российский «империализм» и «колониализм» чертами «участнического» и прогрессивного. Согласно классификации американского политолога Л. Фойера такой тип деятельности основан на убеждении в самоценности человеческой личности, к какому бы роду-племени она ни принадлежала, на признании за ней равных гражданских прав и на помощи в их реализации. В противоположность тому регрессивный империализм (испанский, германско-нацистский) уст-

ремлен к тотальному контролю, экономическому закабалению и силовому доминированию над кругом своих объектов¹⁰⁶.

Несмотря на ряд деформаций в своих функциях, армия по-прежнему оставалась ключевым звеном трансмиссии имперских ценностей. Характерно, что в зоне ее наиболее плотных контактов с гражданским населением формировались и самые устойчивые стереотипы имперского мышления и имперского образа действий. В эту закономерность полностью вписывались определенные стандарты поведения великорусского этноса, удерживавшего самую тесную связь с регулярной армией. Основополагающее влияние армии просматривалось в его *прото-типически военных реакциях* на внешние угрозы. Вторжение неприятельских войск на русскую территорию неизменно вызывало сопротивление, которое было чуждо или по меньшей мере несвойственно большинству европейских обществ: по канонам XVIII—начала XIX в. война являлась делом профессиональных армий, но не мирного гражданского населения. В то же время в ответ на появление незваных чужеземных гостей в России разгоралась народная война. Она произвольно вырастала из отчуждения пространства, в котором обосновался враг. Крестьянин, по логике вещей привязанный к своему клочку земли, горожанин — к налаженному быту, легко расставались с привычной средой обитания, нажитым добром и меняли оседлый образ жизни на походный. Об этой непрактичности поведения русских с изумлением и досадой писали французские мемуаристы — участники наполеоновской кампании в России. «Русские дворяне отступали со своими крепостными внутрь страны, прячась от нас, словно от страшной заразы». «Все, что не могло быть захвачено с собой, было уничтожено, и всякий, кто не был рекрутом, становился казаком или милиционером», — вспоминал граф Сегюр. Просвещенному французскому автору так и не удалось найти разумного объяснения этому явлению — по его понятиям, снисходительное и либеральное французское владычество представляло собой лучшую альтернативу пресловутому российскому деспотизму!¹⁰⁷

Массовые миграции на незанятые неприятелем территории, с готовностью сжатия до крайних окончательностей империи — являли большую родственную близость массовому сознанию

своей, хотя и неблагоустроенной периферии, нежели обжитого центра, но уже помеченного чужим присутствием. Состав подобных спонтанных ощущений и действий нес в себе квалифицирующий признак империи. По мнению А.Ф. Филиппова, поведенческие шаблоны, которые сопрягаются с пространственными условиями, «воспроизводятся в виде автоматических реакций», «без рассуждения и рефлексии», указывают на то, что само пространство «непроизвольно, не случайно, имплицитно включено в реакции и поведение людей»¹⁰⁸. Предельной возможностью приложения этих схем является «большое пространство». Если в представлениях людей оно наделено такими качествами, как непрерывность, последовательность, выступает «фоном и смысловым горизонтом их ориентаций и поступков, то такое пространство можно назвать империей»¹⁰⁹. Вместе с тем пространственное восприятие, соотносимое с поведением определенного типа, не было единственной приметой имперского сознания.

О жизненности имперской идеи можно было судить по ее способности перевешивать индивидуальный эгоизм, инстинкт сословного самосохранения, а в определенные моменты — заботы экономического выживания. Наиболее серьезным экзаменом служили общественные настроения, сопутствовавшие потрясению имперских устоев. В дореформенный период отчетливо действовала тенденция: эсхатологические переживания, вызванные потрясением имперских основ, в их пролонгации на посткризисные ситуации создавали наиболее благоприятный фон для осуществления радикальных проектов власти. Жесткий командно-административный почерк власти ложился буквально, как резец на глину, на сверхтолерантное и податливое общество. Сошлемся на два наиболее ярких примера дореформенной эпохи. Первый — перевод части государственных крестьян на положение военных поселян с подселением к ним солдат регулярной армии, предпринятый в 1816 г., в условиях подорванных финансов страны и потрепанной армии. Похожие примеры обращения некоторых ячеек гражданского общества в военно-служилые можно найти и в истории других стран: подобный опыт имели шведы в лице своих войск индельта, австрийцы в виде граничар, и, наконец, сама Россия со времен

позднего Средневековья, опиравшаяся в обороне приграничных зон на казачество. Различие с ними проекта Александра I состояло лишь в масштабе и традиции: вместо ограниченных контингентов иррегулярного воинства в данном случае к службе привлекались огромные массы исконных хлебопашцев из внутренних губерний. Замысел состоял в том, чтобы некоторое время спустя с их помощью перевести большую часть армии на самоокупаемость. А вместе с тем создать и подрастающую смену армейцев в лице кантонистов (солдатских детей), с малолетства приученных к совмещению военных занятий с хлебопашеством. К концу царствования Александра I в систему военных поселений была встроена треть русской армии (148 батальонов пехоты, 240 эскадронов кавалерии)¹¹⁰. Самое удивительное заключалось в том, что, невзирая на острые всплески недовольства в 1819 г. (волнения чугуевских поселян), в 1831 г. (в Новгороде и Старой Руссе), система благополучно с небольшими изменениями дожила до 1857 г. Относительно легко загнав крестьян в военно-бюрократические «фаланстеры» на фоне разоренной империи и неугасшего патриотического пыла, государственная власть на протяжении сорока с лишним лет эксплуатировала крестьянское долготерпение.

Другой проект — отмена крепостного права — затрагивал самые живые интересы дворянства. Периодически приступая к подготовке крестьянской реформы на протяжении столетия (со второй половины XVIII в.), власть неизменно делала ставку на дворянскую поддержку. На нее были сориентированы идеи Екатерины II об освобождении владельческих крестьян по ходу смены владельца помещичьего имения; указ 1803 г. о вольных хлебопашцах, реформа государственной деревни 1837—1841 гг.; указ об «обязанных» крестьянах 1842 г. Несмотря на ничтожность реальных подвижек в крестьянском вопросе (так, в соответствии с указом о вольных хлебопашцах получили личную свободу только 0,5% всех владельческих крестьян), эти проекты не были насквозь утопичны: в противном случае раз за разом власть не возобновляла бы их с настойчивой периодичностью. В основе этих попыток лежал расчет на «сознательность», которая как раз с точки зрения власти и резюмировала дворянскую эволюцию на государственной службе. Ошибка заключалась не

столько в недооценке махового эгоизма крепостника-собственника (как это зачастую представляется в учебной литературе), сколько в переоценке дворянской способности к действию без окрика сверху. Однако традиция дворцовых переворотов отучила верховную власть пользоваться ультиматумами в переговорах с дворянством.

Все препятствия снимались, когда речь шла о порушенной славе империи, вызывающей к кипучей работе по имя реванша. После позорного провала Крымской кампании дворянская общественность замерла в ожидании знакомого удара гонга. Однако, похоже, сам царь не сразу оценил обстановку и нашел адекватную ей тактику действий. Так, выступление в марте 1856 г. перед московскими предводителями дворянства прозвучало фальшстартом: Александр II апеллировал к рациональному мышлению дворян, подталкивая их к тому, чтобы по своему почину начать освобождение крестьян. Но и козырной аргумент царя: «Гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу»¹¹¹, судя по гробовому молчанию зала, не возымел действия. Вместе с тем оказалось достаточным всего лишь подправить стилистику действий, а именно — сменить риторику увещаний на сухой язык приказов, чтобы привести в повышенный тонус готовность дворян оказать содействие власти. Издав 20 ноября 1857 г. знаменитый рескрипт на имя генерал-губернатору В.И. Назимова и продемонстрировав непреклонную волю, царь запустил привычный для дворянства командно-административный механизм. Угнетенное невиданным поражением в войне, размягченное сознание дворян-крепостников легко, почти радостно пропустило через себя директиву власти. А попав в нужную тональность диалога с дворянством, царь не только не оттолкнул его от престола, но вызвал волну экзальтированного единения с короной. Утром 5 марта 1861 г. — в день официального объявления крестьянской свободы — по окончании развода в Михайловском манеже Александр II произнес короткую публичную речь: «Господа офицеры... Представители дворянства в армии. Положен конец вековой несправедливости. Я жду жертв от дворянства. Благородное дворянство сомкнется вокруг престола...» Последние слова императора потонули в громогласном крике «ура!». Такие же сцены повторялись в

столичных театрах и в других местах скопления благородной публики. Еще больший ажиотаж царил в провинции, где с момента открытия гласной подготовки реформы не стихали верноподданнические манифестации и здравицы в честь царя-освободителя¹¹².

3.3. Закат империи: военные поиски «ответа» на национальный «вызов»

Подобно другим полиэтническим государственным образованиям, пореформенная Россия была охвачена национальными движениями, поднимавшимися на волне модернизации. Как показано в монографии А. Каппелера, «старые» и «молодые» нации империи, хотя и не синхронно, все же проходили общие фазы становления и развития в полном соответствии с известной схемой чешского историка М. Хроха (культурная фаза; фаза национальной агитации; фаза массового движения)¹. В большинстве случаев реакция правящих верхов не поспевала за метаморфозами национальных движений, а конкретные практические меры по их обузданию либо давали кратковременный эффект, либо вели к еще более сильному противостоянию окраин центральной власти.

Нарастающий накал борьбы и маячившая за ним перспектива развала империи были наделены особенно драматическим смыслом для военнослужащего: имперский статус России служил одним из опорных элементов привычного и понятного ему мироустройства. Разумеется, оттенки восприятия имперских ценностей различались в зависимости от ранговых позиций военнослужащего и той институциональной секции, к которой он принадлежал. Для интеллектуальной элиты армии, сосредоточенной в Генштабе, сохранение в неприкосновенности имперской территории являлось вопросом стратегической защищенности России (в частности, вероятность утраты Финляндии и Польши рассматривались в свете невосполнимых оборонных потерь на западных рубежах России)². Для командирского звена русской армии империя воплощала собой итог многовекового развития народа, в котором была львиная доля участия ар-

мейцев. А потенциальное изменение имперского облика России расценивалось как крушение основ ее исторического существования. Помимо того, способность России вести военно-технологическое состязание с другими странами напрямую связывалось с вкладом, который вносили в укрепление военного потенциала империи ее национальные окраины. Следует думать, что и у основной рядовой массы военнослужащих была своя мотивация к поддержанию имперского status-quo. Российская великодержавность была становым хребтом той мировоззренческой системы, которая впитывалась военнослужащими с момента их погружения в армейскую среду. Бывало и так, что к этому убеждению еще примешивалось и ощущение родственной близости с этносами, проживавшими в местах длительной дислокации воинских частей, — отсюда проистекало стремление сохранить и приумножить на будущее время плодотворные межэтнические связи. Советские историки В.А. Дьяков и И.С. Миллер, исследовавшие проявления бунтарских настроений в 1-й армии, располагавшейся на польской территории, справедливо указывали на то, что в ареале тесного общения с местными жителями рядовой и младший офицерский состав русской армии естественно проникался их заботами и чаяниями. В ряде случаев, как, например, во время восстания 1863—1864 гг. это толкало военнослужащих на оказание посильной помощи его участникам³. Разумеется, случаи перехода войска на сторону инсургентов не составляли массового явления и не характеризовали настроений армии. Тем не менее они показывали многосложный состав ощущений общности судьбы, который возникал в рамках военно-гражданских отношений на национальных окраинах.

Вполне понятно, что обобщение взглядов военных на проблемы позднего имперского развития обедняет палитру индивидуальных взглядов. Однако именно такая мыслительная операция позволяет выявить вектор военного участия, сравнив его с доминантами гражданских подходов и с главными тенденциями военных разработок предшествующего периода.

Сравнение с дореформенным периодом выявляет перестройку в когнитивных схемах решения острых имперских проблем. Эти изменения прослеживались в подходе к польскому и

финскому вопросам. Так, на этапе польского восстания 1863 — 1864 гг. большая часть военной элиты исповедовала символ веры, сложившийся еще в первой половине XIX в. Пожалуй, наиболее определенно он был сформулирован устами губернатора юго-западного края, генерала-адъютанта Н.Н. Анненкова: «Беспечность, шаткость управления на западе, сочувствие коммунистическим стремлениям в Петербурге, недостаток энергии в преследовании первых проявлений противодействия правительству во всем государстве и проявление мятежа в Царстве Польском — породили ту уверенность в безнаказанности, под влиянием которой мятеж разлился в таких размерах, с такой силой. Более двух лет поляки действуют по системе обдуманной; мы же действовали без всякой системы, или вовсе не действовали... нам должно было и необходимо теперь принимать, с одной стороны, меры к усилению русской народности, с другой — сравнивать перед законом всех жителей края, невзирая на происхождение, на вероисповедание; сравнивать край с другими частями государства и карать неуклонно без всякого различия всех нарушителей закона»⁴.

Практическое воплощение принципов, которые декларировал Анненков и поддерживали его коллеги, выпало виленскому генерал-губернатору М.Н. Муравьеву, назначенному в мае 1863 г. на эту должность для окончательного умирения края. Между тем стиль действий, который отстаивали и реализовывали военные, имел немало оппонентов в лице влиятельных гражданских чиновников (великий князь Константин Николаевич, министр внутренних дел П.А. Валуев, министр просвещения А.В. Головнин, министр двора В.Ф. Адлерберг и некоторые другие лица). Последние доказывали предпочтительность более гибкой политики и сохранения самоуправления для продвинутых национальных окраин⁵.

Вскоре, однако, влиятельные гражданские и военные группировки поменялись ролями. Первые (Н.А. Милютин, П.П. Ггарин, В.А. Черкасский, Ю.Ф. Самарин) выступили с почином аграрной реформы, который получил одобрение главного идеолога по борьбе с польским сепаратизмом М.Н. Каткова и был приведен в исполнение в 1864 г. при благосклонном отношении М.Н. Муравьева. Реформа улучшила земельное наделение и

упразднила всякие зависимые отношения от помещиков-поляков украинцев, белорусов, литовцев, составлявших крестьянскую массу края. Получив с ее помощью серьезную социальную опору на местах, правительственные силы достаточно быстро погасили последние очаги сопротивления в крае. Одновременно с помощью реформы был дан мощный импульс аграрной капиталистической эволюции западных окраин. Эффективность была достигнута во многом благодаря русским военным комиссарам, подменившим собой мировых посредников⁶.

Вместе с тем, несмотря на активную вовлеченность военных и безусловно выполненный ими план действий, сама реформа и тогда, и позднее вызывала неоднозначное отношение военных кругов. Уже во второй половине 60-х годов виленские генерал-губернаторы Э.Т. Баранов и А.Л. Потапов пытались оспорить те льготы, которые были получены крестьянством западных губерний⁷. Основной мотив этого противодействия был продиктован несоразмерностью уступок, предоставленных земледельческому населению окраинных территорий, условиям крестьянского быта в великорусских губерниях. Однако на самом деле корень проблемы лежал еще глубже — в существенной диспропорции развития «национальных» и центрального регионов. С учетом преимуществ, полученных производительными группами нерусского населения, в перспективе разрыв многократно увеличивался.

А. Каппелер отмечает, что аграрная реформа лишь на время укрепила позиции центральной власти в регионе. В долгосрочном измерении она содействовала интеграции крестьянства в польскую нацию и ускорила превращение всего польскоязычного общества в новую, современную нацию, объединившую все группы населения⁸. В этих условиях удержание Польши в орбите российской государственности становилось еще более проблематичным делом.

Расхождения военных и гражданских деятелей не ограничивались аграрной реформой, но распространялись и на другие аспекты правительственной политики в крае. Как известно, после разгрома восстания гражданская бюрократия встала на путь его насильственной русификации и административно-правового слияния с остальной Российской империей. Эта линия,

заявленная в 1865 г. Учредительным комитетом, выразилась в губернской реформе, уничтожении должности наместника в 1875 г. и введении вместо нее должности варшавского генерал-губернатора, а также в приближении норм местного судопроизводства к общеимперским⁹. Характерно, что назначаемые правительством варшавские генерал-губернаторы в своем абсолютном большинстве пытались амортизировать действие нивелирующей тенденции, которая исходила от гражданской бюрократии. Авторы современного труда, посвященного институту генерал-губернаторства, обращают внимание на то, что практика варшавских генерал-губернаторов в области просвещения и культурного развития региона, повседневного взаимодействия с местными жителями во многих случаях входила в противоречие с установками центральной власти, от имени которой они выступали⁹.

При этом чем сильнее правительственный аппарат уклонялся в унификаторскую программу, тем интенсивнее становились генерал-губернаторские попытки наведения мостов с местным польским обществом. В этом смысле очень показательный анекдот из польских газет привела в своих дневниковых записях генеральша А.В. Богданович: новоназначенный при Александре III генерал-губернатор И.В. Гурко однажды проезжал по городу и встретил на своем пути конвойную процессию, доставлявшую государственного преступника в 10-й павильон. Гурко возмутился тем, что на арестанте не было оков, и распорядился отвезти его в первую же кузницу для закования в кандалы. Следующий губернатор П.А. Шувалов (исполнявший эту должность в 1894—1897 гг.) встретил конвой уже с закованным преступником. Этот генерал-губернатор выразил свое негодование по поводу оков на преступнике и велел немедленно его расковать, а уже затем везти в 10-й павильон. Преемник Шувалова И.К. Имеретинский (1897—1900 гг.), увидев изменника под конвоем, повел себя еще более неожиданно: остановил свою коляску, по-польски попросил конвоированного сесть к нему, а конвойного усадил на козлы и доставил обоих в 10-й павильон¹⁰.

Логическим развитием установки на сотрудничество, которой негласно следовали в своей практике военные администра-

торы, стало известное обращение к польскому народу в начале Первой мировой войны Главнокомандующего русской армией великого князя Николая Николаевича. В нем напоминалось о лучших традициях общеславянского братства и содержалось обещание восстановить польскую автономию по окончании войны. Эту позицию поддержал министр иностранных дел С.Д. Сазонов, который также считал необходимым подтвердить ее высочайшим манифестом и заявлениями высших государственных чиновников. Однако гражданская бюрократия, привыкшая, по словам Сазонова, смотреть на польский вопрос через «германские очки», либо, на худой конец, глазами консервативных публицистов 1863—1864 гг., заблокировала решение этого вопроса¹¹. Осенью 1914 г. предстоящее устройство Польши обсуждалось на заседании Совета министров, однако из-за активного неприятия влиятельной группировки сановников каких бы то ни было уступок полякам, позитивного решения так и не было принято¹². В очередной раз польский вопрос был поставлен на повестку дня уже в 1916 г., после того как стало очевидно, что австро-германская оккупация польской территории не только не принесла с собой свободы, но привела к ее немецкому порабощению. С.Д. Сазонов, выступивший с предложением дарования конституционной хартии полякам от имени русского царя, привлек в качестве «лоббиста» начальника штаба Ставки Верховного главнокомандующего М.В. Алексеева. Пользовавшийся некоторым влиянием на Николая II, Алексеев также ходатайствовал перед ним об издании конституционного манифеста¹³. С его помощью дело начало сдвигаться с мертвой точки, однако не было завершено из-за упрямого нежелания Совета министров вынести нужную резолюцию до окончания военных действий. Конечный отказ высших гражданских чиновников дать ход давно назревшему проекту, по выражению Сазонова, «сыграл роль могильного креста» в истории российской имперской государственности¹⁴.

Более здоровым практицизмом сравнительно с позицией гражданских чиновников отличался подход военных деятелей и к финской проблеме. В частности, возражения военных вызывал резкий поворот от курса на автономизацию Финляндии к ее последовательной инкорпорации в состав империи, который

наметился в 90-е годы XIX в. Как можно судить из приведенных Е.Ю. Сергеевым выдержек аналитических записок офицеров Главного штаба, ситуация в Финляндии не внушала штабистам большого оптимизма. Продолжение уравнивающей политики в этом регионе рассматривалось с точки зрения неизбежного нарастания центробежных устремлений. Основанием для этих выводов служили вполне реалистические доводы о том, что за 80 лет изолированного положения Финляндии в гущу ее народной жизни успели глубоко проникнуть идеи самодостаточности, а в отсутствие систематического русского культурного влияния в сознании жителей укоренились идеи панскандинавизма¹⁵. С точки зрения многих военных аналитиков и военных администраторов, попытки одним махом разрешить наболевший финский вопрос были совершенно несостоятельны. О пагубной самонадеянности таких расчетов писал в докладе царю в 1900 г. военный министр А.Н. Куропаткин: «Как ни справедливы, однако, права России на державное обладание Финляндией, надлежит признать, что ошибочная политика по отношению к этой провинции в течение 80 лет не может быть исправлена в короткое время. Крутые и поспешные меры, в особенности касающиеся внутренней жизни населения, только озлобят его и затруднят задачи России. Требуется спокойная, неуклонная, но в то же время весьма осторожная работа, может быть, даже в течение нескольких десятилетий, дабы Россия вновь могла занять на берегах Финского и Ботнического заливов подобающее ей место»¹⁶.

В этом плане интересно отметить, что военные, непосредственно проводившие в жизнь предначертания центральной власти в Финляндии, достаточно откровенно выражали свое несогласие с ними. Так, уже упоминавшаяся генеральша Богданович в феврале 1899 г. засвидетельствовала довольно резкий отзыв начальника штаба Финляндского военного округа Н.В. Каульбарса на только что изданный февральский манифест царя, отменявший автономные права Финляндии: «Он против того, что делается теперь в Финляндии, говорит, что это надо было сделать 80 лет тому назад, когда была присоединена Финляндия, а что теперь уже поздно... Каульбарс говорит, что настроение финнов теперь таково, что они лежат в церквах на камнях, моля бога, чтобы он им сохранил их прежние порядки»¹⁷. Фрон-

дерство Каульбарса невольно прорвалось и во время представления царю во дворце: когда Николай II поинтересовался, как нынче обстоят дела в Финляндии, он заявил, что «вся Финляндия плачет, в большом горе». А на встречный вопрос царя «Почему?» без запинки ответил: «По случаю последних распоряжений»¹⁸.

Надо полагать, что частные мнения военных администраторов были хорошо известны и финнам. Этим объясняется то доброе расположение, которым на месте пользовались военные назначенцы верховной власти. Любопытно отметить, что финское общественное мнение было даже на стороне наиболее жесткого проводника воли центра — генерал-губернатора Н.И. Бобрикова, наделенного в 1898 г. диктаторскими полномочиями. В связи с теми же февральскими событиями 1899 г., потрясшими Финляндию, генеральша Богданович зафиксировала вести, приходившие оттуда в Петербург: «На Бобрикова финляндцы не сердятся, говорят про него, что он исполняет приказания, которые отсюда присылаются, но бранят Победоносцева, Куропаткина и Плеве, считая последнего автором манифеста»¹⁹. Как видно из этих толков, даже непримиримые противники российского административного начала в крае старались вывести из-под удара военных (исключение составил министр Куропаткин, огульно причисленный к виновникам посыпавшихся на Финляндию несчастий).

Отношения доверия, которые складывались на национальных окраинах между местным населением и большинством администраторов в военном звании, не дают достаточных оснований для той нигилистической интерпретации военно-колониаторской и военно-управленческой деятельности, которую дает Д. Ливен. По его мнению, полномочные представители центра на западных окраинах испытывали ощущения, похожие на комплекс неполноценности, и вели диалог с населением не в тоне уверенного империализма, а в тоне постколониальных властей, старающихся приспособиться к туземному доминированию²⁰. Наоборот, в азиатских владениях представители российской правящей элиты, по его словам, открыто демонстрировали собственное превосходство и самодовольство²¹. Здесь сознание могущества, помимо прочих факторов, базировалось на устра-

шающем эффекте скобелевской операции по взятию Геок-Тепе, парализовавшей на несколько поколений вперед сопротивление туземцев российскому владычеству²². Следует заметить, что подобная трактовка сильно искажает как мотивацию, так и сам образ действий военных управленцев. Из нее можно заключить, что тем приходилось соразмерять свои бурбонские замашки с потенциальной способностью социальной среды к оказанию отпора.

На деле практика военных управленцев заведомо строилась на началах жесткого самоограничения, нацеленных на эластичную корректировку отношений центра с окраинами. В культурно и экономически развитых национальных регионах эта линия выражалась в определенном поддержании той институциональной организации, которая во многих случаях опережала и превосходила русские образцы. В отсталых национальных регионах — в политике щадящего, сдержанного приобщения туземцев к российским порядкам, сочетавшейся с максимально возможным сохранением для них привычных форм юрисдикции и управления. В этой связи заслуживает внимания тот факт, что в первой же прокламации, изданной сразу после взятия Ташкента, начальник Зачуйского отряда полковник М.Г. Черняев заявлял о неприкосновенности социально-бытового уклада и законов веры, которые сложились у народов Средней Азии. Щепетильное отношение к правам туземцев проявилось и в том, что русским солдатам было категорически запрещено входить в дома городских жителей²³. Презумпция, положенная в основу деятельности российских военных колонизаторов в Туркестане, была сформулирована Черняевым: «Требовать, чтобы киргизы и сарты Туркестана управлялись одинаково с подмосковными жителями — значит насиловать природу вещей»²⁴. Гибкая система мер, проводившаяся в жизнь сначала Черняевым, а затем его «сменщиком» в регионе К.П. Кауфманом, содействовала признанию российской власти в широких слоях туземного населения.

От выверенных практикой методов работы военные администраторы не отступили и после 1867 г., когда в центральном правительственном аппарате возобладало убеждение в целесообразности скорейшего приведения порядков в новоприсоеди-

ненных окраинах с общеимперскими нормами. По справедливому замечанию современного исследователя, Александр II и его министры в этом намерении руководствовались идеями европоцентризма и убежденностью в абсолютном преимуществе европейского (русского) устройства общества над азиатским²⁵. Однако такой взгляд на вещи, сформированный на большом удалении от конкретной ситуации на местах, страдал существенными изъянами, которые были хорошо видны военачальникам. Новоиспеченному туркестанскому генерал-губернатору К.П. Кауфману приходилось строить свою деятельность на нелегитимных с точки зрения действующего законодательства началах, которые, по мнению современного исследователя, обнаруживают определенное сходство с организацией британского правления в Индии²⁶. Даже весьма скупые на похвалу «чужому» колониализму англичане были вынуждены признать, что Кауфман в Средней Азии показал пример «способности России к братанию с побежденными»²⁷. Созданная им система управления, сочетавшая единую и нераздельную власть генерал-губернатора с опорой на низовые структуры туземной администрации и соразмерявшая действия с обычаями и менталитетом местных жителей, полностью себя оправдала. Ее успешной реализации в Средней Азии в немалой степени содействовало то обстоятельство, что в 1890 г. Закаспийская область перешла в непосредственное ведение Военного министерства²⁸.

Столь же неординарные искания приемлемых управленческих алгоритмов были характерны для военных администраторов в Сибири. Как пишет Д. Ливен, в конце XIX в. здесь стали оформляться притязания на отдельную сибирскую идентичность и автономию²⁹. Следует думать, что именно этими реалиями были вызваны размышления опытного приамурского генерал-губернатора А.Н. Корфа о превращении Приамурской области в полусамостоятельную колонию империи. Как свидетельствовал его ближайший сотрудник А. Кейзерлинг, в голове генерал-губернатора сложился план модификации статуса области, исходя из ее обеспеченности всеми необходимыми ресурсами для выживания. Наделение ее сильными армией и флотом, составленными из российских призывников, позволило бы

в недалекой перспективе сделать из нее надежнейший оплот империи на Тихоокеанском побережье³⁰.

При всей региональной специфике деятельность военных администраторов позднего имперского периода выражала некоторую общую тенденцию, которая отождествляется с наметками федерализма и даже проработкой конфедеративных связей. Она просматривается в попытках явочным порядком утвердить элементы самоуправления и демократические институты в исторически обусловленных формах для каждого из этносов. Характерно, что эта же тенденция, хотя и в нереализовавшемся виде, была присуща Австро-Венгерской империи³¹. Что касается России, то здесь проблески федералистской идеи (или конфедеративного объединения) успели прорасти в некоторые практические комбинации, которые наряду с посылкой равных прав и возможностей учитывали многообразие вариантов развития этносов. (В этом плане небезынтересно отметить, что на склоне дней престарелый фельдмаршал Д.А. Милютин, анализируя мировой опыт решения национальных проблем, склонялся к швейцарскому конфедеративному образцу как к одному из лучших и полезнейших³².)

Альтернатива, связанная с предпочтениями военных администраторов, тем более удивительна, что она сильно отклонялась от их доминирующих устремлений в дореформенный период. Тогда военные высказывались за устранение дельты в политических статусах развитых регионов и остальных частей империи. Поиски интегрального основания имперской целостности велись в русле унификаторской парадигмы. В принципе, такой взгляд на предмет был органичен структуре военного сознания: вся социализация военнослужащего в рамках регулярной армии культивировала убежденность в универсализме управленческих решений, правильности единообразной композиции политического пространства. Однако с возрастанием запроса регионов на осуществление национальной модели развития при одновременном усилении русификаторских тенденций в правительственной политике второй половины XIX в. позиция военных все больше сдвигалась в сторону диверсификации устройства окраин. Эта эволюция дает право применить к военному корпусу, задействованному в региональном управлении,

понятия «балансирующей силы» политической стратификации. П. Сорокин, который ввел его в научный оборот, полагал, что действия таких сил отвечают внутреннему посылу политической системы к достижению равновесия. В случае чрезмерно высокой пирамиды политической стратификации они содействуют ее уплощению (путем военных операций, мирных реформ, революционных переворотов, социальной политики). В случае установления чрезмерно плоского профиля, их активность, наоборот, направляется на то, чтобы вернуть ему необходимую «вышину»³³.

Мотивы, заставлявшие военных часто действовать наперекор установкам центральной власти, состояли в том, что именно им приходилось пожинать горькие плоды ошибочных решений значительно раньше, чем гражданским политикам. Если последние имели дело с конечными результатами искусственной нивелировки этносов — всплесками национально-освободительной борьбы, выступлениями национал-сепаратистов — и оценивали свои огрехи постфактум, то военные сталкивались с оборотной стороной этой политики в повседневном армейском быту задолго до открытых политических эксцессов. Так, например, пытаясь подстегнуть слияние обособленных окраин с империей после 1863 г., высшее руководство приняло решение о переброске призывников из западных губерний для отбывания срочной службы за сотни километров от дома — на восточные окраины или на Кавказ³⁴. Однако такая организация дела несколько себя не оправдала. Первыми забили тревогу военные: в последние десятилетия XIX в. новобранцы — латыши, слывшие лучшими стрелками в армии и бывшие нарасхват в воинских частях, на учениях нередко подвергали обстрелу боевыми патронами своих командиров³⁵. А в 1904 г. дислоцированный в Варшаве Люблинский полк в полном составе отказался ехать на театр военных действий с Японией: для того, чтобы переломить ситуацию, военному суду пришлось вынести смертный приговор восьми зачинщикам этого происшествия³⁶. По большому счету, для военных командиров не была неожиданной протестная реакция населения Средней Азии на правительственный указ от 25 июня 1916 г., обязавший 390 тыс. туземцев выполнить воинский долг (хотя и не в составе действующей ар-

мии, а на тыловых вспомогательных работах)³⁷. После введения в действие Положения об управлении Туркестаном от 1886 г., по многим пунктам аннулировавшего учрежденный военными администраторами и приемлемый для туземцев порядок, новые обязательства по отношению к центру здесь рассматривались в свете ужесточения колониального гнета и встречались в штыки³⁸.

Исследователь национального вопроса в российской армии Й. Петровский-Штерн резонно замечает, что военная элита должна была поневоле сопротивляться произволу властей в отношении ущемленных этнических групп «хотя бы для того, чтобы сохранить в действии систему призывной разверстки, набора в армию и, разумеется, безопасности западных границ»³⁹. Однако это была одна сторона медали. Другая состояла в том, что военная мысль показывала более высокую способность к опережающему отражению в делах имперского устройства, чем рефлексия многих гражданских деятелей. Если те *in cogrore* замечали опасные уклонения в отношениях центра с регионами, главным образом в свете состоявшегося катаклизма, то их военные коллеги, как правило, с упреждением реагировали на «сейсмическую» нестабильность отдельных зон имперского пространства.

В калейдоскопе имперской реальности наметанный взгляд военного человека сразу же выхватывал признаки, нагруженные катастрофическим подтекстом. В этом отношении, например, замечательна зарисовка генерала М. Грулева, посвященная его малой родине — городу Режице Витебской губернии. По словам генерала, это место являлось чем-то вроде легендарной «Латгалии»: «В праздничные и базарные дни, когда наезжали крестьяне, преобладал всюду чуждый говор — латышский язык; господствующее место в городе занимала не православная церковь, а католический костел. Русские власти старались перевести базар в новую часть города за рекой и насадить там новую жизнь, но это плохо удавалось: вся торговля, базары, магазины, все жизненные функции города и его населения, видно, крепко срослись со старой нерусской частью города; а на противоположном конце города, далеко за рекой, оставались изолированными присутственные места, православная церковь, раз-

ные казенные учреждения и квартиры чиновников»⁴⁰. Военный министр Д.А. Милютин с нескрываемым беспокойством констатировал наклонность к «областному сепаратизму» практически во всех сегментах общественной жизни Польши, Финляндии и прибалтийских губерний, в то время когда эта истина еще не предстала во всей своей определенности для многих высших чиновников⁴¹. А в его аналитической записке начала XX в. уже явственно звучали нотки сомнения в возможности удержания под скипетром Романовых многих народов, созревших для самостоятельной национальной жизни⁴². Генерал П.Г. Курлов, назначенный в начале мировой войны начальником Двинского военного округа и особоуполномоченным по гражданскому управлению Прибалтийского края, по прибытии на новое место службы был ошеломлен кричащим противоречием порядков края с устройством центральных губерний и вообще с ситуацией военного времени. Вывески на немецком языке в Риге и других городах, немецкая речь во всех публичных местах, праздничные встречи с цветами немецких военнопленных, двигавшихся по этапу через территорию Прибалтики, — по его понятиям, знаменовали собой самопроизвольное отпадение от остальной России, которому только оставалось в недалекой перспективе обрести легитимную силу⁴³. Таким образом, военное мышление в целом показывало большую сенситивность, нежели гражданское, к нарастающей аномии в теле империи.

Восприятие внутренней диссоциации империи, отразившееся в сочинениях военных мыслителей, определенным образом перекликается с интерпретациями подобных явлений в социологии. С точки зрения французских социологов Б. Бади и П. Бирнбаума, наличие территориальных фрагментов с процветающими местными группами интересов и давления, клиентскими связями, областным патриотизмом служит симптомом слабости государства. Отличие «слабого» государства от «сильного» заключается в перебазировании всей системы ценностей и интересов на локальный уровень и в преобладании местных гражданских связей над отношениями государственного подданства⁴⁴.

В некоторых научных парадигмах единичные территориальные образования, выпадающие из нормативной структуры

целого сообщества, обозначаются как «иные пространства», или «гетеротопии». Самим фактом своего существования они нарушают единство, последовательность, непрерывность больших территориальных массивов. Согласно взгляду историка и социолога М. Фуко, это понятие подразумевает не просто выключенность того или иного места из целого, но, прежде всего, его несовпадение с другими местами по типам социальных действий и ощущений, которые встроены в его структуру⁴⁵. По мнению российского социолога А. Филиппова, гетеротопия имманентно заряжена девиацией, а чрезмерная разнородность большого пространства несет в себе угрозу разнородности и многообразия девиаций⁴⁶. Добавим к этим наблюдениям еще один штрих из российского имперского быта: девиации, возникавшие в одной из таких «гетеротопий», с неизбежностью притягивали к себе девиации, складывавшиеся в других. В результате образовывалось напластование девиаций, многократно усиливавшее эффект отторжения территориального фрагмента от территориального целого.

Это свойство удаленных от центра инородческих регионов тонко подмечали военные наблюдатели. По мнению генерала Курлова, особое положение цивилизованных окраин приводило к наплыву в них экстремистов всех мастей, пользовавшихся здесь статусом экстерриториальности, и к появлению целых гнезд подрывной антиправительственной деятельности⁴⁷. В свете того же явления — длительных не возбраняемых нарушений всяческого нормативного порядка — А.И. Деникин подчеркивал естественность тотального хаоса, войны всех против всех, воцарившихся на окраинах после падения монархии. Подводя итоги неумелому рулению царского и Временного правительств на национальных территориях, он писал: «Газеты того времени переполнены сообщениями с мест под многоговорящими заголовками: «Анархия», «Беспорядки», «Погромы», «Самосуды» и. т. д... между местами закупок хлеба и фронтом — сплошное пространство, объятые анархией, и нет сил преодолеть его»⁴⁸.

Итак, по мере углубления модернизации и роста стремлений народов империи к национальному самоопределению все резче обозначалось несовпадение подходов военного и гражданского ведомств в национальной политике. Очевидно, этот фак-

тор должен быть принят во внимание при выяснении причин, приведших в конечном итоге к самоустранению вооруженных сил от защиты правящего режима в феврале — марте 1917 г., принесению присяги Временному правительству и последующему массовому переходу офицеров старой армии на сторону большевиков. Даже с учетом прочих привходящих обстоятельств, следует признать, что тотальный отказ армии поддержать в феврале — марте 1917 г. легитимную власть и ее высшего носителя мог произойти лишь в силу неодолимых расхождений, которые затрагивали самые значимые и эмоционально окрашенные для военных деятелей символы и понятия. Это относилось и к имперскому, державному образу России, который располагался на самом сильном полюсе аксиологической шкалы военных.

В этой связи было бы интересно, пусть даже с большой долей условности, ранжировать те претензии, которые накапливались у военных деятелей к политическому истеблишменту страны в вопросах имперской политики. Очевидно, здесь с учетом возрастания «веса» должны быть последовательно выделены несколько пунктов.

Это *идеологический вакуум*, в котором приходилось нести службу массе военнослужащих на границах и в гарнизонах национальных окраин. Если отбросить теорию официальной народности с ее весьма сомнительной применимостью к народам неправославных конфессий, то остается признать крайне скудную идейную оснащенность военных колонизаторов в исполнении их полномочий. Похоже, что и сам Николай I истово насаждавший эту теорию, никак не соотносил ее с практикой национально-государственного строительства. Замечательный по наглядности пример атавистического образа мыслей в этих вопросах представляет следующий случай. Зайдя как-то на урок статистики к цесаревичу Александру Николаевичу, он услышал рассказ преподавателя К.И. Арсеньева о народах, населяющих Российскую империю. «А чем все это держится?» — поинтересовался государь у наследника и получил заученный ответ: «Самодержавием и законами». «Законами? — возразил царь, — нет, самодержавием и вот чем! Вот чем! Вот чем!» — при каждом повторении этих слов махая сжатым кулаком⁴⁹. Отсюда происходила и полнейшая сумятица в представлениях самих

исполнителей монарших заветов о том, как лучше обустроить многонациональную Россию.

Слабая подготовка по этой части и тогда, и позднее особенно бросалась в глаза на фоне острых политических ситуаций. Скажем, в 1863 г. предложения правительственных чиновников о мерах противодействия польским инсургентам колебались в диапазоне от ссылки всех неблагонадежных поляков в Туруханский край до привлечения некоторых из них в российское правительство. По совершенно справедливой оценке генерала А. Крыжановского, у русских политиков в отличие от мятежных поляков не было «идеи»: «Мы противопоставляли нравственным силам одну материальную силу»⁵⁰. Здесь проходил важнейший водораздел между колониальной политикой западных империй и России. Так, иберийский конкистадор высоко нес христианское знамя своей родины на покоренную землю. Французский колонизатор — с патриотической гордостью и в виде большого одолжения предлагал своим туземным подопечным приобщиться к культуре «французов — наследников галлов». Английский — выступал в образе благодетеля-импортера товаров и инвестора в местную экономику, а также представителя высшей расы⁵¹. Усвоение этих представлений питало британский джингоизм и позволяло юнион-джеку гордо реять над одной четвертой частью земной суши. Убежденность британца в абсолютной благотворности своей имперской миссии лучше прочих выразил министр колоний Дж. Чемберлен: «Во-первых, я верую в Британскую империю, во-вторых, я верую в британскую расу. Я верую, что британцы — величайшая из всех имперских рас, какие когда-либо знавал мир»⁵². Российский колонизатор в униформе в лучшем случае в порядке «агитки» мог предложить подвластным нерусским народам систему гибких скидок за сомнительную честь проживания в вавилонской башне. Однако действенность подобного «пиара» была более чем призрачной. Не случайно незадолго до Первой мировой войны военная верхушка, представленная в Генштабе и военном министерстве, всерьез задумалась о постановке идеологической работы в массах, которая позволила бы морально и психологически подготовить общество к борьбе с сильным противником. В этой связи внимание должностных лиц привлек английский опыт

воздействия на массовое сознание в духе солидарности, единения и стойкости перед лицом военных испытаний⁵³. Этот интерес был совершенно закономерен.

Примерно за 30—40 лет до начала Первой мировой войны, в условиях износа прежних моральных опор империи британские политики и идеологи попытались перестроить методологию поддержания национальной идентичности. Упор был сделан на эмоциональную подстройку в системе воспроизводства социально-политической общности. Пропаганда, лившаяся со страниц школьных учебников, литературных произведений, из батальных полотен, образцов массового искусства и даже коммерческой рекламы, настойчиво внушала мысль о том, что истинные английские добродетели требуют вооруженной защиты⁵⁴. Аналогичные представления насаждались и в стенах английской публичной школы. По мнению британского исследователя Дж. А. Мангана, культурные ценности, к которым приучала своих воспитанников английская школа, обнаруживают удивительное типологическое сходство с теми понятиями, которые вносились в юношеские умы педагогами нацистской Германии. Это были идеи расового и этнического превосходства, обосновывавшие собой императив самоотверженного служения своей нации; культ отечественных героев и славных побед; постулат абсолютной имперской самооценности. Заветы воспитателей укрепляли веру в праведность британской империалистической политики и обеспечивали гражданское согласие во всем, что касалось имперского процветания. (Характерно, что именно в рамках публичной школы зародилась и традиция Дня империи — общегосударственного праздника, приуроченного ко дню рождения королевы Виктории, — 24 мая. С этой инициативой впервые выступил один из самых авторитетных организаторов школьного дела — О. Брабазон, граф Мита⁵⁵.)

Однако применение английских наработок в России упиралось в неоформленность соответствующей идеологической доктрины, слабость организационной базы просветительской и пропагандистской работы, а главное — в отсутствие политической воли правящих верхов.

Далее, инвективы военных в адрес гражданского руководства вызывала практика использования армии в деле под-

держания жизненных функций расстроенного имперского организма. С одной стороны, выдвижение армии в эпицентр кризисного регулирования лишней раз доказывало беспомощность центральной власти перед периферийными движениями и усиливало возражения некоторых нерусских этносов против имперского общежития. Привычная накачка ненадежных регионов воинскими частями в ожидании очередных вспышек освободительной борьбы⁵⁶ породила нечто похожее на условный рефлекс в общественных реакциях: естественным откликом на укрупнение плана армейского присутствия в национальных окраинах выступало нагнетание напряженности, ощущение незаслуженной обиды. С другой стороны, направление сильных воинских соединений в районы, пользовавшиеся «дурной» репутацией у центральной власти, ослабляло боеспособность действующей армии. В частности, по мнению историков, нахождение большой массы военнослужащих на территории Финляндии, вдали от театра боевых действий, стало одной из причин русских поражений в 1914—1915 гг.⁵⁷

Наконец и главным образом, предметом военно-гражданских расхождений являлось *неравноценное партнерство центра и окраин, в рамках которого первому отводилась роль донора, а вторым — реципиента безвозмездной помощи*. Хищническое потребление окраинами материальных сил и средств коренного населения, замедлившее его собственную эволюцию, отмечал в докладе царю от 1900 г. военный министр А.Н. Куропаткин. Ввиду амбициозной задачи — догнать и перегнать Европу с Америкой в борьбе «на рынках всего света», которую ставило военное министерство в данный период, подобное положение дел расценивалось как недопустимое⁵⁸. А в аналитической записке «Внутреннее положение России в конце XIX в.» министр указывал на гражданскую бюрократию и бюрократизм как главных виновников бездумной политики, которая велась «без соображения с национальными нуждами, прежде всего с нуждами русского племени»⁵⁹.

Настоятельная необходимость первоочередной интенсификации развития центра вытекала из размышлений военных авторов конца XIX — начала XX в. о контурах грядущей тотальной войны. Отдавая себе отчет в том, что будущая война будет

состоянием держав в технологиях, инженерных расчетах, военно-технической выучке личного состава, («Машина все более и более будет брать верх над мускульной силой человека», — писал на склоне лет Д.А. Милютин), они поднимали вопрос о наиболее адекватной этому запросу методологии военного строительства⁶⁰. И те, кто высказывался за сочетание милиционного войска (ополчения, партизан) с профессиональной армией, комплектуемой на добровольной основе⁶¹, и те, кто армию будущего по-прежнему видел в образе «вооруженного народа», в равной мере делали ставку на новобранцев из великорусских губерний. На эти регионы, таким образом, ложилась максимальная нагрузка по техническому переоснащению армии и качественному улучшению личного состава. О народно-хозяйственном подъеме русских областей и инновационном прорыве в военной области как о двуединой задаче писали многие военные специалисты. На этой же посылке основывалась и критика внешнеполитического курса России в начале XX в., и формулировались неотложные задачи освоения родной глубинки. Обобщая суждения военных специалистов, А.А. Керсновский писал: «Не было смысла захватывать чужие земли, когда свои собственные оставались втуне. Мы набрасывались на каменистый Ляодун, пренебрегая богатейшей Камчаткой. Мы затратили огромные деньги на оборудование китайской территории и оставили в запустении исконный русский край непочатых сил от Урала до Берингова моря. Имея богатейший в мире Кузнецкий угольный бассейн, мы не тронули его и стали разрабатывать за тридцать земель в чужой стране Янтайские копи. Имея лучшую стоянку на Тихом океане — Петропавловск, — мы зачем-то пошли в порт-артурскую мышеловку... когда политика плоха, то плоха и та ее ветвь, что именуется стратегией. На плохом фундаменте нельзя построить прочное здание»⁶².

Вопрос отставания великорусских регионов, заостренный военными мыслителями, был завязан еще и на интеграционные процессы. Слабость материальной базы имперской целостности ясно осознавалась всеми пишущими на эту тему военными авторами. Решение проблемы могло быть найдено в некотором общем начале, способном работать на объединение различающихся по степени экономического развития регионов. Возмож-

ным вариантом являлся тот сценарий коэволюции сложных «разновозрастных», структур, который очерчивает современная молодая междисциплинарная наука — синергетика. С точки зрения открытых ею правил, для становления единой сложной структуры требуется «определенная степень перекрытия входящих в нее более простых структур. Должна быть соблюдена определенная топология, «архитектура» перекрытия». Кардинальным фактором объединения простого в сложное «является некий аналог хаоса, флуктуаций, диссипации, рынок в обобщенном смысле этого слова. Хаос (т.е. обменные процессы разного рода), таким образом, играет конструктивную роль не только в процессах выбора пути эволюции, но и в процессах построения сложного эволюционного целого. Фигурально выражаясь, хаос выступает в качестве «клея», который связывает части в единое целое». В рамках объединения основные усилия должны направляться на установление общего темпа эволюции отдельных частей: «интенсивность процессов в различных фрагментах сложной структуры (скажем, для социальной среды — уровень экономического развития, качество жизни, информационное обеспечение и т.д. в различных странах) может быть разной. Факт объединения означает, что в разных фрагментах сложной структуры устанавливается одинаковый темп развития социальных процессов. Структуры попадают в один темпмир, начинают развиваться с равной скоростью»⁶³.

К описанной рецептуре конструирования сверхбольшой общности близки идеи, высказывавшиеся в свое время П. Сорокиным. Тонкий социальный наблюдатель и свидетель крушения Российской империи, П. Сорокин — в отличие от многих своих современников — пытался осмыслить эту драму вне господствующего эсхатологического контекста. В системе его представлений будущность империи была завязана на способность к преодолению внутренней неоднородности. Возможность преодолеть губительный разброс в характеристиках развития, по его мнению, открывалась через длительное и непрерывное взаимодействие всех частей имперского пространства (иначе говоря, рынок в обобщенном смысле этого слова) — за этим всегда с обязательностью следовало «возрастание однород-

ности в привычках, социальных традициях, идеях, верованиях и в «единомыслии»⁶⁴.

В принципе, помыслы военных как заявленные в аналитических документах, так и проявившиеся на практике, вполне тяготели к отладке той самонастраивающейся системы, на которую ссылались позднейшие теоретики интеграции. Стремления снять препятствия на пути одинаково свободного развития региональных экономик и равноправного взаимодействия народов, параллельно подтолкнув прогресс в застойных точках имперского пространства, которые выражали военные круги, позволяли рассчитывать на «свет в конце туннеля».

Однако невозможность в сколько-нибудь значимом объеме реализовать эти интенции не оставляла места для надежд. Вряд ли военных профессионалов мог ввести в заблуждение относительно спокойный фон межнациональных отношений в канун мировой войны. От открытых антироссийских выпадов воздерживались и самые неблагонадежные окраины, вроде Польши и Финляндии. По оценкам крупного знатока украинского национализма Н.И. Ульянова, лозунг отделения от России отсутствовал у самого лидера «Громады» М. Драгоманова⁶⁵. Как показал общероссийский конгресс мусульман 1913 г., требование политического суверенитета отстаивали только азербайджанцы. Почти повсеместные верноподданнические манифестации, сопутствовавшие началу мировой войны, как будто бы подтверждали видимость братства и единения с властью.

Но уже первые испытания военного времени, а также попытки перенесения на национальные окраины норм военно-административного давления, исторически характерных для центральных районов, быстро смыли эту розовую глазурь с межнациональных отношений. В отношении к войне российский социум продемонстрировал ту же последовательность настроений, что и общество многонациональной империи Габсбургов. Вначале — всеобщее воодушевление и такой мощный подъем патриотического духа, что даже великий З. Фрейд в августе 1914 г. занес в свой дневник следующие слова: «Впервые за тридцать лет я чувствую себя австрийцем!»⁶⁶ Тем не менее на второй год войны энтузиазм сменился равнодушием к национально-патриотическим ценностям и проявлениями антивоенных настроений.

А с лета 1917 г. уже отчетливо обрисовалась перспектива распада империи.

Аналогичная переориентация с безоговорочной поддержки правительства и войска к их ошельмованию происходила на российских окраинах по мере того, как привычный неравноценный обмен услугами с центром заменялся унифицированным военным регулированием. Законом от 16 июля 1914 г. был установлен приоритет военных командиров над гражданскими властями на территориях важного стратегического значения (на Кавказе, в местах проживания немецких колонистов, вблизи западных границ). Армейским чинам здесь передавался контроль над передвижениями людей, товаров, полномочия цензоров, право депортаций неблагонадежных лиц⁶⁷. Установление в начале 1915 г. государственного контроля над хлебным рынком и передача командующим округами права на введение твердых закупочных цен и предотвращение вывоза хлеба за пределы округа довершили картину русской оккупации в глазах местного населения. Несмотря на дальнейшее ослабление этого давления, образ карательной и хищной армии укоренился в общественном восприятии. Антимилитаристские настроения питали идеологию расторжения связей с центром и подстегивали интенсивную политизацию этничности. Фарс истории состоял в том, что сила, предназначенная поддерживать единство империи, выступила катализатором ее распада.

Действительность военного времени подтверждала худшие опасения военных аналитиков не только в отношении окраин, но и великорусского ядра. Гражданские деятели, которые были не слишком высокого мнения о способностях империи к самозащите на окраинах, все же склонялись к мысли, что центральные области остаются мощным оборонным щитом. После подписания Портсмутского мира С.Ю. Витте произнес: «Россия не может воевать. Она может воевать только тогда, когда неприятель вторгнется в ее сердце. Не на окраину, а в сердце»⁶⁸. Вместе с тем, как показала практика, и эта оценка оказалась завышенной.

Первая мировая война застала великорусское общество в перемешанном состоянии, когда его старые регуляторы заметно просели, а новые, присущие рыночно-частнобизнесниче-

ской системе, еще не заработали в полной мере. Катастрофическое расстройство товарообмена, продовольственный и топливный кризисы, дезорганизация работы транспорта, сокращение промышленного производства — обнажали огромные целинные клинья российской экономики, еще не перепаханные культурным капитализмом. Консолидационные привычки дореформенного порядка интенсивно перелопачивали стратификационные механизмы наступающей индустриальной эпохи. Скажем, в старой сословной модели общества благосостояние, престиж высших сословий не были предметом зависти для низших и не мешали создавать коалиции в периоды катастроф и кризисов империи. В условиях иной стратификации, основанной на классовом образовании и достижительных критериях, ситуация радикально менялась. Так, увеличение нормы прибыли промышленных магнатов на 99%, как это описывал С. Мельгунов, уже не на шутку дразнило «гусей» из всех социальных страт и подрывало «чувства бескорыстного патриотизма»⁶⁹.

Совокупный негатив для имперской целостности складывался из того, что были разрушены старые схемы действия при помощи воинских частей, а на смену им так и не пришли новые. Долгий запрет на политическую самоорганизацию общества, поздний и неполноценный российский парламентаризм помещали выделению агентов интеграционного процесса из либерально-демократической общественности. Более чем непоследовательное государственное регулирование экономики и масса ограничительных условий предпринимательства не сделали такого же агента и из российского капитала. Так, при ревнивом третировании со стороны правительства и придворной камарильи, например, общественные организации, созданные в Первую мировую войну буржуазией и интеллигенцией в помощь армии и пострадавшему населению, быстро превратились в тренировочную базу для оппозиционеров — могильщиков николаевской империи (всероссийские Земский и Городской союзы, с лета 1915 г. объединившиеся в Земгор, военно-промышленные комитеты во главе с Центральным ВПК)⁷⁰.

Приснопамятный рефрен мировой войны — выражения: «Мы калужские, мы тамбовские — до нас немец не дойдет» указывали на кризис имперской идентичности. Патриотиче-

ское возбуждение, сопровождавшее вступление России в войну, сменялось по ходу военных действий проявлением нелояльности и гражданского неповиновения. Владельцы стратегически важных предприятий, получив огромные правительственные ссуды на их эвакуацию и быстрое развертывание на новом месте, не торопились с целевым использованием средств и вкладывали их по большей части в спекулятивные сделки⁷¹. Столь же бесславно завершился опыт введенного в апреле 1916 г. подоходного налога, основанного на добровольном декларировании плательщиком своих доходов⁷². Заложенная в этом эксперименте идея гражданственности оказалась абсолютно чужда массовому сознанию. Российское общество, находившееся на цивилизационном перепутье, еще не доросло до осмысления себя как нации граждан⁷³.

Примечания к главе 3.1

¹ Lieven D. The Russian Empire and its Rivals. London, 2000. P. 6.

² Pagden A. Lords of all the World. Ideologies of Empire in Spain, Britain and France. C. 1500—1800. London, 1995. P. 17.

³ Ibid. P. 13, 61.

⁴ Ibid. P. 63.

⁵ Рибер А. Изучая империи. // Исторические записки, Т. 6 (124). М., 2003. С. 87.

⁶ Там же, с. 89.

⁷ Там же, с. 91.

⁸ Lieven D. Op. cit. P. 41.

⁹ Ibid. P. 89.

¹⁰ Ibid. Pp. 116, 121—122.

¹¹ Ibid. P. 225.

¹² Eisenstadt S.N. Political Systems of Empires. N.Y., Glencoe, 1963.

¹³ Ерасов Б.С. Цивилизации. Универсалии и самобытность. М., 2002. С. 341.

¹⁴ Там же, с. 428.

¹⁵ Каспэ И.С. Имперская политическая культура в условиях модернизации. // Политика. 1998. № 3.

¹⁶ Валлерстайн И. Рождение и будущая кончина капиталистической миросистемы: концептуальная основа сравнительного анализа. // Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб., 2001. С. 24, 38, 41—45.

¹⁷ Кантор В.К. Второе норманнское влияние. // Человек между царст-

- вом и Империей. Сб. материалов международной конференции. // Под ред. М.С. Киселевой. М., 2003. С. 64—65, 69.
- ¹⁸ Кара - Мурза А.А. От царства к империи. // Там же, с. 74.
- ¹⁹ Филиппов А. Смысл империи: к социологии политического пространства. // Иное. Хрестоматия нового российского самосознания. Т. 3. М., 1995. С. 451.
- ²⁰ Российская многонациональная цивилизация. Единство и противоречия. Под ред. В.В. Трепавлова. М., 2003. С. 129.
- ²¹ Lieven D. Op.cit. P. XV.
- ²² Ibid. P. 253.
- ²³ Ibid. P. 216.
- ²⁴ Каппелер А. Россия — многонациональная империя. Возникновение. История. Распад. М., 1997.
- ²⁵ Там же, с. 97, 121.
- ²⁶ Там же, с. 122.
- ²⁷ Российская многонациональная цивилизация. С. 109.
- ²⁸ Там же, с. 110.
- ²⁹ Гатагова Л.С. Империя: идентификация проблемы. // Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. М., 1996. С. 332—353.
- ³⁰ Рибер А. Указ. соч. С. 104.
- ³¹ Lieven D. Op.cit. P. 256.
- ³² Каппелер А. Указ. соч. С. 97—99.
- ³³ Байрау Д. Империя и ее армия. // Новый часовой. 1997. № 5. С. 19—39.
- ³⁴ Lieven D. Op.cit. P. 231; Каппелер А. Указ. соч. С. 20.
- ³⁵ Крадин Н.Н. Общественный строй кочевников: дискуссии и проблемы. // Вопросы истории. 2001. № 4; Он же. Кочевничество в цивилизационном и формационном развитии. // Цивилизации. Вып. 3. М., 1995. С. 176.
- ³⁶ Lieven D. Op. cit. P. 145—147.
- ³⁷ Ibid. P. 150; Орешкова С.Ф. Государственная власть и некоторые проблемы формирования социальной структуры Османского общества. // Османская империя. Система государственного управления, социальные и этнорелигиозные проблемы. Сб. ст. М., 1986; Макарова И.Ф. Болгары и Османская империя в XV—XVI вв.: роль имперского фактора в формировании этнического самосознания. // Славяне и их соседи. Вып. 8. М., 1998; Шеремет В.И. Становление Османской империи. XIII—XVI вв. // Вопросы истории. 2001 г. № 1.
- ³⁸ Виноградов В.Н. Указ. соч. С. 80.
- ³⁹ Русский посол в Стамбуле. С. 48.
- ⁴⁰ Lieven D. Op.cit. P. 142.
- ⁴¹ Ibid. P. 154.
- ⁴² Ортега-и-Гассет. Восстание масс. // Психология масс. М., 1998. С. 265.
- ⁴³ Горсей Дж. Записки о России XVI— начала XVII в. М., 1990. С. 90—91.

- 44 Богословский М.М. Указ. соч. С. 46.
- 45 Акишин М.О. Указ. соч. С. 18.
- 46 Там же, с. 185.
- 47 Богословский М.М. Указ. соч. С. 57.
- 48 Королев А. Сонос как феномен власти. // Человек между царством и империей. С. 36—37.
- 49 Погосян Е. Петр I — архитектор российской истории. СПб., 2001. С. 215—216.
- 50 Воскресенский Н. А. Законодательные акты Петра Великого. М.—Л., 1945. С. 52.
- 51 Там же, с. 156.
- 52 Анисимов Е.В. Податная реформа Петра I. С. 55—57.
- 53 Там же, с. 236.
- 54 Там же, с. 250; Богословский М.М. Указ. соч. С. 393—395.
- 55 Богословский М.М. Указ. соч. С. 397.
- 56 Там же, с. 396.
- 57 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 1999. С. 294, 306, 317.
- 58 Анисимов Е.В. Указ. соч. С. 235.
- 59 Богословский М.М. Указ. соч. С. 363.
- 60 Анисимов Е.В. Указ. соч. С. 236.
- 61 Богословский М.М. Указ. соч. С. 38.
- 62 Там же, с. 88.
- 63 Институт генерал-губернаторства и наместничества в Российской империи. Под ред. В.В. Черкесова. СПб., 2001. С. 13.
- 64 Готье Ю.В. Указ. соч. С. 140.
- 65 Богословский М.М. Указ. соч. С. 499.
- 66 Бескровный Л.Г. Русская армия и флот в XVIII в. С. 61.
- 67 Готье Ю.В. Указ. соч. С. 135.
- 68 Там же, с. 120.
- 69 Законодательство Петра I. Под ред. А.А. Преображенского. М., 1997. С. 472.
- 70 Каппелер А. Указ. соч. С. 55.
- 71 Акишин М.О. Указ. соч. С. 18.
- 72 Каппелер А. Указ. соч. С. 30.
- 73 Богословский М.М. Указ. соч. С. 391.
- 74 Там же, с. 395.
- 75 Там же, с. 6, 8.
- 76 Кон А. Шведско-русские культурные связи в XVII—XVIII вв. // Царь Петр и король Карл. С. 230.
- 77 Кейзерлинг А. Воспоминания о русской службе. М., 2001. С. 91.
- 78 Анисимов Е.В. Петр I: рождение империи.
- 79 Штомка П. Указ. соч. С. 271.
- 80 Павленко Н.И. Петр Великий. С. 481.
- 81 Тарле Е.В. Северная война и шведское нашествие на Россию. М., 2002. С. 89—90.

- ⁸² Там же, с. 90.
- ⁸³ Там же, с. 238.
- ⁸⁴ Возгрин В.Е. Россия и европейские страны в годы Северной войны. Л., 1986. С. 167.
- ⁸⁵ Там же, с. 107.
- ⁸⁶ История Северной войны. 1700—1721 гг. Под ред. И.И. Ростунова. М., 1987. С. 175.
- ⁸⁷ Там же, с. 151.
- ⁸⁸ Там же, с. 149.
- ⁸⁹ Акишин М.О. Указ. соч. С. 61.
- ⁹⁰ Петр Великий на Севере. Сб. статей и указов, относящихся к деятельности Петра I на Севере. Под ред. А.Ф. Шидловского. Архангельск, 1909. С. 3—5.
- ⁹¹ История Северной войны. С. 76.
- ⁹² Юль Ю. Указ. соч. С. 53.
- ⁹³ Тихонов Ю. А. Феодальная рента в помещичьих имениях центральной России в конце XVII— первой четверти XVIII в. (владельческие повинности и государственные налоги). // Россия в период реформ Петра I. С. 213—214.
- ⁹⁴ Мавродин В.В. Рождение новой России. Л., 1988. С. 155.
- ⁹⁵ Там же, с. 157.
- ⁹⁶ Петр Великий на Севере. С. 129—130.
- ⁹⁷ Байрау Д. Указ. соч.
- ⁹⁸ Цит. по: Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Великого. М., 1990. С. 412.
- ⁹⁹ Желябужский И.А. Записки. // Россия при царевне Софье и Петре I. Записки русских людей. Сост. А.П. Богданов. М., 1990.
- ¹⁰⁰ Богданов А.П. Историческое самосознание дворянства в период реформ. // Проблемы российской истории. Магнитогорск, 2003. С. 43—44.
- ¹⁰¹ Неплюев И.И. Указ. соч. С. 424.
- ¹⁰² Фоккеродт И.Г. Указ. соч. С. 96.
- ¹⁰³ Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом. М., 1984. С. 94, 156.
- ¹⁰⁴ Там же, с. 83.
- ¹⁰⁵ Зиммель Г. Указ. соч. С. 335.
- ¹⁰⁶ Фоккеродт И.Г. Указ. соч. С. 46.
- ¹⁰⁷ Там же, с. 45.
- ¹⁰⁸ На путях к регулярной армии. Армия и флот в эпоху Петра Великого. Под ред. В.А. Золотарева и Ю.П. Квятковского. СПб., 2002. С. 175.
- ¹⁰⁹ Фоккеродт И.Г. Указ. соч. С. 47.
- ¹¹⁰ Законодательство Петра I. С. 467—468.
- ¹¹¹ Фоккеродт И.Г. Указ. соч. С. 47.
- ¹¹² История Северной войны. С. 174.
- ¹¹³ Законодательство Петра I. С. 22.
- ¹¹⁴ Город и деревня в Европейской части России: сто лет перемен. М., 2001. С. 68.

- ¹¹⁵ Мионов Б.Н. Указ. соч. Т.1. С. 284.
- ¹¹⁶ Город и деревня в Европейской части России. С. 68, 126.
- ¹¹⁷ Бродель Ф. Динамика капитализма. Смоленск, 1993. С. 79, 105, 114.
- ¹¹⁸ Бродель Ф. Время мира. С. 116.
- ¹¹⁹ Там же, с. 509.
- ¹²⁰ Петров А.М. Запад — Восток. Из истории идей и вещей. Очерки. М., 1996. С. 29—30.
- ¹²¹ Pagden A. Op. cit. P. 129.
- ¹²² Сили Дж. Р. Крэмб А. Британская империя. М., 2004. С. 64.
- ¹²³ Pagden A. Op. cit. P. 74.
- ¹²⁴ Сеа Л. Философия американской истории. Судьбы Латинской Америки. Пер. с исп. М., 1984. С. 149.
- ¹²⁵ Там же, с. 149—150; Pagden A. Op. Cit. Pp. 67, 92.
- ¹²⁶ Pagden A. Op. cit. Pp. 66—67.
- ¹²⁷ Окунева Л.С. Историческая траектория длиной в пять столетий. // Латинская Америка. 2000. № 5.
- ¹²⁸ Сеа Л. Указ. соч. С. 268.
- ¹²⁹ Цит. по: Исламов Т.М. Империя Габсбургов. Становление и развитие. // Новая и новейшая история. 2001. № 2. С. 17—18.
- ¹³⁰ Фоккеродт И.Г. Указ. соч. С. 96—97.
- ¹³¹ Там же, с. 99.

Примечания к главе 3.2

- ¹ Готье Ю.В. Указ. соч. С. 130—131, 168.
- ² Там же, с. 66.
- ³ Там же, с. 204.
- ⁴ Там же, с. 131.
- ⁵ Кириллов И.К. Цветущее состояние Российского государства. М., 1977. С. 338.
- ⁶ Медушевский А.Н. Указ. соч. С. 283.
- ⁷ Троицкий С.М. Указ. соч. С. 276—278, 284.
- ⁸ Le Donne J.P. Catherine s governors and governors-general. // Cahiers du monde russe et sovietique. Paris, 1979. № 20. Pp. 21—25.
- ⁹ Институт генерал-губернаторства. С. 57.
- ¹⁰ Там же, с. 52—53.
- ¹¹ Там же, с. 59.
- ¹² Там же, с. 62.
- ¹³ Кеер J. L. H. Op. cit. P. 315; Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 1978. С. 130, 144—145.
- ¹⁴ Институт генерал-губернаторства. С. 132.
- ¹⁵ Кеер J. L. H. Op. cit. P. 320.
- ¹⁶ Ibid. P. 307.
- ¹⁷ Lieven D. Op. cit. P. 252.
- ¹⁸ Готье Ю.В. Указ. соч. С. 95.

- ¹⁹ Законодательство Петра I. С. 472.
- ²⁰ Готье Ю.В. Указ. соч. С. 252.
- ²¹ Каппелер А. Указ. соч. С. 58—59.
- ²² Российская многонациональная цивилизация. С. 57.
- ²³ Каппелер А. Указ. соч. С. 64.
- ²⁴ Там же, с. 68.
- ²⁵ Российская многонациональная цивилизация. С. 100.
- ²⁶ Институт генерал-губернаторства. С. 98.
- ²⁷ Там же, с. 231.
- ²⁸ Сафонов М.М. Проблема реформ в правительственной политике России на рубеже XVIII и XIX вв. С. 35.
- ²⁹ Кабузан В.М. Народы России в XVIII в. численность и этнический состав. М., 1990. С. 55—56.
- ³⁰ Кабузан В.М. Немецкое население в России в XVIII — начале XX века (численность и размещение). // Вопросы истории. 1989. № 12. С. 22.
- ³¹ Бескровный Л.Г. Русская армия и флот в XVIII в. С. 307.
- ³² Комплектование и устройство вооруженной силы. С. 131.
- ³³ Каппелер А. Указ. соч. С. 75.
- ³⁴ Кабузан В.М. Народы России в XVIII в. С. 254.
- ³⁵ Этот прессинг может быть проиллюстрирован многошаговым переходом крестьян на постоянное жительство в город, а также огромными материальными затратами, которые при этом несло крестьянство. См.: Индова Е. И. Крестьяне и город центральной России в XVIII в. // Проблемы социально-экономической истории России. М., 1984; Клокман Ю.Р. Социально-экономическая история русского города. Вторая половина XVIII в. М., 1967. С. 93—100; Рындзюнский П.Г. Крестьяне и город в капиталистической России второй половины XIX в. М., 1983. С. 199.
- ³⁶ Очерки по истории русской культуры XVIII века. Ч. 1. М., 1985. С. 260.
- ³⁷ Истомина Э.Г. Дороги России в XVIII— начале XIX в. // Исследования по истории России XVI—XVIII вв. Сб. статей в честь 70-летия Я.Е. Водарского. М., 2000. Там же, с. 192.
- ³⁸ Вигель Ф.Ф. Записки. М., 2000. С. 177.
- ³⁹ Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. С. 213.
- ⁴⁰ Кейзерлинг А. Указ. соч. С. 238.
- ⁴¹ Кудряшов И. Призрак Великой Литвы. Об одной малоизвестной странице войны. // Родина, 1992. № 6—7. С. 32—33.
- ⁴² Попов А.И. Великая армия в России. Погоня за миражом. Самара, 2002. С. 308.
- ⁴³ Там же, с. 73.
- ⁴⁴ Там же, с. 287—288.
- ⁴⁵ Керсновский А.А. Указ. соч. Т. 2. С. 20.
- ⁴⁶ Давыдов М.А. Оппозиция Его Величества. М., 1994. С. 106—107.
- ⁴⁷ Карамзин Н.М. Неизданные сочинения и переписка. Ч. 1. СПб., 1862. С. 6, 8.

- ⁴⁸ Керсновский А.А. Указ. соч. Т. 2. С. 21—22.
- ⁴⁹ Борисенок Ю. Хозяин мятежного края. Штрихи к образу фельдмаршала Паскевича. // Родина, 1994. № 12. С. 54—55.
- ⁵⁰ Институт генерал-губернаторства. С. 233.
- ⁵¹ Самарин Ю.Ф. Соч. Т. 7. М., 1889. С. ХСII; Барон Нольде Б.Э. Юрий Самарин и его время. Париж, 1926. С. 45—48.
- ⁵² Гордин Я.И. Декабристы и Кавказ. Имперская идеология либералов. // Империя и либералы. СПб., 2001. С. 21, 23.
- ⁵³ Там же, с. 21—22.
- ⁵⁴ Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1863—1864. М., 2003. С. 498, 508.
- ⁵⁵ Headrick D. R. The Tools of Empire. Technology and European Imperialism in the Nineteenth Century. N.Y., Oxford, 1981. Pp. 5, 19, 49, 66.
- ⁵⁶ Ibid. Pp. 88—101.
- ⁵⁷ Блок М. Странное поражение. Свидетельство, записанное в 1940 году. М., 1999. С. 91.
- ⁵⁸ Headrick D.R. Op. cit. P. 209.
- ⁵⁹ Comaroff J. L. Images of Empire. Contests of Conscience. Models of Colonial Domination in South Africa // Tensions of Empire Colonial Cultures in a Bourgeois World. Ed. by F. Cooper and A. L. Stoler. Berkley, London, 1997. Pp. 179—180.
- ⁶⁰ Ibid. Pp. 181—183.
- ⁶¹ Stoler A. L., Cooper F. Between Metropole and Colony. // Ibid. P. 24.
- ⁶² Ibid. P. 28; Всемирная история. Национально-освободительные войны. Минск — М., 2000. С. 141.
- ⁶³ Филиппсон Г.И. Воспоминания. 1837—1847. // Осада Кавказа. Воспоминания участников Кавказской войны XIX в. СПб., 2000. С. 104, 106.
- ⁶⁴ Венюков М.И. Кавказские воспоминания. 1862—1863. // Там же, с. 632.
- ⁶⁵ Аврааменко А.М., Матвеев О.В., Матюшенко П.П., Ра-тушняк В.Н. Об оценке Кавказской войны с научных позиций историзма. // Кавказская война. Уроки истории и современность. Материалы научной конференции. Краснодар, 1995. С. 37.
- ⁶⁶ Тройно Ф.П. Кавказская война и судьбы горских народов. // Там же, с. 83.
- ⁶⁷ Калмыков Ж.А. Административно-судебные преобразования в Кабарде и горских (балкарских) обществах в годы Русско-кавказской войны. // Там же, с. 122—124; Матвеев В.А. К вопросу о последствиях Кавказской войны и вхождении северо-кавказских народов в состав России. // Там же, с. 195.
- ⁶⁸ Дондуков-Корсаков А.М. Мои воспоминания. 1845—1846. // Осада Кавказа. С. 411—412.
- ⁶⁹ Филиппсон Г.И. Указ. соч. С. 191, 195—197.
- ⁷⁰ Захарова О.В. Светские церемонии в России XVIII — начале XX в. М., 2001. С. 48—49.
- ⁷¹ Записки А.П. Ермолова. 1798—1826. М., 1991. С. 356.

⁷² Там же, с. 315, 320.

⁷³ Медведев В., Черкасов С. Философская культурология классического психоанализа: основные принципы психоанализа культурной среды. // Russian Imago 2000. Исследования по психоанализу культуры. Сб. ст. СПб., 2001.

⁷⁴ Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992. С. 116.

⁷⁵ Там же, с. 119.

⁷⁶ Кухарук С. Николай Евдокимов. // Родина. 1994, № 3/4, С. 63.

⁷⁷ Луночкин А., Михайлов А. Григорий Засс и Яков Бакланов. // Там же.

⁷⁸ Гордин Я. Кавказ: земля и кровь. Россия в Кавказской войне XIX века. СПб., 2000. С. 186.

⁷⁹ Милютин Д.А. Год на Кавказе. // Осада Кавказа. С. 228.

⁸⁰ Попов В.В. Горцы честью служили России. // Военно-исторический журнал. 1997. № 2. С. 51—53.

⁸¹ Кухарук А.В. Конно-мусульманский полк в составе действующей армии (30—50-е годы XIX века). // Россия и Восток: проблемы взаимодействия. Третья международная научная конференция. Ч. 1. Челябинск, 1995. С. 58.

⁸² Там же, с. 59.

⁸³ Попов В.В. Указ. соч. С. 54.

⁸⁴ Степанов Д. Имам Шамиль. // Родина. 1994. № 3—4. С. 43.

⁸⁵ Аврааменко А.М., Матвеев Р.В., Матюшенко П.П., Ратушняк В.Н. Указ. соч. С. 35—36.

⁸⁶ Записки А.П. Ермолова. С. 300, 321, 349; Перевернутый мир бесконечной войны. Материалы круглого стола. // Родина. 1994. № 3—4. С. 19.

⁸⁷ Захарова О.В. Указ. соч. С. 45—46.

⁸⁸ Волконский Н.А. Погром Чечни в 1852 г. // Военно-исторический журнал. 1996. № 1. С. 85.

⁸⁹ Бенкендорф К.К. Воспоминания. 1845. // Осада Кавказа. С. 367.

⁹⁰ Кеер J. L. Н. Op. cit. P. 221.

⁹¹ Опрышко О.Л. Кавказская конная дивизия. 1914—1917. Возвращение из забвения. Нальчик, 1999. С. 3, 11, 104.

⁹² Там же, с. 319.

⁹³ Деникин А.И. Очерки русской смуты. Борьба генерала Корнилова. Август 1917 г. — апрель 1918 г. М., 1991. С. 69.

⁹⁴ Опрышко О.Л. Указ. соч. С. 393, 397—398.

⁹⁵ Бенкендорф К.К. Указ. соч. С. 353.

⁹⁶ Филипсон Г.Г. Указ. соч. С. 104.

⁹⁷ Дондуков-Корсаков А.М. Указ. соч. С. 418.

⁹⁸ Там же, с. 423.

⁹⁹ Гордин Я. Указ. соч. С. 198.

¹⁰⁰ Филипсон Г.И. Указ. соч. С. 161—162.

¹⁰¹ Бенкендорф К.К. Указ. соч. С. 407.

¹⁰² Небренчин С.М. Мусульманский Восток и русская армия. // Военно-исторический журнал. 1995. № 4. С. 38—39.

- ¹⁰³ Небренчин С.М. Мусульманский Восток и русская армия. // Военно-исторический журнал. 1995. № 5. С. 37—38.
- ¹⁰⁴ Деникин А.И. Указ. соч. С. 153.
- ¹⁰⁵ Цит. по: Опришко О.Л. Указ. соч. С. 51.
- ¹⁰⁶ Feuer L. Imperialism and the Anti — imperialist Mind. Buffalo, N.Y., 1986. Рр. 4—7.
- ¹⁰⁷ Граф де Сегюр. Указ. соч. с. 116.
- ¹⁰⁸ Филиппов А. Смысл империи: к социологии политического пространства. С. 443, 451.
- ¹⁰⁹ Филиппов А.Ф. Гетеротопология родных пространств. // Отечественные записки. 2002. № 6. С. 60.
- ¹¹⁰ Комплектование и устройство вооруженной силы. С. 38.
- ¹¹¹ Голос минувшего. 1916. № 5. С. 343.
- ¹¹² Крopotкин П.А. Указ. Соч. С. 156—157; см. также: Сикеринский С.С. После Крымской войны: дилеммы нового царствования. // Россия: государственные приоритеты и национальные интересы. М., 2000. С. 35—36.

Примечания к главе 3.3

- ¹ Каппелер А. Указ. соч. С. 156—157.
- ² Сергеев Е.Ю. «Иная земля, иное небо...» Запад и военная элита России (1900—1914 гг.). М., 2001. С. 185, 188.
- ³ Дьяков В.А., Миллер И.С. Революционное движение в русской армии и восстание 1863 г. М., 1964. С. 412—413.
- ⁴ Цит. по: Воспоминания генерала-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милюткина. С. 98—99.
- ⁵ Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия (М.Н. Катков и его издания). М., 1978. С. 33.
- ⁶ Россия: государственные приоритеты и национальные интересы. С. 51.
- ⁷ Твардовская В.А. Указ. соч. С. 44.
- ⁸ Каппелер А. Указ. соч. С. 160—161.
- ⁹ Институт генерал-губернаторства. С. 235, 237.
- ¹⁰ Три последних самодержца. Дневник А.В. Богданович. С. 229.
- ¹¹ Сазонов С.Д. Воспоминания. Минск, 2002. С. 342—346.
- ¹² Институт генерал-губернаторства. С. 238.
- ¹³ Сазонов С.Д. Указ. соч. С. 356.
- ¹⁴ Там же, с. 357.
- ¹⁵ Сергеев Е.Ю. Указ. соч. С. 188—189.
- ¹⁶ Куропаткин А.Н. Указ. соч. С. 50—51.
- ¹⁷ Три последних самодержца. С. 229—230.
- ¹⁸ Там же, с. 230.
- ¹⁹ Там же, с. 232.
- ²⁰ Lieven D. Op.cit. P. 221.
- ²¹ Ibid. P. 220.

- ²² Ibid. P. 217.
- ²³ Дьякова Н.А., Чепелкин М.А. Границы России в XVII—XX веках. Т.1.М., 1995. С. 98; Корнеев В.В. Управление Туркестанским краем: реальность и «правовые мечтания» (60-е годы XIX в. — февраль 1917 года). // Вопросы истории. 2001. № 7. С. 59.
- ²⁴ Корнеев В.В. Указ. соч. С. 59.
- ²⁵ Там же, с. 60.
- ²⁶ Там же, с. 64.
- ²⁷ Каппелер А. Указ. соч. С. 147.
- ²⁸ Корнеев В.В. Указ. соч. С. 65.
- ²⁹ Lieven D. Op. cit. P. 229.
- ³⁰ Кейзерлинг А. Указ. соч. С. 256.
- ³¹ Шимов Я. Австро-Венгерская империя. М., 2003. С. 16.
- ³² Сергеев Е.Ю. Указ. соч. С. 185.
- ³³ Сорокин П. Указ. соч. С. 347, 349.
- ³⁴ Российская многонациональная цивилизация. С. 118.
- ³⁵ Грулев М. Указ. соч. С. 15.
- ³⁶ Три последних самодержца. С. 306.
- ³⁷ Каппелер А. Указ. соч. С. 260.
- ³⁸ Корнеев В.В. Указ. соч. С. 66.
- ³⁹ Петровский - Штерн Й. Евреи в русской армии. 1827—1914. М., 2003. С. 356.
- ⁴⁰ Грулев М. Указ. соч. С. 246.
- ⁴¹ Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютин. С. 506.
- ⁴² Сергеев Е.Ю. Указ. соч. С. 184.
- ⁴³ Генерал Курлов. Гибель императорской России. Воспоминания. М., 2002. С. 244—245.
- ⁴⁴ Бади Б., Бирнбаум П. Переосмысление социологии государства. // Международный журнал социальных наук. 1994. № 4. С. 14—15.
- ⁴⁵ Филиппов А. Гетеротопология родных просторов. С. 57.
- ⁴⁶ Там же, с. 61.
- ⁴⁷ Генерал Курлов. Указ. соч. С. 135.
- ⁴⁸ Деникин А.И. Очерки русской смуты. Борьба генерала Корнилова. С. 111.
- ⁴⁹ Тарле Е.В. Крымская война. Т.1. М.—Л., 1944. С. 45.
- ⁵⁰ Дневник П.А. Валуева. Т. 1. С. 338—339.
- ⁵¹ Хобсбаум Э. Век империи 1875—1914. Ростов-на-Дону, 1999. С. 104, 109.
- ⁵² Империи и колонии. Вздурораженная Европа. М., 1995. С. 1375.
- ⁵³ Сергеев Е.Ю. Указ. соч. С. 228.
- ⁵⁴ Steiner Z.S. Britain and Origins of the First World War. London, 1977. Pp. 155, 157; Bratton J.S. Of England, Home and Duty: The Image of England in Victorian and Edwardian Juvenile Fiction // Imperialism and Popular Culture. Ed. by J. M. Mackenzie. Manchester University Press, 1986. Pp. 78,83.
- ⁵⁵ Mangan J.A. The Grit of Our Forefathers. Invented Traditions.

Propaganda and Imperialism. // Imperialism and Popular Culture. Pp. 131—132.

⁵⁶ Европейские революции 1848 года. «Принцип национальности» в политике и идеологии. М., 2001. С. 291.

⁵⁷ Сергеев Е.Ю. Указ. соч. С. 192.

⁵⁸ Куропаткин А.Н. Указ. соч. С. 74.

⁵⁹ Куропаткин А.Н. Внутреннее положение России в конце XIX в. // Куропаткин А.Н. Русская армия. СПб., 2003. С. 97.

⁶⁰ Государственная оборона России. С. 114.

⁶¹ Там же, с. 561—567.

⁶² Там же, с. 526.

⁶³ Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синэргетика и принципы коэволюции сложных систем. // <http://w.w.w.ph.ras.ru.8101/miffs./rus/kurdumov.htm>.

⁶⁴ Сорокин П. Указ. соч. С. 349.

⁶⁵ Ульянов Н.И. Происхождение украинского сепаратизма. М., 1996. С. 198—199, 211—212.

⁶⁶ Исламов Т. М. Австро-Венгрия в Первой мировой войне. Крах империи. // Новая и новейшая история. 2001. № 5. С. 26.

⁶⁷ Хаген М. Великая война и искусственное усиление этнического самосознания в Российской империи. // Россия и Первая мировая война (материалы международного colloquium). СПб., 1999. С. 393.

⁶⁸ Суворин А. Дневник. М., 1992. С. 371.

⁶⁹ Мельгунов С. На путях к дворцовому заговору (Заговоры перед революцией 1917 г.). Париж, 1931. С. 30.

⁷⁰ Шевырин В.М. Земский и городской союзы (1914—1917). Аналитический обзор. М., 2000. С. 53.

⁷¹ Кризис самодержавия в России. 1895—1917. Под ред. Ананьича Б.В. и др. Л., 1984. С. 545.

⁷² Коцонис Ян. Подданный и гражданин: налогообложение в Российской империи и Советской России и его подтекст. // Россия и Первая мировая война. С. 474—477.

⁷³ Скворцов Н.Г. Этничность и трансформационные процессы. // Этничность. Национальные движения. Социальная практика. СПб., 1995.

Глава 4

ВОЕННОЕ УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

4.1 Военный корпус — «привратник у структурных дверей» в политическую систему: нарастание и пик военного влияния в дореформенную эпоху

Являлась ли дореформенная Россия милитаристским государством? Этим вопросом английский историк Дж. Кип открывает свое исследование. Отвечая на него, автор приводит классические признаки милитаризованной политической системы, которые присутствовали в образе жизнедеятельности России:

- доминирование военных церемоний и ритуалов;
- государственная идеология, подкреплявшая милитаристские идеалы;
- распространение этих идеалов через систему просвещения;
- готовность платить дань военному могуществу империи в виде больших людских потерь в войнах;
- опора на вооруженные силы в разрешении внутренних и внешних конфликтов;
- государственный контроль над общественной жизнью в военных целях.

Единственным отклонением от канона Кип считает отсутствие у российского военного корпуса организованной группы давления, наподобие прусского Генерального штаба¹. С этим заключением вполне можно согласиться, хотя следует признать, что в условиях преобладания военных среди прочих профессиональных групп в особом представительском органе не было необходимости.

Российская ситуация дореформенного времени также отражала один из паттернов военно-гражданских отношений, который С. Хантингтон определяет как комбинацию факторов: промилитаристская идеология, высокое политическое влияние во-

енных и высокий военный профессионализм. Такое сочетание условий, по мнению американского социолога, образовывалось в странах, испытывавших в своей истории продолжительные угрозы национальной безопасности и выработавших в гражданском обществе лояльное отношение к военной профессии и военным ценностям. Идеальным примером может служить Пруссия. Альтернативными паттернами, согласно взгляду Хантингтона, являются:

— антимилитаристская идеология, высокое политическое влияние военных и низкий военный профессионализм (характерен для стран Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки);

— антимилитаристская идеология, низкое политическое влияние военных и низкий военный профессионализм (характерен для стран с тоталитарным режимом);

— антимилитаристская идеология, низкое политическое влияние военных, высокий военный профессионализм (характерен для стран с невысокой степенью угроз своей национальной безопасности в истории, например США);

— промилитаристская идеология, низкое политическое влияние военных и высокий военный профессионализм (характерен для стран, защищенных от внешних угроз, выработавших в своей истории влиятельную консервативную идеологию, например Великобритании)².

Касаясь первого паттерна, Хантингтон замечает, что состав его условий мог меняться во времени: в обществе с идеологией, благоприятной для милитаризма, военное влияние не всегда сочеталось с высоким уровнем военного профессионализма. Более того — оно могло возрасти вне прямой зависимости от уровня профессионализма³. Эта констатация имеет прямое отношение и к России, где профессиональные качества военных не являлись статичной величиной даже в рамках рассматриваемого отрезка времени. Тем не менее военные удерживали достаточно высокий и даже постоянно нарастающий объем влияния на ход государственных дел. В рамках обозначенной темы нас будут интересовать вопросы: как строилось взаимодействие военного корпуса с верховной властью — на односторонней или двусторонней основе? Как вели свою скрипку в политическом оркестре военные политики? В какой мере итоговые решения

власти отражали интересы и мнения военного ведомства? В каком направлении военные, входившие в круг лиц, принимающих решения, влияли на политический курс? Тема военного участия в политике, если и освещалась в историографии, то либо в контексте экстремальных политических ситуаций: дворцовых переворотов XVIII в., декабристского противостояния самодержавию в XIX в., роли высшего военного командования в Февральской революции 1917 г., либо в связи с деятельностью отдельных ярких представителей военного истеблишмента, вроде генерала М.Д. Скобелева. Характерно, что именно в таком традиционном разрезе тема рассмотрена в фундаментальном и глубоком исследовании немецкого ученого Д. Байрау, посвященном отношениям армии и общества. Между тем при подобном подходе из поля зрения выпадает мощный пласт взаимодействия власти и ее вооруженной опоры, осуществлявшегося на базе систематических контактов. Следует думать, что именно в их границах закладывались структурные принципы военного соучастия в политическом процессе.

Поставив армию во главе преобразовательного процесса и придав ей статус важнейшего из государственных институтов, Петр I запрограммировал ее спонтанное включение в политическую деятельность после своего ухода из жизни. Последующим монархам уже поневоле приходилось считаться с фактором политической активности войска и с потенциальной опасностью стать очередной жертвой дворцового заговора, опиравшегося на гвардейские части. По этой причине очередному правителю, по сути, приходилось брать на себя больший объем обязательств по отношению к войску, чем его предшественнику, и соответственно образом пересматривать формулу взаимодействия с вооруженными силами. По-видимому, без большой натяжки можно утверждать, что с каждым новым царствованием обеспечение функциональной эффективности и политической лояльности войска требовало увеличения вложений со стороны носителей высшей власти. Собственно, данная тенденция как раз в наиболее яркой форме выражала силу военного влияния на политическое руководство страны.

Нарастание потенциала военного воздействия на власть отчетливо прослеживается по институционализированным прак-

тикам (то есть практикам, глубоко укорененным во времени и пространстве), символически скреплявшим союз державного лидера и его войска. Сложившаяся при Петре I традиция войсковой презентации в публичных сценариях власти была унаследована его преемниками. Знаковый фон этих действий непрерывно перестраивался. Американский исследователь Р.С. Уортман, посвятивший специальное монографическое исследование сценариям российской власти, пишет, что политический спектакль Петра I основывался на образе и заслугах завоевателя. Триумфы Петра объявляли, что русский царь обязан своей властью не предписанным божеством традициям наследования, а своим подвигам на ратном поле»⁴. Публичные церемонии Петра отодвигали на задний план духовенство и религиозные символы в прославлении державного лидера. По словам Уортмана, он стремился закрепить в сознании подданных «не послушником, а юным военачальником, братом солдатам-наемникам, а не прелатом, наследником Цезаря, находившимся под покровительством Геркулеса и Марса»⁵.

Женщины на престоле, не способные конкурировать с мужчинами-правителями по части военной подготовки и личного предводительства войском, возмещали этот недостаток демонстрацией своей близости к нему. В женской авторизации образ завоевателя, сформированный первым российским императором, заменялся образом освободителей, точнее — освободителей отечества от коварных разорителей. Такое замещение было оправдано тем, что к вершинам власти российских императриц приводили дворцовые заговоры и перевороты, сопровождавшиеся идеологической кампанией по дискредитации свергнутых правителей (см. главу 5). Продвижение образа освободителей и связанного с ним репертуара церемоний, сценического реквизита в определенном смысле связывало заказчиков ими же самими декларированными обязательствами. В частности, отсюда проистекала необходимость проявления некоторого подлинного, а не номинального внимания к правам подданных. Не случайно женщины на троне истово насаждали утонченные образцы куртуазной культуры, просвещения, ревностного служения на благо всего общества⁶. По отношению к армии эта установка выражалась в особой чуткости к ее запросам, пышных

церемониях встреч воинства, возвращавшегося с театра боевых действий, щедрых раздачах наград военачальникам и личному составу.

Стиль общения с войском императора Павла I строился на использовании идей и знаков предромантической эпохи, в значительной степени заимствованных из средневекового рыцарского фонда. Восприимчивость к этим культурным образцам, была обусловлена эмансипацией дворянства, объявленной с высоты престола Петром III в 1762 г. Начавшийся вслед за тем отлив благородного сословия из государственной службы понуждал власть к изысканию новых стимулов для его возвращения в армию и правительственные учреждения. В итоге этого поиска наметилась тенденция к переоформлению отношений верховной власти с военно-служилым корпусом на началах договора, ритуализации и усложненного этикета⁷. Наиболее проницательные наблюдатели справедливо усматривали в этом веянии ограничение власти монарха над личностью наиболее важных из его контрагентов и подданных. «Это не только преграда, отделяющая государя от его подданных, это в то же время защита подданных от произвола государя. Этикет создает атмосферу всеобщего уважения», — под таким углом зрения комментировала это явление фрейлина А. Ф. Тютчева, дочь поэта⁸.

Александр I привнес еще более яркие тона в самоподачу верховного вождя нации и армии. Из нее были исторгнуты пышные церемонии, создававшие образ монарха — земного божества. Вместо того в имидже венценосного лидера заиграли качества, характеризовавшие его как лучшего из простых смертных. Главным из них в соответствии с этическими категориями его времени считалась способность к дружбе, установлению задружеских, доверительных отношений со сподвижниками и соратниками⁹. Император — покоритель сердец — сумел вдохнуть и новый мотив в коммуникацию со своей вооруженной опорой. В стремлении добиться максимальной отдачи от армии — главного орудия в изматывающем поединке с Наполеоном и других войнах начала XIX в. — Александр I включил в свой диалог с офицерским корпусом концепт семейственности. В этом плане позволим себе не согласиться с Р. С. Уортманом,

который относит символическое приобщение военной элиты к августейшей фамилии только к правлению Николая I¹⁰.

Иллюстрацией служит характерный эпизод, который приводил в своих воспоминаниях старший офицер М.М. Петров, служивший с 1811 г. в первом егерском полку. Ему довелось стать свидетелем следующего происшествия во дворце: как-то император заметил оплошность камер-лакея, не раскрывшего двери перед армейским подпоручиком, который прибыл для получения приказов. Немедленно был вызван гоф-маршал граф Толстой, которому было сделано строгое внушение: «Сейчас неожиданно я видел здесь невежество, оказанное офицеру армии моим забывшимся дворцовым служителем. Оставляю это для первого раза без строгого наказания, но поручаю вам объявить всем прислужным штатов дворцов наших, что всякий офицер гвардии и армии равно есть член моего семейства, ибо они в самые дорогие дни жизни их оставляют по долгу своему и усердию отца, мать и весь родной круг, нередко навеки, чтобы служить со мною Отечеству, принося на жертву спокойствие и жизнь. И потому священная истина требует, чтобы я заменил им все эти утраты неразлучным с ними всегда и везде сообществом моим, как с своекровными детьми моими, любезными моему сердцу... пусть... тогда, когда случай приведет кого из них быть в жилище моем, всякий из них видит и чувствует, что впредь за всякое невежество, офицеру оказанное, я отомщу, как за оскорбление собственного дитя моего». С тех пор, как отмечал мемуарист, во дворце каждому прапорщику оказывалось самое предупредительное внимание¹¹. Подтверждением беспримерно высокого места, отведенного войску в структуре социальных опор монархии, явился Высочайший благодарственный Манифест всем сословиям от 30 августа 1814 г. По личному распоряжению императора составитель текста А.С. Шишков поставил воинство над всеми сословными группами, включая и традиционно первенствующее дворянское сословие¹².

Результаты экспериментальных исканий Александра I убедительно доказывали, что наращивание символического капитала войска шло рука об руку с его политизацией. Семиотическое приближение к особе императора на началах «родства» большинством военных было субъективно воспринято как раз-

решение на пассивное соучастие в определении политического курса. На это указывает факт, приводившийся многими мемуаристами как знаковый для начала XIX столетия: свободное обсуждение и толкование в светских гостиных и салонах, на офицерских собраниях конституций, представительного образа правления в других странах¹³. Примечательна и другая особенность: если гражданские деятели позволяли себе антиправительственные высказывания и критические замечания насчет императора, то офицеры выдержали пиетет перед своим Верховным главнокомандующим.

Эту позицию всерьез не поколебали ни насаждение аракчеевщины в войсках, ни введение военных поселений. Перелом в отношении войска к монарху вызвали попытки подтягивания дисциплины в гвардии с помощью младших братьев царя — великих князей Николая и Михаила Павловичей — и их верного клеветника полковника Шварца. «Семеновская история» в 1820 г. и последовавшая за ней чистка командного состава, нацеленная на искоренение неблагонадежного элемента, стали точкой отложения от трона значительной части офицеров. Осмысленные как предательство того «семейного» союза, к которому призвал сам царь, эти события сорвали печать с молчаливой договоренности офицеров между собой щадить и оберегать правительство от критики. Известный мемуарист Ф.Ф. Вигель по этому поводу давал следующее показание: «...то, чего не могли военные поселения и Аракчеев, удалось Михаилу Павловичу со Шварцем, и то в одном Петербурге и только между военными... Я видел, как прежний розовый цвет либерализма стал густеть и к осени переходить в кроваво-красный, каким он ныне на Западе»¹⁴. Вигель вспоминал, как с того времени в офицерской среде появилась мода на песни революционной Франции с их тираноборческими мотивами, как стал стремительно распадаться образ императора — доброго и справедливого заступника своих военных подчиненных и как быстро образовывались сгустки идейного противостояния монархии¹⁵.

Несомненно, модифицируя контекст своего общения с воинством, Александр I преследовал лишь прагматическую цель — оптимизацию войсковой отдачи и достижение морально-психологического перевеса в борьбе с сильным противником. Между

тем отмеченная линия поведения монарха в сознании военнo-служащих запечатлевалась как знак реальной перестройки в системе отношений. В данном случае выражался феномен, который английский социолог Э. Гидденс определяет как соединение институционализированных практик с непредвиденными последствиями: «Повторяющиеся действия, или практики, расположенные в одном контексте времени и пространства, имеют некие регулярные последствия, не намеренные, не предвиденные теми, кто вовлечен в такую деятельность в более или менее «отдаленных» пространственно-временных контекстах. Причем то, что происходит в этой второй серии контекстов, прямо или косвенно влияет на дальнейшие условия действия в его первоначальном контексте... Непредвиденные последствия «распределяются» как побочный продукт регулярного поведения, рефлексивно поддерживаемого его исполнителем»¹⁶.

Офицерская фронда, вылившаяся в декабристское выступление, в числе прочих факторов, отражала неучтенный императором кумулятивный эффект, проистекавший из коррекции фона его отношений с войском. Одновременно она доказывала высокую степень сопряженности между формой, в которую облекались эти отношения, и содержанием, которым они наполнялись для участвующих сторон. С этой точки зрения оппозиционность военного авангарда, обозначившаяся в конце правления Александра I и в период междуцарствия 1825 г., представляла собой вполне ожидаемое проявление «диалектики контроля» Верховного главнокомандующего и войска. По определению Э. Гидденса, «власть в рамках социальных систем, которые характеризуются некоей протяженностью во времени и пространстве, предполагает некие регулярные отношения автономии и зависимости между актерами или коллективами в контексте социального взаимодействия. Однако все формы зависимости предполагают некоторые ресурсы, посредством которых те, кто подчинен, могут влиять на действия тех, кто подчиняет. Это как раз то, что я называю *диалектикой контроля* в социальных системах»¹⁷.

Разумеется, мощнейший ресурс влияния армии составляла степень ее политической лояльности и величина профессиональной поддержки, которые она была готова предоставить власти в

тот или иной момент времени. Без сомнений, этот аспект был ключевым в формировании принципов сотрудничества армейской верхушки и представителей верховной власти. Учет настроений в армии и мнений командного состава, ощущавшийся как настоятельная необходимость в эпоху почти непрерывных войн империи, определял собой обязательное привлечение военных деятелей к совещаниям в средоточии властей. Эту традицию воплощала длинная череда Советов при императорском дворе, действовавших в XVIII— начале XIX в. В хронологической последовательности ее составляли: Верховный Тайный Совет, Кабинет министров, Собрание министров и генералитета (так называемый «Совет одиннадцати»), Конференция при Высочайшем дворе, Военный и Императорский Совет, Непременный совет, Негласный комитет. Итоговым завершением этой практики являлось создание в 1810 г. стационарного законосовещательного органа власти — Государственного Совета, просуществовавшего до 1906 г.¹⁸ По словам современного исследователя, данные органы, отражали «юношеский максимализм» в истории абсолютизма, его потуги вмешиваться «во все и вся»¹⁹. Однако такое заключение представляется не вполне точным. Эти учреждения отражали институционализацию сотрудничества, которое инициировали сами монархи в целях соотношения правительственных решений с позицией военной и гражданской элит. Несмотря на то что они не выросли в центры стратегического планирования, они дали первый опыт систематического участия в разработке и проведении важных государственных мероприятий представителей военного и гражданского истеблишмента. При интенсивности военных действий, в которые была вовлечена армия на протяжении всего рассматриваемого периода, вес военных аргументов в деятельности высших органов власти был неизменно высоким.

Николай I, столкнувшийся с агрессивной активностью политизированных дворянских группировок при вступлении на престол, сделал свои выводы из произошедшего. Он придал уже совершенно иную смысловую перспективу своим отношениям с воинским контингентом, равно как и собственным публичным выходам. В первую очередь из имиджа царя был устранен налет камерности, человеческой доступности. Не случайно иностран-

ным зрителям он напоминал Юпитера, сошедшего с небес. В его самопрезентации возродились мотивы харизматического правителя, отсылающие к петровскому образу завоевателя. Николай I представлял как военный вождь, требующий безоговорочного подчинения себе. Кроме того, в образе царя ярко обозначилась и другая грань — сеятеля добра, нравственности, благочестия²⁰. В автопрезентации монархическая власть снова отодвинулась на безопасное расстояние от своих контрагентов из общества и государственного аппарата.

Помимо того, реакция царя выразилась в перестройке модели управления и реорганизации государственной службы, которые были призваны исключить всякую политическую самостоятельность. Этому посылу отвечали конкретные меры. С одной стороны, понижение статуса и реальной роли Государственного Совета. С другой, упорядочение работы чиновничьего корпуса: налаживание обстоятельного учета и контроля за деятельностью, сосредоточенных с 1826 г. в Первом отделении Собственной Его Императорского величества канцелярии, а с 1846 г. — в Инспекторском отделе; регламентация норм чиновничьего производства и принципов служебной деятельности и их систематизация в рамках Свода законов о службе гражданской²¹. Дальнейшая бюрократизация управления проявилась и в интенсивном росте контингента государственных служащих. По данным Л.Е. Шепелева, численность чиновничьего корпуса за 1840—1850-е годы выросла на треть по сравнению с предшествующим десятилетием, а в абсолютном измерении достигла — 95 тыс. человек²². (Для сравнения: на начало XIX в. количество гражданских служащих составляло 25—30 тыс. человек²³.) Стремление императора придать более правильный ход работе государственной машины соответствовало и его заявление, сделанное при открытии Инспекторского департамента гражданского ведомства: «Я хочу знать всех моих чиновников, как я знаю всех офицеров моей армии»²⁴. Это намерение как будто бы подтверждалось постепенной сивилизацией центрального аппарата. Согласно данным английского историка Дж. Кипа, в его составе продолжалось снижение доли людей с военным прошлым в послужном списке. Если удельный вес таковых среди администраторов первых пяти рангов в 1795—1814 гг.

был равен 34%, то в 1815—1834 гг. — 25%, а доля бывших военнослужащих среди сенаторов уменьшилась с 83% в 1826 г. до 67% в 1846 г. Одновременно с тем абсолютное большинство чиновников среднего и низшего звеньев к середине XIX в. являлись сугубо штатскими служащими²⁵.

Вместе с тем «сухая» статистика еще не до конца отражала истинного положения вещей. Главное противоречие созданной Николаем I системы управления состояло в том, что структурирование гражданской деятельности сопровождалось деструктуризацией военного влияния. (Если структура — это «регулярно организованные наборы правил и ресурсов», а структурация — «условия, управляющих преемственностью или преобразованием структур и, следовательно, воспроизводством социальных систем»²⁶, то деструктуризация предполагает распад правил, ресурсов и соответственно нарушение преемственности в социальных системах.) Деструктуризация выражалась в смещении устоявшегося соотношения гражданских и военных сил на высоком правительственном уровне. Военное начало, более или менее уравновешенное в предшествовавшие царствования гражданским администрированием и в большой степени замкнутое на профессионально-корпоративные интересы, с подачи Николая I резко взяло верх над гражданским. Изначальные предпосылки были заложены в личных пристрастиях царя, который в течение всей жизни не расставался с военным мундиром, спал на походной кровати, укрывшись шинелью, и, по собственному признанию, «единственное и истинное наслаждение» испытывал только от войсковых учений. Невзирая на официально выраженное желание поднять престиж гражданской службы, собственные предпочтения императора были раз и навсегда отданы военной. Она оставалась для него эталоном порядка и полезности, в то время как гражданская — по большей части источником неурядиц и безалаберности в государственных делах. «У вас тут все на кабацком основании» — такое замечание отпустил император, зайдя как-то в одно из правительственных учреждений столицы²⁷. По свидетельству современников, будущий император Николай I вырос в убеждении неизмеримо большей почетности звания командира полка, бригады, корпуса в сравнении с самой престижной гражданской должностью и «дивился,

как сами министры с гражданским чином не вытягивались перед последним генералом»²⁸.

Николай I окружал себя военными людьми, являвшимися, по его представлениям, носителями человеческих совершенств и бесценного управленческого опыта. В 1853 г. в дворцовом штате начитывалось 45 генералов и 48 полковников. Николай I использовал своих флигель-адъютантов для проведения ревизий так же, как когда-то Петр I привлекал к ним офицеров гвардии²⁹. Из 52 высших чиновников, занимавших министерские посты на протяжении его царствования, 32 человека, или 61,5%, имели звание генерала или адмирала, трое были полковниками, и только десять человек не были связаны в своей предшествующей биографии с военной службой³⁰. Из 55 членов Государственного Совета на тот же момент времени 26, или 49%, являлись генералами³¹. Из 18 членов Комитета министров 10 человек, или 55%, носили генеральские погоны, а вместе с двумя великими князьями — членами того же органа и генералами армии, две трети состава Совета имели непосредственное отношение к военному ведомству³². В Сенате удельный вес генералов был равен 30,5%³³. Однако главным показателем влияния военных являлись не только и не столько их должностные позиции в правительственном аппарате, сколько те преференции, которыми они пользовались в доступе к императору. Так, глава военного ведомства А.И. Чернышов пользовался исключительным правом ежедневного доклада царю, в то время как остальные министры имели такую оказию не чаще одного раза в неделю, а для некоторых вообще был закрыт вход в царский кабинет — вместо того полагалось направлять во дворец письменные отчеты³⁴. Небольшой кружок доверенных лиц царя, с которыми его связывали не только деловые, но и личные дружеские отношения, состоял из военных администраторов и военачальников (А.Х. Бенкендорф, П.Д. Киселев, И.В. Васильчиков, А.Ф. Орлов, И.И. Дибич, И.Ф. Паскевич и некоторые другие). Эта компания вместе с военным министром и придворно-свитским окружением фактически узурпировала монопольное право на поставку и представление царю актуальной информации.

Лица, осуществляющие передачу импульсов от общества к

средоточию власти, в терминах американского политолога Д. Истона обозначаются как «привратники у структурных дверей» в политическую систему. На них возложена миссия посредничества между обществом и центром принятия решений, которая реализуется через отбор, артикуляцию и направление по нужным каналам социальных запросов и требований. В близких категориях описывают роль групп, имеющих доступ к политической системе, современные исследователи М.Г. и Р.Г. Квайт. По их определению, данная роль реализуется в праве устанавливать повестку дня и доводить до сведения лиц, принимающих решения, нужную информацию. При этом качество принимаемых решений зависит от полноты и разносторонности переданной информации³⁵. Принимая и перерабатывая материал, поступающий через «привратников» «на входе», в конкретные политические решения «на выходе», политическая система приобретает способность к саморегуляции. Законы, инструкции, субсидии, информационные и идеологические кампании и прочий произведенный ею «продукт» оказывают влияние на новые «входные волны». Таким способом поддерживается необходимая обратная связь системы с окружающей ее социальной средой. В случае возникновения неполадок на линиях связи с политической системой возрастает опасность принятия неадекватных решений. На новом цикле функционирования системы они обязательно приведут к повышению уровня адресованных ей требований и снижению ее поддержки. Системы с сильной реагирующей способностью могут легко и быстро адаптироваться в изменяющемся контексте, в то время как жестким системам трансформация дается крайне плохо³⁶.

В государствах, где, по формуле маркиза Мирабо, «не армия состояла при обществе, а общество при армии», функции фильтрации и отреагирования запросов социума всецело принадлежали военным «привратникам». Продукт, «выпускаемый» политической системой, здесь нес на себе неизгладимый отпечаток военно-ведомственного «глазомера», профессионального этоса и ценностей. Плотное кольцо военных советников и помощников многократно усиливало склонность царя к недифференцированному восприятию функций предводителя

армии и правителя обширной империи. При этом на свою роль политического лидера царь переносил верования, усвоенные с младых ногтей на военном поприще. Прежде всего — абсолютную приверженность принципу единоначалия, господствовавшему в армии. Естественным следствием становилось сжатие локуса контроля до размеров его собственной фигуры. Власть снова обрела интегральный характер, вытеснив едва наметившиеся при его предшественниках интеркурсивные начала правления. (Интеркурсивная власть предполагает разделение властей, либо по меньшей мере разграничение сфер влияния между субъектами управления; при интегральной власти единственным субъектом является глава государства³⁷.)

Несмотря на наличие специальных ведомств по надзору за государственной службой, царь стремился к установлению личного всеохватывающего контроля над государственной машиной. Этим целям служили его ежедневные инспекционные рейды в присутственные места и учебные заведения, по большей части неожиданные для их служащих, прием министров, высоких военных чинов, губернаторов с докладами, внимательное чтение всей присылаемой ему документации. Стараясь считать нужную информацию не только из строк, но и между строк донесений, подвергая придирчивому допросу каждого из своих докладчиков, царь свято верил, что в состоянии дознаться до правды³⁸. Однако чем больше верховная власть хотела быть вездесущей, тем больше плодила промахов. Так, работая по восемнадцать часов в сутки и совершая экскурсии в духе Гаруна аль Рашида, Николай I ни сном, ни духом вплоть до 1842 г. не ведал о злоупотреблениях, которые творились буквально у него под носом в судебной части петербургского генерал-губернаторства³⁹ или у всех на виду во второй российской столице. (Одиннадцатилетнюю службу московского генерал-губернатора А.А. Закревского, вольготно чувствовавшего себя при двух государях, публицист П.В. Долгоруков остроумно называл пребыванием «на своем московском пашалыке»⁴⁰.)

Суровый приговор этой методе управления вынесли даже близкие царю люди. Фрейлина А.Ф. Тютчева замечала: «Он чистосердечно и искренно верил, что в состоянии все видеть своими глазами, все слышать своими ушами, все регламентиро-

вать по своему разумению, все преобразовывать своею волею. В результате он лишь нагромоздил вокруг своей бесконтрольной власти груды колоссальных злоупотреблений, тем более пагубных, что извне они прикрывались официальной законностью и что ни общественное мнение, ни частная инициатива не имели ни права на них указывать, ни с ними бороться»⁴¹.

Милитаризация системы управления при Николае I проявлялась и в переводе министерств, действовавших на основании гражданских правил (горного, лесного, путей сообщения) на режим работы военного объекта. Впрочем, в соответствии с замыслами царя и остальные ведомства должны были в своей работе ориентироваться на армейские образцы⁴². Однако главные издержки внедрения военных порядков состояли в откате к более простым и архаичным организационно-управленческим алгоритмам, чем того требовала структура общественных потребностей. Это несоответствие сразу же фиксировал незатертый взгляд постороннего наблюдателя. Уже из первичного знакомства с особенностями Российской империи французский путешественник маркиз А. де Кюстин в 1839 г. вынес следующее впечатление: «Русский государственный строй — это строгая военная дисциплина вместо гражданского управления, это перманентное военное положение, ставшее нормальным состоянием государства»⁴³. Сам царь пребывал в уверенности, что ему удалось отыскать идеально правильную формулу государственного устройства, о которой он с гордостью сообщил иностранному гостю: «К счастью, ... административная машина в моей стране крайне проста, иначе при огромных расстояниях, являющихся серьезным для всего препятствием, и при более сложной форме управления головы одного человека оказалось бы недостаточно»⁴⁴.

Деформации, которые проистекали из милитаристских уклонов в выработке внутривластного курса, вызывали резкое неприятие в так называемом образованном обществе и способствовали его отчуждению от правящего режима. Современник и яростный обличитель николаевских порядков историк С.М. Соловьев писал, что общим девизом генералов, посланных на укрепление государственных тылов на том или ином участке работы, являлось: «Будьте покойны, ваше величество, у меня

все покойно и хорошо»⁴⁵. Пытаясь оценить сумму урона, нанесенного засильем военных в высших правящих сферах, историк писал: «Россия предана была в жертву преторианцам; военный человек, как палка, привыкший не рассуждать, но исполнять и способный приучить других к исполнению без рассуждений, считался лучшим, самым способным начальником везде; имел ли он какие-нибудь способности, знания, опытность в делах — на это не обращалось никакого внимания. ... Фрунтовики воссели на всех правительственных местах, и с ними воцарилось невежество, произвол, грабительство, всевозможные беспорядки. Смотр стал целью общественной и государственной жизни»⁴⁶. По мнению Соловьева и его коллег, наводнение военными органов власти и управления, учебных заведений привело к затуханию всякой общественно-полезной инициативы. Усилия служащих всех ведомств отныне были направлены не столько на совершенствование в своей деятельности, сколько на ее имитацию и ловкое очковтирательство. «Отсюда все потянулось на показ, во внешность, и внутреннее развитие остановилось»⁴⁷.

«Жрецы» университетской науки констатировали мертвящее воздействие на исследовательские занятия и просвещение военной муштры, которая стала насаждаться в университетах с приходом попечителей учебных округов — генералов. Так, под грозным надзором отставного генерала В.И. Назимова, возглавлявшего Московский учебный округ в 1849—1855 гг., студентов ежедневно выстраивали в университетском дворе и учили маршировать. По словам младшего коллеги С.М. Соловьева — историка и правоведа Б.Н. Чичерина, генеральской дрессировкой был нанесен непоправимый урон Московскому университету, равно как и всему делу образования в России⁴⁸. По мнению интеллектуально продвинутой части общества, следствием явилось «громадное умственное и нравственное понижение» в «верховных правительственных сферах, а также в окружающем двор высшем аристократическом обществе»⁴⁹. Общественные реакции в России от обратного подтверждали теоретическое положение С. Хантингтона о том, что военное влияние должно находиться в равновесии с его идеологией общества, дабы не создавать угрозы национально-государствен-

ным интересам⁵⁰. Даже если допустить известную гиперболизацию истинного положения вещей в суждениях деятелей науки и культуры николаевской эпохи, общую линию критики следует признать вполне объективной.

На фоне предпосылок к автономизации военной и гражданской сфер деятельности, заложенных в непрерывно усложняющемся общественном устройстве, возрастание доли военного участия в политическом процессе смотрелось как неправомерное явление. А неадекватность военно-служебного опыта и организационных навыков, имевшихся за плечами у подавляющего большинства николаевских выдвиженцев, задачам и приемам социального управления середины XIX в. порождало серийный брак в правительственной работе. Так, слабая осведомленность этой генерации политиков об оттенках общественной мысли, раскладе идейно-политических сил обуславливала заведомо подозрительное отношение ко всякому субъекту, мало-мальски выделявшемуся на общем сером фоне. Например, уже упоминавшийся генерал А.А. Закревский, которому всюду чудились злоумышленники, в официальных донесениях об умонастроениях москвичей для вящей предосторожности против фамилий вполне благонадежных граждан делал пометку: «Готовый на все»⁵¹. Одним из наиболее курьезных примеров подобной неразборчивости являлось его секретное донесение шефу жандармов В.А. Долгорукову от 1858 г. Среди смутьянов, «стремящихся к возмущению» и близких к революционному лагерю, в него был включен М.П. Погодин — в реальной жизни консерватор, один из главных оруженосцев теории официальной народности. В тот же черный список попали И.С. и К.С. Аксаковы, А.С. Хомяков, П.М. Леонтьев, М.Н. Катков⁵². Пикантность ситуации состояла в том, что первые трое были либералами-славянофилами, впоследствии заслуженно названными «рыцарями самодержавия»⁵³. А двое последних, составлявшие дружный дуэт, в том же 1858 г. возглавили в общем-то лояльный правительству печатный орган «Русский вестник», а чуть позднее и официоз «Московские ведомости».

Помимо дремучего невежества в гражданских делах, свойственного солдафонам вроде Закревского, первопричины искажений в истолковании и коррекции социальной реальности следует также искать в особом интеллектуальном складе подав-

ляющего большинства администраторов в погонах. Возьмем, скажем, типичную для военных склонность к разделению всего круга контрагентов на врагов и союзников. При переносе на область гражданских отношений внутри страны подобная классификация уже давала серьезный угол смещения. Но именно такое дихотомическое видение участников общественно-политического процесса как раз и пронизывало политику власти. В конечном итоге подобные абerrации зрения наносили ущерб ей же самой: она погружалась в густую темноту, в которой, как известно, все кошки становятся серыми. При плохой ориентировке на социальном пространстве власть вздрагивала от каждого шороха внутри и вовне страны. Достаточно напомнить тот переполох в правительственных верхах, который произвела Февральская революция во Франции в 1848 г. Слабое понимание причин и логики развития революционных процессов вызвало «сильнейшую реакцию в ничем не повинной России, которая должна была расплачиваться за европейские смуты»⁵⁴. При внешнем могуществе власть проявляла растерянную беспомощность в ситуациях, требовавших осмысления в многомерной системе координат. Например, Николай I, учредивший последовательно девять секретных комитетов по крестьянскому вопросу, так и не решился перевести в практическую плоскость подготовку крестьянского освобождения. Дело, требовавшее взаимной увязки многих составляющих, моделирования ближних и дальних следствий, учета побочных продуктов реформы, оказалось не по зубам милитаристскому хозяину державы.

Упрощенная когнитивная схема, через которую преломлялась информация из окружающего мира у военных советников и самого царя, мало-помалу становилась эталоном и для тех немногих сотрудников, которые не имели отношения к милитаристской машине и изначально отличались более сложной организацией мышления. Необходимость подлаживаться под вкусы и понятия высокого патрона и его ближнего круга для К.В. Нессельроде — бессменного руководителя внешнеполитического ведомства в 1816—1856 гг., определяла собой характер подачи материала, который был рассчитан на этот сорт потребителей. Так, накануне Крымской войны Николай I был убежден в том, что располагает самой мощной вооруженной силой в мире, а исполнение его желаний как вершителя судеб Европейского кон-

тинента не знает преград. Эта очевидная переоценка потенциала государства и армии была не только личной виной царя: она получала постоянное подтверждение из бодрых донесений военачальников и дипломатов, старавшихся подстроиться под представления, которые были близки и дороги монарху.

К тому же и эта урезанная, приглаженная информация в непосредственном изложении царю препарировалась скорее под житейским, нежели под политическим углом зрения: Николай I свято верил, что австрийский двор, обязанный ему помощью в 1849 г., не посмеет обнажить против него меч, а Англия и Франция, между которыми пролегал давняя вражда, не создадут антироссийской коалиции. В расчет даже принимался фактор личной обиды на англичан, которую, по понятиям царя, должен был затаить Наполеон III из-за того, что те заточили его венценосного дядюшку на острове Св. Елены⁵⁵. Как известно, реальный ход событий зло насмеялся над этими кондовыми умозаключениями. Расставание с иллюзиями оказалось поистине убийственным для царя и созданного им режима.

По мнению Д. Байрау, в период Крымской войны Россия вступила в ситуацию системного кризиса, подготовленного всем предшествующим застоєм в экономике и социальной сфере, игнорированием запроса на модернизацию даже в отраслях, обслуживающих армию, и в самом военном деле⁵⁶. Несомненно, передержки, связанные с военным влиянием, были одной из базовых причин ошибок в планировании и проведении правительственной политики на этом переломном рубеже. Осознание этого факта вместе с наблюдением нарастающих антимилиитаристских настроений в обществе служили ориентировкой для главных действующих лиц следующего правительства.

4.2. Военные в системе институциональных субъектов и методов политики пореформенного времени

Преемники самого милитаристского императора XIX в. уже не пытались опираться на военных в делах государственного управления. На смену военному влиянию во второй половине XIX в. пришла власть гражданской администрации, подняв-

шейся как на дрожжах. Более стройную организацию получили и местные органы различных ведомств со своими собственными территориальными округами. Образовавшееся взаимное наложение жандармских, военных, учебных, судебных округов и представлявших их функционеров подтачивало односторонний военно-бюрократический централизм и определяло развитие государственного строя в сторону институционального плюрализма. По данным П.А. Зайончковского, на 1903 г. из членов Государственного Совета 40% были военными¹. Из 19 членов Комитета министров девять человек были военнослужащими². Из 138 членов Сената только семеро носили военный мундир³. А среди 56 губернаторов только 13 имели воинское звание⁴. Таким образом, норма представительства военных в высшей государственной администрации заметно снизилась по сравнению с серединой XIX в. Сохранявшаяся в отдельных институтах власти высокая концентрация военных (в Государственном Совете, Комитете министров) уже не гарантировала автоматического преобладания военного мнения над гражданским.

По мнению В. Фулера, в пореформенной России развивался межведомственный бюрократический конфликт интересов. Особую остроту ему придавало то обстоятельство, что вопросы долгосрочного стратегического планирования и государственной безопасности для правительства были отодвинуты на задний план из-за постоянного дефицита бюджетных средств и роста социальной напряженности в стране. В результате при дележе благ между ведомствами военное министерство всегда оставалось в проигрыше⁵. Уточняя картину политических взаимодействий этого периода, Д. Байрау отмечает изменения в составе игроков: за первенство состязались уже не патронажно-клиентарные образования, а бюрократические организации, представлявшие интересы влиятельных социально-профессиональных групп. А сам процесс управления строился на базе скрытой или открытой борьбы организаций, определявшей их конкурентными способностями. По словам немецкого историка, само сохранение самодержавного строя основывалось на позиции арбитра, третейского судьи, которую занимал монарх по отношению к соперничающим организациям⁶.

С точки зрения Байрау, попытка приспособиться к новому

порядку вещей с наименьшими потерями для оборонного ведомства была проделана Д.А. Милютиным в рамках военно-окружной реформы. Базовая идея проекта состояла в обеспечении автономии ведомства в сфере его ближайших интересов и потребностей. В этих видах в компетенцию начальников военных округов были заложены не только обязанности управляющих военной администрацией и командующих войсками округа, но и определенные политические правомочия. При этом Милютин настаивал на четком разграничении полномочий региональной военной и гражданской администрации, что позволило бы устранить противоречия в их взаимодействии. Однако в реальной жизни гражданский губернатор был поставлен на более высокую ступень в иерархии власти, нежели начальник военного округа⁷. А в конкретных перипетиях борьбы за государственное финансирование, распределение льгот и сфер ведомственного контроля военные чиновники неизменно оставались внакладе — не в пример гражданским коллегам, неизмеримо более искушенных в бюрократической интриге и умелом маневрировании среди инстанций. Скажем, грессмейстер такой игры министр внутренних дел П.А. Валуев активно пользовался тактикой «прокладывания троп». В соответствии с ее алгоритмом запланированная мера внедрялась поэтапно, с расстановкой, так что до поры до времени конкурент, бывший начеку, ни о чем не догадывался⁸. В отдельных случаях успех приносила тактика не прямых действий, когда лоббируемый законопроект передавался на рассмотрение не Государственному Совету, где предвиделось сопротивление, а Комитету министров, где его «по свойству» могли поддержать дружественные министры⁹.

У большинства военных чинов попросту недоставало сноровки для протаскивания военных планов через это многослойное сито конкурирующих ведомственных интересов. Яркое свидетельство того, как крупный военачальник воспринимал свой переход в новое качество — участника бюрократического соревнования, оставил генерал-фельдмаршал, наместник Кавказа и Главнокомандующий Кавказской армией А.И. Барятинский. На закате своей карьеры в 1862 г. он с досадой признавался молодому министру Д.А. Милютину, что сознает себя едва ли не парией среди третьих калачей из гражданских дельцов:

«В Петербурге теперь все решается в советах, комитетах, совещаниях, в которых берет верх дар слова; теперь уже там есть мастера говорить. Впрочем, я уверен, что искусство ораторское будет у нас все более развиваться; я же, как вы знаете, не могу говорить; я конфужусь в самом небольшом собрании»¹⁰. Точно так же военный министр 1909—1915 гг. В.А. Сухомлинов, весьма говорливый в кругу сослуживцев, делался немногословным и косноязычным на межведомственных совещаниях и встречах с парламентариями¹¹.

Типичным выражением трений между военными и гражданскими ведомствами являлся обмен взаимными претензиями: военные деятели обвиняли своих гражданских контрагентов в сеянии раздоров и склок, избыточной заорганизованности, умении заболтать любой острый вопрос. Те, в свою очередь, не оставались в долгу и бросали генералам упрек в самоуправстве и нарушении правил общей игры¹². Но если словесная перепалка являлась относительно безобидной формой сведения счетов, то сознательное сокрытие от конкурентов информации особой важности уже наносило прямой урон государственным интересам. Главнокомандующий союзнической французской армией Ж.Ж. Жоффри, посетивший Петербург в 1913 г., был обескуражен тем разнобразием голосов, который царил в правительственных сферах. В.А. Сухомлинов, ревностно оберегавший prerogatives своего министерства, отказывался согласовывать с коллегами из Министерства иностранных дел и главой правительства материалы переговоров французского и русского генеральных штабов 1912 г., а также не посвящал их в дела армии. И это делалось вопреки предписанию Николая II об обязательном предоставлении протоколов совещаний штабов премьеру и министру иностранных дел и о необходимой контрассигнации этих документов данными должностными лицами!¹³ Российские послы и военные атташе присылали в Петербург из столиц других государств столь различные и противоречащие друг другу сведения, что в правительстве не знали, кому из них можно доверять¹⁴.

Однако тяжба с внешнеполитическим ведомством еще не составляла главной оси в противостоянии военных с гражданскими учреждениями. Наибольшей непримиримостью отлича-

лись их взаимоотношения с Министерством финансов, которое вышло на доминирующую позицию в системе правительственных учреждений с конца XIX в. Центральным пунктом обвинений военных в его адрес являлась подмена собой Кабинета министров и захват ряда неотъемлемых полномочий большинства других министерств. По словам А.Н. Куропаткина, министр финансов, пользовавшийся правом не только собирать, но и распределять денежные средства, обрел столь обширную власть, что замкнул на себя целый ряд вопросов, относившихся к ведению министерств путей сообщения, военного, морского, внутренних дел, земледелия, иностранных дел. Так, например, у военного министерства были отторгнуты дела по организации и командованию корпусами пограничной стражи и охранной стражи КВЖД, у морского — распоряжение торговым флотом и речными судами с вооружением на борту¹⁵. Обладая определенной степенью свободы в распределении ассигнаций, министр финансов предпочитал вкладывать средства, скопившиеся у него в остатке, на дорогостоящие строительные и культурные проекты, однако никогда не направлял их на военные нужды. По воспоминаниям генерала П.Г. Курлова, обычной отговоркой служила малая вероятность войны: «Когда-то там еще будет война, а теперь денег нет»¹⁶. Хроническое недофинансирование напрямую отражалось на боеспособности российской армии. В сравнении со своими зарубежными соперницами она всегда с опозданием и с недокомплектом получала новейшие образцы вооружения. Если большинство европейских армий располагало магазинными винтовками еще в середине 80-х годов XIX в., то российское войско обрело свой аналог этого оружия — трехлинейную магазинную винтовку Мосина лишь в 1892 г., притом в количестве, совершенно недостаточном для стрелковых соединений¹⁷.

Помимо скудных ресурсов, сдерживавших техническое переоснащение армии, растущая напряженность в отношениях военного и гражданских ведомств проистекала из разницы подходов к внутренней репрессивной роли армии. Гражданские политики даже такого масштаба, как С.Ю. Витте, П.А. Столыпин, а также и сам царь в своих распоряжениях исходили из презумпции правомерности и естественности применения армии

как полицейской силы в борьбе с гражданским неповиновением. Военные руководители были категорически не согласны с таким пониманием армейского предназначения. Генерал Н.А. Епанчин вспоминал о полковом празднике преображенцев 6 августа 1906 г., безнадежно испорченном вследствие царского откровения. Явившись к офицерам в этот знаменательный для них день, Николай II доверительно сообщил о том, что только что подписал Манифест о созыве Государственной думы. А на вопрос, будут ли военные представлены в парламенте, без тени колебаний ответил: «Военные, членами парламента? Напротив, им придется разгонять Думу, если это потребуется»¹⁸. Военный министр А.Ф. Редигер, не сдерживая негодования, отмечал типичную для многих гражданских лидеров манеру прятаться за спинами военных в тех случаях, когда карательная политика властей вызывала возмущение общества. По его словам, П.А. Столыпин, объявивший войну забастовщикам, демонстрантам и революционным подстрекателям, неизменно уходил в сторону, когда ему приходилось держать ответ перед думцами. Крайними всегда оставались военные, которые, скрепя сердце, лишь выполняли предписанную им грязную работу. По подсчетам военного министра, только за первые 10 месяцев 1906 г. по призыву гражданских властей войска 2330 раз привлекались к подавлению беспорядков, при этом в 158 эпизодах им приходилось применять оружие против гражданского населения¹⁹. Вместе с тем стандартное возражение против употребления вооруженных сил не по их прямому назначению, отвлекавшему от учений и боевой подготовки, парировалось столь же стандартным доводом гражданских политиков о том, что участие армии в военных действиях в ближайшем будущем не предвидится²⁰.

Ввиду стойкой неприязни к усмирительным обязанностям командующие военными окрестностями почти всегда отрицательно реагировали на запросы местных властей о выдвижении воинских частей против мятежных населенных пунктов или уличных беспорядков. Открыто эта позиция стала проявляться примерно с 1902 г. Теперь для подключения армии к борьбе с антиправительственными выступлениями местной администрации приходилось обращаться в Министерство внутренних дел, а то-

му, в свою очередь, через Кабинет министров и премьера воздействовать на военное ведомство²¹. Трения на этой почве усугубились еще больше в период первой русской революции, с неотвратимостью сделавшей армию ударной силой контрреволюции. По мнению В. Фулера, растущее отчуждение между военными и гражданскими политиками стимулировало самоидентификацию военных как обособленной и самостоятельной группы интересов. Ее формирование протекало тем интенсивнее, чем больше трудностей возникало у военных профессионалов в удовлетворении своих насущных потребностей²².

Главной пружиной конфликта военных администраторов и их гражданских партнеров, по оценке исследователя, являлась борьба за реализацию задач по подготовке армии к вооруженным столкновениям с сильным противником. Как полагает В. Фулер, прокладываявший себе дорогу в таком контексте военный профессионализм являлся гораздо более мощным вызовом устоям режима, нежели все, вместе взятые, недоразумения с гражданской бюрократией по поводу места военной организации в системе управления²³. С этим заключением трудно не согласиться. Оно находит подтверждение и в наблюдениях о кризисе монархического строя в России, сделанных современниками, свободными от партийных взглядов и социальных предубеждений. В частности, французский посол в России в 1916—1917 гг. М. Палеолог в своих воспоминаниях помещал рассказ о переходе воинских частей на сторону Февральской революции в рамочное рассуждение о том, что «революция всегда, в большей или меньшей степени, итог или санкция»²⁴. Фактический отказ войска выступить в защиту царя французский дипломат и его российские источники информации расценивали как вполне закономерное разрешение давних противоречий и недоразумений. По их мнению, беспрепятственное падение монархии произошло не потому, что войско предало царя, а потому, что царь поставил войско в ситуацию «невозможности защищать его»²⁵.

Несмотря на резкое снижение веса военных в формировании политического курса, их взаимоотношения с властью не строились на односторонней основе. Как группа интересов, они

располагали определенными способами давления на принятие решений на высшем уровне. Возможность лоббирования отдельных военных проектов обуславливалась самими дефектами политической организации. Прежде всего — несовершенным механизмом гражданского контроля над армией. Как до, так и после издания обновленных Основных законов, Верховным главнокомандующим являлся император, которому принадлежало руководство военным строительством и военными делами. Даже после 1906 г. в его ведении оставались: определение военных кредитов, издание указов о дислокации, обучении и переводе войск на военное положение, установление военно-уголовного законодательства. Он имел право на призыв контингента срочнотружущих (в случае неутверждения соответствующего закона законодательными палатами в установленный срок)²⁶. Так называемые Правила от 24 августа, изданные в 1909 г., еще более, чем Основные законы, отдалили главный законодательный орган империи от военных дел²⁷. Таким образом, гражданский контроль был всецело выведен на особу царя.

В принципе, нормы, близкие к российским, действовали и в ряде других монархий — Германии, Японии. Даже в Англии коронный контроль над армией был заменен контролем кабинета и парламента лишь в последней трети XIX в.²⁸ Гражданское кураторство над вооруженными силами по типу российского С. Хантингтона определяет как *субъективное*. По мнению ученого, оно основано на максимизации власти отдельной персоны, группы или групп в ущерб остальным значимым гражданским институтам. Данная разновидность контроля не может считаться эффективной, поскольку его субъект заведомо лишен возможности полноценного исполнения своих функций, а общество не может считать себя защищенным от вторжения военных в гражданскую политику. Не случайно в Англии и Северной Америке XVII—XVIII вв., где вооруженные силы находились под наблюдением короны, одна из главных, настоятельных задач совершенствования военно-гражданских отношений усматривалась в передаче контроля парламенту и правительству²⁹. Наиболее предпочтительным видом гражданского контроля для нового времени, с точки зрения С. Хантингтона, являлся *объективный*. Он основывается на признании автономии воен-

но-профессиональной организации и проведении четкой демаркационной линии между сферами военной и гражданской компетенции. По мнению американского политолога, объективный контроль, с одной стороны, гарантирует безопасность общества, с другой — неуклонное повышение боеспособности армии³⁰.

Близкую классификацию гражданского контроля выдвинул Э. Нордлингер. Согласно его концепции исторически первичная, так называемая *традиционная* форма контроля, была характерна для европейских монархий XVII—XVIII вв. В ее рамках военные и гражданские элиты («каска» и «шляпы») были либо неразличимы, либо связаны общей системой ценностей, норм, верований. Последующая — *либеральная* форма контроля, построенная на дифференциации функций и ответственности военных и гражданских институтов, утвердила более совершенный тип военно-гражданских отношений. (В принципе, она вполне сопоставима с той формой, которую С. Хантингтон определил как объективную.) Третья — *проникающая* форма — обуславливалась внедрением в армейские структуры политических идей и персонала правящей партии³¹. (Она также частично совпадала с разновидностью, описанной Хантингтоном как субъективная.)

Утверждение гражданского контроля объективного, или либерального типа в России даже периода думской монархии было затруднено противодействием царя. Так, публичные оценки думцев, независимых общественных деятелей, касавшиеся положения дел в армии, неизменно вызывали взрывную реакцию Николая II и придворной камарильи. Показательным случаем являлась неожиданная отставка самого компетентного военного министра последнего царствования А.Ф. Редигера, последовавшая в феврале 1909 г. Причиной послужило лишь то обстоятельство, что он не стал оспаривать выступления с думской трибуны лидера октябристов А.И. Гучкова, критиковавшего порядки в армии и засилье бездарностей в ее командной верхушке.

Между тем в полном соответствии с замечанием С. Хантингтона о высокой вероятности несанкционированных включений военных в политику при субъективной форме граждан-

ского контроля российские военные деятели отыскивали лазейки для воздействия на политический курс в выгодном для себя направлении. Милитаристская машина даже в пореформенный период располагала в самом эпицентре власти таким мощным агентом влияния, как монарх, который воспитывался в культовом почитании армии и военных традиций. Издержки образования наследника престола, которым по обычаю руководили военные наставники, хорошо представляли некоторые приближенные к престолу российские просветители. Еще в 20-е годы XIX в. воспитатель будущего царя-освободителя В.А. Жуковский выражал опасения по поводу того, что «воинственные игрушки» сузят его кругозор: «Он привыкнет видеть в народе только полк, в Отечестве — казарму»³². Как показал последующий ход событий, «военная душа» Александра II не раз сказывалась на его образе действий. Впрочем, это же замечание может быть отнесено и к его сыну, и к внуку. Таким образом, изгнанный через «структурные» двери большой политики, милитаризм возвращался через форточку привычек, навыков, понятий, которые разделяли монархи. Композицию из таких «врожденных» убеждений и стереотипов французский социолог П. Бурдьё назвал инкорпорированной историей, или габитусом. Габитус — система диспозиций, определяющих и представления, и практику агента. Выбатываемый в процессе социализации, он позволяет агенту, с одной стороны, спонтанно ориентироваться в социальном пространстве, с другой, определяет его склонность к реагированию на ситуацию тем, а не другим образом³³. Инкорпорированная история действует по принципу «мертвый хватает живого».

Несмотря на отсутствие у российских военных лоббистских структур вроде Пангерманского союза, на который опирались немецкие милитаристы, возможность направлять события по нужному для себя сценарию, хотя и в усеченном объеме, открывалась через использование формальных и неформальных связей с троном и через игру на чувствительных струнах «военной души» главы государства. Вытесненное из внутривнутриполитической сферы, военное влияние плавно перетекало в другой, доступный ему сектор возможностей. Таковым являлась внешняя политика — недостаточно регламентированная и почти «домаш-

ная» область деятельности монархов, несмотря на полезные коррективы, привнесенные в нее А. М. Горчаковым. В царствование Александра II решения по внешней политике подготавливались на особых совещаниях под председательством монарха и с участием некоторых министров и высоких чиновников, имевших непосредственное отношение к обсуждаемой теме; в особых проблемных комитетах (Сибирском, Амурском, Кавказском, Азиатском); на межведомственных совещаниях под председательством министров³⁴. Важнейшие вопросы рассматривались в тандеме «царь и министр иностранных дел», а последнее слово в вынесении той или иной резолюции всегда оставалось за царем. От монарших прерогатив в формировании внешней политики не отступались ни Александр III, ни Николай II³⁵. Несмотря на подключение Совета министров с 1906 г. к обсуждению линии России в международных делах, ее межведомственная координация, аналитическое обоснование так и не получили развития при старом порядке³⁶. Ни у царя, ни у министра иностранных дел, ассистировавшего ему, не было своих аналитических отделов, которые были потенциально способны придать взвешенность внешнеполитическому планированию.

Точно так же, невзирая на разнообразие инстанций, занимавшихся предварительной подготовкой решений, в российской политической практике не сложилось ничего, хотя бы отдаленно напоминающего кооперативные процедуры принятия решений — открытого торга, согласования интересов, достижения консенсуса, мозгового штурма, сценариотехник³⁷. Вместо того в лучшем случае дело вели разрозненные комитеты и совещания с узким составом, представлявшие необязательные для царя мнения. В худшем — действовали атавистические обычаи: хаотичный обмен мнениями монарха с избранным кругом доверенных лиц, зачастую обставленный в стиле восточных сатрапов (например, знаменитые собрания «кальянциков», описанные П. В. Долгоруковым)³⁸. Либо — подмахивание подписей на докладах, подсунутых в нужное время министрами-фаворитами. По свидетельству близкого к правящим кругам мэтра отечественной журналистики А. С. Суворина, как-то в порыве откровенности М. Н. Муравьев (министр иностранных дел в 1897—1900 гг.), хорошо знакомый с западными по-

рядками, попытался раскрыть глаза царю на негодность внутренней кухни правительственной политики, подкрепляя свои доводы выразительными примерами министерской безответственности. Судя по всему, нелицеприятная правда смутила царя: «Государь плакал и Муравьев тоже». Однако уже несколько дней спустя неприятный разговор был забыт, и проблема похоронена³⁹. А дело пошло прежним ходом. Например, решение о мобилизации русской армии в августе 1914 г. было принято Николаем II под нажимом военного министра, начальника Генштаба и министра иностранных дел⁴⁰. Сильное психологическое давление оказывали генералы, которые еще с конца июля добивались полной и скорейшей мобилизации в расчете на войну продолжительностью 4—6 месяцев⁴¹.

При плохо определенных процедурах принятия решений на высшем уровне, слабом гражданском контроле над вооруженными силами и весомом монархическом участии в разработке политического курса, побуждение к наступательным действиям становится главным рычагом воздействия на царя и удержания остатков политического влияния военных. Вопросы внешнеполитической экспансии, вооруженного вмешательства в международные конфликты превращаются в последний, любовно отстроенный бастион влияния военных пассионариев. Именно здесь наблюдалось наибольшее скопление энергетически сильной военно-профессиональной массы. На данном направлении деятельности военная элита пыталась взять реванш за утрату своего лидирующего положения в условиях запущенного сверху бюрократического конфликта и институционального плюрализма. А кроме того — компенсировать недостачу государственных благ и военного профессионализма мирного времени.

В принципе, военные, как справедливо отмечает С. Хантингтон, редко приветствуют войну, несмотря на то что часто выступают за наращивание вооруженного потенциала нации под предлогами угрозы войны⁴². Война как царство неопределенности и риска, по выражению К. Клаузевица, вряд ли способна выступать вдохновляющим мотивом даже для тех, кто готовится к ней всю жизнь. Между тем эта закономерность для

России верна лишь отчасти: покуда военные почти монолитной стеной стояли у подножия престола и направляли ход государственных дел, они были склонны сдерживать воинственные порывы державных лидеров. Известно, что командная верхушка русской армии во главе с М.И. Кутузовым была категорически против заграничного похода армии после завершения Отечественной войны 1812 г. («Наша территория освобождена, а другие пусть сами себя освобождают»⁴³.) Некоторые крупные военачальники с опаской следили за развитием русско-турецкого конфликта второй половины 20-х годов XIX в. и без энтузиазма отнеслись к началу военных действий в 1828 г. Так, начальник штаба 2-й армии, генерал П.Д. Киселев, хорошо знавший реальное положение вещей, полагал, что Россия в этом конфликте «весьма уподобиться может... колоссу на глиняных ногах»⁴⁴. А накануне Крымской войны в высших военных сферах было распространено мнение о том, что столкновение с Турцией может увенчаться успехом только при сопутствующих благоприятных условиях, в частности при полной внезапности нападения России⁴⁵.

Однако уже во второй половине XIX в. партии войны почти всегда высказывали, подобно черту из табакерки, в ситуациях, когда чаша весов колебалась между войной и миром. Так, еще весной 1876 г. германский посол в России генерал Швейнец на основе тщательного зондажа ситуации убежденно рапортовал своему правительству, что в Петербурге нет «не только партии войны, но и ни одного государственного деятеля и генерала, который хотел бы войны»⁴⁶. Но уже в конце лета, в ходе совещаний в Ливадии царя с небольшим кругом приближенных, под влиянием военного министра Милютина и его ближайшего сотрудника Н.Н. Обручева кристаллизовалась установка на объявление войны Турции. А канцлер А.М. Горчаков и министр финансов М.Х. Рейтерн, взывавшие к осторожным, взвешенным решениям, попали в разряд персон нон грата⁴⁷. Миражи Босфора и Дарданелл, крепости и минареты Константинополя становятся маяком и для этой генерации военных деятелей, и для ее смены — военного министра П.С. Ванновского, начальника Николаевской Академии Генерального штаба М.И. Драгомирова и его преемника Г.А. Леера, военного министра А.Н. Ку-

опаткина. Н.К. Гирс, фактически заменивший в конце 70-х годов Горчакова на посту главы внешнеполитического ведомства, не уставал жаловаться С.Ю. Витте: «Беда с военными, которые непременно хотят создавать события, вызывающие войну!»⁴⁸ и лидер кадетской партии П.Н. Милюков, политик и историк, лучше прочих представлявший себе исходные точки деформаций в политическом «менеджменте» власти, настоял на включении в программу Прогрессивного блока требования устранить власть военных «в решении вопросов, не касающихся боевых операций»⁴⁹. И если Александр III, убежденный противник распыления национальных ресурсов на вооруженные конфликты, был склонен считаться с рекомендациями штатских экспертов, то Николай II чаще уступал мнениям военных консультантов⁵⁰.

Идея «возродить обаяние русского имени» путем военного решения спорных вопросов с Турцией, выдвинутая начальником Главного управления Генерального штаба Ф.Ф. Палицына в 1908 г., встретила сочувственный отклик у императора⁵¹. Возможность высадки сильного русского десанта в районе проливов рассматривалась как практическая задача в военных кругах в канун и по ходу мировой войны. В 1916 г. после взятия репостей Эрзерум и Трапезунд, создававшего неплохие шансы для развития наступательных действий на турецком фронте, Босфорская операция вступила в стадию приготовления. Ее осуществлению помешали Февральская революция и последовавшее за ней стремительное разложение армии и флота⁵². Несмотря на различия в подходах военных группировок к срокам способам проведения Босфорской операции, сам факт ее обсуждения и подготовки в период борьбы с опаснейшим противником на Западе свидетельствовал о неукротимой тяге военной асты к радикальному завершению давней вражды с неприятелем на Востоке.

С такой же напористостью, как и ближневосточные проекты, на передний край внешней политики во второй половине XIX в. выводится и среднеазиатское направление действий, открытое в 60-е годы в порядке личной инициативы неудержимых кондотьеров. Вопреки запрету Министерства иностранных дел на наступательную тактику в Средней Азии, русские полководцы Н.А. Веревкин и М.Г. Черняев развернули здесь на-

стоящие боевые операции: в 1864 г. взяли Чемкент, а в 1865 г. — Ташкент. («Никто не знает, зачем и почему, есть что-то эротическое в нашей внешней политике», — съязвил по этому случаю П.А. Валуев.)⁵³. Однако уже вскоре продвижение в Средней Азии переросло в государственную политику. Сторонники решительных действий одержали победу над реалистами-прагматиками. Касаясь ажиотажа, который вызвала в войсках перспектива участия в боевых действиях на территории Средней Азии, генерал-лейтенант М.А. Терентьев писал: «В войсках наших свирепствовала лихорадка завоеваний»⁵⁴. В 1867 г. уже было образовано Туркестанское генерал-губернаторство во главе с генералом-адъютантом К.П. Кауфманом⁵⁵. В 1884 г. было завершено присоединение территории Туркмении, и российские границы вплотную придвинулись к Афганистану, Ирану, подступам к Индии⁵⁶.

Для пореформенной действительности России показателен следующий факт: внешнеполитическая экспансия велась по тем направлениям, которыми в системе государственного планирования заведовали военные чиновники: в их руках находились среднеазиатский и дальневосточный проблемные комитеты⁵⁷. Пользуясь прикрытием со стороны высокого начальства, заседавшего в комитетах, и военного министерства, командиры военных отрядов на местах самочинно совершали рейды в тылы противника, брали крепости и населенные пункты и постфактум ставили об этом в известность своих столичных шефов. Даже такой широко мыслящий и расчетливый политик, как Д.А. Милютин, в этих случаях «находил вредным лишать их воле своей собственной инициативы»⁵⁸.

По сценарию, близкому среднеазиатскому, с конца XIX в. протекало и российское утверждение на Дальнем Востоке. В авангарде выступала придворная клика во главе с отставным ротмистром А.М. Безобразовым, снискавшая прозвище «безобразовской шайки». Входившие в нее высокие сановники и военные деятели пользовались поддержкой со стороны министра внутренних дел В.К. Плеве⁵⁹. Несмотря на то что не только военные чины толкали власть к активизации действий в регионе, их «экспертное» мнение служило едва ли не самым весомым аргументом для царя. В 1898 г. после взятия в аренду у Китая



Стрельцы
XVII в.



Первый
русский солдат
С.А. Бухвостов



Стрельцы клянутся царевне Софье в верности



Патрик Гордон



Ф.Ю. Ромодановский



Стрелецкий бунт 1682 г.



Carolus.

Карл XII



Петр Великий



Шкиперское платье Петра Великого



Император Петр Великий



Петр I объявляет народу о заключении мира со шведами



Форма русского солдата
во времена Петра Великого



Д. ДОУ. Командир роты
дворцовых гренадеров
В.М. Лаврентьев. 1828 г.



М.И. Кутузов



М.Б. Барклай де Толли

Д.В. Давыдов



А.П. Ермолов



Император Александр I



И.М. Прянишников. В 1812 году.



Горцы



Урядник Гребенского полка



Воин императорской
черкесской гвардии



Солдат Кавказского корпуса



Князь М.С. Воронцов



Я.П. Бакланов



Горцы, идущие в набег



Князь А.И. Барятинский



Д.А. Милютин



М.Д. Скобелев



М.Д. Скобелев в атаке



М.Д. Скобелев под Шипкой



Торжественный молебен войск Петроградского гарнизона
перед отправкой на фронт. 1914 г.

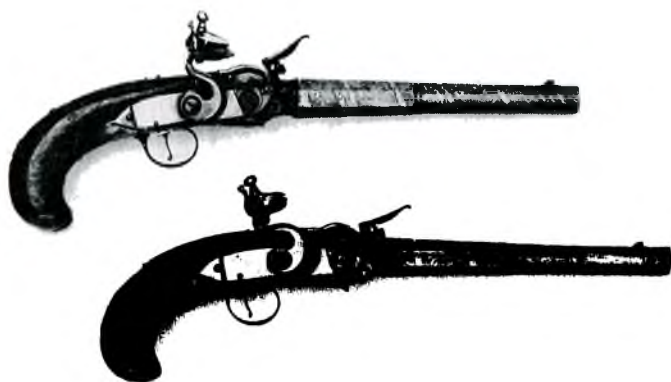


Великий князь
Николай Николаевич



Генерал А.Г. Корнилов

Шпага
бриллиантовой
огранки.
Работа
тульских мастеров
второй половины
XVIII в.



Пистолеты (пара). Мастер И. Полин. 1782 г.



Револьверы мастера И. Фомина. 1864 – 1865 гг.



Золотое георгиевское оружие.
Конец XIX – начало XX в.



Сабля кавалерийская героя
войны 1812 г. генерала
Я.П. Кульнева. XVIII – XIX вв.

Ляодунского полуострова с Порт-Артуром, была образована российская Квантунская область во главе с адмиралом Е.И. Алексеевым — одним из главных застрельщиков наступательной политики. А после восстания ихэтуаней 1900 г. российские войска оккупировали часть Маньчжурии. В 1903 г. было создано наместничество под началом все того же бессменного Алексеева. Тогда же был образован Дальневосточный комитет, осуществлявший связь между политическим центром и наместничеством. Должность его статс-секретаря занял Безобразов, а ставленник «безобразовцев» Алексеев добился для себя неограниченных полномочий⁶⁰. С созданием добротной организационной базы, оказавшейся в руках сторонников силовых акций, увязание России в безрассудной дальневосточной авантюре со всеми вытекающими отсюда последствиями для внутреннего и международного положения страны было уже предпрешенным делом. Так дорого стоившая государству и обществу дальневосточная эскапада впервые зримо обнажила особый срез военных интересов, связанный с ожиданием коммерческих выгод от территориальных захватов. Желание попользоваться богатейшими лесными угодьями, месторождениями золота было не менее сильным мотивом для военных зачинателей экспансии в регионе, чем стремление самоутвердиться посредством успешной военной операции⁶¹, хотя и искусно камуфлировалось отсылками на национально-государственные соображения.

Своими успехами «ястребы» войны были в немалой степени обязаны такой переменной величиной монархического правления, как «авторитарный характер». Авторитарный характер, по определению Э. Фромма, внутренне неуверенный в себе, всегда ищет опоры вовне собственной персоны и полагается на силу, которую считает неизменной и несокрушимой⁶². Очевидно, особое тяготение к военным чинам некоторых российских императоров и одобрение наступательных планов командной верхушки может быть рассмотрено и под углом зрения вытеснения верховной властью комплекса собственного бессилия в делах внутреннего общественного устройства. Однако такое убежище только порождало новые проблемы: одобренное свыше развитие экспансионистской линии переходило на самообслуживание. Иными словами, наблюдалось явление, которое иногда

обозначается как «функциональная автономия мотивов»⁶³. А применительно к государственной политике захватов определяется как злой рок империй. («Трагедия большинства империй состоит в том, что их правительства не знали, ни когда нужно поставить точку в завоевательной политике, ни как это сделать», — справедливо отмечает английский историк А. Пагден⁶⁴.)

Данный имперский синдром для России усугублялся необходимостью одновременного напряжения сил на Востоке и Западе. Еще в XIX в. французским историком А. Сорелем и русским — С.М. Соловьевым была подмечена теснейшая сопряженность западной политики России на ее наиболее острых направлениях (например, в польском вопросе) с восточной активностью. Успешное продвижение на Запад нарушало баланс сил в европейском концерте и приводило в движение реваншистские группировки западных политиков. А те умело возбуждали воинственные настроения восточных соседей России, в первую очередь — Османской империи — для оттягивания русских сил на восточные границы. И, наоборот, вслед за подвижками России в восточном вопросе неминуемо следовала расплата в виде антирусских кампаний в европейской политике⁶⁵. (Некоторые интересные уточнения алгоритмов поведения России сделаны современным исследователем В. Цымбурским — в его дискурсе «похищения Европы» и Великого Лимитрофа⁶⁶.)

Усложненные конфигурации международных откликов на действия России обуславливали особую систему требований национальной безопасности. Для начала был необходим хотя бы элементарный просчет обретений и издержек. Однако здесь царила полнейшая анархия. Скороспелые военные планы перекройки политической карты мира и утверждения российского влияния в новых зонах насаждали модель свехрискованной внешнеполитической экспансии. Категория риска, определяемая в политологии как вероятность наступления неблагоприятного события, связанного с ущербом или потерями, подразумевает неопределенность среды, в которой предстоит действовать политическим субъектам⁶⁷. В свою очередь, неопределенность означает многовариантность, неоднозначность развития сложной системы, когда очень трудно спрогнозировать оптимальный вектор. Но даже такие исходные условия не предполагают дей-

ствий «вслепую». Собственно, сама этимология слова «риск» — лавирование между скалами — подводит к необходимости разностороннего анализа объекта, который как раз и дает возможность снизить вероятность нежелательных следствий (так, хороший результат дают выявление и группировка факторов риска, составление прогноза и сценария управления риском)⁶⁸. Однако авторы очередных российских бросков такими категориями не мыслили.

В российском варианте повышенный риск выражался в выборе наступательной политики, исходя из ложных посылок о соотношении сил противника и собственного потенциала, а также вне учета всех возможных последствий предпринятых шагов. По существу, почти каждая военная кампания России второй половины XIX в. строилась как крупномасштабная акция со слабо предсказуемым исходом. Эта методология развязывания войны во всей своей неприглядной сущности раскрылась в 1853—1856 гг. Тем не менее печальный урок Крымской войны не послужил предостережением на будущее. Воздействуя на волю императора Александра II в той же усыпляющей манере, как и в свое время на волю Николая I, военачальники смогли добиться от него решения о начале мобилизации русских войск после провала Константинопольской конференции. «Коренные преобразования в устройстве наших сил, начатые с 1862 г., — внушал царю военный министр, — ... привели всю нашу армию и всю нашу военную систему на такую ступень силы и стройности, которая вполне соответствовала высшим государственным задачам»⁶⁹. Между тем русская армия была вооружена совершенно устаревшими винтовками системы Карле, а знаменитая берданка оставалась недоступной роскошью для большинства стрелковых соединений. Бронзовые казнозарядные артиллерийские орудия были заведомо неприспособлены к эффективному противодействию туркам, традиционно сильным за своими земляными укреплениями в обороне⁷⁰. Растянность коммуникаций, распыленность кавалерии между корпусами, несогласованность действий обрекали русскую армию на тяжелейшие потери (79 тыс. русских ратников погибли в боях, 180 тыс. умерли от болезней)⁷¹. Победа, одержанная столь высокой ценой, не вписала славной строки в летопись русского во-

енного искусства. (По этой же причине изучение боевых действий в ходе Русско-турецкой войны было исключено из программы обучения Николаевской Академии Генерального штаба: «Больно много в ней было грубых и преступных ошибок командования», — с горечью констатировал один из слушателей Академии А.А. Игнатьев⁷².) А эйфория от победы помешала трезво оценить пределы послевоенного мирного урегулирования. Сан-Стефанский мирный договор, нацеленный на широкие преобразования в жизни освободившихся балканских народов, встретил яростные протесты западных держав и поставил Россию на грань новой войны — ее удалось предотвратить только за счет принципиального пересмотра первоначальных условий мира на Берлинском конгрессе летом 1878 г.

Так же безответственно, закусив удила, рвались вперед и славные покорители Средней Азии. Уже в 60-е годы генерал М.Д. Скобелев ставил вопрос об овладении Ферганским Тянь-Шанем, не исключая в дальнейшем и широкое наступление на азиатские владения Британии — извечного недруга России в восточном вопросе. В 1876—1877 гг. он всерьез задумывался и о высадке русского корпуса в Афганистане и Индии, заодно подтверждая реальность этих планов успешными рекогносцировками в Кашгаре⁷³. (Правда, в конце 70-х годов он отошел от этих планов, переключившись на «германский проект».) За удар в азиатский тыл англичан высказывался и генерал К.П. Кауфман. А сподвижник Скобелева и Кауфмана Ионов в 90-е годы проложил маршрут предстоящего продвижения через Памир в Индию⁷⁴. Военные буреветники, готовые все дальше и дальше отодвигать границы империи, мало размышляли над тем, в какую пучину бедствий они погружают страну — с ее слабыми экономическими и социальными предпосылками противостояния европейской мощи. В результате таких прожектов и демонстраций страна зависала над угрозой втягивания в новые войны. Ослабление напряженности оказалось по плечу лишь дипломатам школы А.П. Извольского, сумевшим на базе непривычной для российских традиций принципов компромисса и соглашений добиться заключения русско-английской конвенции 1907 г.⁷⁵

Однако вектор общих стремлений не менялся. Выразитель-

ный пример того, как в движении к войне трезвый расчет вытеснялся эмоциональными порывами, являла собой сама смена подходов военных. Еще в январе 1900 г. в Николаевской Морской академии состоялась военно-морская игра, нацеленная на выяснение возможностей боевой операции на Дальнем Востоке. Ее главные участники — адмирал З.П. Рожественский, русский военный агент в Японии, полковник Генштаба Самойлов и другие приглашенные лица однозначно высказались против военных действий в этом регионе на основании неготовности сухопутных войск и морской эскадры к столкновению с японцами. Это мнение поддержал и А.Н. Куропаткин⁷⁶. Однако уже в 1903 г. военный министр выступал за аннексию северной части Маньчжурии, несмотря на категорические возражения европейской дипломатии и японского правительства и вытекающие отсюда осложнения для международного положения России⁷⁷. Адмирал фон Тирпиц, посетивший Россию в 1903 г., был изумлен настроением шанкозакидательства, которые проявлялись в куражной готовности помериться силами со Страной восходящего солнца. Царь разделял убеждение генералов, что у этого противника «ненастоящее войско», а российский колосс «настолько силен, что японцы ничего уже не смогут сделать»⁷⁸.

Но, похоже, что и катастрофа Порт-Артура, Мукдена, Цусимы не образумила воинственных стратегов. В западной публицистике уже зазвучал предостерегающий термин «желтая опасность» (введенный в оборот кайзером Вильгельмом II). В аналитических записках западных экспертов давались рекомендации России отступить к Байкалу, чтобы не исчезнуть в пасти тихоокеанского тигра (на этом мотиве была выстроена популярная книга советника германского статистического комитета Р. Мертоня «Будущность России и Японии»)⁷⁹. В это же самое время в правящих кругах России раскручивалась реваншистская истерия⁸⁰. Недорого стоил и приобретенный в дальневосточном пекле боевой опыт, несмотря на возбужденную им работу военной мысли. По-прежнему вразрез со здравым смыслом в Военном министерстве и Генеральном штабе доминировали представления о предстоящей войне в Европе как о маневренной, а основным видом стратегических действий считалось наступление. Оборона, позиционные формы борьбы вовсе спи-

сывались со счетов, а срок предстоящей войны (даже ведущейся коалициями держав) отмерялся всего несколькими месяцами⁸¹. Мобилизационный и оперативный план высшего командования в полном противоречии с реальными потребностями и даже позициями штабов союзных армий рассматривали в качестве главного противника не Германию, а ее маломощную союзницу — Австро-Венгрию⁸². Итак, из-за плеч титулованных стратегов уже маячил призрак очередной катастрофы. Где следует искать точку сбоя, определившую серийные провалы?

Психологи склонны делать акцент на изменениях в восприятии окружающего мира у людей, долговременно — в силу обстоятельств или по роду деятельности — погруженных в конфликтную ситуацию. Сознание в этих случаях вырабатывает свою систему защиты от стрессов, в частности выборочный отклик, выборочное восприятие, групповое отождествление. Первые два механизма служат уменьшению сложности ситуации и снижению уровня тревожности в беспокойной обстановке. Выборочный отклик реализуется через игнорирование информации, которая не соответствует господствующим верованиям и представлениям. Выборочное восприятие осуществляется через подгонку «принятой» информации под ожидания «своей» стороны. Очень часто на поверхности оно выступает в виде стереотипов, которые активно включаются в познавательный процесс и поиск решений. Другим его вариантом служит синдром «туннельного зрения», при котором внимание сосредоточено только на вопросе сиюминутного интереса, а принимаемые решения не учитывают возможных побочных эффектов или отдаленных последствий. Групповое отождествление служит формированию превратного представления о противнике, которому либо приписываются собственные взгляды на события, либо заведомо заниженные возможности. При этом «плохому» врагу однозначно противопоставляется своя «хорошая» группа⁸³.

Итак, долговременные конфронтации и соответствующие им схемы мышления приводят к смещениям и искажениям в отображении действительности и в конце концов рикошетом бьют по их творцам и последователям. Расширенное влияние военного ведомства на внешнеполитическое планирование и милитаризм, усвоенный на уровне «динамических стереотипов»

верховой власти, неизбежно приводили к подобным результатам. Существенные ограничения на политическое участие военных профессионалов, наложенные в пореформенное время, усиливали их предрасположенность к поиску замещающих функций. В этом контексте активность отдельных группировок и сильных личностей чаще всего устремлялась в сферу внешней политики, подогревая экспансионистский раж и склонность к непродуманным решениям царя и придворной камарильи. Перипетии военных тревог и боевых действий выводили военных политиков за рамки общих правил. С одной стороны, позволяли им безнаказанно прорываться за буйки политического мелководья, с другой оберегали от расплаты после очередной провальной авантюры.

Заметим, что при этом в России не были предусмотрены формальные процедуры военного вмешательства в политику, как это было, например, в милитаристской Японии. В соответствии с конституцией Мейдзи (1889 г.) военщина могла волевым решением развязать вооруженный конфликт и шантажировать правительственный кабинет. В случае рапорта военного министра об уходе в отставку правительство подлежало роспуску⁸⁴. Точно так же в России не оформилась открытая военная диктатура, наподобие той, которую с начала 1917 г. в Германии представляли начальник Генерального штаба генерал-фельдмаршал П. Гинденбург и его заместитель генерал Э. Людендорф. Эта двоица свободно смещала министров и рассылала директивы любым правительственным органам, педалировала аннексионистские цели войны даже тогда, когда борьба была фактически проиграна⁸⁵. Тем не менее при разнице в формате и объеме военного влияния на политику в России и в Германии ситуации были во многом схожими. В отсутствие гражданского контроля над военным корпусом и при повышении его роли в эпоху гонки вооружений и военных конфликтов быстро оформлялись группировки, рвавшиеся в центр политического поля. В Германии это были офицеры Большого Генерального штаба, которые после отставки Мольтке в 1888 г. буквально въехали в политику на плечах его преемника Вальдерзее (истового поклонника превентивной войны и методики расчета с неудобными гражданскими политиками посредством военного

переворота)⁸⁶. В России на острие клина, устремленного в центр политики, в 1906 г. выросло Главное управление Генерального штаба (ГУГШ). Став с 1909 г. центральным управлением Военного министерства, оно подмяло под себя все ключевые вопросы организации и подготовки обороны страны⁸⁷. По словам военного корреспондента и историка М.К. Лемке, среди прочих военных корпораций его отличала «кастовая задрессированность», гордое осознание себя «аристократией армии»⁸⁸. А на фоне нагнетания военной истерии ГУГШ обнаружил тенденцию превращения в теневой кабинет, чего, в принципе, не отрицали и сами генштабисты. «Истинная природа войны постепенно расширила круг его деятельности, — отмечал советский маршал и бывший сотрудник Генштаба старой России Б.М. Шапошников, — и перед мировой войной мы уже считаемся с фактом, когда «мозг армии» выявил стремление вылезти из черепной коробки армии и переместиться в голову всего государственного организма»⁸⁹. Похожими были и почерки политического планирования, в частности неосновательность произведенных расчетов по соотносению собственного потенциала с силами противника. Правда, в сравнительно-исторической перспективе запас прочности германского военного корпуса и размер его социальной поддержки оказались все же выше. В немалой степени эта разница была обусловлена и структурой идеологического воздействия военной машины на массовое сознание.

4.3. Армия в идеологическом аппарате самодержавия

Армия — важнейший институт государственной власти — была тесно связана с ее идеологическими исканиями, призванными оптимизировать социальное управление и направить развитие национального самосознания обитателей империи. В свою очередь, и сама военная служба нуждалась в идеологическом оснащении, которое предоставляло ей идейное обоснование и обеспечивало высокую надежность. Однако разработка соответствующей идеологической доктрины для российских властей оказалась делом едва ли не более трудным, чем создание регулярной армии. Оформление такой идеологии в современном

значении этого понятия — ценностной карты, по которой ориентируются субъекты данного сообщества¹, системы утверждений относительно ценностей и фактов, которая ослабляет социальную напряженность, придает смысл и целесообразность действиям людей², — в России растянулось более чем на столетие.

Первый «кирпич» в фундамент будущей государственной идеологической доктрины заложил Петр I, выдвинувший теорию государственного интереса и общенародной пользы. Впервые использованная в 1702 г. в Манифесте о призыве иностранцев на русскую службу, далее она детализировалась во множестве официальных документов как гражданского, так и военного назначения³. Как следовало из этих разъяснений и их контекста, общее благо и государственный интерес включали в себя абсолютно все проявления активности граждан, которые содействовали государственному могуществу и процветанию. Однако эффективность воздействия на умы этой идеологии вне контекста Петровской эпохи вызвала большие сомнения. Прямолинейная дидактика, безбрежное содержание, скудный ассортимент литературных троп скорее оставляли равнодушными, нежели вдохновляли подданных. Отчасти эти недостатки Петр I преодолел... после смерти. Канонизация в общественном сознании личности и дел царя-преобразователя, превращение его в крупнейший национальный символ дали ход более интенсивным исканиям. Вместе с тем эта линия, увенчавшаяся в 1782 г. монументом Фальконе («Медный всадник»), еще не принесла большого успеха: застывший в бронзе образ Петра I зафиксировал как апогей, так и исчерпанность петровской мифологии как основы идеологического творчества. Несколько эскизов к идеологической доктрине сделала Екатерина II. Сочинение императрицы под названием «Антидот» («Противоядие»), написанное в полемике с французским критиком российских порядков — Шаппом де Оттрошем, новороссийское строительство Екатерины II и Г.А. Потемкина, связанное с возрождением традиций Древней Эллады и созданием нового центра мирового паломничества⁴, наконец, смутное мессианско-мистическое толкование судеб России⁵ — таков был вклад этого правления в государственный идеологический проект.

Свое решение задачи предложил Павел I, которому приши-

лось одновременно лихорадочно искать формулу ответа на идеи Французской революции, просачивавшиеся через государственные границы, а потом и на заявку мирового господства, сделанную Первым консулом Республики. В противовес им он выдвинул план военно-теократического государства с ойкуменическим охватом. В этой модели главе российского государства предстояло состояться не только в качестве светского государя и духовного отца собственных подданных, но и в качестве архипастыря всего «Христового стада». В день коронации 5 апреля 1797 г. Павел I был одет в долматику — одежду, наподобие стихаря, в которую облачались во время коронации в знак совмещения светской и духовной власти византийские императоры⁶. Позднее к этому двуединству добавился новый элемент — особо выделенная в торжественных ритуалах роль верховного военного вождя. После коронационного действия Павел провел смотр войск, на котором предстал совсем уже в экстравагантном облике. На этот раз священная долматика была надета поверх мундира и прусских ботфорт⁷. Несмотря на то что и это царствование не продвинуло вперед разработку национальной доктрины, оно наметило направление дальнейших поисков, прочно связав их с военной тематикой. Р. Уортман справедливо обращает внимание на то, что с Павла I парад становится главной церемонией в репертуаре властных сценариев⁸. Он воплощал собой идею силы и правильности порядка, благодаря чему последний получал дополнительный источник легитимности⁹.

Для Александра I отправной точкой экспериментов в сфере идеологии стала борьба с наполеоновской гегемонией в Европе, вскоре переросшая для него в главное дело жизни. По мере увязания в международном конфликте русский император все более и более проникался космополитическими настроениями и входил в образ царя царей, Агамемнона Европы. А после заключения поверженного врага на острове Св. Елены и в роль гаранта Священного Союза — своеобразного «монархического Интернационала». Самое грандиозное зрелище, устроенное Александром I в ознаменование замирения Европейского континента, составил парад российского войска в местечке Вертю за две недели до подписания актов Священного Союза. Войско было выстроено в семь каре, они символизировали собой семь церквей,

к которым Иисус взывал со страниц Апокалипсиса. В центральном четвертом квадрате в присутствии всех европейских монархов и русского генералитета проходило богослужение. Происходящее рождало у зрителей ощущение причастности к величайшей мистерии, в которой русское воинство уподоблялось новому Израилю, а русский царь — Царю царей, призванному возродить мир к новой жизни¹⁰. При этом сам виновник столь причудливого торжества был склонен смотреть на армию, обеспечившую ему возможность лицедейства на глазах у всей Европы, сугубо инструментально. Для него она была совершенным механизмом, однако не имеющим самостоятельной ценности. Трудно сказать, чему русский монарх радовался больше во всей антинаполеоновской эпопее — победам ли русского оружия на полях сражений или стройному прохождению 150 тыс. человек и 600 орудий по равнине Вертю, когда ни один из пехотинцев не сбился с ноги¹¹. Правда, с такой интерпретацией своей роли не пожелала смириться сама армия победителей: в ее недрах выросла генерация критически мыслящих офицеров. Пренебрежение царя к ветеранам, памятным датам войны 1812 г., насаждение жестокой палочной дисциплины в армии после возвращения из заграничного похода и, наконец, семеновская история с ее громадным резонансом среди военнослужащих — вели к нарастанию разрыва монарха с военными кругами. Борьба с неблагонадежными элементами велась правительством посредством пяти органов тайной полиции¹², ротации командных кадров¹³, безжалостного удаления тех офицеров, вызывавших подозрение в причастности к тайным обществам¹⁴. Но, выиграв тактически битву за усмирение мятежного духа в армии, Александр I проиграл ее стратегически. Болезнь не отступила, но была загнана внутрь, а при смене монархов на престоле в декабре 1825 г. дала сильнейший рецидив. Победоносное шествие русских войск по Европе, подъем национального духа и идей гражданственности в России и на этот раз не увенчались осмыслением на уровне официальной идеологической доктрины.

Николаю I при вступлении на престол пришлось пожинать горькие плоды недочетов и откровенных провалов в работе предшествующего правительства. Обобщая размышления императора об истоках происшествия 14 декабря 1825 г., можно

сказать, что главную проблему он видел в сивилизации армии в период больших войн, практически уничтоживших перегородки между военным и гражданским сегментами общества (см. главу 6). А проникновение инсургентских мотивов в глубь гвардейской среды, по понятиям Николая I, шло через множественные средостения, образовавшиеся между военными чинами и неформальными лидерами столичного общества за то время, пока первые прохладжались при молчаливом попустительстве М.А. Милорадовича, а вторые свободно диссидентствовали без монаршего отеческого попечительства. Задача, по мнению молодого царя, состояла в том, чтобы подвести единую платформу под идейное развитие военного и гражданского социумов и тем самым ограничить вредное воздействие второго на первый. Таким образом, в основу борьбы с политической оппозицией была положена чисто военная посылка — идентификация армии с нацией, а нации с армией¹⁵. Стержнем программы идеологического обеспечения общества стал старинный военный девиз «За веру, царя, Отечество!». Именно эти редуцированные до трех базовых постулатов корпоративные представления военных в их гражданском прочтении и составили три заглавных тезиса теории официальной народности «Православие, Самодержавие, Народность»¹⁶.

Справедливости ради отметим, что Николай I предвидел все же трудности практического утверждения этой программы. Поручая ее крупному гражданскому чиновнику С.С. Уварову, возглавившему с 1833 г. Министерство народного просвещения, царь рассчитывал на его опыт, эрудицию и связи с интеллектуальной элитой дома и за рубежом. При этом, приступая к эксперименту, царь не скрывал, что ставит на карту и собственный авторитет, и карьеру чиновника: «Я убедился, что вы — единственное возможное орудие, которому я могу доверить эту попытку, которая будет последней... Это вопрос совести... посоветуйтесь со своей и рассчитывайте на меня»¹⁷. Объективности ради отметим также, что общественное восприятие правительственной теории было уже отчасти подготовлено близкими почвенническими построениями ряда отечественных мыслителей. (Среди них — известный поклонник пуризма и архаики в литературе, писатель и публицист, адмирал А.С. Шишков, московский

Главкомандующий 1812 г. Ф.В. Ростопчин, издатель журнала «Русский вестник» С.Н. Глинка, издатель «Телескопа» Н.И. Надеждин и даже Н.М. Карамзин¹⁸.)

С точки зрения организаторов новой идеологической кампании, ставка на органические начала национального развития должна была послужить созданию «умственных плотин» от увлечения западной интеллектуальной продукцией. Идейные оруженосцы теории официальной народности — профессора Московского университета И.И. Давыдов, С.П. Шевырев, М.П. Погодин на разные лады, каждый под углом зрения своих научных изысканий, доказывали неудобоваримость для русского ума интеллектуальной пищи «загнивающего» Запада и животворную силу традиционных начал¹⁹. Одновременно с тем на уровне государственной политики вводились жесткие ограничения на информацию. Так, вплоть до 1860 г. гражданам не полагалось знать о близких к современности периодах истории — научные изыскания и публикации ограничивались рубежом XVII—XVIII вв. Далее затруднялся свободный выезд граждан за границу. Скажем, в 1842 г. захлопнулась дверца, через которую осуществлялся культурный обмен с Западом: прекратились стажировки в европейских университетах студентов-стипендиатов Второго отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. А сами границы как бы ошетинились вовнутрь, усиливая у граждан ощущение враждебности пространства, находящегося с внешней стороны²⁰.

Наконец, обозначенные приоритеты в преподавании, научных поисках и издательской деятельности резко переводили стрелку общественного интереса от злободневной социальной проблематики, как российской, так и западной, к отечественному прошлому либо в крайнем случае к восточным штудиям — более безопасным в отношении нежелательных параллелей и выводов²¹. Смысл этой переориентации общественного внимания раскрыл сам царь в беседе с профессорами Московского университета: «Я никогда не был врагом просвещения; я враг просвещения западного, потому что на Западе не знают, чего хотят»²². Однако в масштабах поставленной задачи — воспитания лояльных граждан — запретительные меры, бесконечные повторы официального символа веры еще не давали нужного

эффекта. Утверждение власти над умами подданных требовало проникновения в их комплексное восприятие мира. Наиболее продуктивной в этом отношении могла стать такая организация идеологической и культурно-массовой работы, которая была нацелена на структурные изменения в общественном сознании. А именно на подмену понятия причинности происходящего в реальном времени обращением к глубинным первоосновам наблюдаемых явлений; на замыкание воспринимаемых фактов на стереотипные картинки; на коррекцию процесса познания с помощью целенаправленной эмоциональной настройки.

Пусть не вполне осознанно, но практики «идеологического фронта» николаевской России сделали важный шаг к такой постановке дела. Дефициты самой теории с ее скудной метафорической начинкой были удачно восполнены привлеченным наглядно-пропагандистским материалом. Впрочем, за ним далеко идти было не надо — в распоряжении николаевского «агитпропа» находился поистине необъятный декорум милитаризма. В первую очередь культурные артефакты столицы. По остроумному замечанию В.В. Лапина, она попросту превратилась бы в большой пустырь, если бы в ней вдруг исчезли памятники и сооружения, связанные с войной, воинским искусством и победами русского оружия²³. Насаждаемый сверху национальный идеал вполне органично сливался с милитаристским фасадом империи. Так же легко и естественно на его фоне разворачивались зрелищные действия — помпезные военные разводы, маневры, смотры, парады. Последние были приурочены чаще всего к так называемым табельным дням, когда отмечались высокоторжественные события в царской семье. А также к крупным церковным праздникам — Рождеству, Пасхе — и особо памятным историческим датам. В царствование Николая I это были годовщины Бородинского сражения, изгнания наполеоновских войск из России, дня его восшествия на престол, в царствование его сына — день взятия Плевны — 28 ноября. Кроме того, парадами сопровождалось торжество по особым случаям: подавления польского восстания 1830—1831 гг., открытия Александровской колонны в Петербурге в 1834 г., монумента на поле Бородинской битвы в 1839 г. В столице по этим дням устраивалось торжественное прохождение гвардейских полков под

командованием монарха, в провинциальных городах — прохождение частей местного гарнизона.

В отечественных исторических исследованиях к этим практикам утвердилось самое скептическое отношение: своего рода традицией историков стало обвинение Николая I в изматывающих и никчемных парадных учениях, в насаждении «балетмейстерства» среди командного состава. Однако значение парадных действий отнюдь не исчерпывалось удовлетворением личных эстетических запросов монархов, столь обременительных для личного состава. Р. Уортман обращает внимание на методическое замещение понятий, которое совершалось по ходу парадных представлений: в эти моменты армия становилась олицетворением народа, а элитные воинские части — участники наиболее эффектных военных спектаклей — олицетворением самой армии. При этом Александр I смотрел на армию — субститут народа — как на орудие божественного промысла, не имеющее национальных признаков, а Николай I — как на живое воплощение реальной нации²⁴. Американский историк указывает на такие функции парадного действия, установившиеся при Николае I, как демонстрация близости войск к императору и императорской семье. Вместе с тем эта презентация предполагала и более широкое толкование — как единение царя со всем народом, подтверждение целостной подконтрольности монарху социального пространства, доказательство могущества империи, процветающей под мудрым водительством самодержца²⁵. Близкую интерпретацию военно-зрелищных действий дает и Д. Байрау. «Бесконечные военные церемонии символизировали государство как военную машину, подданных — как марширующие в ее строе винтики, которые по приказанию императоров исполняли великолепный балет. На практике для офицеров и солдат все оборачивалось бесконечной муштрой, которая преследовала цель физического и духовного порабощения, однако ничего не давала в смысле подготовки к войне»²⁶.

Попробуем все же расширить устоявшиеся представления о параде и взглянуть на эту традицию под углом зрения ее функций в системе идеологического воздействия на социум. Такие действия были призваны утвердить главные самохарактеристи-

ки режима в общественном сознании. Во-первых, образцовый порядок среди всех субъектов, подчиненных императорской воле. Идеальный фронт, синхронность всех движений, единообразие рядов рождали иллюзию абсолютной управляемости огромных масс людей. А сам Николай I, предводительствующий этой массой, по словам историка Н. Тальберга, представлял «поистине идеальный тип Царя могущественной державы в Европе»²⁷. Во-вторых, несокрушимость боевой мощи державы. Не случайно на смотры и маневры войск, проходившие часто в Красном Селе под Петербургом, приглашались дипломатический корпус и даже некоторые из пленных противников. Например, в 1829 г. там присутствовали взятые в плен турки — двухбунчужный паша и двенадцать бим-пашей²⁸. Примечательно и то, что сразу по окончании действия гостям-невольникам была предоставлена свобода — в представлениях царя и его ближайшего окружения парадная демонстрация войска действовала не хуже смиренной рубашки на самых оголтелых агрессоров. «Чужестранцы просто осовели, они даже остолбенели, им это здорово. Смотрами и учениями гвардии я отменно доволен, пехота и артиллерия стреляли в цель очень хорошо, страшно!» — с восторгом передавал свои впечатления о красносельских маневрах 1852 г. Николай I «отцу-командиру» И.Ф. Паскевичу. Впрочем, эстетика парада захлестывала и самого светлейшего князя Варшавского, который однажды в переизбытке чувств перед марширующими рядами воскликнул: «Подавайте Европу сюда!»²⁹

Именно такое захватывающее сценическое представление военной силы доделывало то, что была бессильна довершить долбежка официального символа веры. А именно крепко вбивала в головы клишированные представления о самодостаточности и превосходстве России, о неизбежном поражении западных держав, рискни они выступить в открытом состязании с ней. Таким образом, если теория официальной народности являла собой некий закодированный текст, то важнейшим каналом, посредством которого она декодировалась и транслировалась на социум, служили шоу с участием военных. Подобно тому, как средство сообщения само выступает «сообщением», перестраивая в своем магнитном поле затянутые частицы³⁰, во-

енно-зрелищное вещание довольно сильно меняло всю картину вокруг себя. Прежде всего превращало наэлектризованную толпу-агрегат в коллективное группирование. Если агрегат — простое скопление людей, оказавшихся в одном месте, но не имеющих связей друг с другом³¹, то толпа, охваченная коллективным возбуждением («экспрессивная толпа», по терминологии основоположника символического интеракционизма Г. Блумера), уже создает некоторые связи. Чувство локтя, эмоциональный подъем, снятие напряжения, которые человек испытывает в такой среде, прокладывают путь к установлению более устойчивых идентификаций. По словам Блумера, коллективное группирование, хотя еще и не отсылает к какой-либо культурной модели или набору правил, тем не менее является «потенциальным проектом возникновения новых форм поведения личности». А испытанные здесь переживания «приобретают тенденцию проецироваться на объекты, которые ощущаются как находящиеся с ним в некой тайной и тесной связи. В результате эти объекты становятся священными для толпы... Появление таких священных объектов закладывает основу для формирования какого-нибудь культа, секты или примитивной религии»³².

Составляя гигантскую раму парадного зрелища, зрительская масса ощущала слитность с ним на уровне «корневой системы». Не исключено, что именно в этом качестве, восходившем к неким истокам коллективной памяти, коренилась поистине парадоксальная любовь к парадам и смотрам даже той искушенной части публики, которая осуждала фрунтонию и экзерцирмейстерство Павловичей³³. На этой же почве происходила и дальнейшая мифологизация власти. Не случайно зарисовки зрительских впечатлений часто оперируют ссылками на мифические образы: «Николай I перед своей грозной армией изображал одного из тех легендарных героев-великанов, которых все воинственные народы любят воспевать в своих мифических песнях»³⁴. Соединив зримую военную мощь с теоретической разработкой официальной доктрины, Николай I вдохнул в нее жизнь и обеспечил вживание в общественное сознание. К тому же, сделав армию ответственной за «пропаганду» национального идеала, царь снял напряженность в ее отношениях с

властью, проистекавшую из космополитических уклонений прошлого царствования.

В собственно армейском измерении парады, смотры, разводы, маневры несли не менее важный смысл, чем тот, который был адресован зрительской массе, — они служили систематическому возобновлению связей войск со своим Верховным главнокомандующим. В обстановке мобилизации духа, охватывавшего участников парадных шествий, регулярно подтверждались самые высокие стандарты служения государю, отечеству и профессиональному призванию. Для лидера державы эти церемонии являли возможность публично выразить одобрение исправному выполнению обязанностей и боевой выучке войска, для военных — подтвердить свою готовность положить все силы, а если потребуется и жизнь, на дело, к которому призовет Верховный главнокомандующий. Безыскусные свидетельства пережитого экстатического воссоединения с верховным вождем можно найти во многих воспоминаниях их участников. Вот как, например, кадет А. Марин описывал чувства, нахлынувшие на него и его товарищей после того, как монарх, присутствовавший на маневрах кадетов, выразил благоволение подрастающей войсковой смене: «Слезы блеснули у нас на глазах: так все мы были счастливы и тронуты такой милостью и лаской царя... у всякого из нас в сердце что-то дрогнуло, явилась какая-то неизмеримая любовь и преданность, готовность посвятить всю свою жизнь ему, нашему благодетелю»³⁵. А вот как описывал Николай I собственное эмоциональное состояние в момент, когда его взору открывались симметричные, ровно выстроенные для совместного молебствия и церемониального прохождения ряды войска: «350 эскадронов со 144 конными орудиями, вытянутые в пять линий, представляли зрелище такое величественное, что первую моей мыслью было возблагодарить вместе с ним Бога!.. В эту минуту я гордился принадлежать им и быть их начальником»³⁶.

По определению Н.А. Еланчина, заставшего в первые годы правления Александра II традицию парадных встреч царя с войском еще живой и полнокровной, «это было величественное общение царя с войском, и в этом смысле парад имел воспита-

тельное значение»³⁷. Добавим к этому свидетельству еще одно замечание: во время таких встреч молодые солдаты-призывники впервые наблюдали императора вблизи, притом в его непосредственном взаимодействии с войском. Из отвлеченного понятия монархическая идея для них впервые превращалась в категорию, осваиваемую «эмпирическим» путем. Даже воины, видевшие царя не в первый раз, невольно поддавались гипнотическому влиянию лица, окруженному культовым почитанием. Так, молодой аристократ из семьи, близкой ко двору, — В. Трубецкой вспоминал о «потрясающем впечатлении», которое произвело на него явление царя перед войсками, сопровождаемое «неистовым людским воплем тысяч», «чудесной торжественной музыкой, воспевающей его же»³⁸. Несомненно, что подобные впечатления выступали сильным подкрепляющим стимулом к добросовестному исполнению воинского долга и верности принесенной присяге. Вместе с тем очевидно, что магия этого общения таяла по мере того, как выдыхалась сама традиция регулярных встреч с воинством. С этой точки зрения нам представляется малоубедительным допущение генерала П.Г. Курлова о том, что личное появление императора Николая II и непосредственное обращение за помощью к войску в роковые для него дни Февральской революции могли бы удержать монархический строй от падения³⁹. В значительной степени изжитая к тому времени «парадомания» власти, почти тотальная замена кадрового костяка, ротация нижних чинов за счет военнообязанного гражданского населения, не знавшего опыта мистически-возвышенного общения с царем, исключали возможность самоотверженных порывов с его стороны во имя спасения монархии.

Угасание традиции военно-зрелищных представлений с конца XIX в. и, как ее следствие, ослабление связей войска с верховной властью, разумеется, было не единственной причиной трудностей с мобилизацией поддержки режима. Эмоциональные, когнитивные, поведенческие установки человека из масс, соприкасающегося с войной, в большей степени определяются системой государственной пропаганды. Однако сам миф, созданный российскими властями и поддерживаемый на протяжении десятилетий, отличался высокой ломкостью кон-

струкции. Мир мифа, по оценке американского культуролога Н. Фрая, представляет собой мир целостной метафоры, где «каждая вещь потенциально идентифицируется со всем остальным так, как будто они находятся внутри единичного бесконечного тела»⁴⁰. Военизированный миф самодержавия делал чрезвычайно травматичным любое неудачное столкновение с противником. Военное поражение было чревато обвальным крушением всех элементов созданной псевдореальности: вслед за рухнувшей верой в непобедимость отечественного оружия в пух и прах разлетались представления о собственном превосходстве над Западом, всемогуществе власти, ее единстве с народом, неисчерпаемом запасе сил самого сообщества. Российские кризисы, наступавшие вслед за военными поражениями, вполне можно выразить в терминах демистификации мифа. Или, другими словами, вводя терминологию Р. Барта, — в виде внезапно засвечивающегося разрыва между воинской славой как означающим и национально-государственной исключительностью России как означаемым⁴¹. В свою очередь, по мере того как улетучивался флер неизбывной силы, «сыпались» и те схемы связи, которые обеспечивали заданное интегральное восприятие разнообразных социальных фактов: мгновенное распознавание знакомых образов власти и общества, стандартизированные оценки происходящего. А общественная растерянность быстро перерастала во фрустрацию.

Милитаризованная подача официальной идеологической доктрины, в свою очередь, связывала военную фортуна и все компоненты триады официальной народности в неразрывном единстве. В народном истолковании военные неудачи часто приписывались нарушениям «правильных отношений» внутри идеологического треугольника, а победы — их восстановлению. О том, в какой мере данный алгоритм восприятия действительности «вмерз» в общественное восприятие, свидетельствуют многочисленные наблюдения фольклористов и этнологов над наивной крестьянской философией истории. Так, в XIX в. часто фиксировались ходячие предания об «основаниях» военного счастья Петра I. Согласно этим бытовым версиям, царь проиграл первое Нарвское сражение из-за того, что ослушался пат-

риарха, а стал одерживать победы только после того, как снова заручился поддержкой святой Церкви и ее отцов. Падение Севастополя в 1855 г. в народных толках расценивалось как кара за начальственные «грехи», прежде всего за безмерное отягощение и удержание крестьян в неволе, иными словами, воспринималось как уклонение от принципа народности⁴². По свидетельству корреспондентов Этнографического бюро, и в начале XX в. крестьянский слух чутко отзывался на гром побед, органично вписывавшийся в этноцентристскую апологетическую картину «своего» мира: «Всего более любит наш народ разговаривать про силу, богатство, могущество нашей матушки-России. Слушать рассказы для него наслаждение»⁴³. Вместе с тем в режиме текущего времени наркоз этих ритуальных заклинаний проходил с первой же вестью о поражении. Подобную мгновенную смену настроений отмечал летописец российской агонизирующей армии А.И. Деникин: «Вооруженный народ», каким была, по существу, армия, воодушевлялся победой, падал духом при поражении»⁴⁴.

Уязвимые точки официального идеологического влияния очень быстро отыскивала оппозиция. В середине XIX в. поражение как одна из форм развенчания государственного мифа и борьбы с государственным диктатом распространяется в либеральных кругах. Образцом такого образа мыслей могут служить, например, рассуждения авторитетных ученых историков, профессоров Московского университета С.М. Соловьева и Т.Н. Грановского. «В то самое время, когда стал грохотать гром над головою Навуходоносора, — писал С.М. Соловьев по поводу Севастопольской трагедии 1854—1855 гг., — когда Россия стала терпеть непривычный позор военных неудач, когда враги явились под Севастополем, мы находились в тяжком положении, с одной стороны, наше патриотическое чувство было страшно оскорблено унижением России; с другой — мы были убеждены, что только бедствие и именно несчастная война могли произвести спасительный переворот, остановить дальнейшее гниение; мы были убеждены, что успех войны затянул бы еще крепче наши узы, окончательно утвердил бы казарменную систему; мы терзались известиями о неудачах, зная, что известия

противоположные приводили бы нас в трепет»⁴⁵. Касаясь того же периода времени и тех же событий, журналист и историк литературы А.Д. Галахов вспоминал, как часть известных интеллектуалов бравировала своим капитулянтским настроем: один из «властителей дум» без конца восхищался зуавами (род французской легкой пехоты. — *И.В.*). Другой (Н.Ф. Павлов) советовал не слишком огорчаться ввиду возможной потери Крыма: «Поверьте, мы останемся не внакладе, а в выигрыше: мы будем есть лучшие яблоки и по более дешевой цене»⁴⁶. Вместе с тем поражение времен Крымской войны являлось скорее не вызовом государственной системе, а протестом против той силы, которую в ней взяла милитаристская машина. В ожиданиях либералов бесславный финал боевых действий должен был повлечь за собой и приток свежих сил в правительственный лагерь, и пересмотр многих неприемлемых принципов администрирования.

Поражение в следующем поколении отталкивалось от опыта Крымской катастрофы и строилось на твердом расчете, что в результате нового военного разгрома власть в очередной раз будет вынуждена повернуться лицом к неотложным общественным нуждам. Об этом прямо писал датский литератор Г. Брандес, совершивший в 1887 г. большое путешествие по России. Ввиду обострившихся российско-германских отношений в том году над страной нависла угроза близкой войны. «Безусловно характерным для России, — свидетельствовал Брандес, — было почти единодушное желание поражения, о котором слышали иностранцы как в северной, так и в южной части страны, а также от русских на востоке или на западе, разумеется, если то были люди умные и либерально настроенные. Я совершенно точно слышал от более чем пятидесяти не знакомых друг с другом русских из различных слоев общества, что они желают России крупного и сокрушительного поражения в предстоящей войне, и все, словно сговорившись, высказывали это общее желание». «Такое уже происходило во время Крымской войны, — добавлял датский путешественник, — и все хорошо помнят, какие благодатные последствия возымело то поражение»⁴⁷.

В начале XX в. численно выросшая масса поборников российского военного фиаско уже не терзались разрывом между

чувством и мыслью и исповедовала принцип «чем хуже — тем лучше» без всяких видов на либерализацию режима. Окидывая взглядом историю разложения старой армии, после 1917 г. большинство военных профессионалов русского зарубежья сходилось во мнении, что к этому делу приложила руку русская общественность всех оттенков политического спектра. «Пацифизм, сочившийся со страниц произведений Л. Толстого, Л. Андреева, А. Куприна, М. Горького», перетекая в среду революционных радикалов, превращался уже в «целый поход против собственной армии и офицерства»⁴⁸. Значительная часть интеллектуальной элиты — генератора идей и барометра настроений общества — по мере затягивания войны перешла на позицию враждебного нейтралитета по отношению к ее целям и задачам. Так, П.Н. Милюков усматривал только две (различающиеся в оттенках) композиции в дискуссиях по военной проблематике тех лет. Одну представляло умеренное оборончество, стыдливо прикрывавшееся, как фиговыми листками, формулами типа «война против войны», «последняя война», «война без победителей и побежденных» с установлением мира «без аннексий и контрибуций». Другая воплощала собой категорическое неприятие войны держав, а на крайнем левом фланге она быстро переросла в план превращения войны «империалистической» в «гражданскую»⁴⁹.

Вместе с тем за всеми этими раскладами отчетливо проступали и гигантские упущения государственной пропагандистской машины в деле сплочения нации на базе идеологии. В условиях сокращения милитаристского домена в политике и расширения сферы гражданской активности приемы воздействия на массовое сознание, заимствованные из «агитпропа» Николая I, не достигали своих целей. Между тем идеологический фонд официальной власти после Николая I, по существу, не обновлялся. Высшая политическая элита продолжала свято верить в самовосполняющуюся животворную силу традиционных начал даже тогда, когда раздались первые звонки неблагополучия. Уже в ходе первой русской революции выявилась эфемерность связи с правящим режимом целых групп населения и больших регионов, в которых быстро складывались автономные зоны со

своей законностью и властью⁵⁰. Десакрализация самодержавной власти откровенно выявилась в «жалком», по определению Милюкова, «провале юбилейных торжеств» по случаю трехсотлетия дома Романовых⁵¹. Еще с большей наглядностью она проявилась в готовности разных общественных сил подхватить тему измены царицы Александры Федоровны и председателя Совета министров Штюрмера, подброшенную Милюковым (в выступлении с думской трибуны 1 ноября 1916 г.), в скабрёзных интерпретациях поступков царской четы, распространенных среди солдат⁵². Столь же весомым доказательством распада легитимности стало идейно-психологическое отмежевание от верховной власти ее традиционных опорных союзников в лице объединенных дворянских обществ, фактически выразивших ему вотум недоверия на своем 12-м съезде в конце 1916 г.⁵³. Официальный символ веры утратил свою скрепляющую власть. По словам Н. Головина, формула «За веру, царя, Отечество!» после 1914 г. уже была для масс политическим обрядом с выхолощенным содержанием⁵⁴. Справедливо и мнение современных исследователей о том, что российская автократия вступила в Первую мировую с нигде не годным идеологическим оснащением на фоне остальных участников⁵⁵.

В отличие от российских правителей государственные деятели Европы с конца XIX в. сумели существенно обновить традиционные приемы борьбы за лояльность масс. В странах Западной Европы были успешно апробированы изощренные технологии, в которых рациональные формулы сочетались с обращением к подсознанию «электората». Собственно, именно тогда и было заложено понимание пропаганды как «определенного манипулирования символами (словами, жестами, флагами, образами, памятниками, музыкальными произведениями), мыслями и поступками людей, с учетом верований, ценностей и типов поведения, которые не имеют однозначной интерпретации». Тогда же был по достоинству оценен гигантский ресурс пропагандистской работы, способной превратить возмущение в восстание, а коалицию в общность. А в соединении систематической пропаганды с идеологией обнаружен могущественный инструмент влияния, предрасполагающий людей к приня-

тию определенных схем поведения. Отбросив предрассудки, члены королевского дома Великобритании обратились в истовых поклонников демократических праздников, включая и сугубо пролетарский — финал ежегодного розыгрыша кубка Британии по футболу. Французские политики Третьей республики, нисколько не смущаясь, включили в свой идеологический «фонд» популярные символы предшествующих режимов — образы Жанны д'Арк, барабанщика Бара — солдата республиканской армии, павшего в Вандее в 1793 г., объявили национальным гимном «Марсельезу», сочиненную защитниками революции в 1792 г. А рослая женщина во фригийском колпаке по имени Марианна — эмблема нации — замелькала даже на этикетках товаров и почтовых марках⁵⁶. Столь же плодотворно на сплочение общественных сил трудились и руководители Второго рейха. Множественные колонны Бисмарка — объединителя Германии, национальный гимн — «Германия превыше всего», вызывавший прилив патриотических чувств у каждого немца, спортивные площадки и стадионы для тренировки тела и духа будущих завоевателей мира — составляли густозаселенный мир символов единства общества и власти.

Первая мировая война дала старт соревнованию держав в эффективности пропагандистского аппарата, созданного в помощь армии. По словам крупного военного теоретика XX в. Е. Э. Месснера, перед таким аппаратом ставилась задача «влиять эликсир жизни в свои массы и яд во вражеские»⁵⁷. Первые опытные испытания новых технологий превзошли все ожидания. Так, одним из них стала пропагандистская «утка», запущенная английской разведкой, о том, что немцы перетапливают трупы врагов на стеарин для свечей и маргарин для корма свиньям. В странах Антанты, где она прошла, мгновенно выросли километровые очереди в вербовочные пункты⁵⁸. К концу Первой мировой войны появился и термин «психологическая война» (иногда ошибочно датируемый временем Второй мировой войны)⁵⁹. В своей внутренней пропаганде передовые страны Антанты делали упор на защиту ценностей демократического строя. Например, в США эта линия вылилась в серию чеканных лозунгов типа «Америка — страна свободы и демократии»,

«Америка непобедима»⁶⁰. В Британии к этому добавились лозунги защиты своих колоний, национальной промышленности, торговли, морского транспорта от германского хищничества⁶¹. Во Франции не умолкали призывы к национальному реваншу после поражения, нанесенного немцами в 1870—1871 гг. В самой Германии укреплению национального единства неизменно служил широко праздновавшийся день сражения под Седаном. Кроме того, в умы граждан внедрялись идеологические постулаты Пангерманского союза о создании «Срединной Европы» — блока союзных европейских государств под водительством Германии, и проповедовались идеи о необходимости занятия того положения в мире, которое подобает великой германской нации⁶².

В то же время эти веяния обошли стороной две страны — Австро-Венгрию и Россию. Причины их отставания были в общем-то одинаковыми: во-первых, невозможность подвести различные уклады этнических, конфессиональных, социальных групп под некий общий знаменатель. Во-вторых, консерватизм правящей верхушки, не допускавший отступлений от незыблемых «основ» даже ради расширения фронта общественной поддержки. В-третьих, дело политического просвещения масс, включая солдат на фронте, в этих странах было доверено священникам⁶³, а не специально обученному персоналу. По тем же причинам эти две страны оказались безоружными перед вражеской пропагандой, вторгавшейся через границы. Отточенные удары по австро-венгерской армии и гражданскому населению сыпались из «Департамента пропаганды на противника» Великобритании (так называемого «дома Крю»), по российским войскам и национальным окраинам — из военного отдела германского МИДа, возглавляемого полковником фон Гефтенем, и из специальных отделений пропаганды под руководством полковника фон Гиргена⁶⁴.

Враждебное влияние относительно легко проникало в сознание масс, «неоприходованное» внутренней пропагандой. Цели, провозглашенные Россией в Первой мировой войне, абстрактные содержанию и невыразительные по форме, не вызывали эмоционального подъема у населения. В приказах по

русской армии говорилось о «войне с вековым врагом славянства — с немцем», а священными объектами национальной защиты объявлялись «честь и целостность России»⁶⁵. Кризис жанра прослеживался и в том наборе символов, которые должны были воодушевить население: георгиевские кавалеры, авиаторы (представители нового рода войск), древние герои степей — казаки⁶⁶. Однако знаки воинской доблести, сильно потускневшие в глазах населения, которое утратило военный облик и тяготилось затяжной войной, били «мимо цели».

Итак, идеологические искания российских властей, рассмотренные в ретроспективе, показывают нацеленность на органическую увязку национального идеала с военным могуществом империи. Впервые этот подход четко обозначился при Павле I, а при его младшем сыне оформился в концепцию развития на базе самобытных органических начал, обретающих свою доказательную силу в военном превосходстве России. Однако же в конце правления Николая I представления об этом превосходстве были сильно подорваны. Крупные войны последующего времени, протекавшие с большими потерями, напряжением сил и поражениями, лишь содействовали дезинтеграции той картины мира, которую несла в себе теория официальной народности.

Снижение политического участия и символического значения войска в публичной сфере не успело «отпечататься» в официальной идеологии. В этом отношении в пореформенной ситуации проявлялись опасные издержки, связанные с резкой сменой паттерна военно-гражданских отношений. Сочетание низкого военного профессионализма с низким политическим влиянием военных, установившееся на практике, безальтернативно подводило к соответствующему пересмотру идеологических ориентиров. Интерпретация российского пути с позиций военной мощи как незыблемого державного атрибута уже не соответствовала изменившимся параметрам развития. Можно сказать, что эту работу за правительственную власть в конце концов проделала оппозиционная общественность, правда, придав ей смысл деятельности по подрыву устоев армии и государства.

Примечания к главе 4.1

¹ Кеер J.L.H. Op. cit. P. 4.

² Huntington S. The Soldier and the State. The Theory and the Politics of Civil—Military Relations. Cambridge, London, 1981. P. 83.

³ Ibid. P. 94.

⁴ Уортман Р.С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии от Петра Великого до смерти Николая I. М., 2002. С. 71; Гребенюк В.П. Публичные зрелища петровского времени и их связь с театром. // Новые черты в русской литературе и искусстве (XVII — начало XVIII в.). М., 1976. С. 143.

⁵ Уортман Р.С. С. 72.

⁶ Там же, с. 128.

⁷ Пыляев П. Эпоха рыцарских каруселей и аллегорических маскарадов. // Исторический вестник. 1885. № 8.; Мурьянов. Отражение символики артуровского цикла в русской культуре XVIII в. // XVIII век. Вып. 10. М., 1975. С. 278.; Дмитриев И.И. Взгляд на мою жизнь. М., 1861. С. 149.

⁸ Николай I и его время. Т. 2. С. 389.

⁹ Уортман Р.С. Указ. соч. С. 260—261.

¹⁰ Там же, с. 382—383.

¹¹ Рассказы служившего в I-м егерском полку... С. 178.

¹² Великий князь Николай Михайлович. Император Александр I. Опыт исторического исследования. Пг., 1914. С. 163—164.

¹³ Вигель Ф.Ф. Указ. соч. С. 416—417.

¹⁴ Там же, с. 420—421.

¹⁵ Там же, с. 421.

¹⁶ Гидденс Э. Элементы теории структуризации. // Современная социальная теория: Бурдье. Гидденс. Хаббермас. Новосибирск, 1995. С. 51.

¹⁷ Там же, с. 52.

¹⁸ Давневский. История образования Государственного Совета в России. СПб., 1859; Фурсенко В. Конференции и консилиумы в царствование Елизаветы Петровны. // Журнал Министерства народного просвещения. 1913, июнь.

¹⁹ Шанский Д.Н. К характеристике высших государственных учреждений России XVIII в. (20—60-е годы) // Государственные учреждения России XVI—XVIII вв. М., 1991. С. 131.

²⁰ Уортман Р.С. Указ. соч. С. 355, 406.

²¹ Шепелев Л.Е. Указ. соч. С. 120; Архипова Т.Г., Румянцева М.Ф., Сенин А.С. История государственной службы в России XVIII—XX века. М., 1999. С. 105.

²² Шепелев Л. Е. Указ. соч. С. 120.

²³ Там же, с. 113.

²⁴ Архипова Т.Г., Румянцева М.Ф., Сенин А.С. Указ. соч. С. 107.

²⁵ Кеер J.L.H. Op. cit. P. 317.

²⁶ Гидденс Э. Указ. соч. С. 60.

²⁷ Николай I и его время. Т. 2. С. 105.

- ²⁸ Вигель Ф.Ф. Указ. соч. С. 419.
- ²⁹ Кеер J. L.H. Op.cit. P. 315.
- ³⁰ Ibid. P. 315.
- ³¹ Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России. С. 130.
- ³² Там же, с. 315.
- ³³ Там же, с. 138.
- ³⁴ Шепелев Л.Е. Указ. соч. С.37.
- ³⁵ Kweit M.G., Kweit R. G. Concepts and Methods for Political Analysis. New Jersey, 1981. P. 115.
- ³⁶ Шварценберг Р. Ж. Политическая социология, Т. 1. М., 1992; Денкэн Ж.М. Политическая наука. М., 1993.
- ³⁷ Миронов Б.Н. Указ. соч. Т. 2. С.112.
- ³⁸ Николай I и его время. Т.2. С. 159.
- ³⁹ Николай I и его время. Т. 1. С. 366.
- ⁴⁰ Долгоруков П. Петербургские очерки. Pamфлеты эмигранта. 1860—1867. М., 1992. С. 277.
- ⁴¹ Николай I и его время. Т.2. С. 387.
- ⁴² Мироненко С.В. Николай I.// Российские самодержцы. 1801—1917. М., 1994. С. 140.
- ⁴³ Россия первой половины XIX в. глазами иностранцев. Л., 1991. С. 432—433.
- ⁴⁴ Там же, с. 481.
- ⁴⁵ Соловьев С.М. Избранные труды. Записки. М., 1983. С.323.
- ⁴⁶ Там же, с. 311.
- ⁴⁷ Там же, с. 311, 313.
- ⁴⁸ Чичерин Б.Н. Воспоминания. // Русские мемуары. 1826—1856. М., 1990. С. 236.
- ⁴⁹ Там же, С. 304.
- ⁵⁰ Huntington S. Op.cit. P. 94.
- ⁵¹ Чичерин Б.Н. Указ. соч. С. 232.
- ⁵² Русский архив. 1885. № 7. С. 449.
- ⁵³ Леонтович В.В. История либерализма в России. 1762—1914. М., 1995. С. 347.
- ⁵⁴ Чичерин Б.Н. Указ. соч. С. 231.
- ⁵⁵ История внешней политики России первой половины XIX в. М., 1995. С. 369.
- ⁵⁶ Beyrau D. Militar und Gesellschaft im vorrevolutionar Russland. S. 218.

Примечания к главе 4.2

¹ Зайончковский П. А. Указ. соч. С. 199.

² Там же, с. 202.

³ Там же, с. 304.

- ⁴ Там же, с. 214.
- ⁵ Fuller W.C. Op. cit. P. 37.
- ⁶ Вейгау. Op. cit. S. 210.
- ⁷ Ibid. S. 253—254.
- ⁸ Шепелев Л.Е. Указ. соч. С. 44.
- ⁹ Там же, с. 43.
- ¹⁰ Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютин. 1860—1862. С. 424.
- ¹¹ Воспоминания генерала А.С. Лукомского. Т. 1. Берлин, 1922. С. 27.
- ¹² Дневник П. А. Валуева. Т. 1. С. 321—322.
- ¹³ Флоринский М.Ф. Совет министров и военное ведомство в 1907—1914 гг. // Актуальные проблемы дореволюционной отечественной истории. Ижевск, 1993. С. 83.
- ¹⁴ Porch D. Op. cit. P. 130.
- ¹⁵ Куропаткин А.Н. Русско-японская война 1904—1905. С. 131—132.
- ¹⁶ Генерал Курлов. Указ. соч. С. 181.
- ¹⁷ Fuller W.C. Op. cit. P. 54.
- ¹⁸ Епанчин Н.А. Указ. соч. С. 324.
- ¹⁹ Редигер А.Ф. История моей жизни. Т. 2. М., 1999. С. 81—82.
- ²⁰ Там же, с. 82.
- ²¹ Fuller W.C. Op. cit. P. 108.
- ²² Ibid. P. 37.
- ²³ Ibid. P. 46.
- ²⁴ Палеолог М. Царская Россия накануне революции. М., 1991. С. 250.
- ²⁵ Там же, с. 279.
- ²⁶ Демин В.А. Государственная Дума России (1906—1917): механизм функционирования. М., 1996. С. 62—63.
- ²⁷ Флоринский М.Ф. Указ. соч. С. 77.
- ²⁸ Huntington S. Op. cit. P. 47.
- ²⁹ Ibid. P. 81.
- ³⁰ Ibid. P. 85.
- ³¹ Nordlinger E. Soldiers in politics. Military coups and Governments. Prentice—Hall, New Jersey. 1977. P. 11—19.
- ³² Цит. по: Захарова Л.Г. Александр II. // Российские самодержцы. С. 166—167.
- ³³ Бурдые П. Социология политики. М., 1993. С. 12, 274—275.
- ³⁴ Очерки истории Министерства иностранных дел России. Т.1. М., 2002. С. 357—359.
- ³⁵ Там же, с. 440, 532.
- ³⁶ Там же, с. 533—534.
- ³⁷ Ахременко А.С. Сценарийотехники в аналитическом обеспечении процедуры принятия политических решений. // Вестник МГУ. Серия 12. Политические науки. 1997. № 5.
- ³⁸ Долгоруков П. Указ. соч. С. 117—118.

³⁹ Суворин А.Н. Указ. соч. С. 372, 374—375.

⁴⁰ Емец В.А. Механизм принятия внешнеполитических решений в России до и в период Первой мировой войны. // Первая мировая война. Дискуссионные проблемы. М., 1994. С. 64.

⁴¹ Мировые войны XX века. Кн. I. Первая мировая война. Исторический очерк. Под ред. В.Л. Малькова. М., 2002. С. 112.

⁴² Huntington S. Op. cit. P. 63.

⁴³ Ульянов Н. И. Роковые войны России. // Скрипты. Ann Arbor, Michigan, 1981. С. 168. Он же. Северный Тальяма. // Там же, с. 179.

⁴⁴ Российская дипломатия в портретах. М., 1992. С. 158.

⁴⁵ Тарле Е.В. Крымская война. Т. 1. С. 110.

⁴⁶ Айрапетов О.Р. Забытая карьера «русского Мольте». Обручев Н.Н. (1830—1904). СПб., 1998. С. 141—142.

⁴⁷ Там же, с. 149—150.

⁴⁸ История внешней политики России второй половины XIX века. Под ред. А.Н. Сахарова. М., 1997. С. 227.

⁴⁹ Вандалковская М.Г., Милуков. П.Н., Кизеветтер. А.А. История и политика. М., 1992. С. 59.

⁵⁰ Ульянов Н.И. Роковые войны России. С. 172.

⁵¹ Восточный вопрос во внешней политике России конца XVIII — начала XX в. Под ред. Киняпиной Н.С. М., 1978. С. 270.

⁵² Айрапетов О.А. На восточном направлении. Судьба Босфорской экспедиции в правление Николая II. // Последняя война императорской России.

⁵³ Дневник П.А. Валуева. Т. 2. М., 1961. С. 60.

⁵⁴ Цит. по.: Корнеев В.В. Указ. соч. С. 61.

⁵⁵ Киняпина Н.С., Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике России. М., 1984. С. 279.

⁵⁶ Там же, с. 313.

⁵⁷ Очерки истории Министерства иностранных дел России. Т. 1. С. 359.

⁵⁸ Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1863—1864. С. 520.

⁵⁹ Искендеров А.А. Закат империи. М., 2001. С. 423.

⁶⁰ Очерки истории Министерства иностранных дел. Т. 1. С. 502; Ремнев А.В. Дальневосточное наместничество (1903—1905 гг.). // Россия и Восток: проблемы взаимодействия. 3-я международная науч. конф. Ч. 1. Челябинск, 1995. С. 71—72.

⁶¹ Кейзерлинг А. Указ. соч. С. 289—290.

⁶² Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990. С. 148.

⁶³ Козер Л. Функции социального конфликта. М., 2000. С. 130.

⁶⁴ Pagden A. Op. cit. P. 109.

⁶⁵ Волкова И.В. Сергей Михайлович Соловьев. Очерк жизни и деятельности. // Летописцы Отечества. М., 1992. С. 90—91.

⁶⁶ Цымбурский В. Остров Россия (Большое примечание к «Острову Россия»). // Иное. Россия как субъект. Т. 2. М., 1995. Он же. Земля за Великим Лимитрофом. // Бизнес и политика. 1995. № 9.

⁶⁷ Подколозина И.А. Проблемы дефиниции и оценки политического риска в зарубежных исследованиях. // Вестник МГУ. Серия 12. Политические науки. 1996. № 5.

⁶⁸ Политический риск. Анализ. Оценка. Прогнозирование. Управление. Под ред. Султанова Ш.З. М., 1992. С. 15—17.

⁶⁹ Золотарев В.А. Россия и Турция. Война 1877—1878 гг. М., 1983. С. 29.

⁷⁰ Там же, с. 30.

⁷¹ Зайончковский П.А. Самодержавие и русская армия. С. 85.

⁷² Игнатьев А.А. Указ. соч. С. 141.

⁷³ Кнорринг Н.Н. Генерал Михаил Дмитриевич Скобелев. Исторический этюд. // Белый генерал. М., 1992. С. 61, 70.

⁷⁴ Там же, с. 71.

⁷⁵ Российская дипломатия в портретах. С. 350—351.

⁷⁶ Епанчин Н.А. Указ. соч. С. 265—266, 307.

⁷⁷ Очерки истории Министерства иностранных дел России. Т. 1. С. 50.

⁷⁸ Трипиц А. фон. Воспоминания. М., 1957. С. 198.

⁷⁹ Селищев А.С. Указ. соч. С. 95.

⁸⁰ Российская дипломатия в портретах. С. 350.

⁸¹ Стратегические решения и вооруженные силы: новое прочтение. Т. 1. Книги первая и вторая. М., 2000. С. 258—259.

⁸² Емец В.А. Очерки внешней политики России в период Первой мировой войны. Взаимоотношения России с союзниками по вопросам ведения войны. М., 1977. С. 45; Меннинг Б. Фрагменты одной загадки: Ю.Н. Данилов и М.В. Алексеев в русском военном планировании в период, предшествующий Первой мировой войне. // Последняя война императорской России.

⁸³ Нэх В.Ф. Политический конфликт. Технология инициирования, регулирования, разрешения. // Вестник МГУ. Серия 12. Политические науки. 1995. № 5.

⁸⁴ Селищев А.С. Указ. соч. С. 81.

⁸⁵ Huntington S. Op. cit. P. 107.

⁸⁶ Ibid. P. 104.

⁸⁷ Бескровный Л.Г. Армия и флот России в начале XX в. С. 50—51.

⁸⁸ Лемке М. 250 дней в Царской Ставке (25 сентября 1915 — 2 июля 1916). Пг., 1920. С. 799—800.

⁸⁹ Шапошников Б.М. Воспоминания. Научные труды. М., 1982. С. 376.

Примечания к главе 4.3

¹ Пивоваров Ю.С. Концепция политической культуры в современной науке // Политическая наука. Теоретико-методологические и культурные исследования. Сб. обзоров. М., 1996.

² Смелзер Н. Социология. М., 1994. С. 55.

- ³ Павленко Н.И. Петр I. К изучению социально-политических взглядов. // Россия в период реформ Петра I. М., 1973.
- ⁴ Зорин А. Кормя двуглавого орла. Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII — первой трети XIX века. М., 2001.
- ⁵ Две характеристики. Из записок графа Ф.Н. Головкина. // Русская старина. 1896. Т. 88. № XI. С. 372—373.
- ⁶ Морошкин М. Иезуиты в России в царствование Екатерины II и до настоящего времени. Ч. 1. СПб., 1888. С. 273. Из записок Ю.Н. Бартенева. Рассказы А.Н. Голицына. // Русский архив. 1886. № 9—10. С. 143.
- ⁷ Жмакин И. Коронации российских императоров и императриц. // Русская старина. 1883. Т. XXXVII. Март. С. 535—536.
- ⁸ Уортман Р.С. Указ. соч. С. 231.
- ⁹ Там же, с. 243.
- ¹⁰ Зорин А. Указ соч. С. 316.
- ¹¹ Экшут С.А. Указ. соч. С. 91
- ¹² Троицкий Н.А. Александр I и Наполеон. М., 1994. М., 1994. С. 276—277.
- ¹³ Экшут С.А. Указ. соч. С. 55.
- ¹⁴ Там же, с. 94.
- ¹⁵ Nordlinger E. Op. cit. P. 65.
- ¹⁶ Шевченко М.М. Правительство императора Николая I и политика С.С. Уварова. // П.А. Зайончковский (1904—1983 гг.). Статьи, публикации и воспоминания о нем. М., 1996. С. 198.
- ¹⁷ Там же.
- ¹⁸ Тартаковский А.Г. Летописец или «просто человек». // В раздумьях о России. (XIX век). М., 1996. С. 97—98.
- ¹⁹ Давыдов И.И. Возможна ли у нас германская философия? // Москвитянин. 1841. № 4. С. 401; Погодин М.П. Историко-критические отрывки. Кн. 1. М., 1846. С. 10—12; Шевырев С.П. Взгляд русского на образование Европы. // Москвитянин. 1841. № 1; Шапиро А.Л. Русская историография с древнейших времен до 1917 г. М., 1993. С. 377.
- ²⁰ Голубев А.В. Запад глазами советского общества (основные тенденции формирования внешнеполитических стереотипов в 30-х гг. // Отечественная история, 1996. №1.
- ²¹ Зорин А. Указ. соч. С. 372.
- ²² Галахов А.Д. Записки человека. М., 1999. С. 255.
- ²³ Лапин В.В. Семеновская история. 16—18 октября 1820 года. Л., 1991.
- ²⁴ Уортман Р.С. Указ соч. С. 303, 404.
- ²⁵ Там же, с. 407—408, 532—533.
- ²⁶ Байрау Д. Империя и ее армия. // Новый часовой, 1997. № 5.
- ²⁷ Николай I и его время. Т. 1. С. 361.
- ²⁸ Там же, с. 296.
- ²⁹ Тарле Е.В. Крымская война. Т. 1. С. 107.

- ³⁰ Терин В.П. Массовая коммуникация. Исследование опыта Запада. М., 2000. С. 127.
- ³¹ Гидденс Э. Социология. М., 1999. С. 266.
- ³² Блумер Г. Коллективное поведение. // Американская социологическая мысль. Р. Мертон, Дж. Мид, Т. Парсонс, А. Шюц. М., 1996. С. 173.
- ³³ Лотман Ю.М. Искусство жизни. // Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века). СПб., 1994. С. 193.
- ³⁴ Николай I и его время. Т. 1. С. 361.
- ³⁵ Николай I и его время. Т. 2. С. 126.
- ³⁶ Там же, с. 141.
- ³⁷ Епанчин Н.А. Указ. соч. С. 79.
- ³⁸ Трубецкой В. Указ. соч. С. 166.
- ³⁹ Генерал Курлов. Указ. соч. С. 31.
- ⁴⁰ Frye N. Anatomy of Criticism. Four Essays. Princeton, 1973. P. 136.
- ⁴¹ Барт Р. Мифологии. М., 1996. С. 241—242.
- ⁴² Русские. Под ред. В. А. Александрова. М., 1997. С. 651.
- ⁴³ Там же. С. 652.
- ⁴⁴ Деникин А.И. Очерки русской смуты. Февраль — сентябрь 1917 г. С. 89.
- ⁴⁵ Соловьев С.М. Избранные труды. Записки. С. 333.
- ⁴⁶ Галахов А.Д. Указ. соч. С. 254.
- ⁴⁷ Брандес Г. Русские впечатления. М., 2001. С. 95.
- ⁴⁸ Военная мысль в изгнании. С. 488.
- ⁴⁹ Милюков П.Н. Воспоминания. М., 1991. С. 391.
- ⁵⁰ Шанин Т. Революция как момент истины. 1905-1917 — 1917-1922. М., 1997. С. 191.
- ⁵¹ Милюков П.Н. Указ. соч. С. 393—394.
- ⁵² Там же, с. 70; Мельгуиов С. Указ. соч. С. 70; Ямщиков С.В. Социальная психология солдат тыловых гарнизонов русской армии накануне 1917 года и в первые месяцы после свержения самодержавия. // Академик П.В. Волобуев. Неопубликованные работы. Воспоминания. Статьи. С. 339.
- ⁵³ Аврех А.Я. Царизм накануне свержения. М., 1989. С. 210.
- ⁵⁴ Головин Н.Н. Указ. соч. С. 294.
- ⁵⁵ Дьячков В.Л., Протасов Л.Г. Великая война и общественное сознание: превратности индоктринации и восприятия. // Россия и Первая мировая война. С. 60.
- ⁵⁶ Хобсбаум Э. Указ. соч. С. 157.
- ⁵⁷ Военная мысль в изгнании. С. 401.
- ⁵⁸ Там же, с. 402.
- ⁵⁹ Сахновский Е.В., Фисанов В.П. Австро-Венгерская монархия под прицелом британской пропаганды в 1914—1918 гг. Черновцы, 1984. Деп. В ИНИОН 16619 от 8.05. 1989. С. 2.
- ⁶⁰ Валуженич А.В. Внешнеполитическая пропаганда США. Историко-политический очерк. М., 1973. С. 16.
- ⁶¹ История Первой мировой войны в 2-х т. Т. 1. М., 1975. С. 75.

⁶² Там же, с. 71—72.

⁶³ Сахновский Е.В., Фисанов В.П. Указ. соч. С. 4—5.

⁶⁴ Людендорф Э. Указ. соч. С. 304; Данилов Ю.Н. На пути к краху. Очерки последнего периода Российской монархии. М., 2000. С. 184.

⁶⁵ Сенявская Е.С. Психология войны в XX веке. Исторический опыт России. М., 1999. С. 195.

⁶⁶ Там же, с. 217, 219.

Глава 5

ДВОРЦОВЫЕ ПЕРЕВОРОТЫ XVIII в.

5. 1. «Феноменология» преторианства

Наиболее заметной формой политической активности военных в России были дворцовые перевороты XVIII — начала XIX вв. Многократно описанные в научной литературе и беллетристике, они по-разному интерпретировались разными авторами. Так, С.М. Соловьев был склонен смотреть на них как на пережиток родовых отношений, с боем уступавших дорогу государственному отношению даже после петровских реформ. В.О. Ключевский рассматривал их в свете становления такой политической системы в России, которая обеспечила полновластие дворянства. П.Н. Милюков также видел в них стихийную борьбу дворянства за расширение своих сословных привилегий, хотя и был невысокого мнения об уровне правосознания и политического мышления участников переворотов (включая и опыт января—февраля 1730 г.). Советская историческая наука в освещении феномена придерживалась главным образом его ленинской трактовки как «верхушечной» формы политической борьбы, которая заключалась лишь в том, чтобы «от одной кучки дворян или феодалов отнять власть и отдать другой»¹. Крупные монографические работы советского и постсоветского времени, посвященные политической истории XVIII в., не были нацелены на выяснение социальных причин дворцовых переворотов. В большинстве случаев краткие пояснения отсылали к пресловутому петровскому «Уставу о наследии престола» от 5 февраля 1722 г., который наделял царствующего монарха правом назначать наследника по своему усмотрению. В некоторых случаях указывалось на политизацию гвардии — носительницы преторианской психологии². Попытка выяснения предпосылок этого явления предпринята в фундаментальной моногра-

фии А.Б. Каменского, посвященной правительственным реформам в XVIII в. Происхождение переворотов в ней связывается с развитием «общественного сознания как следствия петровских реформ в целом». Автор подчеркивает единство дворянского сословия и глубокое осознание им своих сословных интересов, которые уже проявились в событиях 1730 г.³ Перевороты, таким образом, рассматриваются в контексте «противоборства дворянства и государства, в конце концов закончившегося почти полной победой первого над вторым»⁴. Близкая точка зрения еще раньше была выдвинута в нашей статье (написанной в соавторстве с И.В. Курукиным): в контексте социально-политического развития России послепетровского времени дворцовые перевороты оцениваются как специфический способ разрешения противоречий между верховной властью, правящей верхушкой и дворянством в целом в условиях авторитарного режима⁵.

Военным переворотам, родственным тем, которые происходили в России XVIII в., отводится важное место в западной военной и политической социологии. В исследовании С. Хантингтона «Политический порядок в изменяющихся обществах» традиция военного вмешательства в политику интерпретируется как одно из порождений общества преторианского типа. По мнению автора, под это определение подпадают страны со слабыми и неэффективными политическими институтами, не приспособленными ни для продвижения групповых интересов, ни для разрешения межгрупповых противоречий⁶. Конкурирующие кланы в них открыто противостоят друг другу, а включение новых субъектов вносит еще большую дезинтеграцию в политическую жизнь. Таким образом, по оценке автора, причины политических переворотов с участием военных укоренены не столько в особенностях военной организации, сколько в устройстве самой политики. Преторианские общества, как полагает американский ученый, проходят через три последовательные стадии в своем развитии: олигархии, радикального среднего класса и массового участия. Что касается собственно армии, то в определенной временной точке первой стадии она становится выразительницей интересов среднего класса, выступая против олигархии и иницилируя серию радикальных реформ. Именно в этот

переходный период от первой ко второй стадии отдельные армейские соединения или военные союзы часто смещают одни и устанавливают другие правительства. В целом такие перевороты нацелены на позитивные изменения в обществе, а военное участие в политике носит прогрессивный характер. На стадии радикального среднего класса военные остаются политическими акторами, но теперь их участие определяется в основном арбитражными функциями по отношению к остальным игрокам. На стадии массового общественного участия военные нередко переходят на позиции консервативных стражей существующего порядка⁷.

Согласно представлениям С.Е. Файнера, условия для становления переворотной традиции заложены в политической культуре низкого или минимального уровня. К этой категории автор относит страны с узкой или вовсе отсутствующей сферой публичной политики, коррумпированной политической элитой и политическими институтами, малопонятными и недоступными для подавляющего большинства граждан. Политическая деятельность здесь является привилегией избранного круга индивидов и служит борьбе за влияние, понимаемое в терминах персонального продвижения. В отсутствие четко выраженной общепризнанной политической формулы, то есть широкого согласия по поводу структуры и принципов функционирования политической системы, субъектов суверенной власти и механизмов ее передачи, политические споры и разногласия неизбежно принимают характер столкновений без всяких правил. А при отчуждении основной массы граждан от политики и зачаточном развитии общественного мнения, политические перевороты либо вовсе не привлекают к себе общественного внимания, либо вызывают колеблющуюся, неоднозначную реакцию среди населения⁸.

На этих посылах, сформулированных С. Хантингтоном и С. Файнером, построена концепция Д. Байрау. В фундаментальном труде немецкого ученого, посвященном отношениям общества и армии в дореволюционной истории России, специальный раздел отводится военному участию в политике за период 1725—1880 гг. Материал из российской истории, как полагает автор, служит хорошей иллюстрацией к тезису Файнера о

преторианском обществе. В послепетровской России легко обнаруживаются черты, тождественные олигархии. Это: крайне неравномерное распределение богатств среди собственников — основной массив земель и крепостных душ был сосредоточен в руках 1 % дворян, наличие сильного офицерского корпуса, поддерживавшего новую служилую аристократию — приверженцев реформаторского курса Петра I. С точки зрения Д. Байрау, в дворцовых переворотах XVIII в. нашли свое выражение патриотические настроения этого круга деятелей: одним из главных устремлений участников переворотов 1741 и 1762 гг. являлось сопротивление иноземному влиянию в высших государственных сферах⁹. А в перевороте 1801 г. отразились тираноборческие наклонности гвардии и ряда гражданских политиков. Байрау обращает внимание и на особенность мышления российских дворян, отличавшую их от собратьев по классу из развитых стран — автократическая традиция российской государственности и усвоенная на службе покорность монарху не позволяли им вступать в переговоры и предъявлять требования власти, как это, скажем, делали французские дворяне, заседавшие а парижском парламенте. То же преклонение перед венценосцем, как считает историк, запрещало российским заговорщикам выдвигать какие-либо условия ограничения самодержавия. По их понятиям, любое ограничение было чревато извращением «правильного» правления и оформлением олигархических клик. Вместе с тем это не мешало им бороться за право влияния на правительственную политику. В присущих XVIII в. алгоритмах действия такая борьба могла вестись только через семейно-клановое возвышение. Именно этот мотив и двигал заговорщиками. Кроме того, как считает автор, организаторам переворотов не были чужды сословно-классовые инстинкты — второй по важности задачей, которая решалась в ходе этих акций, являлось расширение дворянских привилегий. Законодательные нормы, утверждавшие прерогативы высшего сословия, были актами капитуляций верховной власти перед натиском дворянско-гвардейских группировок, несмотря на то что облекались в форму высочайших пожалований.

Перелом в отношениях власти с дворянским обществом, как полагает историк, произошел при Екатерине II. В период ее

правления персональные связи при дворе и клановые способы действия сменились управлением через институты. Именно эти подвижки и приводят в конечном итоге к политическому остыванию гвардии — она слагает с себя полномочия «делателя королей»¹⁰. При видимой логичности концепция Байрау все же оставляет не проясненными некоторые принципиальные вопросы: коль скоро базовые предпосылки заговоров и переворотов были устранены в век Екатерины II, то какие же причины обусловили переворот 1801 г., а впоследствии и декабристское выступление? Далее приходится гадать, как соотносились друг с другом параллельные линии борьбы дворянско-гвардейских группировок: одна — за продвижение своего клана в центр политического поля, другая — за повышение статуса и расширение прав всего дворянства. Вполне очевидно, что первая линия, подразумевавшая преимущественную идентификацию с малой неформальной группой, вступала в противоречие со второй, обуславливавшей дворянским осмыслением себя как большой социальной группы. Следует думать, эти две линии были слабо совместимы друг с другом, а кристаллизация второй могла являться лишь итогом постепенного изживания первой.

Не опровергая заключений, сделанных С. Хантингтоном, С. Файнером и отчасти Д. Байрау, попробуем все же внести уточнения в основополагающие параметры социального развития, благоприятствовавшие формированию преторианских вторжений в политику.

Политические перевороты с участием военных — распространенный феномен, который прослеживается по истории античного Рима, Византии, Османской империи и России. Перво толчок к нему можно усмотреть в нарушении статичной организации общества благодаря выдвижению групп, которым ранее был закрыт доступ к занятию влиятельных позиций. Инициатором социальных сдвигов выступала сама власть, в которой прорезывались абсолютистские наклонности. Привлечение на престижную службу аутсайдеров старого общества увеличивало степень свободы в государственном управлении и расширяло социальную базу режима. Но уже в первом движении эта политика породила вулканическое высвобождение коллективной и индивидуальной энергии. Во втором — неконтролируемую ак-

тивность быстро оформлявшихся группировок, которая была по самой власти. Предпосылки подобных вызовов были заложены в тех характеристиках развития, которые оставил в неприкосновенности или еще резче утвердил абсолютизм в незападных странах: отсутствие гражданских прав, института полноценной частной собственности, органов социального контроля, общественной самоорганизации.

Для нас особенно важно подчеркнуть, что в этой системе координат совершалось кардинальное — в сравнении с западноевропейской традицией — переосмысление категории власти. При неразвитых или вовсе отсутствующих институтах гражданского общества именно власть в том или ином ее объеме становилась единственным критерием социальной значимости, средством расчета, сферой вложения индивидуальных и коллективных ресурсов, а вместе со всем этим — наиболее желанным предметом владения. Однако при увеличении спроса на этот «товар» уровень предложения если и увеличивался, то отнюдь не в тех масштабах, которые диктовались потребностями. Иными словами, приоткрыв шире двери в высокие сферы для выходцев из непрестижных слоев, абсолютизм породил ситуацию ажиотажного спроса. Слабо подкрепленный соответствующими правовыми и политическими регуляторами, такой призыв создал серьезную угрозу самой государственной безопасности. Изменение баланса сил и уплотнение соревновательного поля при неравенстве исходных возможностей игроков и слабо определенных правилах игры закономерно вели к «нештатным ситуациям». Именно в таких условиях в полной мере начинала работать логика отклоняющегося поведения, описанная классиком американской социологии Р. Мертонем. По его оценкам, отклонения провоцируются, во-первых, расхождением между культурно предписанными целями и социально структурированными путями их достижения. Во-вторых, расхождением между актуализированными культурой всеобщими ценностями и ограниченными возможностями приобщения к ним, связанными с неблагоприятными стартовыми условиями для отдельных групп. В этих случаях противоречия разрешаются практически — через овладение эффективными, хотя и институционально запрещенными приемами¹¹.

Итак, политическую нестабильность запрограммировал сам абсолютизм. Посеяв ветер перемен, он не озаботился их адекватным правовым и институциональным обеспечением: тщательной регламентацией личного возвышения, механизмами разрешения межличностных и межгрупповых конфликтов. В результате пожал бурю. Интрига и заговор, военный переворот и дворцовая революция являлись платой власти за односторонние и половинчатые социальные изменения. А для общественных группировок — технологией восхождения, адаптированной к реалиям трудно меняющегося незападного общества. При неразделенности военной и гражданской служб в большинстве незападных стран (даже в условиях разворачивающейся модернизации) любая относительно широкая оппозиция строилась по типу военно-гражданского блока. А эпизоды с лидирующим участием военных становились маркером наиболее ожесточенных форм политической борьбы.

Заметим, что взаимосвязь отмеченных элементов задолго до российского опыта наглядно показали перевороты в античном Риме, Византии и Османской империи. Так, основа для периодического вмешательства армии в политику в Риме была заложена при первых цезарях. Социальная революция 60 г. до н. э. — 14 г. н. э., направляемая сверху, вызвала серьезные смещения в расстановке сил. Староримская знать из сенаторского сословия уходит в тень, а в центр политической жизни выдвигаются фамилии из италийской муниципальной знати и сословия всадников. Точно так же всадники и даже либерты со времен августов все больше и больше заполняют собой императорский чиновничий аппарат¹². Новый порядок открывал немалые перспективы для тех слоев, которые ранее были отчуждены от политики. Вместе с тем любую политическую карьеру теперь определял режим единоличного правления, который утверждался по мере снижения роли сената и системы магистратур. Поэтому отныне устремления амбициозных политиков и конкурирующих групп направлялись к средоточию центральной власти¹³. Коль скоро легитимный путь вверх оказывался затруднительным, в действие вступали нелегитимные способы давления на власть — через наиболее слабое звено в системе ее опор. Идеальную площадку для таких атак со времен отмира-

ния институтов полисной республики в Римской империи представляли преторианские части — личная охрана императоров, которая при императоре Тиберии (14—37 гг.) сконцентрировалась в Риме¹⁴. Буквально тогда же — с попытки префекта преторианцев Сеяна захватить императорскую власть — открывается серия преторианских вторжений в политику. Нередко мятежными настроениями преторианского столичного гарнизона были не прочь воспользоваться в своих интересах сенаторы, как это было, например, при императоре Нероне. Однако чаще сенаторы просто признавали свершившийся факт — смену императоров, которую произвели легионеры, взамен получая гарантии своим корпоративным прерогативам.

Кроме того, политические авантюры вызревали в провинциях, где размещались войсковые группировки (рейнской, дунайской и восточной). Зачинщиками мятежей здесь становились военные администраторы с подчиненными им вооруженными силами — легаты с пропреторским званием, военные трибуны, наместники, префекты претория, дуксы — правители крупных оборонных комплексов из нескольких провинций (дукатов) с военно-гражданскими полномочиями¹⁵. Дело облегчало отсутствие перегородок между военной и гражданской элитами в Риме. Так, в повседневной практике простые римские легионеры — ветераны — избирались в члены городских советов, а командующие легионных когорт, военные трибуны становились сенаторами; легаты легионов набирались из квесториев и преториев, а легаты провинций — военные командиры — являлись по совместительству преториями и консуляриями. Это совмещение должностей позволяло им свободно менять военное ремесло на занятие политикой и без сомнения в собственной «профессиональной» пригодности включаться в борьбу за захват верховной власти¹⁶. Можно сказать больше — сочетание функций военных и гражданских администраторов, в особенности на командных постах, создавало дополнительный повод для узурпаторских попыток. С одной стороны, оно позволяло возглашать новый режим от имени и во имя всего общества. С другой — устраняло препятствия к занятию высших государственных должностей. (В противоположность тому при автоно-

мии вооруженных сил преторианцы редко берут на себя смелость выступать в амплу правителей.)

Римский опыт показал опасность превращения военного лагеря в центр принятия правительственных решений. Тесное сотрудничество армии и власти в делах государственного управления расковыляло политическую инициативу не только крупных чинов, но и рядового состава. Каждый очередной римский август в эпоху империи по обычаю представлялся воинской сходке, здесь же приносил присягу, возлагал на себя порфиру, выступал с «тронной» речью и раздавал денежные вознаграждения¹⁷. Тем самым дополнительно скреплялась связь войскового контингента с верховной властью. Последующие донативы — своеобразная политическая взятка (не обязательно большая по размерам), символизировавшая эту связь, — в глазах получателей подтверждали право на соучастие в решении политических вопросов. Характерно, что основные попытки обуздания военных мятежей в эпоху поздней античности как раз и шли по линии разграничения военных и гражданских функций. Эту задачу отчасти решили реформы Диоклетиана (284—305 гг.), нацеленные на сокращение военной власти наместников и гражданской власти военных командиров, а также на бюрократизацию государственного управления. Однако полностью преодолеть неуправляемую политизацию армии так и не удалось. В последний раз она «выстрелила» тогда, когда перед лицом нашествия варваров *Rex Romana* более всего нуждался в вооруженной защите. Однако разложившаяся римская армия уже была не способна противостоять внешнему натиску и фактически в конце V в. сдала Рим на разграбление варварам.

Типологически близкие условия для военных интервенций в политику сложились и в Византийской империи. До XI в. в Византии отсутствовала наследственная знать. Чин и титул любого служащего жаловался василевсом¹⁸. В Византии сложилось общество мощной вертикальной мобильности, но при этом зависимое от прихотей монархов и их временщиков. С одной стороны, такой порядок обеспечивал власти свободу рук в управлении обществом. С другой — он же провоцировал заговоры и перевороты со стороны групп, нацеленных на быстрое продвижение. Ресурс для неограниченного давления на центр,

в том числе для манипулирования престолом, предоставляла военная аристократия провинций. В частности, готовыми «кандидатами» в василевсы являлись стратеги — военачальники с военными и гражданскими полномочиями, поставленные во главе провинций (фемов, дукатов и войск, размещенных там же), или командиры столичного гарнизона. Так, в 518 г. на константинопольском ипподроме армейскими частями был провозглашен императором Юстиниан — начальник императорской гвардии, а в прошлом крестьянин-иллириец из верхней Македонии¹⁹. С 976 по 1081 г. в империи произошло шесть политических переворотов, а за последние полвека этого периода на престоле сменились 10 императоров, семь из которых были свергнуты. Утверждение династии Комнинов в 1054 г. было также результатом военного натиска. В немалой степени своим успехом военные узурпаторы были обязаны и определенным навыкам публичной политики популистского толка. Обычно они не скупились на лозунги, которые с энтузиазмом подхватывались толпой: борьба с коррупцией, произволом администрации, ослабление налогового гнета²⁰.

Официальным властям становилось не под силу бороться с искушенными преторианскими демагогами, которые к тому же всегда держали «за пазухой» неотразимый силовой «аргумент». Одолеть гидру переворотов не удалось и Комнинам. Попытка внести изменения в принципы военного строительства, в частности сделанная ими ставка на наемников-иностранцев и тех ромеев, которые были всецело обязаны своим благополучием императорским милостям, не дала ожидаемого результата²¹. Вырождение византийской вооруженной силы уже было невозможно скрыть к концу XII в., когда империю буквально накрыла волна многочисленных внутренних восстаний, сепаратистских движений окраин и внешней агрессии.

Примерно те же тенденции определили путь развития Османской империи с XVI в., когда халифат дал ход выдвиженцам из «капыкулу» (в переводе — буквально «рабы августейшего порога»; эта войсковая единица формировалась в значительной части на основе девширме — налога кровью, взимавшегося с христианского населения). Воспитанные вдали от родины, не связанные с османским населением и всецело обязанные власти

своим привилегированным положением, собственностью, войны капыкулу рассматривались, во-первых, как наиболее надежная опора султаната. Во-вторых, как сила, способная обуздать феодально-сепаратистские устремления сипахи, то есть кавалерийского корпуса, формировавшегося из османов на базе военно-ленной системы. С XVI в. выходцы из капыкулу стали выдвигаться на высокие государственные должности в местной администрации (бейлербеев и санджакбеев) и даже — великих везиров²². Однако вопреки изначальным ожиданиям, получив от халифата ряд ценных привилегий (в частности, открепление от рабского состояния и право на потомственную службу в янычарском корпусе, дарованное в 1568 г.), именно эта военная сила почти незамедлительно превратилась в рассадник мятежей. Во всяком случае, за период 1618—1730 гг. ее руками были сброшены с трона шесть султанов²³. Офицеры капыкулу и его основная боевая единица — пехотный янычарский корпус — с удовольствием вступали в антиправительственные коалиции с участием улемов (духовенства), богатых купцов, «теневых» политиков империи — астрологов, черных евнухов султанского гарема²⁴. Порой они обслуживали заговоры высоких должностных лиц из окружения великих везиров, а иногда и самих везиров. Коррупция администрации, беззаконие и произвол во внутренних делах империи, бесправие любого лица перед Высокой Портой и падишахом обуславливали взаимное притяжение разнородных элементов из военного и гражданского общества. Принадлежность к подобной коалиции создавала некое подобие личной защищенности и позволяла рассчитывать на повышение в должностных рангах. А нараставший с XVII в. структурный общественно-политический кризис империи позволял безнаказанно проворачивать лихие аферы. Возбуждение мятежного духа янычар являлось несложным делом. По сути, спровоцировать вспышку агрессии мог любой шаг в правительственной политике, менявший традиционный курс или ставивший под угрозу исключительное положение самих янычар. Именно янычарская стихия поставила шах и мат реформаторским правительствам — Селима III (1789—1807) и Мустафы паши Байрактара, а затем Махмуда II (1808—1839).

Все попытки власти поставить под контроль янычар — эту «моровую язву государства», по выражению К. Маркса, при больших затратах приносили скудные плоды. Так, при султано-реформаторе Махмуде II в 1823—1825 гг. на посту аги янычар сменилось 7 человек, прежде чем была найдена наиболее подходящая фигура. Им стал Хюсейн-паша, сразу же приступивший к основательной перетряске личного состава. Благодаря этим мерам воцарилось затишье²⁵. Однако отзывание Хюсейн-паши на Босфор для подавления мятежа местного гарнизона и слухи о предстоящей военной реформе вызвали рецидив янычарского самоуправства: в июне 1826 г. Стамбул фактически перешел в руки распоясавшейся военщины. Водворять порядок пришлось правительственным войскам и отрядам вооруженных горожан. Только казнь 300 мятежников и последующее упразднение янычарского корпуса с заменой его новым регулярным войском («Победоносное воинство Мухаммеда») принесли мирную передышку²⁶.

Политическая борьба с гвардейским участием в России XVIII в. имела во многом аналогичные социальные корни. Примеры феерических карьерных взлетов неродословных дворян и даже «подлорожденных» в Петровскую эпоху пробудили состязательный азарт во всем корпусе государственных служащих. В погоне за чинами, титулами, наградами пускались в ход все доступные средства. Как показал опыт XVIII в., наиболее действенными инструментами являлись фаворитизм и патронажно-клиентарные соединения.

Не отлаженный до конца механизм продвижений в чиновной иерархии вместе с возросшим спросом власти на умелых и преданных помощников породили феномен фаворитизма. Его исторический пик пришелся на правление «женских персон», когда требования к фавориту нередко снижались до уровня требований к красивому манекену. Очередной фаворит создавал вокруг себя сеть клиентов. Альтернативой ей служили другие патронажно-клиентарные соединения, также имевшие своих представителей в окружении монарха. Само существование конкурирующих группировок выступало противовесом системе отбора и выдвижения кадров по личной прихоти самодержца. В любом случае оно создавало более сложную композицию сил у

подножия трона, с чем по необходимости приходилось считаться и самим правителям.

Участники патронажно-клиентарных группировок, даже таких, которые объединяли антагонистов временщиков, отнюдь не являлись идейными противниками той системы, которая плодила «персон в случае», или «припадочных личностей» (такой ярлык в языковом обиходе XVIII в. закрепился за объектами императорского фавора). Критика фаворитизма, которая шла из этого лагеря, несла на себе сильный отпечаток комплекса реакций, который Р. Мертон определил как «рессантимент». Это — своего рода «гремячая» смесь из зависти к более удачливым конкурентам, осознанного бессилия перед лицом чужого успеха и неумной жажды реванша²⁷. XVIII столетие кишит примерами такой психологии. Пожалуй, один из наиболее выразительных — случай Н.И. Панина — видного государственного деятеля правления Екатерины II (первоприсутствующий в Коллегии иностранных дел, обер-гофмейстер великокняжеского двора). Панин — яростный обличитель авантюристов всех мастей — от альковных ловцов счастья до устроителей ночных переполохов во дворце и... активный участник многих проектов такого рода — от поставок очередных альфонсов императрице до дворцовых заговоров²⁸.

5.2. Политические гонки в российском контексте: участники и методы

Остановимся на патронажно-клиентарных образованиях, имевших прямое отношение к перипетиям политического процесса XVIII — начала XIX в. Их происхождение и назначение были хорошо понятны современникам, которые справедливо увязывали их с «петровской революцией»: упразднением архаичных московских «чинов», введением новых градаций внутри служилого сословия вместе с предусмотренным Табелью о рангах свободным движением по служебной лестнице. «...стали не роды почтенны, но чины и заслуги, и выслуги, и тако каждый стал добиваться чинов, а не всякому удастся прямые заслуги учинить, то за недостатком заслуг, стали стараться выслуживать».

ваться, всякими образами льстя и угождая государю и вельможам» — так оценивал суть этих трансформаций просвещенный консерватор, историк М.М. Щербатов¹. Абстрагируясь от аристократического снобизма Щербатова, эту мысль можно было бы выразить несколько иначе: новые порядки реально открыли путь наверх ретивым службистам, притом эту дистанцию было значительно проще одолеть в союзе с влиятельными лицами, нежели в одиночку. Такую возможность как раз и предоставляли неформальные объединения в виде патронажно-клиентарных связей. Подобные отношения строились на взаимной заинтересованности: для патрона контингент клиентов являлся ценным ресурсом как в борьбе за власть, так и в ходе последующего отправления обретенных полномочий². Для клиентов патронажная поддержка часто являлась единственным способом продвинуться вперед и добиться материального благополучия. Передавая мнения людей XVIII в., С.М. Соловьев характеризовал стремление «заложиться за сильного господина» как вполне здоровый инстинкт любого человека, который примеривал форменный мундир.

Но в протекции нуждались не только те, кто начинал служебный путь. Известный мемуарист XVIII в. А.Т. Болотов рассказывал, как он, сержант полевого пехотного полка, незаслуженно обойденный при производстве в чины, отправился в столицу добиваться справедливости. Тут доброхотные советчики указали ему кратчайший путь решения вопроса — через фаворита могущественного вельможи и военачальника П.И. Шувалова — подполковника М.А. Яковлева. Последний, пользуясь близостью к всесильному временщику, сумел вокруг себя сплотить клиентскую сеть, войти в которую почитали за честь даже украшенные орденовыми лентами седовласые генералы³.

Не менее важный мотив, который толкал иногда и весьма успешных службистов на заключение неформальных союзов, создавала заинтересованность в принадлежности к «своей» группе. Учрежденная Петром I градация корпуса служащих не покрывала этой потребности, поскольку оперировала в большей мере статистическими, нежели реальными группами. (В самом общем виде она выразилась в делении государственных служащих на генералитет, штаб- и обер-офицерство, нижние

чины; эта же структура воспроизводилась и для гражданских чиновников.) В основу была положена формальная позиция человека в чиновной иерархии, устанавливавшая его принадлежность к тому или иному подразделению внутри служилого корпуса. (Совокупность таких подразделений можно было бы представить как вписанные друг в друга круги с уменьшающимися радиусами: государственный служащий — военный — гвардеец — обер-офицер — поручик и т. д.) Вполне естественно, что насаждение этой модели протекало довольно болезненно в обществе, еще не оторвавшемся от патриархально-семейственных и местнических традиций. Более того, оно порой вызывало сопротивление не только среди старой родовой знати, но и среди служилой мелкоты. На этом фоне вновь оживали старые счеты по знатности и фамильному престижу, официально отмененные еще в 1682 г. Скажем, в 1706 г. худородный мелкий шляхтич И.С. Мазепа, поставленный под начало другого незнатного выдвиженца царя А.Д. Меншикова, жаловался на свое положение: «Не так бы мне печально было, когда меня дали под команду Шереметеву или иному какому великоименитому и от предков заслуженному человеку»⁴. В свою очередь, и сам титулованный фельдмаршал не мог примириться с установлениями, которые уравнивали в рамках одного и того же чина выслуженных и родовых титулованных дворян⁵. Отчасти нивелирующие нормы-рамки службы дворянство пыталось опротестовать «явочным порядком» на уровне бытового поведения⁶. В большинстве случаев оно активно осваивало те возможности комфортного самоутверждения, которые предоставляли патронажные связи.

При большом разнообразии таких связей можно выделить несколько наиболее распространенных форм, которые восходили еще к античному Риму. Это, во-первых, связь между влиятельным знатным господином и индивидами низших социальных статусов (некоторыми городскими жителями, солдатами), устанавливавшаяся в форме *applicatio*, то есть обращения, аналогом которого в военной сфере являлась клятва верности. Во-вторых, связь между господином и непрестижными корпорациями по типу *deditio* (то есть передачи прав), заключавшаяся на предмет представительства их интересов перед лицом ин-

ституты государства. В-третьих, связь господина с представителями менее привилегированных сословий по типу *hospitium* (то есть буквально: гостеприимства). В-четвертых, это могли быть отношения между лицом из правящей элиты и представителями тех или иных фракций высшего сословия по типу *amicitia* (то есть дружбы) в целях расширения влияния и совместного продвижения в публичной сфере⁷. Группировки, действовавшие в российских условиях, были сопоставимы либо с объединениями типа *applicatio*, соединявшими вышестоящих с нижестоящими, либо — с объединениями типа *amicitia*, включавшими более или менее равнозначных по иерархическому положению персон. Последние группировки, образованные путем сложения сил однопорядковых клиентел различных *amicus*, чаще всего фигурировали в политической борьбе XVIII в. Вовлекая значительные ресурсы, они были способны организовывать серьезное давление в периоды временной вакантности престола либо инициировать операции по захвату власти при утвердившемся монархе. Таким образом, в условиях прекращения деятельности старых органов социального контроля (Земских соборов и Боярской думы) и становления жесткого автократического режима общественные силы довольно быстро нашли неправовые компенсирующие механизмы политического участия. Впервые обозначившись в 1725 г. при дележе петровского наследства, далее такие образования всплывали на поверхность политической жизни при каждом очередном перевороте.

Довольно заметно эти коалиции проявили себя уже в событиях 1730 г. Растянутое во времени утверждение на российском престоле Анны Иоанновны впервые позволяло сторонним наблюдателям проследить довольно сложные эволюции таких коалиций на политической сцене. Рядовые участники конституционного движения января — февраля 1730 г. мыслили и оперировали категориями «клановости», «патронажно-клиентарных» взаимосвязей. Эти же практические понятия были положены в основу контрпропаганды сторонников самодержавия и возымели гораздо более сильное действие, нежели любые рассуждения о той или иной форме правления. Скажем, их довод о том, что верховники постараются «раздать лучшие места своим родственникам да прихвостням»⁸, на массу шляхетства произ-

вел куда более сильное впечатление, чем обсуждение преимуществ абсолютизма перед аристократической олигархией. Защитники традиционного самодержавия хорошо понимали и учитывали эту особенность политического мышления участников движения. Впрочем, и сам раскол на конституционалистов и приверженцев абсолютизма, по некоторым авторитетным свидетельствам, был вызван не столько расхождениями в политических представлениях, сколько личными счетами. В частности, Ф. Прокопович рассказывал о том, что главным мотивом размежевания с верховниками, жаждавшими ограничения самодержавия, для большинства их противников являлся элементарный афронт: «досадно им было, что они (верховники. — *И. В.*) их в свое дружество не призывали»⁹.

По-видимому, таких сугубых прагматиков, делавших ставку не на политические принципы, а на сильного союзника или покровителя, было немало и среди заглавных фигур этого периода. Еще в самом начале политических ристалищ генерал-прокурор Сената и генерал-аншеф П. И. Ягужинский с энтузиазмом подхватил предложение Верховного Тайного Совета об изменении формы правления (именно ему принадлежала коронная фраза, которая могла бы служить паролем движения за конституцию: «Теперь время, чтоб самодержавию не быть!»). Однако после того, как оказался оттерт от главного штаба предстоящей реформы, он, не задумываясь, «сменил пластинку» и вошел в лагерь «традиционалистов». Таким же «перелетом», как и Ягужинский, впоследствии оказался генерал А. И. Ушаков¹⁰. А масса шляхетства, в начале февраля с готовностью откликнувшаяся на призыв верховников обсудить коренную политическую реформу, месяц спустя с не меньшей охотой подписала челобитную А. Кантемира о восстановлении самодержавия. При этом многие из вчерашних оппозиционеров на торжественной аудиенции у императрицы выказывали такое рвение в отстаивании ее самодержавных прерогатив, которое делало немислимыми новые инициативы реформаторов. По словам французского посланника Маньяна, если бы кто-то из них вздумал возобновить свои попытки, «дворяне и гвардейские офицеры положили выбросить верховников за окно»¹¹.

В этой связи возникает естественное предположение, что

даже наиболее представительная из шляхетских петиций по поводу реформ (так называемый «проект 361») была вызвана к жизни стремлением потрафить ее инициатору — князю А.М. Черкасскому (сенатору, сибирскому губернатору, которого М.М. Щербатов называл «богатейшим из российских благородных») в расчете на долгосрочный выгодный союз с ним. По данным, собранным И.В. Курукиным, значительную часть данной группы «подписантов» составляли армейские штаб-офицерские и бригадирские чины — ветераны петровских войн, ожидавшие увольнения от действительной военной службы и перевода на более спокойные гражданские должности¹². Не исключено, что шанс встроиться в клиентскую сеть влиятельного правительственного дельца для этого контингента являлся попросту подарком судьбы. В такой же мере соображениями личной корысти вдохновлялся и актив абсолютистского движения — на это совершенно определенно указывал осведомленный М.М. Щербатов. По его словам, новгородский архиепископ Ф. Прокопович «хотел себе более силы и могущества приобрести», князь А. Кантемир преследовал цель «почестей и богатства», а также питал надежды на брачный союз с дочерью кн. А.М. Черкасского. А последний, продемонстрировавший качества политического хамелеона, сводил счеты с Долгорукими, которые нанесли ущерб его родственнику, кн. Н.Ю. Трубецкому¹³. Итак, из показаний информированных лиц вырисовывается картина непростых подсчетов конечных бонусов: в них с головой были погружены участники состязания с обеих сторон. Ключевым элементом в этих калькуляциях являлось ожидание альянса с той или иной социально значимой фигурой. А уже на этой основе оформлялись комбинации с той политической ориентацией, которая на данный момент соответствовала позиции «своего» лидера в системе власти. В каком-то смысле переворотную ситуацию можно было бы сравнить с рынком социально-политических ресурсов, где в относительно свободном режиме заключались сделки, обещавшие продвижения, награды, пожалования для клиентов и поддержку для патронов.

Итак, в событиях 1730 г. отчетливо обозначилась подоплека политической борьбы, заключавшаяся в установлении патронажных связей с тем или иным перспективным политиком и

в совместном продвижении на верхние этажи исполнительной власти. Условия российской политической жизни ориентировали на деятельность в «команде». Принцип «единоборья» был непродуктивен, что хорошо показала серия громких политических поражений — от падения всесильного временщика А.Д. Меншикова до низложения правительницы Анны Леопольдовны. Первый, достигший пика могущества в правление Екатерины I, явно не рассчитал свои силы. Порвав с бывшими союзниками (П.А. Толстым, П.И. Ягужинским, А.В. Макаровым, И.И. Бутурлиным) в перспективе еще более головокружительного взлета — вхождения в августейшее семейство на правах тестя Петра II, он вскоре попал на «свалку» истории. Пример Меншикова убедительно свидетельствовал об относительной ценности высоких чинов и званий, не подкрепленных опорой на собственную группу поддержки.

В том же социальном вакууме, что и «светлейший», оказались и некоторые другие деятели, достигшие вершинных точек своей карьеры: Курляндский герцог и регент при младенце императоре Иване Антоновиче — Э.И. Бирон, фельдмаршал Б.Х. Миних, сваливший регента в ноябре 1740 г., мать императора — Анна Леопольдовна, провозглашенная тогда же правительницей. Все они в конечном итоге оказались лишними людьми в государственной лодке, которую нужно было умело вести между конкурирующими группировками, не упуская из виду приумножение собственных сторонников. И Бирон, и Миних, и Брауншвейгское семейство, усилившиеся в десятилетнее правление Анны Иоанновны, не обросли за это время никакими серьезными связями среди российской элиты. По этой причине для выключения Бирона из политической жизни хватило отряда из 80 гвардейцев под командованием Миниха. А для низложения Миниха Анне Леопольдовне понадобилось всего только подписать его лицемерное прошение об отставке (которым тот намеревался шантажировать правительницу в расчете на очередную уступку с ее стороны), а затем приставить к его дому гвардейский караул. Однако, похоже, что сама правительница, выигравшая от этих двух падений, не сильно задумывалась над их уроками. Исследователями отмечалось, что одной из самых интеллигентных и гуманных руководительниц державы катаст-

рофически не доставало сплоченной группы помощников, за что в конечном счете пришлось расплачиваться не только ей самой, но и ее детям¹⁴. Добавим к этому и другой фактор: оставаясь у власти целый год, ни Анна Леопольдовна, ни ее супруг, принц Антон-Ульрих, не провели никакого кадрового обновления высшего правительственного аппарата. Единственное изменение свелось к перестановке некоторых фигур¹⁵.

По близким сценариям развивалась ситуация в верхах и после прихода к власти Петра III в конце 1761 г. и после воцарения его сына Павла I в 1796 г. Первый сохранил во главе управления партию братьев Шуваловых, вставшую у государственного руля еще во времена Елизаветы Петровны. Именно она осталась главной поставщицей кадров в высокие административные структуры. (Ее выдвиженцами были и новый генерал-прокурор Сената А.И. Глебов, и директор сухопутного кадетского корпуса А.П. Мельгунов, и тайный секретарь императора Д.В. Волков.) Как и ранее, во дворце удерживали лидирующие позиции фавориты с многолетним стажем — И.И. Шувалов и канцлер М.И. Воронцов¹⁶. Сплотившаяся и численно возросшая камарилья создавала напряженную ситуацию вокруг трона. Блокируя подступы к нему для аутсайдеров, она тем самым содействовала накоплению мощной взрывной силы в этой среде (партии Орловых, Паниных, Разумовских).

Позиции Павла I подрывало два обстоятельства: с одной стороны, обособленность от сложившихся в Екатерининский век мощных кланов. «Правящие боялись допустить до дел Павла с его особыми взглядами и правилами, ни с кем не связанного и независимого», — отмечал Ключевский¹⁷. С другой стороны, чересчур частые рокировки в составе правящего слоя, затруднявшие укрепление отдельных группировок во властных структурах. Эта неопределенность положения вызывала тем больший протест, чем больше ожиданий на карьерное восхождение связывалось со вступлением Павла I на престол. Подобные изначальные надежды выразительно передавал один из современников: «Все, любя перемену, думали найти в ней выгоды, и всякий, закрыв глаза и зажав уши, пускался без души разыгрывать снова безумную лотерею счастья»¹⁸. Однако вскоре эти радужные настроения сменились жестоким разочарованием и даже

фрустрацией при столкновении с импульсивным характером императора¹⁹. Осенью 1800 г. вернулись из ссылки братья Зубовы, не забывшие опалы и жаждавшие отмщения. С помощью своего давнего клиента — генерал-губернатора Петербурга П.А. Палена — они без труда сколотили группу приспешников, готовую на любой преступный заказ в отношении императора.

Таким образом, перевороты в политической жизни России каждый раз являлись результатом серьезных нарушений в отношениях власти и организованных группировок служилого дворянства. Необходимость гибкого маневрирования между дворянскими коалициями становилась политическим императивом более или менее устойчивого правления²⁰. Характерно, что Екатерина II, лучше прочих понимавшая эти правила игры, не стала форсировать кадровую чистку. Ликвидация «охвостья» шуваловской партии в центре и на местах растянулась на несколько лет. Прикрытие обеспечивала кампания борьбы с чиновничьей коррупцией, объявленная Манифестом от 6 июля и указом от 18 июля 1762 г. Очистив от многочисленных ставленников этой партии государственный аппарат, императрица нанесла удар по «мозговому тресту»: в феврале 1764 г. был отставлен с бесчестьем от всех должностей А.И. Глебов²¹.

Политическая практика XVIII в. также показывала, что одного вознаграждения услуг ближайших сподвижников после переворота было еще недостаточно для закрепления передела власти. По-видимому, наиболее эффективным способом ослабления межгрупповых противоречий и даже утешительным призом для тех, кто остался в стороне от дележа основной «добычи», являлись уступки всему дворянскому корпусу. Примечательно, что основные акты из этой серии исходили от монархов, которые взошли на престол на гребне переворотов: Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Екатерины II. Следует думать, что дворянские привилегии как побочный продукт дворцовых переворотов являлись не столько результатом осмысленных усилий активной части дворянства, сколько формой приспособления монархии к гетерогенному составу и конфликтности интересов дворянства. Безусловно, в исторической перспективе эти мероприятия содействовали дальнейшей интеграции дворянства и развитию его сословного самосознания.

Однако степень единства высшего сословия российского общества в эпоху дворцовых переворотов была величиной довольно спорной, несмотря на то что в научной исторической литературе чаще всего доказывается обратное. В этой связи не лишним будет напомнить, что сознание принадлежности к большой группе сопряжено с формированием «представительской роли» индивида, в рамках которой он действует от имени своего крупного социального коллектива и смотрит на себя самого как на воплощение его традиций и его силы. Представительской роли свойственно абстрагирование от личных интересов. Соответственно конфликты, в которых участники выступают как частные лица, серьезно отличаются от тех, в которых они действуют от имени большого сообщества. В конфликтах последнего типа выражаются деперсонализованные отношения конфронтационных социальных сил²².

Попутно заметим: вряд ли дворянство поголовно было способно позиционироваться по этой линии ранее потрясений Крестьянской войны под предводительством Е. Пугачева, заставивших его осознать себя как общность-антипод взбунтовавшихся социальных низов. Между тем повседневные условия социальных взаимодействий были скорее неблагоприятны для усвоения идеи сословного единства. В этом отношении можно полностью согласиться с замечанием американского историка Дж. Ледона о том, что «...личная лояльность в системе патронажно-клиентарных связей затмевает институциональные интересы»²³. Для большей части XVIII в. понятие сословной идеологии все еще оставалось чуждым основной массе — это отмечал в свое время и П.Н. Милюков: «Вместо идейного оправдания и обеспечения культурных и сословных основ, на которых зиждется социальное положение этой среды, она делает своим предметом критику тех и других основ... эта работа критической мысли имеет отчасти бессословный, отчасти прямо антисословный характер»²⁴.

Со своей стороны, и политическая практика затрудняла консолидацию дворянского сословия. По мере выявления и жесткого подавления очередных несанкционированных инициатив дворянских группировок кружковая организация не только

не ослабевала, но, наоборот, заметно укреплялась. Одновременно она быстро политизировалась и дифференцировалась по составу участников. Уже со второй четверти XVIII в. прослеживаются некоторые очертания специализированных, военных или гражданских, группировок. Одни преимущественно объединяли гражданских фрондеров, не ставивших целей захвата власти. Так, в 1727 г. созрел заговор против Меншикова среди его недавних сторонников (в него вошли генерал-полицмейстер Петербурга А.М. Девиер, генерал И.И. Бутурлин, обер-прокурор Синода Г.Г. Скорняков-Писарев, действительные тайные советники А.Л. Нарышкин и П.А. Толстой)²⁵. Чуть ранее аналогичный кружок антименшиковской направленности сложился вокруг гоф-дамы императрицы А.П. Вольнской²⁶. В 1740 г. были сурово наказаны кабинет-министр А.П. Волынский и его тайные «конфиденты», вина которых состояла в критике режима бироновщины и обсуждении планов преобразований²⁷. В 1743 г. Тайная канцелярия расследовала дело статс-дамы Н.Ф. Лопухиной, ее родственниц обер-гофмаршалыши А.Г. Бестужевой, фрейлины С. Лилиенфельд, обвиненных в тайных сношениях с сосланным Брауншвейгским семейством и агитации в его пользу²⁸. В 1756 г. во время болезни Елизаветы Петровны во дворце оформился заговор в пользу великого князя Петра Федоровича с участием его супруги Екатерины Алексеевны, канцлера А.П. Бестужева, английского посланника Ч. Вильямса²⁹. Вовлеченные лица добивались обеспечения его прав как наследника престола в то время, когда против него усиленно интриговали фавориты императрицы Шуваловы. В 1773 г., по достижении совершеннолетия великого князя Павла Петровича аналогичные замыслы вынашивались в тесном кружке некоторых вельмож большого двора и великокняжеской четы. В него входили бывший воспитатель Павла и руководитель Коллегии иностранных дел Н.И. Панин, секретари Панина — Д.И. Фонвизин и М.В. Бакунин, видный военачальник П.И. Панин и некоторые другие вельможи³⁰. Такие же кружки уже антипавловской направленности с участием наследника престола Александра Павловича и его молодых друзей сложились в 1797—1799 гг. а в 1800 г. — вокруг нескольких видных

опальных чиновников — Н.П. Панина, С.Р. Воронцова, английского посланника Витворта³¹.

Периодическое появление оппозиционных групп из государственных деятелей-дворян вовсе не являлось особым случаем российской истории. Аналоги этих эпизодов можно отыскать и в европейской истории, в частности — в борьбе в высших политических сферах английского общества XVII в., обострившейся после прихода к власти Якова I Стюарта. В соответствии с той же логикой определенные нарушения в схемах патронажного влияния и там осмысливались пострадавшей стороной в терминах коррупции, произвола отдельных деятелей и порождали конспиративную ментальность. Отчасти такой взгляд на вещи был оправдан: скажем, до того как произошел отмеченный сбой, в английском Тайном Совете традиционно заседали политические тяжеловесы. В распоряжении каждого из них была своя широкая клиентская сеть из чиновников центрального аппарата, провинциальной администрации и дворянства (джентри). Соответственно более или менее равномерное распределение патронажа в центре власти давало возможность учитывать интересы довольно широкого круга подданных. В то же время оно обеспечивало саму верховную власть мощными приводными ремнями влияния на остальных этажах государственного здания и гарантировало исполнение ее предписаний. Сосредоточение влияния в руках единичных фаворитов (вначале это был Карр, потом Букингем) в этой системе координат означало распад налаженных многосторонних связей центра с периферией и в целом ослабление опор центральной власти³².

Аналогичный прецедент имел место и во Франции при Генрихе III (1574—1589гг.). В этот период на передний план — в качестве «брокеров» при дворе, как замечает американский историк Р. Хардинг, — выдвигаются люди из незнатных и небогатых фамилий (так называемые *mignons*). Именно им поручается практика продажи должностей, которая чуть позднее при суперинтенданте Сюлли была окончательно институционализирована вместе с ежегодной уплатой налога за должность — так называемой полетты. Эти новации в конечном счете также подорвали позиции старых патронажно-клиентарных группировок, вызвали отлив от двора многих влиятельных аристократов

и в целом нанесли урон дворянству шпаги³³. Вместе с тем в исторической перспективе они сыграли все же и положительную роль. Продажа должностей, отныне превратившихся в неотчуждаемую собственность, была полезна тем, что содействовала переходу к формализованным отношениям и узаконенным процедурам политической деятельности. Она существенно расшатала те привычки к келейному решению дел, протекционизму и неформальным межличностным связям в политике, которые соответствовали патронажу-клиентелле. А это уже означало постепенное расширение общественной сферы политического участия.

Однако наиболее сокрушительный удар по патронажно-клиентарным связям нанесли политические партии. Любопытна следующая закономерность: они произрастали из придворных клик, очень похожих на те, которые складывались ранее при искажениях традиционного патронажа или по ходу борьбы за корону. Разница заключалась лишь в том, что теперь политическая конкуренция становилась более прозрачной для внешних наблюдателей, безопасной для самих участников и более непрерывной во времени. Так, знаменитые английские протопартии тори и вигов сложились в 1679 г. в связи с бурными дискуссиями вокруг законопроекта, лишавшего герцога Йоркского — будущего Якова II — прав на престол из-за его приверженности католической церкви³⁴. Лавируя между двором и обществом, такие клики постепенно утверждались в политическом пространстве и превращались в органы политического представительства граждан. При этом первоначальные мотивы, вызвавшие их появление на свет, отодвигались в прошлое. Уже на этой основе совершались последующие важные шаги: превращение клик в политические клубы, характеризующиеся наличием определенной идеологической доктрины и организационной структуры (например, Якобинский клуб времен Великой Французской революции, Реформ Клуб в Англии в 30—50-е годы XIX в.); затем на базе расширения избирательных прав граждан они трансформировались в избирательные комитеты, нацеленные на мобилизацию избирателей, а в дальнейшем утверждались уже как стационарные политические объединения.

Пожалуй, не менее существенным достижением являлось

то, что такая партийная система не порождала тяжелых политических конфликтов. Размежевание политических сил происходило на договорной основе. Собственно, дрейф группировок элиты в сторону политических партий начинался с заключения формального соглашения — пакта об основных правилах политического поведения. В свою очередь, присоединение к пакту новых групп граждан давало толчок выработки центризма (за счет сближения умеренной части реформаторов и консерваторов) и как итог приводило к вытеснению экстремистских элементов и экстремистской идеологии на обочину политического процесса³⁵. Однако во всех случаях такие метаморфозы были возможны прежде всего благодаря дружественному нейтралитету и даже помощи со стороны государственной власти. Раньше всего к этому пришла Британия, осуществив в рамках Последовательного Революционного Установления после Славной революции 1688 г. суверенизацию (то есть разграничение сфер государственных и общественных интересов, признание за обществом прав на контрактную самоорганизацию), а затем и конституционализацию — закрепление данных принципов в виде фундаментальных законов³⁶.

Иная тенденция возобладала в России. При схожести исходных точек роста партийной системы — расколе политической элиты и возникновении клик — их дальнейшая эволюция пошла в разных направлениях. При поддержке или, по меньшей мере, непротивлении государственной власти на Западе они мало-помалу превращались в важнейшие каналы двусторонней связи общества и власти, в инструменты политической вертикальной мобильности, в России — в военизированные экстремистские группы. Впрочем, ничего удивительного такая метаморфоза в себе не заключала. Каждый очередной заговор, раскрытый правительством, карался с нарастающей жестокостью, а очередное поколение заговорщиков, в свою очередь, все более последовательно осваивало нехитрые законы «волчьей стаи». Скажем, если оппоненты Меншикова, а потом и сам светлейший отделались сравнительно легко — конфискацией имущества и ссылкой, то некоторые из Долгоруких, выступившие против самодержавия в 1730 г., были казнены. Кабинет-министр Волынский и его ближайшие конфиденты даже при недо-

казанном составе преступления были подвергнуты еще более мучительной экзекуции — четвертованию. Представительниц слабого пола в лучшем случае ожидали урезание языка, торговая казнь и последующая ссылка. Та же нарастающая бескомпромиссность проявлялась и в отношении победителей к жертвам заговора. Если в 1741 г. Елизавета Петровна ограничилась заточением низложенного Брауншвейгского семейства в Холмогорах, а Ивана Антоновича в Шлиссельбурге, то в 1762 г. Екатерина II и ее сообщники сделали сознательный выбор в пользу убийства свергнутого императора, хотя и несколько отсроченного. А в 1801 г. нападение на Михайловский замок уже с самого начала планировалось как физическое устранение императора. В этом плане история дворцовых переворотов в России идеально иллюстрирует выявленную в политологии закономерность: карательные меры по отношению к оппозиционным центрам общества неизбежно вызывают ответную реакцию в виде их криминализации и нарастающей агрессии³⁷.

Вместе с тем жестко репрессивный режим делал единственно возможной формой самозащиты для оппозиционной группы упреждающее нападение: угроза разоблачения (почти во всех случаях в большей степени мнимая, нежели реальная) выталкивала заговорщиков в наступление много раньше планируемого срока. В данном случае уместно вспомнить знаменитую теорему социолога У. Томаса: если люди воспринимают ситуацию как реальную, то она становится реальна по своим последствиям. Неотвратимость жесточайшей кары за преступные с точки зрения нормативного порядка намерения превращала любой тревожный знак в сигнал к началу операции. Так, Миних принял решение о незамедлительном свержении регента Бирона после того, как тот поинтересовался у фельдмаршала, случалось ли ему совершать военные вылазки ночью³⁸. Год спустя Елизавету Петровну подвигло выйти в ночную экспедицию сообщение об отправке распропагандированных ею гвардейцев на театр военных действий со Швецией, а также неосторожное признание правительницы Анны Леопольдовны о подозрениях на ее счет³⁹. В 1762 г. такой же катапультирующей вестью для заговорщиков послужил арест капитана П.Б. Пассека, входившего в группу заговора (как позже выяснилось, по поводу, не

связанному с нелегальной деятельностью заговорщиков), а в 1801 г. — срочный вызов в Петербург двух бывших гатчинцев, доверенных лиц императора — А.А. Аракчеева и Ф.И. Линденера⁴⁰.

Повышенная опасность, которую ощущали на себе члены конспиративной группы, заставляла держать в боевой готовности вооруженную опору заговора. Отсюда предварительным требованием любого организованного выхода на политическую сцену являлось привлечение опытных военных профессионалов, а также «приручение» гвардейских частей, которым предстояло стать решающим орудием переворота. Таким образом, борьба за гвардейские части становилась ключевым звеном всей подготовительной работы.

5.3. Гвардейская рулетка и ее вращатели

По мере своего роста в XVIII в. гвардия все больше превращалась из передового отряда боевых сил в личную охрану императорской семьи и составляющую государственного механизма, которую представители правящего дома использовали по личному усмотрению. Тесная связь с верховной властью подкреплялась целым рядом символических элементов. В отличие от знамен полков полевой армии, на которых были изображены гербы отдельных губерний и провинций, знамена гвардейских частей украшал государственный герб. Все монархи носили чин полковника гвардии, подчеркивая тем самым личный союз с гвардейцами. Осознанию гвардейцами своего особого предназначения содействовали и огромные преимущества над армией: по Табели о рангах гвардейские чины считались выше двумя классами соответствующих армейских и одним классом выше артиллерийских. Жалованье гвардейца по меньшей мере в полтора раза превышало жалованье равного ему по рангу армейского чина. А за несение караульной службы во дворце по случаю царских праздников или за оказание услуг удачливому похитителю престола следовали премиальные в особо крупных размерах. Скажем, за каждое очередное дежурство гвардейцев в комнатах царского дворца при Елизавете Петровне причита-

лось вознаграждение в 10 рублей — сумма, равная почти полному годовому жалованью солдата полевой армии¹. Поставленная вне нормативов обычной воинской службы, гвардия быстро впитывала политграмоту преторианского разгула. Именно на эту особенность и рассчитывали придворные партии и соискатели царского венца.

Почти безграничные возможности силового давления на власть продемонстрировали уже события января 1725 г.: присутствие семеновцев и преображенцев, приведенных к дворцу их шефами — А.Д. Меншиковым и И.И. Бутурлиным, послужило едва ли не самым убедительным доводом в пользу избрания Екатерины I². В гвардейском «аргументе» быстро разобралась и Анна Иоанновна, проявившая в этом плане больше практической сметливости, нежели ее оппоненты — верховники (среди которых, кстати, было два фельдмаршала). По приезде 10 февраля 1730 г. в село Всесвятское близ Москвы она с почетом приняла прибывший туда же батальон Преображенского полка и эскадрон кавалергардов. Более того — провозгласила себя полковником преображенцев и капитаном кавалергардов и вместе с новоиспеченными «сослуживцами» пышно отпраздновала это событие. Этот жест, встреченный гвардейцами, по словам саксонского посланника И. Лефорта, «с криками и со слезами радости», был первым крупным выигрышем императрицы в борьбе за неограниченную власть³. Достигнутый успех позволил ей уже 8 марта, расставив гвардейские караулы во дворце, разговаривать с верховниками с позиции силового превосходства и в конце концов восстановить все prerogatives самодержавной власти. Еще более впечатляющие примеры политической эффективности с опорой на гвардейский отряд из 80 человек продемонстрировали Миних, а затем и дочь Петра I, пришедшая к власти с помощью 308 гвардейцев⁴. Низложение Петра III осуществила группа офицеров численностью 30—40 человек, а Павла I сверг отряд из 180 человек (по другой версии — 300 человек)⁵. Таким образом, принимая во внимание усиливавшуюся во времени технологическую сложность переворотов, можно констатировать наращивание потенциала не только за счет «числа», но и за счет «умения».

Вместе с тем тот же XVIII век породил немало гвардейских

политических экспромтов, закончившихся полным провалом. В 1727 г. в Ингерманландском полку были арестованы полковник Маврин и 40 солдат, враждебно настроенных по отношению к правительству Екатерины I⁶. В 1740 г. были заключены под стражу несколько отставных гвардейских офицеров — клиентов сенатора и действительного тайного советника М.Г. Головкина — за намерение сместить регента Бирона и установить самодержавие Анны Леопольдовны⁷. В 1742 г. были схвачены прапорщик Преображенского полка П. Квашнин и сержант Измайловского И. Сновидов, желавшие вновь возвести на престол Ивана Антоновича⁸. В 1762 г. потерпели фиаско офицеры Измайловского полка братья Рославлевы и Ласунский (бывшие участники переворота 28 июня), которые вместе с камер-юнкером Ф. Хитрово и его братом — вахмистром Конногвардейского полка, добивались установления регентских (а не самодержавных) полномочий Екатерины II⁹. Осенью того же года несколько офицеров-измайловцев (в том числе И. Гурьев и П. Хрущев) за намерение провозгласить императором Ивана Антоновича были брошены за решетку, а в 1764 г. за то же был казнен подпоручик В.Я. Мирovich. В 1778 г. заплатились свободой поручик А.Ф. Мневский и капитан И.В. Иванов, распространявшие апокрифические обличительные речи Павла Петровича и агитировавшие за великого князя¹⁰. Очевидно, что такие плохо подготовленные попытки должны были угаснуть ввиду их полной бесперспективности. Как и гражданские заговоры, стихийные военные «аттентаты» представляли собой типиковую ветвь политической борьбы: власть, поднаторевшая в делах политического сыска, почти не оставляла шансов на успех дилетантских потуг.

Достижение целей обеспечивал иной подход: соединение сил высоких гражданских чинов и офицерства высшего и среднего звена, четкая проработка всех этапов подготовительной работы и наступательной операции. При этом от переворота к перевороту заметно возрастали как доля участия военных, так и степень их самостоятельности в планировании и проведении всех акций. В 1725 г. гвардейцы сыграли лишь роль безмолвных статистов при двух генералах-политиках. В 1730 г. вооруженная масса уже вела себя более раскованно, хотя и действо-

вала строго по указке императрицы и ее закулисных военных консультантов — гвардейского подполковника С.А. Салтыкова и генерала Г.Д. Юсупова. В 1740 г. гвардейцы приняли решение последовать за Минихом добровольно и сознательно, вняв отсылке фельдмаршала на волю матери императора-младенца и на интересы цесаревны Елизаветы Петровны. В 1741 г. они с энтузиазмом откликнулись на призыв дочери Петра I послужить ей, так же как служили ее батюшке, и буквально на руках внесли во дворец новоявленную хозяйку. В 1762 г. почти все решения принимались инициативной группой гвардейских офицеров, которым доверила свою судьбу Екатерина Алексеевна. А в 1801 г. гвардейская верхушка под водительством П.А. Палена действовала уже вовсе автономно от главного заинтересованного лица. Великий князь Александр Павлович, знавший о заговоре и давший свое согласие на его осуществление, оставался в стороне от всех перипетий вплоть до роковой минуты в ночь на 12 марта, когда он был почти насильно выведен главариами переворота к собравшимся войскам уже в качестве императора. При этом в преддверии нападения вождь заговора Пален одновременно осваивал две роли — организатора антипавловской оппозиции и провокатора — и фактически распоряжался жизнью двух царей: Павла I, кончина которого была предрешена в случае успеха переворота, и Александра I, которого ожидал самый плачевный исход в случае провала дела. (За несколько дней до 11 марта император выдал Палену карт-бланш на арест старшего сына, если будут обнаружены улики против него.)¹¹ Таким образом, сами претенденты на верховную власть все более и более превращались из ведущих в ведомых своих военных фактотумов. Своей эволюцией дворцовые перевороты с участием гвардии в полной мере подтверждали мнение Н.И. Панина, высказанное им в 1762 г.: «Мы с лишком тридцать лет обращаемся в революциях на престоле, и чем больше их сила распространяется между подлых людей, тем они смелее, безопаснее и возможнее стали»¹².

Вместе с тем приобретающая все больший опыт гвардия представляла собой непростой объект для манипуляций политических дельцов. Последним приходилось, по меньшей мере, учитывать несколько измерений гвардейских настроений. Для

начала предлагаемый кандидат на престол должен был обладать достаточной легитимностью в глазах этого контингента. Скажем, отчаянная попытка Долгоруких после смерти Петра II усадить на троне его обрученную невесту, Екатерину Долгорукую, оказалась совершенно несостоятельной. Призывный клич ее брата, князя Ивана Долгорукого, обращенный к толпе гвардейцев: «Да здравствует императрица Катерина», — повис в воздухе¹³. Однако легитимность, с гвардейской точки зрения, отнюдь не являлась качеством, предопределенным только рождением или завещанием покойного императора. Опыт Елизаветы Петровны, Екатерины II показывал, что следование некоторым стандартам поведения, наиболее ценным в гвардейской среде, позволяло отодвинуть формальные критерии. Наибольшую привлекательность в глазах гвардейцев обеспечивала патриотическая направленность образа мыслей и действий соискателя короны. И наоборот, сомнения в этих качествах резко подрывали позиции даже состоявшегося правителя.

Разумеется, это не означает, что гвардейские круги были способны дать самостоятельную экспертизу политических программ и мероприятий. Суть дела состояла в чуткости гвардейского «общественного мнения» к агитационному сопровождению той или иной правительственной кампании. В отсутствие официальной пропаганды здесь открывались почти необъятные возможности для уловок партий, рвущихся к власти. Тенденциозная, методичная подача тех или иных поступков правящих лиц, направленная на гвардейскую среду, создавала магнитное поле оппозиции. Скажем, дискредитации регента Бирона в немалой степени послужили его активность в борьбе за «польское наследство» в конце 30-х годов и тяготение к союзу с Австрией (в частности, герцог выступал за выполнение Прагматической санкции императора Карла VI, согласно которой владения Габсбургов считались нераздельными и подлежали передаче старшей дочери короля Марии Терезии). Объективно такая позиция была выгодна России и буквально через год после свержения Бирона она снова была положена во главу угла российской внешней политики: альянс с Австрией и Саксонией против милитаристской Пруссии с ее замашками гегемона был важен в плане защиты российских территориальных приобретений,

сделанных в первой четверти XVIII в.¹⁴. Однако против Бирона в данном случае работал его статус Курляндского владетельного герцога. С легкой руки оппонентов он воспринимался как «фирменный знак» своекорыстной иноземщины и обесценивал все мероприятия регентского кабинета¹⁵.

Примерно теми же способами двадцать лет позднее оппозиция старалась вставить лыко в строку императору Петра III, круто развернувшему внешнюю политику России от войны к миру и союзу с Пруссией. Ратификация 24 мая 1762 г. двустороннего русско-прусского договора и намеченная на лето совместная военная операция против Дании послужили удобным поводом для обвинений императора в предательстве российских национальных интересов в угоду голштинским приоритетам и позволили враждебной группировке во главе с Екатериной Алексеевной нажать на этом солидный политический капитал. Между тем прекращение кровопролитной семилетней бойни, в основе которой лежали австро-прусские и англо-французские противоречия¹⁶, отнюдь не «оскорбляло русских людей» и не было «насмешкой над кровью, пролитой в борьбе, над тяжелыми пожертвованиями народа», как это подавала партия заговора, а вслед за ней и многие историки¹⁷. Не считая определенных переборов эмоционального императора по части прославления Фридриха II, курс на сближение с Пруссией (надолго утратившей имперский лоск и притязания на верховенство в Европе) не переходил границ разумной необходимости. Подчеркнем, что этот союз не был дезавуирован Екатериной II после ее прихода к власти. Более того, он составил стержень внешнеполитической программы Н.И. Панина — Северного аккорда, которой Россия придерживалась вплоть до 1781 г. Что касается запланированного похода в Данию, то и он был продиктован вполне реальными интересами России в Северной Европе. Помимо пресловутых амбиций Петра III как голштинского герцога, у которого Дания отняла Шлезвиг, вопрос о Шлезвиге со времен Петра I был напрямую связан с зундской пошщиной, которую Дания нещадно драла с иностранных судов за проход через принадлежавшие ей проливы¹⁸. Однако гвардия, без всякого настроя готовившаяся к походу, с готовностью подхватывала рассуждения о безрассудности этого решения. Собственно,

склонить ее к такому мнению не составляло труда. Эту нехитрую задачу блестяще и осуществила Екатерина, к тому же сняв ореол потерпевшей за патриотические убеждения. Во время торжественного приема во дворце по случаю ратификации русско-прусского договора она демонстративно отказалась поднять бокал за здоровье Фридриха II. Разразившийся по этому поводу за столом громкий семейный скандал, тут же преданный гласности, стал очень неплохим рекламным трюком, в особенности для привлечения гвардейских симпатий.

Подобный алгоритм формирования негативного имиджа хорошо понял сын Петра III, пытавшийся разобраться в причинах отцовской драмы: «Стремительное его желание завести новое помешало ему благоразумным образом приняться за оное. Прибавить к сему должно, что неосторожность, быть может, была у него в характере и от ней делал многие вещи, наводящие дурные импресии, которые, соединившись с интригами против персоны его, а не против самой вещи, и погубили его, и заведениям порочный вид старались дать»¹⁹. Тем не менее самому Павлу I не удалось защититься от «имиджмейкеров» такого сорта. Зигзаги в отношениях с Францией — переход от стремительных итальяно-швейцарских походов Суворова, предпринятых в рамках антифранцузской коалиции, к поиску компромисса с Францией и ее Первым консулом после переворота 18 брюмера — изменили вектор всей внешней политики. Последовавшая эскалация конфликта с Англией — свертывание дипломатических представительств, арест судов и товаров, приостановка платежей — подбрасывала материал для спекуляций антипавловской оппозиции. В столице начали распространяться слухи о близком и неизбежном вторжении английского флота в российские воды, об угрозе безопасности столичных жителей. Вздурораженное общественное мнение легко принимало на веру эти домыслы, включая и явную дезинформацию о намеченной эвакуации царской семьи в Москву²⁰.

Таким образом, любой переворот обострял «патриотическую» тематику, которая в зависимости от обстоятельств поворачивалась то одной, то другой гранью. Для переворотов 1740, 1762 и 1801 гг. решающее значение имели изменения внешней политики, которые в тенденциозном освещении кукловодов за-

говора подводились к выводу об опасных отклонениях лидеров державы (например, курляндские приоритеты Бирона, голштинские пристрастия и пособничество прусскому королю Петру III, безумие Павла I). В 1741 г. и отчасти в 1762 г. на передний план антиправительственной агитации выводится сюжет пагубного «засилья иностранцев» в руководстве страной. В исторической литературе совершенно справедливо и не раз отмечалась надуманность подобных версий: в действительности иностранные служащие не составляли серьезной конкуренции своим русским коллегам. Более того, многие политические деятели-иностранцы в окружении Анны Иоанновны — Миних, Бирон, как бы страхуясь от возможной критики в свой адрес, пытались, с одной стороны, упорядочить прием иностранцев на русскую службу, с другой — дать преимущества русским служащим. Так, в первой половине 1730-х годов были приняты указы, запрещающие принимать иноземцев на русскую службу без высочайшего распоряжения или повышать их в чине при вторичном вступлении в нее; жалованье русских офицеров было увеличено вдвое и уравнено с оплатой иноземцев. (Кстати, изначально более высокие ставки для иностранцев по сравнению с русскими были введены Петром I в целях привлечения квалифицированных специалистов из-за рубежа.)²¹

Тем не менее лозунг очищения от иностранцев своего дома, вызывавший сочувственный отклик в гвардейской среде, стал главным пунктом «предвыборной программы» Елизаветы Петровны и сработал безотказно. Правда, воспринятый как руководство к действию, на практике он породил серьезные проблемы для самого правительства. Серия погромных акций в столице, от которых пострадали иностранные семьи, бунт в начале 1742 г., поднятый в расположении русских частей под Выборгом против офицеров-иноземцев, создавали уже вторичную нестабильность политического положения. Вместе с тем действенность лозунга на этапе захвата власти не вызывала сомнений и побуждала и других претендентов, если и не делать его главным идейным оружием, то, по крайней мере, не списывать со счетов. В этом плане интересно отметить, что природная немка Екатерина II, поставившая с момента приезда в Россию перед собой задачу заслужить репутацию истовой русской пат-

приоткрыла и преуспевшая в этом деле, в 1762 г. также позволила выплеснуться наружу неприязненным чувствам к иностранцам. Во всяком случае, ее приход к власти был воспринят как сигнал к нападениям гвардейцев на иностранных командиров. В числе жертв криминального разгула оказались генерал-фельдмаршал, полковник конногвардейцев и командир голштинцев, дядя императрицы Георг Голштинский, а также генерал-аншеф, подполковник Кирасирского полка Н.А. Корф²².

В 1801 г. тема «иностранного угнетения» отпадала сама собой из-за принадлежности самих главных двигателей переворота к так называемой «немецкой партии» при дворе. Тем не менее в двух последних переворотах «иностранная» тема зазвучала в иной вариации — в виде слухов о намерениях Петра III и Павла I дать преимущества какой-либо из неправославных конфессий или завещать корону принцу иностранного монархического дома. В частности, один из наговоров на Петра III приписывал ему проект возведения в центре Петербурга роскошной лютеранской кирхи для гвардейцев-иноземцев, а также желание передать престол кому-либо из сородичей среди немецких владетельных князей. Точно так же в самом конце XVIII в. Павлу I был приписан умысел оформить завещание в пользу племянника императрицы Марии Федоровны принца Евгения Вюртембергского. Тематика и акценты, на которых строилась эта пропаганда, уже сами по себе довольно точно обозначали ее адресат. Вопросы внешней политики, престолонаследия, привлечения иноземцев на государственную службу — тем более «в одном пакете» — навряд ли всерьез могли волновать широкие массы городских и еще меньше сельских жителей. Они могли находить отклик только у той категории потребителей, которую затрагивали непосредственно. Это была гвардия. С одной стороны, в качестве элитной части войска она была связана с внешней политикой и остро реагировала на те ее повороты, которые ставили под угрозу завоевания предшествующих периодов, или на ситуации, когда плоды этих героических усилий пожинали иностранцы. С другой — в качестве главной вооруженной опоры правящего дома гвардия претендовала на то, чтобы ее мнение в этих вопросах, так же как и в обеспечении правильной преемственности власти, было учтено наверху. При этом аспект

ты социальной политики, экономического курса, гражданского управления, явно не находившиеся в центре ее внимания, отодвигались на второй план идеологической подготовки переворота.

Другим важным вопросом, позволявшим управлять настроениями гвардии, являлись ее корпоративные интересы. Обычно потребности профессионального корпуса военнослужащих военные социологи подразделяют на две группы — корпоративные позиционные и корпоративные ресурсные. В первую группу входят такие ценности, как неприкосновенность сферы компетенции военной машины, сложившейся иерархии, престижа, отсутствие функциональных конкурентов, доступ к центрам политической власти. Во вторую — достаточные ассигнования на военные нужды, достойная оплата военной службы, приемлемый для военных порядок назначений и отставок, наград и продвижений по служебной лестнице. Ущемление интересов в одной или другой группе влечет за собой политизацию армии или ее отдельных подразделений²³. Еще более взрывоопасную ситуацию способно породить неосторожное обращение с элитными частями. Поводы для нагнетания напряженности в этом проблемном узле давало почти каждое очередное правительство России XVIII в., пытавшееся ослабить свою зависимость от разнузданной военщины. Впрочем, борьба с преторианскими тенденциями шла каждый раз по одному и тому же порочному кругу: всемерное попустительство гвардии в виде раздачи наград, подарков, создания особых условий только усиливало ощущение безнаказанной независимости. А при каждой попытке внести коррективы в этот образ существования быстро нарастал разлад с властью.

Одним из главных направлений правительственной политики в гвардейском вопросе со времен Анны Иоанновны становилось формирование новых полков. Такие полки рассматривались как необходимый противовес старым, «петровским», вошедшим во вкус политических постановок. В 1730 г. были созданы Измайловский и Конный гвардейские полки. Первый был составлен из русских и украинских однодворцев — солдат и лифляндцев, эстляндцев, курляндцев — офицеров. Набором в полк занимался русский фельдмаршал М. М. Голицын, а во главе его были поставлены близкие к престолу лица из иностран-

ных службистов — граф К.Г. Левенвольде, Д. Кейт, Г. Бирон²⁴. Конногвардейский полк был в основном укомплектован служащими бывшего Лейб-Регимента (кавалерийской части, созданной в 1719 г.) и кавалергардами, учрежденными еще в канун коронации Екатерины I. Командиром был назначен военачальник, возвращенный из действующей армии, — А.И. Шаховской²⁵. Кроме того, по совету Миниха были созданы три кирасирских полка, один из которых получил статус лейб-кирасирского. Ядро его офицерского корпуса составили пруссаки, присланные Фридрихом II²⁶. Таким образом, власть пыталась создать военные формирования, более нейтральные по отношению к политическим раскладам и более послушные «проверенным» командирам. Из тех же соображений примерно с середины 30-х годов гвардию в нижних чинах стали укреплять выходцами из непривилегированных сословий. Например, в группе, штурмовавшей дворец в ночь на 25 ноября 1741 г., только 17,5% были дворянами, остальные представляли весь непривилегированный социальный спектр, главным образом низшие страты²⁷.

По той же схеме действовал и Э.И. Бирон, придя к власти. Над каждым полком был назначен военачальник, благонадежность которого у герцога не вызывала сомнений: Б.Х. Миних над Преображенским (правда, для вящей уверенности в лояльности фельдмаршала правитель приставил к нему своего соглядатая — принца Альбрехта), над Семеновским — клиент герцога — А.И. Ушаков, бывший адъютант и фискал Петра I. А два новых полка возглавили ближайшие сородичи герцога: Измайловский — его брат Густав, а Конногвардейский — сын Петр²⁸. Впрочем, мнительному Бирону этого показалось мало, и он ввел в столицу батальоны полевой армии. По улицам были расставлены пикеты из армейцев, призванные предупреждать возможные вспышки гвардейской вольницы. В планах герцога стояло и более радикальное преобразование — слияние гвардии с армейскими частями²⁹. Почувяв угрозу, исконно гвардейская среда быстро наэлектризовывалась. Примечательно, что Бирона свергли преображенцы — самый старый гвардейский полк, не простивший ему утраты своей исключительности.

Еще более неосторожно попытался переломить гвардейскую тягу к бесконтрольности Петр III. В марте 1762 г. он рас-

пустил старую лейб-компанию — гренадерскую роту Преображенского полка, получившую в награду за участие в перевороте 1741 г. особый статус даже внутри гвардии. В ответ лейб-кампанцы поспешили напомнить императору, что именно они привели к власти его тетку и тем самым расчистили путь к трону и для него самого. В этой справке откровенно прозвучали угрожающие нотки. Однако и такое предупреждение не остановило Петра III. Подобно своим предшественникам, он энергично расставлял доверенных лиц по полкам. Престарелый фельдмаршал Н.Ю. Трубецкой был направлен командовать Преображенским полком, бывший руководитель Тайной канцелярии генерал А.И. Шувалов — Семеновским, гетман К.Г. Разумовский — Измайловским, герцог Г. Голштинский — Конногвардейским. Разница с прежними прецедентами заключалась в том, что новые назначенцы получили звание гвардейских полковников, а полкам были присвоены их имена. Тем самым гвардия, не знавшая ранее никакого другого полковника, кроме императора, была низведена на уровень обычного престижного воинского формирования³⁰. Наконец, молодой император не очень стеснялся в крепких выражениях по поводу гвардейской склонности к политическому самоуправству, сравнивая ее с янычарскими традициями³¹. Проведенные в марте некоторые реорганизации в составе полков уже могли расцениваться как приступ к более основательной реформе, нацеленной на принципиальный пересмотр статуса гвардии (Преображенский полк был переформирован в три батальона, а из его бомбардирской роты был составлен особый двукратный батальон; Семеновскому и Измайловскому было предписано состоять из двух батальонов). Мэру опасности этих указов для верховной власти подчеркнуло их порывистое, почти судорожное упразднение Екатериной II 3 июля 1762 г. Столь же незамедлительно она отменила тесные, короткие, сшитые по прусскому образцу мундиры, раздражавшие гвардейцев. Уже в день переворота из полковых канцелярий были доставлены старые мундиры, которые раздавались прямо с возов на улицах³².

Другой причиной конфликта императора с гвардией стало напористое наступление на те паразитические привычки, которые укоренились за период женских правлений. Возрождение

старых петровских традиций, связанных с систематическими воинскими учениями и боевым использованием гвардии (напомним, что летом 1762 г. ей предстояло выступить в поход против Дании), менее чем через полвека после смерти ее легендарного основателя уже не только не будило ностальгических воспоминаний, но резко восстанавливало гвардейцев против власти. Ролью реальных, а не бутафорских командиров тяготились даже обласканные и возвеличенные Петром III сановники. Из одних уже сыпался песок, другие питали неодолимое отвращение к военным экзерцициям³³. Таким образом, требуя реального выполнения прямых служебных обязанностей от гвардейцев, Петр III стремительно терял союзников и наживал врагов. Эта прямолинейность вызывает тем больше удивления, что ее последствия можно было просчитать заранее. Репутация Петра III как противника гвардейских привилегий и образа существования сложилась еще до его вступления на престол. Опасаясь возможных беспорядков, ближайшие соратники Петра Федоровича позаботились о том, чтобы при самом его утверждении на троне была бы наготове силовая поддержка: еще за сутки до смерти Елизаветы Петровны были закрыты кабаки, под ружье поставлены верные воинские части, по улицам Петербурга разосланы конные и пешие патрули. Под дворцовыми окнами нового императора была размещена артиллерия, которую убрали только через восемь дней после его воцарения. В то же время генерал-фельдцейхмейстер П.И. Шувалов привел в состояние полной боеготовности 30-тысячный Обсервационный корпус на случай, если бы права великого князя на державное лидерство пришлось отстаивать вооруженным путем³⁴. Тем не менее в дальнейшем императору явно отказал инстинкт самосохранения. Значительная часть гвардейцев, охваченная брожением, активно поддержала группу заговора, а остальные не пожелали вступить за своего Верховного главнокомандующего в трагический для него день 28 июня 1762 г. Верными Петру III остались только его соотечественники — голштинцы³⁵.

Переворот 28 июня 1762 г. показал неравнозначность социальных опор монархии в лице всего дворянского сословия и в лице гвардейского корпуса. Первая опора, обеспеченная императору Манифестом о вольности дворянства от 18 февраля,

оказалась слишком слаба и разрознена для прочного утверждения режима. «Доброта нашего августейшего государя вызвала экстаз во всем свете; как он начинает осыпать благами прежде, нежели имеет случай видеть все наше усердие к нему, драгоценной крови Петра Великого... сделать 100 тысяч людей радостными, при том 100 тысяч дворян. Это день, который вечно должен быть благословенным», — под этими словами аристократа, дипломата И.Г. Чернышева, не задумываясь, поставил бы свою подпись любой дворянин, штатский или военнослужащий³⁶. Однако, несмотря на сбор пожертвований от дворянства для сооружения памятника императору из червонного золота, прочувствованные здравицы в его адрес многих дворян-гвардейцев, царствование Петра III не задалось. Вполне очевидно, что вопрос социальной поддержки режима решался не в плоскости отношений власти и дворянства в целом, а в плоскости отношений с отдельными политическими группировками. В свою очередь, сама возможность «раскачивать лодку» для последних определялась использованием протестных настроений гвардии.

По тому же накатанному пути пошло развитие событий и в павловское царствование. Приход к власти сына Екатерины Великой, известного своим критическим отношением к военному строительству и гвардейским порядкам в правление матери, дал толчок формированию оппозиции. Траур по усопшей императрице приобретал оттенок манифестации против идущего на смену режима. Как бы оправдывая свою репутацию, император начал с решительных перемен. Само его появление во дворце, где еще витал дух Екатерины II, сопровождалось «игрой мускулов», демонстрировавшей отпор потенциальным противникам. «Дворец в один момент получил вид местности, взятой приступом иностранными войсками», — выразил общее впечатление секретарь великого князя Александра Павловича К. Массон³⁷. Подобно Петру III, опиравшемуся на голштинцев, Павел I сделал ставку на гатчинские войска. Уже 9 ноября 1796 г. старые гвардейские полки были усилены гатчинскими батальонами. А вслед за тем началось их переформирование. Преображенский полк был заново составлен из 3 гренадерских рот и 3 батальонов по 5 мушкетерских рот каждый, Семеновский — из 2 гренадерских рот и 2 пятиротных мушкетерских батальонов.

При этом как батальоны, так и полки с 1800 г. получали именной «ярлык» своего командира³⁸. Подчеркивая личную ответственность начальника за вверенное ему соединение, такой способ обозначения низводил остальных гвардейцев до уровня безликой массы, обязанной лишь повиноваться приказам сверху. Однако это были еще только мелкие гвардейские неприятности.

С 1796 г. начали проводиться в жизнь и более крупные организационные решения, менявшие облик и структуру гвардии. В 1796 г. был учрежден лейб-гвардии Гусарский полк, а в 1798 г. — Казачий полк и артиллерийский батальон, сформированный из бомбардирской роты Преображенского полка. В 1799 г. был образован Кавалергардский корпус. В 1796—1797 гг., когда начали насаждаться новые воинские уставы, роль инструкторов была доверена гатчинцам. Возвышение этих старых сослуживцев императора, приниженных в царствование Екатерины II («гатчинской сволочи», по выражению екатерининских «орлов»), было воспринято как бесчестье старой гвардии. По мнению современников, в гатчинские войска опального наследника Павла Петровича шли только отбросы общества. Одномоментное превращение их в образцово-показательную часть войска и щедрое вознаграждение (каждый офицер получил из рук императора по 100 душ крепостных крестьян) на фоне массовых взысканий, обрушившихся на остальную гвардию, вызвало негодующие толки. Невольно подыгрывая этой реакции, власть предпринимала меры, которые снабжали мятежную часть гвардии символами противостояния режиму. Во-первых, военнослужащие были переодеты в новые формы обмундирования. Зеленый мундир сухопутных войск и белый военно-морского флота был заменен для всех родов войск на темно-синий, сближавший его с цветом прусских мундиров. Кроме того, был заметно упрощен покрой: если еще недавно мундир обходился офицеру в 120 рублей, то теперь всего в 22³⁹. Главными ритуалами при Павле стали развод и вахт-парад; получившие значение ежедневного высочайшего смотра боеготовности войска и исправности амуниции. После принятия Павлом в декабре 1798 г. звания Великого Магистра Ордена Иоанна Иерусалимского к ним присоединились торжественные церемонии мальтийских рыцарей, в частности обряд со-

жжения костров накануне Иванова дня⁴⁰. Быстро и решительно перестраивая «знаковый» фон военной службы, власть провоцировала критиков на проведение невыгодных для себя параллелей с порядками предшествующего царствования⁴¹.

Однако главная линия противоречий гвардии и власти наметилась все же в других областях — дисциплинарного режима и статусных позиций гвардии. Прекращение записи малолетних дворян на военную службу, при которой по достижении совершеннолетия они выходили в изрядные чины, требование реального, а не фиктивного исполнения служебных обязанностей, предъявленное всем, кто числился в полковых списках, поставили многих гвардейских офицеров перед тяжелым выбором. Продолжение службы отныне было сопряжено с риском суровых взысканий. Только за период с 1 мая по 24 августа 1796 г. за нерадение и пьянство было уволено со службы 117 гвардейских офицеров⁴². А из 132 офицеров Конногвардейского полка, состоявших в нем на конец 1796 г., к 1801 г. осталось только двое⁴³. За недолгое павловское царствование по линии военно-судебного ведомства (генерал-аудиториата) за разные преступления к тяжелым наказаниям (длительным тюремным заключениям, каторжным работам) было приговорено 300 генералов и офицеров, к более легким — 2600⁴⁴. С учетом общей численности офицерско-генеральского корпуса в 15 тыс. человек, эти цифры указывали на то, что высокие звания и титулы не служили смягчающим обстоятельством в глазах императора. В этом он сильно разнился с Екатериной II, склонной смотреть сквозь пальцы на проступки носителей знаменитых фамилий. Единственным разумным выходом из создавшегося положения для многих офицеров могла стать отставка. Однако в реальных условиях получить ее оказывалось не так-то и просто. Лица, просившиеся на покой не в положенный срок и не на законном основании, как правило, получали не только отказ, но и взыскание. А указом от 6 октября 1799 г. офицеры, выслужившие менее двух лет в офицерском звании, при попытке выйти из службы строго предупреждались, что будут исключены из нее «за лень» наравне с нижними чинами. Что касается дворян, исключенных из службы, то им возбранялось участие в органах дворянского самоуправления⁴⁵. Стараясь восстановить пре-

стиж военной службы среди дворянства, император одновременно столь высоко поднимал планку, что для большинства служащих она становилась неприемлемой. Одновременно с усилением требований к офицерскому корпусу были облегчены условия службы для нижних чинов. Улучшение довольствия, выдача солдатам шинелей, предоставление реального права обжаловать несправедливые решения командиров в военном суде придавали этим мерам популярность в глазах рядового состава. По этой причине антипавловский заговор сконцентрировался не в солдатской, а в офицерской гвардейской среде.

Вместе с тем была проведена реорганизация военного управления. В 1797 г. по стране учреждалось 12 территориальных инспекций во главе с генерал-инспекторами, которым предписывалось наблюдение за правильностью строевой и боевой подготовки в частях. Эта мера отвечала стремлению Павла I к централизации военного управления и унификации обучения войска. Гвардия подпадала под те же нормы. Прежде распорядительная власть в гвардейских полках принадлежала Совету старших офицеров, а Военная коллегия не имела права рассылать в полки приказы. В лучшем случае ей надлежало с ними сноситься при помощи промеморий — документов, подчеркивавших равный статус корреспондентов⁴⁶. Отныне гвардия передавалась в ведение Военной коллегии и лишалась той доли полкового самоуправления, которая составляла ее привилегию. Вместе с утверждением принципа единоначалия в самих полках эта мера означала перестройку всей системы управления гвардией.

Император, невысоко ставивший боевые качества гвардейцев, решительно пресек и практику переводов из гвардии в армию со значительными повышениями в званий. (Скажем, нормой для Екатерининских времен считалось выпускать сержантов гвардии в армию капитанами, капитанов полковниками или бригадирами⁴⁷.) Всеобщая обязательность новых служебных порядков выразилась и в том, что император без всяких поправок ввел их в собственной семье. Если Константин Павлович, участник походов Суворова, имевший к тому же врожденную склонность к военной службе, относительно легко к ним приспособился (в 1800 г. удостоился даже отцовской похвалы

как инспектор кавалерии), то Александр Павлович был морально раздавлен. После сибаритского существования под опекой Екатерины II, когда, по словам современника, он жил «более изнеженно и более темно, чем наследник султана внутри гаремов сераля»⁴⁸, переход к физическим перегрузкам и огромной должностной ответственности оказался для наследника непосильным. Собственно, сам список порученных должностей заведомо ставил его в уязвимое положение: он был первым петербургским военным губернатором, шефом Семеновского полка, инспектором кавалерии в Финляндской дивизии, председателем комиссии по продовольствию, постоянной повинности и общей полиции в столице⁴⁹. В этих условиях склонить его к досрочному приходу к власти в обход отца было не так уж сложно.

Гораздо сложнее было организовать машину заговора, которая бы объединила всю вертикаль участников — от рядовых исполнителей из гвардейской среды до главных «заказчиков» из политической верхушки. Или, выражаясь словами руководителя заговора П.А. Палена, превратить ватагу из «300 молодых ветреников и кутил, буйных, легкомысленных и несдержанных»⁵⁰ в послушный и отлаженный инструмент в руках организаторов. Понятно, что само по себе ущемление гвардии в корпоративных и ресурсных потребностях еще не давало желаемого результата. Между массой людей, охваченных брожением, и отрядом боевиков, готовым вторгнуться в дворцовые покои, существовала дистанция большого размера. Для превращения замысла переворота в реальность требовалось, во-первых, довести до нужной психологической кондиции потенциальных участников, а во-вторых, придать им стройное единство. Опыт российских дворцовых революций, осуществленных при помощи гвардии, показывал, что эти две задачи были неотделимы друг от друга. Определенная настройка сознания этого контингента в духе агрессивных посылов (в терминах современной психологии — активизация промежуточных звеньев в цепочке «фрустрация — агрессия»), в свою очередь, давала раскрутку необходимым организационным процессам⁵¹. Представление в угрожающем свете внешнеполитического курса, игра на соперничестве с другими воинскими соединениями, приписывание монарху самых крайних планов относительно гвардейских частей,

нагнетание негативных эмоций вокруг потенциального объекта агрессии — эти и многие другие приемы усиления конфликтных установок давали в военной среде вполне предсказуемый организационный эффект.

Диалектика превращения умелой подначки в феномен монолитной группы захвата хорошо прослеживается на конкретных фактах. В 1740 г. на свой страх и риск Миних объявил гвардейским полкам, что герцог Бирон для их обуздания собирается ввести в столицу шесть армейских батальонов. Ярость, захлестнувшая гвардейцев, помешала распознать очевидный блеф, а фельдмаршалу позволила продолжить подстрекательскую линию. Произнесенная им ночью 7 ноября короткая речь с инвективами в адрес временщика была воспринята как руководство к действию сплоченной дружиной добровольцев, несколькими часами позже покончившей с режимом бироновщины. Тот же прием сработал и в 1741 г., когда на призыв дочери Петра Великого «послужить» ей «верностью», как один, поднялись 300 гренадеров-преображенцев. Правда, этому порыву предшествовало длительное кумовство и «ассамблеи цесаревны с гренадерами» (по выражению императрицы Анны Иоанновны). В атмосфере осмеяния и порицания непопулярного правительства на этих встречах незаметно отработывалась та модель взаимодействия, которая обеспечит тревожной ноябрьской ночью безукоризненно слаженные действия: вначале часть солдат распропагандирует караул канцелярии полка, затем вся команда двинется к дворцу и молниеносно заблокирует входы, одни арестуют во внутренних покоях Брауншвейгскую семью, а другие возьмут под стражу членов Кабинета министров в городских домах⁵².

Тот же инструментарий был апробирован вожаками заговоров и в 1762 г., и в 1801 г. Вздурораженная внешнеполитическими кульбитами правительства и усложнением профессиональных требований старая гвардия охотно принимала на веру даже маловероятные сообщения. В 1762 г. она бурно отреагировала на фальшивые сведения о том, что Петр III намерен объявить голштинские полки лейб-компанией. Поэтому на призыв премьер-майора Измайловского полка Н. Рославлева к своим подчиненным — «спасти угнетенное Отечество» — 27 июня 1762 г. откликнулись уже стройные шеренги боеви-

ков. В 1801 г. распространялись слухи о якобы принятом решении Павла I расформировать и разослать по отдаленным гарнизонам старые гвардейские полки⁵³. Кроме того, в расчете на более сильную ажитацию в 1800 г. Пален добился разрешения на въезд в Петербург офицеров, высланных оттуда за разные проступки в предшествующие годы. А затем, действуя от имени царя, постарался создать для них массу неудобств. Неудивительно, что значительная часть этой публики пополнила ряды заговорщиков⁵⁴. А патетические речи о неслосной тираннии на вечерних собраниях у Зубовых в марте 1801 г. были встречены приветственными возгласами готовых к делу участников штурма.

Последний штрих в эту композицию сил вносила интерпретация личности монарха, которая резюмировала собой все претензии к режиму. Образ негодного государя, прямиком ведущего отечество к гибели, становился важнейшим консолидирующим символом заговорщиков. Во-первых, он служил полному оправданию предстоящей расправы, во-вторых, поднимал ее участников до уровня борцов с самовластием, в-третьих, превращал сообщников по преступлению в соратников по справедливой борьбе. Собственно, редукция личностных черт и поступков монарха — мишени заговора — до символа, вызывающего к сопротивлению, представляла собой базовое условие для развития любого подобного предприятия. Другой платформы объединения у его действующих лиц попросту не было. В отличие от более сложных групп с четкими границами, идеологией, ритуалами, правилами дворцовые заговорщики создавали инструментальные ассоциации — объединения, выраставшие только на почве общего противника, мнимого или реального⁵⁵. Поддержание сильного негативно-эмоционального фона вокруг объекта заговора являлось решающим фактором групповой сплоченности⁵⁶. В этом психологическом климате происходила окончательная перестройка восприятия членами группы самих себя и намеченной жертвы. Аналогию этим процессам можно найти в психологии и поведении любого преступного сообщества. Исследователи, занимающиеся данным феноменом, отмечают неосознаваемое (или плохо осознаваемое) стремление преступника к консонансному знанию. В противоположность когнитивному диссонансу — дискомфортному состоянию, основанному на противоречивых представлениях индивида, консонанс —

психологический комфорт — достигается переработкой исходной информации в гармоничном ключе. Подобное преобразование происходит за счет нескольких механизмов. Это — вытеснение, то есть игнорирование той части информации, которая не согласуется со значимой установкой субъекта; рационализация — подбор логических аргументов для обоснования своих действий; компенсация — поиск оправданий своим деяниям, идеализированное изображение собственных мотивов и очернение противника; проекция — перенесение на него собственных отрицательных свойств, что придает преступлению как бы вынужденный характер⁵⁷. Все эти приспособления были вполне характерны и для российских дворцовых заговорщиков.

Показательно, что в общественном сознании и современников, и потомков свергнутые правители запечатлелись именно в том образе, который им постарались придать удачливые экстремисты. Так, Бирон и Брауншвейгская фамилия навсегда остались хищными авантюристами, от которых российский народ был избавлен Елизаветой Петровной — родной кровью и истинной продолжательницей царя-преобразователя. Петр III — как придурковатый и слабовольный царь, готовый променять благо великой державы на выгоду для своей маленькой Голштинии или признательность прусского короля. Павел I — как деспот и безумец, который наломал бы еще больше дров, если бы не был вовремя остановлен. Столь же серьезный угол смещения в оценке действительности отражался и в фальстарте, который срывал с места заговорщиков ранее запланированного срока. Поскольку намерения противника рассматривались сквозь призму собственных агрессивных импульсов, любой мелкий шорох во вражеском стане приобретал значение прямой угрозы жизни и безопасности.

Как бы то ни было, выступления заговорщиков, подготовленные или скороспелые, показывали высокую результативность. В определенном смысле можно утверждать, что экстремистские группы все более и более тяготели к автаркическим схемам, учась достигать целей вне зависимости от политической конъюнктуры и даже более или менее благоприятных условий окружающей обстановки. Чем дальше, тем заметнее подрывная работа ставилась на профессиональную основу. По справедливому замечанию американского социолога Дж. Нар-

до, люди, которые исходят из детерминирующего значения внешних обстоятельств деятельности, становятся историками, люди, которые своей практикой опровергают эти представления, становятся профессиональными революционерами⁵⁸. Наиболее впечатляющий пример такой «революционной» эффективности представляло собой прерывание на восходящей стадии политической деятельности Павла I. Вполне адекватная по целям и методам своей эпохе и получившая поддержку со стороны значительной части подданных — провинциального дворянства, армии, крестьянства, она была скомпрометирована напористой политической интригой. А личностные черты и наклонности монарха, не выпадавшие из ряда традиций романовского дома от Петра I до Николая I, выставлены в искаженном свете⁵⁹. Собственно, большой запас прочности павловского режима и соответственно необоснованность диверсионных усилий невольно охарактеризовал Пален. Пытаясь притупить подозрения царя и заверяя его в невозможности повторения событий 28 июня 1762 г., он довольно точно определил сильные стороны правления: «Не старайтесь проводить сравнений между вашими опасностями и опасностями, угрожавшими вашему отцу. Он был иностранец, а вы русский; он ненавидел русских, презирал их и удалял от себя, а вы любите их, уважаете и пользуетесь их любовью; он не был коронован, а вы коронованы; он раздражил и даже ожесточил против себя гвардию, а вам она предана. Он преследовал духовенство, а вы почитаете его; в его время не было никакой полиции в Петербурге, а нынче она так усовершенствована»⁶⁰.

Тем не менее именно тогда, когда происходил этот разговор, подготовка заговора уверенно шла к финишу, а жизнь Павла висела на волоске. Логика событий с запрограммированным результатом становится понятной из предыдущего контекста. Возникавшие еще с 1796 г. конспиративные кружки антипавловской ориентации выступали сильным ферментом офицерской фронды («канальский цех» в Смоленске с участием протеже А.В. Суворова, отставного полковника А.М. Каховского, полковника Д.С. Дехтерева и командующего ротой артиллерийского батальона подполковника А.П. Ермолова — все клиенты Зубовых; примерно в то же время группа заговора сло-

жила в ближайшем окружении А.В. Суворова (тестя Н.А. Зубова) в подчиненном ему Новороссийском округе; сеть критиков Павловского режима создал вокруг себя «Санкт-Петербургский журнал», опубликовавший в 1797—1798 гг. несколько выпусков с выпадами против правительства). Ликвидация этих очагов дестабилизации внутреннего порядка — свертыwanie или перенос деятельности в глубокое подполье — восполнялась другими средствами: публичным дезавуированием военной политики Павла I прославленным полководцем Суворовым⁶¹ и гвардейской пропагандистской литературой. С конца XVIII в. появились свои мастера сатиры, специализирующиеся на «лепке» образа никчемного монарха — шаржированной копии прусского короля. Это были поэт-преображенец С.Н. Марин и его сослуживцы — литератор-дилетант А.В. Аргамаков, начинающий комедиограф А.А. Шаховской⁶².

В рыхлом, не освоенном массовыми коммуникациями информационном пространстве даже маломощный источник направленного воздействия создавал сверхвысокие величины информационного давления. А по своей результативности он был сопоставим с массивным информационным вторжением. В глазах наблюдателей политический процесс все более и более насыщался тем цветом и смыслом, которые ему пытались придать вдохновители заговора. Дальнейшая целевая настройка сознания потенциальных исполнителей уже формировала ожидание насильственной развязки и веру в ее оправданность. В этом плане обращает на себя внимание, что каждое прерванное правление почти с первых дней сопровождала циркуляция слухов о неизбежном и близком падении. Такие толки сопутствовали первым государственным мероприятиям Бирона. И это несмотря на истовое желание герцога завоевать популярность среди своих подопечных и подчиненных!⁶³ При утверждении правительства Анны Леопольдовны ходили разговоры о том, что его дни сочтены⁶⁴. Предсказания близкого низложения Петра III уже в первые месяцы его царствования не были секретом для дипломатического корпуса и даже иностранных дворов⁶⁵. А за день до переворота в столице упорно муссировался слух о том, что он разбился насмерть, упав с лошади⁶⁶. Для Павла эти факторы работали с утроенной силой. Необъявленный смерт-

ный приговор императору был широко известен еще до того, как заговорщики приступили к вербовке боевиков среди гвардейских офицеров⁶⁷. Показательно, что весть о смерти императора разнеслась по городам и весям прежде, чем это позволяли средства связи XVIII в. В частности, молодой аристократ, выпускник Московского университета Ф.П. Лубяновский, приехавший ранней весной 1801 г. в Дрезден, с изумлением узнал, что «там получили известие о кончине императора Павла прежде официального, частное — с непонятной скоростью, хотя тогда... не было телеграфов и железных дорог»⁶⁸. Слухи, наделявшие правителя аурой обреченности, в перспективе задуманной операции играли роль каналов насилия. Канал — проводящий путь для реакции, который помогает вызвать или сохранить поведенческое намерение особой интенсивности⁶⁹. Применительно к исполнителям преступного заказа он давал сильный мобилизующий эффект: придание провиденциального смысла действиям боевиков устраняло последние психологические барьеры перед наступлением. Отметим, что в истории было немало примеров тому, как даже спонтанные, «случайные» слухи меняли ситуацию в пользу слабых инсургентов⁷⁰. В российской переворотной традиции действовал целенаправленный генератор слухов, придававший определенный вектор развитию событий.

К 1801 г. приемы манипулирования людьми и ситуацией, освоенные заговорщиками, достигают столь высокой степени технологизма, что снимают необходимость предварительной тренировки, инструктажа исполнителей и даже... открытого объявления намерений со стороны вождей заговора. Резкие обличительные заявления о режиме и его главе на военной сходке выводили ее участников на абсолютно ясную схему действий. Примечательно, что во время общего сбора исполнителей переворота 11 марта ни тема штурма Михайловского замка, ни устранение императора вообще не обсуждались.

Несколько ключевых фраз, произнесенных вожаками заговора о России, «страждущей под гнетом безумного самовластия», однозначно прочитывались как кодовое наименование хорошо известной операции. Опираясь на концепт современной когнитологии, следует говорить об утверждении «фреймов, или сценариев переворотного действия». Фрейм как хранили-

ще информации, аккумулирующее весь прошлый опыт человека, позволяет ему с безошибочной точностью ориентироваться в незнакомой обстановке. «Понимание представляет собой процесс, основа которого лежит в памяти, особенно в памяти тесно связанных между собой возможностей, доступ к которым обеспечивается через припоминание, а выражение которых осуществляется через аналогию» — так описывает реализацию усвоенного знания один из современных исследователей⁷¹. Опираясь на них, индивид обретает способность к мгновенному распознаванию ситуаций и связанных с ними ролей, свойств вещей и правил поведения. Пререводя разговор на интересующий нас предмет, необходимо отметить высокую степень технологизации в смещении и утверждении правительств и автоматизм действий военных в политических пертурбациях.

По-видимому, наиболее кратко технику переворотов с участием гвардии можно было бы описать как тонкую настройку ситуативных факторов, при которой потенциальные исполнители подвергались активной идейной и психологической обработке со стороны «заказчиков». В свою очередь, эти рычаги управления ситуацией были функциональны только в границах примитивной политики, где, кроме верховной власти, не действовали никакие иные независимые институциональные субъекты и альтернативные источники информации. Положение безраздельного монополиста подрывало безопасность абсолютистского государства на важнейшем участке — в борьбе за умы и лояльность подданных. Серьезная постановка официальной пропаганды, являющаяся, как правило, коррелятом столкновений разнонаправленных идеологических тенденций в обществе, не рассматривалась как отдельная задача в системах, где политический плюрализм исключен как принцип. Именно на это поле, не освоенное государственной властью, врывалась мощная контрпропагандистская машина заговора. Легко устраняя защитные барьеры в сознании, она быстро приводила к идейно-политическому отложению элитных военных частей. А соединение военных и гражданских функций в руках отдельных титулованных заговорщиков позволяло создавать проникающие формы контроля над общественным мнением, когда информация из окружающей социаль-

ной среды накладывалась на управляемые настроения гвардейских кругов. В результате образовывалась своеобразная интерференция влияний, содействовавшая сильной односторонней политизации военных и их вовлечению в конспиративные группы.

При более широком ассортименте субъектов политики и средств информации поддержание группового единства и боеготовности уже требовало бы более мощной экипировки (идеологии, собственных культурных артефактов, ритуалов и правил поведения, морали, санкций по отношению к ренегатам и отщепенцам). Заметим, что однородность политических ориентаций штурмовых отрядов, их защищенность от разлагающего воздействия гражданской контрпропаганды неизменно составляла одну из главных проблем лидеров военных переворотов, в какой бы точке земного шара они ни находились. Успешнее прочих ее решали те армейские руководители, которым удавалось вычистить из своего ведомства колеблющиеся, ненадежные элементы и достичь желаемой монолитности рядов (как, например, это проделал А. Пиночет, освободившись к 1973 г. под разными предлогами от сторонников С. Альенде). Либо те, которым удавалось подключить к политическим схваткам не ангажированный другими политиками экспедиционный корпус, расположенный вдалеке от политического центра (как это осуществил Ф. Франко в 1936 г., перебросив с помощью итальянского и германского авиатранспорта войска с Африканского континента в пекло испанской герильи и мгновенно овладев там ситуацией). Для российских реалий XVIII в. эта проблема решалась за счет более простых схем «подтягивания» информационного поля к замыслам лидеров заговора.

5.4. Заговор: роли и исполнители

Заметное возрастание потенциала заговорщиков шло и по линии организации сил. Постепенно выкристаллизовалась структура, наиболее оптимальная для решения поставленных задач. Группа заговора отстраивалась не как монолитный блок, но как многосоставная система, объединяющая секции разного

иерархического уровня и функционального назначения. С течением времени от основной массы участников все больше обособлялся штаб из главных «заказчиков» — он целиком и полностью сосредоточился на стратегическом планировании и координации действий. В 1725 г. такое разделение труда еще не определилось. Лидеры, возглавлявшие партию соратников Петра Великого — А.Д. Меншиков и И.И. Бутурлин, — совмещали функции и «мозгового треста», и командиров военного дефиле перед дворцом. В 1730 г. уже просматривались контуры специализации участников с выделением руководящего центра. Интеллектуальную поддержку Анне Иоанновне в организации контрпереворота предоставила небольшая группа противников Верховного Тайного Совета, сделавшая свой выбор в пользу традиционного самодержавия (А.М. Черкасский, Н.Ю. Трубецкой, А.Д. Кантемир, Ф. Прокопович). В 1740 г. формально всей подготовкой заговора заведовали фельдмаршал Б.Х. Миних и его адъютант Х.Г. Манштейн. Однако фактическую роль штаба сыграл кружок крупного правительственного чиновника М.Г. Головкина, разработавший план действий¹. В 1741 г. в данном качестве выступила сама цесаревна Елизавета Петровна вместе со своими придворными Шуваловыми и Воронцовыми и медиком Лестоком. В 1762 г. пятеро братьев Орловых и несколько крупных военных и гражданских чинов (Н.И. Панин, генерал-поручик Б.А. Куракин, генерал-аншеф, подполковник Конной гвардии М.Н. Волконский, адмирал И.Л. Талызин). А в 1801 г. — военный губернатор Петербурга, начальник почт и руководитель внешней политики П.А. Пален, дипломат Н.П. Панин и братья Зубовы.

Посредниками между штабом и рядовыми исполнителями выступали привлеченные к заговору военные командиры. На долю этого звена падала наиболее ответственная часть работы: мобилизация ударной группировки, проведение самой операции, обеспечение безопасности всей системы. Отсюда проистекало правило — приглашать на эту роль лиц, располагающих реальным влиянием в войсках. В 1730 г. это были гвардейские подполковники С.А. Салтыков и Г.Д. Юсупов, в 1741 г. — фельдмаршал, подполковник Измайловского полка принц

Л.И. Гессен-Гомбургский, генерал в отставке В.Ф. Салтыков². В свою очередь, начало партии заговора среди гвардейцев положил солдат Преображенского полка, в прошлом обанкротившийся купец П. Грюнштейн³. В 1762 г. под руководством ближайших сподвижников Екатерины II всю работу выполнили 30—40 гвардейских офицеров, возглавлявших соответственно четыре отдельные бригады боевиков. В 1801 г. оформилась более сложная градация среди военных специалистов. Ключевые фигуры численностью не более 12 человек, в том числе командир преображенцев П.А. Талызин, шеф кавалергардов Ф.П. Уваров, командир семеновцев Л.И. Депрерадович, командиры измайловцев — В.А. Мансуров и Н.И. Бибилов, действовали через подчиненных им средних и младших офицеров. А уже этот отряд (численностью около 60 человек) и обеспечил явку нижних чинов к Михайловскому замку. Таким образом, переворотная традиция в России все более и более приобретала облик классического военного переворота со ставкой организаторов на офицеров среднего и младшего звена. Именно этот состав, как показывает опыт многих стран, примерно на 25% успешнее проводит операцию по захвату власти, чем офицеры высшего звена. Причина довольно проста: средний или младший офицер, тесно связанный с солдатской массой, способен добиться от нее в решающие моменты большей отдачи, чем командир высокого ранга, не знающий рядовых ни в лицо, ни по имени⁴.

При этом военные посредники, какого бы ранга они ни были, как правило, располагали дозированной информацией о планах центра, не относившихся к «технической» стороне дела. Еще более жесткая информационная блокада вводилась для обычных исполнителей. Скажем, 10 000 нижних чинов, которые, по словам Екатерины II, поддержали ее во время переворота, узнали о своей миссии только с началом воцарившейся в городе кутерьмы. А рядовые, выведенные командирами в ночную экспедицию 11 марта 1801 г., вообще открыли для себя смысл произошедшего только ранним утром 12 марта, когда перед строем собравшихся войск командование сообщило о смерти Павла I и вступлении на престол его сына. Неодинаковая степень осведомленности о целях и плане действий разных иерархических групп участников являлась компонентом «техники

безопасности» заговора. Подобная предосторожность помогала организаторам скрываться от политического сыска и сохранять костяк наиболее ценных исполнителей. В то же время она являлась условием механического выполнения ролевых функций низшего звена в момент штурма. Опираясь на многочисленные наблюдения за поведением групп и массовых скоплений, современные социальные психологи отмечают, что при непонимании смысла собственных действий у людей резко возрастает предрасположенность к подчинению руководителям, четко и уверенно отдающим приказы⁵. (Заметим, что эта традиция «слепого» использования рядового состава переживет дворцовые революции XVIII — начала XIX вв. и будет также взята на вооружение декабристами.)

Еще одно подразделение заговора, подчиненное центру, во второй половине XVIII в. составляли гражданские специалисты. На них возлагалось идеологическое оформление предстоящего передела власти. В трактовке С. Файнера, эта важнейшая часть заговора обозначается как *pronunciamento* (pronunciamento) и являет собой «пиаровское» сопровождение переворота. Усилия ответственных за нее лиц воплощаются либо в устном возглашении смены правящего режима, либо в письменных текстах, объясняющих широкой публике причины и цели переворота⁶. В 1762 г. этот участок работы был поручен Н.И. Панину и Е.Р. Дашковой, которые попытались использовать свои полномочия также и для конституционного ограничения самодержавия, но не преуспели в этом деле⁷. Зато в полной мере оказались востребованы услуги талантливого чиновника Г.Н. Теплова (в прошлом ученика Ф. Прокоповича и соратника А.П. Волынского) и гетмана К.Г. Разумовского: именно они подготовили Манифест, провозглашавший приход к власти Екатерины II⁸. Та же ситуация повторилась и в 1801 г. Из заготовок всей команды, которая трудилась над проработкой основ будущего правления, вплоть до его конституционного оформления, «ко двору» пришел лишь единичный документ⁹. Это был текст Манифеста старого Екатерининского статс-секретаря Д.П. Троицкого о начале царствования Александра I с отсылками на «заветы и сердце» великой бабушки. Следует думать, что конституционные искания не сочетались с базовыми устремления-

ми устроителей переворотов. Накопление опыта и умений в рамках этой традиции, главным образом, касалось организационных навыков и техник исполнения.

Организационный почерк российских дворцовых заговорщиков позднего этапа предвосхищал практику западных мятежных братств первой четверти XIX в., строившейся по рецептам магистра революционных технологий А. Вейсгаупта. Именно тогда были опытным путем доказаны преимущества радиального строения конспиративных групп с непересекающимися звеньями и обособленным, глубоко скрытым руководящим ядром (см. главу 6). Кроме того, определенную параллель можно провести и с организационными принципами знаменитой сицилийской мафии, создавшей идеальные схемы взаимодействия как внутри своего сообщества, так и с внешними контрагентами. Иерархическая структура, соединяющая в иерархической постепенности низшие ячейки — «десятки» во главе с хозяином — «капо» с «семьей» во главе с патроном и «королем» на вершине пирамиды, скреплялась так называемой *omerta* (круговой порукой, послушанием). Солидарность и спайка мафиозных ячеек, агенты влияния в официальных структурах власти доставляли мафиози возможность эффективно проводить свои решения в жизнь, вплоть до устранения неугодных лиц¹⁰. А раздельность и конспирация деятельности иерархических единиц позволяла успешно скрываться от властей. При разном цикле жизни заговорщических группировок в России и сицилийских мафиози — первые носили краткосрочный характер, а вторые были рассчитаны на долгосрочное существование — их способность к успешной политической интервенции оказывалась вполне сопоставимой.

Подытоживая обзор, остановимся еще раз на базовых социально-политических параметрах, благоприятствовавших на протяжении XVIII — начала XIX вв. дворцовым переворотам с участием гвардии. Это, во-первых, изменение в балансе социальных сил, вытекавшее из обращения поднимающегося абсолютизма к новым социальным опорам и открытия новых каналов вертикальной мобильности в обществе. *При неполной расчлененности государства и общества, преобладании этатристической стратификации (при которой социальное положение человека определяется его местом в иерархии вла-*

сти) напор восходящих сил был неизбежно направлен к вершине власти. В свою очередь, ограничения в мобильности, слабая регламентация процесса продвижения, отсутствие медиаторских структур и процедур разрешения межгрупповых противоречий толкали конкурирующие группировки на неправовые способы взаимного расчета через институт верховной власти. В этой связи на дворцовые перевороты XVIII в. можно взглянуть и под углом зрения стремлений активных общественных группировок явочным порядком утвердить политику как самостоятельную сферу регулирования отношений в обществе и отношений власти с обществом.

Соучастие военных профессионалов в заговорах и переворотах обуславливалось зыбкостью, неустойчивостью границ между военным и гражданским сегментами российского социума того времени. В этой связи уместно вспомнить характеристику А.И. Герцена российской гвардии и российского образованного общества как взаимозаменяемых понятиях вплоть до начала XIX в.¹¹. Военные — члены патронажно-клиентарных группировок становились либо инициаторами, либо активными пособниками гражданских устроителей заговоров, охотно предоставляя в их распоряжение свой ресурс влияния в войсках. В свою очередь, возможность привлечения войсковых масс или склонения младших и средних офицеров на сторону заговора в значительной степени обуславливалось многопрофильным использованием армии в государственной политике. Человек в военной форме, отправлявший разнообразные должности не только по военному ведомству, но и по гражданскому управлению, остро ощущал свою сопричастность ко всему происходящему в стране. При определенной накрутке он был способен аффективно отреагировать на факторы, создававшие мнимую или реальную угрозу его базовым ценностям.

Однако такое политическое участие ни в коем случае не было результатом его свободного выбора среди альтернативных политических программ и организаций. Оно не приближало, а удаляло его действующих лиц от тех стандартов политической борьбы, которые утверждались в ту же эпоху в странах Западной Европы. Если в начальной точке формы активности российского дворянства и его собратьев в западных странах совпадали, то в ходе дальнейшей эволюции они радикально расходи-

лись. Западные политические клики сравнительно легко трансформировались в легитимные политические партии, закладывая фундамент европейской демократии. Российские клики перерождались в объединения экстремистского толка, специализирующиеся на насильственном смещении монархов и правительств. При сверхвысоких ставках и сверхвысоких рисках игры весь запас интеллектуальных сил и организационных способностей участников уходил на разработку изощренной тактики действий. В логической перспективе эти черты вели к нарастающей безыдейности в кругу заговорщиков и к принятию ими за основу деятельности переворота — гольпа. Этим понятием (*golpe de estado*) в военной политологии принято обозначать акцию силового захвата и уничтожения главы государства. Главные признаки гольпизма (иногда не вполне корректно подменяющегося в исторической литературе понятием *coup d'état*) составляют: тщательное планирование операции, опирающееся на трезвую оценку обстановки в стране и учет расстановки внутренних сил, привлечение надежных войсковых единиц, организация пропаганды, дезавуирующей мишень заговора, быстрота и натиск в проведении самой силовой акции¹².

Какой тип личности пестовала традиция дворцовых переворотов?

Интересный материал для понимания системы убеждений ключевых фигур переворотных действий дает контент-анализ их личных записок и воспоминаний. Нами был обработан массив этих источников: в выборку были включены по два (примерно равных по объему) авторских текста, отложившихся от каждого из шести дворцовых переворотов¹³.

План-макет кодировки был составлен на основе наиболее значимых категорий мышления и поведения участников политической борьбы этого времени: оптимальная форма правления; формы политического участия; ценностные ориентации в политике; целевые установки политической деятельности; мотивация политической активности; методы достижения стратегических целей; тактика действий с учетом ситуативных факторов; структура ролей и участников заговора; обоснование агрессии с точки зрения характеристик политического режима. В свою очередь, каждый из перечисленных крупных тематиче-

ских блоков был подразделен на более мелкие рубрики (подтемы), охватывающие весь спектр возможных позиций. В качестве смысловой единицы анализа была выбрана тема, в качестве единицы счета — количество упоминаний. Результаты обработки материала показали резкую асимметрию в распределении внимания авторов по тематическим блокам.

Наибольшим удельным весом отличается блок **«Методы достижения стратегических целей»** (26,4% от всего информационного массива). При этом приоритетными для этой группы деятелей являются крайне радикальные методы управления политической ситуацией (провокация, военная операция с целью насильственной изоляции противника, военная операция с целью физического устранения противника). Они охватывают 53% объема всей информации по тематическому блоку и представлены примерно в равных пропорциях у всех авторов. Методы, связанные с диалогом (переговоры с целью достижения компромисса, позиционный нажим), не рассматриваются как адекватные решаемым задачам. Важно отметить, что наибольшую готовность к поиску того или иного консенсуса с оппонентами отразили в своих записках лишь В.Н. Татищев и Ф. Прокопович — участники уникального для России прецедента — свободного обсуждения политической реформы в январе — феврале 1730 г.

Второе место после **«Методов достижения стратегических целей»** по информационной насыщенности занимает тема **«Формы политического участия»** (22% от всего информационного массива). Здесь аккумулируются представления авторов о наиболее эффективных и доступных каналах влияния на ход событий. Примечательно, что в 46% случаев для них — это неформальные группы и межличностные связи, а в 36% случаев — государственный аппарат и служебные отношения. (Такое соотношение в предпочтениях характерно для всех изучаемых авторов.) Другие формы политического участия — обращения напрямую или через приближенных лиц к монарху или деятельность через корпоративные сословные органы — не пользуются спросом среди этой группы деятелей.

Заметное, хотя и не столь большое место, как две предыдущие, занимает тема **«Тактика действий с учетом ситуатив-**

ных факторов» (17% от информационного массива). Здесь зафиксированы те предпочтения, которые в конечном счете и определяют «формат» выступления заговорщиков. В подавляющем большинстве случаев (72% от всего наполнения этого блока) заговорщики обнаруживают наклонность к немедленному упреждающему нападению по сигналу тревоги (реальному или мнимому), в 20% случаев тяготеют к откладыванию операции вплоть до более обстоятельного выяснения обстановки и только в 7,7% случаев изъявляют готовность следовать плану с датой выступления, приуроченной к какому-либо значимому событию (междущарствию или некоей знаменательной дате).

Следующей по информационной плотности идет тема **«Обоснование агрессии с точки зрения условий политического режима»** (ей принадлежит 16% от всего массива информации). Притом основное место (52% от информации по тематическому блоку) отводится личным качествам правителя — намеченной жертвы заговора. Ему приписываются «типичные» пороки: предательство интересов державы, преступная халатность в исполнении долга главы государства и даже физическая и умственная неполноценность.

«Мотивация политической активности» (11% от всего информационного массива) показывает слабую рефлексию участниками переворотов тех побудительных мотивов, которые обусловили их выход на большую политическую сцену. В их отображении — это в основном реактивные мотивы, конкретнее — реакция на угрозы жизни и безопасности, которые поступают из окружающего мира. Иными словами, в собственном понимании они действуют в интересах личной и групповой самообороны. Из проактивных мотивов, то есть тех, которые связаны с достижением некоего положительного результата, лидирует стремление к «перераспределению власти и собственности в пользу своей группы». Что касается «идейного» мотива, то он имеет место только в единичных упоминаниях у Прокоповича и Татищева («практическое воплощение политических идеалов»).

В зоне почти полного «молчания» оказываются темы «Структура ролей и участников в группе заговора», «Ценностные ориентации в политике», «Целевые установки политической деятельности», «Оптимальная форма правления». (По последним

двум темам проскальзывают лишь единичные информационные сигналы у Татищева и Прокоповича, являющиеся отголосками споров по этой проблематике в период конституционного движения 1730 г.)

Результаты обработки информационного массива позволяют дать небольшой набросок к психологическому портрету того социального персонажа, который энергично включался в политические ристалища с использованием гвардейской силы. Анализ позволяет предположить в нем личность, травмированную чужим успехом. Жажда самоутвердиться и одолеть более удачливых соперников составляла центральный мотив ее деятельности, отодвигая на задний план идеальные цели и конструктивные помыслы. Свою ущербность и слабосилие она компенсировала принадлежностью к могущественной группировке. Этот путь давал ей многократное увеличение потенциала. Идентификация с коллективными ценностями помогала вытеснить из сознательной части психики те мысли и желания, которые расходились с общепринятой моралью. По определению немецкого психолога юнгианской школы Э. Ноймана, эти постыдные элементы обозначаются как «тень». Победив ее и перестроив взгляд на вещи, «ограниченный индивид теряет связь со своими ограниченными возможностями и становится бесчеловечным»¹⁴. Одновременно принадлежность к группе служила раскрепощению внутренней агрессии. Отныне она проецировалась на внешний мир в виде коллективного мифа о негодном правителе, влекущем страну в пропасть. Вместе с тем внутреннее пространство этих людей было заполнено страхом перед вероятным разоблачением и наказанием. Сквозь его пелену поведение противника выглядело провокационным, а насилие, которому он подвергался, рассматривалось как единственно возможный в сложившейся ситуации способ самозащиты.

Примечания к главе 5.1

¹ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 37. С. 443.

² Анисимов Е.В. Путники, прошедшие прежде нас. // Безвременье и временщики. Воспоминания об «эпохе дворцовых переворотов». (1720—1760-е годы). Л., 1991. С. 5—6.

³ Каменский А.Б. От Петра I до Павла I. С. 215.

⁴ Там же, с. 143.

⁵ Волкова И.В., Курукин И.В. Феномен дворцовых переворотов в политической истории России XVII—XX вв. // Вопросы истории. 1995. № 5—6. С. 45.

⁶ Huntington S. Political Order in Changing Societies. Yale University Press, 1968. Pp. 194, 198.

⁷ Ibid. P. 221.

⁸ Finer S. E. Op.cit. Pp. 102—103.

⁹ Beyrau D. Op.cit. Ss. 86, 192.

¹⁰ Ibid. S. 195—196.

¹¹ Merton R. K. Social Theory and Social Structure. Glencoe, 1957. Pp. 156—159.

¹² Егоров А.Б. Рим на грани эпох. Проблемы рождения и формирования принципата. Л., 1985. С. 120.

¹³ Машкин Н.А. Принципат Августа. М.—Л., 1949; Утченко С.Л. Кризис и падение Римской республики. М., 1965; Зелинский Ф.Ф. Римская империя. СПб., 1999. С. 85—86.

¹⁴ Гиббон Э. Закат и падение Римской империи. Т. 1. М., 1997. С. 215.

¹⁵ Глушанин Е.П. Позднеримский военный мятеж и узурпация в эпоху первой тетрархии. // Античная древность и средние века. Екатеринбург, 1998. С. 17.

¹⁶ Егоров А.Б. Указ. соч. С. 106.

¹⁷ Махлаюк А.В. Воинская сходка в жизни Римской армии и политическом механизме Римской империи. // Власть, человек, общество в античном мире. М., 1997. С. 138; Глушанин Е.П. Указ. соч. С. 11.

¹⁸ История Византии в 3-х томах. Под ред. Сказкина С.Д. Т. 2. М., 1967. С. 156—157.

¹⁹ Каждан А.П., Литаврин Г.Г. Очерки истории Византии и южных славян. СПб., 1998. С. 22.

²⁰ Литаврин Г.Г. Византийское общество и государство в X—XI вв. М., 1977. С. 270.

²¹ История Византии в 3-х тт. Т. 2. С. 303.

²² Орешкова С.Ф. Султанский двор и гарем в Османской империи первой половины XVII в. // Политическая интрига на Востоке. Под ред. Васильева Л.С. М., 2000. С. 238—239.

²³ Hale W. Turkish Politics and the Military. London and N.Y., 1994. P. 8.

²⁴ Смилляиская Н.Н. Сценарии политической жизни Сирии и Египта XVIII в. // Политическая интрига на Востоке. С. 251, 270—271; Витол А.В. Османская империя (начало XVIII в.). М., 1987. С. 23—24.

²⁵ Клейнман Г.А. Армия и реформы. Османский опыт модернизации. М., 1989. С. 32—33.

²⁶ Hale W. Op. cit. P. 18.

²⁷ Merton R. K. Op. cit.

²⁸ См. сб. Русского исторического общества (далее Сб. РИО). Т. 7. СПб., 1871. С. 206; Сб. РИО. Т. 46. СПб., 1885. С. 44—45.

Примечания к главе 5.2

- ¹ О повреждении нравов в России князя М. Щербатова. С. 80.
- ² Roniger L. Modern Patron — Client Relations and Historical Clientelism. Some Clues from Ancient Republican Rome. // Archives Europeennes de Sociologie. V. 24. 1983. №1. P. 76.
- ³ Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им самим для своих потомков. Т. 1. М., 1993. С. 277.
- ⁴ Заозерский А.И. Фельдмаршал Б.П. Шереметев. М., 1989. С. 153.
- ⁵ Там же, с. 20.
- ⁶ Лотман Ю.М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII в. // Ученые записки Тартуского университета. Вып. 411. Тарту, 1977. С. 81—87.
- ⁷ Roniger L. Op. Cit. Pp. 70—74.
- ⁸ Со шпагой и факелом. Дворцовые перевороты в России. 1725—1825. М., 1991. С. 86.
- ⁹ Там же, с. 122.
- ¹⁰ Курукин И.В. Время, чтоб самодержавию не быть. // Вопросы истории. 2001. №5.
- ¹¹ Со шпагой и факелом. С. 109.
- ¹² Курукин И.В. Указ. соч.
- ¹³ О повреждении нравов в России князя М. Щербатова. С. 93—94.
- ¹⁴ Курукин И.В. Анна Леопольдовна. // Вопросы истории. 1997. №6. С. 39; Каменский А.Б. Указ. соч. С. 254.
- ¹⁵ Миних Б.Х. Очерк управления Российской империей. // Перевороты и войны. М., 1997. С. 306.
- ¹⁶ Наумов В.П. Удивительный самодержец: загадки его жизни и царствования. // На российском престоле. М., 1993. С. 305—309.
- ¹⁷ Ключевский В.О. Неопубликованные произведения. М., 1983. С. 239.
- ¹⁸ Ростопчин Ф.В. Последний день жизни императрицы Екатерины II и первый день царствования императора Павла I. // Чтения Общества истории и древностей Российских (далее: ЧОИДР). 1864. Кн. 2. С. 184.
- ¹⁹ Записки Федора Петровича Лубяновского. // Русский архив. 1872. №1. С. 144.
- ²⁰ Ransel D. The Politics of Catherinian Russia. The Panin Party. New Haven, London, 1975. P. 102.
- ²¹ Грибовский В.М. Высший суд и надзор в России в первую половину царствования императрицы Екатерины II. СПб., 1910. С. 166; Сенатский архив. Т 14. СПб., 1910. С. 43, 197—205.
- ²² Козер Л. Функции социального конфликта. М., 2000. С. 140, 142.
- ²³ Ледонн Дж. П. Правящий класс в России: характерная модель. // Международный журнал социальных наук. 1993, ноябрь. № 3. С. 179.
- ²⁴ Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры в 3-х т. Т. 3. М., 1995. С. 211.
- ²⁵ Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова. М., 1988. С. 220—232.
- ²⁶ Там же, с. 219.

²⁷ Корсаков Д.А. А.П. Волынский и его конфиденты. // Из жизни русских деятелей XVIII века. Казань, 1891; Он же: А.П. Волынский. Биографический очерк. // Древняя и новая Россия. 1876. № 1.

²⁸ Семевский М.И. Наталья Федоровна Лопухина. // Русский вестник. 1860. № 5; Анисимов Е.В. Россия в середине XVIII века. Борьба за наследие Петра. М., 1986. С. 141—142.

²⁹ Чечулин Н.Д. Екатерина II в борьбе за престол. Л., 1924.

³⁰ Шильдер Н.К. Император Павел I. СПб., 1901. С. 78; Русский архив. 1873. № 2. С. 115—117; Русская старина. 1887. Март. С. 537—539.

³¹ Сафонов М.М. Конституционный проект П.А. Зубова — Г.Р. Державина. // Вспомогательные исторические дисциплины (далее: ВИД). Вып. 10. Л., 1978; Он же: Проблема реформ в правительственной политике России на рубеже XVIII и XIX вв. С. 46—59.

³² Peck L.L. Court Patronage and Government Policy. The Yacobean Dilemma. // Patronage in the Renaissance. Ed. G.F. Lytle and St. Orgel. Princeton, New Jersey, 1981. Pp. 43—45.

³³ Harding R. Corruption and the Moral Boundaries of Patronage in the Renaissance. // Ibid. P. 59, 62.

³⁴ Салмин А.М. Современная демократия: очерки становления. М., 1997. С. 309.

³⁵ Там же, с. 305—306; Капланов Р.М. Судьбы западноевропейского либерализма в XX в. // Демократия в Западной Европе в XX в. Под ред. Наринского М.М. М., 1996. С. 19—20.

³⁶ Ильин М.В., Мельвиль А.Ю., Федоров Ю.Е. Демократия и демократизация. // Полис. 1996. № 5.

³⁷ Calvert P. Politics. Power and Revolution. An Introduction to Comparative Politics. Thatford, Norfolk, 1983. Pp. 89, 145; Tilly Ch. From Mobilization to Revolution. Addison, Wesley, 1978.

³⁸ Манштейн Х.Г. Записки о России. // Перевороты и войны. С. 168.

³⁹ Там же, с. 195; Миних Б.Х. Указ. соч. С. 311.

⁴⁰ Брикнер А. Смерть Павла I. СПб., 1907. С. 91.

Примечания к главе 5.3

¹ Смирнов Ю.Н. Указ. соч. С. 19—24.

² Со шпагой и факелом. С. 29—30.

³ Там же, с. 104.

⁴ Анисимов Е. В. Указ. соч. С. 25.

⁵ Со шпагой и факелом. С. 308; Эйдельман Н.Я. Грань веков. М., 1982. С. 216.

⁶ Сб. РИО. Т. 64. С. 272—273, 288.

⁷ Миних. Э. Записки. // Перевороты и войны. С. 395—396.

⁸ Анисимов Е.В. Указ. соч. С. 140, 159.

⁹ Русский архив. 1901. № 1. С. 29—30.

¹⁰ Бильбасов В.А. История Екатерины II. Т. 2. Берлин, 1900. С. 191;

- Сивков К.В. Подпольная политическая литература в России в последней трети XVIII в. // Исторические записки. Вып. 19. М., 1946. С. 90.
- ¹¹ Цареубийство 11 марта 1801 года. Записки участников и современников. СПб., 1907. С. 249.
- ¹² Сб. РИО. Т. 7. СПб., 1871. С. 206.
- ¹³ Манштейн Х.Г. Указ. соч. С. 25.
- ¹⁴ Миних Э. Указ. соч. С. 394; Бантыш-Каменский Н.Н. Обзор внешних сношений (по 1800 г.). Ч. 1. СПб., 1894. С. 62; Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. XI. М., 1963. С. 165.
- ¹⁵ Строев В.М. Бироновщина и Кабинет министров. Ч. 1. М., 1909. С. 175.
- ¹⁶ История дипломатии. Т. 1. М., 1941. С. 262.
- ¹⁷ Соловьев С.М. История России. Кн. XIII. М., 1965. С. 58.
- ¹⁸ Никифоров Л.А. Основные задачи внешней политики России после Ништадтского мира. // Международные отношения и внешняя политика СССР. История и современность. М., 1977. С. 203.
- ¹⁹ Русская старина. 1883. Т. 3. С. 747—748.
- ²⁰ Эйдельман Н.Я. Указ. соч. С. 219; Русская старина. 1882. Т. 36. С. 496.
- ²¹ Каменский А.Б. Указ. соч. С. 230; Манштейн Х.Г. Указ. соч. С. 43.
- ²² Со шпагой и факелом. С. 282, 294.
- ²³ Thompson W. R. The Grievances Of Military Coup — Makers. Floride State University, 1973. Pp. 12, 17.
- ²⁴ Манштейн Х.Г. Указ. соч. С. 37, 65; Смирнов Ю.Н. Указ. соч. С. 68.
- ²⁵ Манштейн Х.Г. Указ. соч. С. 36.
- ²⁶ Там же, с. 42.
- ²⁷ Анисимов Е.В. Указ. соч. С. 25.
- ²⁸ Миних Б.Х. Указ. соч. С. 305.
- ²⁹ Смирнов Ю.Н. Указ. соч. С. 69.
- ³⁰ Наумов В.П. Указ. соч. С. 319.
- ³¹ Соловьев С.М. История России. Кн. XIII. С. 54.
- ³² Со шпагой и факелом. С. 281.
- ³³ Анисимов Е.В., И.И. Шувалов — деятель Российского Просвещения. // Вопросы истории. 1985. № 7. С. 96—97.
- ³⁴ Со шпагой и факелом. С. 271.
- ³⁵ Там же, с. 281.
- ³⁶ Вернадский Г.В. Манифест Петра III о вольности дворянской и законодательная комиссия 1754—1766 гг. // Историческое обозрение. 1915. Т. XX. С. 54.
- ³⁷ Массон К. Секретные записки о России и, в частности, о конце царствования Екатерины II и правлении Павла I. Т. 1. М., 1918. С. 97.
- ³⁸ Русская старина. 1883, май. С. 268.
- ³⁹ Андреев В.В. Представители власти в России после Петра I. СПб., 1870. С. 278—279.

- ⁴⁰ Панчулидзе С. История кавалергардов и Кавалергардского Ея Величества полка с 1724 по 1 июля 1851 года. СПб., 1851. С. 44.
 - ⁴¹ Русская старина. 1882. Т. 36. С. 494.
 - ⁴² Русская старина. 1873. Т. 8. С. 974.
 - ⁴³ Цареубийство 11 марта 1801 г. С. 40.
 - ⁴⁴ Эйдельман Н.Я. Указ. соч. С. 104—105.
 - ⁴⁵ Ключков М.В. Очерки правительственной деятельности времен Павла I. Пг., 1916. С. 483; Брикнер А. Смерть Павла I. СПб., 1907. С. XX.
 - ⁴⁶ Смирнов Ю.Н. Указ. соч. С. 20.
 - ⁴⁷ Русская старина. 1896. Т. 88. С. 293.
 - ⁴⁸ Массон К. Указ. соч. С. 86.
 - ⁴⁹ Валишевский К. Сын Великой Екатерины. М., 1990. С. 521—522.
 - ⁵⁰ Цареубийство 11 марта 1801 г. С. 137.
 - ⁵¹ Бэрон Э., Ричардсон Д. Агрессия. СПб., 1998. С. 133—135, 155, 195, 313.
 - ⁵² Анисимов Е.В. Россия в середине XVIII века. С. 24; Строев В.М. Указ. соч.; Валишевский К. Царство женщин. М., 1989.
 - ⁵³ Со шпагой и факелом. С. 488.
 - ⁵⁴ Цареубийство 11 марта 1801 г. С. 138.
 - ⁵⁵ Козер Л. Указ. соч. С. 168.
 - ⁵⁶ Там же, с. 131, 136.
 - ⁵⁷ Ратинов А.Р., Ефремова Г. Х. Правовая психология и преступное поведение. Красноярск, 1988. С. 200—201, 205.
 - ⁵⁸ De Nardo J. Power in Numbers. The Political Strategy of Protest and Rebellion. Princeton, New Jersey, 1985. P. 21.
 - ⁵⁹ Абрамова И. Л. Сословная политика Павла I. Автореферат канд. дисс. М., 1990; Сорокин Ю.А. Российский император Павел I. Автореферат канд. дисс. М., 1989.
 - ⁶⁰ Цареубийство 11 марта 1801 г. С. 139.
 - ⁶¹ Сафонов М.М. Проблема реформ в правительственной политике России. С. 55, 65, 68; Русская старина. 1887, февраль. С. 340—341.
 - ⁶² Степанов В.П. Убийство Павла I и «вольная поэзия». // Литературное наследие декабристов. Л., 1975. С. 76.
- Наглядным примером «прокламации» антипавловского характера может служить стихотворение Марина, популярное среди его собратьев-гвардейцев:
- Ахти-ахти-ахти — попался я впросак!
 Из хвата егеря я сделался пруссак,
 И каску поменяв на шляпу треугольну,
 Веду теперь я жизнь и скучну, и невольну.
 Наместо чтоб идти аль в Клуб, иль в маскерад,
 Готов всегда бежать к дворцу на вахт-парад.
 Я должен всякий день искусною рукою
 Поставить пукль тьму, украситья косою.
 (См.: Русская армия в конце XVIII века. Каталог выставки. Звенигород, 1990. Под ред. Петерса Д.И. С.3).
- ⁶³ Замечания на Записки генерала Манштейна. // Перевороты и войны. С. 451.

- ⁶⁴ Манштейн Х.Г. Указ. соч. С. 171.
- ⁶⁵ Бильбасов В.А. История Екатерины II. Т.2. Берлин, 1990. С. 421.
- ⁶⁶ Со шпагой и факелом. С. 281.
- ⁶⁷ Цареубийство 11 марта. С. 50.
- ⁶⁸ Русский архив, 1872. № 1. С. 466.
- ⁶⁹ Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация. Уроки социальной психологии. М., 1999. С. 100.
- ⁷⁰ Майский И.М. Испания в 1808—1917. Исторический очерк. М., 1957. С. 120.
- ⁷¹ Виноград Т., Флорес Ф. О понимании компьютеров и познания. // Язык и интеллект. Сост. Петрова В.В. М., 1995. С. 225.

Примечания к главе 5.4

- ¹ Манштейн Х.Г. Указ. соч. С. 453.
- ² Шаховской Я.П. Записки. // Империя после Петра. С. 39.
- ³ Манштейн Х.Г. Указ. соч. С. 194.
- ⁴ Nordlinger E. Soldiers in Politics. Military Coups and Governments. Prentice Hall, New Jersey, 1979. P. 103.
- ⁵ Росс Л., Нисбетт Р. Указ. соч. С. 117.
- ⁶ Finer S.E. Op. cit. P. 142.
- ⁷ Сб. РИО. Т. 40. СПб., 1912; Дашкова Е.Р. Указ. соч., 1986. С. 32.
- ⁸ Записки императрицы Екатерины II. СПб., 1907. С. 563.
- ⁹ Эйдельман Н. Я. Указ. соч. С. 289—290; Казанцев С.М. К вопросу о «правительственном конституционализме» в России в начале XIX в. // Конституция СССР и критика буржуазного конституционализма. Л., 1985. С. 202—203.
- ¹⁰ Гелерт Г. Мафия. М., 1983. С. 8, 33—34.
- ¹¹ Герцен А.И. Соч. Т. 15. М., 1956. С. 58.
- ¹² Finer S.E. Op. cit. P. 141.
- ¹³ Записки гр. Бассевича о России при Петре Великом. М., 1866; Прокопович Ф. История о избрании и о восшествии на престол блаженной и вечнодостойной памяти Государыни Императрицы Анны Иоанновны, самодержицы Всероссийския. СПб., 1837; Татищев В.Н. Произвольное и согласное рассуждение и мнение собравшегося шляхетства русского о правлении государственном. // Татищев В.Н. Избранные произведения. Л., 1972; Манштейн Х.Г. Записки о России. // Перевороты и войны. М., 1997; Миних Б.Х. Очерк управления Российской империи. // Там же; Дашкова Е.Р. Записки. 1743—1810. Л., 1986; Записки императрицы Екатерины II. СПб., 1907; Рассказ П.А. Палена. Из записок гр. Ланжерона. // Цареубийство 11 марта 1801 г.; Из записок гр. Бенигсена. // Там же.
- ¹⁴ Нойман Э. Глубинная психология и новая этика. СПб., 1999. С. 41.

Глава 6

МЯТЕЖ ДЕКАБРИСТОВ

6.1. Российские офицеры-инсургенты: коллективный портрет на фоне отечественных предшественников и зарубежных современников

Выступление декабристов традиционно рассматривается как единственная в истории страны попытка государственного переворота, подготовленного военными. Кроме того, за этим событием прочно закрепилось значение первого открытого революционного вызова самодержавию и, таким образом, исходной точки в истории революционно-освободительного движения России. Декабризму посвящен огромный массив научной литературы, досконально изучены разнообразнейшие аспекты декабристского наследия. Однако, несмотря на самую счастливую историографическую судьбу темы, в ней до сих пор имеются свои белые пятна. В частности, отсутствуют исчерпывающие ответы на фундаментальные вопросы: какие мотивы вытолкнули дворян-офицеров на противостояние с властью? Как соотносится их выступление с традицией дворцовых переворотов XVIII в.? А с опытом современных ему военных революций в странах Западной Европы? Можно ли его считать первым актом подлинно революционного противостояния самодержавию? Почему 14 декабря 1825 г. потерпели поражение декабристы, а не царь Николай I (только ли потому, что тем, согласно хрестоматийной формуле, «не хватало народа»?) Наконец, почему на этой дате заканчивается история военного вмешательства в политический процесс? Не претендуя на полноту раскрытия этих вопросов, постараемся все же наметить некоторые подходы к их решению.

Начнем с предпосылок декабризма. Не отрицая «канонических» — освоения наследия революционного просветительства,

знакомства с благоустроенным политическим бытом западных народов во время заграничного похода русской армии, влияния волнений военных поселян и Семеновского полка, отметим другой, не менее важный аспект в генезисе декабризма. Затяжные военные походы, в которых беспрерывно находилась русская армия с начала царствования Александра I, привели к эрозии прежних норм отношений власти с ее вооруженной опорой. Сокращение расстояния между дворцом и казармой, естественное для условий военного времени, мотивировало мелкие и крупные вторжения последней в ранее запретную область правительственной компетенции. Отъезд Александра I в 1812 г. из армии по настоянию адмирала А.С. Шишкова и других крупных военных чинов; вынужденная уступка царя группе военачальников в вопросе замены на посту Главнокомандующего военного министра Барклая де Толли на М.И. Кутузова; прошение последнего о награждении русских офицеров землями польской шляхты, участвовавшей в войне на неприятельской стороне — все это закладывало прецеденты подмены власти в принятии ключевых решений. Если в условиях боевых действий правительство еще мирилось с подобными случаями своеволия, то после окончания боевых действий постаралось их искоренить. В 1817 г., когда до сведения общественности дошли слухи о замысле царя создать Отдельный Литовский корпус, предоставив ему польский мундир, несколько генералов составили письмо царю с перечислением вредных последствий этой меры. Узнав об инициативной роли генерала М.Ф. Орлова в этом эпизоде, Александр I отдалил от себя бывшего любимца. Столь же нервно он отреагировал на петицию нескольких титулованных генералов об отмене политических привилегий Царства Польского¹. Однако торопиться с резкими практическими выводами царь не стал. Из опыта дворцовых переворотов было хорошо известно, что любое неосторожное движение в правительственном лагере на фоне взбудораженного общественного мнения содействовало оформлению заговоров. По этой причине не последовало ни громких разоблачений, ни репрессий. Вместо того был взят курс на постепенное выдавливание из командной верхушки тех лиц, которые могли быть центром притяжения для офицерской фронды. Отставку получили генерал Главного

штаба А.А. Закревский, полковник лейб-гвардии Московского полка Г.А. Римский-Корсаков; в длительный отпуск был отправлен начальник штаба 2-й армии П.Д. Киселев, пострадали и некоторые другие лица. Точно так же царь не обрушил сразу карающий меч на головы членов Союза Благоденствия, о которых узнал в 1821 г. Его реакция на эту информацию облеклась в высказывание, удивившее ближайших сотрудников: «Не мне подобает их карать»². (Вполне возможно, что именно тогда была закручена та коварная интрига, которая позже «выстрелит» в период междуцарствия.)

Правительственная политика избавления от неугодных лиц вызвала ропот: после 1817 г. офицерскую среду захватывает увлечение, которое можно было бы назвать конспироманией. По свидетельству Н.И. Тургенева, старшие начальники не гнушались ходатайствовать перед подчиненными о приеме их в тайное общество, а младшие чины заискивали перед теми из старших, кто мог предоставить протекцию в том же деле³. Вместе с тем вследствие осторожности и негласности предпринятых мер радикального перелома в общественном отношении к правящему режиму не произошло. Несмотря на усиление критических оценок, большинством военно-служилого корпуса, в том числе и декабристским крутом, он по-прежнему рассматривался через призму либеральных принципов и неизрасходованных реформаторских потенций. Из этих фоновых ожиданий происходила маятниковая «раскачка» тайных обществ между двумя полюсами — поддержки и ликвидаторства существующей власти. Неоднозначное осмысление той политической среды, в которой действовали дворянские вольнодумцы, сказалось и на их двойственном отношении к модельным образцам борьбы с правящими режимами. Ни группы заговоров, устраивавшие дворцовые перевороты в России XVIII в., ни мятежные братства, организовывавшие военные революции XIX в. на Западе, не стали для декабристов эталоном. Однако фрагменты их опыта были усвоены, безусловно, достаточно глубоко.

Так, дворянские революционеры не считали себя преемниками тех военно-политических группировок, которые штурмовали дворец в XVIII в. По словам М.С. Лунина, «тайный союз не мог ни одобрять, ни желать дворцовых революций, ибо таковые

предприятия даже под руководством преемников престола не приносят у нас никакой пользы и несовместны с началами, которые союз огласил и в которых заключается его могущество»⁴. В принципе, конечный отказ декабристов от захвата дворца (предполагавшегося по изначальному плану) как будто подтверждает линию на отмежевание от дворцовых заговорщиков. Однако можно ли на этом основании сделать вывод о том, что им удалось выйти на качественно новый уровень политической борьбы в сравнении с этими предшественниками? Очевидно, в суммарной оценке декабризма должны быть учтены разные стороны движения. С одной стороны, устремленность в более благоустроенное будущее, тщательная разработка проектов преобразований, открытый характер политического выступления. Все это отличало их в выгодную сторону от деятелей XVIII в. Однако, помимо очевидного новаторства, облик декабризма определяли очевидные атаксистические черты образа мыслей и действий, восходившие к наследию дворцовых заговорщиков.

Скажем, вплоть до междоусарствия 27 ноября — 14 декабря многие участники тайных обществ — в большинстве своем обер-офицеры — рассматривали свое членство под углом зрения сугубого прагматизма. Для них это была возможность обретения полезных связей и удобной площадки для дальнейшего карьерного роста при протекции соратников, старших по чину. При наличии таких ожиданий многим было суждено испытать сильнейшее разочарование на финишном отрезке движения. Лучше прочих это крушение честолюбивых надежд выразил В.И. Штейнгель: «Думал дожидаться почестей — выждал лишения всего»⁵. Парадигма патронажно-клиентарного мышления и действия проявилась и в сложных комбинациях, рассчитанных на привлечение высоких персон из правительственного лагеря. Неформальные связи с такими деятелями служили неплохой рекламой движения. Ссылки на поддержку сильных мира сего являлись подспорьем в вербовке новых адептов движения. Указания на сильное ядро приверженцев революции в Кавказском отдельном корпусе, среди служащих в Харькове под началом графа Я. Булгари, влиятельных командиров из 19-й дивизии приносили декабристским агитаторам обильную жатву в виде «новообращенных душ»⁶. А кроме того, укрепляли колеблю-

щихся и усиливали центристские тенденции внутри самой политической оппозиции. Например, одним из серьезнейших аргументов для общества Соединенных славян, решившего присоединиться к Южному обществу, стал оглашенный М.П. Бестужевым-Рюминым списочный состав «южан». В нем фигурировали громкие имена, включая генералов Н.Н. Раевского, М.Ф. Орлова, П.Д. Киселева, которые на самом деле никогда не входили в Южное общество. Однако лидеры общества сознательно пошли на подлог, который позволял быстро, не изливая лишних потоков красноречия, склонить новых знакомцев к союзу. Вслед за тем состоялась презентация реальных полковых командиров из Васильковской управы (А.З. Муравьева, В.К. Тизенгаузена, И.С. Повало-Швейковского) и некоторых других штаб-офицеров, внушавших подобострастное почтение скромным армейским офицерам-«славянам»⁷. Эти маневры и решили дело.

Впрочем, магии больших чинов и титулов поддавались отнюдь не только периферийные участники движения. Возможность получить выход на высокопоставленных чиновников неотразимо действовала даже на искушенных предводителей Северного общества. Именно этот мотив определил прием в организацию в 1825 г. подполковника Г.С. Батенькова, идейно чуждого большинству декабристского круга, зато тесно связанного с М.М. Сперанским: их близкое знакомство завязалось во времена сибирской ревизии 1819 г. опального российского реформатора. В конечном итоге от такой односторонней заинтересованности в кандидате пострадали сами же старые члены организации. Именно Батеньков — прирожденный мистификатор — внес элемент лицемерной игры во внутреннюю атмосферу общества. Взяв в разработку легенду о своем посредничестве между тайным обществом и сановниками из Государственного Совета, он сумел оказать нажим на товарищей в серьезном тактическом вопросе. По его настоянию к готовому плану восстания была принята существенная поправка: после издания Манифеста о перемене правления в России восставшие войска предстояло отвести из столицы к Пулковским высотам. Как уверял Батеньков, именно это требование продиктовали первые лица империи в обмен на свое признание факта революции⁸.

Беззастенчивый блеф Батенькова был принят за чистую монету только потому, что большинство декабристов было искренне готово обманываться на счет своих отношений к правящей элите. Деловые и личные связи представителей этого слоя со многими участниками движения и даже нередкое снисходительное отношение к проступкам молодых фрондеров по службе⁹ рассматривались самими декабристами под углом зрения отработки плотного союза. Лидеры декабризма были настроены на скорейшую легализацию этих связей — посредством кооптации ряда таких лиц (М.М. Сперанского, Н.С. Мордвинова, А.П. Ермолова, П.Д. Киселева) в состав Временного революционного правления, намеченного после победы восстания¹⁰.

Как видно из записок Николая I, он был также убежден, что высшие сановники империи вполне осознанно покрывали молодых оппозиционеров. Собственно, идейно-политическое отложение от режима большой группы лиц в глазах царя было неотделимо от мощных патронажно-клиентарных средостений, сложившихся из военных и гражданских служащих в отсутствие надлежащего надзора со стороны государственной власти. Именно такие анклавные, как полагал царь, быстро политизировались и превращались в источник дестабилизирующего влияния в обществе. Скорее всего эту же точку зрения разделял и Александр I, постаравшийся к 1823 г. без лишнего шума «перетряхнуть» командную верхушку армии в порядке превентивной защиты от переворота.

Насколько подозрения двух императоров в солидаризме титулованных сановников с молодыми радикалами были основательны? Следует признать, что некоторые реальные факты давали поводы для подобных подозрений. Достаточно напомнить о проигнорированном генерал-губернатором М.А. Милорадовичем приказе Николая изолировать выявленных заговорщиков в канун принесения войсковой присяги¹¹. Или — сознательную затяжку с приведением к присяге лейб-гвардии Егерского полка, которую допустил командующий гвардейской пехотой К.И. Бистром. За этими поступками многие современники, включая императора, усмотрели сознательное пособничество повстанцам¹². Некоторые высокие военные чины, например, начальник штаба 2-й армии П.Д. Киселев и проконсул Кавказа

А.П. Ермолов, зная об участниках тайных обществ, находившихся у них в служебном подчинении, не чинили им препятствий и даже в отдельных случаях обеспечивали, со своей стороны, неплохой подстраховкой¹³. Эти поступки легко истолковывались в свете готовности активно содействовать планам тайных обществ. Отсюда среди самих декабристов произросло убеждение в том, что Ермолов остался сильнейшим неиспользованным резервом революции. Например, декабрист Н.Р. Цебриков был уверен, что тот был вполне способен двинуть на выручку повстанцам в Петербурге подчиненную ему вооруженную силу¹⁴. Судя по всему, такие же мысли приходили и в голову Николаю I¹⁵. По-видимому, ожидания активной поддержки делу инсургентов возбуждали и Н.С. Мордвинов, и М.М. Сперанский, знавшие о готовящемся перевороте и даже возлагавшие определенные надежды на него¹⁶. Однако реальные события вскрыли ошибочность такой интерпретации ситуации. Приверженность высоких особ своим конфидентам — декабристам — оказалась дутой величиной: дело свелось, главным образом, к позиции дружественного нейтралитета в ходе восстания. Практически все, кого декабристы рассматривали как покровителей (быть может, за исключением Н.С. Мордвинова), не стали выражать своих протезов ни в ходе следствия, ни в ходе вынесения приговора. Итак, потенциал патронажно-клиентарного давления на власть в 1825 г. в значительной степени показал свою исчерпанность, хотя по-прежнему субъективно воспринимался как одна из универсалий политической борьбы участниками с обеих сторон.

Стереотипы дворцовых переворотов довели над декабристским сообществом и в других областях деятельности — в частности, в решении вопроса об организации власти в послереволюционный период. Как известно, декабристская мысль постоянно колебалась между требованием «Республики без лишних фраз» (слова Н.И. Тургенева на петербургском совещании Коренной управы Союза Благоденствия в 1820 г.) и требованием конституционной монархии с вытекающей отсюда готовностью поддержать конкретного представителя правящего дома. В том же 1820 г. полковник Ф.Н. Глинка выступил с предложением вручить скипетр императрице Елизавете Алексеевне. Несмотря

на то, что эта мысль тогда не встретила поддержки большинства, периодически она всплывала и позднее¹⁷. Даже в период междуцарствия В.И. Штейнгель и Г.С. Батеньков снова агитировали товарищей за кандидатуру супруги Александра I¹⁸. Впрочем, вплоть до ноября 1825 г. члены тайных обществ не списывали со счетов и Александра I. Даже после того, как в 1820 г. как будто был сделан выбор в пользу республиканской формы правления, не исключалась возможность полного снятия этого требования при определенном условии: «Ежели сам Государь подарит Отечество твердыми законами и положительно постоянным порядком дел, то мы тогда вернейшие его будем приверженцы и оберегатели»¹⁹. Надежды на возобновление либерального курса власти подтачивали радикализм даже самого негибкого из дворянских революционеров — П.И. Пестеля. Осенью 1825 г. он всерьез обдумывал план заключения своеобразной сделки с царем: в обмен на собственную явку с повинной добиться монарших гарантий на введение конституционного образа правления²⁰. Таким образом, и Александр I, и его супруга при определенных обстоятельствах располагали серьезным шансом остаться у государственного руля.

Третьей кандидатурой, на которую делали ставку декабристы, был цесаревич Константин Павлович. После присяги 27 ноября многие стали склоняться к тому, чтобы свернуть конспиративную деятельность и в течение двух-трех лет Константиновского правления продвинуться в должности, влияющие на государственные дела²¹. Очевидно, не слишком рассчитывая на конституционные наклонности этого императора, участники тайных обществ все же верили в его способность дать ход проектам либерального толка. Проконстантиновские настроения вторгались и в план действий, намеченный на день переприсяги Николаю I. В частности, проигрывался и такой сценарий развития событий, как отказ последнего от короны перед фактом военного мятежа и срочный вызов из Варшавы Константина. В этом случае декабристы предусматривали отвести войска из Петербурга в окрестности и здесь встретить Константина, оправдываясь «одним усердием к нему»²². По существу, данный план выводил декабристов на общую позицию с генералитетом во главе с Милорадовичем и варшавскими сторонниками цеса-

ревича во главе с его адъютантом Курутой. Те точно так же, вплоть до последнего шанса, пытались опротестовать его отречение от короны.

Наконец, четвертым претендентом на роль державного лидера — ставленника революционных сил в декабристском раскладе, фигурировал... Николай Павлович. Так, например, по свидетельству И.Д. Якушкина, принятый в тайное общество летом 1821 г. П.Я. Чаадаев сожалел о некоторой запоздалости этого шага: будь он принят раньше, когда состоял на военной службе, то постарался бы попасть в адъютанты к великому князю Николаю Павловичу. Чаадаев охотно допускал, что тот «покровительствовал бы под рукой тайное общество, если бы ему внушить, что это общество может быть для него опорой в случае восшествия на престол старшего брата»²³. Несмотря на то что эта мысль принадлежала человеку с коротким членским стажем в тайном обществе (вскоре Чаадаев отошел от его дел, а восстание 14 декабря резко осудил), она не была столь уж экстравагантна даже с точки зрения более продвинутых оппозиционеров. Во всяком случае, и их прогноз событий в преддверии 14 декабря строился на ожиданиях компромисса с молодым царем.

Около 6—7 декабря участники тайных совещаний внесли изменения в план боевой операции, принятый ранее по предложению С.П. Трубецкого. План Трубецкого предусматривал захват дворца, Сената, Петропавловской крепости и арсенала, арест царской семьи и предъявление ультиматума правительственным чиновникам. Вместо этого варианта развития событий теперь за основу был взят сценарий с отводом войск, отказавшихся от присяги, к Пулковским высотам. Отсюда предполагалось начать переговорный процесс с Николаем²⁴. Рассуждения были примерно такими: «Николай I решится скорее, не употребляя силы для усмирения мятежа, вступить с ними в переговоры», нежели пойдет напролом²⁵. Итак, по мере приближения времени «Ч» все более и более явственно прорисовывалась тактическая линия давления на власть, а не ее революционного упразднения. Из объекта революционного насилия фигура наследника все более определенно переквалифицировалась в субъект политического состязания. Иначе говоря, в первоначальной заготовке Трубецкого царь выключался из политиче-

ской борьбы с начала восстания. В более поздней «коллективной» редакции он оставался значимой величиной в раскладе сил до окончания революционного процесса. Презумпцией данного плана являлось признание за ним политической воли и права на реагирование. Техника завершения переворота в этой системе координат строилась на достижении психологического перевеса: вначале за счет внушительной демонстрации революционных сил следовало сковать сопротивление Николая I, а затем с помощью убеждения, торга, взаимного компромисса — добиться от него нужных политических решений.

Окончательно план наступательной операции был похоронен непосредственно перед сбором войска для присяги ранним утром 14 декабря. А.И. Якубович и А.М. Булатов отказались от захвата Зимнего и ареста царской семьи, а П.Г. Каховский — от убийства царя, к которому его склонили накануне несколько товарищей. Итак, в «обойме» декабристов оставалась теперь только военная демонстрация. В этих условиях борьба за устранение Николая бесповоротно превращалась в борьбу за нейтрализацию Николая. Более того — консенсус с царем становился базовым условием всего последующего переустройства. Ведь даже выигранный декабристами первый раунд на Сенатской площади не снимал с повестки дня вопроса о перераспределении власти. Живой законный царь оставался бы фактором наибольшего косвенного влияния на формирование нового политического порядка, которое в программе декабристов возлагалось на Великий Собор — постреволюционное учредительное собрание. По существу, такой оборот дела устранял сам выбор формы правления и почти однозначно подводил бы участников собора к конституционной монархии, которую надлежало октроировать царю. Таким образом, и на финишной прямой декабристское движение постоянно сбивалось с курса радикальной социально-политической революции и устремлялось на путь, проложенный дворцовыми заговорщиками — политическое действие через институт монархии и его легитимных представителей.

Кроме того, генетическое сходство с некоторыми группами дворцовых заговорщиков прослеживалось в самом почерке выступления на Сенатской площади. Как известно, первые двор-

цовые перевороты XVIII в. строились на убедительной игре мускулов, вынуждавшей противоположные партии к капитуляции (И.И. Бутурлин и А.Д. Меншиков, организовавшие военное дефиле под окнами дворца; Анна Иоанновна, умело использовавшая гвардейский «аргумент» для нейтрализации «верховников»). И тогда, и в 1825 г. на Сенатской площади средством достижения целей был выбран позиционный нажим — тактика, которая применяется в сложных случаях кооперативной (со, труднической) практики. Ее смысл состоит в создании такой ситуации, когда одна сторона понуждает другую пойти на уступки. Невзирая на безапелляционный, почти ультимативный язык диалога, данный способ действий нацелен не на разрыв, а на развитие отношений²⁶. В то же время эта метода уже была абсолютно чужда дворцовым заговорщикам образца 1740—1801 гг., изначально пытавшимся силовым приемом выбить из седла политического противника и с ходу завладеть стратегической инициативой. Однако декабристы не ориентировались на этот круг. Выпестованная ими идея цареубийства — «непременный элемент российского политического мышления», по определению Я.А. Гордина, не проросла в декабризме в последовательную установку²⁷. Периодически вспыхивая то в Московском заговоре 1817 г., то в замысле террористического акта во время смотра войск под Бобруйском или Белой Церковью, эта идея, однако, не получила практической реализации. Характерно, что ни П.Г. Каховский, ни А.М. Булатов, ни Н.А. Панов, имевшие во время восстания хороший шанс разрядить запас пуль в Николая I, не сделали этого.

Означает ли это, что декабристы в итоге всех практических поправок выбрали заведомо провальную тактику действий? В принципе, демонстрации, мятежи, бунты, террористические акты, как правило, не создают давления такой мощи, которое угрожало бы основам существующего режима. Как правило, на низложении правительств и смене форм правления «специализируются» движения других типов — революции, дворцовые и государственные перевороты. Однако возможны и отклонения от этих правил. В любом случае, по мнению американского политолога П. Калверта, все дело решает *критическая масса насилия (или угрозы его применения)*²⁸, которая способна пода-

вить защитные функции режима и дать толчок распаду его структур. При этом далеко не всегда данный показатель напрямую зависит от численности протестных группировок или степени ожесточенности их сопротивления. Известно, что на острие атаки правящего режима зачастую выступали крайне незначительные силы. (Например, всего только 250 человек, или 5% от всего офицерского корпуса, совершили египетскую революцию в 1952 г.; примерно столько же людей в военной форме повернули ход истории Ирана, Алжира, Йемена, Сирии, Ливии, Судана в 1958—1969 гг.)²⁹.

А в XIX в. на Пиренеях и Апеннинах факел революции зажгли крохотные отряды военных манифестантов, к тому же открывшие свой рейд вдали от средоточия правительственных учреждений и войск. Продвижение отрядов сопровождалось последовательным присоединением к ним новых военных частей и ширящимся фронтом социальной поддержки. Скажем, на второй день после выступления батальона полковника испанской армии Рафаэля Риего-и-Нуньеса — в январе 1820 г. — к нему присоединился со своим полком Антонио Кирога, в марте на сторону повстанцев перешла армия во главе с генералом Абисбалом и большая часть королевской гвардии. Точно так же «каскадная» революция с нарастающим притоком сторонников в 1820—1821 гг. опрокинула прогнившие монархические режимы в Италии. Начав свое шествие из маленького городка Нола на юге Апеннин, повстанческий отряд из карбонариев и младших офицеров местного гарнизона по мере приближения к столице Королевства Обеих Сицилий становился все более и более грозной силой. А на заключительном этапе к нему примкнул один из наиболее влиятельных мюратистских генералов — Г. Пепе и даже посланные на его подавление войска под командованием генерала Карраскоза. Этот выбор уже не позволял правящему лагерю контролировать ситуацию.

Таким образом, события, всполошившие монархические дворы всей Европы, начинались с локальных военных демонстраций младших и средних офицеров, на сторону которых одно за другим переходили и остальные воинские соединения. Именно тогда впервые прошла обкатку технология квартелазо — казарменного военного переворота. Как и голып, квартелазо стро-

ился на тщательном анализе обстановки, просчете соотношения сил и потенциальной реакции ветвей и различных центров власти. В хронологической последовательности его проведение распадалось на следующие этапы:

- trabajos, или аккуратный зондаж общественного мнения;
- compromisos, или заключение соглашения между участниками;
- восстание единичного гарнизона или казармы;
- pronunciamiento, или оглашение целей повстанцев;
- марш через периферийные пункты к столице либо захват главных узлов связи, центров массовой коммуникации и правительственных зданий в столице;
- объявление о падении правящего режима;
- назначение военной хунты, призванной подготовить приход к власти нового правительства³⁰.

При изначально малой сумме задействованных единиц (в размере одного гарнизона или казармы) этот тип военного переворота отличался высокой результативностью и в большинстве случаев гарантированным бескровным завершением. По мнению С. Файнера, расчет застрельщиков такого мятежа на поддержку других частей армии почти всегда оправдывался. А пассивность гражданского населения давала уверенность в том, что произведенные перемены не встретят массового сопротивления³¹.

Однако развитие революционного процесса в начале 1820-х годов имело особенность. Гражданское население не осталось безучастным к героическим усилиям военных и проявляло активный интерес и сочувствие к делу инсургентов. С получением подкрепления из разных сегментов общества походы восставших военных отрядов разворачивались в массовые марши протеста, которые заставляли идти на уступки монархов и высших лиц из королевской администрации, восстанавливали конституции и парламенты. Победители были нацелены и на проведение социальных преобразований, однако не преуспели в этом по причине крайне малого срока, отмеренного им историей. Но и даже с такой оговоркой возбужденные ими перемены по своей значимости едва ли не превосходили известные со-

циальные революции. При этом издержки были много меньше, а образ революционных событий куда привлекательнее. Главные свершения были достигнуты без уличных боев, кровопролития и партизанских действий гражданского населения.

Какой же урок преподали военные революции властям держащим? Во-первых, они продемонстрировали солидарное поведение армейских группировок, расположенных в разных регионах страны, не связанных напрямую с повстанческим ядром, но при этом действующих в согласии с его целями. Во-вторых, они показали реальную возможность поставить правительства на колени без боевых операций и человеческих жертв, на одном эффекте армейского неподчинения приказам сверху и гражданского неповиновения. В-третьих, выявили способность военного сообщества привлечь на свою сторону симпатии и сочувствие гражданского населения. Феномен военных революций пытались осмыслить и основоположники марксизма, хотя и не уделяли ему большого внимания. В их представлениях революционность армии выглядела неким досадным недоразумением — отклонением от генеральной линии истории, связанной с социальным радикализмом угнетенных масс. К. Маркс был не слишком высокого мнения об испанских революционерах в униформе и скорее был склонен дезавуировать их опыт, нежели признать за ним определенную историческую перспективу: «Отрыв от верховного правительства, падение дисциплины, постоянные поражения, беспрестанные формирования и расформирования в течение шести лет — все эти явления роковым образом придали испанской армии в целом преторианский характер и сделали ее одинаково способной превратиться в руках вождей в их послушное орудие или в бич населения»³². Однако это был предвзятый взгляд на вещи: он выхватывал только часть общей картины, связанную с политизацией армии, но не «замечал» того мощного социального резонанса, который вызвали по всей Европе революционеры в военной форме.

Гипотетическая возможность повторения испанского или итальянского сценария существовала и в России. Как и на Западе, принцип «снежного кома» здесь мог быть обеспечен за счет последовательного вступления в борьбу членов тайных об-

ществ в Москве, на юге, а также подключения других взрывоопасных анклавов — например, военных поселений, донского казачества. Собственно, в теоретических разработках декабристов траектория революционного процесса как раз и проходила через несколько решающих географических точек. В одном варианте намечалось сначала добиться отложения от властей столичных гвардейских полков, а затем получить поддержку армейских гарнизонов в губерниях. В другом — предусматривалось сначала поднять восстание войск 3-го корпуса на юге, затем идти походом на Киев, Москву, попутно вовлекая в борьбу те силы, которым был свойственен «общий дух неудовольствия»³³. Робкая дилетантская попытка осуществить этот замысел была проделана отдельными членами Южного общества и общества Соединенных славян, взбунтовавшими после поражения петербургских повстанцев Черниговский полк. Однако в реальной действительности план военной революции из нескольких очередей рассыпался уже на подступах к его реализации.

Для начала был бездарно упущен неплохой шанс «оседлать фортуна» в столице, где находился костяк членов тайных обществ. Благоприятную фоновую обстановку, для того чтобы разыграть эту карту, создал сам правительственный лагерь. Генерал-губернатор М.А. Милорадович не предпринял ничего для того, чтобы «обезглавить» восстание в зародыше. Растерянный командир гвардейского корпуса генерал А.Л. Воинов фактически пропустил мятежников на Сенатскую площадь и позволил им выстроиться в боевой порядок. Командир гвардейской пехоты К.И. Бистром удерживал егерей в казармах, сознательно давая фору мятежным частям. Принимая во внимание шаткие позиции Николая Павловича среди столичного генералитета, декабристам было не так уж и сложно даже тремя тысячами штыков против 12 тыс. правительственных добиться перелома в свою пользу. Из преданных царю генералов — В.В. Левашов, И.А. Сухозанет и А.Х. Бенкендорф — в силу обстоятельств только последний мог предоставить реальную опору в виде подчиненной ему кирасирской дивизии, однако и она могла быть выведена из строя, так как здесь было много членов тайных обществ³⁴. Для начала революционным частям требовалось совершить уверенный марш-бросок на площадь, увлечь за собой колеблю-

щиеся и отсечь ненадежные полки. При этом было не столь уж важно, что повстанцы были заперты на узком пространстве Сенатской площади и не могли совершать перестроений — как это традиционно объясняется в декабристоведении³⁵. В действительности жанр военной демонстрации требовал не столько нестесненного маневрирования, сколько нагнетания обстановки массового противостояния и напряженной игры на нервах противника.

Для старых опытных членов тайных обществ, сосредоточенных в большинстве гвардейских полков, проведение такого устрашающего парада являлось простым делом техники. Нужна была лишь хорошая организация всех задействованных единиц: офицеры, готовые выполнить поставленную задачу, и подчиненные, понимающие свой маневр. Однако здесь-то и была сокрыта «ахиллесова пята» тайных обществ. В основе драмы на Сенатской площади лежала причина, которую можно было бы сформулировать как отказ человеческого фактора. Еще в преддверии восстания, в ходе «инвентаризации» всех наличных сил, обнаружился такой дефект движения, как слабая организационная связь рядовых членов с руководящим центром. Подобное неустойчивое членство дало эффект абсентеизма в решающий момент. Из-за массового исхода членов декабристское движение фактически и проиграло битву с самодержавием еще до того, как мятежное каре выстроилось на Сенатской площади. В его рядах недоставало многих видных старых членов, в том числе старших офицеров: В.И. Гурко, И.Г. Бибикова, А.А. Кавелина, С.П. Шипова, И.А. Долгорукова, чиновников — П.И. Колошина, Л.А. Перовского³⁶. Перебежчиками в правительственный лагерь оказались члены Северного общества — командиры Финляндского полка А.Ф. Моллер и А.Н. Тулубьев, командир Конноопионерского эскадрона капитан М.И. Пущин, в Кавалергардском полку — Вл. И. Пестель, в Егерском — подпоручик Я.И. Ростовцев, в Московском полку — полковник П.К. Хвоцинский, в Преображенском — И.П. Шипов³⁷. Недействующим в ходе восстания остался Измайловский полк, в котором насчитывалось шесть членов во главе с ротным командиром капитаном И.И. Богдановичем: не дождавшись обещанного прихода гвардейского морского экипажа во главе с А.И. Якубо-

вичем, измайловцы присягнули Николаю I. Точно так же не рискнули выступить с открытым забралом против легитимной власти представители декабристской конспирации из Конногвардейского, Кавалергардского, Егерского полков, Генштаба. Большинство из них исправно выполняли приказы Николая I, внося свою лепту в разгром восстания. Таким образом, четыре полка и один гвардейский батальон, то есть ровно половина гвардейской пехоты, на которые 12 декабря твердо рассчитывали руководители восстания, на деле оказались фикцией³⁸. В этом отношении можно полностью принять вывод Д.И. Завалишина: «Главные распорядители восстания не сумели присоединить к нему ни одну из частей войск, даже из наилучше расположенных принять в нем участие»³⁹.

Ренегатство и пассивность многих старых членов тайных обществ отчасти компенсировал революционный энтузиазм прозелитов и случайных попутчиков движения, примкнувших к нему буквально по ходу действия. Три батальона, оказавшихся в распоряжении революционных сил, были выведены на площадь людьми, слабо встроенными в организационную и идейную работу революционных центров в виду короткого членства, либо вовсе не причастных к ним. Так, ключевыми фигурами ключевых полков в восстании были: в Гренадерском полку А.Н. Сутгоф и Н.А. Панов, принятые в Северное общество незадолго до роковых событий; в Московском полку — А.А. и М.А. Бестужевы — такие же новички в Северном обществе, а также штабс-капитан Д.А. Щепин-Ростовский — не член общества, вдохновленный, главным образом, идеей возведения на престол Константина Павловича; в Морском гвардейском экипаже — новоиспеченный член Северного общества поручик А.П. Арбузов и нечлены — мичманы В.А. Дивов и М.А. Бодиско и брат последнего поручик Б.А. Бодиско. Наконец, нейтралитет двух с половиной рот Финляндского полка — единственного соединения, отказавшегося от военных действий против повстанцев, обеспечили поручики А.Е. Розен и Н.Р. Цебриков, не принадлежавшие к тайным обществам.

Итак, в лице своего организационного ядра тайное общество не только не сумело двинуть сомкнутые вооруженные ряды на политического противника, но даже обеспечить физическую

явку своих членов к месту действия. Из разночтений между членскими списками тайных обществ и персоналиями вооруженной конфронтации с самодержавием 14 декабря проистекает трудность однозначного определения понятия «декабрист» (в частности, отсюда идет спор о двух разных критериях декабризма — членство в тайном обществе и реальное участие в восстании)⁴⁰. Апофеозом разложения революционного подполья явился отказ от своих ролевых функций диктатора восстания С.П. Трубецкого и его первых помощников — А.М. Булатова и А.И. Якубовича. Н.А. Бестужев — единственный штаб-офицер из 30 офицеров-декабристов, фактически выдвинувшийся в лидеры восстания, служил во флоте и был мало пригоден к командованию сухопутным войском. А назначенный вместо Трубецкого диктатором Е.П. Оболенский не имел ни сил, ни времени для того, чтобы вникнуть в оперативную обстановку и принять верные решения.

Не лучше северян показали себя в действии и южане, ранее нередко обвинявшие своих северных коллег в инертности. Исторический шанс выхода на политическую сцену не только не вызвал у них подъема сил, но поверг в состояние странной апатии. 13 декабря, когда дело запахло арестом, неукротимый П.И. Пестель покорно последовал приказу явиться в штаб 2-й армии в Тульчине и заодно прихватил с собой флакон с ядом. Как грибы из дырявого лукошка, посыпались и другие члены тайного общества, которых братья С.И. и М.И. Муравьевы-Апостолы и М.П. Бестужев-Рюмин тщетно пытались подвигнуть на выступление. Верность революционному долгу доказали «соединенные славяне» — периферия, взятая на буксир Южным обществом в начале сентября 1825 г. Именно «славяне» — офицеры Черниговского полка, совершившего легендарный рейд обреченных по городам и местечкам Украины, — оказались более «профессиональными» революционерами — людьми слова и дела, нежели их старшие по воинским званиям и политическому опыту товарищи-южане.

Профанация революционного призвания проявилась и в методах работы с нижними чинами. Подпольные группы на Западе уже успешно апробировали форму политических катехизисов — революционных прокламаций, положенных на знако-

мую каждому простолюдину церковную дидактику. Декабристы же продолжали действовать «по старинке», опираясь на наработки дворцовых заговорщиков. Прежде всего через запуск ложных слухов. Так, буквально накануне восстания на совещании у Рыльева было решено распространять среди рядовых слух о том, что цесаревич Константин Павлович не отказался от престола, а стало быть, предстоящая присяга Николаю Павловичу будет считаться недействительной. Некоторые из офицеров, например А.П. Арбузов, для вящей убедительности объявляли солдатам, что за четыре станции под Нарвой уже стоит Польская армия цесаревича, готовая передавить всех, кто будет участвовать в переприсяге. Для укрепления боевого настроения солдатской массы также сообщалось, будто в Сенате хранится распоряжение покойного императора об установлении 12-летнего срока воинской службы. Не менее затасканными приемами являлись прямой подкуп солдат, использованный в Гренадерском полку А.Н. Сутгофом, или захват кабаков и спаивание солдат, в пользу которых высказывался А.И. Якубович⁴¹. (Правда, от этой меры пришлось отказаться в виду предусмотрительного распоряжения министра финансов Е.Ф. Канкринна всем питейным заведениям запереться на крепкие засовы.) Агитационные методы такого пошиба могли быть эффективны на коротком отрезке времени, отмеченном всеобщей сумятицей и отсутствием точной информации о происходящем в правительственных верхах.

Для долгосрочного революционизирующего воздействия на солдатскую массу требовалась продуманная командирская педагогика. Не считая примера Пестеля, подвергавшего солдат жестоким истязаниям для возбуждения ненависти к начальству, можно указать только на две пробы относительно конструктивной работы в войсках. Это были попытки С.И. Муравьева-Апостола и некоторых из его единомышленников в полках 9-й дивизии сплотить вокруг себя солдат расформированного Семеновского полка, за плечами которых уже был опыт неповиновения властям⁴². Перу того же Муравьева-Апостола принадлежал революционный катехизис, зачитанный перед солдатами мятежного Черниговского полка⁴³. Но и для Муравьева эти начинания не были органичны ввиду глубокого убеждения в

том, что нижние чины «отнюдь не в состоянии понять выгод переворота... республиканское правление, равенство сословий и избрание чиновников будут для них загадкой Сфинкса»⁴⁴.

Другой эксперимент по подготовке солдат к будущей миссии освободителей — без мистификаций и лживых заверений — был связан с именем М.Ф. Орлова. Командир 16-й дивизии во 2-й армии, он являлся одним из самых ревностных проводников ланкастерской системы взаимного обучения. Поручив организацию этого дела в своей войсковой единице одному из самых просвещенных офицеров русской армии — В.Ф. Раевскому, Орлов преследовал далеко идущую цель. Революционный патриотизм, идеалы чести и служения справедливости, привитые в такой школе нижним чинам, должны были стать основой их добровольного и сознательного следования за командирами революционной армии. В подходе к воспитанию подчиненных в духе высокой гражданственности Орлов пошел много дальше прочих участников движения. Однако и этот эксперимент оборвался в 1822 г. из-за отстранения его от командования дивизией, а сама попытка установления сотрудиических отношений между командирами и бойцами будущей революционной армии осталась одиночным и маргинальным явлением в истории декабризма⁴⁵. Правда, так же, как и Орлов, мыслили некоторые из «соединенных славян». Например, один из лидеров общества И.И. Горбачевский высказывался за то, чтобы постепенно и осторожно вводить солдат в курс дела ввиду предстоящего переворота: «...откровенность и чистосердечие подействуют на русского солдата более, нежели все хитрости макиавеллизма»⁴⁶. Однако находившиеся на положении «бедных родственников» среди маститых членов Южного общества «славяне» были не в силах отстаивать эту позицию. Итак, несмотря на общую линию гуманизации отношения к солдатам, между ними и офицерами-декабристами сохранялась дистанция огромного размера. Подобно предшественникам — дворцовым заговорщикам, декабристы в своем подавляющем большинстве признавали за нижними чинами лишь право слепо повиноваться командирам, в лучшем случае предлагая им суррогат сознательного участия в

революции — обещание той или иной льготы или угрозу наказания за неповиновение.

На фоне мятежных братств Западной Европы, подготовивших перевороты с решающим участием военных, декабристское подполье в России представляло собой тупиковую ветвь. И не только потому, что проиграло сражение с самодержавием, но, главным образом, потому что еще на предшествующем этапе обнаружило целый ряд серьезнейших «дефицитов». В первую очередь — дефицит конкурентоспособности с государственной машиной. В этом отношении оно контрастировало с тайными обществами Западной и Центральной Европы, рассчитанными на самовоспроизводство и включение заново в борьбу после понесенных потерь. В 1821 г. греки — члены конспиративной организации «Фелики Этерия», большая часть которых состояли на русской военной службе, — подняли восстание в Молдавии и Валахии против турецкого владычества. Монархический «Интернационал» XIX в. — Священный Союз — двинул свои войска на восставшие народы. К 1822 г. при помощи военной интервенции очаги восстания были потушены на Апеннингах, а к 1823 г. — на Пиренеях и среди греков — подданных турецкого султана. Несмотря на неудачную развязку, эти движения не почили и при удобном случае уже снова возобновили свою деятельность. Так, разгромленные австрийскими пушками и штыками в 1821—1822 гг. карбонарские венты южной и северной Италии буквально через год-другой возродились, как птица Феникс из пепла, а к концу третьего десятилетия XIX в. были уже снова готовы сразиться с правящими режимами⁴⁷. Подавленные в 1823 г. с помощью французской армии Людовика XVIII силы военных инсургентов Испании ожили вновь уже на этапе первой карлистской войны (1834—1840 гг.). Именно с этого времени испанская армия превратилась в постоянно действующий фактор политики⁴⁸. Точно так же, потерпев неудачу в антитурецком восстании 1821—1822 гг. в Молдавии и Валахии, греческие этеристы взяли реванш на исходе третьего десятилетия XIX в. в южной части Греции — Морее. А в 1830 г. с помощью русского оружия добились независимости Греции⁴⁹.

Другой пробел в деятельности дворянского подполья в Рос-

сии выявился в его неспособности к поглощению и переработке разнообразных социальных элементов. Социальное одиночество русских оппозиционеров также смотрелось аномалией на фоне умения западных революционных групп создавать широкие коалиции сил. Во многом эта особенность западных контрэллит была обусловлена усвоением опыта иллюминатов. Созданный в 1776 г. профессором из Баварии А. Вейсгауптом и просуществовавший всего только до 1784 г., орден иллюминатов заложил основы конспиративной работы нескольких поколений революционеров. Поставив за конечную цель разрушение существующего общества со всем набором его институтов — государства, частной собственности, церкви и религии, традиционного брака, Вейсгаупт сделал ставку на могучую разветвленную организацию. Именно ей по мере втягивания все новых и новых членов из разных страт общества предназначалось с течением времени вытеснить государственную машину и утвердить новый социальный порядок⁵⁰. Почерпнутая у масонов и иллюминатов установка на внедрение в различные сферы деятельности помогла западным экстремистским группам получить опорные пункты влияния практически по всему периметру социального поля. Таким направляющим центром, соединившим разные группы противников режима Фердинанда VII, в Испании служила масонская ложа «Великая мастерская», имевшая множество своих адептов в полках Кадиса — колыбели испанской революции. К 1819 г. единая масонская сеть объединяла офицеров действующей испанской армии и политически активную часть гражданского общества. Благодаря тому мятежные настроения кадисских военнослужащих в 1820 г., подогретые нежеланием отправляться на подавление колониальных восстаний в Новом Свете, широко разлились по всей стране. А выступление военных мятежников сыграло роль бикфордова шнура, запалившего политический строй всей страны⁵¹.

Не менее впечатляющий пример «сцепления» военных и гражданских оппозиционеров представили итальянские карбонарии, развивавшиеся с 1815 г. под сильным воздействием иллюминатской системы. Объединяя людей разных социальных состояний на базе идеологии единой Италии, конституционного правления, социального равенства, это движение неуклонно

росло вширь благодаря внутренней солидарности и взаимной выручке. К «добрым кузенам», как именовали себя члены организации, стремились примкнуть чиновники, коммерсанты, стражи порядка ради престижа и установления ценных контактов⁵². Бескровные революции 1820—1821 гг., навязавшие трехцветные карбонарские кокарды всему правительственному лагерю, стали триумфом учения Вейсгаупта о мирном переходе к новому обществу через механизм тайных союзов.

В большой степени своему успеху тайные братства были обязаны организационной культуре, заимствованной у иллюминатов. Строение этого ордена представляло собой сочетание масонских и иезуитских степеней. А окончательная структура, сложившаяся к 1781 г., включала три главных класса участников, различавшихся по степени посвящения в текущие дела и глобальные цели организации (минервалы, масоны и мистерики; последние, в свою очередь, подразделялись на священников, регентов, магов и королей). Вершина орденской организации оставалась недостижимой для рядовых членов. Более того, по плану Вейсгаупта, ее истинные цели, персональный состав должны были оставаться тайной за семью печатями. Тем самым обеспечивалась сохранность головного звена при любом неблагоприятном повороте дела и гарантировалась свобода рук руководителей организации⁵³. Проводником этих начал в карбонарскую среду стал Ф. Буонарроти — бывший сподвижник Г. Бабефа и участник иллюминизированного общества «Тайная Директория» (организации, подготовившей так называемый «заговор во имя равенства» в 1796 г., призванный спасти французскую революцию от термидорианских «перерожденцев»)⁵⁴. В 1818 г. на севере Италии он создал «Общество высокодостойных мастеров», а также установил личный контроль над карбонариями юга. Движение карбонариев опиралось на строгую иерархию: низшей ступенью служили венты (в переводе: лавки, торгующие углем); несколько вент образовывали материнскую венту, а те, в свою очередь, входили в состав высокой венты. Все должности в этих ячейках замещались по выборам, головной штаб располагался обособленно. В 1814—1848 гг. его роль исполняла «Высшая римская вента», непроницаемая даже для членов нижестоящих степеней. В частности, популярнейший

лидер патриотического общества «Молодая Италия» Дж. Мадзини, примкнувший к карбонариям, не мог рассчитывать на приближение к этой структуре, а его усилия пробиться к ней вызвали презрительные насмешки высших посвященных. Ведь для них задача объединения Италии и либерализации ее политического устройства была всего только промежуточным звеном в проекте великого социального переворота⁵⁵.

Довольно близко по организационной структуре к карбонариям стояло другое иллюминизированное объединение греческих патриотов — «Фелики Этерия» («Дружественное общество»), сложившееся в 1814 г. в Одессе. Семь градаций в членском составе («побратимы», «рекомендованные», «иереи», «пастыри», «архипастыри», «посвященные», «начальники посвященных») также были основаны на принципе постепенного восхождения от менее полных к более полным знаниям об организации и ее целях. Головной штаб, владевший всеобъемлющей информацией, — так называемая «Незримая высшая власть» — сохранял свою анонимность даже для высших степеней. В этой густой завесе тайны скрывалась одна из сильных пружин организации. По справедливому мнению исследователя «Фелики Этерии» Г.Л. Арша, физическое предъявление «Незримой высшей власти» в лице нескольких заурядных купцов остальным участникам движения неизбежно привело бы к его кризису⁵⁶. Напротив, неизвестность этой величины возбуждающе действовала на умы, порождала самые невероятные предположения (многие были убеждены, что ее представляют два выдающихся филэллина — император Александр I и его статс-секретарь по иностранным делам И. Каподистрия) и в конечном итоге составляла один из самых важных ингредиентов магнетизма общества.

Степени масонских лож и иллюминизированных сообществ первой четверти XIX в. (карбонариев, этеристов и других) являли собой идеальную организацию их внутреннего пространства. С одной стороны, она позволяла руководящему органу регулировать движение членского состава, а с другой — обеспечивала вращение человека в нормативную структуру подземного мира. Возможность быстрого восхождения по иерархической лестнице таких союзов, референтные группы в лице вышестоя-

щих степеней, стимулы в виде одобрения таинственной высшей власти — все это создавало альтернативу карьерного роста во внешнем мире. Такая альтернатива ценилась тем выше, чем более стесненным было легитимное возвышение в большом социуме — из-за сословных перегородок, системы предписанных статусов в обществе, различий в условиях приема на государственную службу и скорости продвижения для выходцев из социальных верхов и низов. Высокую надежность данной конструкции в глазах массовых участников движения гарантировала таинственная высшая власть, представлявшаяся всесильной и всемогущей. Устройство, выпестованное мятежными братствами, было завязано на изолированную конспиративную технику, а в более широком смысле — на революционную эффективность.

Подобные параметры организации оставались чуждыми декабристскому кругу, в особенности на заключительном этапе его истории. Справедливости ради отметим, что в контурах, сопоставимых с западными образцами, все же сложилась ранняя декабристская организация — Союз Спасения (1816—1818 гг.). В перспективе введения в России конституционной монархии и представительного правления, которые в период междоусобицы предполагалось вытребовать у наследника престола, Союзу предстояло превратиться в военизированное формирование. В этой связи в нем предусматривалась строгая дисциплина, подчиненность членов, подразделявшихся на ранги: Совет бояр, бояр, мужей и братьев. При посвящении в каждую очередную степень соискатель приносил клятву по масонскому образцу⁵⁷. Однако эти элементы организации, как устаревший реквизит, были отброшены на этапе Союза Благоденствия (1818—1821 гг.). Это общество ориентировалось уже не на группировки радикалов, а на либеральные учреждения типа Тугенбунда («Союза добродетели»), основанного немецкими патриотами в 1808 г. в помощь правительству для освобождения «униженного отечества» от французских поработителей. Лояльность к правительству (члены организации выражали свою поддержку реформаторам из высших политических сфер — Шарнгорсту и Штейну) заставляла руководителей постоянно соразмерять свои планы с мнением властей предрежащих. (В 1809 г. они поспешили откреститься от одного из своих со-

ратников — майора Шилля, поднявшего антифранцузское восстание, поскольку оно носило преждевременный характер и могло дорого обойтись прусскому правительству.) В интересах все той же центральной власти Тугенбунд покорно подчинился распоряжению о своем закрытии — на этом условии настаивал представитель Наполеона в Германии князь Экмюльский (Даву)⁵⁸.

Как и его немецкий прототип, Союз Благоденствия не только не посягал на prerogatives верховной власти, но видел себя в роли ее верного союзника на путях общественного реформирования. «В это время, — свидетельствовал Н.И. Тургенев, — правительство внушало вообще так мало недоверия и, казалось, даже было так расположено поощрять спасительные преобразования, что основатели тайного общества рассуждали о том, не следует ли им просить содействия правительства»⁵⁹. Ввиду отсроченного на двадцать лет переворота члены организации занялись подготовкой общественного мнения на ниве просветительства и благотворительности. При такой смене ориентиров безвозвратно утрачивались навыки конспиративной работы, начатки субординации, а сама организация лишалась нормативного контроля над личностными диспозициями своих членов. Разделительные линии теперь проходили не по вертикали, то есть степеням, а по горизонтали — «отраслям». Иначе говоря, по конкретным областям деятельности, которые определяли для себя участники («человеколюбие», «образование», «правосудие», «общественное хозяйство»)⁶⁰. В своем «законоположении» Союз Благоденствия декларировал равенство всех членов в их общей подчиненности «властям Союза». Тем не менее традиционное чинопочитание, являвшееся краеугольным камнем отношений в социуме, сохраняло свое значение и здесь⁶¹. Организационные структуры — Коренной Союз и его высший орган — Совет, вместе составлявшие Коренную управу, — очерчивали лишь самый общий абрис подполья. Все внутреннее строение было обдуманно защищено от расслоения членского состава. В целях защиты от потенциальных притязаний некоей группы или лица на устойчивое лидерство заседатели Совета подлежали периодическим ротациям. Однако столь последовательный эгалитаризм бил по самой организации, истощая ее мобильность и революционную энергетику. Неудовлетворен-

ность подобной ситуацией испытывали и некоторые из членов тайного общества, пытаясь нащупать недостающую точку опоры вне Союза Благоденствия. Вплоть до его роспуска в 1821 г. многие сохраняли двойное членство — в тайном обществе и мasonicких ложах (Михаила Избранного, Трех добродетелей и других)⁶².

Недостатки Союза Благоденствия были призваны преодолеть поздние декабристские организации — Южное и Северное общества, взявшие курс на военную революцию по западному образцу. Однако на практике они лишь довершили ту внутреннюю диссоциацию, которую заложил Союз Благоденствия. Отказ от иерархического принципа построения, безбрежная демократия, увязание актива в жарких диспутах вместо директивного планирования предстоящего выступления, ничтожный ресурс влияния руководящего органа — Думы — таковы были реалии Северного общества. Они неприятно поразили П.И. Пестеля, который в 1824 г. нанес визит северным товарищам. Предвидя неизбежную катастрофу при такой постановке дела, вождь южан пригрозил сдать незадачливых «подельников» властям. «Он объявил, что если их дело откроется, то он не даст никому спастись, что чем больше будет жертв, тем больше будет пользы», — вспоминал впоследствии сын декабриста И.Д. Якушкина⁶³. Однако натужные старания Пестеля придать управляемость и боевой облик группировке, которой предстояло выступить тараном самодержавия, успеха не имели. В частности, были категорически отвергнуты его предложения по выработке общей политической платформы, созданию несменяемого директората с диктаторскими полномочиями, введению высшей степени «бояр», обязательности для всего общества решений, принятых большинством голосов. Коллеги из Петербурга усмотрели за ними лишь личные амбиции лидера южан и поспешили с «адекватной» ответной мерой. Для обуздания его бонапартистских замашек было решено использовать авторитет другого «харизматического» лидера — М.Ф. Орлова, отправив его в качестве уполномоченного северян во 2-ю армию⁶⁴.

Но, похоже, и самому поборнику организации — железного кулака в зоне собственной ответственности не удалось добиться желанного порядка. Боевой потенциал Южного общества под-

рывали постоянные стычки Пестеля и С. Муравьева-Апостола. Кроме того, несмотря на радикализм политического мышления, автор «Русской правды», проявлял порой неумеренное благодушие и невзыскательность в пополнении круга соратников. При таком подходе к делу в ряды организации было не так уж трудно затесаться предателю, что, собственно, и произошло в 1824 г. Так, вся процедура приема будущего доносчика капитана Вятского полка А. Майборода свелась к формальному вопросу, заданному Пестелем: «Хотите ли вы быть членом сего общества?», а после получения утвердительного ответа — к произнесению короткого напутствия: «Я вас принимаю; мы должны жить, как братья; надобно только хранить строгую тайну»⁶⁵.

Итак, на всем временном и географическом протяжении декабристского движения энтропийные процессы взяли верх над стремлениями к интеграции и консолидированной борьбе. Блестящую зарисовку того организационного разброда, который царил в движении накануне восстания, дали в своих показаниях сами же его участники, попавшие под следствие. Так, из 26 человек, задержанных в первые дни после разгрома восстания, всего лишь четверо в своих показаниях апеллировали к тайному обществу (А.Н. Сутгоф, К.Ф. Рылеев, С.П. Трубецкой, А.А. Бестужев)⁶⁶. Впоследствии только 48 подследственных из 250 посчитали возможным заполнить в протоколе дознания такую графу, как «в тайное общество принят». Таким образом, более чем три четверти всех привлеченных по делу декабристов категорически отмежевались от постоянного членства, а свои отношения к радикальной оппозиции переформулировали в «знакомство»⁶⁷. Эта линия поведения отнюдь не определялась стремлением выгородить себя в глазах следствия и суда. С большой степенью вероятности можно предположить, что она отражала реальные факты дискретных, слабо оформленных связей среди участников подполья. В дальнейшем многие из них в расчете на снисхождение судей проявляли готовность к самооговору и даже в угоду ретивым следователям объявляли себя членами малоизвестной им Директории или Думы. При этом представленная картина устройства, планов и деятельности тайного общества столь резко различалась от показаний к показаниям, что наводила на мысль о сознательной фаль-

сификации ради того, чтобы обеспечить следствие обвинительным материалом. Не лишено оснований и наблюдение современной исследовательницы о том, что следственная версия о существовании влиятельного, хорошо структурированного тайного общества была навеяна образом, почерпнутым из конспирологической публицистики и художественной литературы⁶⁸. Так совместными усилиями следователей и подследственных творилась украшенная и раздутая версия того, что на самом деле являлось броуновским движением неупорядоченных частиц.

Залучив в свои сети значительное количество неофитов, движение декабристов не сумело ни сберечь этот фонд, ни обеспечить его укрепление на революционных позициях. На проверку лидеры радикального лагеря в России оказались командующими без войска. В сравнении с ними главари мятежных братств на Западе, напротив, показали себя мастерами по части уловления человеческих душ. В отечественной исторической литературе отмечалось, что тайные общества европейских стран во втором — начале третьего десятилетия XIX в. привлекали образованных граждан как социально-культурный институт, раздвигавший границы повседневности при помощи романтического антуража⁶⁹. Не отрицая этого момента, отметим, что внешний, романтический флер был лишь частью субкультуры «подземного» мира, притом такой, которая была ориентирована на завлечение клиентуры. Действительно, на фоне полицейских либо полуполицейских режимов с их мизерными возможностями политического участия граждан, будничной рутины как пожизненного удела «маленького человека» сверкающая гиперреальность тайных обществ заключала в себе соблазнительную перспективу. Именно на нее, как на хорошую приманку, чаще всего «покупался» случайно заглянувший визитер. Однако для того, чтобы вовлечь его в работу всерьез и надолго, требовались иные средства, сильного и долгосрочного действия. Они вырастали из той высокой концентрации смыслов, которая насыщала мир «зазеркалья». Все его пространство было густо заселено символами, ритуалами, мифологемами, заклинательными формулами. Весь этот обширный комплекс функционировал и в качестве разметки ареала тайных обществ, и в качестве инструмента преобразования установок и ценностных ори-

ентаций, или, по терминологии Вейсгаупта, «перековки» личности.

Начало этим процессам давали обряды инициации, которые скрепляли принадлежность к новому сообществу. По многим позициям они перекликались с ритуалами перехода, бытовавших у тотемических кланов, религиозно-мистических братств, различных элитных групп у древних народов. Как правило, сам переход распадался на три действия. Первое действие знаменовало собой отделение обращаемого от профанной среды. Оно включало в себя ритуалы, символически воспроизводившие смерть⁷⁰. Аналогом этих процедур в тайных братствах XIX в. служило символическое погружение новичка в загробный мир: темную комнату, напичканную гробами, скелетами и другими атрибутами царства мертвых у масонов⁷¹ или заброшенное, темное жилище, освещаемое мерцающим светом свечного огарка у этеристов⁷². Далее следовал промежуточный этап, в течение которого обращаемый семиотически изображал из себя мертвеца. Этот период рассматривался как безвременье, когда человек уже оторвался от своей прежней обители (во многих культах даже предусматривалось снятие запретов, соблюдаемых в нормальном социальном состоянии), но еще не прибил к новой. В то же время этот отрезок времени служил подготовкой к иному образу существования. Заменителем такого промежуточного этапа в тайных обществах XIX в. выступал испытательный срок, установленный для ищущего. Суть двух первых этапов состояла в отделении новичка от прошлого жизненного опыта резкой, практически непреодолимой гранью⁷³. После этого можно было приступать к заключительному действию — обряду включения, который как бы воспроизводил собой воскрешение к новой жизни. У каждого тайного союза XIX в. был свой разработанный регламент этого акта. Например, у карбонариев — обряд сжигания древесного угля, символизировавший рождение духовно чистой личности. У масонов — восстание из гроба мученика Адонирама, которого изображал посвящаемый. При этом во всех «подземных» сообществах, так же как и в культовых общинах, обращенному давалось новое имя, а вместе с ним и шанс начать жизнь с чистого листа. Он произносил клятву верности идеалам и заветам союза, вводился в

курс опознавательных знаков, шифров, необходимых для сообщения в нем, представлялся братьям по цеху.

Важно отметить, что обряды вступления в союз или посвящения в очередную степень весомо и зримо утверждали идею неминуемой расплаты за ренегатство и предательство. Этот принцип у иллюминатов воплощала наглядная демонстрация карающего меча, у масонов — упоминание кинжала и яда, которые везде отыщут предателя, у этеристов — страшное проклятие предателю, у карбонариев — обещание всеобщего презрения и кары. Таким образом, первая вступительная клятва устанавливала исходные рубежи членства — обязательную самоотдачу новичка обретенному братству и недопустимость отступничества. Последующие клятвы фиксировали уже стадии необратимых изменений в положении и сознании участника, связанные с отчуждением личной воли и подчинением ее общему делу. Разумеется, инициации, клятвы и санкции за их нарушение составляли лишь часть экспрессивных техник, на которые оказались чрезвычайно тараваты тайные союзы. Внутренняя власть союзов строилась на овладении психическими процессами своего членского состава — через совместные эмоциональные переживания на собраниях, сходках, мистериях, при произнесении правил добродетели и заклятий. Таким путем достигалось постоянное возобновление норм, ценностей братства и в конечном итоге — подтверждение его собственного тождества. Иначе говоря, тайным политическим союзам XIX в. удалось решить проблему сублимации импульсов, произрастающих из темных, глубинных слоев человеческой психики. Собственно, вся субкультура подземного мира представляла собой мощный выход внутренним комплексам, фиксациям, нечестивым влечениям. Последние прорастали в проекции на чужаков и врагов, находящихся по ту сторону братства. А ритуальные действия, постоянно разыгрываемые на его площадке, снова и снова закрепляли данную трансформацию⁷⁴. Перенесенное на тайное общество либидо обращенного выражало себя в полном слиянии с новым домом и рвением во имя его торжества. Итак, на практике выходило, что особое организационное строение в виде ступенчатой конструкции и изолированным центром, обрядово-ритуальный комплекс, символы, коды общения являлись

такими же функциональными величинами, как политическая программа, устав и численность общества.

Взаимосвязь этих параметров с дееспособностью революционной группы, по-видимому, улавливали отдельные декабристские лидеры. В частности, она была учтена при создании «Ордена русских рыцарей» М.Ф. Орлова, просуществовавшего в полуавтономном режиме среди декабристских тайных обществ с 1815 по 1821 г. Сторонник решительных наступательных действий, Орлов строил свой союз наподобие иллюминизированных объединений — с иерархией обособленных членских секций и «невидимым» могущественным центром⁷⁵. Обряд вступления в Орден основывался на традиции одной из высших степеней масонства екатерининских времен и был почерпнут у его адепта графа М.А. Дмитриева-Мамонова. Идея Орлова состояла в том, чтобы заманить на «огонек» масонского раритета членов разных лож. Затем, влив в эти старые мехи молодое вино радикального заговора, создать более эффективную организационную модель, чем Союз Благоденствия⁷⁶. В ее назначение входило проведение серии диверсионных актов, в том числе выпуск фальшивых ассигнаций для подрыва государственных финансов, издание антиправительственных прокламаций. По замыслу Орлова, эта деятельность должна была увенчаться военной революцией⁷⁷. Прологом к ней должно было послужить восстание в придунайских княжествах: именно там командующий 16-й дивизией собирался опробовать на практике подчиненную ему воинскую силу из 16 тыс. штыков⁷⁸. Тесные конспиративные контакты Орлова с агентами западных подпольных центров, вроде немца А. Йордана (члена обществ «Черных») и «Непримиримых» во главе с братьями Фолленами и К. Зандом, буржуазно-буржуазными обществами в Германии указывали на потенциальный замысел использовать всплеск революционной активности на Западе. Отвлечение сил международной контрреволюции на подавление западных очагов нестабильности создавало благоприятные конъюнктурные условия для революционного натиска в России. Однако подготовительные меры к военной революции, предложенные Орловым на Московском съезде Союза Благоденствия, были отвергнуты подавляющим большинством как «неистовые»⁷⁹. Принцип революционной це-

лесообразности, положенный в основу организационной и тактической линии Орлова, разрушал каноны, которыми руководствовалась основная масса конспираторов, и был заведомо обречен на отрицание.

Итак, если в своем стволовом росте со времен Союза Спасения декабризм все больше и больше удалялся от масонских прообразов, то в побочном побеге — в лице группы Орлова отнюдь не порывал с ними. Сбросив масонские одежды, главные центры декабристского движения пришли к финалу своей истории с выхолощенным революционным потенциалом. В то же время группа Орлова вплоть до того момента, когда она была «консервирована», а судя по всему, и позднее, оставалась в хорошей боевой форме. Это косвенным образом подтвердили и лидеры функционирующих декабристских организаций, посылавшие в период междуцарствия отчаянные сигналы о помощи Орлову⁸⁰. Интуитивно к такому же выводу склонялся и Николай I. Несмотря на то, что формальные обвинения соучастия в мятеже тому не могли быть предъявлены, царь считал его одним из наиболее опасных государственных преступников («Орлова следовало бы повесить первого»)⁸¹.

Почему декабризм прошел мимо опыта иллюминатов и в конечном счете отказался от наследия масонства? Парадоксальность этой ситуации возрастает, если вспомнить о переполненной «информационной базе», доступной декабристам. Во-первых, баварское правительство, опубликовав материалы процесса над иллюминатами, снабдило подпольщиков всего мира ценным инструктажем по формированию и работе подрывных групп. Во-вторых, не менее значимым источником информации являлись прямые контакты с рассеянными по свету агентами иллюминатства, вроде профессора Раупаха, слушателем которого был Н.М. Муравьев. В-третьих, декабристскому кругу были знакомы труды последователей этого течения, как, например, книга сподвижника Вейсгаупта — Бонневиля⁸². В-четвертых, непроизвольная пропаганда дела иллюминатов со страниц сочинений напуганных консерваторов, типа 4-томного труда о тайных обществах аббата О. Де Баррюэля. Переведенный на 12 языков, в том числе русский, и многократно изданный в конце XVIII — начале XIX вв., пасквиль Баррюэля помог раскрытке многих радикальных группировок — последние

охотно брали на вооружение приписывавшиеся им способы деятельности⁸³. Однако все хорошо известные клише не пользовались популярным спросом у русских вольнодумцев. Данный факт был очевиден и их судьям. Даже мнительный Николай I отказался разрабатывать линию расследования, касавшуюся связей декабристов с иллюминатами. Правда, для вящей уверенности вдогонку сосланному на каторгу Муравьеву царь послал запрос о его контактах с иллюминатами: в обмен на чистосердечное признание тому было обещано высочайшее прощение. Однако по этому поводу Муравьеву было равным счетом нечего предъявить высокому адресанту⁸⁴.

Причина того, что декабризм не вписался в формат иллюминатства и политизированного масонства, крылась в несовместимости установок данных общностей с ментальным и поведенческим кодом российских оппозиционеров в воинских мундирах. Космополитизм, братание с представителями враждебных государств, релятивизм моральных принципов, присущие западным «кротам истории», были жестко табуированы в сознании отечественного офицерства. Это же относилось и к социальной всеядности и транснациональным связям масонства. Кастовость русского офицерского корпуса плохо сочеталась со стремлениями к братскому союзу поверх этнических и социальных барьеров. По подсчетам отечественных исследователей, из 3267 масонов в России первой четверти XIX в. русские составляли чуть более половины, остальные были иностранцы, главным образом немцы. Кроме военных, это были купцы, мастера, представители свободных профессий⁸⁵. Такое заполнение лож привело к тому, что еще в 1818—1819 гг., то есть до правительственного запрещения масонства от 1822 г., их площадки покинуло большинство офицеров декабристского круга⁸⁶.

Еще одну степень защиты от ресоциализации на базе деструктивных идеологий и форм организации создавала родовая спайка с социальными проектами власти со времен Петра I. Стратификация на базе Табели о рангах и соответствующие ей позиционные отношения внутри служилого корпуса являлись альфой и омегой мышления декабристов-офицеров и создавали непреодолимый барьер для их интеграции в общность, сконструированную по иным образцам. Неискоренимость стандартов поведения, усвоенных на службе с молодых ногтей, четко зафик-

сировал непредвзятый наблюдатель — эмиссар от Общества Соединенных славян, познакомившийся в 1825 г. ближе с южанами: «Члены Южного общества действовали большей частью в кругу высшего сословия людей; богатство, связи, чины и значительные должности считались как бы необходимым условием для вступления в Общество... так как члены Южного общества были большей частью люди зрелого возраста, занимавшие довольно значащие места и имевшие некоторый вес по гражданским отношениям, то для них было тягостно самое равенство их свободного соединения; привычка повелевать невольно брала верх и мешала повиноваться равному себе и тем более препятствовала иметь доверенность в сношениях по Обществу с лицами, стоящими ниже их в гражданской иерархии»⁸⁷. А инерция присяги-неодолимо мешала использованию экстремистских методов по отношению к легитимному политическому порядку. Великий военный проект Петра I, утвердивший абсолютный примат государственных ценностей, и через сто лет пересиливал прельщения коварного гения А. Вейсгаупта.

Именно в этом пункте и заключалось серьезное отличие русских фрондеров от их зарубежных современников — организаторов западных военных революций и устроителей янычарских мятежей 1825—1826 гг. в Османской империи. И те и другие без колебаний брали на себя роль терминаторов режима, ставя групповые и корпоративные интересы выше государственных. Декабристы то и дело соскальзывали с позиций оппонентов на позицию соучастников в существующей политической организации. По определению английского социолога Ч. Тилли, первые действуют вне рамок нормативного порядка, вторые стремятся оказывать влияние на политику, не покидая ее почвы⁸⁸. Декабристская среда так и не пришла к осознанию себя контрэлитой: даже поверженные участники тайных обществ, находясь под следствием, похоже, не изжили иллюзий о возможном плодотворном сотрудничестве с властью. Это касалось и ключевых фигур движения — П.И. Пестеля, П.Г. Каховского, С.П. Трубецкого, М.П. Бестужева-Рюмина, которые продолжали верить в высочайшее прощение и клялись строить вторично дарованную жизнь на началах «верности, усердия и полной и исключительной преданности личности и семейству его величества»⁸⁹. Именно с учетом высокого коэффициента полезного дей-

ствия самодержавия большинство арестованных декабристов давали откровенные показания о мотивах, целях своей деятельности, делились мыслями о неотложных общественных нуждах (кстати, кое-какими из них Николай I воспользовался в своей последующей политике). В этом плане можно вполне согласиться с мнением А.Е. Преснякова о том, что декабристы «в своих письмах-завещаниях Николаю как бы передавали ему в руки свое недоделанное дело»⁹⁰. Таким образом, недостатки декабристов-революционеров были продолжением достоинств декабристов — кадровых офицеров действующей армии.

Еще одна ловушка для военных оппозиционеров в России крылась в самой природе режима первой четверти XIX в. По оценкам американских политологов Е. Н. Мюллера и Е. Вида, выбор стратегий рациональных акторов детерминирован такими переменными, как шансы и цена восстания, а также уровень репрессивности режима. При высоко репрессивном режиме шансы восстания на победу минимальны, а цена его огромна. При не репрессивном режиме даже при теоретической возможности поднять восстание и добиться успеха рациональные акторы отдадут предпочтение мирным стратегиям, которые способны принести большую отдачу при значительно меньших издержках, чем насильственные. Вероятность агрессивного политического участия оппозиционных групп резко возрастает в режимах со средним уровнем репрессивности. Именно там соотношение шансов и цены восстания будет оптимальным для его участников, лишенных иных способов воздействия на власть⁹¹. Близкое обоснование насильственных стратегий выдвигает и Ч. Тилли. С его точки зрения, они являются спутниками тех режимов, которые отвечают подавлением на ненасильственный протест диссидентских групп. Подобная реакция властей дает толчок ресоциализации оппонентов в криминальном направлении и закрепляет склонность к применению крайних мер с обеих сторон⁹². Кстати, эта закономерность хорошо прослеживается на примере постдекабристского общественно-го движения. Суровое наказание разгромленных декабристов и курс на «закручивание гаек», взятый в николаевское царствование, повлияли на формирование жестких конфронтационных идеологием и экстремистского уклона последующей генерации революционеров. Вместе с тем, покуда правительство воздер-

живается от негативных санкций и политики устрашения, оппозиция, как правило, не переходит границ мирных действий. Таким образом, колебания декабристского подполья между насильственными и мирными практиками можно было бы рассматривать и как реакцию на режим неустойчивого типа.

Кроме того, перманентные войны начала XIX в. произвольно расшатывали некоторые прежние стандарты: межперсональные связи и наследственные статусы в социальном восхождении, патронажно-клиентарные схемы деятельности, одностороннюю связь властных центров с обществом. Возможность быстрого роста в чинах и званиях за счет личной доблести и профессиональной компетентности понижали значение ценных личных связей и фамильных преимуществ, отодвигая на второй план привычные патронажно-клиентарные способы ускорения карьеры. За счет этих изменений постепенно высвобождалось пространство для более совершенных типов объединения, основанных на общности идеологических мотивов и социально-нравственных идеалов. Вместе с тем определенные ограничения на характер активности и конечный выход диссидентских группировок наложила либерализация монархического режима в первую половину царствования Александра I, затронувшая и отношения царя с вооруженной опорой. Поворот вправо, сделанный во вторую половину царствования, повлек за собой определенные сдвиги в позиции военной элиты: подрыв доверия к правительству, разочарование в царском патернализме и плодотворном сотрудничестве с короной. Между тем необратимой перестройки в военном восприятии правительственного курса и его ключевой фигуры так и не произошло. Фрондирующие офицеры, вошедшие в состав тайных обществ, по-прежнему оценивали этот режим сквозь призму благих намерений и не утраченного либерализма державного лидера. Связанные с этим ожидания и ощущения во многом определяли их позицию, в том числе поверхностную и неустойчивую приверженность революционным идеалам и методам борьбы. Отсутствие многочисленных борцов за свободу на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. вполне объясняет закономерность, установленная Э. Фроммом в исследовании об анатомии деструктивного поведения. Согласно Фромму, однозначную реакцию нападения

формирует страх максимальной степени интенсивности. Он охватывает человека, действующего в жестких условиях, безальтернативных с точки зрения выбора форм борьбы. Снижение уровня страха вследствие ослабления внешнего прессинга делает наиболее вероятной тенденцию к бегству при условии, что и сам индивид не готов рискнуть своим положением в обществе⁹³. Иными словами, «штрейкбрехерство» многих декабристов, с одной стороны, было побочным следствием более комфортной среды деятельности в сравнении с той, в которой орудовали группы дворцовых заговоров XVIII в. С другой — более сильной самоидентификации с системой государственной службы, нежели с революционным подпольем.

Декабристское выступление — последний случай политической пульсации армии в едином колебательном контуре с обществом. В этом качестве оно завершает серию дворцовых переворотов XVIII — начала XIX вв. Как и большинство участников дворцовых переворотов, дворянские оппозиционеры обостренно реагировали на внутренние неурядица и вызовы национально-государственным интересам страны. Разница состояла только в том, что осмысление общественно-политической проблематики у первых преломлялось через ущемленные корпоративные интересы и умелое манипулирование своекорыстных политических дельцов. У вторых — было опосредовано идейным самовозгоранием армии в ходе столкновения с иной социальной реальностью и иным интеллектуальным фондом. И если в дворцовых заговорах линия на вестернизацию, реформы составляла побочный мотив, то для декабристов — центральный. Российская армия XIX в. в лице своего передового офицерского отряда показала себя вполне на уровне той «двойной функции», которую не без успеха в XX в. на практике осваивали армии незападных стран со слабыми правящими элитами: вооруженную защиту страны и ее энергичную модернизацию⁹⁴. Однако история не дала шанса российским военным реформаторам апробировать свои преобразовательные программы.

Затухание политической активности армии после подавления декабристского мятежа может быть поставлено в прямую связь с несколькими факторами. Во-первых, с физическим разгромом и развенчанием идейных основ движения, которое по-

следовательно осуществил Николай I. Связав накрепко движение с революционным отрицанием всех существующих общественных институтов, царь «вакцинировал» офицерский корпус от повторных попыток политического вмешательства.

Во-вторых, с неуклонно усиливавшимся в XIX в. рационально-бюрократическим государством, его базовыми принципами и правилами (разделением между государственными службами; непересекающимися юрисдикциями; отбором и продвижением государственных служащих по критериям специальных знаний и навыков, а не персональных связей и наследственных статусов; становлением понятия частной собственности, независимой от государственной власти). Эти изменения затрагивают армию. В связи с необходимостью учета боевых заслуг офицеров в начале XIX в. вводятся дополнительные льготы в военном чинопроизводстве. В частности, учреждается молодая гвардия с преимуществом чинов в один класс по сравнению с соответствующими армейскими. В конце 40-х годов предпринимается ряд шагов по установлению соответствия между чином и занимаемой должностью⁹⁵. Утверждается и четкий порядок чинопроизводства для офицеров с обязательным сроком выслуги в каждом чине не менее четырех лет, а для нижних чинов — в десять лет⁹⁶. В принципе, в николаевское царствование чин превращается в некое подобие конституционным правам личности. Об этом свидетельствуют многие эпизоды высочайшей снисходительности к нарушениям приказов, которые были мотивированы защитой субординации и прав, связанных с чином⁹⁷.

В том же направлении унификации чинопроизводства на основе принципов меритократии развивалась и гражданская служба. «Положение о порядке производства в чины по гражданской службе» от 1834 г. определило общие сроки производства в чины за выслугу лет по образовательным критериям, а также за «отличия» (при этом на некоторых ступенях служебной лестницы скорость перемещения еще ставилась в зависимость от сословного происхождения кандидата). А в 1856 г. были установлены уже единые сроки производства для всехискателей по двум линиям — «за выслугу» и «за отличия». При поступлении на службу чин определялся уже только образова-

тельным уровнем⁹⁸. Четкое законодательное регулирование служебных перемещений вытесняло остатки патронажно-клиентарных соединений с присущими им способами вхождения во власть. И вообще заметно снижало склонность как к индивидуальным, так и коллективным авантюрам, которыми был так богат XVIII век.

В-третьих, с последовательной профессионализацией государственной службы в XIX в., что в конечном итоге приводит к обособлению военного и гражданского корпусов. По меткому замечанию Б.Н. Миронова, в XVIII в. «типичный чиновник был офицером... в XIX — начале XX в. — чиновником-юристом»⁹⁹. Еще в большей степени эта тенденция была характерна для офицерского корпуса, постоянно пополнявшегося из выпускников кадетских корпусов, военных училищ, а также из нижних чинов по выслуге определенного срока. Автономизация корпуса военных профессионалов означала и его дальнейшее дистанцирование от гражданского общества, а соответственно и убывающую вероятность включения в борьбу на стороне тех или иных общественных группировок. На этой основе происходит дальнейшая стабилизация политического порядка: согласно выводам крупнейшего из конфликтологов XX в. — Р. Дарендорфа, опасность интенсивных конфликтов снижается в той мере, «в какой структура общества становится плюралистичной, то есть обнаруживает разнообразные автономные области». (Наоборот, при «напластовании социальных структур, областей» конфликт выливается в «борьбу за все»¹⁰⁰.)

Вместе с тем это не означало, что армия перестала поставлять отдельных личностей, готовых включиться в политическую борьбу.

6.2. Царь и мятежники: реконструкция взглядов Николая I на предысторию и историю 14 декабря 1825 г.

История столкновения правительственных сил и мятежных гвардейских частей, выведенных на Сенатскую площадь декабристами, безусловно, относится к числу наиболее детально изученных сюжетов отечественной истории. Гораздо менее извест-

ны предшествующая этому дню ситуация в императорской семье, а также взгляд на вещи Николая Павловича, являвшегося одной из центральных фигур этих событий. В задачу данного раздела входит реконструкция представлений императора о мятеже, его предпосылках и действующих силах, в том числе и воссоздание тех эпизодов, которые он явно желал сохранить в тайне от подданных и потомков. В нашем распоряжении мемуарные записки императора, предоставленные барону М. А. Корфу как один из источников для написания известного труда «Восшествие на престол императора Николая I-го»¹.

Настоящий раздел распадается на две части. В первой предпринимается попытка восстановить событийную канву, в частности обстоятельства, предопределившие ситуацию длительного междуцарствия и остро драматического вступления на престол Николая I. Во второй — реконструируются представления царя о причинах появления оппозиционного центра силы в стране. Первая часть строится на применении алгоритма нарративной грамматики, разработанного американской исследовательницей В. Ленерт. Предложенная ею методика резюмирования повествовательных текстов опирается на концепцию структур убеждений Р. Абельсона и «концептуальных зависимостей» П. Шенка. Она представляет собой довольно простую, хотя и весьма трудоемкую, процедуру преобразования всего набора описанных событий (даже точечных) в сжатые фабульные структуры, максимально приближенные к логике усвоения и передаче информации рассказчиком. Вначале выделяются элементарные сюжетные единицы, отражающие различные смысловые связи (мотивация, актуализация, завершение, эквиваленция) между эмоциональными реакциями лиц, действующих в рассказе. Далее подобные элементарные сюжеты объединяются в более сложные конфигурации, отражающие мотивы, направленные действия и взаимоотношения субъектов. Следующим шагом является переоформление полученных результатов в графы. На этой основе строится новый пересказ текста с акцентами, которые вскрывают реальные знания и убеждения автора, даже если эти знания и убеждения автор пытался завуалировать для читателя². Такой способ перекодирования текста

является особенно продуктивным в интересующем нас случае, когда автор явно не стремился довести до сведения читателя всю предысторию 14 декабря, бросавшую тень на императорскую семью и дворцовую камарилью.

Описанный алгоритм преобразования текста был применен к четырем отрывкам (сверхфразовым единствам) с описанием событий, предшествующих 14 декабря. (Тетради вторая, третья и часть четвертой до рассказа о начале следствия по делу декабристов.) Итоги проделанных операций мы приводим ниже в виде кратких «резюме», переложенных с первого на третье лицо.

В дополнение к изложенной процедуре записки анализируются при помощи лингвистического аппарата, что дает возможность увеличить информативную отдачу текста. Опыт лингвистического и психолингвистического изучения речи (включая и письменный текст) показывает, что всегда остается зазор между ее желаемым и действительным оформлением, проявляющийся на разных уровнях: при отборе конкретных слов, построении фраз, связывании между собой фрагментов в последовательном рассказе. Именно этот зазор и представляет собой важнейший предмет наблюдения исследователя, нацеленного на реконструкцию системы убеждений и эмоциональных переживаний автора документа.

1818 г.

Гвардия, протестующая против курса великого князя Николая Павловича на ужесточение дисциплинарного режима, понесла ощутимый урон в ходе проведенной им операции по чистке ее рядов от предполагаемых участников заговора. Реакция пострадавших вылилась в интригу, всемерно подрывавшую позиции великого князя.

1819 г.

Николай Павлович пересмотрел свое негативное отношение к плану Александра I передать ему престол после предполагаемого отречения только тогда, когда получил от брата уверения в благополучном состоянии дел в государстве, которому предстояло отойти под его власть.

1825 г., ноябрь

С тем, чтобы преодолеть спровоцированную старшими братьями — императором Александром I и цесаревичем Константином Павловичем — ситуацию безвластия, благоприветствовавшую планам заговорщиков, Николай Павлович попытался оказать давление на Константина. В этих целях он потребовал от него официального подтверждения отказа от трона и признания собственных правомочий наследника, а также выслал доверенное лицо Константина — великого князя Михаила Павловича — из Петербурга. Одновременно он замкнул на себя распорядительные полномочия и информацию, поступающую на имя главы государства. Ответом на эти действия явился окончательный отказ Константина удовлетворить требования брата, уклонение Михаила Павловича от просьбы выступить в Государственном Совете свидетелем категорического решения Константина передать права наследования Николаю, а также саботирование генерал-губернатором Петербурга М.А. Милорадовичем поручения Николая изолировать известных участников военного заговора.

1825 г., декабрь

Враждебная позиция гвардейского и гражданского начальства Петербурга, выявившаяся в дезинформации М.А. Милорадовича о реальном состоянии дел в полках накануне переприсяги, а также углубляющийся политический кризис заставили Николая, опираясь на поддержку верных частей, пойти на боевые действия. В ходе проведенной операции было приостановлено дальнейшее отложение войска, защищены дворец, окружены позиции мятежников и обезврежены скрытые противники нового императора. Одержанная победа над восстанием обеспечила признание факта его вступления на престол Государственным Советом.

Итак, перекодированный нами рассказ Николая позволяет глубже вникнуть в картину сложных переговоров, которые велись между братьями — царствующим монархом Александром I и великим князем Николаем — по поводу престолонаследия.

Как следует из показаний Николая, он узнал о намерениях старшего брата отречься от короны и передать ему престол в обход Константина, решительно не желавшего царствовать, в 1819 г. Его первым побуждением было уклониться от предложенной чести. Однако по прошествии времени в результате убеждений брата он изменил свое решение. Резюмированные фрагменты текста, датированные 1818 и 1819 гг., приведены нами в их реальной исторической последовательности. Между тем в записках Николая отрывок, помеченный датой 1818 г., не предшествует, как в нашем пересказе, отрывку, относящемуся к 1819 г., а следует за ним в нарушение хронологического принципа повествования. Подобная перестановка совершенно не случайна — она предопределена логическим противоречием, которое весьма отчетливо обозначается, если выстроить, как мы это и сделали, отрывки в их линейной временной последовательности. Именно этот изъян и пытался устранить автор, отступая от нормативной хронологии. Вполне понятно, что резкая смена реакций Николая — первоначального отказа принять «дар» Александра I на согласие — не могла быть вызвана лишь простыми уверениями царствующего монарха в благополучном внутреннем положении государства. Во-первых, этот тезис дезавуировал сам Николай, не удержавшийся от язвительного комментария к утверждению Корфа о незыблемом мировом могуществе русского императора — победителя Наполеона: «А русские через год после этого хотели на него руку поднять в самой Москве!» И — самое важное — известные планы царевубийства, которые вынашивали некоторые члены тайных обществ в России, в глазах Николая I отнюдь не выглядели одиозным симптомом неблагополучия внутреннего состояния государства. Как мы убедимся далее, он был склонен смотреть на этот факт как на проявление системного кризиса, охватившего общество и государство во вторую половину правления Александра I. Столь же пугающим контекстом была заряжена и ситуация, в которую он был погружен с начала своей службы в гвардии в 1818 г. Разболтанность, политическое вольномыслие гвардейцев, вверенных его попечению, производили на него самое гнетущее впечатление. А личный опыт борьбы с недостатками в гвардии, как признавался он сам, увенчался отрицатель-

ным результатом, усугубив его и без того шаткое положение среди высоких военных чинов и влиятельных гражданских лиц. Итак, даже оставаясь в строгих рамках показаний Николая, следует предположить иную причину достижения согласия между братьями, никак не связанную с фальшивыми уверениями в порядке и процветании государства. Правомерно предположить, что эта причина содержится в той части разговора братьев летом 1819 г., (когда впервые был поставлен на обсуждение вопрос о престолонаследии), о которой Николай сознательно умолчал. Вполне резонно предположить, что речь шла о своеобразной сделке. Скорее всего в обмен на утверждение в правах официального наследника престола Николай был поставлен перед необходимостью оказания услуги: искоренения неблагонадежных элементов в гвардейской среде. Приведенное дополнение сюжетной линии снимает логическое противоречие между содержанием двух первых отрывков и ставит на свои места причины и следствия последующих событий.

Подтверждением правомерности подобной версии выступает набор оценочных, интерпретирующих выражений, которые в описании Николая характеризуют линию поведения старшего брата в их диалоге. Приведем полностью этот набор:

1. «Государь был доволен и милостив до крайности» (учениями гвардейской бригады под командованием великого князя Николая).

2. «Начал говорить, что он с радостью видит наше семейное блаженство».

3. «Государь сжалился над нами и с ангельскою, ему одному свойственною ласкою начал нас успокаивать и утешать» (в ответ на замешательство, вызванное сообщением о предстоящем отречении).

4. «Дружески отвечал мне он» (в ответ на замечание Николая о его неподготовленности к роли будущего монарха).

5. «В разговорах намекал нам про сей предмет, но не распространяясь...» (об официальных актах, объявляющих Николая наследником).

6. «Был... снисходителен до крайности» (об общем фоне отношения к Николаю во время их последней встречи в 1825 г.).

7. «При... вступлении в службу, где мне наинужнее было иметь наставника, брата Благодетеля, **оставлен я был один**».

8. «Служба шла... иначе, чем слышал волю моего Государя».

9. «Удостоился я... **милостивого слова** моего благодетеля, которого один **благосклонный взгляд** вселял **бодрость и щастие**. С новым усердием я принялся за дело» (о похвале служебного рвения Николая по вверенной ему гвардейской части). (Выделено нами. — И. В.).

За исключением трех номинаций (5, 7, 8) весь приведенный список отражает в высшей степени доброжелательный, располагающий стиль общения Александра I с младшим братом. Пользуясь принятой лингвистической терминологией, можно говорить об этой тенденции как об определяющей иллокутивной функции* (см. примечания к главе 6.2) его обращений к брату.

Вместе с тем в приведенном ряду содержатся и косвенные указания на некоторые внешние, исходившие от императора, стимулы начатой Николаем работы по наведению порядка в гвардейских частях. Это примеры 8 и 9 из приведенного выше списка. Один из них утверждает наличие некоего высокого стандарта службы, насаждаемого Александром I в том числе и в разговорах с младшим братом: отсылка к нему входит в пресуппозицию** словосочетания «...слышал волю моего брата». Второй — одобрительную реакцию на старания Николая усмирить мятежный дух гвардейских частей. Причем в последнем случае внимание заостряется и на перлокутивном*** аспекте похвалы: «...вселял бодрость и щастие. С новым усердием я принялся за дело».

Итак, действуя в строгом соответствии с предписаниями старшего брата, Николай с обостренной чуткостью реагировал на его оценки: ведь в них заключались надежда на обретение в перспективе короны Российской империи.

Однако, всячески поощряя энергичную деятельность Николая на «порученном участке», притом деятельность, далеко небезвредную для его репутации в войске и в обществе, и фактически заставляя его выполнить свою часть договора, Александр I не спешил с выполнением собственных обязательств. Как известно, ни обнародования акта от 1823 г., устанавливающего права на власть Николая, ни официального провозглашения

его наследником при жизни Александра I так и не состоялось. Нарушение морального долга перед младшим братом выявляют две синтаксемы: «намекал нам про сей предмет, но не распространяясь» и «...оставлен я был один». Глаголы речевого действия, использованные в первой, строятся на однозначно отрицательной коннотации. Эта черта свойственна глаголам, описывающим способы говорения, которые не принадлежат к разряду наиболее употребительных (частотных). Негативная оценка различной степени силы изначально встроена в семантическую структуру таких глаголов. (Для сравнения можно привести другие, наиболее типичные глаголы — «говорить», «сообщать», «рассказывать», не обладающие отрицательным смысловым оттенком. Такой оттенок, напротив, свойственен нетипичным: «заговариваться», «плести», «нести», «молоть», «городить» и т.д.)³.

В словоупотреблении Николая как раз выделена позиция сознательного, идущего вразрез с заключенной договоренностью, ухода от важнейшей темы, затягивания драматической неопределенности в его положении. Последняя синтаксема, использующая глагол-каузатив «оставлять»^{****}, фиксирует одиночество Николая, довольно опасное с учетом отведенной ему роли мишени для гвардейской фронды. Иными словами, в имплицитных смыслах рассказа проступают контуры политической интриги Александра I, в которую оказался, помимо своих желаний, втянут его младший брат. За внешним фасадом предельной лояльности императора таилась злая и расчетливая политическая комбинация. Она вполне объясняет удивлявшую сотрудников императора и последующих историков его царствования индифферентную реакцию на донесения о тайных обществах. В частности, на сообщение в конце мая 1821 г. командира гвардейского корпуса генерала И.В. Васильчикова о Союзе Благоденствия тот произнес фразу, поставившую приближенного в тупик: «...Не мне подобает их карать». В свете реконструированных «показаний» Николая заявленная Александром I позиция не выглядит как устранение от всякой борьбы с заговором.

Очевидно, подлинная суть замысла брата для Николая окончательно прояснилась в конце ноября 1825 г. после получения в Петербурге известий о его смертельной болезни, а потом и кончине. Пользуясь современной системой понятий, смысл за-

теянной им игры можно было бы определить как переадресовку антиправительственной оппозиции в элитных воинских частях на замещающий объект. Именно в этом качестве все более и более, по мере увязания в конфликте с гвардейцами, утверждался великий князь.

При неизвестных (или частично известных) императору данных о локализации, численности, персональном составе всех тайных обществ провоцирующая тактика с «подставленной» фигурой имела под собой вполне веские основания. Во-первых, она побуждала скрытых заговорщиков к саморазоблачению. Во-вторых, направляла их активность в русло углубляющегося конфликта с великим князем, сужая тем самым фронт противостояния действующей власти. В-третьих, взаимно истощая противников, ослабляла мощь антирежимных сил и экономила ресурсы специальных государственных ведомств.

Как видно из резюмирования третьего и четвертого отрывков воспоминаний, направленная против Николая интрига вступила в завершающую фазу после кончины Александра I (или инсценировки кончины?) в Таганроге. Не вдаваясь в подробности известной легенды о старце Федоре Кузьмиче, заметим, что в свете реконструкции на основе записок Николая I версия сознательного удаления Александра I представляется правдоподобной. После 27 ноября центр тяжести в политической игре сместился к Константину, который своими преднамеренными поступками — отказом лично подтвердить отречение, аннулировать присягу и даже прислать официальный Манифест с изъявлением своей воли, подчинением себе Михаила Павловича — фактически выступил в роли душеприказчика покойного (или самоустранившегося?) императора. Выталкивая Николая на передний край борьбы с активизировавшимися заговорщиками, Константин продолжил двурушническую линию Александра I. Неожиданная «помощь» Николаю пришла со стороны другой группы его антагонистов — гвардейской и бюрократической верхушки Петербурга. Ее негативное отношение к воцарению Николая ясно выразил Милорадович в разговоре с ним 25 ноября. Однако прямо сформулированный отказ гвардейского начальства поддержать Николая Павловича сыграл ему на руку, обеспечив необходимой отсрочкой открытого

столкновения с заговорщиками. Скорее всего именно это обстоятельство и обусловило «легкость» согласия Николая на присягу Константину 27 ноября и ту взаимную уступчивость братьев в вопросе о том, кому надлежит занять трон. Уступчивость, напоминавшую спор Бобчинского и Добчинского в дверях, которую простодушный М.А. Корф в своей книге прокомментировал как трогательное бескорыстие членов императорского дома.

Развязка, наступившая 14 декабря на Сенатской площади, позволила Николаю I перейти в контрнаступление на сановную группировку, препятствовавшую ранее его приходу к власти. Именно эта линия политической борьбы представляла для него наивысшую сложность. В записках о ней содержатся лишь глухие намеки. Приведем короткие зарисовки Николая, описывающие его контакты с Государственным Советом в судьбоносные дни 13—14 декабря.

1. О заседании Государственного Совета в канун назначенной переприсяги в войсках, где Николай со ссылкой на волю брата Константина Павловича объявил о своем вступлении на престол: «...и вслед за тем начал Манифест о моем восшествии на престол. Все стали, и я также. Все слушали в глубоком молчании и по окончании чтения глубоко мне поклонились, причем отличился Н.С. Мордвинов, против меня бывший, всех первый вскочивший и ниже прочих отвесивший поклон, так что оно мне странным показалось».

2. О заседании Государственного Совета в ночь с 14 на 15 декабря после подавления восстания: «Там в коротких словах я объявил настоящее положение вещей и истинную цель того бунта, который здесь принимал совершенно иной предлог, чем был настоящий; никто в Совете не подозревал сего; удивление было общее, и, прибавлю, удовольствие казалось общим, что Бог избавил от видимой гибели. Против меня первым налево сидел Н.С. Мордвинов. Старик слушал особенно внимательно, и тогда же выражение лица его мне показалось особенным; потом мне сие объяснилось в некоторой степени».

Отрывки представляют собой параллельные структуры, в которых последовательно в фокусе внимания оказываются заявления Николая, их восприятие всеми присутствующими, а также индивидуальная бессловесная, но достаточно красноречивая реакция адмирала Н.С. Мордвинова и ее толкование Николаем. Сам параллелизм этих двух синтаксических конструкций обуславливается единой мерой оценки поведения сановников и в первом, и во втором случаях. Этой мерой служит степень свободы — связанности лиц из высшего законосовещательного органа государства в отношениях с его новоявленным руководителем.

Коллективная позиция Совета в канун переприсяги выражается глагольными группами «стали... слушали в глубоком молчании... поклонились». Остановимся на глагольно-именной группе «слушали в глубоком молчании». Молчание в социальном контексте является не менее значимой поведенческой тактикой, чем участие в диалоге или последовательность определенных действий. Как отмечает отечественный лингвист Н.Д. Арутюнова, «в рамках «сильной этики», основывающей свои требования не на запретах, а на предписании положительных действий, молчание приравнивается к отрицательной акции — лжи, предательству и т. п. «Сильная этика» оценивает не воздержание от отрицательного действия, а уклонение от действия положительного»⁴. Изложенный коммуникативный аспект молчания вдвойне важен для ситуаций со столь детально разработанным кодексом «утвердительного» поведения, как ситуация общения монарха с подданными в дворцовой обстановке. В момент решения вопроса о власти этот аспект еще и приобретает дополнительный смысл признания или отклонения претендента на эту власть. Таким образом, в изложении Николай всплывал один из наиболее щекотливых моментов скрытого сопротивления его приходу к власти со стороны высоких гражданских чиновников (момент, известный по другим источникам, но, разумеется, не освещаемый им в записках).

Остановимся также на синтаксемах: «Все стали, и я также... по окончании чтения глубоко мне поклонились, причем отличился Н.С. Мордвинов, ...первый вскочивший и ниже прочих отвесивший поклон...». Глаголы и девербативы

(причастия в действительном залоге) движения, отражающие сугубо ритуальные действия, предписанные этикетом, в данном случае отливают неформальным оттенком. Для понимания их глубинного смысла уместно напомнить мнение Б. Рассела о ненормативных явлениях как основном материале впечатлений человека, обеспечивающем себе прямой выход в его речевую деятельность. Совершенно очевидно, что в привычно-стандартном способе поведения сановников Николай усмотрел определенную аномалию, которая, собственно, и заставила его заметить столь «затертые» для взгляда ежедневного наблюдателя элементы дворцового «протокола». Аномалия здесь прежде всего заключена в той поспешной угодливости, с которой члены Совета (и особенно адмирал Мордвинов) приветствовали извещение Николая о своем вступлении на престол. В конечном счете ритм этого аффектированного «соучастия» подчинил и Николая, вынужденного принять тот способ реагирования, который на невербальном уровне навязывали ему сановники («все стали, и я также»). Именно этот пассаж может быть приведен как отличная иллюстрация к определенному способу побудительного воздействия на контрагента. В современной науке, занимающейся изучением способов такого воздействия (так называемом нейролингвистическом программировании), он квалифицируется как умение, подлаживаясь, присоединяться к собеседнику, и называется раппортом. «Установить раппорт — это значит присоединиться к «танцу» другого человека, подстраиваясь к языку его телодвижений чутко и с уважением», — отмечают одни из основоположников данного научного направления Дж. О'Коннор и Сеймор. Раппорт составляет общий контекст вокруг вербального сообщения и является необходимым условием для «ведения», то есть для программирования требуемой реакции⁵. Иными словами, в поведении сановников отчетливо просматривалась подстрекательская линия, нацеленная на то, чтобы, играя на амбициях Николая, вытолкнуть его лобовое столкновение с оппозицией. Именно так понял и в конечном счете отобразил отношение к себе представителей высшей бюрократии сам император. Отвлекаясь от указанных аспектов, обратим внимание на подмеченную в психологии и лингвистике закономерность. Любая повествовательная линия,

связанная с подчеркиванием коммуникативной позиции контр-агента, — свидетельство ее активного отчуждения, а следовательно, борьбы, пусть даже протекающей в скрытой форме⁶.

Второй отрывок также вскрывает один из самых острых завершающих эпизодов утверждения Николая I на престоле, заключавший для него высокую степень неопределенности. Ее отпечатком служат предикаты эмоционального состояния присутствующих, образованные при помощи так называемой номинализации (свертки) простых предложений (типа «все удивились и, казалось, были довольны».) Номинализации такого рода в лингвистике определяются как событийные: они фиксируют прежде всего осмысление происшествия через призму ощущений субъекта в отличие от так называемых пропозитивных (фактуальных) номинализаций, ориентированных в большей степени на анализ ситуации и ее последствий. Чем более предметно-событийная сфера воздействует на психическое состояние говорящего, тем дальше субъект отстоит от пропозитивной семантики и тем больше тяготеет к событийной⁷.

Помимо вывода о чрезвычайном напряжении, с которым Николай вступил в разговор с сановниками, в отрывке достаточно хорошо прорисовывается и та коммуникативная тактика, которая обеспечила их конечное «укрощение». Это — помещение событий в новые (для слушателей) рамки, так называемое рефреймирование⁸. Николай не приводит содержания своей речи, обращенной к сановникам, а только фиксирует впечатление, которое она произвела. Тем не менее, судя по охарактеризованному эмоциональному состоянию слушателей, можно догадаться, что оратор не пожалел красок для изображения масштабов и разрушительности замысла мятежников, собравшихся на Сенатской площади. Именно эти акценты предопределили перелом, произошедший в позиции Государственного Совета. Характерно, что он непосредственно запечатлелся в лексической структуре отрывка, насыщенной дейктической лексикой. Классическими дейктическими словами являются: здесь — там, сейчас — тогда, этот — тот, сегодня — вчера — завтра, текущий — прошлый — следующий и т.п. Эта категория слов объединяет различные временные и пространственные ориентиры человека, отражающие его отношение к объектам и субъектам

окружающего мира. Дейктическая лексика эгоцентрична. В основе ее лежит оппозиция своего (освоенного, ближнего) ареала и чуждого (дальнего, потенциально или реально враждебного) социального или физического пространства⁹. Наиболее существенным признаком использования дейксиса в рассматриваемом отрывке являются случаи кореферентного (то есть имеющего одно и то же понятийное вхождение) использования ближнего (проксимального) и дальнего (экстремального) дейксиса. Так, в рамках первого предложения отрывка используются сразу два таких слова — «там» и «здесь», имеющих общий антецедент — Государственный Совет, а также противоположные дейктические определения к трактовке событий 14 декабря («того бунта, который здесь принимал совершенно иной предлог, чем был настоящий»).

Таким образом, произвольное словоупотребление автора можно рассматривать как своеобразный отгиск реально произошедшей в беседе с сановниками перестройки отношения, в ходе которой «там» закономерно превращается в «здесь», а «иной» подход к мятежу — в его «настоящее» истолкование с осознанием «истинной цели». Благодаря тому из-под ног дворцовых заговорщиков была выбита почва, и появилась основа для консолидации враждующих сторон. Под давлением непреложных фактов сановники из лагеря противников переключаются в лагерь союзников императора.

Второй отрывок регистрирует ситуацию абсолютного реванша, по всем статьям одержанного Николаем над группой его антагонистов из высших эшелонов власти. Впрочем, присутствующая в тексте оппозиция «быть — казаться», относящаяся к реакциям сановников, указывает на весьма условный, неустойчивый характер такого перестроения. Следовательно, на ближайшее время для Николая актуализировалась задача удержания ненадежных высокопоставленных особ на коротком поводке. Она нашла свое решение в нескольких аспектах практической деятельности. Во-первых, в рассекречивании всех далеко идущих целей декабристских обществ, конкретизирующих образ сокрушительной политической силы. В этом плане без больших натяжек Николая I следует признать наиболее заинтересованным лицом в выявлении последовательной революционности

декабристов, если даже не в ее завышении. Во-вторых, в поиске принадлежности к тайным обществам ряда высоких чинов (что, собственно, и было выделено в отдельную секретную линию расследования). В-третьих, в установлении идеологической причастности и организационного пособничества революционному подполью со стороны данного круга. Именно этот пункт обвинения сановников естественно вырастал из взгляда Николая на истоки 14 декабря. Остановимся на нем подробнее.

Происхождение движения декабристов в записках Николая занимает одно из главных мест, несмотря на то, что прямые рассуждения на эту тему отсутствуют. Вместе с тем исходные посылки его подхода достаточно четко проступают в способах называния действующих лиц и ситуаций, проявивших себя задолго до известных событий. В первую очередь необходимо отметить регулярную повторяемость и использование перифраз отдельных формул. Это — лексически либо семантически идентичные обозначения неформальных социальных контактов, происходивших во дворце, а также в домах знатных особ высших рангов:

1. «Шумные собрания».
2. «В сем собрании делались дела по гвардии».
3. «Время проходило в шутках и насмешках насчет ближнего; бывали и интриги».
4. «Вся молодежь... ждали в коридорах, теряя время или употребляя оное для развлечения почти также и не щадя начальников, ни правительство».
5. «В шуме сборища разных чинов офицеров и других... Оболенский подхватывал все, что могло быть полезным к успеху заговора, и сообщал злоумышленникам».
6. «Якубовский... умел хитростию своею... втереться в дом графа Милорадовича... Чего Оболенский не успевал узнать во дворце, то Якубовский изведывал от графа».

Субъектами действий, описываемых синтагмами 1—3, являются старшие в служебной иерархии чины. Именно их поведение становится моделью для подчиненных и воспроизводится на нижнем уровне (пример 4). В свою очередь, между младши-

ми и старшими чинами завязываются тесные внеслужебные отношения, обусловленные общностью взглядов и неформальных ценностей. Выражаясь современным языком, эти признаки отчетливо указывают на превращение ряда бюрократических организаций в неформальные объединения, действующие по типу первичных групп. Иными словами, речь идет об образовании зон теневой социальности, в рамках которых осуществляется свободный обмен информацией, услугами и отрабатываются новые механизмы внутренних взаимодействий и внешней защиты. Здесь если не полностью, то в очень большой степени отменяются бюрократическая субординация, дисциплина и функциональная деперсонализация отношений. Напротив, культивируются контакты поверх ранговых и ведомственных барьеров и помимо правительственных предписаний. Попытки локальных вмешательств со стороны властей приводят к политизации таких зон, вплоть до отложения от действующей нормативной системы. Именно в рамках этой схемы Николай Павлович рассматривает и развитие своего конфликта с гвардией и лицами из высоких правительственных сфер. Концептуальным оформлением этого взгляда является классификация гвардейских служащих и дескрипция деятельности подобных теневых структур: «...офицеры делились на три разбора: на искренно усердных и знающих; на добрых малых, но запущенных и оттого не знающих, и на решительно дурных, то есть говорунов дерзких, ленивых и совершенно вредных».

Синтаксическая организация текста, раскрывающего серию описанных социальных превращений, определяется как рекурсивная, или возвратно-поступательная. Каждый новый фрагмент — сверхфразовое единство — «цепляется» не за рему, а за тему предшествующего фрагмента¹⁰. Другими словами, служит углублению представлений об одном и том же объекте (или группе объектов) наблюдения. Именно на этом феномене основаны перифразы, соединяющие в однородные группы некоторые характеристики. Это, во-первых: «время проходило в шутках и насмешках насчет ближнего», «не щадя начальников, ни правительство», «говоруны дерзкие, ленивые и совершенно вредные». Данный набор словосочетаний составляет единство на парадигматической оси языка. Он объединяет

единицы речи, связанные друг с другом по функции лексической замены, то есть совпадающие целиком или частично в переводе на семантический язык¹¹. Модному поведенческому стилю в некоторых кругах чиновной аристократии — пренебрежению прямыми служебными обязанностями, высмеиванию правительственной политики и персон из высших сфер власти — полностью соответствует образ «говорунов, дерзких, ленивых и совершенно вредных» среди гвардейцев.

Во-вторых, это группа слов и словосочетаний, выражающих эффект плотной смычки между высшими и низшими категориями недобросовестных служащих на почве отпора начинаниям Николая. Ее образуют: «...что я... порочил, дозволялось везде даже моими начальниками... я явно ставил и начальников и подчиненных против себя, тем более, что меня не знали, и многие или не понимали или не хотели понимать»; «сии-то люди («говоруны дерзкие ленивые и совершенно вредные». — *И.В.*) составляли как бы цепь через все полки и в обществе имели покровителей, коих сильное влияние оказывалось всякий раз теми нелепыми слухами и теми неприятностями, которыми удаление их из полков мне отплачивалось».

«Дозволялось», «ставил и начальников и подчиненных против себя», «не понимали или не хотели понимать», «составляли цепь», «имели покровителей», «оказывалось слухами», «неприятностями отплачивалось» — эти глагольные группы объединяются в парадигматическое «гнездо» по общей тематической принадлежности. Они означают (денотируют) разные формы согласованного сопротивления всей служилой вертикали (как военной, так и гражданской) мерам самого Николая Павловича, нацеленным на восстановление служебного порядка и иерархии. Способы подобного сопротивления располагались в широком диапазоне — от тихого саботажа правительственных предписаний до открытой дискредитации и блокирования импульсов власти — на разных уровнях петербургского общества. Последний вид подрывной деятельности, передающийся через метафору «цепи», указывает на его хорошую технологическую отработку противодействия и налаженную коллективную самозащиту от преследований.

Характерно, что поиск звеньев этой цепи оставался одним из основных предметов внимания Николая Павловича даже по прошествии многих лет после восстания и завершения следствия. Во всяком случае, в его авторской картине событий такого рода смычки, как установленные, так и не выявленные доподлинно, определяют значительное количество всех персональных упоминаний. Очевидными для Николая были тесные отношения графа М.А. Милорадовича и А.И. Якубовича, командующего пехотой гвардейского корпуса генерал-лейтенанта К.И. Бистрома и Е.П. Оболенского. Кроме того, такие же плотные связи с не выявленными персональными выходами царь подозревал у командующего гвардией генерала А.Л. Войнова, полковника лейб-гвардии Финляндского полка А.Ф. Моллера, полковника Финляндского полка А.Н. Тулубьева и даже родственника царской семьи генерала герцога А. Виртембергского. В числе наиболее подозрительных лиц с этой же точки зрения оказались адмирал Н.С. Мордвинов, М.М. Сперанский, сенатор П.И. Сумароков. В число неблагонадежных по тому же пункту попали и командиры, пострадавшие от рук мятежников: Московского полка — генералы В.Н. Шеншин и П.А. Фредерикс, а также командиры Лейб-Гренадерского полка и Гвардейского морского экипажа. В их случае подразумевалось не столько сознательное покровительство членам тайных обществ, сколько создание в своих полках условий, благоприятствовавших зарождению и развитию антиправительственного заговора. Эти представления в полной мере были мотивированы николаевской презумпцией общей виновности, принятой по отношению к служилому корпусу в его среднем и высшем звеньях. Именно этот обличительный уклон расследования входил в формулу следственной установки, заданной царем: «дать каждому оговоренному смыть с себя пятно подозрения».

Наконец, в записках имплицитно поставлен и наиболее фундаментальный вопрос о глубинных истоках происшествия 14 декабря. Для анализа его представлений составим подборку определений к внешним параметрам деятельности всех лиц, прямо или косвенно вовлеченных в понимание царя в подготовку акта 14 декабря.

1. «Порядок службы, распущенный, испорченный до

невероятности с самого 1814 г., когда... гвардия осталась в продолжительное отсутствие государя под начальством графа Милорадовича.

2. «Без того уже расстроенный 3-голичным походом порядок совершенно разрушился».

3. «Дозволена была офицерам носка фрака».

4. «Подчиненность исчезла и сохранялась едва только во фронте».

5. «Уважение к начальникам исчезло совершенно».

6. «Служба была одно только слово».

7. «Не было ни правил, ни порядка».

8. «Все делалось совершенно произвольно и как бы по-неле, дабы жить со дня на день».

9. «Военное распутство».

Нетрудно заметить, что все приведенные пропозиции характеризует общий признак — отсутствие агентивного компонента. Под агенсом, согласно падежной грамматике, подразумевается одушевленный субъект, внешний зачинщик действия или состояния, называемого предикатом¹². Имена, занимающие в цитированных пропозициях позицию субъекта (подлежащего), относятся к разряду отвлеченных: «порядок службы», «порядок», «подчиненность», «уважение», «служба», «правила», «распутство». Они заведомо не могут выступать в роли действующих сил. Сопровождающие их предикаты относятся к классу бытийных («осталась», «разрушился», «исчезла», «сохранялась», «была одно слово», «не было», «делалось»). Их основной семантической функцией является утверждение наличия, отсутствия того или иного признака, качественное изменение в состоянии объекта внимания. А предикаты «распущенный», «расстроенный», «испорченный», «была дозволена», образованные от акциональных глаголов (то есть таких, которые означают активное целенаправленное действие субъекта), помещены в форму причастий в страдательном залоге, что также лишает их акционального значения¹³. Таким образом, сама подборка используемых Николаем I выражений демонстрирует упорное стремление исключить вопрос об ответственном лице или ответственных лицах подобных негативных метаморфоз.

Между тем вполне очевидно, что все следы ведут к средоточию власти, воплощенной в ее венценосном носителе. Однако Николай I упорно опускает его имя. Впрочем, такую установку нетрудно понять в свете окончательной развязки «братской» распри. Преодолев на пути к трону полосу препятствий, воздвигнутых старшим братом, Николай в наименьшей степени был заинтересован в том, чтобы выводить его на сцену в этих сюжетах, как и вообще раскрывать свой тернистый путь. Между тем, так же как и в случае с противодействием сановников, он «выдает» свои сокровенные мысли, сам того не подозревая. Отсылка к главному виновнику в свернутом виде содержится в первом из приведенных высказываний, в упоминании о продолжительном отсутствии Александра I. Это упоминание, заключенное в номинализованную структуру с отглагольным существительным «в отсутствие Государя», сохраняет, хотя и в стертом виде (по сравнению с исходным, темпорально-каузативном придаточным предложением), значение причинности, а называемое лицо — значение субъекта — каузатора. Характерно, что негативные изменения в государственном управлении, в том числе и в состоянии армии, которые фиксируются синтагмами 2—9, мыслятся как производные, наслаивающиеся, наподобие снежного кома, на исходную предпосылку. (Этот способ осмысления ситуации как раз и лежит в основе цепочечной синтаксической организации соответствующего фрагмента текста, в котором рема предыдущего высказывания составляет тему последующего.)

Итак, записки Николая I, прочитанные под углом зрения его глубинных представлений о предыстории событий 14 декабря, обнаруживают мощный пласт «конспиративной» проблематики. В первую очередь ее образует осмысление предшествующего царствования. В интерпретации Николая Павловича этот период получает значение глубокого социального кризиса. По ходу его развития происходит отложение от нормативного порядка различных групп государственных служащих и столичного дворянства, радикализм отдельных сообществ получает идейную подпитку и организационную нишу. Попытка Александра I перевести стрелку назревающего конфликта на младшего брата, внедрив того в качестве сильного раздражителя в

непокойную гвардейскую среду, повлекла за собой далеко идущие, возможно, недоучтенные автором этого замысла последствия. В канун и самый день 14 декабря Николаю противостояли разные группы оппозиционеров — как из высших эшелонов власти, так и из среднего военно-служилого звена. Несмотря на несовпадение их интересов, автономность действий, в определенном смысле они составляли единый блок сил, вырвавшихся из-под контроля власти. Приняв вызов оппозиции, Николай I подавил при помощи оружия наиболее радикальную группировку и незамедлительно перешел в наступление на традиционных дворцовых заговорщиков из гражданского и военного генералитета. Наиболее сильной стороной тактики Николая, позволившей ему как формально, так и фактически утвердиться на престоле, явился поворот темы либерального заигрывания с фрондирующей молодежью против маститых сановников. Недвусмысленно дав понять, что именно их беспечность позволила возгореться революционному пламени, Николай I парализовал попытки дальнейшей политической игры. Соединив воедино две линии борьбы, проявившиеся в канун и в ходе переприсяги, царь фактически продиктовал им единственно возможный способ самооправдания — активное участие в следственном процессе и вынесении сурового окончательного вердикта мятежникам 14 декабря. Стабилизация обстановки на условиях, которые обозначил Николай I, исключала иные решения вопроса о верховной власти (даже если представить, что такие решения могли иметься в виду при разработке коварного сценария Александра I). В свою очередь, осмысление всех обстоятельств смутного времени, предшествовавшего воцарению Николая, определило собой программу его царствования, в том числе реализацию мер, призванных минимизировать риск повторения аналогичных precedентов.

Примечания к главе 6.1

¹ Пресняков А.Е. Российские самодержцы. М., 1990. С. 222, 225; Россия и русские Николая Тургенева. Ч. 1. М., 1907. С. 19; Верные Сыны Отечества. Воспоминания участников декабристского движения в Петербурге. Л., 1982. С. 76.

- ² Э к ш у т С.А. В поисках исторической альтернативы. Александр I. Его сподвижники. Декабристы. М., 1994. С. 79, 92.
- ³ Россия и русские... С. 90.
- ⁴ Мемуары декабристов. Северное общество. Под ред. В.А. Федорова. М., 1981. С. 285.
- ⁵ Там же, с. 206.
- ⁶ Восстание декабристов. Документы. Т. 17. М., 1980. С. 40.
- ⁷ Там же, с. 43; К и я н с к а я О.И. Декабрист Михаил Бестужев-Рюмин. // Вопросы истории. 2000. № 6. С. 10.
- ⁸ Мемуары декабристов. С. 70.
- ⁹ Э к ш у т С.А. Указ. соч. С. 103—107.
- ¹⁰ Се м е н о в а А.В. Временное революционное правительство в планах декабристов. М., 1982. С. 7—9.
- ¹¹ Записки Николая I. // 14 декабря 1825 года и его истолкователи (Герцен и Огарев против барона Корфа). М., 1994. С. 324.
- ¹² Гор д и н Я.А. События и люди 14 декабря. Хроника. М., 1985. С. 35, 41.
- ¹³ Се м е н о в а А.В. Указ. соч. С. 131, 167.
- ¹⁴ Мемуары декабристов. С. 274.
- ¹⁵ Э к ш у т С.А. Указ. соч. С. 131.
- ¹⁶ Се м е н о в а А.В. С. 49, 95.
- ¹⁷ Восстание декабристов. Т. 17. С. 31.
- ¹⁸ Мемуары декабристов. С. 207.
- ¹⁹ Восстание декабристов. Т. 17. С. 31.
- ²⁰ Р у д н и ц к а я Е.Л. Феномен Пестеля. // Империя и либералы. С. 199.
- ²¹ Гор д и н Я.А. Указ. соч. С. 49.
- ²² Восстание декабристов. Т. 17. С. 53.
- ²³ Верные сыны Отечества. С. 83.
- ²⁴ Гор д и н Я.А. Указ. соч. С. 83.
- ²⁵ Восстание декабристов. Т. 17. С. 53.
- ²⁶ Ф и ш е р Р., Ю р и У. Путь к согласию (соглашение без ущерба для договаривающихся сторон). // Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1998. С. 202—206.
- ²⁷ Гор д и н Я.А. Указ. соч. С. 13.
- ²⁸ Calvert P. Op. cit. P. 166.
- ²⁹ Социальный облик Востока. Под ред. Ланды Р.Г. М., 1999. С. 224—225.
- ³⁰ F i n e r S.E. Op. cit. P. 142.
- ³¹ Ibid. P. 142, 147.
- ³² Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. X. С. 744.
- ³³ Восстание декабристов. Материалы. Т. 4. М.—Л., 1927. С. 103—104.
- ³⁴ Гор д и н Я.А. Указ. соч. С. 50.
- ³⁵ Там же, с. 258.
- ³⁶ Мемуары декабристов. С. 40.
- ³⁷ Г а б а е в Г.С. Гвардия в декабрьские дни 1825 г. (военно-историческая справка). // Пресняков А.Е. 14 декабря 1825 года. М.—Л., 1926. С. 178—179, 182.
- ³⁸ Гор д и н Я.А. Указ. соч. С. 108.

- ³⁹ Декабристы. 1825—1925. Сб. статей и материалов. Под ред. и с предисловием С.Я. Штрайха. М., 1925. С. 186.
- ⁴⁰ Рахматуллин М.А. Кого считать декабристом? (Историографические заметки). // Империя и либералы. С. 230—241.
- ⁴¹ Восстание декабристов. Материалы. Т. 2. М.—Л., 1926. С. 45, 51, 132, 293.
- ⁴² Восстание декабристов. Т. 17. С. 36.
- ⁴³ Ланда С.С. Дух революционных преобразований. Из истории формирования идеологии и политической организации декабристов. 1816—1825. М., 1975. С. 182.
- ⁴⁴ Горбачевский И.И. Записки. Письма. М., 1963. С. 29.
- ⁴⁵ Пыпин А.Н. Общественное движение в России при Александре I. СПб., 2001. С. 357—358, 409.
- ⁴⁶ Горбачевский И.И. Указ. соч. С. 29.
- ⁴⁷ История Италии в 3-х т. Под ред. Сказкина С.Д. Т. 2. М., 1970. С. 118.
- ⁴⁸ Испанские короли. 18 исторических портретов от средних веков до современности. Под ред. В.Л. Бернекера, К.К. Сейделя и П. Хозера. Ростов-на-Дону, 1998. С. 333, 337, 352.
- ⁴⁹ Арш Г.Л. Тайное общество «Фелики Этерия»: из истории борьбы Греции за свержение османского ига. М., 1965.
- ⁵⁰ Ланда С.С. Указ. соч. С. 264—267.
- ⁵¹ Тарле Е.В. Военная революция на Западе Европы и декабристы. // Тарле Е.В. Соч. Т. 5. М., 1958. С. 13—14; Майский И.М. Испания в 1808—1917. Исторический очерк. М., 1957. С. 113—114.
- ⁵² Дарол А. Тайные общества. М., 1998. С. 128; Ковальская М.И. Движение карбонариев в Италии. 1808—1821 гг. М., 1971. С. 82, 87, 92, 96—97.
- ⁵³ Вебстер Н.Х. Всемирная революция. Заговор против цивилизации. Киев, 2001. С. 13—15.
- ⁵⁴ Буонарроти Ф. Заговор во имя равенства. Т. 1. М., 1963.
- ⁵⁵ Ковальская М.И. Указ. соч. С. 72; Вебстер Н. Указ. соч. С. 77.
- ⁵⁶ Арш Г.Л. Указ. соч. С. 71.
- ⁵⁷ Нечкина М.В. Движение декабристов. Т. 1. М., 1955. С. 160—161.
- ⁵⁸ Эпштейн А.Д. История Германии от позднего средневековья до революции 1848 г. М., 1961. С. 383—384; Пыпин А.Н. Указ. соч. С. 386—387.
- ⁵⁹ Россия и русские. С. 54.
- ⁶⁰ Законоположение Союза Благоденствия. // Пыпин А.Н. Указ. соч. Приложения.
- ⁶¹ Там же, с. 514.
- ⁶² Там же, с. 343.
- ⁶³ Мемуары декабристов. С. 143.
- ⁶⁴ Гершензон М.О. Очерки прошлого. М.Ф. Орлов. // Гершензон М.О. Грибоедовская Москва. П.Я. Чаадаев. Очерки прошлого. М., 1989. С. 271.
- ⁶⁵ Восстание декабристов. Т. 4. С. 18.

⁶⁶ Потапова Н.Д. «Что есть истина?» Критика следственных показаний и смена исторических парадигм. (Еще один взгляд на проблему «движения декабристов»). // Исторические записки. Т.3 (121). М., 2000. С. 299.

⁶⁷ Там же, с. 303.

⁶⁸ Там же, с. 320.

⁶⁹ Жуковская Т.Н. Тайное общество декабристов: европейские влияния и российский контекст. // Империя и либералы. С. 53—54.

⁷⁰ Геннеп А. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов. М., 1999. С. 87—88.

⁷¹ Брачев В.С. Русское масонство XVIII—XIX вв. СПб., 200. С. 57.

⁷² Арш Г.Л. Указ. соч. С. 54.

⁷³ Геннеп А. Указ. соч. С. 73.

⁷⁴ Франкл Дж. Незнвестное Я. М., 1998. С. 97, 145, 147.

⁷⁵ Ланда С.С. Указ. соч. С. 189.

⁷⁶ Пыпин А.Н. Указ. соч. С. 383.

⁷⁷ Ланда С.С. Указ. соч. С. 154.

⁷⁸ Орлик О.В. Декабристы и внешняя политика России. М., 1984. С. 95.

⁷⁹ Ланда С.С. Указ. соч. С. 154.

⁸⁰ Гершензон М.О. Указ. соч. С. 269—272.

⁸¹ Там же, с. 284.

⁸² Гордин Я.А. Мистики и охранители. Дело о масонском заговоре. СПб., 1999. С. 27.

⁸³ Энтин Дж. Теории заговоров и конспиративистский менталитет. // Новая и новейшая история. 2001. № 1. С. 73.

⁸⁴ Гордин Я.А. Указ. соч. С. 47.

⁸⁵ Брачев В.С. Указ. соч. С. 223—224; см. также: Графиня Толь С.Д. Масонское действо. Исторический очерк о заговоре декабристов. // Графиня Толь С.Д. Ночные братья. М., 2000. С. 117.

⁸⁶ Брачев В.С. Указ. соч. С. 234.

⁸⁷ Горбачевский И.И. Указ. соч. С. 32—34.

⁸⁸ Tilly Ch. From Mobilization to Revolution, Addison, Wesley, 1978.

⁸⁹ Декабристы. 1825—1925. С. 203, 228—229.

⁹⁰ Пресняков А.Е. Российские самодержцы. С. 274.

⁹¹ Muller E.N. Weed E. Cross-National Variation in Political Violence. Rational Action Approach. // Journal of Conflict Resolution. 1990. № 4. Vol. 34. P. 646—647.

⁹² Tilly Ch. Op. cit.

⁹³ Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1998. С. 260, 532.

⁹⁴ Федоров В.А. Армия и модернизация в странах Востока. М., 1999. С. 9, 13.

⁹⁵ Шепелев Л.Е. Указ. соч. С. 157.

⁹⁶ Там же, с. 159, 162.

⁹⁷ Там же, с. 162—163.

⁹⁸ Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России. С. 33—39.

⁹⁹ Миронов Б.Н. Указ. соч. Т.2. С. 206.

¹⁰⁰ Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта. // Социс. 1994. № 5. С. 144.

Примечания к главе 6.2

¹ Записки Николая I (тетради 2, 3, 4-я). // 14 декабря 1825 года и его истолкователи С. 317—341.

² Lehnert W. G. Plot Limits. A Narrative Summarization Strategy. // Strategies for Natural Language Processing. Ed. by W. G. Lehnert and M. N. Ringle. London, 1982.

³ Зализняк Анна А. Глагол *говорить*: три этюда к словесному портрету. // Язык о языке. Под ред. Арутюновой Н.Д. М., 2000. С. 397.

⁴ Арутюнова Н.Д. Феномен молчания. // Там же, с. 428—429.

⁵ О'Коннор Дж., Сеймор Д. Введение в нейролингвистическое программирование. Челябинск, 1998. С. 37—39.

⁶ Арутюнова Н.Д. Показатели чужой речи де, дескать, мол. К проблеме интерпретации речеповеденческих актов. // Язык о языке. С. 446—447.

⁷ Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 1998. С. 445.

⁸ О'Коннор Дж., Сеймор Д. Указ. соч. С. 151.

⁹ Апресян Ю.Д. Избранные труды. Интегральное описание языка и системная лексикография. Т. 2. М., 1995. С. 630—631.

¹⁰ Мурзин Л.Н., Штерн А.С. Текст и его восприятие. Свердловск, 1971. С. 118; Солганик Г.Я. Стилистика текста. М., 1997. С. 16.

¹¹ Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т. 1. М., 1995. С. 43.

¹² Филмор Ч. Дело о падеже. // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X. М., 1981. С. 405.

¹³ Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. М., 1998. С. 131.

*Иллокутивной функцией называется коммуникативная установка речеповеденческих актов, например, утверждение, обещание, совет и т. п.

**Пресуппозицией называется часть смысла слова, словосочетания или высказывания, которая остается неизменной даже под отрицанием.

***В отличие от иллокутивного контекста высказывания перлокутивный учитывает тот эффект, которое оно произвело на слушателей.

****К данному классу относятся глаголы, специализирующиеся на выражении воздействий, изменяющих состояние и положение предметов, явлений, лиц.

Глава 7

ВСАДНИК НА БЕЛОМ КОНЕ: ОБРАЗ ВОЕННЫХ РЕВОЛЮЦИЙ И ВОЕННЫХ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ

7. 1. Мировой опыт: приход в большую политику и деятельность военных революционеров

Интервенции в политику, предпринимаемые военными в развивающихся странах, — давний предмет интереса социологов, политологов и историков. Сильный толчок развитию научных изысканий в этом направлении дал С. Хантингтон, опубликовавший в 1968 г. свою знаменитую монографию «Политический порядок в развивающихся обществах». Именно в этом труде были сформулированы базовые предпосылки военных вторжений в политику, заключающихся, по мнению маститого американского политолога, в особом социальном устройстве (общество «преторианского типа» — см. главу 5) и в невысоком уровне военного профессионализма. Согласно взглядам ученого военный профессионализм как сочетание трех факторов — компетентности, ответственности перед согражданами, корпоративной лояльности — относительно позднее историческое явление. Во всяком случае, оно не просматривается до начала XIX в. До этого временного рубежа офицерский корпус был представлен либо наемниками, готовыми без лишних рассуждений следовать куда угодно за своим работодателем, либо дворянами, столь же слепо шедшими на поводу у своего государя. Именно такая армия и являлась потенциальным инструментом политических переворотов. В начале XX в., по замечанию С. Хантингтона, уже все армии мира, за малыми исключениями, являлись профессиональными. Именно поступательная профессионализация офицерского корпуса делала его более устойчивым по отношению к предложениям и агитации политических авантюристов. Такая обновленная армия всецело посвя-

щена собственным функциональным интересам — повышению организационной эффективности, технической оснащенности, обучению личного состава и подготовке к столкновению с противником¹. Эта точка зрения была развита в последующей монографии С. Хантингтона «Солдат и государство». Здесь ученый рассматривал становление действенного гражданского контроля над вооруженными силами и максимизацию военного профессионализма как две стороны одной и той же медали. Иными словами, чем более профессиональна армия, тем она более склонна признавать абсолютный приоритет гражданской власти и избегать всякого участия в политике².

Однако эта точка зрения была взята под сомнение в столь же знаковой монографии «Человек на коне». Ее автор С. Файнер, напротив, убежден, что именно военный профессионализм порой выталкивал армию на выступления против официальной политической власти. Военные профессионалы со свойственной им высокой самооценкой нередко склонны противопоставлять политике власти свою концепцию национальных интересов, считая ту единственно правильной. Отсюда, по словам Файнера, остается всего один шаг до попытки подменить собой правительство, которое руководствуется иным пониманием национально-государственных интересов. Кроме того, с профессионализмом офицерской службы связан и такой мотив к интервенции, как военный синдикализм. Военные командиры весьма часто исповедуют представление о том, что они и только они правомочны определять все вопросы, связанные с функционированием вооруженных сил: численность, способы комплектования, вооружения. По этим и другим пунктам они могут разойтись во мнениях с гражданскими лидерами, а в заботе о поддержании своего профессионального уровня способны оказать нажим на правительство и навязать ему свою точку зрения. Но и это далеко еще не все поводы к интервенции, обусловленные стремлением военных к последовательному совершенствованию в сфере служебной компетенции. Случается, что из защитников военные превращаются в противников режима, который использует их как полицейскую силу внутри государства. Рассматривая себя как общность, призванную вести борь-

бу с внешним врагом, военные могут сбросить правительство, которое иначе понимает их назначение³.

В 70-е годы XX в. были подготовлены фундаментальные труды В.Р. Томпсона и Э. Нордлингера, посвященные теме военных переворотов. Определяя военный переворот как форму конфликтного поведения, приближающуюся к гражданской войне, В.Р. Томпсон подчеркивает, что в основе всегда лежит глубокая неудовлетворенность позиционным статусом и ресурсным обеспечением. В позиционные интересы военнослужащих входят: автономия армии, ее иерархическое строение, внутренняя дисциплина и порядок, функциональная монополия, безопасность, честь и престиж воинской службы, поддержка со стороны властей. В ресурсные: достаточные бюджетные ассигнования на нужды армии, социальные гарантии военнослужащим, кадровая политика, благоприятная для карьерного роста, оснащенность техникой, а также средствами ведения боя и войсковых учений⁴. При этом недовольство, нарастающее в том или ином комплексе интересов, может иметь корпоративный, секционный, групповой или даже персональный характер. По заключению В. Томпсона, более успешными являются перевороты, обусловленные корпоративным недовольством⁵. Условия внешней среды, как правило, имеют косвенное отношение к предрасположенности военных вмешаться в политическую ситуацию. Томсон высказывает предположение, что решимость военных выдвинуться из казарм возрастает в ситуации повышенной уязвимости режима (в отсутствие руководства, при проявлении растерянности правящих лиц, при утрате ими социальной поддержки)⁶. Вместе с тем удачливые инициаторы переворотов редко упускают шанс возвестить сограждан о своем намерении исправить ошибки и перекося в экономической и социальной политике, проводившейся предшественниками. Во всяком случае, заявления о приверженности реформаторскому курсу и обоснование произведенного переворота реформаторскими устремлениями составляют непереманный атрибут коммюнике и пресс-конференций по завершении переворотного действия. Однако, по данным Томпсона, лишь 19 из 229 изученных им переворотов XX в. могут быть квалифицированы

как действительно реформистские по своей внутренней природе и интенциям организаторов⁷.

Изложенная концепция получила дальнейшее уточнение и развитие в труде Э. Нордлингера «Солдаты в политике». По мысли автора, почва для военного вмешательства в политику создается конъюнкцией трех факторов: ослабления правительства в результате внутренних беспорядков, осознания офицерами растущей зависимости от них ослабленного правительства и ущемления их корпоративных интересов. Последняя — самая весомая предпосылка — формируется несколькими обстоятельствами. Во-первых, сокращением государственного финансирования военного ведомства, связанным со сменой правительственных приоритетов, например, при выделении за счет военных расходов дополнительных средств на модернизацию или социальные проекты. Во-вторых, появлением функциональных конкурентов, например сильной милиции, пользующихся поддержкой гражданских властей. По этой же причине некоторые группы военнослужащих испытывают страх перед коммунистическим движением, которое ищет себе опору в новых военных и военизированных формированиях. В-третьих, военные профессионалы имеют обыкновение опасаться активного и организованного низшего класса, а также политических лидеров, которые пользуются его поддержкой. Это в особенности относится к обществам, в которых разделительные линии совпадают с классовыми различиями и отсутствуют религиозные, языковые, расовые, этнические противоречия, которые притупляют классовые антагонизмы. В абсолютном большинстве таких случаев, как указывает Э. Нордлингер, военные действуют в соответствии с интересами среднего класса, хотя, разумеется, социальные проблемы для них имеют второстепенное значение относительно корпоративных профессиональных. По мнению автора, оформлению военного переворота в наибольшей степени содействует такое соотношение сил в обществе, когда низшие классы политизированы и активны, средний класс влиятелен и занимает устойчивую экономическую и политическую нишу, а высший класс беспомощен либо не сильно отделен от среднего класса⁸. В обществах такого типа общая угроза для среднего класса, невзирая на его внутреннюю неоднородность и

дисперсность интересов, исходит снизу, со стороны радикальных масс рабочих и крестьян⁹.

Несколько шире проблема рассмотрена в труде С. Файнера «Человек на лошади». В числе мотивов, побуждающих военных к интервенции в политику, он называет особую миссию армии: ни один из институтов общества не выражает собой столь полно идеи национальной независимости, суверенитета, равенства с другими народами, национальной идентичности, как армия. Такое восприятие армии нередко резюмируется в вере военных в свое особое общественное призвание. В этой связи отсылка к национальному интересу, разумеется, интерпретируемому на свой лад, может стать важным аргументом в пользу политического вмешательства. Вместе с тем, по наблюдениям Файнера, готовность выступить в роли блюстителей национального интереса у военных реализуется в конкретном практическом действии чаще всего тогда, когда ущемлена их гордость как особой профессиональной корпорации¹⁰. Еще один мощный стимул для выхода на политическую сцену иногда создают секционные интересы. Под таковыми этот автор понимает не только сугубо корпоративные потребности (как то: автономия в рамках служебной компетенции, определенное влияние на другие сферы деятельности, актуальные для военного дела — внешнюю политику, школьное образование и т. п.), но и классовые интересы, близкие военному корпусу в том или ином обществе, а также особые региональные и индивидуальные запросы. Мотив индивидуального интереса как сильного побуждения к переворотам, по наблюдениям Файнера, является до известной степени эндемическим для ареалов с резко размеченной социальной стратификацией. Это — страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, а также Восточной Европы первой половины XX в. В этих регионах именно армейская служба давала реальный шанс молодым людям — выходцам из нижних страт среднего класса или даже неимущих классов — дорасти до офицерских званий и продвинуться вверх по социальной лестнице. Но наряду с тем армия подогревала их честолюбивое желание пробиться еще выше — в правительственные сферы или даже на высшую вершину власти.

Особого внимания, по замечанию С. Файнера, заслуживает

тот факт, что после успешного переворота военным выделяется и более щедрое государственное финансирование, и раздаются государственные награды. Эта практика может быть сопоставлена с донативом (подарком), вручавшимся в Римской империи преторианской гвардии за оказанные услуги, от очередного узурпатора верховной власти. Поэтому одним из мотивов, подвигающих военных вступить в политическую борьбу на стороне того или иного соискателя вышей должности, может быть ожидание наград и подарков¹¹.

Анализируя условия, наиболее благоприятные военным переворотам, почти все социологи особо подчеркивают роль таких факторов, как ослабление социальных опор власти, падение общественного доверия к правящему режиму и существующему правопорядку. Именно в тех системах, где отсутствуют жизнеспособные альтернативы развития, связанные с официальной властью, у военных заметно возрастают шансы возглавить работу по организации нового порядка. Однако на эту роль могут претендовать немногие инициаторы военных переворотов. По подсчетам В. Томпсона, удельный вес переворотов, реформистских по своей изначальной сути, крайне незначителен — не более 8% от учтенных им эпизодов.

Очевидно, еще меньшее количество может быть подведено под понятие военных революций. В историко-социологической литературе эти прецеденты характеризуются как нелегитимное низложение центральной власти, сопровождающееся подрывом экономического и политического лидерства господствующих социальных групп старого порядка. Данная ипостась отличает военную революцию от военного политического переворота, который ограничивается только политическими изменениями. Большая часть таких революций выпала на период перехода от традиционного к индустриальному обществу в западных странах. В этом факте нет случайности. Пертурбации, возбуждаемые военными, часто становились единственным шансом для отстающих сообществ развить на этом трудном перегоне скорости, сопоставимые со странами, двигающимися в авангарде технико-экономического и социального прогресса.

В отличие от ранних военных революций первой четверти XIX в. с преобладающим участием младших и средних офице-

ров, интегрированных в конспиративные военно-гражданские союзы и блокировавшихся с гражданскими политиками, новый тип военных революций был связан с однородным, собственно военным, составом участников и руководством, персонифицированным в высших военных чинах. На этом основании ранние опыты могут быть охарактеризованы как военные революции «снизу», а их позднейшие модификации — как военные революции «сверху». Сильное лидерское начало, присущее последним, придавало им и ярко выраженный «авторский» почерк. Помимо того, революциям первой волны история отмерила крайне малый срок для выявления своего созидательного потенциала, в то время революции второй волны, фигурально говоря, перепахали почву традиционных обществ и открыли перед ними новые исторические перспективы. Сопоставимая по масштабу с социальной революцией, военная революция «сверху» исключала мобилизацию масс, равно как и обращения к радикальной идеологии. В этом смысле она являлась антиподом социальной революции.

По мнению исследователя этой темы Е.К. Тримбергера, возможность успешных военных революций опирается на пять предварительных условий:

1. *Автономность военного корпуса*, то есть его отделенность от господствующих социальных групп землевладельцев или предпринимателей. Как правило, автономный военный корпус составляют выходцы из средних слоев населения, достигающие признания своих заслуг не за счет связей с правящей элитой, а за счет собственного профессионализма. Эти качества придают независимость военным профессионалам и позволяют им выступать в роли надклассовой силы.

2. *Единство политических взглядов и интересов военных*. Подобная односторонняя политизация военных кругов становится реальной при угрозе суверенитету или международному статусу государства.

3. *Опасность порабощения*, обусловленная проникновением иностранного капитала в слабую отечественную экономику и вмешательством иностранных государств во внутренние дела. В этом случае национальное освобождение через национальное сплочение становится ведущей функцией армии.

4. *Расклад сил в международных отношениях: он должен быть благоприятен* в том отношении, чтобы исключить иностранную интервенцию на период проведения революционных преобразований.

5. *Опорные пункты влияния на периферии*, которыми, помимо базы в политическом центре, должна располагать военная бюрократия в относительно децентрализованных государствах¹².

Следует добавить еще одно условие: военная революция немыслима без *харизматического лидера, пользующегося поддержкой нации*.

Почему именно военным администраторам выпадает миссия проведения масштабных перемен? Причины коренятся, с одной стороны, в недостатках политической сферы многих развивающихся стран — ее слабой институционализации и легитимного вакуума центральной власти¹³. С другой — в неоспоримых преимуществах армии как организации, построенной на началах рациональности, дисциплины и эффективности¹⁴. К тому же, по справедливому замечанию американского социолога Л. Пая, армиям развивающихся стран присущ дух «ускоренного технологического прогресса»¹⁵. Поставленные на передовых рубежах международного соревнования в силе и профессионализме, военные наиболее чутко реагируют на технологические достижения высокоразвитых индустриальных держав и свое несоответствие мировым стандартам. Поэтому скорость аккультурации в армейской среде, как правило, бывает выше, чем в любой другой¹⁶. На этом же основании Л. Пай опровергает распространенное мнение о военных как о врагах либеральных ценностей, демократических процедур в общественно-политической жизни. Именно военные, последовательно внедряющие в своей организации принципы меритократии, одними из первых выражают готовность перенести их на сферу гражданских отношений. Военные — приверженцы динамичного развития в своей профессиональной области — по сравнению с другими институциональными субъектами проявляют большую готовность к устранению анахронизмов в гражданском социуме¹⁷.

Зарегламентированность поведения военных, связанная с их подчинением уставу и ритуалам, в данном случае работает только на пользу дела: благодаря ей удается оптимальным спо-

собою увязать цели со средствами и методично осуществлять намеченный план действий¹⁸. В истории XX в. можно найти немало впечатляющих примеров деятельности военных на благо своих стран. Это — Индийский и Малайский регименты, Филиппинские скауты, Арабский легион, Королевские стрелки в Африке и многие другие. Однако наиболее заметный след в истории своих народов в конце XIX — первой половине XX в. оставили основоположники Реставрации Мейдзи в Японии, представители так называемого «демократического цезаризма» в странах Латинской Америки, Кемаль Ататюрк в Турции и Г.А. Насер в Египте.

Характерно, что каждая из генераций военных революционеров приходила на то место в политике, которое уже отчасти подготовили для нее предшественники. У творцов японского «чуда» конца XIX в. это были участники так называемого движения «верноподданных» 1853—1868 гг. У «отца всех турок» — выученики Танзимата «молодые османы» и «младотурки». У демократических «цезарей» Латинской Америки — поколение «маршалов Аякучо» (Боливара, Сен-Мартина, Сукре, Каррероса, Бельграно) и «креольских интеллектуалов» — идейных наследников Великой Французской революции. В Египте — сподвижники султана-реформатора Мухаммеда-Али в первой половине XIX в., а впоследствии — «Свободные офицеры», исполнявшие роль управленцев-регентов при наследном принце. Смысл деятельности этих предтеч военных революций Е.К. Тримбергер удачно определяет как «защитную вестернизацию». Озабоченные выживанием своих стран в условиях натиска враждебных сил извне и замороженные индустриальной мощью передовых держав, они пытались совместить западные технологии и традиционные ценности. Зачастую их концепции были безнадежно утопичны, цели амбивалентны, а база власти недостаточна для того, чтобы поставить под свой контроль государственные ресурсы¹⁹. Тем не менее многим из них удалось предвосхитить своих более удачливых преемников в постановке насущных задач.

Так, еще до начала Реставрации Мейдзи Ёсида Сейн сформулировал один из базовых постулатов будущего национального возрождения — равнозначность лояльности императору и

преданности богу (сонно-йо)²⁰. А после насильственного открытия Японии американской военной экспедицией commodора Перри влиятельный феодальный клан Тесю первым выступил с требованием оказать всемерное сопротивление притязаниям «варваров». Более того, представители этого клана первыми перешли от слов к делу. Его «выкормыш» молодой самурай Такасути Синсаку (1839—1867) в 1867 г. разбил войска сёгуна и тем самым подготовил победоносное вступление 15-летнего императора Муцухито в древнюю столицу Эдо, свершившееся ровно через год после смерти храброго воина²¹.

Столь же тернистая дорога выпала и латиноамериканским реформаторам. «Маршалы Аякучо» и их союзники из креольской интеллектуальной элиты показали себя хорошими теоретиками — последователями Просвещения и идеологов Французской революции, но плохими практическими политиками. Разработанные ими проекты реформ идеально подходили для благоустроенного европейского общества, но отнюдь не для остальных латиноамериканских социумов с их разнородным социально-этническим и конфессиональным составом. В результате до второй половины XIX в. в регионе царила политическая анархия. На местах всем заправляла земельная аристократия — гасиендадо, устанавливавшая вокруг себя отношения по типу *master-man*. Промежуток власти между латифундистами и центральным правительством заполняли собой каудильо (вожди), опиравшиеся на собственные вооруженные отряды²². Офицерский корпус регулярной армии в этот период находился по одну сторону с земельной олигархией. Не выработав еще особых корпоративных взглядов на проблемы национально-государственного развития, он принимал по умолчанию идеологию консервативных кругов, обслуживая одновременно и их потребности. Однако уже в 70-е годы, на волне усиливающегося общественного недовольства экспансией США, на поверхности политической жизни спорадически стали появляться неустрашимые солдаты удачи и сторонники твердой руки в государственном управлении. Типичными образчиками этой породы были Хуан Хосе Флорес Эквадор и Антонио Лопес де Санта Мексика. Нарождение такой генерации предвещало в недалеком

будущем уже нечто большее, нежели простое усиление военного влияния на гражданские дела.

Точно так же «молодые османы» из Османской империи, обеспокоенные усилением европейской экспансии на Восток, ростом национально-освободительной борьбы подвластных Порте христианских народов, а потом и военным разгромом империи в войне 1877—1878 гг. с Россией, пытались бороться с этими негативными явлениями. Эта группа деятелей отталкивалась от европеизаторской политики Танзимата, нацеленной на интеграцию социума и унификацию положения всех категорий подданных халифата на основе доктрины османизма (иначе говоря, доктрины равных прав и обязанностей всех подданных династии Османов без различия этнической принадлежности и конфессий). Однако с одной существенной оговоркой: уничтожение различий между аскери и райей, провозглашенное главными документами Танзимата (Гюльханейским хатт-и-шерифом 1839 г. и хатт-и-хамаюном 1856 г.), дополнялось идеей солидарности мусульман всего мира²³. Таким образом, в идеологии новых османов без конца сталкивались две разнонаправленные тенденции. Одна — западническая, ориентированная на объединение страны по образцу и подобию Германии и Италии. Другая — османистическая и панисламистская, подрывавшая первую. Именно эта вторая линия была подхвачена младотурками, сменившими на политической сцене 90-х годов новых османов. Унаследованная от ислама идея большой уммы (общины) и концепция пантюранизма (объединения всех тюркских народов) были положены в основу практической деятельности, которая, однако, не дала ожидаемых плодов. Дорвавшись в 1909 г. до власти, младотурки вначале издали закон о привлечении всех немусульман к военной повинности, а после вступления Турции в Первую мировую войну объявили джихад и занялись организацией панисламистской и пантюркистской пропаганды среди народов Востока²⁴. Как и следовало ожидать, столь волюнтаристские, к тому же рассогласованные между собой решения привели к национальной катастрофе — Мудросскому перемирию 1918 г., положившему конец Османской империи.

В Египте непосредственными предшественниками насеровской революции стали офицеры-выпускники Каирской военной академии, участники войны 1948—1949 гг. с Израилем. Это были крепкие профессионалы-патриоты, на которых угнетающее впечатление произвели события, связанные с арабским миром и их отечеством после Второй мировой войны: создание государства Израиль, английская оккупация Египта, неспособность монархического правительства короля Фаруха справиться с внешними и внутренними проблемами государства. Создав конспиративную организацию «Свободные офицеры» во главе со старшим офицером Нагибом, они повели борьбу за свержение беспомощной и инертной королевской власти. В конце июля 1952 г. они оккупировали Каир, создали кордоны вокруг военных зон в Абиссинии и Галиполи и заставили короля покинуть пределы страны²⁵. Однако нечеткость политической программы, налет идеализма в постановке практических задач, союз с Мусульманским братством — организацией, ставившей во главу угла транснациональное единство мусульман, — определили неустойчивость их власти. В результате очередного всплеска политической борьбы на передний план в 1954 г. вышло более радикальное и прагматически ориентированное крыло бывшей антимонархической оппозиции в офицерской среде во главе с Г.А. Насером. В 1956 г. под его руководством была принята новая конституция, проведена национализация Суэцкого канала и взят курс на широкие социально-экономические преобразования в духе стран народной демократии Восточной Европы.

Итак, военные революционеры приходили в мир большой политики тогда, когда в нем уже потерпели фиаско группы гражданских и военных реформаторов, пытавшихся обеспечить выживание своих стран в условиях нарастающего отставания от противников и конкурентов. Их призванием становилось исправление ошибок и недочетов предыдущих политических команд в проведении модернизации. На их деятельность накладывали отпечаток два обстоятельства: враждебные вызовы обществу извне, заставлявшие его в порыве отчаяния делегировать необъятные полномочия вождю в униформе, и неудачи предше-

ственников, работающих в режиме «мультипликатора» на легитимацию новоявленного спасителя Отечества. Такой лидер выступал прежде всего в ореоле объединителя раздробленного, охваченного эсхатологическими переживаниями общества. Волшебным средством, позволявшим добиться сплочения нации, в его руках служил национализм. В принципе, такое идеологическое сопровождение модернизации не представляло собой ничего нового даже по сравнению с опытом стран первого эшелона индустриального развития. По оценке швейцарского историка и социолога У. Альтерматта, национализм как интеграционная идеология «был и двигателем, и продуктом перехода от абсолютистского и сословного общества к буржуазному индустриальному обществу» в большинстве стран Западной Европы. Он ставил на службу политике прошлое страны, подчеркивая значение национальных побед над национальными врагами, и включал разобщенных индивидов в единую политическую систему²⁶. Для лидеров военных революций в незападных странах националистическая доктрина нередко была последним прибежищем в приостановлении всеобщего разброда и распада. На этом основании Л. Пай совершенно справедливо придает ей функцию защитного, или «ответственного национализма»²⁷. Первые победы, одержанные с помощью подобной идеологической мобилизации масс, становились началом преодоления комплекса национально-государственной неполноценности и развертывания капитальных восстановительных работ.

В свою очередь, последовательное овладение национальными символами давало мощнейший ресурс властвования генералам-харизматикам, позволявший им раскрутить маховик структурных реформ. При этом в отличие от многих гражданских революционеров они поначалу стремились не столько ликвидировать институты и знаковый фон старого режима, сколько поставить их себе на службу. Даже сам высокий ранг этих деятелей в административно-бюрократической иерархии превращался в дополнительный источник легитимации их политической практики. А установка на преемственность со старым порядком позволяла расширить опоры власти в социуме и до-

биться первичной консолидации на национально-патриотической платформе.

Так, например, застрельщики Мейдзи-Рестаурации из кланов Сацума, Тёсю, Тоса, слолив защиту бакуфу, поспешили вдохнуть жизнь в омертвелую национальную эмблематику — фигуру микадо и статус древней столицы — Эдо. Завоевав в результате этих действий почти безграничное доверие сограждан, далее сумели продвинуть ряд первоочередных реформ: отменить в 1871 г. феодальные кланы, заполнить правительственные учреждения своими сторонниками из средних и мелких самураев, взять под свой контроль финансовые органы. И только окончательно завладев всеми командными высотами в государстве, перешли к реорганизации политической системы: в 1889 г. в Японии была принята конституция, а в 1890 г. учрежден парламент²⁸. Точно так же военные лидеры латиноамериканских стран, стягивая силы поддержки, апеллировали к ностальгическим воспоминаниям соотечественников о войнах за независимость и их легендарных героях. И получив подтверждение своим полномочиям, давали ход реформам (в 90-е годы XIX в. в странах региона была введена всеобщая воинская повинность, установилось представительное правление).

Однако, пожалуй, классический пример описанной стратегии в рамках военной революции дал Мустафа-Кемаль в Турции. Прославленный генерал, остановивший в 1915 г. продвижение войск Антанты и получивший неограниченные полномочия по командованию фронтом от главного военного эксперта турок — германского генерала Лимана фон Сандерса, к концу Первой мировой войны он уже сам являлся национальным символом. Тем не менее общепризнанный герой поначалу предпочитал действовать в тени младотурецкого Комитета «Единение и прогресс». С помощью его местных отделений на оккупированной территории была создана сеть групп сопротивления. Собрав в кулак эту организационную мощь, Мустафа-Кемаль добился открытия в 1920 г. парламента — Великого национального собрания. Примечательно, что 50% мест в нем заняли чиновники правительственного аппарата и члены прежнего парламента²⁹. Идейным базисом объединения, который одно-

временно смягчал и нивелировал различия во взглядах старой и новой элиты, стала кемалистская концепция турецкого национализма. В отличие от предшествующих идеологических доктрин эта адресовалась туркам, проживающим в границах своей национальной территории³⁰. А поставленный ребром перед согражданами вопрос — «Независимость или смерть» — поднял на ноги все физически дееспособное население Анатолии, включая женщин и детей. В итоге в 1922 г. на волне небывалого национально-патриотического подъема вся территория Анатолии была освобождена от интервентов, а вождь сопротивления получил карт-бланш на форсирование реформаторского курса. В 1922 г. был упразднен султанат, а в 1923 г. установлено республиканское правление. В том же «коридоре» национально-патриотического возбуждения становилось возможным проталкивание нововведений, в прежние времена скованных косным традиционализмом. А именно: внедрение лаицизма (принципов светского государства), народности, понимаемой как переход с османского языка на народный турецкий и латинизированный алфавит, создание светской системы народного образования. Слово «турок», имевшее уничижительный смысловой оттенок в эпоху османов (буквально: быдло, мужлан), зазвучало как гордое обозначение принадлежности к динамично развивающейся этнической общности и целостному государству³¹.

Итак, солдаты, выраставшие в политиков на почве кризисов, прибегали к оборонительному национализму в первую очередь в виде психотерапии ослабленного, фрустрированного общества. Во вторую очередь — как к формуле сложения социальных сил в переходный период. В третью — как к наиболее удобному в сложившейся ситуации фону для крупномасштабных трансформаций. В своем реформаторском продвижении эти лидеры, как правило, воздерживались от фронтальных сокрушительных ударов по персональным и полномочным представителям старого режима. (Так, например, Мустафа-Кемаль осудил так называемый переворот в Высокой Порте 1913 г., передавший власть триумвирату пашей.)³² Вместо того они выбирали тактику инфильтрации в действующую систему. А вместо

единовременного слома структурообразующих политических институтов — возведение «обводных каналов», организуя таким способом свободное перетекание власти от старых центров к новым. В равной мере политикам этой плеяды претило установление единоличной диктатуры с опорой на вооруженную силу. По такому пути не пошли ни отцы-основатели современного японского государства, ни Атаатюрк. Последний, например, включил в состав своего правительства всего только трех военных. А «демократические цезари» Латинской Америки вообще предпочитали индивидуализированной власти правление коллегияльного органа — хунты со смешанным военно-гражданским составом³³.

В такой же манере поступательного движения был организован социальный инжиниринг. Как и в политической области, военные лидеры здесь оставались верны своей манере пошаговых изменений с наименьшими издержками. Их схему действий в этой плоскости можно представить как заключение двусторонних соглашений со всеми значимыми группами. Кредо этих деятелей можно было бы выразить при помощи понятий договоренностей и взаимоприемлемых уступок. Его содержание определялось не экспроприацией старых элит, а отменой их монополии на власть и собственность с параллельным предоставлением им определенных гарантий, не искусственным насаждением новых властвующих групп, а расширением каналов вертикальной мобильности в обществе с открытием зеленой улицы частной инициативе и предпринимательству.

Так, отмена ограничений на любые законные виды профессиональной деятельности, раздача пенсий и небольших кредитов самураям, создание для них рабочих мест скрепили союз лидеров Реставрации Мейдзи с их главной группой поддержки — самураями низших и средних рангов. Уничтожение феодальных застав, снятие запретов на сделки с земельной собственностью, последовательный протекционистский курс вместе с дальнейшим проведением приватизации многих государственных предприятий обеспечили им безоговорочную поддержку предпринимательского класса. Наконец, конвертирование феодальной ренты в облигации государственных займов и дру-

гие ценные бумаги обусловило возможность компромисса с феодальной аристократией.

Точно так же сохранение экономической базы старых привилегированных групп (кроме духовенства) османского населения и их представительство в меджлисе при Ататюрке помогли избежать гражданской войны. А мощная поддержка промышленному грюндерству, наряду с отменой льгот для иностранных концессионеров и банкиров, в рамках этатистской концепции народно-хозяйственного развития гарантировали режиму абсолютное признание со стороны нарождающегося национального капитала.

Похоже повели себя на этапе перехода к индустриальному обществу военные Латинской Америки. Активно сближаясь со средним классом и интеллектуальной элитой как наиболее последовательными поборниками технологического прогресса, они не торпедировали позиций земельной аристократии и католической церкви. Сохранение латифундий и влияния церкви заставляли более или менее мириться с их кипучей деятельностью старых хозяев страны. А симпатии новых привлекала борьба за возрождение национальной экономики: освобождение от пут иностранного капитала, освоение отсталых в хозяйственном отношении регионов, инвестирование средств в индустрию, транспорт, связь. Некоторым из «демократических цезарей, например государственному деятелю Венесуэлы Антонио Гузмани Бланко (1870—1889), гватемальскому военному лидеру — Юсто Руфино Барриосу (1871—1885) или военному диктатору Мексики Порфирио Диасу (1877—1910) в этом плане удалось сделать для своих стран больше, чем всем их предшественникам, вместе взятым³⁴. Несмотря на то что национализм проявил себя несколько иначе, в принципе и для него не была характерна жесткая система приматов в социально-экономической и политической сфере. Так, например, после арабо-израильской войны 1967 г., нарушившей расстановку сил в регионе, Насер перешел от политики давления на аравийские монархии к установлению союзнических отношений с ними, изменил статус Суэцкого канала. А его преемник А. Садат провел разгосударствление экономической собственности и приватиза-

цию многих предприятий, давшие фору становлению класса собственников и усилению позиций правящего режима в предпринимательских кругах³⁵.

Итак, помимо всего прочего большинство лидеров «классических» военных революций владели счастливым даром избегать тяжелых побочных эффектов своих преобразований. Всячески содействуя подъему национальных экономик, они заключали прочный союз с восходящими социальными силами. Благодаря умелой нейтрализации старых элит им удавалось предотвратить контрреволюцию. Соппротивление умеренной оппозиции в административно-бюрократической среде было зажато вследствие того, что она находилась в подчинении инициаторов революций — функционеров высокого ранга в иерархии как старой, так и новой власти. Партизанские действия гражданского населения и леворадикальный экстремизм сдерживала объявленная всенародным делом борьба за национальное возрождение.

7.2. Россия 70-х — начала 80-х гг. XIX в.:

продолжение темы

Россия не стала исключением в ряду стран, потенциально готовых к приходу генералов-революционеров. В ходе великих реформ 60—70-х годов XIX в. был сделан гигантский рывок, сблизивший Россию со странами первого эшелона капиталистического развития. Вместе с тем модернизация еще далеко не была завершена. Одним из наиболее острых неразрешенных вопросов оставалось введение конституционного строя и политического представительства общества в центре. Мнение о необходимости таким образом завершить здание реформ отстаивала влиятельная либерально-бюрократическая группировка сотрудников Царя-Освободителя. В нее входили председатель Государственного Совета великий князь Константин Николаевич, министр внутренних дел и глава Верховной распорядительной комиссии М.Т. Лорис-Меликов, военный министр Д.А. Милютин, министр финансов А.А. Абаза, министр просве-

щения А.П. Николаи, министр юстиции Д.Н. Набоков и некоторые другие деятели. Во главе стоял Лорис-Меликов. Бравый кавказский генерал, герой Русско-турецкой войны 1877—1878 гг., затем харьковский генерал-губернатор и, наконец, фактический глава правительства, Лорис-Меликов попытался внести успокоение в страну, взбаламученную революционным террором. Курс этого министра, остроумно названный Н. К. Михайловским политикой «лисьего хвоста и волчьей пасти», был призван приостановить происки революционеров и одновременно удовлетворить либеральные чаяния. В 1881 г. был готов проект так называемой «конституции» Лорис-Меликова, по которому планировалось включить 10—15 выборных представителей от земств и городского самоуправления в состав Государственного Совета для участия в обсуждении законопроектов¹. Многие члены либеральной группировки при дворе с одобрением отнеслись к этому замыслу, а император назначил на 4 марта его обсуждение в Совете министров. Но, как известно, цареубийство 1 марта разрушило эти планы. 29 апреля 1881 г. под влиянием К.П. Победоносцева Александр III издал Манифест о незыблемости самодержавия, который вызвал шок у прогрессивных чиновников. Незамедлительно в отставку ушли Лорис-Меликов, Абаза, Милютин. Тем не менее запас либеральных ожиданий еще не был до конца исчерпан. Определенным залогом реформаторских потенций власти оставались министерские портфели в руках Набокова, Николаи, назначение нового министра финансов — ученого-экономиста с широчайшим кругозором Н.Х. Бунге и министра внутренних дел — Н.П. Игнатьева².

Преемник Лорис-Меликова оказался неплохой альтернативой. Игнатьев фактически продолжил политику «диктатуры сердца», строившейся на сочетании репрессивных мер по отношению к нарушителям общественного порядка и продолжения либеральных реформ. В ближайших планах нового министра стояло поднятие земств до уровня истинно всесловных и полномочных органов управления на местах и, наконец, созыв Земского Собора, приуроченного к коронационным торжествам Александра III. Однако в конце мая 1882 г. либеральная группировка второго призыва получила окончательный расчет:

царь с помощью консервативной партии отклонил проект Игнатьева и отправил его в отставку³. Вслед за ним были изгнаны и некоторые другие сторонники либерального курса. Однако провал и этой плеяды деятелей в попытке достичь продуктивного консенсуса с властью еще не означал полного крушения надежд. В ее колоде оставался неиспользованный джокер — вооруженная сила. Включение армии в спор о путях развития страны вполне допускали непредвзятые обозреватели российской ситуации. Например, А.И. Герцен в свое время предполагал, что именно армия может подхлестнуть власть, если та вдруг остановится на полпути реформаторского процесса: «Военные заставят его (Земский Собор. — *И. В.*) созвать»⁴.

Возможность второго пришествия крупного военного администратора в большую политику (после не слишком успешного меликовского дебюта) общественное мнение в стране и за рубежом связывало с именем генерала М.Д. Скобелева. Вся биография и общественная репутация генерала как нельзя лучше подходили к отведенной ему роли. Молодой герой, успевший за 19 лет своей военной карьеры побывать в пекле 70 сражений, в конце 70-х — начале 80-х годов переживал пик своей славы. Его послужной список мог бы дать материал для нескольких блестящих военных биографий. Скобелев — участник вооруженной борьбы с польскими повстанцами в 1864 г., завоевания Средней Азии с конца 60-х годов, в том числе взятия Хивы в 1873 г., Коканда в 1875 г., военный администратор Ферганской области (в которую было превращено Кокандское ханство), герой Русско-турецкой войны 1877—1878 гг., в том числе таких ее эпизодов, как переправа через Дунай у Зимницы, занятие Шипкинского перевала, штурмов Ловчи и Плевны, и даже и.о. главнокомандующего русской армии в начале 1879 г., наконец, в 1881 г. триумфатор Геок-Тепе — цитадели туркменского сопротивления в Ахал-Текинском оазисе. Путь от скромного поручика до блестящего генерала был пройден им за рекордно короткий срок — с 1864-го по 1875 г. В начале 80-х годов он уже полный генерал от инфантерии, командир 4-го корпуса, расквартированного в Минске, кавалер многих орденов и наград.

Однако публичное внимание к его фигуре определялось отнюдь не только ратными подвигами и славой лучшего российского полководца. Генерал проявлял интерес к политике и слыл одним из самых сильных игроков российского политического закулисья. Личная коммуникабельность и связи дяди — министра двора А.В. Адлерберга — открывали ему вход в высокие правительственные сферы и аристократические дома обеих столиц. Внук крестьянина-однодворца, И.Н. Скобелева, дослужившегося до генеральского звания, он хорошо знал и понимал русского солдата. Человеческая доступность, забота о мелочах солдатского быта, вплоть до систематического пожертвования жалованья корпусного начальника на нужды нижних чинов, всяческое поощрение традиций взаимовыручки и куначества в своем соединении, наконец, беззаветная отвага генерала, всегда лично возглавлявшего атаку, делали его истинно народным полководцем⁵. Широкий кругозор, не замкнутый идеологическими шорами и партийными пристрастиями, гражданская смелость в отстаивании российских национально-государственных интересов дома и за рубежом притягивали к нему взоры весьма влиятельных личностей из разных сегментов и политических группировок российского социума.

Так, современники не без оснований предполагали тесные неформальные отношения между генералом и Н.П. Игнатьевым, сложившиеся в ту пору, когда тот был русским послом в Константинополе и уполномоченным по заключению Сан-Стефанского мирного договора. Бывший дипломат, а потом министр был почитателем и единомышленником генерала по Восточному вопросу⁶, антигерманскому курсу, при этом тонко подыгрывал его наклонностям публичного политика. Именно он правил черновики публичных речей генерала, внимательно следил за той реакцией, которую в стране и за рубежом вызывали его выступления, а при необходимости сгладить впечатление от них при дворе пускал в ход свои личные рычаги влияния⁷. Параллельно генерал поддерживал сотрудничество с славянофилом, либералом И.С. Аксаковым, издателем газеты «Русь», а также с консерватором и германофобом, издателем официоза «Московские ведомости» М.Н. Катковым⁸.

Несмотря на неприязнь к революционному лагерю и его подрывной работе внутри страны⁹, генерал пытался протоптать дорожку и в самое гнездилище революционной крамолы за рубежом. Глухие намеки об этом заходе присутствуют в его письме к И.С. Аксакову от марта 1882 г., составленном по неостывшим впечатлениям заграничного турне: «Более чем прежде, побывав в близости, если не в соприкосновении с нашею крамольною, преступною эмиграцией, я пришел к выводу, что основанием общественного недуга есть в значительной мере отсутствие доверия к установленной власти, доверия, мыслимого лишь тогда, когда правительство даст серьезные гарантии, что оно безоговорочно ступило на путь народной как внешней, так и внутренней политики, в чем пока и друзья, и недруги имеют полное основание сомневаться»¹⁰. Достаточно определенный диагноз, поставленный революционному движению как порождению аномального развития общества, не помешал генералу сделать первый шаг навстречу его лидерам. В период заграничной поездки адъютант Скобелева пытался договориться о встрече своего патрона с идеологом народников — П. Л. Лавровым¹¹. Несмотря на то что это свидание не состоялось из-за отказа Лаврова, ниточка не оборвалась. В том же году член военной организации «Народной воли» майор Н.А. Тихоцкий заходил к М.И. Драгомирову, тогдашнему начальнику Николаевской Академии Генерального штаба и... доверенному лицу Скобелева, вел с ним откровенные беседы, выясняя возможность получить поддержку от высших военных кругов. По свидетельству близкого к Тихоцкому революционера С.А. Иванова, Драгомиров не отказал эмиссару от революционного подполья: «Что же, господа! Если вы будете иметь успех — я ваш!»¹². Исследователь М.Д. Скобелева В.Н. Масальский резонно предположил, что за этим ответом могла скрываться и личная позиция «белого генерала», руководившего политическими поступками своего коллеги и фактотума¹³. Словом, в поиске ценных контактов генерал старался раскинуть сети так широко, как только было возможно.

Некоторое представление о том, как велась эта вербовка потенциальных союзников, дает эпизод с М.Т. Лорис-Мелико-

вым, которому он назначил конфиденциальную встречу в июле 1881 г. в Кельне. Приняв бывшего министра в экстренном вагоне-салоне, генерал начал с излияния личных обид на Александра III. Если верить его словам, он жадно желал отмщения и был даже готов устроить царю обструкцию во время высочайшего смотра войск в 4-м корпусе («Я ему устрою так, что если он придет смотреть четвертый корпус, то на его «Здорово, ребята!» будет ответом гробовое молчание»). А свой монолог закончил сбивчивой и экспрессивной просьбой к Меликову стать его политическим наставником. Обескураженный таким поворотом дела, экс-министр поспешил замять щекотливый разговор. Основываясь на показаниях Меликова, этот эпизод передал в своих воспоминаниях А. Ф. Кони. Рассказчик усмотрел не только нервный и безотчетный порыв мятущейся души, но увидел тонкое, расчетливое лицедейство: «Это мог быть роковой для России человек — умный, хитрый и отважный до безумия, но совершенно без убеждений»¹⁴. Думается, мемуарист не ошибался — действительно, перед нами пример умелой политической разработки: стремление сыграть на слабой струне собеседника, получившего афронт от императора, установить доверительный тон, а заодно прощупать, как далеко простирается его готовность к опасному сотрудничеству. Заметим, что в то же время генерал сделал все возможное, чтобы вывести из-под удара самого себя: виртуозно имитируя эмоционально развинченное состояние, он не проронил ни единого неосторожного слова о собственных намерениях.

С другими категориями контрагентов общение строилось иначе. В компании подчиненных офицеров, готовых следовать за ним в огонь и в воду, генерал без обиняков заявлял о ненормальности положения, при котором страной правит немецкая династия, и о возможности с помощью военной силы арестовать царя и принудить его к подписанию конституции¹⁵. С консерватором Катковым он придерживался стиля взвешенного анализа по ограниченному кругу тем, главным образом из области внешней политики. Трудно сказать, в какой модальности прошел бы разговор с вождем революционного народничества. Но можно думать, что и здесь он сумел бы точно вычислить точки

возможного соприкосновения. Разумеется, эти маневры Скобелева оставались неизвестными ни двору, ни широкой обществу. Тем не менее смутные догадки и непроверенные слухи густым роем клубились вокруг генерала, порой даже опережая его реальные дела. Этот феномен с немалым изумлением констатировали близко знавшие его и симпатизировавшие ему современники. Так, барон Н. Врангель зафиксировал рождение легенды «белого генерала» еще в начале 60-х годов, когда тот, младший офицер Гродненского полка в мятежной Польше, не успел толком понюхать пороха: «Не прошло и полгода, когда все о нем заговорили как о герое даже не будущем, а уже настоящем. Как он этого добился, уже не знаю, но знаю, что причин к этому тогда еще никаких не было». Впрочем, мемуарист воздавал должное Скобелеву как честолюбцу, для которого не существовало недостижимых целей: «Самолюбие у него было необычайное, и «хотеть» он умел, а стать великим было его мечтой чуть ли не с самого детства»¹⁶.

Точно так же, совмещая настоящее и будущее, нередко даже с подачи самого генерала, утверждалась его общественная репутация как «генерала от пронунсиаменто». Один из циркулировавших в начале 80-х годов слухов на базе компетентных источников воспроизвел анархист-эмигрант князь П.А. Кропоткин: «...когда Александр III вступил на престол и не решался созвать земских выборных, Скобелев предлагал даже Лорис-Меликову и графу Игнатьеву... арестовать Александра III и заставить его подписать манифест о конституции»¹⁷. Но, пожалуй, самым удивительным моментом скобелевской легенды явилось ее прорастание через историографическую традицию. Похоже, в силки, заботливо расставленные генералом и его сподвижниками, попались и Н.Н. Кнорринг — первый биограф генерала, и Е.В. Тарле — автор яркого очерка о его личности, и скрупулезный, вдумчивый исследователь его деятельности В.Н. Масальский. Исходя из исторического трафарета гвардейских вмешательств в судьбы престола, Кнорринг объявил своего героя «военным с психологией участника военных переворотов»¹⁸. Тарле назвал его «типичным генералом от «пронунсиаменто» в стиле испанских и южноамериканских воен-

ных командиров, берущих на себя время от времени экспромтом инициативу по части внезапных изменений государственного строя»¹⁹. Масальский согласился и с тем, и с другим, добавив к приведенным характеристикам выразительный «бонапартистский» штрих: притязания генерала на единоличную диктаторскую власть, которую должна была обеспечить громкая военная победа²⁰.

По мнению Кнорринга, самый подходящий случай для переворота — период правительственной растерянности в марте 1881 г. — был упущен: Скобелев был тогда занят Ахал-текинской кампанией. В 1882 г., в период консолидации реакционных сил в правительственной верхушке, «песня» генерала-политика была уже «спета» — в лучшем случае его ожидала почетная ссылка генерал-губернатором в какой-либо из отдаленных регионов империи²¹. Масальский, отчасти повторяя своего научного предшественника, также приписал Скобелеву намерение воспользоваться ситуацией междуцарствия 1881 г. и произвести переворот. Единственным аргументом в пользу этой версии послужила попытка генерала отлучиться в это время из Средней Азии для участия в похоронах Александра II²². При этом логика рассуждений строится на весьма шатком допущении, что у «генерала от пронунсиаменто» вряд ли были в это время еще какие-либо дела в Петербурге, разве что подготовка переворота. Впрочем, некоторое время спустя автор опровергает собственную же версию, рассказывая о неподдельной скорби Скобелева о мученическом конце Царя-Освободителя: по возвращении из похода прямо с вокзала он направился в Петропавловский собор, где долго в слезах стоял над надгробием царя²³. Поэтому вернее всего предположить, что стремление генерала вернуться на короткое время в Петербург в траурные дни не имело под собой никакой другой подоплеки, кроме желания почтить память своего бывшего Верховного главнокомандующего. В дальнейшем повествовании автор подмечает у своего героя и принципиальный антимонархизм, и политический радикализм, позволяющий сравнивать его убеждения с убеждениями социалиста, и желание самому встать во главе государства в результате победоносной войны с Германией²⁴.

С.С. Секиринский, автор небольшой зарисовки о М.Д. Скобелеве, развивает тему, намеченную В.Н. Масальским. В его изображении — это «всадник в треуголке», истовый поклонник и эпигон творца Первой империи во Франции²⁵. Вычленив эту доминанту, далее он незамедлительно переходит к развенчанию амплуа героя: «Сделав себе громкое имя, русский генерал оказался «вождем» без «армии»; для своего «брюмера» ему не доставало обаяния «миротворца», а также того, что называется «национальной опасностью»²⁶. Солидаризируясь с мнением французского исследователя Ф. Шуазеля, С.С. Секиринский утверждает, что к лету 1882 г. благоприятные возможности для совершения пронунсиаменто были преодолены. А смерть генерала в июне того же года подоспела как нельзя более вовремя: породив далеко идущие предположения, «белый генерал» сошел со сцены раньше, чем в нем успели разочароваться массы поклонников²⁷.

Интересно, что при всем разнообразии граней, выделенных в облике полководца разными авторами, все интерпретации его возможной политической миссии сводятся к утверждению одной-единственной нереализованной ролевой функции. А именно организатора пронунсиаменто — единовременной силовой акции по перераспределению центральной власти в расчете на установление личной диктатуры. С учетом весьма проблематичной для начала 80-х годов реализации этого плана образу Скобелева придается акцентуация либо утопического мыслителя, либо героя не своего времени. Но вот что удивительно: в здравом смысле Скобелеву — военачальнику и политику — не отказывали ни современники, ни потомки, шедшие по его следам. Несмотря на авантажность и даже видимую фантастичность некоторых его решений и проектов, *невыполнимых задач* «белый генерал» не выдвигал. Кстати, именно на этом феномене точного просчета сил и средств, необходимых для осуществления того или иного замысла, на четком видении реальной перспективы действия как раз и основывалась неувыдающая в поколениях слава генерала — водителя масс. Так неужели в политике этот бывалый боец пускался в безответственные авантюры? Впрочем, нельзя отрицать, что у того прочтения скобелевской

легенды, которое отразил П. Кропоткин, а впоследствии и некоторые историки, были свои резоны. Но одновременно с тем напрашивается вывод о том, что источником довольно тенденциозной подачи собственных намерений был сам «белый генерал», сознательно запутывавший свои следы на подступах к большой политической игре. Для того чтобы пролить на нее некоторый свет, остановимся на той политической линии, которая приписывалась М.Д. Скобелеву, возможно, с его же легкой руки.

Для начала заметим, что версия дворцового переворота не выдерживает критики. Устранение монарха в результате ночной экспедиции во дворец — по типу так называемого гольпа — как способ политического действия безнадежно устарело во второй половине XIX в. К тому же после 1 марта 1881 г. цареубийство доказало свою абсолютную бессмысленность даже таким лжепророкам, как народовольцы, не говоря уже о более реалистических политиках, вроде «белого генерала». С учетом почти единодушного презрения к палачам царя и сплочения вокруг трона практически всех общественных сил вторичное насильственное посягательство на институт монархии и жизнь ее венценосного главы явилось бы актом политического самоубийства для его инициатора. Отметим также, что при подготовке дворцового переворота (даже если чисто гипотетически признать склонность к нему генерала) внедрение в различные сегменты общества, столь показательное для Скобелева, было бы нецелевым расходом сил. В этом случае следовало бы сосредоточиться исключительно на концентрации послушной вооруженной силы в своих руках.

По причине той же исторической беспочвенности крайне плачевными могли бы стать и итоги вылазки в стиле куартелазо, то есть казарменного или гарнизонного переворота. Напомним суждения специалистов о военном перевороте как мере, которую военные профессионалы избирают только тогда, когда очевидна беспомощность правящего режима и не предвидится гражданского сопротивления политической активности армии²⁸.

Столь же несостоятельна и версия ожидаемого Скобелевым прихода к власти по типу государственного переворота 18 брю-

мера. Реминисценции из истории Великой Французской революции и деятельности Первого консула Республики, если и касались русского генерала, то в виде неких спонтанных аналогий, приходящих на ум постороннему наблюдателю, но никак не в виде осмысленного «ремейка» в политике, которому он будто бы следовал²⁹. Бонапартизм как продукт массового разочарования в революционном управлении и делигитимации прежних правительств не был актуальным примером для Российской империи конца XIX в. с ее прочной монархической властью и маргинальными, хотя и развязными, революционными силами. Что касается бонапартизма как политического брэнда, то и он навряд ли мог быть привлекательным образцом для политического деятеля, вдохновляемого идеалом незыблемого имперского могущества России. Падение Первой империи под натиском монархической коалиции и позорное крушение Второй империи в результате войны с Пруссией серьезно подорвали доверие к этой модели в 70-е годы XIX в. Технология продвижения в центр политического поля, на которую реально мог ориентироваться «белый генерал», была рассчитана не на штурм и натиск, а на длительную осаду существующего строя.

Тем не менее у неутомонного генерала могли быть определенные мотивы для стилизации своего имиджа под отчаянного головореза, готового на самые безрассудные эскапады в отношении властей предрежащих. Вернее всего предположить, что эти мотивы были увязаны с его концепцией внешней политики России. Особое место в ней занимала тема борьбы с Германией. Германский вопрос выдвигается в центр его внимания после Берлинского конгресса 1878 г., на котором «честный маклер» О. Бисмарк постарался практически свести на нет завоевания русского оружия в войне 1877—1878 гг. Именно в это время закладывается скобелевская программа внешнеполитических действий: вначале разгром союзницы Германии — Австро-Венгрии с ее политикой разбойных захватов в Европе, затем «священная» война с главным врагом — Германией, примеривающейся к мировому господству, а потом выгодное для России решение восточного вопроса.

Несмотря на то что в последние годы жизни М.Д. Скобелев

несколько отошел от своей давней идеи вонзить нож в сердце колониальных владений Англии на Индостане (продвигаясь туда через российскую среднеазиатскую территорию)³⁰, выгодное использование среднеазиатского операционного базиса не было выключено из его прогностических выкладок. Правда, в его проектах начала 80-х годов Средней Азии отводилась уже роль разменной монеты в достижении принципиальной договоренности с Англией по восточному вопросу («Всю Среднюю Азию можно было бы отдать за серьезный и прибыльный союз с Англией»)³¹. Главным предметом торга с ней, по глубокому убеждению Скобелева, должно было стать обеспечение российских преимуществ в разделе турецкого наследства. Овладение Босфором и Дарданеллами в целях утверждения России как мировой супердержавы и удовлетворения потребностей ее торгового и промышленного предпринимательства в этом регионе, наконец, образование конфедерации славянских государств под эгидой двуглавого орла — таким ему представлялось достойное завершение российской экспансии. Одновременно, по замыслу генерала, военные действия, открываемые Россией на Западе, должны были послужить исходной точкой благотворных перемен внутри страны. По сути дела, обозначенные им приоритеты предвосхищали ту международную комбинацию, которую, не без серьезных колебаний и трудностей, под давлением неодолимых обстоятельств Россия будет вынуждена принять в самом конце XIX — начале XX вв. В 1892 г. она заключит военную конвенцию с Францией, направленную против Тройственного союза, а в 1907 г. присоединится к «антант кордиль», подписав соглашение с Англией о разделе сфер влияния в Иране, Афганистане и Тибете. Таким образом, из глубины ранних 80-х годов XIX в. русский политик и военный мыслитель прозорливо заострял внимание на тех международных проблемах, которые порождать крепнувший германский милитаризм, и предлагал их разрешить с наименьшими потерями для сообщества наций и самой России.

Но именно изложенная концепция ставила его в оппозицию к официальному курсу и политическому истеблишменту России. Союз трех императоров (Германии, Австро-Венгрии и Рос-

сии), заключенный в 1873 г. в министерство А.М. Горчакова и возобновленный в июне 1881 г. в министерство Н.К. Гирса, привязывал Россию к колеснице Вильгельма I и Бисмарка. Несмотря на значительное число противников немецкой ориентации России среди военного и чиновного люда, сила инерции и династических связей российского правящего дома мешали сменить вектор внешней политики. Однако, пожалуй, никто из критиков этого курса не смог вызвать политические всплески столь высокой амплитуды вокруг темы германской опасности, как М.Д. Скобелев.

12 января 1882 г., в годовщину взятия Геок-Тепе, на публичном обеде ветеранов этой кампании, он произнес хорошо подготовленную и отрепетированную речь. В тоне резкой инвективы он обличал Германию и Австро-Венгрию как нарушителей международного права и гонителей славянства. Не менее гневно оратор обрушивался на «доморожденных и заграничных иноплеменников», потакающих славянской травле, и на отечественную космополитствующую интеллигенцию, с безразличием взирающую на это бесстыдство³². Слова, мгновенно облетевшие Петербург, вызвали высочайшее неудовольствие — генералу было рекомендовано на некоторое время удалиться из столицы. Обретенной таким образом свободой он распорядился по-своему: в феврале он уже выступал в Париже, где его жадно слушали сербские и болгарские студенты, а также французские журналисты — сторонники борьбы с Германией и сближения с Россией. Здесь Скобелев уже не стеснялся в выражении своего негодования тем направлением, которое приняла российская политика. Объясняя слушателям причины уклонения России от своей исторической миссии помощи славянским народам, он прямо ссылаясь на «иностранный влияние»: «У себя мы не у себя! Да! Чужеземец проник всюду! Во всем его рука! Он одурачивает нас своей политикой, мы жертвы его интриг, рабы его могущества... рано или поздно мы освободимся от него — на что я надеюсь — мы сможем это сделать не иначе, как с оружием в руках!»³³

Итак, в Париже была сформулирована основополагающая цель — борьба с тевтонами до победного конца, были определе-

ны и текущие задачи на путях укрепления славянской взаимности и возрождения российского национально-патриотического сознания. Парижское выступление Скобелева можно рассматривать как момент истины: оно обнажило его устремления как военного и политика. Оно же отчасти приоткрывало завесу над его показным политическим бреттерством: беспокойный генерал, который без конца наводил подозрения на умысел переворота, безусловно, скорее мог «дождаться» назначения в приграничную зону, нежели вполне благонадежный военный функционер. Создавать поводы для тревоги, нагнетать двустороннюю напряженность и в конечном счете управлять ситуацией на этом участке было бы гораздо проще, чем в центральных районах. Неким «верхним нюхом» этот мотив поведения Скобелева улавливали министры. Так, военный министр П.С. Ванновский считал рискованным делом доверять Скобелеву командование корпусом на западной границе ввиду возможных провокационных выходов с его стороны. Это мнение разделяли Гирс и Бунге³⁴. Тем не менее вопрос оставался открытым — чья сторона возьмет верх в этой борьбе интересов вокруг «белого генерала»: министров, опасавшихся незапланированных осложнений с западным соседом, или двора и самодержца, почитавших за меньшее зло удаление генерала из центра с одновременным использованием его знаний как признанного эксперта по германской армии.

Политическую линию, заявленную Скобелевым в отношении Германии и вызвавшую огромный резонанс в российских политических кругах и за границей, в терминах современной политологии можно было бы определить как искусственное инициирование конфликта (иногда она описывается как «вызывание лавины»). При осознании несовместимости интересов двух субъектов такой образ действий оправдан двумя обстоятельствами. Во-первых, соотношением сил, которое благоприятно в текущий момент для стороны — инициатора конфликта, но в дальнейшем способно измениться не в ее пользу. При данном условии эскалация конфликта дает большой тактический выигрыш и в итоге — экономию ресурсов. Во-вторых, досрочная манифестация конфликта дает толчок стабилизации обста-

новки внутри сообщества. В этом смысле даже самые интенсивные конфликты вроде войн служат управлению напряжением, которое испытывает общество, и в конечном счете его поступательному развитию³⁵.

Именно так на превентивную войну с немецкоязычными странами смотрел Скобелев. П.А. Валуев (министр внутренних дел в 60-е годы, а потом министр государственных имуществ) в своих дневниковых записях от 1881 г. зафиксировал высказанную в приватной беседе мысль генерала о войне с Германией как о способе «поправить наше экономическое (sic) и политическое положение. Даже династический вопрос». В другой раз (в 1882 г.) генерал выразил надежду тем же способом накинуть узду на революционный террор³⁶. Борьба с внешним врагом под знаменем государственного национализма, или, по выражению Скобелева, «возрождение пришибленного ныне русского самосознания»³⁷, в его понимании была наделена интегрирующим свойством для расколотого российского общества. Еще более определенно свое кредо он изложил в доверительном разговоре с близким ему журналистом В.И. Немировичем-Данченко: «Запереть границу для иностранного ввоза тех предметов, которые у нас самих производятся. Раз навсегда поставить на своем знамени «Россия для русских» и высоко поднять это знамя... Ради этого принципа не отступать ни от чего... заговорить властно, бесповоротно и сильно»³⁸. На первый взгляд выкладки генерала легко принять за философию этноцентризма с расистским душком. Но это только на первый взгляд.

В той же парадигме рассуждали и действовали лидеры военных революций в обществах, находящихся на историческом распутье. С большой долей уверенности можно утверждать, что и скобелевский девиз «Россия для русских» был своеобразным паролем, рассчитанным на соединение разнородных общественных элементов. Таких, которым внушало тревогу современное состояние России с его зловещими приметами грядущей катастрофы. Таких, которые всеми силами старались столкнуть ее с этой смертоносной орбиты. (Ощущение экзистенциального тупика пронизывает настроения людей из разных общественно-политических группировок. «Все маломальски вдумчи-

вым людям уже тогда становилось ясным, что самодержавие роет себе могилу», — писал барон Н. Врангель³⁹.) Важно отметить, что провозглашенный генералом лозунг никем и никогда не прочитывался под углом зрения национально-расового превосходства или ущемления в правах нерусских народов. Достаточно указать на колониальную деятельность Скобелева — блестящего военного администратора в Туркестане (в этой связи стоит напомнить дореволюционное название города Ферганы — «Скобелев»), чтобы начисто отместить подобное предположение. Генерал не отступал от принципов национальной политики, которые он публично огласил после взятия Геок-Тепе в январе 1881 г.: «Наступает новое время полной равноправности и имущественной обеспеченности для населения, раз признавшего наши законы. По духу нашей среднеазиатской политики париев нет... Чем скорее будет положен в тылу предел военному деспотизму и военному террору, тем выгоднее для русских интересов»⁴⁰. Замечательно, что в конце января 1881 г., то есть менее чем через две недели после взятия Геок-Тепе он уже поднимал вопрос о том, чтобы не оповещать раньше времени новых подданных российской короны об их свободе от воинской повинности, наподобие других инородцев: «...текинцы такие молодцы, что несколько сот кавалерии сводить под Вену — неплохое дело...»⁴¹ А планируя в 1882 г. развертывание боевых сил в предстоящей войне с Германией, он полагал, что на острие копья, выдвинутого Россией в Западную Европу, должны идти наряду с русскими казаками туркмены текинского племени, алаевцы, киргизы, возможно, кавказские горцы и весь «люди Средней Азии, который с Аттилой и Тамерланом во главе еще памятен Западной Европе»⁴². Нет нужды говорить, что такой план был реален лишь при условии свободного и равноправного развития нерусских народов в составе империи.

Мы не знаем, да и никогда не узнаем, какой путь социальных и политических трансформаций ожидал бы Россию в том случае, если бы «белому генералу» удалось исполнить свой замысел. Однако многие факты указывают на то, что он был подготовлен к тому, чтобы обогатить мировой опыт военных революций «сверху» еще одним самобытным вариантом. Напомним,

что лидеры этих революций в странах Востока и некоторые родственные им фигуры из истории латиноамериканских стран не инициировали резких и одномоментных перемен, а давали им возможность созреть в обществе. В одних случаях период такого созревания мог быть более коротким, в других — более растянутым во времени. Однако всегда переход к иному общественному и политическому устройству был опосредован разочарованием широких масс населения в законных, но не эффективных правительствах и готовностью подчиниться воле других, незаконных, но способных принять на себя груз социальной ответственности лидеров. По-видимому, именно в этом ракурсе следует рассматривать ту расчетливую, многоходовую партию, которую «белый генерал» вел с самодержцем Александром III.

На первый взгляд отношения полководца с монархом выглядят двойственными. Несмотря на ледяной прием, оказанный ему во дворце после победоносного завершения Ахал-текинской операции, и высочайший гнев на смелую речь, произнесенную в годовщину победы, Скобелев воздерживался от прямых инвектив в адрес царя. Рассуждая в свободном письме к Аксакову о губительных последствиях антинародного правительственного курса, он как будто бы даже вставал на защиту царя: «Боже меня сохрани отнести последнее на Государя; напротив того, он все более и более становится единственною путеводною звездою на тесном петербургском бюрократическом небосклоне»⁴³. С другой стороны, Скобелев позволял себе вольное комментирование политики властей, которое выводило его на линию огня со стороны правительственных кругов. А порой шел на сознательное обострение ситуации, нарушая правила приличия и просто обязанности верноподданного. Получив накануне отъезда за границу приглашение явиться на следующий день к завтраку во дворец, он не только не пожелал отложить отъезд, но и передал монарху через гоф-фурьера решительный отказ с формальными извинениями. Этот инцидент, запечатленный генералом Н.А. Епанчиным, был однозначно воспринят в столичных аристократических кругах как весьма дерзкая демонстрация личной независимости, если не сказать, автономии⁴⁴. Весьма невозмутимо он прореагировал на известие о сво-

ей возможной отставке, полученное на обратном пути домой. В письме к Аксакову по этому поводу он замечал: «Мне не жаль ни своей службы, ни себя лично; я воспитал себя для служения идеалу, я не честолюбец, как меня выставляют немцы, в грубом значении этого слова». Впрочем, не забыл к этому присовокупить: «Какую пользу Отечеству я смогу принести в отставке, об этом поговорим после»⁴⁵. В этих словах не было ни капли фанфаронства. Несгибаемый ратоборец, он вовсе не собирался впадать в уныние и складывать оружие даже в случае смещения с должности. Однако похоже, что ни одного хорошего решения, которое позволило бы властям задвинуть неуправляемого генерала, в ту пору уже попросту не существовало.

К рубежному для Скобелева во всех отношениях 1882 г. была пройдена та точка его карьеры, на которой он мог бы сорваться со своих вершин и сгинуть в неизвестности, подобно иным кумирам, низвергнутым и забытым. К этому времени он достиг положения неформального лидера нации. На это недвусмысленно указывали многотысячные толпы простых граждан, шумные овации и здравицы, которыми сопровождалось возвращение героя из Ахал-текинского похода в 1881 г. Уже в Поволжье эти манифестации начали всерьез беспокоить официальный Петербург, однако, невзирая на неодобрение высоких чиновников, наплыв встречающих только ширился по мере продвижения триумфатора к центру. Так, генерал-губернатор Москвы кн. В.А. Долгоруков мог едва протолкнуться сквозь плотные ряды всех желающих лицезреть живую легенду своего времени⁴⁶. На особое положение Скобелева, впрочем, указывала и нервная реакция знаменитого ментора и советчика молодого царя К.П. Победоносцева на холодный прием героя во дворце. Попеняв своему питомцу на отсутствие искусного притворства, Победоносцев постарался предельно ясно растолковать, почему к Скобелеву нельзя подходить с обычными мерками: «Можно быть лично и безнравственным человеком, но в то же время быть носителем великой нравственной силы и иметь громадное влияние на массу. Скобелев, опять скажу, стал великой силой и приобрел на массу громадное нравственное влияние; то есть люди ему верят и за ним следуют. Это ужасно важно и те-

перь важнее, чем когда-нибудь»⁴⁷. Похоже, внушение наставника не прошло даром: следующая аудиенция во дворце, состоявшаяся в марте 1882 г., завершилась на вполне мирной и дружественной ноте. Косвенным подтверждением укрепления Скобелева в ранге фигуры, недостижимой для монарших и чиновничьих санкций, стала и легенда о его заказном убийстве, разделяемая некоторыми современниками и историками.

Итак, факты говорят о том, что потенциал влияния полководца, накопленный к 1882 г., позволял ему вступить в борьбу с правящим кланом. Однако не стоит представлять эту борьбу в виде антимонархического заговора, сосредоточенного на насильственном свержении царя. Этот алгоритм был чужд известным лидерам военных революций, равно как и противоречил образу мыслей их русского коллеги. Правда, что Скобелев не питал симпатий к дому Романовых и в общении с крутом доверенных лиц не скрывал неприязненного отношения к его членам. В том числе к великому князю Михаилу Николаевичу, которого считал одним из главных предводителей вредного направления внешней политики; к великому князю Владимиру Александровичу и его супруге, в которых видел представителей космополитствующей партии при дворе и в высшем свете⁴⁸. Непонятимый скепсис и презрение сквозили и в его отзывах об Александре III⁴⁹. Но правда и то, что вступление в решающую схватку с Германией он не мыслил себе иначе как на базе традиционных для России начал, дополненных «принципами 19 февраля 1861 г. в самом широком их применении». Характерно, что именно эти основы русской силы и были способны, по его понятиям, побороть западную обывательщину, в которую глубоко проникло «торжество безверия, стремление к наживе, парламентская, разлагающая, разнузданная буржуазная мораль»⁵⁰.

Судя по приведенным высказываниям Скобелева, республиканско-парламентский строй западноевропейских стран не вызывал его восторгов. Однако и российская монархия в облике, который она приняла к тому времени, его также не устраивала. Это доказывает позиция, заявленная им в тесном кружке друзей, собравшемся летом 1881 г. на квартире у Д.П. Дохтуро-

ва. Разгоряченный спором о будущем правящей династии, Михаил Дмитриевич дал волю своим затаенным мыслям: «А все-таки в конце концов вся их лавочка полетит тормашками вверх... Полетит... и скатертью дорога. Я по крайней мере ничего против этого иметь не буду». В ответ Дохтуров напомнил о долге военного человека противодействовать революционным катаклизмам и призвал в союзники Скобелева. Однако тот вовсе не разделял предубеждения хозяина дома против революционных изменений, хотя и видел в них прежде всего результат деятельности политиков: «В революциях... стратегическую обстановку готовят политики, а нам, военным, в случае чего предстоять будет одна тактическая задача. А вопросы тактики... не предрешаются, а решаются во время боя, и предрешить их нельзя»⁵¹. Приведенный эпизод позволяет сделать, по крайней мере, три вывода. Во-первых, генерал действительно был противником самодержавия и полагал, что оно обречено. Во-вторых, его устранение представлял себе не в результате ряда целенаправленных ударов, наносимых противниками, а в результате некоего самопроизвольного распада, не заторможенного никакими спасательными операциями военных. В-третьих, по его убеждениям, революционные события предопределялись самим поведением носителей власти, а миссия военных состояла в том, чтобы направить эти события в нужное русло.

Можно предположить, что война с Германией, которая в представлениях Скобелева являлась контрапунктом всех ожидаемых перемен, должна была бы и кардинально изменить политический ландшафт страны. Колыбелью новой российской государственности имели шанс стать чрезвычайные органы власти, вызванные к жизни военным временем. Например, высший орган военно-гражданского управления по типу того, который в 1915 г. предлагал создать высокий правительственный чиновник А.В. Кривошеин. Либо органы хозяйственного управления со смешанным составом (представителей царской администрации, парламента, армии, общественных организаций), неподотчетные правительству, вроде Особых совещаний по обороне, топливу, транспорту и продовольствию, которые реально возникли летом 1915 г. Либо общественные организа-

ции, созданные в помощь военной промышленности и фронту, наподобие Центрального военно-промышленного комитета, объединявшего сеть аналогичных местных организаций. Либо орган, похожий на объединенный союз земств и городов — Земгор, образованный в том же 1915 г. Не исключено, что одной из возможных переломных граней в политическом развитии страны мог явиться созыв Земского Собора — эта идея была популярна в либеральных кругах и в особенности среди близких Скобелеву славянофилов⁵². Однако какой бы конкретный вариант не был избран, в любом случае политические институты российского самодержавия должны были уступить дорогу иным организационным формам, а сам переход к ним произойти в рамках естественного для военных условий перераспределения полномочий между старыми и новыми органами власти и ротации элит.

Можно ли набросать эскиз к наиболее вероятной программе действий Скобелева в социальной сфере? Несмотря на отрывочность сведений по этой части, достаточно определенно можно полагать, что лейтмотив социальной политики для него составляли «принципы 19 февраля 1861 г. в самом широком их применении». В известном контексте двух пореформенных десятилетий эта декларация с необходимостью предполагала: устранение пережитков сословности в социальной организации, снятие всех препятствий на пути свободного предпринимательства и приобщения населения к азам гражданского общества, утверждение принципов равных возможностей в получении образования и персональном возвышении для представителей всех общественных классов. Достаточно показательным в свете исторической перспективы было стремление генерала «бросить якорь» в разных частях русского общества, выстроить на основе дифференцированного подхода линии связей с различными общественными кругами. За этими попытками усматривается стиль, уже знакомый нам из практики лидеров военных революций в других странах: регуляция на двусторонней основе отношений с каждой из значимых социальных групп, предпочтение договариваться, а не подавлять — во избежание гражданской войны и ради обеспечения наиболее благоприятного социального кли-

мата для поступательных преобразований. А сильный протекционистский уклон, обозначившийся при тезисном изложении неотложных практических мер (в разговоре с Немировичем-Данченко), выявляет ставку на национальную буржуазию в том раскладе социальных сил, который виделся генералу за грядущей революцией. («Запереть границу для иностранного ввоза тех предметов, которые у нас производятся».) Другими словами, в контурно обрисованной программе угадывалась идеология мощного экономического прорыва, социального партнерства и ненасильственной политической перестройки.

Но имела ли эта идеология хоть какие-то шансы на воплощение в условиях стабильности и приверженности к порядку, ухода от участия в международных конфликтах, положенных во главу угла правительственной политики при Александре III? Разумеется, этот вопрос остается открытым. Вместе с тем не стоит забывать, что в распоряжении нашего героя был такой новомодный инструмент управления впечатлениями, манипулирования фактами и формирования событий, как пиаровские технологии. Ставшие к концу XIX в. неотъемлемой частью политического менеджмента власти и ряда публичных лидеров на Западе, они все еще оставались чужды косной политической элите России. За исключением «белого генерала», всегда умевшего разглядеть чужой ценный опыт и перенять его для пользы собственного дела. Способность Скобелева создавать нужные для себя ситуации и производить выгодное впечатление признавали все современники, пытавшиеся разгадать тайну его феевского взлета. Так, близко знавший его барон Н. Врангель считал, что своим успехом он был обязан отнюдь не только полководческому таланту: «В быстрой славе Скобелева играла значительную роль и та шумиха, на которую он был великий мастер. Для рекламы он ничего не жалел». Отправляясь в 1877 г. на войну с Турцией без всякой конкретной командной должности и боевого поручения, он, тем не менее, свято верил в свою путеводную звезду и в собственное умение «взять быка за рога». На вопрос Врангеля: «А если тебе никакого назначения не дадут?» будущая знаменитость войны без всякого смущения подтвердила: «Если! Не если, а наверно не дадут. Я сам, брат, возь-

му, что мне нужно. Поверь, ждать подачек не стану. Мы сами с усами»⁵³. Как известно, расчет оказался верным.

От кампании к кампании совершенствовалось и искусство героя в закручивании информационных вихрей вокруг собственной персоны. Один только выработанный им боевой ритуал дорогого стоил! Белый китель, белая фуражка, белый конь Скобелева, как раз и снискавшего за этот антураж прозвище «белый генерал», неизменно врезались ярким пятном в черную атакующую массу войск в момент наивысшего напряжения боя и становились предвестником близкой победы. Нам точно неизвестны мотивы скобелевского пристрастия к этой экипировке. По мнению В.Н. Масальского, за этим выбором могла скрываться неординарная предусмотрительность гения войны: белая точка труднее берется под прицел с вражеских позиций⁵⁴. Генерал Н.А. Епанчин свидетельствовал о других причинах приверженности полководца белому цвету: близким людям тот признавался, что на поле битвы им, как и другими смертными, владеет сильный страх. Несмотря на то что волевым усилием ему удавалось сохранять над собой контроль, лицо оставалось очень бледным, а белый цвет одежды помогал скрывать эту предательскую белизну⁵⁵. Впрочем, могли быть и иные соображения. Например, в латиноамериканской традиции фигура воина на белом коне символизировала торжество мудрой силы и порядительности над проржавевшим колесом государственной машины и обществом, увязшим в своих неразрешимых проблемах⁵⁶. Не исключено, что и эти аллюзии сыграли свою роль в создании имиджа русского белого всадника. Как бы то ни было, его образ занял отдельное, только ему принадлежащее место в общественном сознании.

Сотканный из черт кондотьера средневековой Европы, мачо Нового Света и отечественного отца-командира, он резко выделялся на фоне однотипных рубак-генералов и бесцветных академиков-стратегов. Всяческому продвижению этого имиджа содействовала пресса. По пятам за бравым генералом шествовала вереница русских и иностранных корреспондентов, не жалевших красок для описания его боевых подвигов и эффектных поступков. Например, переправы в одиночку через Дунай для выяснения возможностей форсирования водной преграды

большим отрядом. Или захватывающих дух батальонных учений под шквальным огнем противника, проведенных ради того, чтобы разрядить нервное напряжение среди солдат⁵⁷. Не меньшее внимание Скобелев уделял и тому, чтобы его облик получил повсеместную узнаваемость. Барон Врангель вспоминал, как перед отъездом на балканский театр военных действий в 1877 г. тот заказал целый ворох клише, на которых был запечатлен в разных живописных позах. «Для твоей будущей биографии, Бонапарт? — спросил я его. Он усмехнулся: «Нет, для мыла, духов и шоколада». После возвращения с войны овеянный славой герой признался товарищу: «Видишь... моя шоколадная артиллерийская подготовка не была напрасна. Правда, мне и подвезло. Называли меня фанфароном, а попал я к военному шарлатану, краснобаю Драгомирову, который языком дошел до военного авторитета, но, к счастью для меня, военного дела не знает»⁵⁸.

Конечно же, образ сильной личности, властно меняющей ход событий, в панораме войны складывался проще и органичнее, нежели в мирные будни, когда храбрость одиночек отнюдь не решала дела. Однако магия «белого генерала» не улетучивалась и тогда, когда он переоблачался в гражданский костюм и менял свой основной род деятельности на амплу публичного политика. Это воочию показала его заграничная поездка 1882 г. и буквально царские почести, которых он удостоился на возвратном пути от народа и войска⁵⁹. При мощном запросе на фигуру знаменосца антигерманской борьбы, который исходил от германофобского круга российской политической элиты, реваншистских группировок во Франции, и при поддержке сочувствующих журналистов «белый генерал» имел хорошие шансы и далее двигаться намеченным курсом. Разумеется, здесь мы вступаем на скользкую почву догадок. Столь же вероятно, что при Александре III, твердо стоявшем на позиции невмешательства России в вооруженные конфликты, инициативная игра Скобелева была бы скована. Однако политик, которому в 1882 г. исполнилось только 39 лет, мог еще долго ожидать своего часа и надеяться на осуществление начертанного им сценария. Даже невзирая на то, что «белый генерал» был обречен на остро драматический финал своего пути!

Фатально трагическая развязка была заложена в психологическом рисунке личности, которую современные исследователи-психологи определяют как деструктивную. В развитии отдельных индивидов, для которых война становится родной стихией, происходит «защитная регрессия к архаическим формам отреагирования первичных позывов». «Глубинная мотивация деструктора, — пишет отечественный психолог Д. Медведев, — восходит к воспроизведению ситуации младенческого симбиоза с матерью и агрессивным реакциям на любые попытки ее нарушить». Деструктор выходит из-под действия эдипальных переживаний, которые у обычных людей возбуждаются ритуалами цивилизации⁶⁰. Его психическая жизнь переориентирована на доэдиповы прегенитальные травматические фиксации. Отсюда, по заключению экспертов, он лишен тех ограничителей, которые давят на других людей. Его линия поведения задана лишь критериями успеха и эффективности⁶¹. Причины подобной трансформации коренятся в прекращении на войне ритуализованных типов сексуального поведения, нарушении проективной психологической защиты вследствие гибели товарищей по оружию, узаконенном отношении к убийству, как к исполнению служебного долга, подмене стандартных социальных взаимодействий суррогатной социальностью, установленной командирскими приказами, снятии правовых и нравственных запретов⁶².

Состояние деструктора характеризует лишь один-единственный канал объективации либидо — канал агрессии. Типичными свойствами его личности и поведения являются:

— групповой тип сознания, резкое разграничение людей на «своих» и «чужих» соответственно с двойными стандартами их оценок;

— допущение любых форм насилия по отношению к «чужим»;

— стремление найти точку опоры в идеологии конфронтационного типа и вытекающая отсюда потребность в постоянной борьбе;

— высокий уровень тревожности, обусловленный фиксациями на травматических воспоминаниях и выражающийся в расстройстве защитных функций организма (нарушения сна, пищеварения и т. п.);

— склонность к персонализации своих эмоций, созданию проективного театра собственной души, сочетающаяся с нарциссизмом;

— непреходящая невротическая потребность в любви, которая, однако, никогда не реализуется в устойчивой привязанности. Деструктивность в широком смысле можно представить и как «способ бегства мужчины от женщины, носящий более универсальный характер ввиду опоры на латентную гомосексуальность»;

— асоциальность. Это — самая выдающаяся черта деструктора. С точки зрения психоанализа у основной массы людей императив социального поведения формируется за счет смещения по цели сексуальных желаний, что обусловливается влиянием культуры. (Отсюда проистекают ощущения стыда, вины, страха перед инцестуозными вожделениями и «вынужденная фобийная идентификация с себе подобными»⁶³.) Для деструктора, с присущими ему иными механизмами психической регуляции, социальное поле является областью приложения смелых поисковых решений, апробации неожиданных комбинаций.

В то же время презирующий опасность, уверенно чувствующий себя в огне и под прицелом, и вынужденный, подобно манежной лошади, бесконечно двигаться по этому кругу, дабы не лишиться защитной брони, деструктор обречен на раннюю насильственную смерть. (Она всегда носит суицидальный характер, даже если тот завуалирован несчастным случаем.) Без сомнения, такой персонаж воплощает собой одну из опасных общественных девиаций, однако без притока таких людей в армию, с одной стороны, иссякает источник героических свершений на войне, а с другой — застывшее общество теряет импульс к дальнейшему развитию.

Матрица деструктора делает открытой для чтения извилистую линию судьбы нашего героя. На заре туманной юности один из буйных представителей золотой молодежи, готовившийся к учебе в университете, в 1861 г. на подступах к цели внезапно сворачивает в сторону и поступает в Кавалергардский полк. Выбрав военную карьеру, Михаил Дмитриевич обрел ту самую комфортную с точки зрения его глубинных внутренних инстинктов и влечений среду обитания, в которой он будет чув-

ствовать себя как рыба в воде. Его головокружительный карьерный взлет, награды и признание были буквально вырваны у фортуны, никогда не сталкивавшейся лицом к лицу с этим героем на военных дорогах. Секрет успеха Скобелева на военном поприще заключался в искусстве невозможного. Рвавшаяся наружу энергетика деструктора выражала себя через бешеный напор, безоглядную отвагу, принятие нестандартных решений.

Столь же неординарно, ломая ограничительные начала идеологических доктрин, морали и привычных схем действий, «белый генерал» вел себя и в политике. Скобелевская концепция прорыва в сфере общественно-политического развития также зарождалась на стыке дерзновенной мечты и здорового практицизма. Она стала одним из самых ярких свидетельств растущей озабоченности офицерского авангарда России стагнацией отечественных вооруженных сил, искривлением внешнеполитического курса страны, потерей ориентиров на историческом движении нации. Скобелевский след в истории был нераздельной частью процесса профессионализации офицерского корпуса: его воли к победе над сильным противником, стремления к утверждению отечественной школы военного искусства, осознания своего долга перед обществом и государством, настроенности на содействие делу общественного прогресса.

Функционируя на сверхвысоких, почти запредельных величинах напряжения, необычный генерал столь же необычными способами, как воевал и занимался политикой, восполнял затраты физических и душевных сил. На светлом полюсе его общения с внешним миром, безусловно, находились отношения с матерью, Ольгой Николаевной. Обоюдная привязанность и взаимная забота матери и сына составляли одну из самых важных опор его психического равновесия. На «темной стороне луны» располагались шумные кутежи, оргии, бурные и короткие романы с женщинами, преимущественно дамами полусвета. Они давали эмоциональную зарядку, которую жаждал измотанный перегрузками и нуждающийся в допингах организм. Наркотизирующее действие на него оказывала и та дань публичного поклонения, которую генерал собирал на всех коротких и дальних маршрутах своего следования: знаки внимания явных и тайных почитателей, восторженные приветствия и

овации толпы. Очевидно, в этой трехканальной системе энергетической подпитки наш герой мог бы еще долго вести свое соло на войне и в политике.

Однако ситуация радикально изменилась в 1880 г.: на территории Восточной Румелии была зверски убита Ольга Николаевна, занимавшаяся в этом крае благотворительностью и исполнением ряда сыновних поручений. Убийство было совершено из корыстных побуждений бывшим подчиненным Скобелева офицером А.Н. Узатисом. Эта смерть означала не только невосполнимую утрату для Михаила Дмитриевича. Она начинает преследовать его ночными кошмарами, бесконечными угрызениями совести за небрежение безопасностью родного человека. Она же проделывает пробоину в отработанной им самозащите, через которую, как через черную дыру, безвозвратно утекают кванты энергии. С 1880 г. истекает и отпущенная ему отсрочка финала. Характерно, что именно с этого времени вся жизнедеятельность Скобелева, протекавшая в галопирующем темпе, срывается в бешеный карьер. Находившимся вблизи людям казалось, что он уже не выходит из бойцовой стойки и стремится извести себя в бесконечном поединке. Доктор О.Ф. Гейфельдер, пользовавшийся генерала в 1881 г., вспоминал, что, едва переведя дух после Ахал-текинской операции, в феврале он уже томился от скуки и рвался в Париж, где складывалась вполне подходящая обстановка для усиленного выброса адреналина⁶⁴. Повидавший на своем веку немало экстремалов, военный врач вряд ли мог кого-нибудь из них поставить в один ряд с самым знаменитым пациентом: «Меня всегда поражала его нервная раздражительность и поспешность, с которой он говорил, спрашивал, ел, пил и собирался к отъезду»⁶⁵. А все настойчивые призывы упорядочить свой образ жизни отводил решительным заявлением: «Такие предписания, регулирующие всю жизнь, деморализуют меня как военного. Я хочу жить так, как мне угодно и как придется, а если заболēju, дадите лекарство, чтоб я или разом выздоровел, или же издох»⁶⁶.

Развязка не заставила себя долго ждать: в ночь с 25 на 26 июня 1882 г. на бреющем полете, хотя и не среди музыки боя, оборвалась жизнь «белого генерала». Он умер так же, как и жил, одарив напоследок еще одним ребусом своих врагов и сто-

ронников, оставив одних в злорадном удовлетворении, других — в горьком недоумении. Однако вторых было абсолютное большинство. Еще не успев скрыться за кромкой вечности, кумир превратился в символ альтернативной истории, не связанной ни с царствующим домом, ни с прочими важными персонами, облеченными и наделенными. На фоне красноречивого молчания официального Петербурга в прощальные дни *vox populi* раздавался особенно громко. Народная молва, сразу же включившая генерала в свою галерею звезд рядом с именами Разина, Пугачева, Суворова, закрытые по желанию хозяев увеселительные заведения Москвы, многотысячное людское море, которое протекло мимо скорбного кортежа, говорили сами за себя. Миф о властном вторжении в существующий порядок вещей ради лучшего будущего, скачущий впереди своего героя при жизни и парящий над ним после смерти, являлся значимым историческим фактом. Фактом, который указывал на готовность общества принять и поддержать предложенную им программу действий. Но, озарив своим появлением родные пенаты, белый всадник, увы, унесся прочь, оставив после себя мутную взвесь загадок и ощущение обманутых надежд.

Примечания к главе 7.1

¹ Huntington S. *Political Order in Changing Societies*. Yale, University Press, 1968.

² Huntington S. *The Soldier and the State*. P. 83.

³ *Finer S.E. Op. cit.* Pp. 22—24.

⁴ *Thompson W.R. The Grievances of Military Coup-Makers*. Floride State University. Beverly Hills, London. 1973. Pp. 12, 17.

⁵ *Irid. P. 26.*

⁶ *Ibid. P. 50.*

⁷ *Ibid. P. 44.*

⁸ *Nordlinger E. Op. cit.* Pp. 67—68, 79—80.

⁹ *Ibid. P. 82.*

¹⁰ *Finer S.E. Op. cit.* P. 29, 33—34.

¹¹ *Ibid. P. 49—50.*

¹² *Trimberger E. K. Military Bureaucrats and Developement in Japan, Turkey, Egypt and Peru*. New Brunswick, New Jersey, 1978. Pp. 2—3, 41.

¹³ Huntington S. *Political Order in Changing Societies*. P. 194.

- ¹⁴ De Calo S. Coups and Army Rule in Africa. Studies in Military Style. New Haven and London, 1976. P 7.
- ¹⁵ Pye L.W. Armies in the Process of Political Modernization. // The Role of the Military in Underdeveloped Countries. Ed. by J. Johnson. Princeton, New Jersey, 1962. P. 76.
- ¹⁶ Ibid. Pp. 79—80.
- ¹⁷ Ibid. Pp. 84—85
- ¹⁸ Ibid. P. 74.
- ¹⁹ Trimberger E. K. Op. Cit. P. 88.
- ²⁰ Ibid. P. 85; Селищев Я.С. Японская экспансия: люди и идеи. Иркутск, 1993. С. 38—40.
- ²¹ Норман Б. Возвышение современного государства в Японии. М., 1961. С. 45—46.
- ²² Johnson J. The Latin-American Military as a Politically Competing Group in Transitional Society. // The Role of the Military. Pp. 95, 101—102.
- ²³ Фадеева И.Л. Официальные доктрины в идеологии и политике Османской империи (османизм — панисламизм). XIX — начало XX в. М., 1985. С. 109, 120.
- ²⁴ Там же, с. 200.
- ²⁵ Finer S.E. Op. cit. P. 144.
- ²⁶ Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. М., 2000. С. 53—54.
- ²⁷ Pye L. Op. Cit. P. 83.
- ²⁸ Васильев Л.С. История Востока. Т. 2. М., 1998. С. 221.
- ²⁹ Ментер Ш. Кемализм: зарождение, влияние, актуальность. М., 1998. С. 35—36, 60—63; Trimberger E. K. Op. Cit. P. 15—16.
- ³⁰ Ментер Ш. Указ. соч. С. 111.
- ³¹ Лежников А. Отец народа. // Родина. 1998. № 5—6. С. 147.
- ³² Ментер Ш. Указ. соч. С. 25.
- ³³ Johnson J. Op. cit. Pp. 119—120.
- ³⁴ Ibid. Pp. 11—112.
- ³⁵ Kennedy G. The Military in the Third World. Duckworth, 1974. Pp. 104—113.

Примечания к главе 7.2

- ¹ Россия в революционной ситуации на рубеже 1870—1880-х годов. Под ред. Б.С. Итенберга. М., 1983. С. 102—103, 108.
- ² Захаров П.А. Российское самодержавие в конце XIX столетия. М., 1970. С. 84—85.
- ³ Россия в революционной ситуации. С. 127—128.
- ⁴ Герцен А.И. Собр. соч. Т. 16. С. 133.
- ⁵ Взгляды М.Д. Скобелева на военное дело. // О долге и чести воинской в российской армии. Сб. материалов, документов и статей. Под ред. В.Н. Лобова. М., 1990. С. 177—178.

- ⁶ Записки графа Н.П. Игнатьева. // Исторический вестник. 1915. № 3. С. 759.
- ⁷ Дневник Д.А. Милютина. 1881—1882. Т. 4. Под ред. П.А. Зайончковского. М., 1950. С. 149.
- ⁸ Масальский В. Скобелев. Исторический портрет. М., 1998. С. 244.
- ⁹ Михаил Дмитриевич Скобелев. Слово белого генерала. Слово современников. Слово потомков. М., 2000. С. 94.
- ¹⁰ Там же, с. 99.
- ¹¹ Иванов С.А. Характеристика общественных настроений в начале 80-х годов. // Былое. 1907. № 9. С. 198—199.
- ¹² Там же, с. 199.
- ¹³ Масальский В. Указ. соч. С. 346.
- ¹⁴ Кони А.Ф. На жизненном пути. Т. 3. Ревель — Берлин, 1922. С. 21—22.
- ¹⁵ Масальский В. Указ. соч. С. 335.
- ¹⁶ Барон Н. Врангель. Указ. соч. С. 134.
- ¹⁷ Кропоткин П.А. Записки революционера. М., 1966. С. 394.
- ¹⁸ Кнорринг Н.Н. Генерал Михаил Дмитриевич Скобелев. Исторический этюд. М., 1992. // Белый генерал. М., 1992. С. 200.
- ¹⁹ Тарле Е.В. Из записной книжки архивиста. // Красный архив. 1928. Т. 2 (27). С. 215.
- ²⁰ Масальский В. Указ. соч. С. 341, 350—351.
- ²¹ Кнорринг Н.Н. Указ. соч. С. 247, 256.
- ²² Масальский В. Указ. соч. С. 327.
- ²³ Там же, с. 328.
- ²⁴ Там же, с. 351.
- ²⁵ Россия: государственные приоритеты и национальные интересы. С. 108—109.
- ²⁶ Там же, с. 115—116.
- ²⁷ Там же, с. 119.
- ²⁸ Finer S.E. Op. cit. P. 147.
- ²⁹ Россия: государственные приоритеты и национальные интересы. С. 110, 113.
- ³⁰ Михаил Дмитриевич Скобелев. С. 204—205.
- ³¹ Там же, с. 212.
- ³² Там же, с. 69—73.
- ³³ Там же, с. 68.
- ³⁴ Масальский В. Указ. соч. С. 346—347.
- ³⁵ Фельдман Д.М. Конфликты в мировой политике. М., 1997.
- ³⁶ Дневник графа П.А. Валуева. Пг., 1919.
- ³⁷ Масальский В. Указ. соч. С. 333.
- ³⁸ Немирович-Данченко В.И. Личные воспоминания и впечатления. // Белый генерал. С. 513.
- ³⁹ Барон Н. Врангель. Указ. соч. С. 137.
- ⁴⁰ Кнорринг Н.Н. Указ. соч. С. 173.
- ⁴¹ Михаил Дмитриевич Скобелев. С. 93.

- ⁴² Там же, с. 96.
- ⁴³ Там же, с. 99.
- ⁴⁴ Е л а н ч и н Н.А. Указ. соч. С. 177.
- ⁴⁵ Михаил Дмитриевич Скобелев. С. 101.
- ⁴⁶ К н о р р и н г Н.Н. Указ. соч. С. 177.
- ⁴⁷ Михаил Дмитриевич Скобелев. С. 225.
- ⁴⁸ Там же, с. 97.
- ⁴⁹ Б а р о н Н. Врангель. Указ. соч. С. 138.
- ⁵⁰ Михаил Дмитриевич Скобелев. С. 95—96.
- ⁵¹ Б а р о н Н. Врангель. Указ. соч. С. 137—138.
- ⁵² См.: «Отнять у крамолы Материальную и Нравственную силу». // Источник. 1995. № 2 (15). С. 4—15.
- ⁵³ Б а р о н Н. Врангель. Указ. соч. С. 136.
- ⁵⁴ М а с а л ь с к и й В.Н. Указ. соч. С. 65.
- ⁵⁵ Е л а н ч и н Н.А. Указ. соч. С. 105.
- ⁵⁶ G o o s h J. Armies in Europe. P. 132.
- ⁵⁷ Отрывки из корреспонденций, написанных во время Русско-турецкой войны о Скобелеве. // Исторический вестник. 1915. № 3. С. 803.
- ⁵⁸ Б а р о н Н. Врангель. Указ. соч. С. 136.
- ⁵⁹ К н о р р и н г Н.Н. Указ. соч. С. 245—246.
- ⁶⁰ Медведев В. Сублимационная эротика войны как способ бегства мужчины от женщины. Психоаналитические подходы к интерпретации кинофильма «Белое солнце пустыни». // Russian Imago 2000. Исследования по психоанализу культуры. Сб. статей. СПб., 2001. С. 189.
- ⁶¹ Там же, с. 191.
- ⁶² Там же, с. 188.
- ⁶³ Там же, с. 190—191.
- ⁶⁴ Гейфельдер О.Ф. Воспоминания врача о М.Д. Скобелеве 1880—1881 гг. // Русская старина, 1886, № 11. С. 403.
- ⁶⁵ Там же, с. 396.
- ⁶⁶ Там же, с. 402.

Глава 8

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВОЕННОГО ФАКТОРА: ГЕНЕРАЛЫ И СОЛДАТЫ

8.1. Игры генералов

Как ни парадоксально, роль военных в свержении царизма не стала самостоятельным предметом исторического анализа. Советская историография придерживалась оценки Февраля 1917 г. как короткой прелюдии к Великому Октябрю: роль лиц и институтов, подготовивших и осуществивших буржуазно-демократическую революцию, долгое время заслонялась последующим приходом к власти большевиков, приступивших к масштабному социальному эксперименту. Что касается военнослужащих, то, по справедливому замечанию В.П. Булдакова, авторы, рассматривавшие события февраля — октября 1917 г., были ориентированы главным образом на доказательство последовательной радикализации солдатской массы, продвигавшей их к союзу с большевистскими лидерами¹. В работах, написанных в перестроечный и постсоветский период, этот негативизм в отношении Февральской революции и ее военных участников начал постепенно преодолеваться. В исследованиях последних лет фокус внимания авторов стал все более и более смещаться в сторону петроградского гарнизона и его роли в событиях Февраля. В меньшей степени переосмысление прежних схем затронуло сюжет, связанный с участием высшего военного командования в упразднении монархии. По мнению глубокого знатока этой переломной грани отечественной истории А.Я. Авреха, позиция генералитета в закатные дни монархии отличалась либеральной мягкотелостью и пассивным фаталистическим отношением к происходящему. В частности, настроения генерала М.В. Алексеева, фактически руководившего армией с 1915 г., в описании Авреха определялись одновременно и глу-

боким скепсисом в отношении николаевской монархии, и параличом воли, отказом от всякого вмешательства в ход событий².

Эти оценки не были оспорены в другом содержательном исследовании — «Революция и судьба Романовых», опубликованном Г.З. Иоффе в 1992 г. В изображении автора генералы, командующие фронтами во главе с М.В. Алексеевым, предстают в виде объекта манипуляций опытных политических тактиков из среды думцев. Сторонясь всякой политической деятельности, лишь вечером 28 февраля, под влиянием известий об учреждении Временного комитета Государственной думы и умелой политической агитации М.В. Родзянко, они решились оказать поддержку новорожденным органам революционной власти и содействовать отречению царя. Резюмируя рассуждения о генералах, подхваченных, наподобие щепок, бурным революционным потоком, автор следующим образом оценивает их пособничество силам, осуществившим смену порядка: «Военные люди, далекие от политики, утром 2 марта не могли заглянуть настолько далеко, чтобы различить все последствия своих действий»³.

Проблема генералов — соучастников развала старого строя — обойдена вниманием и в основательной монографии И.Л. Архипова, посвященной позициям и умонастроениям российской политической элиты в феврале 1917 г. Итак, основные исторические труды последних полутора десятилетий не добавили новых штрихов к политической линии высшего командного состава армии. По умолчанию о ней создается впечатление либо ее полного отсутствия, либо полного растворения в интриге думских политиков.

Единственным исключением является монография А.А. Искендерова «Закат империи», вышедшая в свет в 2000 г. Давление генералов на царя, оказанное на рубеже февраля — марта 1917 г., расценивается автором как одна из главных пружин передела власти. Однако поступок военных, изменивший политический облик страны, приписывается, во-первых, сильному влиянию со стороны Прогрессивного блока, во-вторых, успешному переговорному процессу с военачальниками, который взял на себя М.В. Родзянко, а в-третьих, ложной интерпретации военачальниками поступавшей из Петрограда информа-

ции. Именно эти причины и побудили вождей армии на беспрецедентный маневр, загнавший царя в тупиковую ситуацию⁴. Но уже на второй день после отречения Николая II, как пишет Искендеров, генерал Алексеев раскаивался в содеянном⁵. Таким образом, и в этой трактовке поведение генералов выглядит как послушное следование за политическими лидерами из Петрограда, которое не предполагало ни самостоятельной позиции, ни самоотчета в своих действиях.

Насколько справедливы заявленные в историографии оценки? В частности, можно ли действительно считать, что Алексеев и его коллеги действовали в сговоре с думцами и Родзянко? Являлось ли участие военных в свержении царизма их заранее спланированной акцией или же было конъюнктурным встраиванием в ситуацию? Если принять за отправную точку версию о мгновенном прозрении Алексеева после отстранения Николая II, то следует признать, что 2 марта начальник штаба Ставки действовал под влиянием сиюминутного эмоционального порыва. Однако такая интерпретация его поступка плохо увязывается с теми фоновыми настроениями, которые господствовали в Ставке с 1915 г., равно как и с образом действий самого Алексеева еще задолго до роковой развязки. Для уяснения реальной роли военных в Февральском перевороте необходимо ознакомиться с предысторией вопроса.

Первая мировая война привела к политическому пробуждению армии. Кризис вооружений начала войны, военные поражения и утрата территорий в 1915 г., ограниченные успехи в 1916 г. и огромные потери в личном составе на протяжении всех лет войны наэлектризовывали армию. Недовольство умело подогревала политическая оппозиция. Неподготовленность государства к войне, вскрывшаяся буквально с первых же дней, непродуманное отстранение Николаем II великого князя Николая Николаевича от должности Верховного главнокомандующего в августе 1915 г. и неравноценная замена его самим собой, усилившееся вмешательство царицы в дела управления после отъезда царя в Ставку, министерская чехарда и тень Распутина, нависшая над страной, — все это создавало серьезные аргументы как для нарастающей критики власти, так и для прямого давления на нее. Главным предметом торга думской и внедум-

ской общественности с царем стало создание правительства «общественного доверия». Но поскольку венценосец не торопился с выполнением этого требования, в ход пошли более резкие средства, нежели меморандумы и петиции. 1 ноября 1916 г. с думской трибуны из уст П.Н. Милюкова прозвучало роковое слово «измена». Лидер кадетской партии обвинял темные силы, окопавшиеся вблизи молодой царицы, в пособничестве врагу (несмотря на то, что никаких конкретных фактов в его распоряжении не было). Этот «штурмовый сигнал революции» вызвал мощный резонанс и в воюющей армии. По свидетельству А.И. Деникина, на офицерских собраниях с этого времени только и было разговоров, как о «негодности правительства, о придворной грязи»⁶. Идея переворота, которую в это время уже вынашивали многие гражданские политики, постепенно начала прорастать в офицерских кругах и среди генералитета⁷. В конце 1916 г. группа думских деятелей обратилась к начальнику штаба Верховного главнокомандующего генерал-адъютанту М.В. Алексееву с просьбой помочь делу переворота. Однако тот ответил отказом ввиду опасности вызвать потрясения на фронте. Правда, по другой версии, несколько позднее председателю Всероссийского земского союза и думцу Г.Е. Львову удалось все же столкнуться с ним об аресте царицы и ее ссылке в Крым, после чего предполагалось установить правительство «общественного доверия» во главе все с тем же Львовым⁸.

Историк М.К. Лемке, находившийся в Ставке, сообщал о шепотке, подслушанном в коридорах этого учреждения, будто бы армейская верхушка в 1916 г. всерьез готовилась к аресту царя. Техническая часть операции военным не представлялась сложным делом. Передавая их мнения, он писал: «...при авторитете и роли начальника штаба арест и прочее могут быть совершены бесшумно... Николай прежде всего трус и притом трус даже не храбрый». Несмотря на то что потенциальные организаторы этой акции Лемке не были известны, он предположил, что ими могли быть штабисты во главе с Алексеевым и кое-кто из командующих фронтами⁹. Близкий к Алексееву генерал-квартирмейстер М.С. Пустовойтенко по секрету сообщил Лемке, что его шеф намечен на роль диктатора¹⁰.

Вполне вероятно, что этот же заговор имел в виду и

С.П. Мельгунов, называвший даже конкретные имена участников: А.В. Колчак, А.А. Брусилов, Н.В. Рузский, М.В. Алексеев. Местом ареста царя должен был стать дворец графини Брасовой — жены великого князя Михаила Александровича. Если учесть, что источником Мельгунова был великий князь Николай Николаевич, то следует признать, что прямо или косвенно в заговор была втянута большая часть военного командования. Совпадение информации, которая поступала от разных лиц, также свидетельствовало в пользу реально существовавшего замысла. Можно предположить, что подготовка этого переворота прервалась из-за болезни Алексеева, вынудившей его в конце 1916 г. на время покинуть Ставку.

С.П. Мельгунов, специально исследовавший этот «инкубационный» период русской революции, приводит сведения и о других параллельных заговорах. Это — «морской заговор», сложившийся в недрах Морского министерства. Его авторы — капитан первого ранга, помощник начальника штаба Капнист и редактор «Морского сборника» К.Г. Житков — рассчитывали на помощь морского гвардейского экипажа, включенного в императорскую охрану. Замысел флотоводцев состоял в том, чтобы под благовидным предлогом заманить Александру Федоровну на броненосец и насильно увезти в Англию. Были и сторонники депортации в придачу к ней и самого Николая II — в этом случае освободившийся престол предполагалось передать Алексею Николаевичу¹¹.

Далее — заговор общественных деятелей, главным образом из внедумских кругов, нацеленный на перераспределение верховной власти в пользу великого князя Николая Николаевича. В декабре 1916 г. после окончания 5-го российского съезда союза городов некоторые из его участников собрались на квартире у Львова. Здесь им было предъявлено письменное заявление 29 представителей земских управ и городских голов о желании видеть Львова на посту премьера при новом режиме. Для его установления предполагалось задействовать гвардейские полки, руководимые великими князьями. Дело застопорилось из-за опасений Николая Николаевича, что армия еще не готова воспринять замену одного монарха на другого¹².

Затем — заговор группы А.И. Гучкова — председателя

Центрального военно-промышленного комитета и члена Совещания по обороне. В эту группу заговорщиков вошли заглавные фигуры российской публичной политики: председатель Государственной думы М.В. Родзянко, члены Прогрессивного блока П.Н. Милоков, С.И. Шидловский, А.И. Шингарев, промышленник-миллионер М.И. Терещенко. Здесь было решено захватить царский поезд и добиться от Николая II отречения в пользу сына с установлением регентских полномочий великого князя Михаила Александровича¹³. В осуществлении этих намерений надежды возлагались на генерала А.М. Крымова, который слыл «будирующим и организующим началом на фронте»¹⁴.

Самостоятельный план давления на власть как будто бы был наготове и у офицеров Преображенского полка: соединившись с Литовским и Семеновским полками, где у них были единомышленники, преображенцы были намерены выстроиться перед Зимним дворцом, предъявить царю ультиматум об отречении, а после его получения отдать себя в распоряжение Государственной думы¹⁵. Впрочем, передавая эту информацию, Мельгунов не ручался за ее достоверность. Однако, по некоторым другим данным, от Преображенского полка действительно исходили некоторые революционные импульсы. Во всяком случае, известно, что весь день 27 февраля М.В. Родзянко, опиравшийся на собственные конспиративные источники информации, провел в ожидании выступления преображенцев в поддержку Государственной думы. И только поздно вечером, когда стало ясно, что выступление не состоялось, перешел к самостоятельным действиям¹⁶. Дополнительным подтверждением революционных настроений среди старейшего гвардейского полка стал факт занятия наружных караулов Таврического дворца его подразделениями с того момента, как в нем сосредоточилось все руководство политическим процессом¹⁷.

Оценивая все зревшие заговоры той поры, следует подчеркнуть их монархический характер: планируемые перемены сводились либо к удалению царицы, которой приписывалось вредное влияние на царя, либо к отстранению царской четы, превратившейся в сильный раздражитель, с рокировкой Николая II на сына или на другого представителя императорского дома.

И если поначалу речь шла о корректировке правящего режима без посягательств на жизнь кого-либо из царственной супружеской пары, то с конца 1916 г. уже не исключалось и цареубийство. Убийство Распутина в декабре 1916 г., с ликованием встреченное в обществе, срывало запретную печать с этой уже полузабытой технологии политической борьбы. Итак, вначале речь шла об относительно мирной замене монарха с помощью вооруженных сил. В дальнейшей истории военной и военно-гражданской конспирации политический сценарий все больше и больше сдвигался в сторону гольпа, то есть жесткого силового варианта с брутальным устранением главы государства по типу российских дворцовых переворотов XVIII в. Несмотря на то, что дворцовым заговорам XX в. не суждено было реализоваться на практике — их попросту списала со счетов революционная стихия масс, — они убедительно продемонстрировали неуклонную политизацию армейской верхушки.

Война, поставившая под ружье 15 млн. 378 тыс. человек и передавшая в руки командной верхушки управление ресурсами страны, делала армию хозяйкой положения. «Силовики», с одной стороны, не возражали против внесения разумной поправки в монархический строй, которая предлагалась гражданскими стратегами. С другой — не спешили «брать под козырек». В общем-то, единственным выражением консенсуса военного командования и политической оппозиции являлась только наметившаяся осенью 1916 г. договоренность о совместном участии в изгнании царицы. Однако и эта акция, оставшаяся только в проекте, еще не давала повода для уверенных ожиданий поддержки или даже дружественного нейтралитета армии по отношению к политической оппозиции. Между тем лояльность военных для нее составляла необходимое, если не ключевое условие окончательного расчета с обветшавшей монархической властью.

С одной стороны, у оппозиции были весомые основания рассчитывать на благосклонность войска, для которого и в самом деле к этому времени было сделано немало. В 1915 г. выросли Земский и Городской союзы, военно-промышленные комитеты, Особые совещания. Быстро и действенно решая насущные вопросы обеспечения фронта оружием, боеприпасами, продовольствием, они поневоле вызывали у военных выгодное срав-

нение с неповоротливой государственной машиной, умевшей только плодить дефициты. Так, по официальным данным, в июле 1915 г. при потребности в 50 парков орудий, армия получала всего 33, но уже в сентябре благодаря расторопности общественных организаций и частного капитала поставки составили 78 парков. А в 1916 г. армия располагала всеми необходимыми средствами для проведения боевых операций во всю ширину фронта¹⁸. Сближение с военными чинами полным ходом шло и на заседаниях общественных и общественно-государственных организаций, созданных в помощь армии.

Не довольствуясь только этими контактами, оппозиция предприняла и идеологическую атаку на высшее военное командование. «Пятой колонной» в войсках выступили эмиссары от Прогрессивного блока, прежде всего А.И. Гучков. Хорошо известный в военной среде еще со времен 3-й Государственной думы, в которой он возглавлял комиссию по государственной обороне, Гучков имел вес в глазах ряда военных авторитетов (например, популярного военного министра А.Ф. Редигера, группы генштабистов во главе с генералом В.И. Гурко — тогдашним председателем комиссии по составлению «Истории Русско-японской войны», с которыми было выстроено продуктивное сотрудничество). Знакомство с Алексеевым тоже не было «шапошным»: оно состоялось еще до Первой мировой войны, когда тот занимал должность начальника штаба Киевского военного округа, и продолжилось после вступления России в войну, когда тот получил назначение командующим Северо-Западным фронтом¹⁹. Летом 1916 г. Гучков отважился на открытый демарш: в адрес Алексеева — тогда уже начальника штаба Ставки и фактического руководителя армии — было направлено письмо, содержащее гневные обличения правительственных кругов за преступную халатность по отношению к воюющей армии. Разумеется, такой поступок был рассчитан на живой отклик и в конечном счете на скорейшее самоопределение адресата. В этих целях были заблаговременно составлены многочисленные копии письма, которым было предназначено разогнать волну в армейской среде и на ее гребне подхватить высшее военное командование. Стараниями главы Городского союза М.В. Челнокова они широко разошлись в воинских частях,

втянув таким способом большую часть армии в политическую дискуссию²⁰.

Со своей стороны, беседы о прогнившем царском режиме с Алексеевым вел Г.Е. Львов. Агитационные рейды на фронт к командующим в 1916 г. совершили М.И. Терещенко, В.А. Маклаков, М.В. Родзянко²¹. Несмотря на столь мощную политическую «артподготовку», битва за армию не обещала быть легкой. В пылу откровения творцы Февраля, в частности П.Н. Милюков, признавались, что и к началу революции, невзирая на весь израсходованный запас красноречия, «позиция войск не только вне Петрограда, но даже и внутри Петрограда и ближайших его окрестностях далеко еще не выяснилась»²². По свидетельству боевого генерала П.Н. Врангеля, даже тогда «армия представляла собой еще грозную силу, дух ее был все еще силен, и дисциплина держалась крепко»²³.

Неясной оставалась и перспектива сотрудничества оппозиции с командной верхушкой. Так, была достаточно хорошо известна неприязнь Алексеева к Николаю II и к той порочно безответственной практике подбора кадров в руководящие органы власти, которая возобладала при этом царе. С.П. Мельгунов зафиксировал отзыв начальника штаба о правительственных кругах, произнесенный им в порыве отчаяния: «Это не люди, это сумасшедшие куклы, которые решительно ничего не понимают. Никогда не думал, что такая страна, как Россия, могла бы иметь такое правительство, как министерство Горемыкина»²⁴. Несмотря на то что в вопросах планирования боевых действий царь всецело полагался на мнения своего начальника штаба, в вопросах кадровых назначений отнюдь не считал себя связанным его пожеланиями. Например, невзирая на его возражения против выдвижения генерала В.М. Безобразова на должность командира гвардейских корпусов, царь настоял на своем. А вдобавок привел аргумент, сразивший Алексеева наповал: «Ну что вы, Михаил Васильевич! Он такой милый и такой веселый рассказчик и анекдотист!» С тем же вежливым равнодушием царь выслушивал и прочие замечания своего главного военного специалиста о некоторых ответственных лицах, срывавших военные планы²⁵. Надо полагать, что психологический диссонанс, который Алексей испытывал в начале своей дея-

тельности на посту начальника штаба, с течением времени все больше и больше перерастал в активное неприятие всей сложившейся структуры николаевского управления. Так, еще при самом назначении он бросил фразу о том, что «придворным быть... не сумеет», и вскоре оправдал ее, дав отпор попыткам царицы прислать в Ставку Г. Распутина в качестве счастливого талисмана²⁶.

В то же время М.В. Алексеев старательно уклонялся и от распростертых объятий оппозиции. Не исключено, что ему на ум приходили те же соображения, которые в своем дневнике приводил М.К. Лемке в ожидании переворота: «...лишение Николая свободы и вынужденное у него отречение от самодержавных прав — самое легкое, но дальше надо знать, как разнообразны будут требования к перевороту со стороны России. Ничего этого, я уверен, заговорщики не учитывают; им представляется все это проще: ограничили, связали идиота по ногам, по рукам... и пойдет у нас конституционализм... И настанет золотой век кадетских чаяний... И начнется, скажу я, настоящая социальная революция со стороны пролетариата, которая никоим образом не будет предотвращена и станет совершенно неизбежной вслед за всяким современным политическим переворотом»²⁷. Кроме того, был хорошо известен и нелюбимый отзыв Алексева о либеральной политической группировке, в частности о тех ее представителях, которые сосредоточились в организациях помощи фронту. По его словам, это были «получающие нашими трудами и казенными деньгами внутреннюю спайку силы, преследующие весьма вредные для жизни государства цели»²⁸. Даже хорошо принятый в военных кругах Гучков не мог похвастаться доверительностью отношений. Алексеев никогда не отвечал на его агитационные послания, а его оценки внутреннего положения в стране, в частности роли социалистических партий и их влияния на настроения социальных низов, существенно расходились с гучковскими²⁹. Гучков и близкий ему по духу начальник дипломатической канцелярии Ставки Н. Базили были убеждены, что личностные особенности Алексева («недостаточно развитая воля, недостаточно боевой темперамент») в лучшем случае позволяли на него надеяться лишь как на «пассивного свидетеля» переворота³⁰.

Еще более темными картами в политическом пасьянсе Гучкова являлись командующие фронтами. Позднее он признавался, что постоянно ходил по лезвию ножа, вступая с ними в щекотливые разговоры о правящем режиме: любое неосторожное слово могло повлечь за собой его немедленный арест военными³¹. Словом, военное руководство не только не выражало готовности бежать за колесницей гражданских дельцов, но, по некоторым признакам, рассчитывало обойти ее на очередном выраже истории.

Догадки об опасной игре, затеянной некоторыми фигурами из Ставки, возникали и у министра внутренних дел А.Д. Протопопова, который до 1916 г. являлся членом Государственной думы и одним из участников Прогрессивного блока. Хорошо знавший думских деятелей министр был убежден, что кое-кому из них удалось войти в сговор с военными. С молчаливого одобрения своих гражданских контрагентов, генералы безбоязненно занялись вредительством монаршим интересам. В своей предсмертной записке, написанной уже в советской тюрьме, Протопопов прозрачно намекал на провокационную выходку генерала В.И. Гурко, который замещал Алексеева с ноября 1916 г. до середины января 1917 г. Речь шла о срыве царского предписания укрепить петроградский гарнизон. Вместо затребованных свыше четырех полков кавалерии Гурко прислал с фронта в столицу три экипажа матросов — военного элемента, наиболее податливого к революционной пропаганде³². У нас нет никаких очевидных доказательств координации действий генералов и питерских политиков — это предположение Протопопова не может быть подтверждено. Однако в остальном он был совершенно прав: фактический саботаж, к которому прибег Гурко, вызвал напряженность в отношениях царя со Ставкой. Испуганный и недоумевающий, Николай II 22 февраля ринулся в Могилев для того, чтобы на месте разрулить сложную ситуацию. С большой степенью вероятности можно предполагать, что фортель Гурко как раз и был нацелен на заманивание царя в Ставку. Не исключено, что в февральско-мартовские дни военные собственными силами попытались бы изменить государственный порядок, если бы не были упреждены Февральской революцией.

Контр-адмирал А.Д. Бубнов, находившийся в Ставке в непосредственной близости от команды Алексеева, указывал на фрондерские умонастроения, которые царили в этом кружке. Одним из главных консультантов и помощников при Алексееве состоял генерал В.Е. Борисов. В молодости он входил в революционные группы и едва избежал ареста. Несмотря на то что впоследствии он отошел от подпольной работы, его враждебное отношение к престолу не убавилось. По словам Бубнова, он никогда не являлся к царскому столу, к которому поочередно приглашались все члены Ставки. Alter ego Борисова был и другой помощник Алексеева — генерал Носков, который после Октябрьского переворота 1917 г. перешел на сторону большевиков³³. По-видимому, к этим деятелям по умонастроению был близок и новый квартирмейстер Ставки генерал М.С. Пустовойтенко, сменивший в июле 1916 г. на этом посту Ю.Н. Данилова. Что касается В.И. Гурко, назначенного царем по желанию Алексеева в период его болезни и.о. начальника штаба, то в военных кругах он слыл одним из самых горячих сторонников решительных политических действий. Бубнов полагал, что именно это обстоятельство и послужило причиной того, что Алексеев остановил на нем свой выбор³⁴. Итак, если даже принять за основу версию Гучкова и Базили о том, что Алексеев изначально не был склонен вести подрывную работу против николаевской монархии, то правомерно допустить изменение этой позиции под влиянием его ближайших партнеров и сотрудников.

Современные социальные психологи, изучающие процессы групповой динамики, фиксируют эффект групповой поляризации, иначе говоря, «усиление ранее существующих тенденций членов группы; смещение средней тенденции к своему полюсу»³⁵. Во многих случаях специалисты констатируют возрастающую склонность к риску, которую демонстрирует группа в результате обсуждения проблемы и проработки возможных решений³⁶. Продуктом этого процесса нередко является выбор агрессивной тактики, на которую индивиды в одиночку вряд ли бы смогли решиться³⁷. Думается, в этом контексте и должен быть осмыслен стиль высшего военного командования, который проступает в его действиях с момента отбытия Алексеева на лечение.

Во-первых, следует обратить внимание на извращение Гурко царского предписания об укреплении петроградского гарнизона, которое буквально вытолкнуло царя из столицы в тревожные дни февраля. Трудно себе представить, что Гурко — выдвиженец и доверенное лицо Алексеева — отважился бы на этот демарш без санкции своего шефа. Во-вторых, на не менее загадочное распоряжение самого Алексеева, сделанное в январе: выделение столичного района в особый округ с назначением во главе его генерала С.С. Хабалова. Контр-адмирал Бубнов усмотрел в этом решении явный просчет начальника штаба. По его понятиям, зная о неуравновешенности главного начальствующего лица над столичным порядком — министра Протопопова, он должен был направить в столицу сильную фигуру, способную взять на себя ответственность за безопасность ключевого звена тыла. Вместо того в придачу к Протопопову явился никому не известный и ничем себя не зарекомендовавший военный командир, который даже Протопопову показался не адекватным своей миссии. Во всяком случае, министр счел нужным доложить царю о своем несогласии с успокоительными заверениями Хабалова относительно готовности столичного военного контингента «исполнить свой долг» в случае обострения забастовочной борьбы и о технической невозможности пополнения столичного гарнизона за счет свежих войск с фронта³⁸. Трудно сказать, являлся ли Хабалов сознательным участником заговора Ставки или же был слепым орудием в руках Алексеева, двигавшего его, как пешку на шахматной доске. Вместе с тем вольная или невольная халатность Хабалова сыграла на руку антимонархическим силам, лишив верховную власть вооруженной защиты в самом эпицентре социального взрыва. В-третьих, следует обратить внимание и на отказ самого Алексеева выполнить требование командира гвардии генерала Безобразова о подкреплении столичного гарнизона гвардейскими частями. Интересно отметить, что Алексей мотивировал свое возражение точно такой же ссылкой на переполненность петроградских казарм, какую приводил и Хабалов³⁹. Бубнов был уверен, что для такого опытного и предусмотрительного военного администратора, как Алексей, подобное заявление было несостоятельной отговоркой. Однако, желая видеть эти поступки в более благоприят-

стойном свете, он объяснял их подготовкой высшего военного командования к весеннему наступлению на фронте. Отсюда, по его мнению, рождалось естественное побуждение удерживать наиболее боеспособные части на театре войсковых действий⁴⁰.

Но если некоторые военные деятели пытались оправдать тактику высших военных чинов и не хотели видеть в ней злого умысла, то гражданские дельцы, давно тихой сапой подбиравшиеся к государственному рулю, придерживались иного мнения и проявляли заметную нервозность. Любые предложения сосредоточить власть в руках военных, которые время от времени появлялись в правительственной среде, всякий раз наталкивались на упорное сопротивление думцев и близких к ним общественных деятелей. За время войны было уже похоронено несколько подобных проектов. В 1915 г. была решительно отклонена идея А.В. Кривошеина назначить военного министра А.А. Поливанова председателем Совета министров с самыми широкими полномочиями, а затем — утвердить его в особой должности «председательствующего в Совете министров» с сохранением портфеля военного министра⁴¹. Точно так же летом 1915 г. думские политики позаботились о том, чтобы вновь созданное Совещание по обороне не перевесило прочие учреждения: в этих видах они добились его разделения на четыре отдельных отраслевых совещания при четырех министрах⁴².

В июне 1916 г. думская общественность была взбудоражена слухами о притязаниях Алексеева на установление единой военной власти в тылу в целях объединения внутригосударственного управления и армейского снабжения. Такая власть наделялась правом приостанавливать постановления особых совещаний и Совета министров. Копия доклада с изложением данного плана через генерала А.А. Маниковского дошла до Родзянко. Председатель Государственной думы незамедлительно обратился к автору для выяснения подлинности запроса, а тот, в свою очередь, не стал отпираться. В воздухе по-настоящему запахло военной угрозой. По свидетельству П.Н. Милюкова, М.В. Родзянко, не мешкая, двинулся в Ставку, где проходило заседание Совета министров по данному вопросу, и с помощью «размашистой» аргументации постарался убедить аудиторию в нецелесообразности такого решения⁴³. Но еще больше думцев

повергло в уныние выступление в начале января 1917 г. перед парламентской аудиторией генерала А.М. Крымова. Бывший командующий Уссурийской конной дивизией, а затем 3-го конным корпусом и Дикой Туземной дивизией, Крымов был известен как сторонник оздоровления обстановки в стране посредством энергичного военного вмешательства⁴⁴. Не сообщив слушателям ничего нового по сравнению со своими прежними предложениями сместить негодного державного лидера, на этот раз он поразил их созревшей решимостью перейти от слов к делу⁴⁵. За плечами Крымова также отчетливо замаячил призрак военной диктатуры. А поскольку в этих кругах было давно решено, кто должен подхватить власть, выпавшую из рук императора, требовалось сыграть на опережение военных.

Идеальный шанс выключить политических конкурентов в лице военачальников предоставляли массовые беспорядки в Петрограде, развивавшиеся по восходящей линии с 23 февраля, и выход из повиновения властям петроградского гарнизона. Растерянность Протопопова и Хабалова, фактическая самоликвидация Совета министров во главе с Н.Д. Голицыным и удаленность Ставки от места событий позволяли думским деятелям невозбранно нагнетать алармистские настроения и все более и более грубо насаждать на верховную власть. Монопольное владение информационным ресурсом также давало думцам возможность манипулировать мнениями сил, которые являлись камнем преткновения на пути давно просчитанного передела власти. Оценивая отношения Родзянко и Алексеева в этот поистине судьбоносный момент истории, историки расходятся во мнениях. А.А. Искендеров выдвинул предположение, что Алексеев вместе с некоторыми близкими ему членами Ставки состоял в тайном союзе с либеральным политическим бомондом Петрограда⁴⁶. Г.З. Иоффе, напротив, думает, что начальник штаба был далек от каких-либо заговорщических устремлений и вплоть до вечера 28 февраля усердно трудился над планом усмирения питерских волнений. И только с конца 28 февраля под влиянием непреложного факта революции Ставка приняла неофициальное решение поддержать Временный комитет Государственной думы⁴⁷.

Однако картина развития событий, которая вырисовывает-

ся из показаний самих генералов, все же выглядела сложнее. Думается, Алексеев не кривил душой, когда впоследствии отрицал существование каких-либо предварительных договоренностей с деятелями Прогрессивного блока о совместных акциях. Полную неосведомленность военного командования об их готовности произвести пертурбации в системе власти невольно подчеркнул сам М.В. Родзянко своей крайне тенденциозной подачей новостей «силовикам». Коммуникационная линия, выстроенная председателем Государственной думы, с одной стороны, отражала плохо скрываемый страх перед возможной несговорчивостью военных. С другой стороны, стремление представить происходящие перемены в свете волеизъявления всего народа, а свою самодеятельность — в свете революционного избрания. Вразрез с действительным положением вещей Родзянко убеждал контрагентов из Ставки в полной подконтрольности обстановки органам власти, родившимся в революционном огне и пользующимся всеобщим признанием⁴⁸. П.Н. Милюков рассказывал, что М.В. Родзянко вплоть до 2 марта в телефонных разговорах с генералом Н.В. Рузским твердил, как заклинание, что «до сих пор верят только ему и исполняют только его предписания», хотя с глазу на глаз признавался коллегам, что «сам висит на волоске, власть ускользает у него из рук и он был вынужден ночью на 2-е назначить Временное правительство»⁴⁹.

Таким образом, помыслы и действия питерских политиков направлялись смешанными ощущениями — радостным предвкушением прихода к власти и опасениями, что этому могут воспротивиться военные лидеры. Худшие ожидания, связанные с военачальниками, диктовали многие поступки заглавных лиц Февральской революции, о чем впоследствии довольно откровенно поведали в своих позднейших воспоминаниях сами старожилы Таврического дворца. Неясная позиция вождей армии стала одной из основных причин, заставивших думцев пойти на гнилую сделку с представителями советской демократии. Передавая ход непростых переговоров с этими лидерами социальных низов, П.Н. Милюков признавался, что вплоть до конца 1 марта он и его коллеги по Прогрессивному блоку были вынуждены считаться с выдвинутыми ими условиями. В частности,

это касалось «неразоружения и невывода из Петрограда воинских частей, принимавших участие в революционном движении». В немалой степени это соглашательство обуславливалось тем, что обеим участвующим сторонам приходилось думать о весьма вероятной перспективе совместного отпора направленным в столицу «верным» частям гибнущего режима⁵⁰.

Что касается позиции самих военачальников, то у нас нет оснований для вывода о том, что за считанные дни питерского кризиса она сместилась от полюса противодействия к полюсу содействия революционным силам, как это представляет Г.З. Иоффе. Скорее следует говорить о коротком тайм-ауте, взятом М.В. Алексеевым для определения своего отношения к происходящему. 26 февраля, получив известия от Хабалова и Родзянко о беспорядках в столице, он с санкции Николая II распорядился выделить по одной бригаде пехоты с артиллерией и по одной бригаде кавалерии от Северного и Западного фронтов. Эти части планировались для движения на Петроград. 27 февраля после поступления очередной сводки тревожных новостей Алексеев по поручению государя начал готовить к отъезду в столицу отряд под командованием генерала Н.И. Иванова. В распоряжение последнего также передавался батальон георгиевских кавалеров. С формальной стороны Алексеев как будто бы принимал решения, адекватные его должности и отношениям к Верховному главнокомандующему. Однако при этом сам же затягивал с их исполнением. Позже генерал-квартирмейстер А.С. Лукомский свидетельствовал, что в Ставке отнюдь не спешили с отправкой войск Северного и Западного фронтов. Равным образом и наделенный диктаторскими полномочиями генерал Иванов был занят не столько подготовкой предстоящей операции, сколько закупкой в Могилеве продовольствия, предназначавшегося для его питерских знакомых⁵¹.

Заслуживает внимания и другой поступок военных, который сильно повлиял на композицию борющихся политических сил. 27 февраля Николай II принял решение срочно ехать в Царское Село. Однако в тот день отъезд не состоялся из-за настоячивых предупреждений генералов о том, что эта затея «может закончиться катастрофой»⁵². Между тем появление монарха вблизи столицы в момент, когда еще не откристаллизовались

институты нового политического строя и его главные действующие лица находились в «подвешенном» состоянии, могло поколебать ситуацию совсем не в выгодную для них сторону. Наоборот, отбытие царского поезда в направлении столицы, запоздавшее на сутки (состоялось 28 февраля), вместе с несуетным продвижением генерала Иванова с георгиевскими кавалерами и замедленным следованием воинских частей с фронта давали фору для организационного оформления революционных сил. Тот факт, что «из командировки генерала Иванова в Царское Село и Петроград с диктаторскими полномочиями ничего, кроме скандала, не получилось»⁵³, вряд ли может быть приписан простому стечению обстоятельств. Добравшись 1 марта до Царского Села, будущий «диктатор» вместо ожидаемой высадки, установления взаимодействия с местным гарнизоном и овладения подступами к столице предпочел закупорить себя с георгиевскими кавалерами в поезде. Дальше разложившиеся войска из окрестностей взяли эшелон в окружение, а brave генерал, сославшись на непреодолимые препятствия, продолжил путешествие в противоположном направлении от столицы⁵⁴. 2 марта по ходатайству Алексеева перед императором отряд Иванова был отозван в Могилев⁵⁵.

К ночи 1 марта и остальные части, прибывшие с фронта, были выведены из строя агитаторами и посланцами революционного воинства из центра. Под победные фанфары, с распущенными знаменами они далее продолжали свое шествие уже в качестве вооруженной опоры революции к Таврическому дворцу, где выслушивали приветственные речи членов Временного комитета Государственной думы и Исполкома Совета рабочих депутатов⁵⁶. Нежданно свалившийся на беспокойных думцев и их партнеров по Совету сюрприз в виде самоустранившегося от карательных функций войска, безусловно, создавал у них ощущение безопасности и развязывал руки для окончательного расчета с подгнившим монархическим строем. Однако не стоит забывать, что само это преобразование облика страны стало возможным за счет сознательной услуги, оказанной высшим военным командованием политическим группировкам, направлявшим революционные перемены в центре. Разумеется, Алексей вполне ясно представлял себе, что развитие событий происхо-

дило не по сценарию, предусмотренному военными. В равной мере он осознал призрачность полномочий М.В. Родзянко и слабую степень контроля над обстановкой в столице, невзирая на бодрые рапорты, получаемые оттуда. (Очковитирательство Родзянко он выводил на чистую воду в письме к генералу В.В. Сахарову⁵⁷.) Тем не менее после короткого раздумья он решил предоставить помощь набирающему обороты революционному процессу.

Судьба монархии была решена в ходе обмена мнениями между военными и гражданскими столичными властями. Последнее с 27 февраля представлял Временный комитет Государственной думы во главе с Родзянко, а со 2 марта и Временное правительство во главе со Львовым. Родзянко изначально действовал через командующего Северным фронтом генерала Н.В. Рузского, а затем — через Алексеева. 2 марта начальник штаба, ставший хозяином в Ставке после отъезда оттуда Николая II, запросил по телеграфу мнения командующих фронтами об отречении царя, затребованном новым политическим руководством страны. В высшей степени любопытен и механизм интриги, который позднее пытались замаскировать многие из ее участников. А.А. Брусилов в воспоминаниях, написанных уже в советский период, ненароком обмолвился о том, что в те дни он был вызван по прямому проводу Алексеевым и услышал о твердом намерении Временного правительства прекратить поставки боеприпасов и продовольствия в армию в случае отказа военного командования поддержать ультиматум царю. Поскольку армейские ресурсы были на исходе, он покорился нажиму⁵⁸. Тот же аргумент с отключением от источников питания был использован и для «выкручивания рук» В.В. Сахарову. В противном случае было бы трудно объяснить предельно взвинченный тон его ответного послания. Свое согласие на предложенную меру он предварял проклятием в адрес «шайки разбойников» и заявлением о том, что «армии фронта непоколебимо стали бы за своего державного вождя, если бы не были в руках тех же государственных преступников, захвативших в свои руки источники жизни армий»⁵⁹. Колеблющегося командующего Западным фронтом А.Е. Эверта повязали с помощью корпоративной солидарности. Он отложил свое окончательное

решение вплоть до получения ответов со стороны Брусилова и Рузского. Коллеги не заставили себя долго ждать, и Эверт примкнул к большинству⁶⁰. Единственным неприсоединившимся участником блицопроса остался командующий Черноморским флотом вице-адмирал А.В. Колчак. Однако его особое мнение уже не играло никакой роли.

Днем 2 марта перед царем лежало семь телеграмм с настоятельным пожеланием отречения в пользу сына: от командующего Северным фронтом Н.В. Рузского, Юго-Западного — А.А. Брусилова, Западного — А.Е. Эверта, Кавказским фронтом — великого князя Николая Николаевича, Румынского — В.В. Сахарова, от командующего Балтийским флотом — вице-адмирала А.И. Непенина и от самого Алексеева. Николай был вынужден подчиниться. Однако участникам сделки, очевидно, согласие царя показалось недостаточной гарантией успеха. Поэтому прибывшие поздним вечером 2 марта в Псков к царю эмиссары — член Государственного Совета А.И. Гучков и член Государственной думы В.В. Шульгин — застали там компанию из Рузского, начальника штаба армии Северного фронта Ю.Н. Данилова и некоторых других военных лиц. А посланцам из центра, приехавшим агитировать царя за отречение, Рузский безапелляционно заявил, что «это уже дело решенное»⁶¹. Итак, взяв на себя работу по сносу треснувшего режима, военные старались выполнить ее по-профессиональному четко и эффективно.

Однако армейское участие в реорганизации системы власти не закончилось 2 марта. Как известно, в середине дня 2 марта царь соглашался на отречение в пользу сына. Однако во второй половине дня, после приезда Гучкова и Шульгина, отказался от престола и за себя, и за сына, выдвинув в качестве преемника великого князя Михаила Александровича. Именно эта комбинация и была утверждена вечером того же дня. Но не прошло и суток, как бывший царь захотел вернуться к первоначальному варианту. Встретившись в Могилеве с Алексеевым, он попросил его отправить в Петроград телеграмму о своем согласии на воцарение сына. Алексеев молча взял у бывшего монарха листок бумаги и... положил его к себе в бумажник⁶². Примерно в то же время 3 марта под нажимом членов Временного комитета

Государственной думы и Временного правительства Михаил Александрович отказался от принятия короны. Эти решения предоставили полный политический суверенитет революционному лагерю, а отказ Алексеева вернуться к ситуации 2 марта, когда спасалась монархия, придал ускорение становлению нового политического порядка. Таким образом, к 3 марта военные по меньшей мере трижды вмешались в ход событий. Первый раз, когда экспедиция Иванова, по сути, устроила рельсовую сидячую забастовку в Царском Селе вместо стремительного продвижения к столице во спасение режима, а части с фронта примкнули к восставшему петроградскому гарнизону. Второй раз, когда стакнувшиеся главкомы разыграли переворот по типу классического «телеграфико» — согласованного вотума недоверия главе государства, вынесенного при помощи средств связи⁶³. В третий раз, когда Алексеев отказал Николаю II в последней попытке сохранить корону для сына.

Подобные эпизоды в военной социологии часто определяются как посреднический преторианизм. Согласно Э. Нордлингеру, преторианцы-посредники способствуют результативному выходу из политического конфликта тем, что выступают в качестве вето-фактора по отношению к одной из противоборствующих сторон⁶⁴. В.Р. Томпсон, говоря, по сути, о той же самой роли, выделяет несколько ее ипостасей. Это — редукционистские действия, нацеленные на уменьшение объема полномочий тех или иных институтов власти; препятствующие — направленные против пролонгации полномочий лица, утратившего свою легитимность; охранительные — помощь в пролонгации нелегитимного правления; реставрационные — попытка восстановления власти низложенного инкумбента режима; упреждающие — попытка предотвратить приход к власти той или иной политической силы⁶⁵. В соответствии с данной классификацией с конца февраля и до 1 марта военачальники, не желавшие защищать старый николаевский режим, по сути, совершили препятствующий переворот. 2 марта высшее военное руководство в форме «телеграфико» произвело редукционистский переворот. Намеченной целью было установление подлинно конституционной монархии с ответственным министерством. 3 марта уже при новом строе Алексеев, помешавший бывшему

царю вернуться к ситуации середины дня 2 марта, снова совершил препятствующий переворот. На этот раз в пользу новорожденных центров революционной власти.

Причины, побудившие генералов «сдать» царя революционным силам, разумеется, появились не вдруг. К началу войны российские кадровые офицеры и генералы могли предъявить бесконечный список корпоративных претензий к верховной власти. Вместе с тем вполне вероятно, что эти претензии и не вылились бы в акцию группового протеста, если бы армия не попала в штопор военных неудач. По справедливому замечанию Д.А. Ростоу, военные поражения предопределяют особенно острую восприимчивость профессиональных защитников отечества к недостаточному вниманию власти в отношении своих институциональных запросов. Так же естественно они склонны возлагать вину за провалы в вооруженной борьбе на власть. По словам Ростоу, в этих ситуациях военные нередко присоединяются к самой жесткой критике режима и вынашивают планы захвата власти⁶⁶.

В России командная верхушка еще до войны жаловалась на отсутствие функционального высшего Военного Совета по типу структур, которые были во многих воюющих странах. (По образному выражению А.А. Игнатьева, «в России такой орган представлял складочное место для престарелых и негодных для действительной службы генералов»⁶⁷.) С открытием боевых действий командующие фронтами стали роптать на то, что их мнения поступают наверх, пройдя негласную «цензуру» начальника штаба Верховного главнокомандующего генерала Н.Н. Янушкевича⁶⁸. Новую волну скрытого недовольства вызвало вступление в должность Верховного Николая II, которого военные обвиняли в отношении к войне как к смотру в высочайшем присутствии⁶⁹. Очередным ферментом брожения в высшей армейской среде явилось назначение в начале января 1917 г. нового военного министра М.А. Беляева по прозвищу «Мертвая голова» за склонность к бесплодному теоретизированию. Тогда же в его подчинение был передан Петроградский военный округ и Кронштадт, ранее находившиеся в ведении командующего Северным фронтом⁷⁰. По-видимому, нет ничего удивительного в том, что в наибольшей степени ущемленный данными перебро-

сками Рузский в связке в Алексеевым выступил застрельщиком военного переворота. Таким образом, «секционные» пожелания одной части военной верхушки, сумевшей перетянуть на свою сторону другую колеблющуюся часть, сыграли существенную роль в нагнетании политического кризиса. Его подоплека усматривается в цепной реакции событий. Прежде всего в корпоративном недовольстве кадрового костяка армии правительственной властью, обнаружившемся уже в начале войны. Такого недовольства было недостаточно для того, чтобы вывести из повиновения военную элиту, но достаточно для того, чтобы усилить ее возбудимость. На этом фоне все более четко обозначалась и склонность армейской верхушки искать виновников военных неудач в самом средоточии верховной власти. А произведенные той неловкие перестановки в военном командовании обеспечили задетых военачальников и конкретной мотивацией для вторжения в политическую сферу.

Весомым компонентом переходной политической ситуации стало тактическое объединение сил военачальников с думскими деятелями. Не планировавшееся военными изначально, оно выросло из непредвиденного забастовочно-митингового движения социальных низов и бунта петроградского гарнизона. Опредив исполнение сепаратных замыслов гражданских и военных оппозиционеров, это движение внесло коррективы в планы военных. Выбирая между двух «зол» — продлением николаевского правления и политическим реформированием на волне революционной активности масс, — военачальники предпочли последнее. В этом отношении российские военные повторили путь многих преторианцев за рубежом. Вместе с тем российская революция продемонстрировала и одну довольно редкую черту: военные посредники обычно не самоустраниются от политики после успешного переворота, а продолжают курировать политический процесс в качестве «стражей» или даже «правителей». (Разница между ними состоит в том, что «стражи» контролируют порядок «снаружи», а «правители» «изнутри», то есть доминируют в правительственном аппарате⁷¹.) Между тем российские военачальники были оттеснены от этих ролей нахрапистой политической групповщиной. В результате... к концу лета 1917 г. армия лежала практически в руинах. Начало невоспол-

нимым разрушениям, как известно, было положено изданием приснопамятного приказа №1. Вопрос о предпосылках его появления на свет является частью более общей проблемы о значении восстания петроградского гарнизона в событиях февраля — марта 1917 г.

8.2. Солдатский бунт

Историки, обращавшиеся к данному сюжету, предлагали самые разные интерпретации поведения солдатской массы. В.П. Булдаков, справедливо усмотрев в солдатском бунте главную пружину смены политической декорации, предположил, что в своих глубинных истоках он восходил к социально-бытовым условиям военной службы. Для вчерашних крестьян исполнение воинского долга было сродни полузабытой помещичьей барщине или отработкам. А введение сухого закона во время мировой войны и, соответственно, запрет пьяной гульбы на проводах солдат-новобранцев способствовали их еще большему отчуждению от системы. Таким же брожением, как и русские воины, по мнению Булдакова, были охвачены и непьющие мусульмане, для которых не было предусмотрено особого, соответствующего их конфессиональным нормам питания. Помимо того, военное командование оказалось не готово к парированию тех вызовов, которые исходили из глубины солдатской массы¹.

Японский исследователь Ц. Хасегава, солидаризируясь с В.П. Булдаковым в подходе к солдатскому бунту как к ключевому звену февральских событий, предположил, что революционизации солдат невольно способствовала нерадивость военных и гражданских властей города. Именно управленческая бездарность, нераспорядительность главных начальствующих лиц города выступили более весомой причиной разложения воинских частей, чем изначальная готовность солдат примкнуть к митингующим рабочим².

С точки зрения И.Л. Архипова, в революционных настроениях петроградского гарнизона была «виновата» чрезвычайно высокая скученность людей: в некоторых ротах числились свыше 1000 бойцов. Скучающие и озлобленные, они представляли

собой в высшей степени благодатную среду для антиправительственной агитации³. Без сомнения, эти и некоторые другие наблюдения историков над предпосылками брожения в столичном гарнизоне не лишены оснований. Тем не менее они не позволяют прояснить главный вопрос о побудительных мотивах перехода солдат на сторону восставших горожан и о механизме самого превращения вооруженной опоры правящего режима в его дестабилизирующую силу, а затем и в катализатор его распада.

Пожалуй, единственным исследованием, приближающим нас к пониманию этого вопроса, является статья английского историка Т. Ашворта с характерным названием «Солдаты не крестьяне: моральные основания Февральской революции 1917 г.». Построенная на основе социологических теорий формальных организаций, социального обмена и социальной солидарности, концепция Ашворта интересна своей нацеленностью на выявление мотивационной структуры солдатского восстания. По мнению автора, поступками солдат управляли солидаристские установки. Ощущения единства, братства, сотрудничества, вырабатываемые в солдатской общности с момента ее обоснования в казарме, как правило, всегда крепнут еще больше в обстановке драматической неопределенности на войне или внутригосударственной смуты. Автор отмечает, что именно военное товарищество являлось главной опорной схемой солдат, сбитых с толку петроградской заварухой. В свою очередь, важную роль в усвоении этой схемы сыграла позиционная окопная война, в которой мирные передышки все чаще и чаще заполнялись братанием противников. При этом солдаты учились проявлять повышенную чуткость к миролюбивым жестам неприятельской стороны и отвечать в той же плоскости⁴.

Оборонительная контркультура рядового состава, противопоставленная наступательным планам командования, давала эффективные средства управления ситуацией как на фронте, так и в тылу. В частности, отработанная на этой основе техника коллективного сопротивления и определяла поведенческие реакции петроградского гарнизона. Как замечает Ашворт, солдаты отзывались на восстание в столице не как разрозненные индивиды, а как члены ассоциированных групп, среди которых

лидерские позиции принадлежали ветеранскому меньшинству численностью примерно в 30 тыс. человек. Военный опыт ветеранов — участников оборонительной контркультуры — в обстановке гражданских неурядиц подвигал их к использованию тех же приемов, которые были испытаны на театре войны против продолжения вооруженной борьбы. Как и во время окопного сидения, в феврале нижние чины, направляемые ветеранами, стреляли поверх голов противника! Вразрез с марксистским взглядом на солдат как на переодетых в шинель крестьян, автор считает, что их поведение гораздо в большей степени было обусловлено военным этосом, нежели ценностями гражданских групп. В этом отношении, как подчеркивает историк, Февральская революция была заряжена не столько фактором накопившихся социальных противоречий, сколько фактором отношений внутри военного сообщества⁵.

Однако и эта версия, по-своему довольно убедительная, дает ключ к объяснению лишь отдельных фрагментов солдатского мятежа, а именно скорости, с которой распространялось решение о неподчинении приказам командиров, и того клише социального действия, которому следовали инициаторы данного неподчинения. Вместе с тем вопрос о том, почему на четвертый день городских беспорядков солдатская масса вышла из повиновения и ударилась в вольный разгул, остается подвешенным. Разумеется, аномическая активность, которую демонстрировали военные, возникла не на пустом месте. Она подлежит исследованию через призму девиантного поведения и социального насилия, как одного из его проявлений, которым посвящена огромная социологическая и психологическая литература.

Одна из наиболее распространенных теорий (Т. Гарр) делает упор на депривации: растущий дискомфорт, связанный с неудовлетворенностью основных жизненных запросов, создает почву для вспышек коллективной агрессии. Другой подход (Дж. Дэвис) ставит в центр внимания фактор фрустрации, то есть препятствия на пути удовлетворения потребностей людей. Такое препятствие воспринимается особенно остро, если до этого на протяжении относительно длительного периода времени положение людей неуклонно улучшалось, порождая тем самым соответствующую динамику ожиданий. Внезапно возни-

кающий разрыв между ожиданиями и реальной действительностью ощущается как невыносимый и делает большинство людей, испытывающих его, восприимчивыми к агрессивному подстрекательству⁶. Ценное уточнение в эту объяснительную схему внес канадский ученый А. Рапопорт. Как он установил, степень агрессивности индивидов, стремящихся к определенной цели, особенно возрастает в том случае, если фрустрирующий фактор появляется в момент, близкий к овладению предметом желаний⁷.

Некоторые исследователи полагают, что фрустрация является лишь одним из множества авersiveных (то есть воспринимаемых как неприятные) стимулов, который только создает готовность к агрессивным действиям. Для того, чтобы готовность переросла в конкретные действия, необходимы посылы к агрессии, провоцирующие чувства гнева и протеста⁸. В качестве таковых внешних детерминант могут выступать самые разнообразные условия среды, вызывающие негативно окрашенное эмоциональное возбуждение⁹. Наоборот, минимизации агрессивных выходов может способствовать индукция положительных эмоций, несовместимая с гневом и агрессией¹⁰. Предотвращению насилия может послужить и сублимация инстинктов нападения и разрушения или смещение их по цели¹¹. В этом плане А. Рапопорт считает возможным говорить об эффекте катарсиса, то есть психологической разрядки, которая наступает благодаря целенаправленным манипуляциям, замещающим реальное проявление насилия¹².

Наблюдения и выводы социальных психологов, исследовавших этиологию насилия, позволяют пролить свет на логику революционизации петроградского гарнизона. Составленный из второочередных и запасных частей воинский контингент рассматривал свое пребывание в столице под углом зрения неофициальной брони, освобождающей от отправки на театр боевых действий. Однако ощущение безопасности, успевшее глубоко прорасти в сознании питерских «служивых», было подорвано сообщениями, поступившими с конференции представителей стран Антанты, проходившей в ноябре 1916 г. в Шантийи, а затем — в Петрограде. (Напомним, что петроградская конференция завершилась 21 февраля 1917 г.) На очередь дня командо-

ванием была поставлена задача проведения кампании 1917 г. «с наивысшим напряжением и с применением всех наличных средств»¹³. России, как всегда, отводилась роль главного поставщика «пушечного мяса». Отсюда вытекала и необходимость срочного пополнения фронтовых группировок, так как предполагаемое наступление русских войск должно было начаться между 1 апреля и 1 мая¹⁴.

Тревожные слухи, нарушившие покой петроградского гарнизона, как раз и стали тем фрустрирующим фактором, который сформировал его агрессивные установки. Усилителем этой взрывной силы выступили вполне определенные средовые стрессоры. А именно переполненность рот, скученность проживания в казармах, атмосфера активного общественного отчуждения, в которую попали сосредоточенные в столице части. Терский казак Ф.И. Елисеев, прибывший в Петроград в феврале 1917 г. для службы в Собственном Конвое Его Величества, был задет враждебным отношением местной гражданской публики к человеку в военной форме. Оно резко контрастировало с тем уважением и почетом, к которому он привык у себя на малой родине. В Петрограде он с удивлением обнаружил, что униформа может при известных обстоятельствах стать своеобразной «каиновой» печатью. Так, увидев 24 февраля на Литейном большую толпу рабочих-манифестантов, он поинтересовался у проходившей мимо старухи-крестьянки, кто это такие, а в ответ услышал злобное шипение: «Как што это? Не видишь, што ли? Голодный народ вышел... Ты-то вон какой разодетый, ишь какой барин!»¹⁵

Роль этих приходящих обстоятельств может быть описана через методичную обработку сознания гарнизона в духе агрессивных посылов. Готовность гарнизона поднять бузу при малейшем качке ситуации понимали и в духе наивного психологизма интерпретировали некоторые из офицеров. Вот что буквально со слов одного из них записал член Прогрессивного блока В.В. Шульгин, остановившийся как-то понаблюдать за учениями солдат: «Вы не смотрите на то, что на каждой площади и улице они «печатают» на снегу. С этой стороны за них взялись. Но этим их не переделаешь. Вы знаете, что это за публика? Это маменькины сынки! Это все те, кто бесконечно уклонялся под раз-

ными предложениями от мобилизации. Им все равно, лишь бы не идти на войну. А кроме того, и объективные причины есть для неудовольствия. Люди страшно скучены. Койки помещаются в три ряда, одна над другой, как в вагоне третьего класса. Чуть что — они взбунтуются. Вот помяните мое слово»¹⁶.

К моменту возникновения городских беспорядков состояние петроградского гарнизона можно было бы охарактеризовать как напряженную систему, пребывающую в состоянии неустойчивого равновесия. Психологи, опирающиеся на теорию напряженных систем, акцентируют внимание на балансе побуждающих и сдерживающих сил внутри такой системы, что делает ее крайне неподатливой к каким-либо целенаправленным, пусть даже масштабным воздействиям извне¹⁷. С одной стороны, умонастроения солдат отличала созревшая готовность к сбрасыванию с себя оков дисциплинарных ограничений и к включению в анархическую вольницу. С другой — эта готовность еще удерживалась от выплескивания наружу за счет сохранения привычного распорядка городской жизни и монотонности ежедневных занятий казарменных обитателей. (Не случайно стороннему наблюдателю они напоминают заводных кукол, «приглаживающих снег деревянными автоматическими движениями»¹⁸.)

Нарушение равновесия подобной системы, по наблюдениям социальных психологов, может быть опосредовано случайным возмущающим обстоятельством. Оно служит высвобождающим стимулом, или канальным фактором, который дает ход движению с мощным выходом¹⁹. Известный американский психолог Д. Майерс полагает, что расторможению агрессивных реакций зачастую способствуют скандирующие выкрики толпы, бросание камней, пение хором, появление рядом раздражающих предметов или людей. В контексте интересующего нас феномена следует полагать, что наиболее сильным раскрепощающим стимулом для солдатской агрессии как раз и послужили митинговые страсти, закипавшие на улицах и площадях Петрограда. Шумные манифестации сыграли роль спускового крючка, выбросившего солдат на штурм действующего порядка.

Однако их действие не сводилось только к механическому подталкиванию собственно солдатского возмущения. Как это неоднократно замечалось социальными психологами, присутст-

вие других людей или массовидность вообще способно усилить возбуждение действующих лиц, обострив доминирующую реакцию в их настроениях²⁰. Индивиды, действующие на виду у зрителей, в состоянии возбуждения поневоле проявляют повышенную чуткость к их потенциальному мнению. Такой эффект соприсутствия характеризуется как «боязнь оценки»²¹. В конкретном случае петроградского гарнизона непроизвольное влияние гражданской толпы обуславливалось и тем, что она являлась для него «значимым другим», ответные реакции которого проигрываются в уме и принимаются во внимание при построении собственной линии поведения. Показательно, что эту зависимость от колонн манифестантов ощущали даже отряды казаков, являвшихся традиционным оплотом власти при подавлении мятежей и несанкционированных демонстраций. Ф.И. Елисеев запечатлел выразительную сценку, наблюдавшуюся им в начале 20-х чисел февраля: шагающая колонна рабочих-демонстрантов вздрогнула и попятилась назад, едва увидев налетевших из-за угла казаков. Однако те, казалось, были не меньше смущены этим столкновением лицом к лицу: заверив демонстрантов, что не станут их трогать, казаки быстро скрылись из виду²².

В свою очередь, массовидное «тело», наподобие толпы забастовщиков или погромщиков, может выступать и как канализирующий инструмент, и как социальная модель, задающая конкретный способ совершения действия, к которому потенциально готовы остальные участники ситуации²³. С этой точки зрения, протестные выступления горожан выполнили роль ледокола, прорубившего для петроградского гарнизона просеку в ледяных торосах официального режима и встроившего его в свой ряд. Итак, обобщая анализ, следует отметить мощное — усиливающее и формообразующее — воздействие взорвавшейся городской обстановки на те реакции, которые были запрограммированы всем состоянием петроградского гарнизона. Основу этих реакций составляли: внезапно опредметившееся беспокойство за безопасное существование, ощущение отверженности, рождавшееся из враждебности жителей столицы, не сублимированные агрессивные импульсы людей, которых длитель-

ное время натаскивали на участие в боевых операциях, неудобства казарменного быта.

Несмотря на прямую зависимость восстания нижних чинов от городских волнений, мы не можем сделать вывода об идейной близости или даже классовом сотрудничестве военных и рабочих. Увлеченное ритмикой и напором городских волнений, солдатское движение все же было подчинено собственной логике. В первую очередь в нем усматривается стремление к яростному высвобождению из-под прессинга военной машины, олицетворявшейся в командирах и военачальниках. Во вторую — защитная реакция замкнутой и заклеянной общественным неприятием общности, побуждавшая ее держаться обособленно и сплоченно вести свою отдельную войну против всех чужаков. Напомним фактологию солдатского движения.

26 февраля 4-я рота Павловского полка, выведенная командирами против беспокойного гражданского населения, отказалась занять место в оцеплении и открыла огонь по конной полиции. 27 февраля отложение войсковых частей от военного командования стало уже поистине массовым явлением. Утром восстала учебная команда Волынского полка. Вскоре к ней присоединились рота запасного батальона Преображенского полка, 6-й запасной саперный батальон, а затем и остальные роты преображенцев. Вслед поднялся и Литовский полк. Протестные действия солдат сопровождались убийствами офицеров: в Волынском полку был расстрелян штабс-капитан Лошкевич, в Литовском — два офицера и солдат, в Главном артиллерийском управлении, куда двинулись мятежные части, — заведующий складом генерал Матусов и начальник арсенала²⁴. К середине дня к зданию Таврического дворца явились 25 тыс. солдат вместе со студентами Военно-медицинской академии для того, чтобы выяснить отношение Государственной думы к разгоравшейся революции. Около двух часов дня войска взяли под свою охрану выходы, телефоны и телеграф Таврического, а преображенцы заняли караульное помещение дворца²⁵. К концу дня численность революционного войска достигла 67 тыс. человек. По свидетельству А. Ф. Керенского, к исходу 27 февраля вся столица находилась во власти восставших войск²⁶. Как вспоминал впоследствии другой крупный деятель Февраля П. Н. Милуков,

«Таврический дворец превратился в укрепленный лагерь. Солдаты привезли с собой ящики пулеметных лент, ручных гранат; кажется, даже втащили и пушку»²⁷.

28 февраля к думскому центру стали подтягиваться и прочие соединения: лейб-гренадеры, 9-й запасной кавалерийский полк, Михайловское артиллерийское училище. К этому времени преображенцы, находившиеся в авангарде восстания, успели посадить под арест своих офицеров²⁸. Вечером 28 февраля в Петроград стали прибывать и воинские части, расположенные в окрестностях, так что в общей сложности счет перешедших на революционные позиции солдат измерялся 127 тыс. человек.

1 марта к ним примкнули гвардейский экипаж, артиллеристы, пиротехники, минная подрывная рота Николаевской Военной академии, нижние чины жандармского дивизиона и второй Балтийский флотский экипаж. Прибывшие из Кронштадта матросы перед этим расправились с контр-адмиралом Р.Н. Виреном и несколькими старшими офицерами. А вооруженные силы революции увеличились до 170 тыс. человек. К ночи 2 марта произошла и смена караула у Таврического дворца: место преображенцев заняли волынцы, которые расположились снаружи по периметру здания с пулеметами и артиллерией²⁹.

Несмотря на столь стремительную концентрацию вокруг штаба революции в Таврическом, никакого политического самоопределения и тем более желания поступить под управление новообразованных органов революционной власти военные не выказывали. Напротив, отчетливо просматривалась тенденция утверждения явочным порядком революционного солдатского права. Так, невзирая на призывы думцев к взбунтовавшимся солдатам вернуться под начало своих офицеров, те предпочитали с ними «разбираться» по-своему. Например, освобожденные по настоянию Временного комитета Государственной думы офицеры-преображенцы снова попали под арест, едва только переступили порог казармы. Представителям Временного комитета и Военной комиссии приходилось объезжать казармы и уговаривать солдат отпустить своих плененных командиров³⁰. Проблема восстановления офицерской власти уже в первые дни революции обострилась до такой степени, что Военная комиссия была вынуждена созвать на совещание 1 и 2 марта всех

офицеров, находившихся в столице, для обсуждения мер по восстановлению военной дисциплины³¹.

Предметом отдельной озабоченности новоявленных лидеров государства становились самочинные погромы правительственных зданий, обыски, аресты и реквизиции, производимые солдатами. Некоторые из эпизодов этого самоуправства были чреваты международными скандалами. 28 февраля на имя председателя Государственной думы поступил письменный протест испанского посла. Ранним утром вооруженные солдаты ворвались в здание посольства и в поисках укрывающихся здесь лиц русской национальности перевернули вверх дном весь первый этаж: не обнаружив никого из «врагов народа», ретировались, пообещав, однако, скоро вернуться для осмотра второго и третьего этажей³². В тот же день было штурмом взято Николаевское кавалерийское училище, из которого было изъято все имеющееся в наличии оружие. Объектом нападения стал и Мариинский дворец, где располагался Совет министров. Некоторые из находившихся там членов старого правительства были схвачены, а остальные во главе с премьером Н.Д. Голицыным спешно переместились в здание Адмиралтейства. Однако и здесь они не нашли убежища, так как местная охрана из 800 штыков исчезла в неизвестном направлении³³. В течение 28 февраля и 1 марта в Таврический дворец доставлялись захваченные солдатами бывшие министры, полицейские чины и даже политики правого думского крыла. В числе прочих были привезены митрополит Петроградский и Ладожский Питирим и бывший военный министр генерал В.А. Сухомлинов, которого солдаты заставили снять с себя погоны³⁴.

Несмотря на отчаянные попытки новых руководителей страны остановить солдатское буйство и взять под свой контроль операции по экспроприации неугодных лиц, дело не налаживалось. Ни образованная в ночь на 28 февраля Военная комиссия Временного комитета, ни выдвинутые на улицы военные патрули, ни организующаяся городская милиция не управляли ситуацией. Солдатский карающий меч обрушивался направо и налево, порой вслепую выбирая очередные жертвы. Около трех часов дня 28 февраля Государственная дума была обстреляна пулеметами из здания, расположенного напротив. 14 полицей-

ских были расстреляны в близлежащем переулке. А около 6 часов утра 2 марта автомобиль нового военного министра А.И. Гучкова был обстрелян измайловцами, при этом смертельное ранение получил сидевший рядом с ним князь Вяземский³⁵.

Солдатские бесчинства обретали грозный размах и неукротимость по двум причинам. Первая была заключена в массовости, которая неизбежно снижает уровень личной ответственности каждого из действующих индивидов. Деиндивидуализация и анонимность высвобождают пространство для проявлений особой жестокости³⁶. Вторая причина крылась в особом типе конфликта, затянувшем солдат, — злокачественном и деструктивном. Такой конфликт децентрализован, то есть не сосредоточен на вопросах чести, репутации, имиджа и распределения ресурсов власти; по целям и мотивации он слабо рефлексивируется участниками. Последние «вовлечены в паутину защитных и наступательных маневров», и «процесс конфликта сам обеспечивает свое продолжение и развитие», — пишут американские психологи М. Дейч и С. Шикман³⁷. Ввиду этого поиск компромиссных решений на рациональной основе крайне затруднен.

Очевидно, именно в разрезе этой малодоступной регуляции конфликта на основе обоюдных уступок и соглашений сторон и следует осмысливать конечный выход Февральской революции, реализовавшийся в специфической системе властных отношений и приказе №1. Общая растерянность либерального и революционно-демократического лагерей перед натиском необузданных солдатских порывов обусловила их неорганический консенсус. Он отразился в создании политического двоецентриа, поддерживаемого с помощью координационных комиссий и некоторых других общих институций. Так, например, практически одновременно с Временным комитетом Государственной думы ночью 27 февраля была образована Военная комиссия, объявленная штабом революционной армии. В нее вошли как деятели праволиберального, так и левого крыла в лице некоторых членов Совета рабочих депутатов. Примечательно, что в быстро дифференцировавшейся Военной комиссии возник даже автомобильный отдел, ведавший нарядами всех конфискованных солдатами грузовых и легковых автомобилей³⁸.

Наглядным примером прямого воздействия солдатской вак-

ханалии на организационные решения творцов Февраля слухит инициатива А.Ф. Керенского по институционализации контактов между правыми и левыми. Именно Керенский, которому выпало ублажать стекавшуюся к Таврическому военно-революционную орду, раньше других осознал необходимость создания единого фронта для борьбы с неуправляемым солдатским движением. Эта идея, «словно вспышка молнии», озарила натруженный мозг трибуна революции бессонной ночью 1 марта, а наутро Керенский убеждал товарищей по Совету делегировать его в правительство на правах представителя от бесцензурной демократии³⁹. Невзирая на то, что левые изначально были против кооптации своих коллег в состав буржуазного правительства, это предложение было встречено с пониманием⁴⁰. В своих воспоминаниях П.Н. Милюков также указывал на несвободу правых и левых, оказавшихся в положении осадных сидельцев Таврического дворца, и общую встревоженность непредсказуемым поведением людей с ружьем как на весомую психологическую предпосылку их взаимного соглашения по поводу принципов политической деятельности⁴¹.

Эти принципы были изложены в «Декларации Временного правительства», подготовленной 2 марта и опубликованной 3 марта. Данный документ отражал пусть не очень прочный, однако тактически необходимый компромисс, заключенный в целях самозащиты от дальнейшей эскалации насилия со стороны социальных низов и прежде всего солдатских масс. Так, по настоянию правых из окончательного текста Декларации был изъят пункт о выборности офицеров, а в пункт о распространении на солдат гражданских свобод было добавлено уточнение: «в пределах, допускаемых военно-техническими условиями». В свою очередь, по желанию левых было включено заявление о неразоружении и невыводе из Петрограда «воинских частей, принимавших участие в революционных событиях»⁴². Легитимация этих принципов и взаимное признание двух органов революционной власти, совокупно отражавших самый широкий спектр социальных сил и политических течений, как бы воздвигали гигантский свинцовый саркофаг над ядерным реактором низового, главным образом солдатского беспредела. Новооформленная политическая и правовая надстройка снимала с

солдат присягу прежней власти и выдавала им отпущение всех совершенных «грехов». Кроме того, она обеспечивала рациональным обоснованием нерациональный взрыв первобытных инстинктов, сотрясавший город в течение нескольких дней. Она же превращала башибузуков в вооруженную опору нового строя, революцией «мобилизованную и призванную». А самое главное — сцепление двух центров силы создавало впечатление единого ансамбля репрезентативной власти и лишало всякого оправдания дальнейшее продолжение питерской катавасии.

По-видимому, в том же ключе — поиска организационного противовеса и способов структурирования солдатской отвязанной активности — должна быть рассмотрена и история приказа №1. Как известно, на его базе в армии вводились солдатские комитеты и выборы в Советы рабочих и солдатских депутатов. Оружие поступало в ведение комитетов. Отменялось вставание во фронт, одание чести, титулование офицеров, их обращение к солдатам на «ты»⁴³. Идейно подготовленный конференциями социалистических партий — Циммервальдовской 1915 г. и Кинтальской 1916 г., — он был составлен 1 марта и обнародован 2 марта, иными словами, в те дни, когда на карту была поставлена судьба новорожденных органов революционной власти. А.А. Искендеров обратил внимание на хронологическое совпадение двух фактов — составления приказа №1 и приближения к Петрограду карательного отряда под командованием генерала Н.И. Иванова⁴⁴. На основе этой логики рассуждений приказ №1 представляется мерой, намеченной испуганными деятелями революции для срыва карательной акции. Однако, с нашей точки зрения, задачи приказа, равно как и круг его потенциальных авторов, были много шире тех, которые с ним традиционно связываются.

Согласно общепринятой версии, документ был выработан комиссией солдат, которой руководил меньшевик, член Исполкома Петросовета Н.Д. Соколов⁴⁵. Вместе с тем представители левого фланга революционного движения отрицали этот факт⁴⁶. А.Ф. Керенский упоминал анонимную «группу». Именно она якобы с неким своекорыстным расчетом составила и разослала приказ, предназначавшийся только для столичного гарнизона, по всем воюющим фронтам⁴⁷. По-видимому, сложность опреде-

ления авторства, равно как и конкретного обстоятельства, обусловившего его появление на свет, совсем не случайна. Единственно возможная тактика политических действий в обстановке бесшабашного солдатского загула заключалась в осторожной попытке сбить его амплитуду и сузить ареал распространения. Собственно, на эту самую задачу — первичного упорядочения неупорядоченного военного насилия — и был ориентирован приснопамятный приказ. Самого пристального внимания заслуживает тот факт, что идея использования комитетов для канализации в более или менее социально безопасное русло солдатского ажиотажа была апробирована еще до 1 марта 1917 г. Подобные органы уже действовали на кораблях Черноморского флота и в отдельных воинских частях Северного фронта. Еще задолго до того, как комитетская демократия вышла на всероссийский уровень, ее опытный образец уже был внедрен командующим 4-й армией Румынского фронта генералом Цуриковым в подведомственных ему воинских соединениях. Локальный эксперимент дал вполне удовлетворительный результат: созданные с ведома и благословения военного начальства комитеты позволили предотвратить распад армии на данном участке боевых действий⁴⁸.

В опровержение довольно устойчивого представления о приказе №1 как о продукте коварного изобретательства «левых» следует заметить, что в стиле, сообразном с его буквой и духом, действовали и «правые». Назначенный 27 февраля Временным комитетом председатель Военной комиссии и военный комендант Петрограда полковник Б.А. Энгельгардт утром 1 марта от своего имени издал приказ, который запрещал офицерам изымать оружие у солдат, а офицерам, уличенным в таких акциях, угрожал смертной казнью⁴⁹. Короче говоря, и военный уполномоченный правых политических сил был более всего озабочен тем, как бы не спровоцировать новую вспышку солдатских безобразий. Теми же соображениями был продиктован отказ Энгельгардта 1 марта от издания каких-либо собственных распоряжений по петроградскому гарнизону. Все организационные и дисциплинарные решения он передавал на усмотрение военного министра, готовящегося вступить в должность⁵⁰. Стремление к умиротворению агрессивного солдатского боль-

шинства пронизывало и текст первого официального заявления Временного правительства. Подготовивший его авторский «коллектив» из представителей Временного комитета и Совета намеренно уклонился от декларирования своего отношения к войне, продемонстрировав еще раз категорическое нежелание «играть с огнем» солдатского мятежа. Кроме того, фактически под диктовку присутствовавших военных в текст Декларации был внесен пункт о созыве Учредительного собрания, которым раз и навсегда перечеркивалась политическая альтернатива, связанная с непрерывным царствованием Романовых⁵¹.

Суммируя все перипетии Февральской революции, необходимо еще раз подчеркнуть сильное прямое давление, которое оказало на ее исход бурное пробуждение армии. Вырвавшийся из казарм монстр солдатского мятежа на террористической основе принудил к капитуляции полномочных представителей старой власти в Петрограде и продиктовал ряд условий публичным политикам. Под действием военно-анархической угрозы совершилось форсированное становление новых органов революционной власти, а лидеры разных лагерей проявили гораздо большую склонность к компромиссу, чем то, в принципе, допускали их идеологические разногласия. В экстремальной обстановке по инициативе революционной демократии и с согласия либеральной демократии были приняты конъюнктурные решения, касавшиеся устройства политики и армии. Разрядив в краткосрочной перспективе социальную и политическую напряженность, в долгосрочной они создали препятствия для стабилизации политической обстановки и закрепления итогов демократических преобразований.

Для осмысления военного «вклада» в события Февральской революции остается разрешить еще один весьма важный вопрос: в какой мере окончательное падение старого строя было предreshено волнениями петроградского гарнизона, а в какой — отказной позицией всей армии? Более или менее определенный ответ на этот вопрос можно дать с помощью формулы дислояльности армии, которая суммарно выражает степень ее готовности поддержать противников режима.

Эту формулу впервые предложил и апробировал в своем исследовании английский социолог Д.Е. Руссель: $D \cdot T \cdot P$, где

D — степень дислояльности армии, T — ее временная продолжительность, P — удельный вес дислояльных войск за определенный промежуток времени. Измерительная шкала для каждой из переменных состоит из четырех пунктов.

Для D:

0 — обозначает добровольную и энергичную защиту режима;

1 — вялую защиту, например, со случаями складывания оружия и бегства;

2 — нейтральную позицию войска (чаще всего отказ стрелять в восставших);

3 — активную помощь повстанцам, например, в виде раздачи оружия, предупреждении о боевых планах командования;

4 — борьбу на стороне повстанческих сил.

Для T:

0 — означает либо отсутствие дислояльности на всем протяжении восстания, либо ее проявление на самом коротком из его временных отрезков (охватывающем не более 5% от общей временной продолжительности);

1 — дислояльность на конечном отрезке размером 6 — 25% от общей временной продолжительности;

2 — дислояльность примерно с середины восстания (с охватом 26—75% временного континуума);

3 — с начальных отрезков восстания (примерно начиная от 6—25% пройденного им временного пути)

4 — с исходной точки восстания (от 0 до 5% пройденного пути).

Для P:

0 — означает полное отсутствие дислояльности в войске;

0.5 — дислояльность со стороны некоторых частей (от 2 до 10% от общей численности);

1 — со стороны частей с удельным весом в 11—25%;

2 — со стороны частей с удельным весом в 26—50%;

3 — со стороны большинства войска — от 51 до 95% от общей численности;

4 — со стороны всего войска;

При различном поведении частей применяется более сложная формула:

$$(D_1 \cdot T_1 \cdot P_1) + (D_2 \cdot T_2 \cdot P_2) + (D_3 \cdot T_3 \cdot P_3)^{52}.$$

В расчете показателя дислояльности для российской армии были учтены следующие цифры: общая численность действующей армии, по данным военного министерства на 1 января 1917 г., — 6 млн. 845 тыс. человек⁵³; численность войск петроградского гарнизона (около 180 тыс. человек) вместе с примкнувшими к ним воинскими частями из окрестностей — 300 тыс. человек. Принимая во внимание подключение гарнизона к петроградским волнениям примерно с середины их временного распространения и удельный вес восставших в составе вооруженных сил (4.38%), окончательный показатель выглядит следующим образом:

$$4d \cdot 2t \cdot 0.5 p = 4$$

Таким образом, даже такой огрубленный расчет показывает, что фатальной неизбежности падения старого строя со стороны его вооруженной опоры не было. Для сравнения приведем примеры успешных восстаний, в которых негативное отношение войска к правящему режиму оказалось роковым фактором. Это мексиканская революция 1911 г., которая смела многолетнюю диктатуру Порфирио Диаса и привела к форсированной демократизации страны. Счет дислояльности армии в этих событиях составил 14 очков⁵⁴. В афганском восстании 1929 г., опрокинувшем слабое реформаторское правительство Аманулла-хана, дислояльность составила 18 очков⁵⁵. В бразильской революции 1930 г., приведшей к замене прогнившего режима В.Л. Перейры ди Соузы и его ставленника Ж. Престеса на правительство Ж.Д. Варгаса, дислояльность армии измерялась 24 очками⁵⁶. В китайской революции 1949 г., установившей власть коммунистов, дислояльность гоминьдановских войск режиму Чан Кай Ши достигала отметки 20 очков⁵⁷. В кубинской революции 1959 г., завершившейся падением режима Ф. Батисты и установлением власти революционного правительства во главе с Ф. Кастро, дислояльность войска оценивается в 10 очков⁵⁸.

Итак, российский случай был нетипичен для успешных восстаний, в которых войско, как правило, в значительных размерах проявляло неповиновение правящему режиму. Скорее по формальным критериям его можно отнести к промежуточному типу — между успешными восстаниями не с самым высоким

счетом дислояльности армии (Мексика, Куба) и безуспешными восстаниями, в которых счет дислояльности армии либо был на нуле, либо на самой низкой отметке. Это — Куба в 1912 г., Италия в 1914 г., Австрия и Испания в 1934 г.⁵⁹ Итак, обрушение российского монархического строя в первую очередь было связано с позицией арифметически малых величин: питерского гарнизона, совершившего свой яростно-спонтанный акт демилитаризации на фоне городских волнений, и во вторую очередь — с сознательным самоустранением высшего военного командования от ликвидации питерской заварушки. Эффект гипнотизирующего воздействия сугубо локальных столичных событий на остальную войсковую массу и гражданское население страны, несомненно, вытекал из самого политического дизайна, при котором все значимые функции и роли были сосредоточены именно в административном государственном центре. В этом отношении положение столицы идеально иллюстрировал тезис Л. Козера о «символических ключах» — ориентирах победы или поражения, которые всегда должны учитываться политиками. «Если столица государства олицетворяет для его граждан само существование нации, то падение столицы будет воспринято как поражение с последующими уступками победителю», — пишет социолог⁶⁰. Впрочем, при оперативных и профессиональных мерах командной верхушки армии столичные беспорядки могли быть подавлены, и распад старого режима приостановлен. Беда последнего монарха состояла в том, что к 1917 г. он уже не располагал поддержкой высшего генералитета.

Примечания к главе 8. I

¹ Булдаков В.П. Истоки и последствия солдатского бунта: к вопросу о психологии «человека с ружьем». // 1917 год в судьбах России и мира. Февральская революция. От новых источников к новому осмыслению. Под ред. П.В. Волобуева. М., 1997. С. 208.

² Аврех А.Я. Царизм накануне свержения. М., 1989. С. 193—194.

³ Иоффе Г.З. Революция и судьба Романовых. М., 1992. С. 51.

⁴ Искендеров А.А. Закат монархии. С. 542—543, 583.

⁵ Там же, с. 575.

⁶ Деникин А.И. Очерки русской смуты. Крушение власти и армии. Февраль—сентябрь 1917 г. М., 1991. С. 87.

- ⁷ Там же, с. 107.
- ⁸ Мельгунов С.П. На путях к дворцовому заговору (заговоры перед революцией 1917 г.). Париж, 1931. С. 97—98.
- ⁹ Лемке М.К. 250 дней в Царской Ставке (25 сентября 1915 — 2 июля 1916). Пг., 1920. С. 702.
- ¹⁰ Там же, с. 701.
- ¹¹ Мельгунов С.П. Указ. соч. С. 158—159.
- ¹² Там же, с. 107—109.
- ¹³ Там же, с. 145.
- ¹⁴ Там же, с. 153.
- ¹⁵ Там же, с. 154—155.
- ¹⁶ Архипов И.Л. Российская политическая элита в феврале 1917 г.: психология надежды и отчаяния. СПб., 2000. С. 100—101.
- ¹⁷ Февральская революция 1917. Сб. документов и материалов. Под ред. А.Д. Степанского. М., 1996. С. 139.
- ¹⁸ Деникин А.И. Указ. соч. С. 107.
- ¹⁹ Александр Иванович Гучков рассказывает. Воспоминания председателя Государственной думы и военного министра Временного правительства. М., 1993. С. 7.
- ²⁰ Там же, с. 8—9.
- ²¹ Мельгунов С.П. Указ. соч. С. 153.
- ²² Милюков П.Н. Февральские дни. // Февральская революция. Мемуары. Сост. С.А. Алексеев. М.—Л., 1926. С. 176.
- ²³ Воспоминания барона П.Н. Врангеля. Ч. 1. М., 1992. С. 7.
- ²⁴ Мельгунов С.П. Указ. соч. С. 94.
- ²⁵ Аврех А.Я. Указ. соч. С. 190.
- ²⁶ Поливанов А.А. Из дневников и воспоминаний по должности военного министра и его помощника. 1907—1916 гг. Под ред. А.М. Зайончковского. Т. 1. М., 1924. С. 211.
- ²⁷ Лемке М.К. Указ. соч. С. 702.
- ²⁸ Мельгунов С.П. Указ. соч. С. 95.
- ²⁹ Александр Иванович Гучков рассказывает. С. 30.
- ³⁰ Там же, с. 8—9.
- ³¹ Там же, с. 25.
- ³² Искендеров А.А. Указ. соч. С. 572.
- ³³ Бубнов А.Д. В царской Ставке. // Конец российской монархии. М., 2002. С. 82.
- ³⁴ Там же, с. 149.
- ³⁵ Майерс Д. Социальная психология. СПб., 1999. С. 377.
- ³⁶ Там же, с. 376.
- ³⁷ Там же, с. 379.
- ³⁸ Цит. по: Искендеров А.А. Указ. соч. С. 569.
- ³⁹ Бубнов А.Д. Указ. соч. С. 158.
- ⁴⁰ Там же, с. 158.
- ⁴¹ Поливанов А.А. Указ. соч. С. 223, 225.
- ⁴² Редигер А.Ф. История моей жизни. Т. II. М., 1999. С. 398—399.

- ⁴³ Миллюков П.Н. Воспоминания. М., 1991. С. 435.
- ⁴⁴ Воспоминания барона П.Н. Врангеля. С. 9.
- ⁴⁵ Родзянко М.В. Крушение империи. Харьков, 1990. С. 160, 200.
- ⁴⁶ Искендеров А.А. Указ. соч. С. 543, 583.
- ⁴⁷ Иоффе Г.З. Указ. соч. С. 43.
- ⁴⁸ Февральская революция 1917. С. 118, 136.
- ⁴⁹ Миллюков П.Н. Воспоминания. С. 456.
- ⁵⁰ Там же, с. 463.
- ⁵¹ Воспоминания генерала А.С. Лукомского. Т. 1. Берлин, 1922. С. 125.
- ⁵² Там же, с. 129.
- ⁵³ Там же, с. 132.
- ⁵⁴ Там же, с. 125, 132.
- ⁵⁵ Мировые войны XX века. Кн. 2. Первая мировая война. С. 285.
- ⁵⁶ Февральская революция 1917. С. 124.
- ⁵⁷ Мировые войны XX века. Кн. 2. С. 288.
- ⁵⁸ Брусилов А.А. Мои воспоминания. М., 1983. С. 232.
- ⁵⁹ Воспоминания генерала А.С. Лукомского. С. 138.
- ⁶⁰ Там же, с. 137.
- ⁶¹ Миллюков П.Н. Февральские дни. С. 184.
- ⁶² Деишкин А.И. Указ. соч. С. 54.
- ⁶³ Rustow D. A. World of Nations. Problems of Political Modernization. N.Y. Washington, 1967. P. 182.
- ⁶⁴ Nordlinger E. Op. cit. P. 23.
- ⁶⁵ Thompson W. R. Op. cit. Pp. 35—36.
- ⁶⁶ Rustow D. A. Op.cit. Pp. 176—177.
- ⁶⁷ Игнатьев А.А. Указ. соч. С. 524.
- ⁶⁸ Поливанов А.А. Указ. соч. С. 156.
- ⁶⁹ Там же, с. 174.
- ⁷⁰ Данилов Ю. На пути к крушению. Очерки последнего периода Российской монархии. М., 2000. С. 219—221.
- ⁷¹ Nordlinger E. Op. Cit. P. 23.

Примечания к главе 8.2

- ¹ Булдаков В.П. Указ. соч. С. 208—211.
- ² Хасегава Ц. Февральская революция: консенсус свидетелей? // 1917 год в судьбах России и мира. С. 100.
- ³ Архипов И.Л. Указ. соч. С. 86.
- ⁴ Aschworth T. Soldiers not Peasants: The Moral Basis of the February Revolution of 1917. | Sociology. The Journal of British Sociological Association. Vol. 5. 1999. №3. P. 463.
- ⁵ Ibid. P. 469.
- ⁶ Назаретян А.П. Политическая психология: предмет, концептуальные основания, задачи. // Общественные науки и современность. 1998. №1.
- ⁷ Rapoport A. Approaches to the Study of Conflict. N.Y., 1989.

- ⁸ Бэрн Р. Ричардсон Д. Агрессия. СПб., 1998. С. 131, 134.
- ⁹ Там же, с. 174.
- ¹⁰ Там же, с. 324.
- ¹¹ Calvert P. Politics, Power and Revolution. An Introduction to Comparative Politics. Norfolk, 1983. P. 145.
- ¹² Рапорпорт А. *Op. cit.*
- ¹³ Мировые войны XX в. Кн. 1. С. 202—203.
- ¹⁴ Там же, с. 203.
- ¹⁵ Елисеев Ф.И. С корниловским конным. М., 2003. С. 19.
- ¹⁶ Шульгин В. Последний очевидец. Мемуары. Очерки. Сны. М., 2002. С. 421.
- ¹⁷ Росс Л. Нисбетт Р. Человек и ситуация. Уроки социальной психологии. М., 1999. С. 52.
- ¹⁸ Шульгин В. Указ. соч. С. 421.
- ¹⁹ Росс Л. Нисбетт Р. Указ. соч. С. 100.
- ²⁰ Майерс Д. Социальная психология. СПб., 1999. С. 361.
- ²¹ Там же, с. 361—362.
- ²² Елисеев Ф. Указ. соч. С. 21.
- ²³ Росс Л. Нисбетт Р. Указ. соч. С. 356—357.
- ²⁴ Февральская революция 1917. С. 111.
- ²⁵ Там же, с. 112.
- ²⁶ Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. М., 1993. С. 139.
- ²⁷ Милюков П.Н. Воспоминания. С. 455.
- ²⁸ Февральская революция 1917. С. 121.
- ²⁹ Там же, с. 139.
- ³⁰ Там же, с. 121.
- ³¹ Там же, с. 123.
- ³² Там же, с. 121.
- ³³ Там же, с. 122.
- ³⁴ Там же, с. 122, 130.
- ³⁵ Там же, с. 135.
- ³⁶ Майерс Д. Указ. соч. С. 372.
- ³⁷ Дейч М., Шикман С.Ш. Конфликт: социально-психологическая перспектива. // Политическая психология: современные проблемы и подходы. М., 1988. С. 11—12.
- ³⁸ Февральская революция 1917. С. 118.
- ³⁹ Керенский А.Ф. Указ. соч. С. 145.
- ⁴⁰ Там же, с. 146.
- ⁴¹ Милюков П.Н. Воспоминания. С. 462.
- ⁴² Керенский А.Ф. Указ. соч. С. 147.
- ⁴³ Старцев В.И. Внутренняя политика Временного правительства. Л., 1980. С. 69—70.
- ⁴⁴ Искендеров А.А. Указ. соч. С. 583.
- ⁴⁵ Старцев В.И. Указ. соч. С. 69.
- ⁴⁶ Там же, с. 70.

⁴⁷ Керенский А.Ф. Указ. соч. С. 142.

⁴⁸ Там же, с. 143.

⁴⁹ Деникин А.И. Указ. соч. С. 344; Керенский А.Ф. Указ. соч. С. 142.

⁵⁰ Керенский А.Ф. Указ. соч. С. 142.

⁵¹ Февральская революция 1917. С. 139—140.

⁵² Russel D. E.H. *Rebellion, Revolution and Armed Force*. N.Y., San-Francisco, London, 1974. Pp. 72—75.

⁵³ Россия и СССР в войнах XX века. Статистическое исследование. М., 2001. С. 96.

⁵⁴ Russel D.E.H. *Op. cit.* P. 124.

⁵⁵ *Ibid.* P. 96.

⁵⁶ *Ibid.* P. 107.

⁵⁷ *Ibid.* P. 115.

⁵⁸ *Ibid.* P. 120.

⁵⁹ *Ibid.* P. 143.

⁶⁰ Козер Л. Указ. соч. С. 192.

Глава 9

ШАГИ КОМАНДОРА

9.1. Упущенные шансы и роковые обстоятельства в деле генерала Л.Г. Корнилова

«Корниловский мятеж» не являлся активно изучаемой темой советской исторической науки. Ему было отведено место малозначительного эпизода в предыстории победы большевизма. Соответственно заостренная советской исторической наукой дилемма: Корнилов или Ленин — была лишена всякой дискуссионной подоплеки. По справедливому замечанию О.К. Иванцовой — автора вступительного очерка к сборнику документов «Дело генерала Л.Г. Корнилова» — к главковерху русской армии оказался надолго прикреплен ярлык «мятежника» и «контрреволюционера»¹.

Несмотря на отказ авторов перестроечного и постсоветского времени от этих клишированных оценок, изучение корниловской тематики по инерции продолжалось на том же проблемном поле, что и в советское время. Если советская историография сделала акцент на контрреволюционном замысле генералов, то постсоветская сосредоточилась на вопросе о том, существовал ли отдельный, не связанный с А.Ф. Керенским и другими членами Временного правительства заговор Ставки во главе с Корниловым. Если советская историография объясняла провал корниловского выступления испугом и предательством Керенского, то постсоветская попыталась развить эту линию, концентрируясь на мелких и мельчайших нюансах взаимоотношений гражданского и военного лидеров государства. Такой подход характеризует ряд обстоятельных работ, включая и монографии признанного знатока проблемы Г.З. Иоффе². В работах западных авторов, посвященных русской революции 1917 г. и ее главнейшим деятелям, в принципе доминирует тот же лич-

ностно-субъективный уклон: перипетии корниловской попытки снова преподносятся в разрезе столкновения амбиций двух лидеров. Это относится к книгам Г.М. Каткова, А. Рабиновича. Э. Каррер д'Анкос³.

Не отрицая правомерности такого взгляда на вещи, следует выделить гораздо более широкий комплекс вопросов, возникающих при обращении к данному сюжету. Прежде всего это конкуренция программ стратегического развития стран, стоявших за фигурами главных участников августовской драмы. С учетом специфического интереса к военному участию в политике переходного периода необходимо представить себе ту перспективу, которая крылась в корниловском политическом вмешательстве, пусть даже несостоявшемся. Не менее существенным аспектом, чем межличностные отношения Корнилова и Керенского, являются структурные условия переходного порядка, наложившие сильный отпечаток на стиль их взаимодействий. В этой же связи вполне уместна и постановка вопроса об адекватности таким условиям тактики, избранной Корниловым. В продолжение темы стоит задаться и вопросом о том, в какой же технике исполнения могла увенчаться успехом акция главноверха по оздоровлению страны и армии. Не следует упускать из виду и то, что инициативы военного и гражданского руководства послефевральского периода развивались в определенном контексте военно-гражданских отношений. «Пробудившаяся» к политической жизни армия в лице ее командной верхушки была одним из важнейших факторов, с которым приходилось считаться и соотносить свои шаги политическим деятелям. Отсюда, естественно, вырастала проблема допустимых условий и пределов сотрудничества, которые в тандеме Корнилова и Керенского определяли позицию каждой из сторон.

Основной источник — материалы следственного дела Корнилова, аккумулировавшие в себе свидетельские показания многочисленных лиц, прямо или косвенно вовлеченных в события конца августа, — не дает прямого ответа на поставленные вопросы. Задача, стоявшая перед следственной комиссией, — распутать клубок сложных взаимоотношений Корнилова и Керенского, определила собой и направленность всех показаний на установление многочисленных подробностей в развитии

конфликта министра-председателя и главковерха. Тем не менее даже в этой сугубо хроникально-пестрой картине отчетливо вырисовываются несколько оценочных позиций. Остановимся на них.

Позиция первая. Она представлена в показаниях самого Корнилова. Главковерх не скрывал частых недоразумений и стычек, которые возникали с гражданским руководством страны в связи с его отстаиванием ответственных кадровых назначений и перестановок в армии, восстановления дисциплинарной власти командиров и реорганизации на военной основе тылового хозяйства⁴. Тем не менее он был убежден, что разногласия между Ставкой и правительством были преодолены в ходе консультаций с главноуправляющим военного министерства Б.В. Савинковым и военным комиссаром М.М. Филоненко 24—25 августа⁵. Более того, Корнилов рассматривал договоренность о движении войск на Петроград для подавления большевистского путча под углом зрения своего прочного союза, заключенного с Временным правительством. В том же разрезе — подтверждения и укрепления этого союза — он оценивал встречу и переговоры с В.Н. Львовым⁶. Передавая через Львова приглашение Керенскому приехать в Ставку, он свято верил в то, что соглашение с министром-председателем по поводу совместной реорганизации в системе власти у него практически лежит «в кармане»⁷. Неожиданную отставку, полученную им от Керенского утром 27 августа, Корнилов считал результатом происков безответственных экстремистских элементов, использовавших свое влияние на министра-председателя. А собственный отказ подчиниться приказу о сдаче полномочий и прекращении похода на Петроград мотивировал озабоченностью судьбами страны и ранее заключенной договоренностью с Керенским. Однако, как показывал главковерх, сразу после получения известия о смерти Крымова он принял меры к безболезненной и бескровной ликвидации последствий своего столкновения с Керенским⁸.

Продолжением этой позиции являлись и показания генералов, принявших сторону Корнилова. Одни из них более открыто, другие более завуалированно оценивали действия Керенского как грандиозную провокацию, направленную на полное выключение армейских патриотов из процесса политического

урегулирования. С точки зрения начальника штаба Верховного Главнокомандующего М.В. Алексева (назначенного на эту должность 30 августа), 26 и 27 августа Корнилов передвигал воинские части в сторону Петрограда в строгом соответствии с волей министра-председателя. Срыв операции и оголенное объявление его изменником родины Алексеев приписывал злему умыслу некоторых членов правительства (Н.В. Некрасова и самого Керенского). По сути, Алексеев обвинял Керенского в том, что, исходя из ложных страхов перед некими тайными замыслами Корнилова, тот подорвал и без того шаткие устои армии. В частности, позволил Советам довести до полного разложения конные части, а затем без всякой нужды 31 августа направил в Могилев против Ставки войска под командованием полковника Короткова и генерала Верховского. При этом в нарушение военной субординации он вывел своих посланцев из подчинения старшего в Ставке — самого Алексева — и внес раскол в армейскую верхушку⁹.

Генерал А.С. Лукомский, служивший при Корнилове начальником штаба, давал подробные показания по позициям, согласованным между Корниловым и представителями Керенского. Генерал докладывал об утверждении этими лицами плана образования отдельной армии для обороны подступов к Петрограду и объявления в городе военного положения на случай большевистского путча. (Лукомский приводил даже реплику начальника кабинета военного министра полковника Барановского: «Надо ударить так, чтобы это отозвалось во всей России»¹⁰.) Таким образом, и этот свидетель подтверждал полное единодушие правительства и Ставки в отношении ближайших мер и подчеркивал абсолютное алиби Корнилова по всем пунктам договоренностей с правительством, включая назначение и отправку к столице во главе Особой армии генерала А.М. Крымова¹¹. Причину конфликта между главковерхом и министром-председателем он относил к разнотечению слова «диктатура»: если первый в него вкладывал смысл, не противоречащий интересам правительства, — установление коллективного органа с участием военных и гражданских политиков, то второй — понял его в смысле исключительных притязаний главковерха на единоличную власть¹². Так же, как и многие генералы Став-

ки, Лукомский был убежден, что его шеф пал жертвой ловко подстроенной интриги. Между строк своих показаний он проводил мысль о том, что сведения о готовящемся большевистском выступлении, мотивировавшие корниловский поход, были умело вброшенной дезинформацией для последующей дискредитации армейской верхушки¹³. В воспоминаниях, написанных уже в эмиграции, Лукомский высказывал несколько другую догадку: слух о приближающемся к Питеру эшелоне войск заставил, во-первых, большевиков отложить восстание, а во-вторых, опираясь на Совет, подвигнуть Керенского к «сдаче» своего военного союзника революционным силам¹⁴.

Еще более колоритные подробности в интерпретацию событий от лица сочувствующих Корнилову военных внес его ординарец и «золотое перо» В.С. Завойко. По его представлениям, антикорниловская кампания проявилась уже на Московском совещании, когда прибывшего 13 августа генерала враждебные силы попытались оттеснить от широкой общественности и взяли под пристальное наблюдение его встречи и перемещения по городу¹⁵. Продолжением этой линии стало и его посещение 25 августа порученцем Керенского — В.Н. Львовым. Завойко был уверен, что тот исполнял хорошо поставленную и отрепетированную роль. Выступая от имени Керенского, он предложил Корнилову высказаться в пользу одного из трех вариантов реконструкции власти: учреждение Корниловым нового кабинета министров без участия Керенского; учреждение нового кабинета с участием Керенского на второстепенной должности; установление единоличной диктатуры Корнилова. Подстрекательский характер миссии Львова, по мнению Завойко, проявился во всяческом побуждении главковерха согласиться на третий вариант¹⁶. Тем не менее тот не пошел на поводу у своего гостя, а 25—26 августа совместно с представителем центральной власти М. Филоненко составил проект установления коллективной диктатуры в лице Совета обороны, в котором должности председателя Совета министров и главковерха объединил бы в своих руках Корнилов, а Керенский стал бы заместителем председателя¹⁷. Иными словами, и этот свидетель целиком настаивал на том, что в своих поступках Корнилов ни на градус не отклонялся от курса, поддержанного самим Керенским. А все

предъявленные ему обвинения расценивал как поклеп, возведенный министром-председателем в личных корыстных видах.

Позиция вторая. Ее изложили военный комиссар М.М. Филоненко и главноуправляющий военным министерством Б.В. Савинков. Эти деятели, по своему формальному положению входившие в правительственные структуры, выполняли функции связных между правительством и Ставкой. Несмотря на то что в конфликте правительства и Ставки они были на стороне правительства, некоторые члены кабинета Керенского, например Н.В. Некрасов, подозревали их в солидарности с «мятежным» главковерхом¹⁸.

В своих показаниях Савинков излагал существенно более широкую платформу компромисса, выработанного с Корниловым, чем это признавали генералы. В частности, он рассказывал, что Корнилов дал согласие на выделение Петрограда из зоны действий командующего Петроградским военным округом и оставление его под контролем Временного правительства. Далее он передавал и готовность Корнилова на передачу Политического отдела Ставки под контроль Филоненко, что запрашивало правительство. Кроме того, главковерх обещал перевести из Ставки в Москву и аппарат Союза офицеров, который до этого времени располагался в Могилеве и пользовался техническими средствами штаба. Кроме того, Корнилов дал слово не назначать генерала Крымова, которому не доверяло правительство, командиром конного корпуса, предназначенного для похода на столицу¹⁹.

Одновременно Савинков сообщал, что даже после плодотворных переговоров с Корниловым он покидал Ставку с тяжелым сердцем, так как в отношениях с ней оставалась большая доза непереломленного взаимного недоверия. На обратном пути в Петроград он получил нечаянное подтверждение своим тревожным догадкам. Встретившийся ему в дороге комиссар 8-й армии Вендягольский поделился своими подозрениями о вероятности самочинных политических действий Ставки и даже предложил на этот случай использовать против нее лояльную правительству 8-ю армию²⁰. По мнению Савинкова, назначив Крымова во главе конных частей и затем — после получения телеграммы от Керенского — задержав в Ставке в качестве

заложника Филоненко, Корнилов крайне затруднил мирное исчерпание конфликта.

Близкую точку зрения в своих показаниях развивал и М.М. Филоненко. Он подчеркивал, что Корнилов не торопился с выполнением некоторых взятых на себя обязательств перед правительством. В частности, даже 26 августа, когда к Петрограду уже двигался Крымов, главковерх еще не удосужился проконтролировать отъезд из Ставки Главного комитета Союза офицеров²¹. Вместе с тем оба «связных» — Савинков и Филоненко — в общем-то, не отрицали и объективных оснований для недоверия Корнилова к правительству: по их сведениям, в конце июля — начале августа Керенский был уже готов дать отставку Корнилову с тем, чтобы заместить его либо Алексеевым, либо самим собой²².

Позиция третья противников Корнилова, которая представлена прежде всего в показаниях Керенского. Министр-председатель упоминал о нескольких отступлениях Корнилова от совместно разработанного плана действий. По его словам, признавая экстерриториальность Петрограда в течение всего времени нахождения там правительства, Корнилов грубо нарушил это условие: генерал Крымов имел распоряжение главковерха объявить город на осадном положении, поделить всю его территорию между военными комендатурами и произвести там зачистку²³. Далее Корнилов оставил в своем подчинении 3-й конный корпус, в то время как, по мнению Керенского, тот должен был поступить в распоряжение Временного правительства. Кроме того, Корнилов не выполнил данного им обещания не ставить Крымова во главе похода. Между тем именно этот генерал, который указом Керенского был ранее назначен командующим 11-й армией и, по его понятиям, должен был находиться вдали от места августовских событий, неожиданно оказался во главе неизвестной питерским официальным лицам Особой армии. Отдельный пункт обвинений касался Туземной дивизии, которая опять-таки без ведома правительства была включена в состав войска²⁴. По сведениям Керенского, действия Крымова и его ударной силы — Туземной дивизии — должны были поддержать в Петрограде заранее подготовленные офицеры и учащиеся некоторых военных училищ²⁵.

Несмотря на множественность приведенных претензий, Керенский, тем не менее, строил свое обвинительное заключение на иных аргументах. Как юрист, он, безусловно, отдавал себе отчет в слабой доказательной силе тех фактов, которыми располагал. Попросту говоря, их было трудно «пришить к делу». Собственно, единственной уликой против Корнилова являлось только назначение неугодного Крымова. Впрочем, у главноверха была возможность дезавуировать и ее: 24 августа Корнилов отдал распоряжение командующему 1-й кубанской казачьей дивизией П.Н. Краснову принять командование 3-м конным корпусом²⁶. 29 августа он уже находится среди вверенного ему соединения, в то время как Крымов стоял во главе Особой армии. Таким образом, пусть и с некоторым опозданием, формально Корнилов выполнил и условие об альтернативной Крымову фигуре командующего 3-м конным корпусом.

Все остальные вменяемые ему преступления, по сути, оставались преступлениями «голого умысла». Это со всей очевидностью доказывала и позиция военных на следственных разбирательствах, позволявшая им достаточно уверенно отводить все предъявленные обвинения. Для мотивации своего приказа о смещении Корнилова и его объявления изменником министр-председатель остро нуждался в более весомом доводе, чем непроверенные подозрения, тем более что главный свидетель обвинения покончил с собой 31 августа. Эту роль недостающего звена в системе обвинений министра-председателя был призван сыграть В.Н. Львов.

Согласно версии Керенского, бывший обер-прокурор Синода, взявший на себя роль доброхотного посредника между Ставкой и правительством, 26 августа привез ему ультиматум главноверха. В нем значились три требования: объявить столицу на военном положении; передать всю власть, военную и гражданскую, в руки Верховного главнокомандующего; дать отставку всем нынешним министрам, не исключая и министра-председателя, и передать временное управление министерствами товарищам министров впредь до образования кабинета Верховного главнокомандующего²⁷. В нем Керенскому была уготована либо роль министра юстиции, либо заместителя председателя. Как указывал Керенский, Львов настаивал на его «немедлен-

ном отъезде в Ставку для того, чтобы произошла легальная передача власти, чтобы не было захвата, а чтобы это все-таки было формальное постановление»²⁸.

Итак, с подачи Керенского, Львов превращался в одну из центральных фигур расследования. Четырежды допрошенный следователями, он менял свои показания. На трех первых допросах (27, 30 августа и 14 сентября) он вполне добросовестно повторял версию, изложенную Керенским, и даже заявлял, что Корнилов угрожал расправой гражданским лидерам, если те не удовлетворят его требования. По поводу включения кандидатуры Керенского в список будущего кабинета Львов приводил слова Завойко: «Это нужно для солдат, мы делаем это для видимости, а через десять дней мы все равно с ним разделаемся»²⁹. На этих допросах Львов уверял, что свою челночную дипломатию осуществлял по велению собственного сердца и волей пославших его анонимных товарищей³⁰, все предложения Корнилова он передал Керенскому в устной форме и лишь для удобопонятности их членам Временного правительства записал на бумаге³¹.

Однако на допросе от 5 октября Львов отрекался от своих предшествующих показаний и рисовал ужасающую картину насилия, учиненного над ним министром-председателем. На этот раз он свидетельствовал, что ездил в Ставку по поручению Керенского, который дал ему задание представить от Ставки предложения «о реконструкции власти в смысле ее усиления». Никакого ультиматума от Корнилова он не привозил, главковерх лишь высказывался за установление «единоличной власти с широкими полномочиями, однако не предрешая, кому она должна принадлежать». Львов сообщал, что запись пресловутых «требований» главковерха на бумаге сделал впопыхах под грубым и торопливым давлением Керенского, не вникая в содержание написанного, а затем подвергся аресту³². В свете пересмотренных показаний Львова выходило, что и его визит в Ставку 25 августа, и возвращение оттуда 26 августа с богатым «уловом» в виде компромата на Корнилова являлись последовательными этапами в реализации интриги, направленной против главковерха. Расхождения между показаниями от августа — сентября и октября подводят к вопросу о том, когда же

именно Львов был искренен в своем рассказе? С учетом того, что каких-либо особых оснований для изменения своей позиции в начале октября у Львова не было, вернее всего предположить, что язык у него «развязывался» по мере того, как описанные события отодвигались в глубь истории, утрачивали свою актуальность, заслоняясь ближней перспективой «пришествия» большевиков. Правомерно допустить, что в период краткого триумфа Керенского в конце августа — начале сентября Львов был вынужден держать ответ перед комиссией с оглядкой на Керенского; в октябре, когда тот стремительно терял остатки власти, такая вынужденная самоцензура над ним уже не довлела, и он более откровенно делился увиденным и пережитым.

Одиссея Львова, рассказанная им самим, позволяет посмотреть под новым углом зрения на тот поворот сотрудничества правительства со Ставкой, который осуществлялся в середине 20-х чисел августа. В некоторых исторических исследованиях выдвижение Львова на авансцену политики преподносится как случайность, которая внесла трагическое недоразумение в диалог премьера с главковерхом и сорвала согласованный план введения военного положения в столице³³. Однако «львовский сюжет» дает основания и для другой трактовки событий. Новые детали, всплывшие 5 октября, позволяют взглянуть на фигуру Львова как на «подсадную утку», готовившуюся Керенским заранее, осознанно и с вполне определенными задачами.

Возможно, ключ к разъяснению той игры, которую вел Керенский при помощи Львова, кроется в показаниях его сотрудников. Напомним, что М.М. Филоненко рассказывал, что еще перед Государственным совещанием у министра-председателя был план замещения Корнилова: для зондирования отношения военных к потенциальной смене главковерха в начале августа в Ставку был командирован полковник Барановский³⁴. А Н.В. Некрасов сообщал, что весь август, вплоть до рокового 27 числа, Временное правительство провело «в постоянном ожидании кризиса со Ставкой»³⁵. Интересную подробность приводил в своих показаниях и офицер К.О. Данилевич, сопровождавший Барановского во время визита в Ставку уже 24 августа: дорогою Барановский высказывал серьезное сомнение в том, что договоренность правительства с генералами о введении войск в

Петроград обуславливалась обеспокоенностью правительства большевистским путчем³⁶. Однако каковы были истинные мотивы этой договоренности, Барановский умалчивал. Кстати, и сам Керенский в своих показаниях следствию темнил, говоря о назначении призванных в Петроград частей: «Для чего понадобились эти войска, определенно не уяснялось. Вообще на случай для того, чтобы правительство имело опору, неизвестно было, в какую сторону надо было бы их употребить, и я не думаю, чтобы их нужно было употребить»³⁷.

Потайную линию Керенского в его контактах с Корниловым подмечал и «революционный» командир, командующий Московским военным округом А.И. Верховский. Раздраженный острыми выступлениями Корнилова и Каледина на Московском совещании, по окончании он поинтересовался у Керенского, почему тот не дал отпора строптивым генералам. В ответ министр-председатель многозначительно заметил, что у него имеется «другой план»³⁸. Следует думать, что именно этот план и начал осуществляться 26 августа, когда в расставленных им сетях беспомощно забарахтался ни о чем не подозревавший Львов.

Приведенные факты легко вписываются в картину дьявольской провокации с predetermined концовкой, на которой строили отчет о событиях конца августа военные и сам Корнилов. Однако это простое объяснение не покрывает всего объема странностей в отношениях военного и гражданского лидеров конца августа — начала сентября. В частности, при помощи него трудно осмыслить факт, на который ссылался сам Корнилов, а именно — снятие 30 августа правительственного моратория на отдачу им приказов по армии и беспрепятственное отправвление им своих должностных обязанностей вплоть до вечера 1 сентября, несмотря на «разжалование» 27 августа³⁹. Та же нелогичность поведения Керенского в отношении заклеяменного контрреволюционера и политического противника бросалась в глаза и журналистам⁴⁰. Еще один казус неумышленно зафиксировал меньшевик Богданов в докладе от 31 августа Петросовету, посвященном перипетиям революционной борьбы с силами «реакции». По его данным, по ходу развития конфликта между главноверхом и министром-председателем возник щекотливый мо-

мент, когда «посредники вроде Милюкова и Алексеева» почти добились примирения Керенского и Корнилова. Докладчик констатировал, что «...Временное правительство заколебалось». (Правда, это колебание было мгновенно распознано и пресечено недремлющими союзниками «слева»⁴¹.) Еще один штрих к неоднозначному подходу Керенского к проигравшему главковерху добавляли и советские историки, подчеркивавшие мягкость правительственных санкций за «мятеж». «Корниловское движение было «уничтожено» таким образом, что цвет корниловского генералитета во главе со своим вождем, запятанный для отвода глаз и для спасения от солдатского гнева в тюрьму, беспрепятственно оттуда ушел после Октября»⁴².

Не исключено, что в раскрытии сложной интриги Керенского ближе всех к истине подошел М. Филоненко. В частной беседе с Верховским 25 августа он следующим образом прокомментировал борьбу замыслов и позиций вокруг главковерха: «...это высота, за которую идет сейчас борьба с переменным успехом. То успех на нашей стороне, и мы перетягиваем Корнилова на сторону Временного правительства, то перевес переходит на сторону генерала Романовского и всех тех, кто стоит за ним». Далее Филоненко хвастливо сообщил своему собеседнику, что Временное правительство в настоящий момент подбирает правящую директорию, в которую предназначено войти Керенскому, Савинкову и Корнилову в качестве военного министра⁴³. Все приведенные свидетельства подводят к заключению, что накануне выступления Корнилова и в команде Керенского всерьез думали над коррективами в кадровом обеспечении и содержательном наполнении политики.

Итак, вернее всего предположить, что в преддверии ожидаемых перестроений внутри правящего лагеря, учитывая отведенную в них Корнилову роль, Керенскому было крайне важно добиться его укрепления на «своей» позиции. Иными словами, в канун задуманной консолидации власти та неустойчивость, которую демонстрировал главковерх, становилась неприемлемой помехой. С большой долей достоверности можно утверждать, что, планируя рекомбинацию правительственных сил, Керенский предоставлял главковерху последнюю возможность самоопределиться, а себе проверить потенциального союзника

на надежность. «Искушение» Львова было призвано прояснить истинные намерения главковерха. А при неблагоприятном повороте дела дать конкретный обвинительный материал против него и тем самым обеспечить отходной путь Керенскому. Однако результаты поездки Львова в Могилев не внесли однозначной определенности в отношения главы правительства с его военным контрагентом: Корнилов не поддался «агитации» за полное исключение Керенского из высших правительственных сфер, хотя и не выразил ему своей безоговорочной поддержки. Эту двойственность еще больше усилило начавшееся движение корниловских войск 26 августа, на переднем крае которого возникла неожиданная для Керенского фигура Крымова.

Продолжая мысль об амбивалентном характере создавшейся ситуации, можно высказать предположение, что и после того, как министр-председатель установил для себя отнюдь не абсолютную лояльность главковерха и совершил свой выпад 27 августа, он продолжал тянуть время, давая фору своему контрагенту для публичного покаяния. Не исключено, что смиренное «хождение в Каноссу» того 26—27 августа могло бы разрешить этот инцидент и увенчаться тем союзом, который виделся в идеале министру-председателю. Однако скандал, который независимо от воли и желаний главных участников набирал обороты, вовлекая сторонних посредников, делал призрачными подобные ожидания.

Если справедливо допущение, что Керенский до последнего вел борьбу за Корнилова, то также справедливо и предположение, что Корнилов имел в виду обратить Керенского в свою веру без всякого намерения его свергнуть. Эту установку отражала устремленность всей августовской операции к перезаклучению союза с Керенским на основе отсечения балласта из левых попутчиков. Отсутствие какой-либо конфронтационной идеологии в отношениях с правительством и его председателем выявил процесс подготовки и проведения корниловского похода. Его непреложным фактом являлось игнорирование потенциальной угрозы, которую нес в себе визит Львова. По единодушному мнению всех интерпретаторов этого злосчастного эпизода, Корнилов не только не разглядел в нем «засланного казачка», но даже и принял за своеобразного «голубя мира» от Керенского.

Г.З. Иоффе обратил внимание на изменение тональности требований Корнилова после переговоров со Львовым в сторону большей категоричности⁴⁴. Совершенно очевидно, что, будь у Корнилова злокозненные замыслы в отношении гражданских партнеров, Львов с его сомнительными предложениями от министра-председателя не имел бы шанса беспрепятственно покинуть Ставку и завершить свою роковую миссию. Отсутствие всяких задних мыслей у Корнилова подчеркнул и его довольно беспечный отказ проверить точность львовской передачи поручения Керенского в разговоре по прямому проводу⁴⁵.

Важным представляется и другое обстоятельство: через Львова Корнилов передавал приглашение А.Ф. Керенскому и Б.В. Савинкову приехать в Могилев для окончательного согласования предстоящих мероприятий по реорганизации власти, причем гарантировал им здесь полную безопасность при оживлении большевистской активности⁴⁶. Тот же призыв прибыть в Ставку и лично разобраться во всех недоразумениях повторялся и в его прямых разговорах с Савинковым и В.А. Маклаковым вечером 27 августа⁴⁷, а потом и в официальном Обращении к народу⁴⁸. Разумеется, готовность главковерха уладить дело миром, призвав к тому же в свидетели весь честной народ, исключала вероломную и агрессивную подоплеку. Сильным аргументом в пользу его благонамеренности являлась и взятая им в одностороннем порядке суточная пауза. Издав 28 августа свое публичное воззвание к народу и правительству, он обещал в течение последующих суток ожидать ответа и воздерживаться от каких-либо резких жестов. Свое слово Корнилов сдержал. В.С. Завойко не без оснований считал, что этот тайм-аут во многом предопределил негативную общественную реакцию на корниловское дело, позволив недругам главковерха настроить общественность против него⁴⁹.

Однако самые значительные аргументы, оправдывающие Корнилова, дал сам так называемый «мятеж» Корнилова. В обоих случаях — его доведения до гипотетического счастливого конца и реальной несчастливой развязки — Керенский не рисковал своим руководящим положением. Поручкой тому со стороны Корнилова служили как оговоренное в переговорах с Савинковым и Филоненко, так и подтвержденное в ходе обмена

мнениями со Львовым сохранение за Керенским места в правительстве. Но, пожалуй, и это еще не было главным. По свидетельству барона П.Н. Врангеля, в первоначальном замысле Корнилова стояло проведение военного выступления не ранее января — февраля 1918 г. К этому времени должны были быть стянуты все резервы офицерской конспирации, приведены в боеспособное состояние ударные воинские части и подготовлено техническое оснащение⁵⁰. Однако именно подвернувшаяся в конце августа возможность договориться с Керенским заставила Корнилова отказаться от этого плана и выступить досрочно. Тяготение к деятельности под крылом Керенского определило собой тот факт, что залп по революционному экстремизму оказался неподготовленным и холостым.

Тем не менее в тандеме Керенского и Корнилова отнюдь не все обстояло гладко. Если Корнилов и не предавал Керенского, а Керенский не задавался изначальной целью ослабить Корнилова перед всей страной, то элементы недобросовестного партнерства присутствовали в позиции каждой стороны. Именно они и обусловили острые углы, которые начали выпячиваться сразу же по заключении соглашения двух лидеров. Суть дела заключалась в том, что, идя на сделку, каждый держал наготове свой «рояль в кустах». Керенский — невольного провокатора Львова, Корнилов — доморощенного Кавеньяка Крымова. Если «львовская карта» была разыграна Керенским в деле публичного ошельмования Корнилова и последующего следствия над ним, то крымковский сюжет был смят упреждающим нападением того же Керенского. Однако именно он был положен в основу обвинительной линии Керенского. Поэтому к нему стоит присмотреться внимательнее.

Официальная версия возникновения фигуры Крымова во главе корниловского движения была такова. Еще в конце апреля в целях обороны столицы среди высших военачальников было решено создать Особую армию с включением в нее войск, расположенных на территории Финляндии, в районе Ревеля, а также Петроградского гарнизона. После назначения 18 июля Корнилова главкомом работа по созданию такой армии ускорилась. 26 августа главком подписал официальный приказ об образовании Особой армии, включив в нее, помимо ра-

нее намеченных соединений, два правофланговых корпуса 12-й армии и конные части — Кавказскую Туземную дивизию и 3-й конный корпус⁵¹. Перевозка конных частей началась еще задолго до похода на Петроград, в первой половине августа ввиду ожидаемого наступления немцев на Ригу. В частности, тогда Дикая дивизия была сосредоточена в районе Великие Луки и Дно. Начальник штаба главковерха генерал Лукомский рассказывал в своих воспоминаниях, что еще 6—7 августа Корнилов отдал ему распоряжение о сосредоточении 3-го конного корпуса и Туземной дивизии в районе Невель — Новые Сокольники — Великие Луки. По свидетельству Лукомского, Корнилов поначалу не раскрывал своих планов, кратко поясняя приказ желанием иметь под рукой сильную конницу на случай укрепления Северного или Западного фронтов. Тем не менее уже тогда у Лукомского мелькнула догадка о том, что выбранное место дислокации пригодно не столько для переброски частей на Северный фронт, сколько для вторжения в Петроград или Москву. Несколько позднее и сам главковерх признался своему сотруднику, что у него имеются особые виды на эти части, и попросил срочно вызвать в Ставку Крымова⁵². Таким образом, скрытые маневры Корнилова, проявившиеся до согласования с правительством вопроса о вводе войска в столицу, не оставляли сомнений в его ориентации на вооруженную силу в политическом регулировании.

Кандидатура Крымова как нельзя лучше подходила для роли центрального разводящего в такой операции. Это ясно осознавали все, кто когда-либо входил в соприкосновение с ним. Командующий Московским военным округом и будущий военный министр Директории А.И. Верховский познакомился с ним в свою бытность слушателем Академии Генерального штаба, а Крымова — преподавателем. «Это был большой, грузный мужчина, сутулый, с небрежно расчесанным пробором редющих волос. Он приходил в академию и лениво вел занятия, скользя скучающим взглядом по своим ученикам — офицерам. Умный и образованный, он нес в себе громадный запас энергии, воли к действию, и учебная работа его явно не удовлетворяла. Но войны не было, и он довольствовался разговорами о ней. Слушатели его группы часто говорили о нем как о начальнике, под ко-

мандой которого хорошо было бы оказаться на войне. Но не это поражало в нем. Людей, которые казались годными к руководству войсками, в Военной академии было много. В нем чувствовался темперамент бойца. Глядя на него, вспоминались кондотьеры эпохи Ренессанса, предприимчивые люди, способные к авантюре, к дерзкой, самозабвенной выходке, когда человек мог или сложить голову, или завоевать государство⁵³. Верховский упоминал и о тех восторженных отзывах, которые доносились до него во время войны о Крымове как об офицере штаба армии Самсонова, как командире Заамурской казачьей дивизии, прославившейся своими подвигами в Галиции⁵⁴.

Сослуживец и подчиненный Крымова по Уссурийской дивизии барон П.Н. Врангель сообщал о перепадах в его настроениях после февраля 1917 г.: охватившая генерала после падения монархии эйфория самое короткое время спустя сменилась недоумением и горьким разочарованием. Негодуя на неудержимый развал армии, Крымов снарядил Врангеля в Петроград, вручив ему гневное послание на имя А.И. Гучкова⁵⁵. В середине марта сам Крымов по вызову Гучкова отправился в столицу и вернулся оттуда приободренным. Из встреч и разговоров со своими питерскими знакомцами — Гучковым, Терещенко, Родзянко — генерал вынес впечатление о достаточной силе правительственного влияния для сдерживания разрушительных процессов в армии и обществе⁵⁶. Впрочем, по некоторым другим сведениям, прощаясь с этими лицами, он передал им через Терещенко свой строгий наказ: «Помните, Михаил Иванович, ведите честную политику и знайте, что я свое маленькое дело для спасения России сделаю»⁵⁷. Эта реплика быстро облетела официальный Петроград и, по свидетельству одного из высокопоставленных чиновников В.Н. Кислякова, произвела сильное впечатление на столичный политический бомонд. Крымова знали как хозяина своего слова и боялись. О заговорщической деятельности Крымова в войсках из отдельных источников был наслышан и Керенский. В частности, было известно о начатой им с весны 1917 г. вербовке офицеров 3-го конного корпуса для участия в броске с юга на Петроград после того, как там попытаются приподнять голову большевики⁵⁸.

Согласно официальной версии, Корнилов остановился в

своем выборе командующего Особой армией на кандидатуре Крымова постольку, поскольку это был «один из лучших, энергичных и решительных генералов нашей армии». А свою ставку на Кавказскую Туземную дивизию и 3-й конный корпус в походе на Петроград главковерх обосновывал тем, что эти части еще сохраняли боевой дух и порядок⁵⁹. Разумеется, в своих объяснениях следственным органам Корнилов многого недоговаривал. Двигая вперед не затронутые тленом советской пропаганды части во главе с Крымовым, главковерх рассчитывал на надежную прочность первых и готовность второго реализовать поставленную задачу даже с некоторым перевыполнением. В конце первой декады августа направлявшийся в Ставку Крымов проездом посетил командующего Юго-западным фронтом А.И. Деникина. Тот хорошо запомнил приподнятое настроение своего визитера: «Крымов был тогда веселым, жизнерадостным и с верой смотрел в будущее. По-прежнему считал, что только оглушительный удар по советам может спасти положение»⁶⁰. Очевидно, что такое понимание перспективы питерской операции как раз и устраивало Корнилова, нацеленного на отделение советской демократии от Временного правительства.

Опираясь на достигнутое с правительством соглашение, вечером 25 августа Корнилов дал Крымову точные инструкции, о которых впоследствии докладывал следствию. Первое: при получении известий из Ставки или по выявлении на месте начала большевистского путча «занять город, обезоружить части петроградского гарнизона, которые примкнули к движению большевиков, обезоружить население Петрограда и разогнать Советы». Второе: по завершении этой задачи Крымов должен был выдвинуть одну бригаду с артиллерией в Ораниенбаум, по прибытии туда потребовать разоружения Кронштадтской крепости и перевода ее личного состава на материк. Третье: по мере необходимости Крымову было предписано просить помощи у 5-го конного корпуса и кубанской дивизии. А для усиления войсковой группировки в Ревеле было разрешено вызвать из Могилева корниловский пехотный полк⁶¹. Иными словами, поход на Петроград вырастал в массированную интервенцию, хотя и не с очень внятным в официальном изложении объектом карательных действий. Отчасти эту загадку приоткрывал в своих пока-

заниях следствию генерал М.К. Детерихс, сопровождавший Крымова в качестве начальника штаба его армии. С его слов, настоящей целью войск была зачистка города «от анархистов и лиц, сеющих беспорядок». При этом для наступающих войск было не так уж и важно, будет ли формально Петроград включен в сферу компетенции Главнокомандующего Особой армией или нет⁶².

Хорошо осведомленный Верховский рассказывал больше: вслед за вступлением в столицу Главнокомандующий должен был обнародовать «корниловскую программу», включавшую среди прочего и пункт о введении смертной казни в тылу. Ожидалось, что эти действия спровоцируют на открытую вылазку притаившихся большевиков и позволят их выкурить из всех щелей⁶³. Но и в том случае, если бы большевики не поддались на провокацию, в столице была наготове пятая колонна в лице преданных Корнилову офицеров и юнкеров, способная по сигналу председателя Союза казачьих войск А. Дутова инсценировать большевистский мятеж⁶⁴. Эту же версию, основываясь на эмигрантских публикациях, повторял в своих воспоминаниях и Керенский⁶⁵. Однако и тогда, когда еще не все обстоятельства выплыли наружу, мало кто сомневался, что Крымов постарается сполна использовать предоставленные ему чрезвычайные полномочия. Верховский, наведавшийся в Исполком Петросовета после получения там известия о начавшейся войсковой переброске, застал весь Смольный в ажиотаже и панике. Эсеро-меньшевистские лидеры Чхеидзе, Гоц, Либер, Дан были абсолютно убеждены в том, что корниловский ставленник стальной метлой изгонит большевистский дух из столицы, но отнюдь не были убеждены в том, что в пылу этой генеральной уборки он не откажет себе в удовольствии «повесить всю гоцлибердановщину»⁶⁶.

Следует думать, что имя Крымова, зазвучавшее у многих на устах вечером 25 и утром 26 августа, и стало тем тревожным звонком, по которому социалистические партии пришли в движение и объединились для оказания давления на Керенского. А тот, уступив ему и собственным опасениям, пустил в ход «домашнюю заготовку» в лице Львова, а затем с правительственных высот санкционировал работу левофланговой команды по

разборке железнодорожных путей и распропагандированию воинских частей. К примеру, для воздействия на «туземцев» от С.М. Кирова была выслана мусульманская делегация. Полученные эмиссары перед растерянными нижними чинами поставили вопрос «ребром»: «Что же вы, товарищи? Советы вас из-под офицерской палки вывели и свободу дали, а вы опять за старое держитесь? Советы за свободу и счастье народа, а Корнилов за смертную казнь. Корнилов изменил России и ведет вас на защиту иностранных капиталистов. А Советы за мир!»⁶⁷ Армейское наступление было остановлено на подступах к столице в районе Луги, Ямбурга и Семрина. А сам командарм, достигший к 30 августа района Заозерья, в 18 верстах от Луги, был подхвачен посланцами от Керенского — полковником Самариным и капитаном Данилевичем — и под гарантией личной неприкосновенности препровожден в столицу для дальнейшего разъяснения дела⁶⁸. Здесь, попав под дознавательский раж Керенского, с ходу начавшего «шить дело» на своего пленника, он предпочел добровольно окончить счета с жизнью.

Стратегический просчет Корнилова состоял в недооценке той эластичной приспособляемости к условиям деятельности, которая была в «крови» у выдвинутых Февралем. Конъюнктурное союзничество не слишком близких политических течений, движимое единственной заботой о самосохранении, проявилось еще задолго до революции.

Историками было давно подмечено почти маниакальное стремление к объединению, которое, вопреки политическим разногласиям, проводили в жизнь штурманы будущей бури. Эту тенденцию воплощал созданный в августе 1915 г. Прогрессивный блок. Он соединил 6 партий, представленных в Думе, и три фракции высшей законодательной палаты — Государственного Совета, а кроме того, втянул в свою орбиту трудовиков и социал-демократов. Эту же тенденцию иллюстрировало и возродившееся масонство. В российских условиях оно пыталось играть роль коалиционного комитета и коалиционного форума, в рамках которых в развитых многопартийных парламентских системах заблаговременно отработывается общая программа действий и делятся министерские портфели между партиями — участниками избирательной кампании⁶⁹. Характерно, что имен-

но в недрах масонских лож сложился список «Кабинета обороны», который и был по большей части воспроизведен в первом составе Временного правительства⁷⁰. Ту же склонность к поглощению политической разнородности демонстрировали постоянно разбухавшие общественные организации — Земский и Городской союзы, объединившиеся в 1915 г. в Земгор. А в 1916 г. на повестку дня была поставлена задача создания Союза Союзов, которому предстояло установить централизованное управление практически всеми общественно-политическими объединениями. Эта идея и начала претворяться в жизнь с мая 1916 г., когда подобный широчайший союз был образован под вывеской Центрального комитета общественных организаций по продовольственному делу⁷¹. Тот же более или менее единый ансамбль власти, несмотря на наличие двух центров, всеми силами старалась удержать и в послефевральский период «цензовая» демократия. Характерно, что выявившееся в начале июля 1917 г. притязание большевиков на приход к власти при помощи преданных частей петроградского гарнизона было охарактеризовано их оппонентами из лагеря революционной демократии как попытка «прорвать внутренний фронт»⁷².

Наиболее весомым фактором, скреплявшим и оправдывавшим такое сцепление сил, как раз и служила общая забота о недопущении военного влияния на политические решения. Симптоматично, что ни во Временный комитет, ни во Временное правительство трех первых составов не были включены представители от армии, а должность военного министра занимали штатские лица — вначале А.И. Гучков, затем А.Ф. Керенский. (Лишь 1 сентября во вновь сформированную Директорию впервые вошли проверенные на верность революции военные кадры — генерал А.И. Верховский и адмирал Д.Н. Вердеревский.) Показательным штрихом к военному строительству Временного правительства являлось и назначение на должности командующих округами персон из гражданских ведомств, давно не носивших военные мундиры, как, например, подполковник А.Е. Грузинов, сменивший в Москве генерала И.И. Мрозовского. А попытки части офицерского корпуса самоорганизоваться ради спасения армии шли в обход официальной власти, встречая лишь поддержку со стороны старых генштабистов. Инте-

ресно отметить, что за период с конца февраля до середины августа 1917 г. распоряжениями Временного правительства были отставлены от занимаемых должностей 140 генералов, включая трех Верховных главнокомандующих — великого князя Николая Николаевича, М.В. Алексеева, А.А. Брусилова, 5 главкомов фронтов, 7 командующих армиями, 6 командующих и главных начальников военных округов, 26 командиров корпусов, 56 начальников пехотных и 13 кавалерийских и казачьих дивизий⁷³.

При всем несовпадении кадровой политики в военном деле, бесцензурная и цензурная демократия руководствовались общими революционными принципами. Первая делала ставку на распоясавшуюся солдатню. (Керенский вспоминал, что по настоянию В.М. Молотова в Совет рабочих депутатов сразу после революции были введены представители от петроградского гарнизона, заполнившие собой на две трети этот орган⁷⁴.) Вторая опиралась на соглашательские элементы из офицерства и даже генералитета, которые, по словам Гучкова, делали «демагогически-революционную карьеру». (Уже тогда многие из дальновидных военных подыскивали для себя партию, которая могла бы обеспечить престижным членским билетом⁷⁵.) Даже кандидатура Корнилова была проведена через процедуры согласования, соответствующие канонам революционной эпохи. Так, прежде чем поставить ее на обсуждение в Исполкоме Петросовета и правительстве, ушлые аппаратчики военного министерства поручили ему произвести арест царицы Александры Федоровны. В результате такого революционного «крещения» Корнилов мог рассчитывать на признание исполкомовских бонз. А после своего заявления в Совете о всецелом признании революции и готовности ее защищать получил абсолютную поддержку и Советов, и правительства⁷⁶.

Высокая степень сопряженности между двумя полномочными органами революции наблюдалась и в остальных аспектах военной политики. Контактные комиссии, координирующие инстанции между двумя центрами, в том числе и по выработке военных решений, мало-помалу набивались советскими деятелями и превращались в придатки Советов. А Военная комиссия при министерстве Гучкова, возглавленная бывшим цар-

ским министром А.А. Поливановым, вскоре, подобно Советам, соскользнула на позицию безграничного попустительства солдатской политической самостоятельности. К возмущению Гучкова, утвержденные им чиновники комиссии трижды единогласно принимали «Декларацию прав солдата» — документ, заходивший в демократизации армейского устройства много дальше пресловутого приказа № 1.

Впрочем, вряд ли негодование Гучкова можно было бы назвать праведным: ведь не кто иной, как он, осуществляя общую линию правительства, совершал объезды фронтов и убеждал главкомов и представителей различных воинских частей, что «никакого двоевластия нет и что работа правительства и Совета рабочих и солдатских депутатов происходит в полном единении»⁷⁷. Ту же идею всячески пытался донести в своих пламенных речах и главный трибун революции Керенский, называя двоевластие легендой, «придуманной врагами правительства как справа, так и слева»⁷⁸. Даже глава первого и второго кабинетов либерал Г.Е. Львов, по отзыву Керенского, проявлял поистине беспримерную терпимость к советским партнерам, что помогало поддерживать консенсус с вожаками Петросовета⁷⁹.

Результативность подобной тактики отчетливо прослеживалась на примере поведения многих военачальников. Так, например, известный своим темпераментом бескомпромиссного политического бойца командир Черноморской дивизии генерал Комаров вскоре после революции объявил своим подчиненным, что правительству нужно помочь обрести авторитет. От армии требуется лишь «спокойствие, выдержка и неукоснительное выполнение своих обязанностей». «А если образовавшийся в Петрограде Совет солдатских и рабочих депутатов будет претендовать на власть, — добавлял Комаров, — я со своей дивизией поеду в Петроград и разгону Совет»⁸⁰. Впрочем, постольку поскольку правительство не только не звало на борьбу с Советами, но всячески старалось доказать единство с ними, то Комаров и Черноморская дивизия продолжали терпеливо нести свою боевую вахту.

Точно так же приехавший в столицу в середине марта генерал Крымов изъявлял готовность с согласия Временного правительства вышвырнуть обнаглевший революционный сброд из

Петрограда: «Я предлагал им в два дня расчистить Петроград одной дивизией — конечно, не без кровопролития», — рассказывал он Деникину. Однако, натолкнувшись на категорический отказ от этой услуги со стороны Гучкова и Львова, Крымов безропотно подчинился и отбыл назад к своему корпусу⁸¹.

Странную сдержанность проявлял и Корнилов, в марте назначенный новыми властями командующим Петроградским военным округом. Боевой генерал, негодовавший на бесчинства петроградского гарнизона, тем не менее был более законопослушен, чем военный министр Гучков. Если последний восставал против обязательных консультаций с Советом по поводу вызова и использования войска в столице, то первый, наоборот, пытался удержаться на контакте с Советом вплоть до последней точки отрыва. В частности, на практике пытался разрешить почти не решаемую задачу — подтягивание гарнизона за счет микроскопических вливаний в него «свежей крови» (в результате к апрельскому кризису он смог выставить всего только 3,5 тыс. надежных бойцов против 100 тыс. разложившихся горлопанов⁸².) Как и следовало ожидать, не преуспев ни в чем, Корнилов по собственному ходатайству был освобожден от должности командующего округом и в начале марта отправился командовать 8-й армией на Юго-Западный фронт.

Причина, заставлявшая даже наиболее решительных генералов сдерживать воинственные порывы и не продавливать собственных политических инициатив, как раз и коренилась в видимой непрерывности и репрезентативности власти, которые пытались обеспечить столпы постфевральской демократии. В этой сильно выраженной тенденции к сохранению сплошного пространства власти путем оперативного латания образующихся дыр и камуфлированию противоречий при желании можно было бы разглядеть концепцию народного фронта. Как показывали многие эпизоды из мировой истории, подобное установление, пусть даже натужное и по большей части иллюзорное, срабатывало как стоп-кран для военных вождей, рвущихся к наведению порядка в стране и армии. По справедливому замечанию политолога Г.И. Мирского, открытый вызов гражданской власти военные бросают только в том случае, если «с политической системой что-то неладно, что-то там прогнило, обнаружился

глубокий порок в государственном устройстве»⁸³. И наоборот, военные лидеры готовы длительное время держать при себе накопившиеся претензии, если этого требует сохранение власти легитимной, пользующейся широкой общественной поддержкой.

История знает немало примеров, когда армия в нерешительности останавливалась перед фактом мнимо или подлинно представительной и консолидированной демократической власти. Так, в революции конца XVIII в. французская армия, впечатленная деятельностью Национального собрания и других органов революционной власти, не пошла за генералами-изменниками Дюмурье и Лафайетом. Французскую Вандею породила не армия, а часть крестьянства и дворян⁸⁴. Близкие примеры можно отыскать и в новейшей истории, в частности, в иранской антишахской исламской революции 1978—1979 гг. Возвратившийся на родину после бегства шаха аятолла Хомейни сразу же создал Временное правительство. С его помощью новый лидер провозглашенной Исламской Республики Иран объединил все значимые общественные группировки (так называемый «базар» — миллионы мелких торговцев и кустарей, городскую буржуазию, шиитское духовенство, интеллигенцию⁸⁵.) Именно по этой причине иранская армия, натасканная на защиту шахского режима, не двинулась с места для спасения трона.

Наоборот, попытка выхватить инициативу у лидеров, вынесенных мощной революционной волной на политический Олимп, часто оборачивалась еще более сильными потрясениями и эскалацией насилия в обществе. К моменту, когда вожди русской армии собирались с мыслями, уже был известен плачевный результат одного из таких необдуманных вмешательств в политический процесс Мексики. Генерал В. Уэрта, воспользовавшийся временными разногласиями революционных сил и установивший на период февраля 1913 г. — июля 1914 г. военную диктатуру, вызвал взрыв массового сопротивления, проложивший дорогу к гражданской войне⁸⁶.

В этом плане стремление российских военных не навредить молодой революционной власти и соизмерение собственных помыслов и поступков с ее нуждами говорили о более взвешенном

подходе к общественно-политическим процессам и своему участию в них. По сути, армейские руководители безотносительно к степени критичности в осмыслении политики правительства приняли для себя позицию, сформулированную одним из офицеров Дикой дивизии — полковником Половцевым: «...вооруженную силу можно сформировать под крылом революционной демократии, прикрываясь «дымовой завесой» блестящих речей Александра Федоровича Керенского; он ненавидит «улицу» так же, как и мы, но умеет с ней разговаривать о свободе и всем прочем, что ей нравится»⁸⁷.

Однако ни консолидации всех здоровых элементов общества на либерально-демократической платформе, ни вытеснения радикальной демократии на обочину политического процесса в действительности не происходило. Скороспелая российская демократизация не создала предпосылок ни для прочного и продуктивного единства, ни для принципиального размежевания. Теоретики демократического транзита говорят о растянутом во времени, ступенчатом переходе к демократии. В нем различаются фазы либерализации (расслабления режима и раскола элиты, заключения формального соглашения — пакта об основополагающих правилах политической игры), демократизации (легитимации пакта за счет присоединения к нему все новых групп, кристаллизации центризма и маргинализации на этой основе экстремистских сил), ресоциализации граждан на базе демократических принципов⁸⁸. С. Хантингтон представляет эту трансформацию в виде последовательного прохождения через пять стадий (появление реформаторов; их приход во власть; завершение либерализации; обратная легитимность, то есть подчинение консерваторов реформаторам и их замена во властных институтах сторонниками реформ; кооптация оппозиции, то есть ее привлечение в качестве младшего партнера действующей власти⁸⁹.) Поступательность процесса часто осложняется временными откатами, а либерализация всегда сопровождается поляризацией и открытой борьбой сил. Исследователи подчеркивают, что это — неизбежные и благотворные спутники транзита: только признавая многообразие соревнующихся сил, их лидеры способны в процессе демократического торга взаим-

но умерять свои притязания и договариваться по поводу фундаментальных принципов поведения⁹⁰.

Сбой в российской демократизации начала XX в. произошел вследствие перескакивания через промежуточные звенья. Скоростной прогон либерализации — без полноценной самореализации участников, торга и консенсуса по поводу институтов и процедур политики — дал чисто формальное пактирование. В результате в 1917 г. сформировался не прочный блок сил, а «клубок друзей», державшийся лишь конъюнктурным совпадением интересов. Союзнические отношения такого рода обычно определяются как «коалиция». Из всех типов объединения — это простейшее, с минимальным набором объединяющих элементов. Их хватает для совместной борьбы с общим врагом, но недостаточно для установления более устойчивых и тесных отношений в «мирное» время⁹¹. Именно такой союз сумела сколотить российская либерально-демократическая общественность в ходе борьбы с самодержавием. После падения врага непрочность отношений, поддерживаемых лишь общими стараниями предотвратить военную диктатуру, сказывалась на каждом шагу. Его правая и центристская часть проявляла, несомненно, большую готовность к принятию демократической парадигмы, основанную на убеждении, что «цена репрессий превышает цену терпимости»⁹². А левая, криминализованная, беззастенчиво эксплуатировала эту толерантность.

В системе понятий демократического транзита так называемый «корниловский мятеж» легко поддается интерпретации как попытка полноценного прохождения через стадию либерализации, предполагавшая как четкое структурирование правил политической игры, выстраивание ее основных участников, так и укрепление созидательного потенциала власти. Этим целям были подчинены провозглашенные им ближайшие меры по конструированию социального и политического порядка, разумеется, с учетом военного времени. А именно: милитаризация транспорта и оборонных предприятий, укрепление власти войсковых начальников и сокращение полномочий комиссаров и солдатских комитетов, запрещение митингов и агитации в армии, распространение закона о смертной казни на тыл, демобилизация четырех миллионов солдат из крестьян с раздачей им

по восемь десятин земли⁹³. Отсутствие всяких реставраторских устремлений, другими словами, пресловутой «контрреволюционности», отражала вся организация корниловского выступления. Отправляя из Ставки Крымова, главковерх строго-настро-го наказал ему не выпускать из тюрем заключенных туда приверженцев старого режима⁹⁴. Публичное декларирование своих намерений упорядочить общественную жизнь, открытая стилистика побуждающего воздействия на правительство в этом направлении, принятие коалиционного состава будущего кабинета министров и, наконец, поиски согласия с Керенским — полностью укладывались в логику последовательной либерализации.

Между тем, когда главковерх атаковал Временное правительство своими требованиями о создании армий в окопах, в тылу и на железных дорогах, а потом гремел на Государственном совещании о катастрофическом положении армии в расчете «достучаться» до высшего руководства, последнее удалялось от него. Это становилось все более заметно по ходу и после Государственного совещания в Москве 12—15 августа. Вопреки ожиданиям, последнее не только не стало исходной точкой в объединении либеральных группировок, но подготовило почву для отдаления от них Керенского и последующей перегруппировки правительственных сил с усилением левого крыла.

Психологическую основу для такого перестроения создавала вся обстановка короткого визита Корнилова в столицу. Его массовая триумфальная встреча на Александровском вокзале, высланная ковровая дорожка из живых цветов, почетный эскорт из георгиевских кавалеров, личная охрана из текинцев в ярких халатах с пулеметами — все это произвело шумную сенсацию в Москве. А громкие рукоплескания, которыми большинство зала проводило со сцены Корнилова-оратора, стали последним толчком, сдвинувшим позицию Керенского. До 12 августа он рассчитывал легко отсечь крайние фланги и стянуть силы поддержки к центру в лице правительства⁹⁵. Мощное социальное признание, которое вдруг обнаружилось за спиной Корнилова, явственно обозначило возросшую в обществе тягу к сильной руке и наметило композицию сил, не предусмотренную Керенским. По словам А. И. Деникина, доверие Корнилову прямо или косвенно выразили «буржуазия, либеральная демокра-

тия и то студенистое море русской обывательщины, по которой больно ударили и громы самодержавия, и молнии революции и которая хотела только покоя»⁹⁶. Это были и общественные организации военных — Республиканский центр, Союз офицеров армии и флота, Союз георгиевских кавалеров, Военная лига, Союз бежавших из плена, Союз казачьих войск Офицерского союза. Тесные отношения с генералами из Ставки поддерживало и Общество экономического возрождения России под руководством А. Гучкова и А. Путилова⁹⁷.

Инстинктивно качнувшись к друзьям из Советов, гротеск-стер компромисса Керенский попытался восстановить разорванную цепь справа подключением новых союзников слева. Переговоры с Корниловым по поводу карательной экспедиции оказались приурочены к смене коней на переправе, которая всецело заняла его после совещания. В контексте углубляющегося революционного процесса этот диалог, по сути дела, явился его прощальным приветом, посланным союзу с либеральной демократией. Оставляя главковерху еще небольшой временной люфт для того, чтобы «одуматься», Керенский был уже устремлен к иным высотам. Функция расправы над Корниловым как раз и состояла в обретении свободы маневра, позволявшей реанимировать несколько ослабшую связь с Советами. По собственному признанию Керенского, летом 1917 г. эти органы революционного творчества масс находились «на грани самораспада». Однако при помощи товарищей из правительства они быстро восстанавливали боевую форму, пригодную для отпора «в случае... недовольства в военных и гражданских кругах»⁹⁸.

Уже 28 августа при ЦИК Советов был образован комитет народной борьбы с контрреволюцией, взявший на себя дело подавления корниловского «мятежа». Эсеро-меньшевистские лидеры Совета составили успешную конкуренцию большевикам в борьбе с «контрреволюцией»⁹⁹. Сомкнувшиеся на этой основе социалистические партии отпраздновали короткий медовый месяц: большевистские главы были выпущены из тюрем, а некоторые из них (например, В. Невский) вошли в комитет борьбы с контрреволюцией и земельный комитет¹⁰⁰. По словам историка Д. Штурмана, «жесткие утописты-большевики» оказались Керенскому «ближе либералов-прогрессистов и консер-

ваторов»¹⁰¹. Правда, как и в любом симбиозе мелкого хищника с крупным, Александру Федоровичу вскоре довелось на себе изведать мертвую челюстную хватку новообретенных соратников. Конечные плоды победы над Корниловым пожали большевики. А в контексте развития демократического процесса попытка Корнилова показала себя не только бесполезной, но и убыточной.

Насколько можно судить по различным историческим примерам, военная или военно-гражданская диктатура легко входила *в среду с малым количеством невлиятельных либо с большим количеством раздробленных политических участников*¹⁰². Первый вариант был типичен для слаборазвитых стран Азии и Африки, второй — для некоторых стран Латинской Америки и Европы. Однако в любом варианте с точки зрения временных параметров политического процесса развивающихся стран больше всего для военного вторжения подходит *незавершенная либерализация либо осложненная социально-экономическим кризисом проблемная и непродвинутая демократизация*. В первом случае вероятно установление так называемой «опекунской» демократии — под супервизорством военного аппарата. Во втором — в итоге «обратной волны» демократизации — авторитарного режима с доминирующим положением военных¹⁰³.

Российским мягким диктаторам фатально не везло с фоновыми условиями. Противоестественная акселерация всех процессов перехода к демократии в России попросту не оставляла зазора, в который могли бы вклиниться отечественные преторианцы с корниловской методологией действия. Поход войск на Петроград в том виде, в каком он был задуман и воплощен, безнадежно опоздал. «Столбик» демократизации к тому времени уже зашкалило за ту отметку, на которой еще был возможен сбор многочисленных сторонников военной диктатуры в обществе. Дело Корнилова, как это подчеркивал А.И. Деникин, вызывало даже среди почтенной публики, приветствовавшей его на совещании, «сочувствие, но не содействие», не говоря о том, что оно будило звериную ненависть у социальных низов и управлявших ими радикалов¹⁰⁴. Провал похода лишний раз подтвердил неоднократно наблюдавшийся в истории обратный

эффект поляризации социальных сил от волевых попыток консолидации глубоко дезинтегрированного общества¹⁰⁵.

Ложный вывод о возможном соглашении с обществом и гражданской властью на намеченных военных условиях определил и техническую несостоятельность спланированной Корниловой операции. Слабая конспирация «заговорщиков» из Ставки позволяла почти беспрепятственно просачиваться оттуда информации и давала возможность вражескому стану заблаговременно готовиться к отпору. «К сожалению, после московского Государственного совещания Корнилов говорил очень многим из приезжавших в Ставку о своем решении разделиться с большевиками и Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов», — констатировал генерал Лукомский¹⁰⁶. А упорное стремление к наведению мостов с Керенским удерживало его от оперативной отправки эшелона, подготовленного к выполнению своей задачи. Так, Крымов жаловался на то, что главковерх «передерживал» его в Могилеве вместо того, чтобы сразу направить к войскам¹⁰⁷. Все из-за той же нелепой тяги к согласованию операции с правительством Корнилов не успел организовать силы поддержки, которые должны были в Питере прийти на помощь Крымову. А.И. Деникин сообщал, что только в 20-х числах августа к нему в Бердичев явился курьер от главковерха с предложением командировать туда надежных офицеров¹⁰⁸. Но, несмотря на выдачу людям суточных денег и проезд к месту назначения, запоздалая и непроработанная затея оказалась еще одним «мыльным пузырем» корниловского движения.

Кроме того, Корнилов не предусмотрел дублеров Особой армии на случай, если ее продвижение застопорится. Тем самым был отмечен сценарий переворота в виде одновременного движения основной и запасной колонн, который минимизировал бы риск срыва всей операции. По резонному замечанию адмирала А.Д. Бубнова, Корнилову следовало в окрестностях столицы сосредоточить надежные части, способные совершить энергичный марш-бросок к месту предстоящего действия и осуществить начинание, которое не далось Крымову (возможность подготовки такой запасной колонны облегчалась тем, что само правительство одобряло концентрацию войсковой силы на Се-

веро-Западном фронте для обороны столицы). Между тем реально в распоряжении Корнилова были лишь единственный полк его имени и Текинский дивизион, которых было явно недостаточно для выручки застрявшей крымовской колонны¹⁰⁹. Вразрез с логикой гарантированной победы Корнилов начал готовить альтернативные войсковые группировки лишь тогда, когда прорисовалась перспектива поражения: 28 августа, не сумев склонить на свою сторону весь могилевский гарнизон, он запросил помощь с Дона у атамана Каледина, из Киева — у генерала Драгомирова и с Западного фронта — у генерала Балужева¹¹⁰. Однако то были уже предсмертные судороги корниловского дела.

Тот же незрелый импровизационный подчерк проявился и в отношениях Ставки с опорными фигурами выступления. Так, А. Деникин узнал от Корнилова о замышляемом перевороте и своем предстоящем участии в нем лишь на рубеже июля — августа¹¹¹. А генерал П. Краснов вообще удостоился этой чести лишь 28 августа, когда прибыл в Ставку: здесь без всяких подготовительных заходов он был просто поставлен перед фактом происходящего *coup d'état* и отведенного ему места сменщика Крымова в командовании 3-м конным корпусом¹¹². Еще больше Краснова изумила целомудренная «необработанность» личного состава 3-го корпуса: организаторы выступления так и не удосужились выстроить его в парадной форме перед главковерхом, провести его под победные марши по полю, вдохновить сильным «увлекающим словом», пообещать награду. Выключив эти театральные и идеологические компоненты переворотной акции, Корнилов невольно открыл простор для деятельности советских агитаторов¹¹³.

Фактически с тем же расчетом на «авось» двигалась на Петроград и головная колонна Крымова, не обеспеченная средствами связи со Ставкой. Неожиданный поворот в отношениях Корнилова и Керенского 27 августа и отсутствие всякой информации из Ставки вплоть до вечера 28 августа вынудили Крымова замедлить ход в ожидании разъяснения ситуации. В свою очередь, Ставка, не имевшая сведений о местонахождении Крымова, лишь 28 августа снарядила на его поиски штаб-офицера Р. Лебедева. Однако порученцу Корнилова, доставившему

вечером приказ о продолжении операции, Крымов мог сообщить исключительно неутешительные вести: движение войск распалось и может быть восстановлено только за несколько дней, среди конных дивизий идет брожение, а путь к Петрограду прегражден крупными соединениями правительственных войск¹¹⁴. Продвинувшаяся несколько далее прочих бригада князя Гагарина была рассеяна ружейным огнем гвардейских полков правительства между Павловском и Царским Селом. По поводу такой жалкой концовки генерал П.Н. Краснов не без ехидства замечал: «Надо было ударить по Петрограду силою в 86 эскадронов, а ударили одною бригадою князя Гагарина в 8 слабых сотен, наполовину без начальников. Вместо того чтобы бить кулаком, ударили пальчиком — вышло больно для пальчика и нечувствительно тому, кого ударили»¹¹⁵.

Однако и при всей бестолковой организации дела для доведения его до конца не хватило буквально малости. Один из участников, начальник штаба Уссурийской дивизии полковник Полковников позже уверенно говорил барону Врангелю, что, будь у Крымова в роковой день 27 августа подтверждение приказа о походе, город был бы взят: в это время наступательный порыв в войсках не угас, а сам командующий Особой армией еще владел ситуацией¹¹⁶. Надо полагать, что именно это бездарное упущение Ставки и стало последней каплей, прорвавшей терпение Крымова. Адъютант передавал, что последние слова его начальника были адресованы главковерху: «Если бы мне попался в руки Корнилов, я бы его собственноручно пристрелил»¹¹⁷.

Впрочем, предпосылки полнейшего фиаско, не оставившего Крымову ни единой возможности выполнить свою задачу, были заложены в том механизме кадрового отбора, который создала русская революция. С одной стороны, спрос на «соглашательский» элемент вел к отбраковке многих крепких профессионалов военного дела сугубо по идейным соображениям. С другой стороны, эпоха революционного романтизма ковала своего героя, умеющего не только обнажить меч, но и увлечь толпу эффектным жестом и неординарным поступком. При этом в соответствии с «массовизацией» общественной деятельности такой герой должен был воплощать собой сам дух народного раскрепощения. Эти тенденции резко снижали ценность некоторых

прежних фаворитов политического тотализатора. Из двух фигур военной системы — П.А. Лечицкого и Л.Г. Корнилова, потенциально пригодных к роли вождя, шансы им стать были только у последнего. Легендарный командующий 9-й армии, один из самых опытных и профессиональных военачальников царской армии генерал Лечицкий после Февраля находился не у дел: не приняв революционного порядка, он вышел в отставку и жил в столице частным лицом¹¹⁸. В то же время Корнилов делал головокружительную карьеру. Безвестный старший офицер — сын-казака Сибирского казачьего войска, выпускник периферийного Омского кадетского корпуса и Михайловского артиллерийского училища, он попал в центр общественного внимания только в 1916 г. благодаря своему дерзкому побегу из австрийского плена. Быстро одолев ряд переходных ступенек в военной иерархии, с 19 июля 1917 г. он уже стоял во главе всей русской армии. По поводу полководческих дарований вновь назначенного главковерха А.А. Брусилов позволил себе вскользь заметить: «Это начальник лихого партизанского отряда — и больше ничего»¹¹⁹. Еще больший скепсис сквозил в отзывах коллег о свойствах Корнилова-политика. Это «человек с сердцем льва, но с умом барана», — как-то произнес М.В. Алексеев¹²⁰. Адмирал А.Д. Бубнов высказывался чуть более дипломатично, но от этого не менее определенно: «Корнилов не был наделен ни дальновидностью, ни эластичностью мысли искусного политика»¹²¹. Даже В.С. Завойко, состоявший при нем чем-то вроде верного Санчо, мог только с грустью констатировать: «Человек исключительной, сумасшедшей воли, настойчивости и решительности в исполнении раз принятого решения, он оказывался человеком крайне бесхарактерным в течение всего периода выбора того или иного решения»¹²².

9.2. Исторические альтернативы «корниловского мятежа»

Разумеется, корниловская попытка вмешательства в политический процесс в условиях расколотого и сопротивляющегося общества была не единственной в истории. Однако у зарубежных последователей русского главковерха было важное пре-

имуущество: они учились на его ошибках. Примечательно, что сравнения с русской революцией, ее военными и гражданскими лидерами пронизывали рассуждения испанских генералов — инициаторов военного путча 1936 г. Правда, мятежные испанские военные поначалу оказались заложниками тех же заблуждений, что и Корнилов. По замечанию С. Файнера, ввязываясь в драку, они не вполне адекватно представляли себе расстановку сил в обществе и не учитывали жажду различных группировок сразиться с «контрреволюцией»¹. Эти просчеты дорого обошлись как стране, так и самим путчистам: их борьба затянулась на три года. В этой связи американский историк Т. Хью резонно предположил: знай Ф. Франко заранее, что его дорога к власти будет столь длинной и тернистой и что за победу придется уплатить жизнями 600 тыс. соотечественников, он скорее всего не тронулся бы с места².

Типологическая близость с российскими условиями в Испании проявлялась в политическом хаосе, экономическом кризисе, непреодолимых для республиканских правительств, в существовании множества ссорящихся партий и движений, в расколе армейских рядов и, наконец, в наличии народного фронта. Последний рачительно выстраивался из левых партий под руководством коммунистов, направляемых из Коминтерна³. С подачи коминтерновских инструкторов левые старательно уклонялись от любых провокаций, которые могли бы дать повод для военного вмешательства в политическую ситуацию.

Однако испанские военные и сами не стремились рубить сплеча. Покуда либералы у власти бесплодно искали средний вектор политики, примиряющий все стороны, а военный министр и впоследствии премьер М. Асанья пытался покрепче зажать армию, генералы терпеливо выжидали⁴. Будущий усмиритель революционной Испании Ф. Франко воздерживался от каких бы то ни было обязывающих политических заявлений: в 1934 г. он был назначен главой Большого Генерального штаба за помощь республиканцам в подавлении шахтерского восстания в Астурии и, похоже, пока не желал портить отношений с правительством. Тем не менее и Ф. Франко, и его коллега по армии генерал Э. Мола втайне работали над заговором. Мола, в руках которого в 1936 г. сосредоточились все нити конспира-

ции, пытался привлечь к сотрудничеству наиболее надежные группировки консерваторов⁵. К июню был составлен план операции и каждому участнику-генералу выделена своя географическая зона действий⁶.

Тщательное сокрытие планов помогло испанским преторианцам добиться исходного преимущества над правительственным лагерем, а именно — застать его врасплох. Внезапность нападения генералов показывает следующий эпизод: 17 июля, буквально накануне мятежа, премьеру республики К. Кироге были доставлены сведения о близящейся «национал-синдикалистской революции», но он лишь рассмеялся в лицо своему докладчику: «Значит, ожидается мятеж? Очень хорошо. Я же со своей стороны предпочту отдохнуть»⁷. Растерянность властей предрежащих помешала им в первые часы мятежа правильно сориентироваться в его силе и размахе и принять решение о вооружении рабочих организаций. Рискни гражданские лидеры это сделать, допускает американский исследователь Т. Хью, вполне возможно военный мятеж был бы задавлен на корню⁸. Вместе с тем промедление с этим решением позволило путчистам быстро набрать нужный темп. Повсеместно развитие событий шло по одной и той же схеме: с первыми криками петухов и до полудня местные гарнизоны вводили военное положение, захватывали общественные здания и офисы левых партий, профсоюзов и масонских лож, одновременно проводя аресты их руководителей и активистов Народного фронта. В тех населенных пунктах, где не было гарнизонов, эти манипуляции совершали подразделения гражданской гвардии, фаланг и местных правых⁹. Вступившие на путь насилия военные ясно отдавали себе отчет в том, что путь к отступлению отрезан раз и навсегда. Генерал Мола, к которому отчаявшиеся республиканские лидеры обратились с предложением компромисса, категорически отmel такую возможность: «У вас есть свои сторонники, а у меня свои. Если бы мы заключили сделку, мы бы предали и свои идеалы, и своих людей. И нас обоих стоило бы линчевать»¹⁰.

И все же, несмотря на безукоризненную организацию и проведение наступления, по оценке С. Файнера, его можно было считать только наполовину успешным: правительство суме-

ло отстоять Барселону, Мадрид, Валенсию и ряд других регионов и роздало народу оружие¹¹. В результате, как в своих худших опасениях и предполагал Франко, военный мятеж не только не перекрыл революционного потока, но и углубил его русло. Началось трехлетнее противостояние республиканской и националистической Испании, причем ни одна из них с ходу не добила однозначного перевеса¹². К тому же ударные части националистов, которые Франко держал под личным контролем — Иностранный легион и марокканские войска, находились на Африканском континенте и пока не были вовлечены в испанскую борьбу. После того как 21 июля Москва приняла решение об оказании помощи испанским товарищам, Франко при содействии германских люфтваффе начал быструю переброску этих войск на испанскую территорию. В сентябре он уже был провозглашен Верховным главнокомандующим, а 1 октября и главой государства¹³. Однако последняя точка в кровавой гражданской войне была поставлена только 1 апреля 1939 г., когда верховное командование армии националистов издало коммюнике о пленении и разоружении последних частей Красной Армии¹⁴.

Еще более искушенным заговорщиком показал себя А. Пиночет. Начальник штаба, а потом и командующий сухопутными войсками при правительстве Народного единства, он не вызывал никаких подозрений у С. Альенде. Более того, вместе с действительно лояльным конституционному режиму генералом К. Пратсом в июне 1973 г. Пиночет подавил первую попытку военного путча в Чили. Но если генерал Пратс позволял себе критику правительства, пытаясь уберечь мелкую и среднюю частную собственность от намеченной экспроприации, возражая против сильной зависимости правительственного курса от левых социалистов, то Пиночет хранил дипломатичное молчание. В августе неудобный Пратс был смещен с должности командующего сухопутными силами. Ее тут же занял Пиночет, давно втихую готовившийся к перевороту. С весны 1972 г. его доверенные лица распускали среди военных слухи о намерениях Народного единства создать параллельные вооруженные силы, призванные заменить действующую армию. Благодаря этому круг сторонников Пиночета в войсках постоянно расширялся¹⁵.

11 сентября 1973 г. на площади и улицы Сантьяго обрушилась танковая и авиационная атака верных ему войск. А когда один из его подручных — адмирал П. Карвахаль — доложил о предложении президента Альенде и свиты, укрывшихся во дворце «Ла Монеда», вступить в переговоры, Пиночет грозно отрезал: «Никаких переговоров, только полная капитуляция. Остается в силе предложение вывезти его (Альенде) из страны. А в полете самолет падает»¹⁶. Таким образом, операция по перераспределению власти заранее готовилась как акция по физическому устранению официального главы государства. Как и в Испании, далеко зашедшая чилийская демократизация закладывала в «джентльменский набор» успешного преторианца готовность к развязыванию террора. В этом отношении, как подчеркивают историки Дж. С. Веленсуэла и А. Веленсуэла, пиночетовский переворот изначально строился как резкий разрыв с традициями одной из самых ранних и устойчивых на континенте чилийской демократии. В течение длительного периода времени — с 1830 до 1973 г. вся номенклатура государственных должностей здесь была выборной (исключение составляли лишь короткие «смутные» 1891, 1924 и 1932 гг.). Отсюда же вытекала психологическая и организационная незащищенность чилийских демократов перед испытанием военной силой¹⁷. Репрессивный каток, прошедший по судьбам 100 тыс. приверженцев социалистической ориентации, вернул чилийскую демократическую революцию к нулевой точке отсчета, с которой она стартовала в далеком прошлом.

И все же, несмотря на тягчайшие издержки для населения, режимы, устанавливаемые военными, не создавали остановок в национальном развитии. И хотя возможность подобного опыта для России оказалась призрачной, попробуем все же представить себе потенциал, который нес в себе военизированный режим с реформаторским уклоном (на который в исторической перспективе было ориентировано корниловское устройство). Отметим, что, согласно принятой точке зрения, военным режимом считается порядок, установленный военными средствами, в котором высшие правительственные чиновники служили или продолжают служить в вооруженных силах, а правители зависят от поддержки офицерского корпуса¹⁸.

По мнению Э. Нордлингера, преторианцы-правители обычно исповедуют идеал сообщества без политической деятельности и гражданского консенсуса, основанного на командах¹⁹. Как правило, им свойственно отношение к политическим партиям как к нежелательным агентам раскола в обществе. Этим взглядом обосновано ограничение состязательности в политике, которое они вносят. Тем не менее и это правило не является всеохватывающим. Известно, что некоторые военные лидеры создавали свои массовые партии или обращали себе на службу старые. Такую роль выполняли Partido Peronista при аргентинском диктаторе Х.Д. Пероне, «испанская традиционалистская фаланга» Ф. Франко или деголлевская партия «Объединение французского народа». В конце концов даже Пиночет легитимизировал партийное строительство, разрешив по конституции 1980 г. деятельность партий, которые не проповедуют идей классовой борьбы, не подрывают принципов национального гражданства и института семьи²⁰.

Постулируя важность национальной идеи и патриотизма, военные лидеры тем не менее редко формулируют целостную идеологическую доктрину и тем более навязывают ее обществу. Исследователи отмечают, что идеология франкизма состояла из нескольких тезисов с приставкой «анти»: антидемократизм, антимарксизм, антикоммунизм, антианархизм²¹. А неолиберальная идеология, исповедуемая Пиночетом, являлась не столько теоретической разработкой, сколько практическим руководством в экономической политике. Как правило, переоценивая значение силовых факторов во внутренних делах, военные политики редко добиваются рационально-легальной легитимности своей власти. Так, например, диктатору Парагвая в 1954—1989 гг. А. Стресснеру приходилось каждые пять лет своего 35-летнего пребывания у власти в день президентских выборов вводить осадное положение²². Президенты стран Латинской Америки, выступавшие либо в качестве единоличных диктаторов, либо в качестве глав военных хунт, превращали законодательный корпус в декоративный элемент политической надстройки, обслуживающий потребности военного руководства страны²³. Этим режимам был свойственен и высокий уровень репрессий против оппонентов. Тем не менее большинство со-

временных исследователей возражают против уравнивания их с фашистскими.

В отличие от фашистских режимов Европы, военные режимы Испании и стран Латинской Америки, как подчеркивают Дж. С. и А. Веленсуэла, не были ни корпоратистскими, ни функционалистскими. Напротив того, Пиночет старательно вытравливал корпоратистские черты прежней чилийской политической организации, вроде представительства профессиональных объединений, предпринимательских и рабочих союзов в правительственных органах²⁴. (Правда, отдельные элементы корпоратизма можно усмотреть во франкистском проекте вертикальных профсоюзов, объединявших рабочих, предпринимателей, учащихся, работников умственного труда²⁵.) Равным образом военные и военизированные режимы не пытались перестроить общественную организацию, вводя функциональные разграничения между составляющими ее группами. В отличие от тоталитарных режимов они не поддавались искушению манипулировать общественной жизнью через структуры государственного и идеологического контроля. Наоборот, исследователи отмечают вакуум, который неизменно возникал в рамках этих режимов между государственными институтами и обществом. Лишь с определенного момента, когда национальное согласие и примирение становилось свершившимся фактом, их лидеры санкционировали создание общественных ассоциаций, организованных групп интересов и политических партий. Такое возрождение институтов гражданского общества в Испании началось в 60-е годы, а в Чили во второй половине 70-х гг.²⁶

Одной из главных примет перехода к демократии являлось глубокое усвоение прав и взаимных обязанностей основных участников политических состязаний. Это дает возможность исследователям говорить о феномене «согласованного перехода» к демократии, который подготавливался военными лидерами²⁷. Одновременно такой итог был следствием сознательных ограничений, которые они налагали на свою систему власти. В первую очередь это касалось тщательного подбора лиц на ответственные должности в государственном аппарате. Таким способом ограничивался доступ в эшелоны власти либералов, предрасположенных к ползучему капитулянтству перед напором экстре-

мистских сил²⁸. А общество страховалось от рецидивов радикальных переломов по ходу модернизации. В тех же целях гарантирования безопасного вектора социального развития военные лидеры нередко прибегали к услугам управленцев с военным прошлым. Многие исследователи признают, что военные зачастую лучше, чем гражданские чиновники и публичные политики, противостоят соблазну перейти на обслуживание кланово-корпоративных интересов в политике. Это подтверждается опытом многих стран Латиноамериканского континента. Ряду политиков, включая и военных диктаторов, пытавшихся подкупить армию щедрыми подачками, а ее верхушку растлить через приобщение к бизнес-элите, довелось испытать на себе эффект бумеранга. Так, например, Х. Д. Перону, взявшему власть в 1946 г. и пытавшемуся закрепить ее в своих руках путем безудержного превознесения армии и коррумпирования ее верхушки, военные в конечном итоге в 1955 г. отказали в доверии. На тот же отпор вооруженных сил натолкнулись заигрывавшие с армией правители 40—50-х годов в Венесуэле, Перу, Колумбии²⁹. Таким образом, в большинстве случаев эгоистические, фракционные или персональные интересы, проникающие в военную среду, имеют обыкновение перетираться о винты и лопасти ее институционального устройства. А сама армия выказывает способность подняться над дрызгами корыстных группировок.

Наконец, военные лидеры в большинстве случаев не пытались вывести себя из-под действия ими же одобренной законной упорядоченности гражданской жизни. Еще С. Хантингтон обратил внимание на то, что они лучше, чем многие гражданские политики, приспособлены к тому, чтобы уступить свое место очередным избранникам народа: политические полномочия для них всегда остаются вторичными по отношению к ролевым функциям защитников отечества³⁰. Этим объясняется простой, почти автоматический переход к демократии в ряде стран с военным правлением после того, как их лидеры либо проиграли выборы, либо сами посчитали свою миссию выполненной. Так было в Испании, где уже после издания нового органического закона 1967 г., расширяющего избирательную систему, были заложены предпосылки для демократической ротации пра-

вающей элиты. Так было и в Чили: несмотря на обретенный харизматический авторитет, Пиночет постоянно подчеркивал временность своего положения. А кроме того, признав неудачу своего курса или его неприятие большинством сограждан, военные политики, как правило, без боя покидают историческую сцену. Достаточно напомнить о полном достоинства уходе Ш. де Голля в отставку. Признав с солдатской прямоотой свое поражение в предотвращении революционных событий мая — июля 1968 г., национальный герой французского Освобождения и спаситель Франции в период деградации 4-й Республики считал свою политическую карьеру оконченной еще до истечения официального срока полномочий. На такой же беспрепятственной основе военные лидеры передали бразды правления более перспективным гражданским политикам в Аргентине в 1983 г., в Бразилии в 1985 г., в Парагвае в 1989 г.

Во многом по этой причине граждане тех стран, где одной плеяде военных политиков не удалось достичь поставленных целей, охотнее меняют ее на другую плеяду военных, нежели гражданских политиков. Эта тенденция хорошо прослеживается на примере Португалии 70-х гг. Революция «гвоздик» 1974 г., осуществленная силами военной оппозиции авторитарному режиму, привела к усилению позиций левых группировок и сочувствовавших им некоторых армейских кругов. Опираясь на их штыки, в конце 1975 г. коммунисты попытались взять власть в свои руки. Провал путча и дискредитация стоявших за ним войсковых частей не изменили, однако, преимущественно позитивного восприятия военного управления. С согласия нации движущей силой последующих демократических преобразований в стране выступило Движение вооруженных сил, сложившееся ранее внутри армии и ставшее самой крупной общественной организацией Португалии³¹.

Кроме того, на примере многих стран, прежде всего Латинской Америки, можно наблюдать рекуррентную (возвратную) модель включения военных в большую политику: многие удалившиеся на покой диктаторы не раз возвращались в строй, затребованные обстоятельствами и гласом народа. Согласно социологическим опросам, предпочтение военной диктатуре или правительству с высокой долей участия военных перед другими

формами правления в 80-е годы XX в. отдавали свыше 60% жителей Венесуэлы и Бразилии³². Для многих граждан этих и некоторых других стран деятельность военных по преодолению экономической разрухи, социально-политической нестабильности, коррумпированности государственных чиновников представляла собой услугу с хорошо известным знаком качества.

Широкое признание общественности снискал и дессарольистский (от исп. дессарольо — развитие) путь и его продолжение — экономический неолиберализм, обеспечивший высокие темпы экономического роста и подъема благосостояния населения³³. Иногда противники и критики военных режимов пытались оспорить этот факт, ссылаясь на заметное увеличение военных расходов и расширение военного сектора экономики в таких странах. Однако специально исследовавший этот вопрос американский исследователь Г. Кеннеди опровергает пресловутую дилемму — масло или пушки. Проведенное им обследование большой выборки стран не показало никакой корреляции между динамикой роста ВВП и душевого дохода, с одной стороны, и размерами госбюджетных ассигнования на военные нужды, с другой стороны³⁴. В то же время оно выявило благотворное влияние военного производства развивающихся стран на состояние рынка труда и занятости, интеллектуального фонда нации, уровень смежных с военным производством отраслей хозяйства и, наконец, на утверждение нации в статусе суверенной и самодостаточной³⁵.

Учитывая военный контекст многих трансформаций, совершавшихся в истории Латиноамериканского континента, некоторые исследователи говорят об их определенных преимуществах относительно европейского опыта: несмотря на множественность дворцовых переворотов, забастовок, казарменных восстаний и маршей протеста, настоящих революций здесь было крайне мало, а общим фоном являлась поступательность развития и стабильность³⁶. Впрочем, эта же характеристика применима к результатам деятельности выдающихся европейских генералов-политиков. Так, Франко заблаговременно принял меры к тому, чтобы его дело попало в хорошие руки. В 1969 г. он назначил наследником вакантного испанского престола принца Хуана Карлоса, разглядев в нем качества способного и ответст-

венного политика. А взойшедшему на престол в 1975 г. после смерти диктатора королю было не так уж и трудно довести до конца замирение нации, постольку поскольку еще раньше армия признала социалистов и коммунистов как участников политического процесса, социалисты признали капитализм, а коммунисты отказались от категорического требования республики и признали монархию³⁷. А сам Хуан Карлос скромно оценил свой вклад в развитие нации, сославшись на сделанное его предшественником: «Я унаследовал страну, которая познала 40 лет мира, и на протяжении этих 40 лет сформировался могучий и процветающий средний класс, который практически не существовал в конце войны. В стране с ослабленной экономикой, в стране истощенной никто, ни один король, не мог совершить великие дела в короткое время»³⁸.

Испанский сценарий дает приблизительное представление о том варианте, который в пучке прочих альтернатив потенциально был пригоден и для России. Пригоден, но не характерен. Либерально-демократическая оппозиция в ожесточенной схватке с царизмом и в испуге перед военной диктатурой произвела на свет недоношенную демократию. Российские военные из опасения навредить этому плоду от альянса общественных сил отважились лишь на паллиативную и скомканную военно-силовую акцию. В итоге в выигрыше оказались только большевики.

Итак, промахнувшись в конце августа этот спасительный полустанок, все ускоряя бег, российский паровоз летел вперед к коммуне.

Примечания к главе 9.1

¹ Дело генерала Л.Г. Корнилова. Материалы Чрезвычайной комиссии по расследованию дела о бывшем Верховном Главнокомандующем генерале Л.Г. Корнилове и его соучастниках. Август 1917 г. — июнь 1918 г. В 2-х т. Т. 1. М., 2003. С. 17.

² Иоффе Г.З. «Белое дело». Генерал Корнилов. М., 1989; Он же: Семнадцатый год. Ленин. Керенский. Корнилов. М., 1995; Из истории борьбы за власть в 1917 году. Сб. док. Составители: Злоказов Г.И., Иоффе Г.З. М., 2002.

³ Катков Г.М. Дело Корнилова. М., 2002; Рабинович А. Револю-

ция 1917 года в Петрограде. Большевики приходят к власти. М., 2003; Кар-
рер д'Анкос Э. Ленин. М., 2002.

⁴ Дело генерала Л.Г. Корнилова. Т. 2. Показания и протоколы допросов
свидетелей и обвиняемых. Под. ред. акад. Г.Н. Севостьянова. М., 2003.
С. 188, 191.

⁵ Там же, с. 193.

⁶ Там же, с. 195—196.

⁷ Там же, с. 197.

⁸ Там же, с. 198—199, 201.

⁹ Там же, с. 21—24, 26—27.

¹⁰ Там же, с. 228.

¹¹ Там же, с. 229.

¹² Там же, с. 229.

¹³ Там же, с. 231.

¹⁴ Воспоминания генерала А.С. Лукомского. Т. 1. С. 233.

¹⁵ Дело генерала Л.Г. Корнилова. Т. 2. С. 91.

¹⁶ Там же, с. 100.

¹⁷ Там же, с. 105.

¹⁸ Там же, с. 255, 305.

¹⁹ Там же, с. 304.

²⁰ Там же, с. 304.

²¹ Там же, с. 354.

²² Там же, с. 340, 346.

²³ Там же, с. 147.

²⁴ Там же, с. 149.

²⁵ Там же, с. 171.

²⁶ Октябрьская революция. Мемуары. Сост. С.А. Алексеев. М., 1991.
С. 8, 21.

²⁷ Дело генерала Л.Г. Корнилова. Т. 2. С. 128.

²⁸ Там же, с. 158.

²⁹ Там же, с. 214.

³⁰ Там же, с. 217.

³¹ Там же, с. 219.

³² Там же, с. 221—222.

³³ Иоффе Г.З. «Белое дело». С. 120, 126.

³⁴ Дело генерала Л.Г. Корнилова. Т. 2. С. 342.

³⁵ Там же, с. 254.

³⁶ Там же, с. 41.

³⁷ Там же, с. 149.

³⁸ Верховский А.И. На трудном перевале. М., 1959. С. 316.

³⁹ Дело генерала Л.Г. Корнилова. Т. 2. С. 201.

⁴⁰ Дело генерала Л.Г. Корнилова. Т. 1. С. 94.

⁴¹ Октябрьская революция. С. 94—95.

⁴² Там же, с. 11.

⁴³ Верховский А.И. Указ. соч. С. 320.

⁴⁴ Иоффе Г.З. Указ. соч. С. 118.

- ⁴⁵ Дело генерала Л. Г. Корнилова. Т. 2. С. 230.
- ⁴⁶ Там же, с. 491.
- ⁴⁷ Там же, с. 492.
- ⁴⁸ Там же, с. 493.
- ⁴⁹ Там же, с. 115.
- ⁵⁰ Врангель П.Н. Записки (ноябрь 1916 г. — ноябрь 1920 г.). Ч. 1. // Белое дело. Избранные произведения в 6 кн. Кн. 4. М., 1995. С. 52.
- ⁵¹ Дело генерала Л.Г. Корнилова. Т. 2. С. 199—200.
- ⁵² Воспоминания генерала А.С. Лукомского. С. 223—224.
- ⁵³ Верховский А.И. Указ. соч. С. 147.
- ⁵⁴ Там же, с. 147.
- ⁵⁵ Врангель П.Н. Указ. соч. С. 23.
- ⁵⁶ Там же, с. 31.
- ⁵⁷ Дело генерала Л.Г. Корнилова. Т. 2. С. 173.
- ⁵⁸ Керенский А.Ф. Указ. соч. С. 252.
- ⁵⁹ Дело генерала Л.Г. Корнилова. Т. 2. С. 199.
- ⁶⁰ Деникин А.И. Очерки русской смуты. Крушение власти и армии. Февраль — сентябрь 1917 г. С. 464.
- ⁶¹ Дело генерала Л.Г. Корнилова. Т. 2. С. 200—201.
- ⁶² Там же, с. 64.
- ⁶³ Верховский А.И. Указ. соч. С. 321.
- ⁶⁴ Иоффе Г.З. Указ. соч. С. 111.
- ⁶⁵ Керенский А.Ф. Указ. соч. С. 268.
- ⁶⁶ Верховский А.И. Указ. соч. С. 298.
- ⁶⁷ Там же, с. 337.
- ⁶⁸ Дело генерала Л.Г. Корнилова. Т. 2. С. 69.
- ⁶⁹ Селезнев Л.И. Политические системы современности. Сравнительный анализ. СПб., 1995.
- ⁷⁰ Новейшая история Отечества. XX век. В 2-х т. Под ред. А.Ф. Киселева и Э.М. Шагина. Т. 1. М., 2002. С. 168—169.
- ⁷¹ Там же, с. 175—176.
- ⁷² Из истории борьбы за власть в 1917 году. С. 41.
- ⁷³ Деникин А.И. Указ. соч. С. 505.
- ⁷⁴ Керенский А.Ф. Указ. соч. С. 162—163.
- ⁷⁵ Александр Иванович Гучков рассказывает. С. 100.
- ⁷⁶ Верховский А.И. Указ. соч. С. 215—216.
- ⁷⁷ Врангель П.Н. Указ. соч. С. 28.
- ⁷⁸ Керенский А.Ф. Указ. соч. С. 167.
- ⁷⁹ Там же, с. 169.
- ⁸⁰ Верховский А.И. Указ. соч. С. 176.
- ⁸¹ Деникин А.И. Указ. соч. С. 143.
- ⁸² Александр Иванович Гучков рассказывает. С. 75, 78.
- ⁸³ Мирский Г. Выйдет ли армия из казарм? // Pro et contra 1996. № 1. С. 81.
- ⁸⁴ Кропоткин П. А. Великая Французская революция. 1789—1793. М., 1979, С. 303.

- ⁸⁵ Мирский Г.И. Роль армии в политической жизни стран «третьего мира». М., 1989. С. 156, 168.
- ⁸⁶ Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. М., 2002. С. 49—51.
- ⁸⁷ Верховский А.И. Указ. соч. С. 229.
- ⁸⁸ Ильин М.В., Мельвиль А.Ю., Федоров Ю.Е. Демократия и демократизация. // Полис. 1996. № 5.
- ⁸⁹ Huntington S. P. The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century. University of Oklahoma Press, 1991. Pp. 127—139.
- ⁹⁰ Ibid. P. 170; Харитонов О.Г. Генезис демократии (Попытка реконструкции логики транзитологических моделей.) // Полис. 1996. № 5, С. 75—76.
- ⁹¹ Козер Л. Указ соч. С. 172.
- ⁹² Dahl R. Polyarchy. New Haven, 1971. P. 16.
- ⁹³ Верт Н. История советского государства. 1900—1991. М., 2001. С. 104.
- ⁹⁴ Дело генерала Л.Г. Корнилова. Т. 2. С. 65.
- ⁹⁵ Верховский А.И. Указ. соч. С. 296—297.
- ⁹⁶ Деникин А.И. Очерки русской смуты. Борьба генерала Корнилова. Август 1917 — апрель 1918 гг. М., 1991. С. 24.
- ⁹⁷ Рабинович А. Указ. соч. С. 135.
- ⁹⁸ Керенский А.Ф. Указ. соч. С. 227—228.
- ⁹⁹ Афанасьев И.Л. К вопросу использования опыта мобилизации масс при разгроме корниловского мятежа в канун вооруженного восстания. // Великий октябрь — торжество идей марксизма-ленинизма. М., 1987. С. 69.
- ¹⁰⁰ Из истории борьбы за власть в 1917 году. С. 54.
- ¹⁰¹ Штурман Д. У края бездны. Корниловский мятеж глазами историка и современников. // Новый мир. 1993. № 7. С. 222.
- ¹⁰² Huntington S. Political Order in Changing Societies. P. 218.
- ¹⁰³ Huntington S. The Third Wave. P. 115.
- ¹⁰⁴ Деникин А.И. Указ. соч. С. 32.
- ¹⁰⁵ Nordlinger E. Op. cit. Pp. 152.
- ¹⁰⁶ Воспоминания генерала А.С. Лукомского. С. 233.
- ¹⁰⁷ Иоффе Г.З. «Белое дело». С. 137.
- ¹⁰⁸ Деникин А.И. Очерки русской смуты. Крушение власти и армии. С. 464—465.
- ¹⁰⁹ Бубнов А.Д. Указ. соч. С. 172.
- ¹¹⁰ Иоффе Г.З. Указ. соч. С. 129.
- ¹¹¹ Деникин А.И. Указ. соч. С. 452.
- ¹¹² Октябрьская революция. С. 18.
- ¹¹³ Там же, с. 19.
- ¹¹⁴ Дело генерала Л.Г. Корнилова. Т. 2. С. 417—418.
- ¹¹⁵ Октябрьская революция. С. 22.
- ¹¹⁶ Врангель П.Н. Указ. соч. С. 58.
- ¹¹⁷ Александр Иванович Гучков рассказывает. С. 126.

¹¹⁸ Врангель П.Н. Указ. соч. С. 37.

¹¹⁹ Рабинович А. Указ. соч. С. 136.

¹²⁰ Верховский А.И. Указ. соч. С. 276.

¹²¹ Бубнов А.Д. Указ. соч. С. 171.

¹²² Дело генерала Л.Г. Корнилова. Т. 2. С. 87

Примечание к главе 9.2

¹ F i n e r S.E. Op. cit. P. 147.

² Хью Т. Гражданская война в Испании 1931—1939 гг. М., 2003. С. 125.

³ Там же, с. 89.

⁴ Там же, с. 59—60, 87.

⁵ Пожарская С.П., Шубин А.В. Гражданская война и франкизм в Испании. // Тоталитаризм в Европе XX века. Из истории идеологий, движений, режимов и их преодоления. Под ред. Я.С. Дабкина, Н.П. Комоловой. М., 1996. С. 154.

⁶ Хью Т. Указ. соч. С. 105.

⁷ Там же, с. 115.

⁸ Там же, с. 130.

⁹ Там же, с. 127—130.

¹⁰ Там же, с. 137.

¹¹ F i n e r S.E. Op. cit. P. 148.

¹² Дамс Х.С. Франиско Франко. Солдат и глава государства. Ростов-на-Дону, 1999. С. 67.

¹³ Там же, с. 65, 70.

¹⁴ Там же, с. 88.

¹⁵ Шульговский А. Ф. Армия и политика в Латинской Америке. М., 1979. С. 470.

¹⁶ Хачатуров К.А. Латиноамериканские уроки для России. М., 1999. С. 104.

¹⁷ Valenzuela J.S., Valenzuela A. Introduction. || Military Rule in Chile. Dictatorship and Oppositions. Ed. by J.S. and A. Valenzuela. Baltimore and London, 1986. P. 1.

¹⁸ Nordlinger E. Op. cit. P. 3, 29.

¹⁹ Ibid. P. 58.

²⁰ Данилевич И.В. Государство и институты гражданского общества в период перехода от авторитаризма к демократии (Чили, Португалия, Испания). М., 1996. С. 22.

²¹ Там же, с. 53.

²² Хачатуров К.А. Указ. соч. С. 44.

²³ Лапшев Г.Е. Президентская республика: латиноамериканский вариант. // Латинская Америка. 1994. № 7—8. С. 43.

²⁴ Valenzuela J.S. Valenzuela A. Op. cit. P. 4.

²⁵ Данилевич И.В. Указ. соч. С. 51.

²⁶ Там же, с. 20, 22.

²⁷ Там же, с. 23.

²⁸ Nordlinger E. Op. cit. P. 119—120.

²⁹ Шульговский А.Ф. Указ. соч. С. 32—36.

³⁰ Huntington S. The Third Wave. P. 115.

³¹ Данилевич И.В. Указ. соч. С. 32—33.

³² Лапшев Е.Г. Указ. соч. С. 44.

³³ Строганов А.И. Новейшая история стран Латинской Америки. М., 1995. С. 249.

³⁴ Kennedy G. Op. cit. P. 189.

³⁵ Ibid. P. 291—293.

³⁶ Макарычев А.С. Неформальные структуры власти и механизм политического лидерства на переломных этапах истории (сопоставительный анализ). // Человек и его время. М., 1991. С. 63.

³⁷ Huntington S. Op. cit. P. 170.

³⁸ Пожарская С.П. Воскрешение монархии в Испании: почему это оказалось возможным? // Политическая история на пороге XXI века: традиции и новации. М., 1995. С. 164.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Российскую царскую армию от сегодняшних Вооруженных сил Российской Федерации отделяет большой промежуток времени. Однако ее исторический опыт представляет интерес и сегодня в плане концептуализации и программирования деятельности военной системы. Главный вывод, который вытекает из изучения опыта старой армии, состоит в признании широкого спектра общественных проблем, находящихся под прямым или косвенным влиянием военного строительства. Выбранная армейская модель способна повлиять на направление и динамику общественной эволюции, затруднив либо, наоборот, облегчив реализацию прогрессивных тенденций общественного развития на каждом этапе. В свою очередь, отношение общества во всех его сегментах к действующей армии является важнейшей составляющей ее профессиональной состоятельности.

Петр I создавал свою армию как мощный репрезентат общества. В период ужесточенной сословной парадигмы и режима крепостного права привлечение к выполнению воинского долга на общих основаниях разнородных общественных элементов носило характер смелого эксперимента. Открыв реальную возможность для выходцев из социальных низов наравне с первым сословием достигать высоких чинов и рангов, а также приобретать права потомственного дворянства на службе, Петр I создал образец вознаграждения по заслугам. Благодаря ему армия утверждается как главное звено в системе социального лифтинга, как основной механизм в отборе наиболее способных и эффективных на государственной службе. Универсальным способом ранжирования кадров по критерию профессиональной пригодности и должностного соответствия становился регламент службы, закрепленный в военных уставах и Табели о рангах. Заявленный и соблюдаемый государственной властью

подход к оцениванию личных вкладов в дело защиты Отечества давал мощнейшую мотивацию для раскрытия лучших качеств на служебном поприще.

Регулярная армия Петра I в полной мере оправдала расчеты ее создателя. С ее помощью Россия достигла высокого международного статуса и заняла почетное место в мировом сообществе. Одновременно верховная власть получила гибкий инструмент направления процессов модернизации на всех уровнях государственного аппарата и общественного организма. Придвинутые вплотную к ячейкам гражданского общества части регулярной армии служили средой, передающей импульсы власти на низовой уровень. Одновременно с тем военная машина превращалась в мощный источник воздействия на привычки, социально-бытовой уклад и систему знаний о мире для крестьянских обществ. Через систематическое и плотное взаимодействие с военнотружущими в недра общественной организации просачивался комплекс понятий о государстве как об объекте верного и самоотверженного служения, как об арбитре, одинаково нейтральном к частным и групповым интересам.

Итоги пребывания военных среди гражданского населения простирались и на область внутригражданских отношений: разрозненные ячейки крестьянского мира постигали азы взаимодействия с новым и чуждым им по своей социальной природе кругом контрагентов, учились навыкам общения поверх социальных барьеров. Несмотря на материальные издержки, которые несло гражданское население от беспокойных постояльцев, равнодействующая военно-гражданских контактов была позитивной. Подвергавшийся не раз в петровское и послепетровское время испытанию на прочность, российский социум демонстрировал умение единым фронтом противостоять угрожающим ему вызовам. Заложенный в военном проекте Петра Великого механизм внутренней социальной регуляции выходил за рамки собственно военной сферы и проникал в общественные отношения, позволяя до известной степени сглаживать социальные антагонизмы. Несмотря на ряд отклонений от принципов Петра I в последующее время, прежде всего поочередное отпадение от воинской обязанности всех сколько-нибудь привилегированных групп населения, основы взаимодействия ар-

мии с властью и обществом на протяжении длительного времени сохраняли свою силу в воспроизводстве обороноспособности страны и служили определенной матрицей связей внутри общества.

Между первой и второй кардинальными военными реформами пролегла дистанция длиной в полтора с лишним века. Не взирая на разницу в условиях и конкретных задачах, решавшихся в ходе этих реформ, они могут быть сопоставлены в параметрах прямых и побочных социальных следствий. Если петровское военное строительство исправно выполняло интегрирующую роль в обществе и государстве, то армия пореформенной России утратила эту полезную функцию. Причины были заложены в неадекватности модели, заимствованной у ряда стран — лидеров западного мира, финансово-экономическим потенциалом российского государства и социокультурному состоянию российского общества. Осложненная множественными изъятиями, льготами, неравномерным распределением по социальным стратам, призывная модель работала не столько на консолидацию общества, сколько на закрепление его расколотого характера. Между тем в теоретическом варианте сильная и монолитная армия, представляющая все слои населения, должна была содействовать превращению гетерогенного общества в единую нацию граждан. В обстоятельствах кризиса государственности, утраты части государственной территории и нарушения привычных условий существования граждан такая армия могла бы стать главным объектом самоидентификации граждан и поддерживать ослабленные жизненные силы сообщества. Однако подобная возможность в российском случае была безнадежно мала ввиду низкой репутации армии в обществе и психологической неустойчивости личного состава, разделенного при отбытии воинской повинности не менее жесткими перегородками, чем в гражданской жизни.

Наконец, пореформенная российская армия перестала действовать и как инструмент социальной циркуляции, с одной стороны, организующий отток криминогенных и неблагополучных элементов из их среды обитания, а с другой стороны, предоставляющий отличную альтернативу их гражданской неустроенности в виде военной карьеры. Между тем потребность в

таком социальном резервуаре-распределителе особенно возрастала на этапе общественных трансформаций, выбрасывающих за борт привычной жизни и превращающих в маргиналов массы людей.

Собственно, на нереализованные в пореформенном военном строительстве функции армии можно посмотреть и шире. Пореформенная армия не состоялась в качестве фактора модернизации, страхующего ее как элемент формирования национальной идентичности, как амортизатор опасных тенденций в развитии общественного порядка, как опорное звено в системе воспроизводства базовых государственных ценностей, как структурный элемент в самоопределении страны и сохранении ее статусных позиций в окружающем мире. Разумеется, эти значения армии возникали в виде приложения к ее основным функциональным обязанностям, состоявшим в обеспечении безопасности государства и отражении внешних угроз. Однако исторический опыт показывал, что основные и побочные функции были взаимосвязаны: только могучая, опирающаяся на всемерную поддержку властей и общества армия могла выступать в роли объединяющего начала.

Наконец, на протяжении двух веков армия являлась движущей силой, гарантом имперского развития России. Подключение военных чинов к вопросам организации и управления являлось особым способом освоения имперской модели, при отсутствии других мощных источников и предпосылок формирования имперского общежития (прежде всего в лице торгового, промышленного и финансового капитала), на которые опирались высокоразвитые страны западного мира в установлении своего колониального владычества. Военное администрирование, оттачивавшееся и приспособливавшееся к условиям национальных окраин, было не только щитом и мечом империи, но генератором идей, рассчитанным на устойчивое существование имперской общности. В накапливавшихся расхождениях между порядком, который поддерживался на окраинах правящей элитой, и перспективой имперской перестройки, к которой склонялись крупные военные администраторы на этапе национального пробуждения этносов, виделись признаки растущего отчуждения между военной и политической элитами.

Углублению этого взаимного непонимания содействовала и утрата военным корпусом положения профессиональной корпорации, первенствующей как в распределении государственных благ, так и в символической близости к носителям верховной власти. Эти изменения являлись результатом сознательного выбора, сделанного общественными и государственными деятелями периода великих реформ Александра II. Несомненно, подобная переориентация государственных предпочтений была тесно связана с негативным восприятием бесконтрольного доминирования военной машины в системе принятия политических решений и проведения правительственного курса на протяжении всего николаевского правления. Однако резкая смена приоритетов в системе национально-государственных интересов имела двоякое значение. С одной стороны, вытеснение из высших правительственных сфер военного влияния и укрепление позиций гражданской бюрократии были адекватны задачам модернизации и стремлениям власти к расширению каналов связей с обществом. С другой — резкий поворот от максимального благоприятствования к ограничению военного начала повлек за собой цепную реакцию непредвиденных тягостных последствий. С низведением армии на второстепенные роли не смирилась наиболее активная прослойка военных. Поиски возмещения за потерю статуса первенствующей профессиональной группы толкали ее на путь расширенной внешнеполитической экспансии, подрывавшей стратегическую безопасность государства. Однако это было не единственное следствие.

Перестройка отношения правительственных кругов к армии не успела откристаллизироваться в образе государства, который создавала официальная пропаганда и который сложился в общественном сознании. В идеологической плоскости Россия по-прежнему выглядела как милитаристское государство. А ее военные поражения осмысливались как крушение основополагающих устоев социума и открывали простор для спекуляций и подрывной деятельности антигосударственных сил. На эту сторону общественного восприятия указывала несоразмерность глубокого посттравматического шока, охватившего общество после поражения в Русско-японской войне, реальному масштабу самой полученной травмы. Эта ситуация вскрывала узкое

понимание российскими властями отношений военных институтов с гражданским обществом.

Собственная политическая активность военных, как и вся история военного корпуса, выражала сопряженность с общественным развитием. Дворцовые перевороты XVIII в., отчасти декабристский мятеж 1825 г., являлись продуктами неполной отделенности военного корпуса от гражданского общества и направлялись как интересами отдельных общественных группировок, так и собственными корпоративными устремлениями военных. «Дело» генерала М.Д. Скобелева, политическая интрига высшего генералитета в преддверии и в ходе Февральской революции воплощали уже личную инициативу отдельных представителей армии и отражали ее автономное положение среди других социальных институтов. Планирование политических акций со стороны военных кругов опиралось на собственный анализ ситуации и типично военную методологию политической борьбы.

В известной мере это заключение можно отнести и к бунту петроградского гарнизона в дни Февральской революции: хаотичные, импульсивные действия солдат были реакцией особого армейского контингента военного времени на провоцирующие условия, исходившие от внешней среды. Иными словами, возможность этого выступления определялась скорее спецификой психологии и поведения в чрезвычайной ситуации людей в военной форме, чем классовым инстинктом рядовой массы и ее солидарностью с митингующими городскими низами.

Следует признать, что в большинстве этих эпизодов власти предрешающие подводило плохое знание самого предмета политизации и политического участия военного корпуса. Осознание недостатков в системе взаимоотношения с ним приходило постфактум, а практические выводы носили половинчатый характер. Так, профилактическая работа с потенциальными гвардейскими участниками дворцовых заговоров строилась главным образом на подкупе и заигрывании с гвардией, что не только не устраняло опасности новых политических операций, но и всячески благоприятствовало им. Символическое устранение дистанции между верховной властью и ее военной опорой при Александре I, по сути, снимало барьеры на путях спонтан-

ного включения военных в политическую деятельность при последующем колебании этой высочайшей линии. А отсутствие четкого регламента в военном чиновничестве на фоне беспрерывных войн начала XIX в., плодивших головокружительные военные карьеры, подогревало тягу честолюбивых службистов к авантурным предприятиям. Соединение бурлящей офицерской активности с прогрессистскими концепциями своего времени вылилось в декабристское движение. Однако, подавив декабристский мятеж и установив четкие нормы военной службы и взаимоотношений с военным корпусом, власть не устранила предпосылок новых военных вторжений в политику.

Появление мощной фигуры Скобелева на авансцене политической жизни 70-х — начала 80-х годов XIX в. свидетельствовало о рождении генерации военных политиков с изощренным складом интеллекта и умением расчетливо двигаться к своей цели, преодолевая сопротивление политической конъюнктуры и дефицита средств легитимной деятельности. Феномен Скобелева отражал растущую профессионализацию российского офицерского корпуса и его озабоченность перспективами страны с ненадежным ресурсом выживания в столкновении с сильным противником. Преждевременная кончина Скобелева не позволила его планам воплотиться в жизнь. Тем не менее спустя тридцать пять лет партия генерала была доиграна другой группой военачальников. Сумев дать расчет царскому режиму, высшее военное командование, однако, уступило инициативу в организации нового порядка гражданской политической элите. А запоздавшая и плохо подготовленная попытка генерала Л.Г. Корнилова остановить сползание страны к тоталитарному строю лишь ускорила приход к власти большевиков.

Итак, политическая оппозиционность военных, независимо от ее конкретных форм и результатов, всякий раз вырастала из серьезнейших проблем в отношениях власти с армией и власти с обществом. А в кризисные моменты исторического процесса и в отсутствие эффективного политического руководства военный корпус показывал готовность к взятию на себя устроительной и арбитражной миссий.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5
--------------------	---

Глава 1

ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ВОЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII в.	15
1.1. У истоков военной реформы: стрелецкий политический дебют и его уроки	15
1.2. Регулярная армия в составе движущих сил преобразовательного процесса	31
1.3. Военное строительство Петра I в контексте социальных изменений долгосрочного характера	47
1.4. Военный проект Петра Великого в исторической перспективе: линии социального наследования и деформаций	84

Глава 2

АРМИЯ, ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО НА ЭТАПЕ

КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ.	109
2.1. Реорганизация призывной системы и солдатская служба . .	109
2.2. Офицерская служба.	145

Глава 3

ДЕРЖАВНЫЙ ОРЕЛ И АРМЕЙСКАЯ «РЕШКА»:

ИМПЕРСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКИХ ВЛАСТЕЙ И ЕЕ ВОЕННЫЕ АГЕНТЫ.

3.1. Становление империи: роль военных структур и военных действий.	175
3.2. Пути имперского строительства после Петра I: военная и гражданская парадигмы.	216
3.3. Закат империи: военные поиски «ответа» на национальный «вызов».	253

Глава 4

ВОЕННОЕ УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

4.1. Военный корпус — «привратник у структурных дверей» в политическую систему: нарастание и пик военного влияния в дореформенную эпоху.	288
--	-----

4.2. Военные в системе институциональных субъектов и методов политики пореформенного времени	306
4.3. Армия в идеологическом аппарате самодержавия	328
<i>Глава 5</i>	
ДВОРЦОВЫЕ ПЕРЕВОРОТЫ XVIII в.	356
5.1. «Феноменология» преторианства.	356
5.2. Политические гонки в российском контексте: участники и методы	368
5.3. Гвардейская рулетка и ее вращатели.	383
5.4. Заговор: роли и исполнители	408
<i>Глава 6</i>	
МЯТЕЖ ДЕКАБРИСТОВ	424
6.1. Российские офицеры-инсургенты: коллективный портрет на фоне отечественных предшественников и зарубежных современников.	424
6.2. Царь и мятежники: реконструкция взглядов Николая I на предысторию и историю 14 декабря 1825 г.	463
<i>Глава 7</i>	
ВСАДНИК НА БЕЛОМ КОНЕ: ОБРАЗ ВОЕННЫХ РЕВОЛЮЦИЙ И ВОЕННЫХ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ	488
7.1. Мировой опыт: приход в большую политику и деятельность военных революционеров.	488
7.2. Россия 70-х — начала 80-х гг. XIX в.: продолжение темы	505
<i>Глава 8</i>	
ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВОЕННОГО ФАКТОРА: ГЕНЕРАЛЫ И СОЛДАТЫ.	537
8.1. Игры генералов	537
8.2. Солдатский бунт	560
<i>Глава 9</i>	
ШАГИ КОМАНДОРА	582
9.1. Упущенные шансы и роковые обстоятельства в деле генерала Л.Г. Корнилова	582
9.2. Исторические альтернативы «корниловского мятежа»	615
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.	631

Ирина Волкова

РУССКАЯ АРМИЯ В РУССКОЙ ИСТОРИИ

Издано в авторской редакции
Художественный редактор **А. Сауков**
Художник **А. Козаченко**
Компьютерная верстка **Л. Панина**
Корректор **Л. Анохина**
Ответственный за выпуск **А. Светлова**

ООО «Издательство «Яуза»
109507, Москва, Самаркандский б-р, 15, к 4.
Для корреспонденции: 127299, Москва, ул. Клары Цеткин, 18, к. 5.
Контактный тел.: (095) 745-58-23

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, корп. 5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

**По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»
обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.**

Оптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1. Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16,
многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (095) 411-50-76.
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (095) 745-89-15, 780-58-34.
www.eksmo-kanc.ru e-mail: kanc@eksmo-sale.ru

**Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо» в Москве
в сети магазинов «Новый книжный»:**

Центральный магазин — Москва, Сухаревская пл., 12
(м. «Сухаревская», ТЦ «Садовая галерея»). Тел. 937-85-81.
Москва, ул. Ярцевская, 25 (м. «Молодежная», ТЦ «Трамплин»). Тел. 710-72-32.
Москва, ул. Декабристов, 12 (м. «Отрадное», ТЦ «Золотой Вавилон»). Тел. 745-85-94.
Москва, ул. Профсоюзная, 61 (м. «Калужская», ТЦ «Калужский»). Тел. 727-43-16.
Информация о других магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.

В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:

«Книжный супермаркет» на Загородном, д. 35. Тел. (812) 312-67-34
и «Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо»:

В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. отдела реализации (812) 265-44-80/81/82/83.
В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.
Тел. (8312) 72-36-70.
В Казани: ООО «НКП Казань», ул. Фрезерная, д. 5. Тел. (8432) 70-40-45/46.
В Киеве: ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Луговая, д. 9.
Тел. (044) 531-42-54, факс 419-97-49; e-mail: sale@eksmo.com.ua

Подписано в печать с готовых диапозитивов 18.03.2005.
Формат 84×108 1/32. Гарнитура «Бодони». Печать офсетная.
Бум. тип. Усл. печ. л. 33,6.
Тираж 4100 экз. Заказ № 6325

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

РУССКИЕ ТАЙНЫ

В новой книге известного историка Н. Волковой на большом фактическом материале и в сравнении с другими странами рассматривается роль армии на переломных рубежах нашего отечественного прошлого: в преддверии преобразований Петра I, на этапе великих реформ Александра II и во время углубляющегося кризиса общественных и властных структур начала XX в.

Главные герои книги — восприимчивые высоких и не очень высоких рангов, которые близко к сердцу принимали угрозы внутренней и внешней безопасности страны и по-своему стремились переломить опасные тенденции в ее развитии. Порой этот путь приводил их к конфронтации с правящим режимом: в рамках дворцовых переворотов, мятежу 14 декабря 1825 г., политическим интригам отдельных военных чинов, направленной против единоличных представителей высшего руководства.

ISBN 5-699-09557-8



9 785699 095575 >